



Сильвия Назар

Путь

История одной
экономической идеи

к великой цели



Sylvia Nasar

**GRAND
PURSUIT**

The Story of
Economic Genius

Сильвия Назар

**ПУТЬ
К ВЕЛИКОЙ
ЦЕЛИ**

История одной
экономической идеи

УДК 330.8
ББК 65.02
Н19

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Назар, Сильвия

Н19 Путь к великой цели : история одной экономической идеи / Сильвия Назар; пер. с английского АНДРЕЯ САТУНИНА и НАТАЛЬИ ШАХОВОЙ. — Москва : АСТ : CORPUS, 2013. — 704 с., [32] с. ил.

ISBN 978-5-17-080173-2

Автор этой книги — американский журналист Сильвия Назар, написавшая прославленную биографию математика Джона Нэша, по которой был снят фильм “Игры разума”. “Великая цель” из названия книги — это процветание максимально возможного количества обитателей земного шара. “Путь к великой цели” начинается в середине XIX века, века королевы Виктории и ее всемогущей империи. Но уже очень скоро мир охватывает одна катастрофическая война, а за ней и другая. Правительства по всему миру — от коммунистических до самых что ни на есть капиталистических стран — играют все большую роль в экономической жизни. Экономические теории на глазах становятся повседневной практикой, а некогда кабинетные ученые — Джон Мейнард Кейнс, Ирвинг Фишер, Йозеф Шумпетер — отчаянно спорят между собой и заставляют политиков считаться со своим мнением. “Путь к великой цели” — захватывающая панорама политической и интеллектуальной жизни людей, стран и континентов, от викторианской Англии до современной Америки и Индии, от Карла Маркса и Чарльза Диккенса до Милтона Фридмана и Амартии Сена.

УДК 330.8
ББК 65.02

ISBN 978-5-17-080173-2

- © Sylvia Nasar, 2011
 - © А. Сатунин, Н. Шахова, перевод на русский язык, 2013
 - © А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2013
 - © ООО “Издательство АСТ”, 2013
- Издательство CORPUS ®

Оглавление

Предисловие. 7

Вступление. **Девять десятых человечества**. 13

АКТ ПЕРВЫЙ. **НАДЕЖДА**

Пролог. **Мистер Сентиментальный против Скруджа**. 21

ГЛАВА I

Все только зарождается. **Энгельс и Маркс в эпоху чудес**. 31

ГЛАВА II

Нельзя ли обойтись без пролетариата? **Святой покровитель Маршалла**. 79

ГЛАВА III

Профессия мисс Поттер. **Уэбб и государство-попечитель**. 134

ГЛАВА IV

Золотой крест. **Фишер и денежная иллюзия**. 195

ГЛАВА V

Созидательное разрушение. **Шумпетер и экономическая эволюция**. 236

АКТ ВТОРОЙ. **СТРАХ**

Пролог. **Война миров**. 269

ГЛАВА VI

Последние дни человечества. **Шумпетер в Вене**. 282

ГЛАВА VII	
Европа умирает. Кейнс в Версале	317
ГЛАВА VIII	
Безрадостный переулоч. Шумпетер и Хайек в Вене	352
ГЛАВА IX	
Нематериальные механизмы разума. Кейнс и Фишер в 1920-е годы . .	376
ГЛАВА X	
Проблемы с магнето. Кейнс и Фишер в годы Великой депрессии.	409
ГЛАВА XI	
Эксперименты. Уэбб и Робинсон в 1930-х.	451
ГЛАВА XII	
Война экономистов. Кейнс и Фридман в министерствах финансов . . .	471
ГЛАВА XIII	
Изгнание. Шумпетер и Хайек во время Второй мировой войны.	497

АКТ ТРЕТИЙ. УВЕРЕННОСТЬ

Пролог. Ничего страшного	509
ГЛАВА XIV	
Прошлое и будущее. Кейнс в Бреттон-Вудсе	519
ГЛАВА XV	
Дорога от рабства. Хайек и “немецкое чудо”	531
ГЛАВА XVI	
Инструменты управления. Самуэльсон едет в Вашингтон	544
ГЛАВА XVII	
Великая иллюзия. Робинсон в Москве и Пекине.	568
ГЛАВА XVIII	
Свидание с судьбой. Сен в Калькутте и в Кембридже	594
Эпилог. Воображая будущее	615
Благодарности.	619
Ссылки на источники	623
Указатель	691
Источники фотографий	719

Предисловие

В XXI веке в мире стремительно развивается любовь к “малым формам”. Даже высокообразованные интеллектуалы всё больше времени уделяют *Twitter*, в котором размер сообщения ограничен 140 символами, а записи в блоге длиной больше, чем размер экрана, кажутся занудными. Сильвия Назар, экономист по образованию и профессор журналистики Колумбийского университета, рискнула, написав историю экономической науки прошлого и позапрошлого веков в старомодном ключе — в виде большого тома, разбитого на крупные главы и содержащего мелкие подробности жизни многочисленных персонажей. Такую книгу мог бы написать, заинтересовавшись историей экономической мысли, Карамзин или Солженицын. Впрочем, поклонникам блогов и форумов нужно только вчитаться — книга быстро становится захватывающей и читается легко. И это при том, что начинается она в самых непривлекательных обстоятельствах, охватывает период мировых катастроф и завершается в момент, когда перед экономистами стояли ничуть не менее сложные задачи, чем за сто лет до этого.

Сильвия Назар впервые прославилась биографией великого экономиста Джона Нэша, нобелевского лауреата 1994 года. Документальная книга “*A Beautiful Mind*” стала бестселлером, а снятый по книге художественный фильм “Игры разума”

посмотрели миллионы. Рассказывая историю выдающегося учёного, больного шизофренией, автору удалось переплести биографические детали и медицинские подробности — то, что интересно “широкой публике” — с подробным изложением интеллектуальной истории открытий Нэша — и в экономической теории, и в чистой математике. В своей второй книге, “Путь к великой цели”, Назар ставит себе ещё более амбициозную задачу — рассказать про жизнь великих экономистов XIX и XX столетий, европейских, американских и даже, уже в наше время, индийских, поставив их работы в единый контекст. Герои Назар, люди разного происхождения — от аристократического до самого простого — движимы разными мотивами, но их вклад в экономическую науку неуклонно смещает общество в сторону большего достатка и защищённости. Даже те учёные, которых вовсе не интересовали темы социальной справедливости и для которых экономическая наука была сродни инженерии или биомедицине (и включала столько же математических формул и статистического анализа данных), невольно способствуют общему прогрессу.

Для человека, учившегося, как я, в школе в советское время, книга Назар — возможность узнать интеллектуальную историю последних двух веков в неискаженном виде. Маркс оказывается не надмирным гением, а влиятельным экономистом из длинного ряда влиятельных экономистов, работы которых были когда-то актуальны, но потом устарели. Тем более интересно узнать подробности его личной жизни — человек, именем которого в XX веке обосновывалась власть рабочих во многих странах, включая нашу, никогда не был на заводе, да и особенно не интересовался реальной жизнью рабочих. Сказалось ли отсутствие интереса к тому, что происходит на самом деле, на качестве экономического анализа и практических выводах? Что ж, история знает случаи — и в книге они описаны — когда учёный в своей работе никак не опирается на личный опыт и, тем не менее, сила его интеллекта позволяет понять, как устроен реальный мир и даже изменить его к лучшему.

Тем читателям Назар, у которых советского опыта нет, ещё лучше. Не нужно ничего исправлять в представлении о мире, можно просто открывать интеллектуальную историю двух веков (точнее, одного столетия, с 1850 по 1950 год, которое покрывает “Путь к великой цели”), смотреть, как она следует за грандиозными потрясениями этой эпохи — двумя мировыми войнами и Великой депрессией. Центры экономической мысли — Лондон, Вена, американский Кембридж — основные остановки её путешествия; интеллектуальные гиганты своих эпох — Маршалл и Фишер, Шумпетер и Кейнс, Хайек и Фридман — основные персонажи.

Выпустить том-историю экономической мысли в начале второго десятилетия XXI века было рискованным предприятием по ещё одной причине. После пяти кризисных лет на профессиональных экономистов смотрят не с восхищением и уважением, а, скорее, с подозрением. Обвинять экономистов в том, что они не смогли предотвратить кризис — это примерно то же самое, что обвинять врачей в том, что, несмотря на лечение, больные продолжают умирать. И тем не менее репутация целой профессии пошатнулась. Книга Назар, погружая читателя в обстоятельства куда более тяжёлые, чем нынешние, и показывая, как сложно было сделать очередной шаг — даже если этот шаг был только мыслью, записанной на бумаге, — восстанавливает репутацию экономистов. Только тот, кто понимает, что значило быть бедным сто пятьдесят лет назад, как плохо понимали экономические механизмы лучшие умы человечества и какая долгая дорога пройдена с тех пор, может заинтересоваться вкладом интеллектуалов в экономическое развитие. Но, заинтересовавшись, он увидит, как многое уже было сделано на пути к великой цели.

Константин Сонин,
профессор, проректор Высшей школы экономики

Моим родителям

Вступление

ДЕВЯТЬ ДЕСЯТЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Народы мира имеют весьма ограниченный опыт благоденствия. Почти все они на всем протяжении истории были крайне бедны.

Джон Кеннет Гэлбрейт,
Общество изобилия, 1958¹

К несчастью, даже с учетом немногих благодатей, коих чрезмерно мало, девять десятых человечества влачат жалкое существование.

Эдмунд Берк,
Защита естественного общества, 1756²

Мысль о том, что человечество способно перевернуть экономическую реальность, начав управлять материальными обстоятельствами, а не подчиняться им, появилась настолько недавно, что Джейн Остин такое и в голову не приходило.

Представим себе георгианское изобилие, окружавшее автора “Гордости и предубеждения”. Будучи гражданкой страны, богатство которой “вызывало восхищение, изумление и, возможно, зависть всего мира”, она жила в эпоху побед над предрассудками, невежеством и тиранией, которую мы называем эпохой Просвещения³. Она родилась в семье, принадлежавшей к средним слоям английского общества, в те времена,

когда “средние” противопоставлялись обычным и типичным. По сравнению с мистером Беннетом из “Гордости и предубеждения” или даже несчастными Дэшвудами из романа “Разум и чувства”⁴ семья Остинов была весьма стеснена в средствах. Тем не менее их годовой доход в размере 210 фунтов превышал доходы 95% английских семей того времени⁵. Несмотря на обычную для низших слоев “вульгарную экономию”, которой были вынуждены придерживаться Остины, чтобы избежать “лишений, несчастий и разорения”⁶, они владели недвижимостью, располагали свободным временем, могли выбирать профессию, учиться в школе, покупать книги, писчую бумагу, газеты. Ни Джейн, ни ее сестре Кассандре не было нужды идти в гувернантки — страшная судьба, которая ждала Джейн, соперницу Эммы*, — или выходить замуж без любви.

Разрыв между Остинами и так называемыми низшими слоями был, по словам биографа, “полным и несомненным”⁷. Философ Эдмунд Берк сетовал на судьбу шахтеров, которые “редко видят солнечный свет, погребены в недрах земли, выполняя тяжелую и унылую работу без малейшей надежды на освобождение, едят самую грубую и плохую пищу; подрывая всем этим свое здоровье и проживая недолгую жизнь”⁸. Однако по уровню жизни даже эти “несчастные” считались относительно удачливыми.

Типичный англичанин был батраком⁹. Согласно экономическому историку Грегори Кларку, уровень жизни батрака был немногим лучше, чем у римского раба. Его жилище состояло из одной темной комнаты, в которой он жил вместе с женой, детьми и домашним скотом. Единственным источником тепла служил дымный огонь очага. У него был один комплект одежды. Он путешествовал лишь туда, куда мог пойти пешком. Единственными развлечениями для него были секс и браконьерство. Врачебная помощь была ему недоступна. Чаще всего

* Эмма и Джейн — персонажи романа “Эмма” Джейн Остин. (Здесь и далее — прим. перев.)

он был неграмотен. Его дети пасли коров или отпугивали ворон, пока не подрастали настолько, чтобы быть отданными “в услужение”.

В хорошие времена он ел только самую грубую пищу — пшеничные и ячменные каши и хлеб. Даже картофель был недоступной роскошью (“Может, картошка и хороша для господ, но растить ее жутко дорого”, — сказал как-то матери Остин один из селян¹⁰). По оценке Кларка, британский батрак в среднем ежедневно потреблял всего лишь 1500 калорий — на треть меньше, чем охотники-собиратели из современных племен, живущих в Новой Гвинее или на Амазонке¹¹. На фоне хронического недоедания резкие скачки цен на хлеб ставили его на грань голодной смерти. На графиках смертности в XVIII веке четко выделяются неурожайные годы и периоды инфляции, связанные с войнами¹². И все же типичный англичанин жил лучше типичного немца или француза, и Берк мог заверить своих английских читателей, что “рабство, которое мы видим у себя дома — несмотря на все его низости и ужасы, — не идет ни в какое сравнение с тем, что творится в этом отношении в остальном мире”¹³.

Всюду царил смирение. Торговля и промышленная революция привели к росту британского богатства, как и предсказывал шотландский философ Адам Смит в 1776 году в книге “Богатство народов”. Тем не менее даже самым просвещенным наблюдателям приходилось признать, что это не отменяет приговора Бога, согласно которому в массе своей человечество обречено на нищету и “изнурительный труд... на протяжении всей своей жизни”. Жизненное положение предопределялось высшими силами или природой. Когда умирала прислуга, ей отдавали должное за то, что она “выполняла свои обязанности на том жизненном поприще, для которого была предназначена милостью Божией”¹⁴. Патрик Кохун, реформатор георгианской эпохи, был вынужден предварить свое радикальное предложение об организации обучения детей бедняков за счет государства следующей оговоркой: он не предлагает “обучать

их так, чтобы их развитие превысило уровень, соответствующий предназначенному им в обществе месту”, иначе “те, кому суждено заниматься тяжелым трудом и занимать низшее положение”, будут чувствовать себя ущемленными¹⁵.

В мире Джейн Остин каждый знал свое место и не подвергал его сомнению.

Всего через пятьдесят лет после ее смерти этот мир в корне изменился. И дело было не просто в “существенном росте богатства, роскоши и изысканности”¹⁶ или в беспрецедентном улучшении обстоятельств тех, чье положение казалось безнадежным. Статистик конца викторианской эпохи Роберт Гиффен счел необходимым напомнить своим слушателям, что во времена Остин зарплаты были вдвое ниже и что “пятьдесят лет назад все трудящиеся королевства периодически оказывались на грани голодной смерти”¹⁷. Казалось, то, что веками было незыблемым, обрело подвижность. Уже не было сомнений, что условия жизни могут меняться. Вопрос сводился лишь к тому, насколько они изменятся, как быстро и какой ценой. Становилось ясно, что изменения происходят не случайно, не являются следствием удачного стечения обстоятельств, а соответствуют намерениям, воле и знаниям людей.

Понятие о том, что человек есть порождение обстоятельств и что эти обстоятельства не являются predeterminedными, неизменными и абсолютно неподвластными человеческому вмешательству, — одно из величайших открытий всех времен. Оно поставило под сомнение тезис о том, что человечество полностью подчинено Богу и природе. Из него следовало, что при наличии новых средств человечество готово само распорядиться своей судьбой. Благодаря ему на смену пессимизму и смирению пришли бодрость и жизненная активность. До 1870 года экономическая наука в основном была посвящена тому, чего нельзя достичь. После 1870-го — тому, чего достичь можно.

Как писал отец современной экономики Альфред Маршалл, “основной движущей силой большинства экономических исследований является стремление посадить человека в седло”. Экономические возможности — взамен духовных, политических и военных — захватили воображение масс. Мыслители викторианской эпохи были очарованы экономикой, и многие из них стремились достичь серьезных результатов в этой области. Вдохновленные успехами в естественных науках, они принялись разрабатывать инструмент для исследования того “искусного и мощного социального механизма”, который порождает не просто небывалое материальное благополучие, но богатство новых возможностей. В конечном итоге новая экономика преобразовала жизнь всех людей на планете.

Книга, которую вы держите в руках, посвящена не столько развитию экономической мысли вообще, сколько истории одной идеи, родившейся в золотой век до Первой мировой войны, подвергшейся жестоким испытаниям в виде двух мировых войн, возникновения тоталитарных государств и Великой депрессии, а затем возродившейся вновь во второй золотой век, последовавший за Второй мировой войной.

Альфред Маршалл называл современную экономику “Органом” — словом, которым древние греки обозначали не набор истин, а “аналитический механизм” для их выявления, и как следует из смысла термина, это означало, что этот механизм никогда не будет закончен или доведен до совершенства, а всегда будет нуждаться в улучшении, перестройке и обновлении. Его ученик Джон Мейнард Кейнс называл экономику “мыслительным аппаратом”, который, как и любая другая наука, необходим для анализа современного мира и извлечения максимума из предоставляемых им возможностей.

В качестве действующих лиц своей пьесы я выбрала тех, кто сыграл основную роль в превращении экономики в инструмент управления обстоятельствами. Я выбрала тех

обладателей “холодных голов и горячих сердец”¹⁸, кто помог построить “механизм” Маршалла и модернизировать “аппарат” Кейнса. Я выбрала персонажей, чей темперамент, опыт и талант заставляли их в соответствии с их временем и местом ставить новые вопросы и получать новые ответы. Я выбрала тех, кто помог протянуть ниточку повествования из Лондона 1840-х в Калькутту начала XXI века. Я попыталась показать, что каждый из них видел, глядя на окружающий мир, и понять, что интересовало и вдохновляло их, что ими двигало. Все эти мыслители искали интеллектуальные средства для решения того, что Кейнс называл “политической проблемой человечества: как объединить три вещи — экономическую эффективность, социальную справедливость и индивидуальную свободу”¹⁹.

Кейнс, как объяснял его первый биограф Рой Харрод, был многогранной личностью и считал художников, писателей, хореографов и композиторов, которых он любил и которыми восхищался, “опекунами цивилизации”. Экономистам вроде себя самого он отводил более скромную, но не менее существенную роль “опекунов не цивилизации, а возможности ее существования”²⁰.

В значительной степени благодаря именно таким опекунам мысль о том, что девять десятых человечества могут освободиться от многовекового гнета судьбы, возникла в викторианскую эпоху в Лондоне. Оттуда, как круги по воде, эта концепция стала распространяться, преобразуя на своем пути общества по всему земному шару.

Она распространяется до сих пор.

АКТ ПЕРВЫЙ

НАДЕЖДА

Пролог

МИСТЕР СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОТИВ СКРУДЖА

Это было худшее из всех времен*.

Когда в июне 1842 года Чарльз Диккенс вернулся из триумфальной поездки по Америке, где он читал свои произведения со сцены, призрак голода бродил по Англии¹. После нескольких неурожайных лет цена хлеба удвоилась. Города заполнили толпы обнищавших сельских жителей, жаждавших получить работу или хотя бы милостыню. Текстильная промышленность четвертый год переживала спад, и бывшие фабричные рабочие были вынуждены полагаться на пособия или на благотворительные столовые. Консервативный историк и философ Томас Карлейль с горечью замечал: “когда миллионы лишены возможности жить... совершенно ясно, что сама нация находится на пути к самоубийству”².

Будучи страстным поборником образования, гражданских и религиозных свобод и избирательных прав, Диккенс был напуган ростом классовой ненависти³. В августе забастовка на бумагопрядильной фабрике привела к вспышке насилия. В считанные дни столкновение переросло в общенациональную забастовку за всеобщее избирательное право для мужчин, организованную лидерами движения за “Народную хартию”⁴. Его сторонники — чартисты — вынесли на улицы основной лозунг

* Знаменитое начало романа Ч. Диккенса “Повесть о двух городах”.

радикальных парламентариев — выходцев из среднего класса: “один человек — один голос”. Правительство тори, которое возглавлял премьер-министр Роберт Пил, немедленно направило морских пехотинцев в красных мундирах на поимку агитаторов. Рядовые забастовщики стали расходиться по фабрикам, но Карлейль, чью историю французской революции Диккенс неоднократно перечитывал, мрачно предупреждал: “бунт, зловещий, жаждущий мщения дух бунта против высших классов... получает среди низших классов все большее распространение”⁵.

В блестящих гостиных Лондона, куда Диккенса наперебой приглашала знать, его республиканские симпатии так же бросались в глаза, как и его кричащие галстуки. После их первой встречи Карлейль высокомерно описал знаменитого двадцативосьмилетнего литератора как “человека небольшого роста, *весьма* скромного” и язвительно добавил, что он был “одет не столько хорошо, сколько в духе Д’Орсэ”, имея в виду, что одевался Диккенс так же вызывающе, как пресловутый *французский* граф⁶. А лучшему другу Карлейля радикальному философу Джону Стюарту Миллю при виде Диккенса вспомнилось сделанное Карлейлем описание якобинца “с мрачным лицом злодея, озаренным гениальностью”⁷. На светских полуночных ужинах чартистский “мятеж” вызывал жаркие споры. Карлейль защищал премьер-министра, который настаивал на принятии жестких мер, чтобы помешать радикалам воспользоваться ситуацией, и утверждал, что истинно нуждающимся уже оказывается помощь. Диккенс, который клялся, что “ценит Карлейля выше всех современников”⁸, тем не менее считал, что благоразумие, равно как и справедливость, требуют от правительства выделения вспомоществования трудоспособным безработным и их семьям.

Голодные сороковые возродили к жизни споры, бушевавшие во время голодного лихолетья наполеоновских войн (1799–1815 годы). В центре внимания была выдвинутая преподобным

Томасом Робертом Мальтусом теория народонаселения, с которой соглашались далеко не все. Современник Джейн Остин и первый в Англии профессор политической экономии, Мальтус был застенчивым и мягкосердечным англиканским священником с заячьей губой и острым, математическим складом ума. Еще будучи викарием, он сочувствовал своей голодающей деревенской пастве. В Библии ответственность возлагалась на врожденную греховность бедных. Модные французские философы, подобно другу его отца маркизу де Кондорсе, клеймили себялюбие богатых. Мальтусу оба объяснения казались неубедительными — он искал иное. Его “Опыт о законе народонаселения”, опубликованный впервые в 1798 году, а потом еще пять раз до его смерти в 1834 году, вдохновил Чарльза Дарвина и других основателей эволюционной теории и побудил Карлейля отвергнуть экономику как “мрачную науку”.

Мальтус пытался объяснить, почему “девять десятых человечества” во все времена, включая его собственное, были осуждены на тяжелый труд и жалкую нищету¹⁰. Типичный обитатель планеты если и не умирал с голоду, то жил в хроническом страхе перед голодной смертью. Годы бывали более или менее урожайными, одни регионы были беднее, другие — богаче, но средний уровень жизни никогда надолго не поднимался выше уровня выживания.

В попытках ответить на вековой вопрос “Почему?” кроткий священник предвосхитил не только Дарвина, но и Фрейда. Он утверждал, что виной всему секс. То ли наблюдая за убогой жизнью своих прихожан, то ли под влиянием ученых-естественников, начинавших рассматривать человека как животное, то ли после рождения своего седьмого ребенка Мальтус пришел к выводу: стремление к размножению побеждает все остальные человеческие инстинкты и способности, включая здравый смысл, изобретательность, творческое начало и даже веру.

Основываясь на этой смелой предпосылке, Мальтус вывел постулат о том, что человеческие популяции всюду и везде стремятся расти быстрее, чем увеличиваются запасы продо-

вольствия. Доказательство было обманчиво простым: представим себе ситуацию, при которой запасов пищи достаточно, чтобы прокормить имеющееся население. Такое счастливое положение не может сохраняться вечно, как не могли Адам и Ева навечно остаться в раю. Животная страсть побуждает мужчин и женщин вступать в брак раньше и заводить больше детей. В то же время запас пищи более или менее постоянен, если не брать в расчет слишком отдаленную перспективу. В результате запасов зерна и других базовых для данного региона продуктов питания, которых едва хватало для выживания, уже не хватает. Таким образом, Мальтус приходил к неизбежному выводу, что “бедные с течением времени будут жить намного хуже”¹¹.

В любом обществе, где компании конкурируют за клиентов, а трудящиеся — за рабочие места, рост населения ведет к увеличению числа семей, борющихся за пропитание, и числа трудящихся, борющихся за рабочие места. Конкуренция приводит к снижению зарплат и одновременно к росту цен на продовольствие. Средний уровень жизни — количество еды и других предметов первой необходимости, доступных каждому — понижается.

В какой-то момент зерно становится таким дорогим, а рабочая сила — такой дешевой, что развитие идет вспять. В результате понижения уровня жизни люди снова вынуждены вступать в брак позже и иметь меньше детей. Сокращение населения приводит к снижению цен на продовольствие по мере того, как все меньше семей борется за еду. Зарплаты начинают расти, поскольку все меньше трудящихся соперничает за рабочие места. В итоге, когда запасы пищи и население вернуться к исходному равновесию, уровень жизни восстановится. Это в том случае, если “великое разрушительное войско”¹² Природы — войны, эпидемии и голод — не ускорит этот процесс, как случилось, например, в XIV веке, когда Великая чума уничтожила миллионы и оставшихся в живых было мало по сравнению с имевшимися запасами продовольствия.

К несчастью, новое равновесие продлится не дольше исходного. “Едва только трудящиеся почувствуют относительную обеспеченность, — печально отмечал Мальтус, — как возобновится это колебательное движение”¹³. Попытки повысить средний уровень жизни напоминают труд Сизифа, поднимающего камень на гору. Чем быстрее взберется Сизиф на вершину, тем быстрее камень будет сброшен вниз.

Попытки победить закон народонаселения были обречены. Те, кто искал зарплату выше рыночной, не могли найти работу. Наниматели, платившие своим рабочим больше, чем их конкуренты платили своим, теряли покупателей, потому что более высокие трудовые затраты вынуждали их повышать цены.

Наиболее неприятным для викторианцев следствием закона Мальтуса было то, что благотворительность, призванная облегчать страдания, могла, оказывается, привести к их увеличению — прямой вызов заповеди Христа “возлюби ближнего, как самого себя”¹⁴. Сам Мальтус был крайне критично настроен по отношению к традиционной английской системе благотворительности, которая — с некоторыми оговорками — давала пособие бездельникам за счет трудолюбивых. Пособие было пропорционально размеру семьи, что поощряло ранние браки и многодетные семьи. Рассуждение Мальтуса показалось настолько убедительным как консервативным, так и либеральным налогоплательщикам, что в 1834 году парламент — практически без возражений — принял новый Закон о бедных, согласно которому государственные пособия выделялись только тем, кто соглашался переселиться в работные дома при церковных приходах.

“Простите, сэр, я хочу еще”. Как обнаружил Оливер Твист после своей знаменитой просьбы, работные дома по существу представляли собой тюрьмы, где мужчины и женщины жили отдельно, выполняя неприятную принудительную работу и соблюдая жесткую дисциплину, и получали взамен место для ночлега и “три порции жидкой каши в день, луковицу дважды в неделю и половину булочки по воскресеньям”¹⁵. Возможно,

в большинстве работных домов рацион не был таким скудным, как описано в романе Диккенса, однако нет сомнений, что именно к этим учреждениям у рабочего класса было больше всего претензий¹⁶. Как и большинство реформаторски настроенных либеральных представителей среднего класса, Диккенс считал новый Закон о бедных отвратительным с точки зрения морали и самоубийственным с точки зрения политики, а теорию, на которой он базировался, — варварским пережитком прошлого. Диккенс только что вернулся из Америки, “где еще не заселены и не расчищены миллионы акров земли” и где жители “трижды в день наспех проглатывают в большом количестве животную пищу”¹⁷, и находил нелепой мысль о том, что упразднение работных домов приведет к нехватке продовольствия в мире.

Стремясь внести свой вклад в защиту бедных, Диккенс в начале 1843 года начал писать историю о духовном перерождении богатого скряги. Эту историю Диккенс представлял себе в роли кувалды, удар которой в “двадцать раз — в двадцать тысяч раз” сильнее удара политического памфлета¹⁸.

По мнению экономического историка Джеймса Хендерсона, “Рождественская песнь” — это атака на Мальтуса¹⁹. Роман насыщен всяческими деликатесами, их запахами и вкусом. Англия Диккенса — это не каменистый, малоплодородный, перенаселенный остров, где людям не хватает еды, а форменный гастроном “Фортнум и Мейсон”, где полки ломаются от припасов, закрома бездонны, а бочки никогда не осушаются. Святочный Дух Прошлых Лет восседает перед Скруджем на некоем “подобии трона”, в которое “были сложены жареные индейки, гуси, куры, дичь, свиные окорока, большие куски говядины, молочные поросята, гирлянды сосисок, жареные пирожки, плумпудинги, бочонки с устрицами, горячие каштаны, румяные яблоки, сочные апельсины, ароматные груши, громадные пироги с ливером и дымящиеся чаши с пуншем, душистые

пары которого стлались в воздухе, словно туман”. Сияющие бакалейщики, продавцы птицы, фруктов и овощей зазывали лондонцев в свои лавки насладиться ароматным изобилием еды и напитков²⁰.

В Англии, демонстрирующей скорее изобилие Нового Света, чем скудность Старого, костлявый, ссохшийся, бездетный Эбинизер Скрудж выглядит анахронизмом. Как отмечает Хендерсон, коммерсанту “были так же чужды современные гуманистические настроения, как и изобилие, которое его окружало”²¹. Он — твердолобый сторонник каторжной работы и работных домов, как в прямом, так и в переносном смысле. “Они недешево обходятся, — настаивает он. — Нуждающиеся могут обращаться туда”. Когда Святочный Дух Прошлых Лет возражает: “не все это могут, а иные и не хотят — скорее умрут”, Скрудж холодно отвечает: “если они предпочитают умирать, тем лучше. Это сократит излишек населения”.

К счастью, суровая натура Скруджа оказалась не более неизменной, чем мировые запасы продовольствия. Когда Скрудж узнает, что Малютка Тим входит в эти самые “излишки населения”, он в ужасе отшатывается от следствий своей старомодной мальтузианской религии. “Нет, нет!” — восклицает он и просит Духа пощадить ребенка. “Что за беда? — издевательски откликается Дух. — Если ему суждено умереть, пускай себе умирает и тем сократит излишек населения!”²² Скрудж раскаивается, решает повысить жалованье своему многострадальному клерку Бобу Крэтчиту и посылает ему в подарок на Рождество индейку. Сумев вовремя принять более оптимистичную и менее фаталистическую точку зрения поколения Диккенса и изменить будущее, Скрудж опровергает мрачные предсказания Мальтуса о том, что “слепому и безжалостному прошлому” суждено вечно воспроизводить себя.

Счастливым рождественский ужин Крэтчита есть прямой ответ Диккенса Мальтусу, который использует метафору “великого пиршества природы”, чтобы предупредить о нежелательных последствиях благотворительности. Человек без средств

к существованию просит сидящих за столом дать место и ему. В былые времена собравшиеся прогнали бы его. Введенные в заблуждение французскими утопистами, они решают игнорировать тот факт, что пищи за столом достаточно только для званых. Приглашая вошедшего присоединиться к ним, они не могут предвидеть, что появятся и новые незваные гости, что еда закончится прежде, чем все ее получат, и что для приглашенных гостей удовольствие от трапезы будет “испорчено зрелищем несчастья и унижения”²³.

Ломящийся от угощений стол в доме Крэтчитов, окруженный сияющими лицами домочадцев, служит антитезой скудной трапезе Мальгуса. Жалким порциям Природы противопоставляется пудинг миссис Крэтчит — “такой необычайно твердый и крепкий, что он более всего похож на рябое пушечное ядро. Пудинг охвачен со всех сторон пламенем от горящего рома и украшен рождественской веткой остролиста, воткнутой в самую его верхушку” — кому-то он мог показаться недостаточно большим, но для ее семьи был в самый раз. “Миссис Крэтчит заявила, что теперь у нее на сердце полегчало, и она может признаться, как грызло ее беспокойство — хватит ли муки. У каждого было что сказать во славу пудинга, но никому и в голову не пришло не только сказать, но хотя бы подумать, что это был очень маленький пудинг для такого большого семейства. Это было бы просто кошунством. Да каждый из Крэтчитов сгорел бы со стыда, если бы позволил себе подобный намек”²⁴.

Рождественский дух был заразителен. К концу рассказа Скрудж даже сам перестал голодать. Вместо того чтобы как обычно выхлебать свою миску каши в одиночестве, Скрудж изумляет племянника своим неожиданным появлением на рождественском ужине. Не стоит и говорить о том, что его наследник спешит выделить ему место за столом.

Надежда Диккенса на то, что “Рождественская песнь” ударит по читателям, как кувалда, сбылась. За время, прошедшее со дня первой публикации рассказа — 19 декабря, — до ро-

ждественского сочельника было распродано шесть тысяч экземпляров, книга печаталась до самого конца жизни Диккенса и после его смерти²⁵. Изображения бедных принесли Диккенсу иронические прозвища, вроде “Мистер Сентиментальный”²⁶, но писатель никогда не колебался в своем убеждении, что жизнь бедных можно существенно улучшить, не разрушая существующего общества.

Диккенс был слишком деловым человеком, чтобы не понимать, что за успешное совершенствование общества нужно чем-то платить. Он не был противником промышленной революции — он просто был “чистым модернизатором” и “верил в Прогресс”. Преуспев в раннем возрасте (ему не было и тридцати!) и только за счет собственного таланта, он был уверен, что предприимчивость — ключ к успеху. Диккенс спасся от бедности, проложив путь в недавно возникшую отрасль СМИ, и его раздражали консерваторы вроде Карлейля и социалисты вроде Милля, которые отказывались признать, что общество “медленно и болезненно, с большим трудом преодолело упадок и невежество”, и “оглядывались на слепое и безжалостное прошлое с тем восхищением, в котором они отказывали настоящему”²⁷.

Ощущение Диккенса, что английское общество просыпается как после долгого кошмара, оказалось пророческим. Не прошло и года после “мятежа” чартистов, а новые настроения терпимости и оптимизма уже стали явными. Премьер-министр от партии тори в частной беседе признал, что многие жалобы чартистов оказались обоснованными²⁸. Лидеры рабочих отвергли призывы к классовой войне и встали на сторону работодателей, стремившихся отменить таможенные пошлины на ввоз зерна и других продуктов питания. Либеральные политики откликнулись на требования парламентских комиссий по детскому труду, несчастным случаям на производстве и другим недостаткам принятием фабричного законодательства 1844 года, которое регулировало продолжительность женского и детского рабочего дня.

Диккенс не воображал, что мир может перестать считать деньги и обойтись вообще без экономической науки. Он лишь надеялся переубедить политэкономистов — подобно тому, как Дух Будущих Святков переубедил Скруджа. Он хотел, чтобы они перестали рассматривать бедность как естественный феномен, отрицая роль идей и намерений или полагая бесспорным, что интересы разных классов диаметрально противоположны. Особенно важным Диккенс считал необходимость для политэкономистов “исповедовать взаимопонимание, терпимость и сочувствие; нечто, что трудно выразить цифрами”²⁹. Он начал выпускать популярный еженедельник “Домашнее чтение”, надеясь убедить экономистов “очеловечить” их науку. Как он писал во вступительной статье, “политическая экономия — это лишь скелет, который нужно обрести плотью и придать ему человеческий облик; немного человеческой живости сверху и чуть человеческой теплоты внутри”³⁰.

Диккенс был не одинок. И в Лондоне, и в разных уголках мира другие люди тоже приходили к этим выводам. Сумев преодолеть выпавшие на их долю невзгоды, они тоже воспринимали человека как порождение обстоятельств. Они тоже осознавали, что материальные условия жизни “девятого десятилетия человечества” уже не были неизменными, predetermined “слепым и безжалостным прошлым” и неподконтрольными человеку. Убежденные в том, что экономические обстоятельства подвластны человеку, но скептически настроенные по отношению к утопическим схемам и “искусственным обществам”, изобретаемым радикальными элитами, они посвятили себя разработке “аналитического механизма”³¹ (или, как позже назвал это другой экономист, “мыслительного аппарата”)³², с помощью которого можно было бы понять, как устроен современный мир и как можно улучшить материальные условия человечества, а тем самым и его моральное, эмоциональное, интеллектуальное и творческое состояние.

Глава I

ВСЕ ТОЛЬКО ЗАРОЖДАЕТСЯ: ЭНГЕЛЬС И МАРКС В ЭПОХУ ЧУДЕС

На самом деле это началось не так уж давно. Все только зарождается... Какой бы странной и необычной ни казалась наша система, она вполне надежна... если мы хотим с ней работать, ее нужно изучать.

Уолтер Бэджет,
*Ломбард-стрит*¹

“Постарайся только, чтобы собранные тобой материалы скорее увидели свет, — писал двадцатитрехлетний Фридрих Энгельс своему революционному соратнику Карлу Марксу. — Давно уже пора сделать это. Итак, надо приниматься энергично за работу и скорее печатать!”²

В октябре 1844 года континентальная Европа представляла собой дымящийся вулкан, в любой момент готовый к извержению. Маркс, зять прусского аристократа и редактор радикального философского журнала, в то время был в Париже, где ему полагалось писать экономический трактат, с математической точностью доказывающий неизбежность революции. Энгельс, потомок рейнских текстильных купцов, жил в своем фамильном имении, погруженный с головой в английские газеты и книги. Он составлял проект “окончательного приговора” тому самому классу, к которому они с Марксом принадлежали³.

Его беспокоило только одно: что революция начнется прежде, чем он закончит рукопись.

Романтический бунтарь с литературными наклонностями, Энгельс был “революционером в душе” и “восторженным коммунистом” уже тогда, когда два года назад впервые встретился с Марксом. Потратив юность на освобождение от строгого кальвинизма своей семьи, стройный, белокурый и чудовищно близорукий артиллерист Прусского королевства был нацелен на борьбу с двумя тиранами — Богом и Мамоной. Убеденный в том, что корнем всех бед является частная собственность и что только социальная революция ведет к справедливому обществу, Энгельс мечтал о “подлинной” жизни философа. Однако, к его бесконечному сожалению, ему было предназначено заниматься семейной торговлей. “Я вовсе не доктор”, — поправил он состоятельного издателя радикальной газеты, который принял его за ученого. И добавил: “и никогда не смогу им стать. Я всего лишь купец”⁴.

Иного быть не могло: на пути к научной карьере стоял Энгельс-старший, фанатичный сторонник евангелической церкви, постоянно конфликтовавший со своим свободомыслящим сыном. Как собственник он был вполне прогрессивен. Он был сторонником свободной торговли, установил на своей фабрике в Вуппертале новейшее ткацкое оборудование из Британии и открыл вторую фабрику в Манчестере — Кремниевой долине времен промышленной революции. Но как отец он не мог примириться с мыслью о том, что его старший сын и наследник стал журналистом и профессиональным агитатором. Когда весной 1842 года в мировой хлопчатобумажной торговле разразился кризис, за которым последовали стачки чартистов, он потребовал, чтобы сразу после окончания обязательной военной службы сын поступил на работу в компанию “Эрмен энд Энгельс” в Манчестере.

Подчинившись сыновнему долгу, Энгельс, однако, не отказался от борьбы с властями на всех уровнях. Манчестер был знаменит воинственностью своих фабричных рабочих. Убеж-

денный в том, что производственные конфликты являются прелюдией к полномасштабному восстанию, Энгельс с радостью отправился в гущу событий, рассчитывая на взлет своей литературной карьеры.

В ноябре по дороге в Англию он заехал в Кельн и посетил обшарпанное помещение продемократической “Рейнской газеты”, для которой время от времени писал статьи за подписью “X”. Там он познакомился с новым редактором — крайне близоруким и резким философом из Трира, завзятым курильщиком сигар, который обошелся с ним довольно грубо. Энгельс не обиделся и получил поручение писать о перспективах революции в Англии.



Когда Энгельс приехал в Манчестер, всеобщая стачка была уже подавлена и войска вернулись в лондонские казармы, но по улицам слонялись безработные и многие фабрики по-прежнему простаивали. Энгельс был убежден, что хозяева фабрик скорее позволят рабочим голодать, чем станут оплачивать прожиточный минимум, но при этом не мог не заметить, что английские фабричные рабочие питались намного лучше, чем немецкие. В то время как на принадлежавшей его семье текстильной фабрике в Бармене рабочий питался почти исключительно хлебом и картошкой, “здесь он каждый день ест говядину и получает за свои деньги лучшее жаркое, чем богат в Германии. Два раза в день он пьет чай, и у него всегда еще остается достаточно денег на то, чтобы за обедом выпить стакан портера, а вечером — грога”⁵.

Конечно, уволенные с предприятий хлопчатобумажной отрасли рабочие были вынуждены, чтобы не умереть с голоду, обращаться к Закону о бедных и питаться в благотворительных столовых, а в только что опубликованном Эдвином Чедвиком “Докладе о санитарном состоянии трудящегося населения Ве-

ликобритании” говорилось, что средняя продолжительность жизни для мужчин составляла в Манчестере 17 лет — в два раза меньше, чем в окрестных деревнях, и что половина родившихся здесь детей умирала в первые пять лет своей жизни. Его красочные описания улиц, служивших сточными канавами, мокрых от плесени домов, гнилой пищи и повсеместного пьянства ярко свидетельствовали о том, что у британских рабочих были серьезные основания для недовольства⁶. Но в то время как Карлейль — единственный британец, которым Энгельс восхищался — предсказывал бунт рабочего класса, Энгельс нашел, что большинство представителей английского среднего класса считали такую возможность маловероятной и смотрели в будущее с “поразительным спокойствием и уверенностью”⁷.

Обосновавшись на новом месте, Энгельс разрешил конфликт между требованиями семьи и своими революционными взглядами в типично викторианском духе. Он жил двойной жизнью. На работе и среди других капиталистов он напоминал “живого, приятного, веселого” Фрэнка Чирибля, “племянника фирмы” из диккенсовского “Николаса Никльби”, который приехал, чтобы “вступить компаньоном в дело” после того, как “четыре года руководил делами фирмы в Германии”⁸. Как и молодой и привлекательный предприниматель из романа, Энгельс безупречно одевался, был членом нескольких клубов, давал хорошие обеды и держал собственную лошадь, чтобы иметь возможность охотиться на лисиц в поместьях друзей. В своей другой — “настоящей” — жизни он “оставил общество и званные обеды, портвейн и шампанское”, чтобы посвятить свой досуг чартистской деятельности и журналистским расследованиям⁹. Вдохновленный разоблачениями английских реформаторов и часто сопровождаемый своей любовницей, неграмотной фабричной работницей из Ирландии, Энгельс проводил свободное время, стараясь поближе узнать Манчестер “как свой родной город”, собирая материал для ярких колонок и эссе, которые он печатал в разных радикальных газетах.

Проработав в Англии 21 месяц в качестве стажера-управляющего, Энгельс открыл для себя экономику. В то время как немецкие интеллектуалы были увлечены религией, английские, казалось, сводили любой политический или культурный вопрос к экономике. Это было особенно верно в отношении Манчестера — оплота английской политэкономии, либеральной партии и “Лиги против хлебных законов”*. Для Энгельса этот город символизировал симбиоз промышленной революции, воинственности рабочего класса и политики невмешательства государства в экономику (*laissez-faire*). Как он вспоминал позднее, здесь он, “что называется, носом ткнулся в то, что экономические факторы, которые до сих пор в исторических сочинениях не играют никакой роли или играют жалкую роль, представляют, по крайней мере для современного мира, решающую историческую силу”¹⁰.

Отсутствие университетского образования — и в особенности то, что он не был знаком с трудами Адама Смита, Томаса Мальтуса, Давида Рикардо и других британских политэкономистов — расстраивало Энгельса, но не мешало ему считать, что британская экономическая теория в корне ошибочна. В одном из последних написанных перед отъездом из Англии эссе он наспех набросал основные тезисы альтернативной теории. Эти ученические опыты он скромно назвал “Наброски к критике политической экономии”¹¹.

По другую сторону Ла-Манша, в богатейшем пригороде Парижа Сен-Жермен-ан-Ле, Карл Маркс был полностью погружен в историю Французской революции. Но, получив по почте статью Энгельса, он резко вернулся к современности — эти “гениальные наброски к критике экономических категорий”¹² привели его в большое возбуждение.

* “Лига против хлебных законов” — созданное в 1838 году в Англии общество, которое стремилось к отмене хлебных пошлин и установлению полной свободы торговли.

Маркс тоже был расточительным (и распутным) сыном буржуазного отца. Он тоже был интеллектуалом, сопротивлявшимся обывательскому миру. Он разделял мнение Энгельса об интеллектуальном и культурном превосходстве немцев, восхищался всем французским и негодовал по поводу британского богатства и могущества. Однако во многих отношениях он был прямой противоположностью Энгельса. Властный, импульсивный, увлеченный и хорошо образованный, Маркс был лишен легкости, гибкости и светскости, присущих Энгельсу. Он был всего на два с половиной года старше Энгельса, но уже успел жениться, завести дочь и стать доктором философии (причем настаивал, чтобы именно так к нему и обращались). Невысокий, коренастый, с почти наполеоновским телосложением, он был покрыт жесткими угольно-черными волосами, которые росли на щеках, руках, в носу и ушах. Его “глаза светились умом и злобным огнем”, и, как вспоминает его помощник по “Рейнской газете”, он любил начинать разговор словами “сейчас я вас уничтожу”¹³. Один из его биографов, Исайя Берлин, полагал, что “вера Маркса в себя и в свои силы” была его “самой выдающейся характеристикой”¹⁴.

В отличие от практичного, обладавшего деловой хваткой Энгельса Маркс, как отмечал Бернард Шоу, “не имел ни административного опыта”, ни “деловых отношений с кем бы то ни было”¹⁵. Он был, бесспорно, талантлив и эрудирован, но полностью лишен свойственного Энгельсу трудолюбия. В то время как Энгельс готов был в любое время суток засучить рукава и начать писать, Маркса скорее можно было найти в кафе, где он пил вино и спорил с русскими аристократами, немецкими поэтами и французскими социалистами. Один из его покровителей писал: “он много читает. Он работает с необычайной интенсивностью... Он никогда ничего не заканчивает. Он поминутно прерывает исследования, чтобы окунуться в свежий океан книг... Он вспыльчив и резок как никогда, особенно после того, как заработался до болезненного состояния и в конце не спал три-четыре ночи подряд”¹⁶.

Маркс был вынужден заняться журналистикой после того, как ему не удалось получить должность в немецком университете, а его многострадальная семья наконец отказала ему в финансовой поддержке¹⁷. Проработав всего полгода в кельнской газете (“здесь сам воздух превращает тебя в раба”), он вступил в схватку с прусским цензором и уволился. К счастью, Марксу удалось уговорить состоятельного социалиста начать финансировать новый философский журнал “Немецко-французский ежегодник” и назначить самого Маркса руководителем издания в его любимом городе — Париже.

Манчестерские репортажи Энгельса, в которых подчеркивалась связь между экономическими причинами и политическими следствиями, произвели на Маркса сильное впечатление. До этого он не был знаком с экономикой. Словам *пролетариат*, *рабочий класс*, *материальные условия* и *политическая экономия* еще предстояло появиться в его переписке. Как видно из его письма к покровителю, он мечтал об объединении всех “врагов филистерства, т. е. всех тех, кто мыслит и страдает”, но ставил своей целью преобразование сознания, а не отмену частной собственности. Из его статьи в первом и единственном выпуске “Немецко-французского ежегодника” видно, что Маркс планировал метать во власть критические стрелы, а не булыжники: “Каждый вынужден признаться себе самому, что не имеет точного представления о том, каково должно быть будущее. Между тем преимущество нового направления как раз в том и заключается, что мы не стремимся догматически предвосхитить будущее, а желаем только посредством критики старого мира найти новый мир”.

И далее: “мы просто покажем миру, почему он находится в таком бедственном положении... Нашей программой должна стать реформа сознания... уяснение смысла собственной борьбы и собственных желаний”. Роль философа была аналогична роли священника: “речь идет об *исповеди*, не больше. Чтобы очиститься от своих грехов, человечеству нужно только объявить их тем, чем они являются на самом деле”.

Маркс и Энгельс впервые по-настоящему познакомились в августе 1844 года в “Кафе де ля Режанс”. Возвращаясь в Германию, Энгельс специально остановился в Париже, чтобы снова встретиться с человеком, который так резко обошелся с ним в прошлый раз. Десять дней напролет они разговаривали, спорили, пили, снова и снова обнаруживая, что думают одинаково. Маркс разделял убежденность Энгельса и в том, что реформировать современное общество совершенно невозможно, и в том, что необходимо освободить Германию от Бога и традиционной власти. Энгельс познакомил его с понятием пролетариата. Маркс немедленно почувствовал свою принадлежность к этому классу. Он относил к пролетариату не только — как можно было ожидать — “*стихийно сложившуюся бедность*”, но и “*искусственно созданную бедность, ... возникшую из стремительного процесса его [общества] разложения*”¹⁸ — аристократов, потерявших свои земли, обанкротившихся предпринимателей и безработных ученых.

Подобно Карлейлю и Энгельсу, Маркс считал голод и мятежные настроения доказательством того, что буржуазия неспособна к управлению. Он предсказывал, что “категорический императив” заставит пролетариат свергнуть эксплуататоров¹⁹. Уничтожив частную собственность, пролетариат освободит не только себя, но и общество в целом. По мнению историка Гертруды Гиммельфарб, Энгельс и Маркс были далеко не единственными викторианцами, убежденными, что современное им общество смертельно больно²⁰. Однако от Карлейля и других социальных критиков их отличала уверенность в неизбежности гибели существовавшего общественного порядка. Несмотря на свое стремление освободиться от протестантских догм, они считали, что предсказываемый ими экономический крах и насильственная революция, так сказать, предопределены — их нельзя избежать. Если предупреждение Карлейля о грядущем конце света было призвано вызвать раскаяние и привести к реформам, то предупреждение двух молодых немцев должно было

побудить читателей присоединиться к будущим победителям, пока не стало слишком поздно.

В написанной в 1844 году работе “Положение рабочего класса в Англии” Энгельс очень наглядно, хотя и не всегда корректно, показывает, что английский промышленный пролетариат обычно ведет полуголодное существование и что в 1842 году именно голод толкнул его на насилие против владельцев фабрик. Однако в этом журналистском исследовании ему не удалось доказать, что жалкое состояние рабочих неизбежно и что не существует иного выхода, кроме разрушения английского общества и установления диктатуры чартистов. Это был спор, в котором Энгельс постоянно проигрывал своим английским знакомым, и эту проблему он предлагал решить Марксу. Он объяснял Марксу, что в Англии социальные и моральные проблемы сведены к экономическим и что социальные критики вынуждены бороться с *экономической* реальностью. Подобно последователям немецкого философа Георга Гегеля, которые использовали религию для свержения самой религии с пьедестала и демонстрации лживости правящей элиты Германии, им придется использовать принципы политической экономии для уничтожения ненавистной английской “религии денег”.

Расставшись с новым другом, Энгельс направился домой, в Германию, чтобы выдвинуть свои обвинения “в массовых убийствах, грабежах и других преступлениях” в адрес английской буржуазии (имея в виду и немецкую тоже)²¹. Работа на семейной хлопкопрядильной фабрике убедила Энгельса в гнусности торговли²². Ему “никогда не приходилось наблюдать класса более глубоко деморализованного, более безнадежно испорченного своекорыстием, более разложившегося внутренне и менее способного к какому бы то ни было прогрессу, чем английская буржуазия”. Эти “торгаши”, как называет он манчестерскую буржуазию, истово поклоняются “политической экономии, науке о способах наживать деньги”, оставаясь

абсолютно равнодушными к бедствиям рабочих до тех пор, пока рабочие приносят прибыль — любые человеческие ценности, кроме денег, им совершенно безразличны. “Торгашеский дух” английских высших классов вызывает такое же отвращение, что и “фарисейская благотворительность”, которую оказывают бедняку, “высосав из него последние соки”. Поскольку английское общество все более явно “расслаивается на имущих и неимущих”, неизбежная “война бедных против богатых” будет “более кровавой, чем все ей предшествовавшие”²³. Перо Энгельса было таким же бойким, как его язык — он закончил рукопись меньше чем за три месяца.

Энгельс постоянно уговаривал Маркса: “постарайся скорее кончить свою книгу по политической экономии... Важно, чтобы книга появилась как можно скорее”²⁴. Его собственная книга “Положение рабочего класса в Англии” была опубликована в Лейпциге в июле 1845 года. Она удостоилась положительных рецензий и хорошо распродавалась даже до того, как разразившийся экономический и политический кризис — который по прогнозу автора должен был случиться в “1846 или 1847” году — придал ей дополнительный ореол сбывшегося пророчества. На создание “Капитала”, грандиозного труда Маркса, в котором он обещал раскрыть “закон движения современного общества”, ушло на двадцать лет больше²⁵.

Когда в 1849 году Генри Мейхью, корреспондент “Лондон морнинг кроникл”, поднялся на Золотую галерею собора Св. Павла, чтобы посмотреть на родной город с высоты птичьего полета, он обнаружил, что “невозможно понять, где кончается небо и начинается город”²⁶. Каждые десять лет город расширялся примерно на 20% — его рост, “похоже, не подчинился ни одному известному закону”²⁷. К середине столетия его население выросло до двух с половиной миллионов. Жителей Лондона с лихвой хватило бы для заселения двух Парижей, пяти Вен или сразу восьми следующих по величине городов Англии²⁸.

Лондон был “воплощением экономического чуда XIX века”²⁹. Лондонский порт — самым большим и хорошо организованным портом мира. Еще в 1833 году один из партнеров банка “Братья Баринги” заметил, что Лондон стал “центром притяжения торговли”. Мокрые доки Лондона занимали сотни акров и служили одной из главных туристических достопримечательностей — не в последнюю очередь из-за винного погреба площадью двенадцать акров, который давал посетителям возможность попробовать бордо. Запахи: пикантный запах табака, всепоглощающий — рома, тошнотворный — шкур и рогов, благоухание кофе и специй — были неотъемлемой частью международной торговли, бесконечного потока приезжих и широко раскинувшейся империи.

“Я не знаю ничего более внушительного, чем вид Темзы, когда с моря подъезжаешь к Лондонскому мосту, — признался Энгельс в 1842 году, впервые увидев Лондон. — Эти массы домов, верфи с обеих сторон и в особенности со стороны Вулиджа, бесчисленное множество судов вдоль обоих берегов, все плотнее и плотнее смыкающихся и под конец оставляющих лишь узенькое пространство посередине реки, по которому постоянно снуют сотни пароходов, — все это столь величественно, столь грандиозно, что не можешь опомниться”³⁰.

По мнению историка искусства Джона Рескина, железнодорожные вокзалы Лондона “превосходили размерами стены Вавилона и замки Эфеса”. “День и ночь победоносные паровозы грохотали вдаль”, — писал Диккенс в романе “Домби и сын”. Из Лондона можно было добраться до Шотландии на севере, до Москвы на востоке и до Багдада на юге. Одновременно железная дорога раздвигала границы Лондона в глубь окружающих предместий. Как писал Диккенс, “жалкий пустырь, где в былые времена громоздились кучи отбросов, был поглощен и уничтожен; и место этого грязного пустыря заняли ряды торговых складов, переполненных дорогами товарами и ценными продуктами. Прежние закоулки были теперь запружены пешеходами и всевозможными экипажами;

новые улицы, которые прежде уныло обрывались, упершись в грязь и колесные колеи, образовали теперь самостоятельные города, рождающие благотворный комфорт и удобства, о которых никто не помышлял, покуда они не возникли. Мосты, которые прежде никуда не вели, приводили теперь к виллам, садам, церквам и прекрасным местам для прогулок. Остовы домов и начала новых улиц развили скорость пара и ворвались в предместья чудовищным поездом”³¹.

Финансовое сердце мировой торговли билось в Сити — деловом центре Лондона. Не склонный к преувеличениям финансист Натан Мейер Ротшильд называл Лондон “банком мира”³². Купцы обращались туда за получением краткосрочных ссуд на финансирование международной торговли, а правительства выпускали в обращение долговые обязательства для строительства дорог, каналов и железных дорог. Несмотря на юный возраст лондонской фондовой биржи, купцы и дисконтеры Сити привлекали в три раза больше “заемного капитала”, чем нью-йоркские, и в десять раз больше, чем парижские³³. Жадный интерес банкиров, инвесторов и купцов к информации помогал превращению Лондона в информационный и коммуникационный центр. “Теперь новости доступны всем”, — жаловался Ротшильд в 1851 году, когда появление телеграфа свело на нет преимущества, которые давала ему собственная голубиная почта³⁴.

Именно Лондон, а не новые промышленные города севера, мог похвастаться самой высокой концентрацией промышленности в мире: здесь трудился каждый шестой промышленный рабочий Англии — около полумиллиона людей³⁵. Это примерно в десять раз превосходило число рабочих на хлопкопрядильных фабриках Манчестера. И “темные фабрики сатаны” из “Иерусалима” Уильяма Блейка могли находиться вовсе не в кокстаунах* Северной Англии. Как и гигантская

* *Кокстаун* — вымышленный город из романа Ч. Диккенса “Тяжелые времена”.

мукомольная мельница “Альбион миллс”, на которой работало пятьсот человек и которая приводилась в движение огромными паровыми машинами Джеймса Уатта, они скорее всего стояли на берегу Темзы в Лондоне³⁶. Популярный в 1850-х годах путешеводитель упоминает о “водоочистных сооружениях, газовых заводах, судостроительных верфях, дубильных фабриках, пивоварнях, винокурнях и стекольных заводах, размеры коих вызовут немалое удивление у тех, кто увидит их впервые”³⁷. В Лондоне не было одной доминирующей отрасли, скажем, текстильной, и на большинстве лондонских предприятий работало менее десятка человек³⁸, зато некоторые отрасли целиком концентрировались именно в столице: печать — на Флит-стрит, краска и измерительные приборы — в Кэмдене, мебельщики — вокруг Тотенхем-Корт-роуд. На бескрайних верфях в Попларе и Милуолле трудились тысячи мужчин и мальчиков, занятых постройкой самых больших в мире пароходов и военных броненосцев. Однако если такие фабричные города, как Лидс и Ньюкасл, обеспечивали в основном английский экспорт, большая часть лондонских производителей удовлетворяла нужды самого города. В Вондсворте были мукомольные фабрики, в Уайтчепеле — рафинадные заводы, в Чизике — пивоварни, в Смитфилде — скотные рынки, в Бермондси — кожевенные, свечные и мыльные фабрики. Мейхью называл Лондон “самым активным промышленным центром” мира³⁹.

Помимо всего прочего, Лондон был и самым большим рынком мира. Здесь можно было “по невысокой цене и с минимумом усилий обрести удобства, приспособления, устройства, какие и не снились богатейшим и могущественнейшим монархам”⁴⁰. В Вест-Энде — районе богачей — “все в той или иной степени сияет — от оконных стекол до собачьих ошейников”, а “воздух пропитан — почти благоухает — присутствием высочайшего общества мира”⁴¹. На Риджент-стрит — невиданное разнообразие “часовщиков, галантерейщиков и фотографов; изысканных канцтоваров, трикотажных изделий, корсетов; магазинов музыкальных инструментов, шалей, ювелирных

изделий, парфюмерии и кружев; кондитерских и мастерских по изготовлению шляп и французских перчаток”⁴².

Мейхью справедливо связывает “интенсивность... торговли” с “изобилием в Лондоне купцов и вызванным этим высоким уровнем благосостояния”⁴³. Как горделиво писали в журнале “Экономист”: “сюда стекаются богатейшие люди империи. В городе самый высокий уровень жизни, самая высокая арендная плата и широчайшие возможности для зарабатывания денег”⁴⁴. В Лондоне жил каждый шестой британец, а доля дохода, приходившаяся на этот город, была еще выше. Средние доходы здесь на 40% превышали доходы в других английских городах, и не только потому, что в Лондоне жили наиболее состоятельные люди, но и потому что зарплаты здесь были на треть выше, чем в других местах. Многонаселенность и высокие доходы делали Лондон небывалым средоточием потребительского спроса, намного превосходившим все остальные города мира. Экономический историк Гарольд Перкин утверждает, что “основным экономическим двигателем промышленной революции был потребительский спрос”: именно он — а не изобретение паровой машины или ткацкого станка — дал самый сильный импульс⁴⁵. Потребности Лондона, страсть к новинкам и растущая платежеспособность давали предпринимателям мощные стимулы для внедрения новых технологий и развития новых отраслей.

Лондон притягивал не только некоторых богатейших людей мира, но и сотни тысяч беднейших. Когда Мейхью писал о “беспрецедентном множестве людей, привлеченных к этому месту подобным богатством”, он имел в виду не только владельцев магазинов, лавочников, юристов и докторов, обслуживавших исключительно состоятельных людей, но и легионы неквалифицированных приезжих из окрестных графств, которые искали работу в качестве слуг, швей, сапожников, плотников, докеров, временных работников и курьеров, а если не находили — пополняли ряды воришек, мусорщиков и проституток⁴⁶. Контраст между бедностью и богатством становился еще

более ярким в результате массового переезда состоятельных людей в предместья и приобретал, по мнению наблюдателей, особое значение из-за всеобщего убеждения, что Лондон является прообразом будущего. В самой бедности не было, разумеется, ничего нового. Но если в сельской местности голод, холод, эпидемии и невежество представлялись природными явлениями, то в столице мира нищета казалась рукотворной, почти намеренной. Разве наготове не было средств для ее уничтожения — всех этих пышных особняков, изысканной одежды, роскошных карет и расточительных развлечений? На самом деле нет. Так могли рассуждать лишь простодушные наблюдатели, не понимавшие, что, покормив бедняков пару дней пирогами, не решишь проблемы производства хлеба, одежды, топлива, жилищ, образования и медицинского обслуживания в таком масштабе, который позволил бы выдернуть большинство англичан из бедности. Мейхью был не одинок в своих наивных представлениях о том, что ряды кирпичных зданий, “огромных складов”, содержали достаточно сокровищ, “чтобы обогатить — вероятно — весь мир”⁴⁷.

Лондон притягивал к себе журналистов, художников, писателей, социальных реформаторов, священников и других исследователей общества — как “маленькая модель целого мира, где все можно увидеть своими глазами”⁴⁸. Сюда приезжали, чтобы понять, в каком направлении движется общество. И если в XVIII веке особое внимание привлекали грехи, преступления и разврат, то в викторианском Лондоне приезжих чаще поражали крайности нищеты и богатства.

Как отмечал Чарльз Диккенс в “Холодном доме”, качество воздуха в самом крупном и богатом городе мира было хуже всего в ноябре⁴⁹. Двадцать девятого числа этого месяца 1847 года Фридрих Энгельс и Карл Маркс шли по Грейт-Уиндмилл-стрит в направлении Пикадилли. Они шли, наклонив головы, изо всех сил стараясь не провалиться по щиколотку в грязь

и не попасть под ноги толпы. Их крайняя близорукость и желтая сернистая мгла Лондона не позволяли видеть дальше чем на фут вперед.

Энгельс, еще по-кадетски подтянутый, и Маркс, еще с угольно-черной гривой и внушительной бородой, приехали в Лондон на конгресс Союза коммунистов, одной из множества мелких групп, в состав которых входили утописты, социалисты и анархисты из стран Центральной Европы, слегка разбавленные чартистами и борцами за всеобщее избирательное право для мужчин из числа клерков-кокни — все эти группки процветали в Англии благодаря относительной защищенности гражданских прав и мягкости законов об иммиграции. Резкий спад, пришедший на смену бурному строительству железных дорог, вызвал панику на финансовых рынках Лондона и континентальной Европы и побудил Союз срочно созвать конгресс, чтобы определиться наконец со своими несколько смутными целями. Энгельс уже убедил Союз отказаться от скучного лозунга “Все люди — братья!” в пользу более энергичного “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” и составил два проекта манифеста, который они с Марксом предлагали Союзу принять. Они планировали оттеснить от руководства тех, кто рассчитывал удовлетворить жалобы рабочих без изменения существующего порядка. “На этот раз все будет в наших руках”, — пообещал Энгельс Марксу в своем последнем письме⁵⁰.

В конце концов они нашли дорогу к Сохо и пабу “Красный лев”. Штаб-квартира Просветительного общества немецких рабочих, служившего прикрытием для нелегального Союза, находилась на втором этаже. В комнате было несколько деревянных столов и стульев, а в углу стоял рояль, призванный помочь беженцам из Берлина и Вены почувствовать себя в “немузыкальном” Лондоне как дома⁵¹. Воздух пропах мокрой шерстью, дешевым табаком и теплым пивом. Заседания продолжались десять дней — все это время Энгельс и Маркс управляли происходящим, уверенно лавируя в атмосфере заговоров и подозрительности.

В какой-то момент Маркс прочел вслух подготовленный Энгельсом проект манифеста. Один из делегатов вспоминал непреклонную логику философа и “саркастический изгиб” его губ. Другому запомнилось, что Маркс шепелявил, из-за чего некоторым послышалось *eight-leaved clovers* (восьмилиственный клевер), в то время как на самом деле он сказал *workers* (рабочие)⁵². У некоторых делегатов Энгельс и Маркс вызвали отторжение как буржуазные умники. Однако за десять дней “оппозицию... удалось победить”.

Конгресс проголосовал за принятие их манифеста и провозгласил своей целью “свержение буржуазии, уничтожение частной собственности и отмену наследственных прав”. Марксу, который к тому времени успел промотать несколько состояний, полученных в наследство от различных родственников, и уже снова был без гроша, было поручено составить окончательный вариант текста, с помощью которого Союз призывал к оружию своих будущих сторонников⁵³.

Энгельс хотел, чтобы текст представлял собой “простой исторический очерк”, и предложил назвать его “Коммунистическим манифестом”. Он считал важным рассказать об истоках современного общества и объяснить, почему оно обречено на саморазрушение. “Манифест” представлялся ему Книгой Бытия и Откровением в одном флаконе⁵⁴.

С тех пор как Энгельс познакомил Маркса с английской политэкономией, прошло три года, и Маркс уже называл себя экономистом⁵⁵. Кроме того, он проникся эволюционными теориями, наводнявшими в то время естествознание. Как и другие левые сторонники Гегеля, он представлял себе общество как организм развивающийся, а не воспроизводящийся неизменным из поколения в поколение⁵⁶.

Он хотел показать, что промышленная революция не сводится к внедрению новых технологий и бурному росту производительности труда. Она создала огромные города, фабрики

и транспортные сети. Она дала старт интенсивной международной торговле, благодаря которой на смену национальной самодостаточности пришла всеобщая взаимозависимость. Она ввела в экономическую действительность новую схему: чередование подъемов и депрессий. Она порвала внутренние связи старых социальных групп и создала совершенно новые, от промышленников-миллионеров до задавленных нищетой городских рабочих.

На протяжении многих столетий по мере возникновения и падения империй, увеличения и уменьшения богатства стран небольшое и размазанное по поверхности земного шара население увеличивалось незначительно. При этом неизменными оставались материальные условия существования — именно они обрекали на бедственное положение громадное большинство людей. Промышленная революция — хватило двух-трех поколений — продемонстрировала, что богатство страны может возрасти не на какие-то сотые доли, а многократно. Она поколебала основной принцип человеческой жизни: подчиненность человека природе и ее жестокой диктатуре. Прометей похитил у богов огонь — промышленная революция подтолкнула человека к захвату власти.

Энгельс и Маркс яснее большинства своих современников осознавали новизну общества, в котором выросли, и были наиболее последовательны в своих попытках выявить последствия этой новизны. Они были убеждены, что современное общество развивается быстрее, чем когда-либо. Осознание перемен и переменчивости взорвало мир традиционных истин и общепризнанных норм. Как писал Маркс: “все сословное и застойное исчезает”⁵⁷. Безусловно, острота их восприятия хотя бы отчасти объясняется тем, что они приехали в Англию в роли, так сказать, иностранных корреспондентов из страны, которой еще предстояло пройти через промышленную революцию. Путь из немецких Трира и Бармена в Лондон был путешествием в будущее. Мало у кого, кроме, быть может, Чарльза Диккенса, увиденное вызывало такое же возбуждение

и отвращение одновременно. Маркс и Энгельс проповедовали презрение к филистерской торгашеской культуре Англии, завидуя в то же время ее богатству и могуществу. Из своих наблюдений они вынесли убеждение, что в современном мире политическая власть опирается не на стволы винтовок, а на экономическое превосходство страны и энергию ее буржуазии.

Англия была колоссом современного мира. “Если поставить вопрос, какой народ больше всего *достиг*, то никто не станет отрицать, что этим народом являются англичане”, — признавал Энгельс⁵⁸. Промышленность и торговля сделали эту страну самой богатой в мире. Между 1750 и 1850 годами ее внутренний валовой продукт (стоимость ежегодно производившихся в стране товаров и услуг) увеличился в четыре раза, а за сто лет он вырос больше, чем за предыдущую тысячу⁵⁹. В “Манифесте” подчеркивался беспрецедентный рост производительности труда, которая, по мнению Энгельса и Маркса, в будущем должна была определять политическую власть в современном мире:

Буржуазия менее чем за сто лет своего классового господства создала более многочисленные и более грандиозные производительные силы, чем все предшествовавшие поколения, вместе взятые. ... Она впервые показала, чего может достигнуть человеческая деятельность. Она создала чудеса искусства, но совсем иного рода, чем египетские пирамиды, римские водопроводы и готические соборы; она совершила совсем иные походы, чем переселение народов и крестовые походы⁶⁰.

У Маркса и Энгельса не было сомнений в том, что производственные возможности Англии будут и дальше возрастать многократно. Но они были также убеждены, что в механизме распределения богатства имеется роковой изъян, из-за которого рухнет вся система. Несмотря на чрезвычайный прирост

общего благосостояния, чудовищно низкий уровень жизни трех четвертей трудящихся британцев повысился лишь незначительно. Недавние оценки Грегори Кларка и других экономических историков показывают, что с 1750 по 1850 год средняя зарплата выросла примерно на одну треть, причем с чрезвычайно низкого начального уровня⁶¹. Безусловно, трудящийся класс стал гораздо более многочисленным — ведь население Англии утроилось. И его положение было не таким жалким, как положение рабочих в Германии или Франции.

Но продвижение в одних областях компенсировалось отставанием в других. Прежде всего основное увеличение зарплат произошло после 1820 года, при этом львиная доля прироста досталась квалифицированным ремесленникам и фабричным рабочим. Рост зарплат неквалифицированных рабочих, в том числе сельских, был ничтожен — да и он сводился на нет, как и боялся Мальтус, тем, что семьи здесь были очень большими. Рабочее место было легко потерять, потому что на производстве и в строительстве подъемы постоянно сменялись спадами. Рабочий день стал длиннее, жены и дети все чаще тоже были вынуждены работать.

Уровень жизни городских рабочих дополнительно снижался за счет ухудшения окружающей среды. Массовое переселение деревенских жителей в города началось раньше, чем была открыта инфекционная природа заболеваний, и раньше, чем получили повсеместное распространение системы сбора мусора, канализации и очистки воды. Несмотря на то что в сельской местности Англии люди жили беднее, продолжительность жизни там составляла 45 лет против 31 и 32 в Манчестере и Ливерпуле соответственно. Там, где условия меньше способствовали распространению инфекций, грязь и недоедание не были столь смертоносны. Во времена, когда города вроде Ливерпуля росли на 31% или даже 47% за каждое десятилетие, эпидемии представляли постоянную опасность. От них не были защищены даже богатейшие из богатых (принц Альберт, муж королевы Виктории, умер от брюшного

тифа), но в условиях недоедания и перенаселенности риски возрастали многократно. Когда в первой половине XIX века ускорился приток мигрантов в города, здоровье среднего рабочего не только перестало улучшаться по мере роста его доходов, но иной раз и ухудшалось. С 1781 года по 1851-й ожидаемая продолжительность жизни при рождении выросла с 35 до 41 года, но в 1820-е уровень смертности перестал падать. Уровень детской смертности во многих городских приходах вырос, а средний рост взрослых — показатель питания в детстве, на котором сказываются как болезни, так и недосыдание — у мужчин, рожденных в 1830-е и 1840-е годы, был меньше, чем у представителей предыдущих поколений⁶².

И реакционеры, и радикалы задавались вопросом: не поразило ли Англию проклятье Мидаса? “Вся эта процветающая промышленность Англии с ее бьющим через край благосостоянием никого пока не сделала богатым — это заколдованное благосостояние”, — возмущался Карлейль⁶³. Экономический историк Арнольд Тойнби утверждал, что первая половина XIX столетия “была самым страшным и разрушительным периодом из всех, выпадавших когда-либо на долю какой-либо страны. Страшным и разрушительным, потому что одновременно с бурным ростом благосостояния так же резко росла нищета; а крупномасштабное производство — результат свободной конкуренции — вело к быстрому размежеванию классов и разорению большого числа производителей”⁶⁴.

Как справедливо отмечал ведущий английский философ Джон Стюарт Милль, постепенная отмена системы законов, пошлин и патентов, прикреплявших “низшие слои” к определенным деревням, занятиям и хозяевам, повысила социальную мобильность: “люди не привязаны более самим своим рождением к своему положению в жизни... они вольны применять свои способности и пользоваться предоставляющимися возможностями для достижения того, что представляется им желательным”⁶⁵. Но даже Милль, либерал с сильным социалистическим уклоном, не видел особых улучшений в благо-

состоянии большинства англичан: “в настоящий момент кажется сомнительным, что все эти механические изобретения облегчили ежедневный труд хотя бы одного человеческого существа”⁶⁶.

Поэтому на второй год ирландского картофельного голода авторы “Манифеста коммунистической партии” повторили выдвинутое Энгельсом ранее обвинение в том, что с ростом мощи и благосостояния страны положение народа лишь ухудшается: “Современный рабочий с прогрессом промышленности не поднимается, а все более опускается ниже условий существования своего собственного класса. Рабочий становится паупером, и пауперизм растет еще быстрее, чем население и богатство. Это ясно показывает, что буржуазия неспособна оставаться долее господствующим классом... Пролетариям нечего терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир. ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!”⁶⁷

Высланный из Франции за публикацию сатирического очерка, направленного против прусского короля, Маркс со своей растущей семьей и служанкой жил в Бельгии на полученный от издателя аванс за экономический трактат. После месячного пребывания в Лондоне Маркс вернулся в свой дом в предместьях Брюсселя и, отложив написание окончательного варианта “Манифеста”, занялся циклом лекций по... экономике эксплуатации. В январе, после того как сотрудники Союза пригрозили отдать заказ кому-нибудь другому, он наконец взялся за перо. Частично законченная черновая версия была отослана по почте как раз перед тем, как новость о произошедшем в Париже столкновении между республиканцами и муниципальной гвардией достигла Грейт-Уиндмил-стрит. К 21 февраля у Союза была тысяча экземпляров “Манифеста” на немецком языке — тираж был напечатан и доставлен на границу с Францией. Прусские власти немедленно конфисковали все экземпляры, кроме одного.

Маркс и Энгельс с нетерпением ждали Армагеддона. Как многим романтикам XIX века, им казалось, что “они живут в атмосфере кризиса и надвигающейся катастрофы”, во время которой может случиться *все, что угодно*⁶⁸. Иоанн Богослов, удалившийся в монастырь на острове Патмос и записавший свои Откровения, подсказал им прекрасный финал для истории современного общества и их “Манифеста”: общество распадается на два диаметрально противоположных лагеря, происходит финальная битва, Рим падает, угнетенные добиваются справедливости, угнетатели осуждены, наступает конец истории.

В 1848 году конец истории не наступил. Произошла Французская революция, но привела она не к социализму и даже не к всеобщему избирательному праву для мужчин, а к воцарению Наполеона III. В результате провозглашения Французской республики Маркса немедленно выслали из Бельгии, а через несколько недель после того, как он нашел новое пристанище в Париже, его начали преследовать и французские власти. Когда парижская полиция пригрозила отправить его в болотистую безлюдную местность в сотнях миль от столицы, Маркс запротестовал, ссылаясь на состояние здоровья, и стал подыскивать страну, которая бы его приняла. В августе 1849 года он переехал в Лондон — этот “Патмос иностранных беженцев”, где жил бывший французский король Луи-Филипп и многие другие политические изгнанники⁶⁹. Он утешал себя тем, что это не надолго.

Приезд Маркса в Лондон совпал с одной из самых страшных эпидемий холеры в истории города. За время этой эпидемии умерло 14 500 взрослых и детей⁷⁰. Вспышка заболевания побудила журналиста Генри Мейхью написать целую серию поразительных репортажей о жизни лондонской бедноты⁷¹. Несостоявшийся ученый, постоянно воевавший со своим отцом, Мейхью был энергичным и обаятельным толстяком,

полностью лишенным денежных средств. В тридцать семь лет бывший редактор и один из основателей юмористического журнала “Панч” все еще приходил в себя после унижительного банкротства, которое стоило ему лондонского особняка и чуть не привело его в тюрьму. После нескольких месяцев кропания низкопробных книжонок с пародийными названиями вроде “Добрый гений, который превращал все в золото”, Мейхью почувствовал, что у него появился шанс вернуться.

Репортаж Мейхью провел читателей “Морнинг кроникл” по “столице холеры”, дом за домом, и состоял из восьмидесяти восьми серий⁷². Одним из самых нездоровых уголков района Бермондси на южном берегу Темзы был остров Джекоба, который Диккенс увековечил в “Оливере Твисте”. Мейхью пообещал читателям увлекательное описание обитателей района — “тех, кто желает работать, тех, кто не может работать, и тех, кто не желает работать”⁷³. Он заверил публику, что он “не чартист, не протекционист, не социалист и не коммунист” (что было чистой правдой), а всего лишь “простой собиратель фактов”⁷⁴. С командой помощников и несколькими кебменами, находившимися (более или менее) на жалованье, он обходил дома, где были “шаткие деревянные галереи ... с дырами в полах, сквозь которые виден ил; окна, разбитые и заклеенные, с торчащими из них жердями для сушки белья, которого никогда на них нет; комнаты, такие маленькие, такие жалкие, такие тесные, что воздух кажется слишком зараженным даже для той грязи и мерзости, какую они скрывают”⁷⁵.

Мейхью обнаружил, что трудящиеся Лондона ни в коей мере не представляли собой единого монолитного класса, но являлись мозаикой из различных, четко разграниченных групп⁷⁶. Он проигнорировал самую многочисленную группу занятости в городе: 150 тысяч домашних слуг, число которых показывало, какой большой вклад в экономику города вносили богачи. Точно так же он не обратил внимания примерно на 80 тысяч рабочих, занятых строительством железных дорог, мо-

стов, дорог, канализации и т. п. Мейхью сосредоточился лишь на нескольких ремеслах. Как объясняет историк Гарет Стедман Джонс, лондонский рынок рабочей силы пестрел контрастами. С одной стороны, город привлекал высококвалифицированных ремесленников, которые обслуживали богачей и зарабатывали здесь на четверть, а то и на треть больше, чем в других городах — столько же, сколько клерки и владельцы магазинов, составлявшие “нижний” средний класс. С другой стороны, он процветал за счет непрерывного притока неквалифицированных рабочих. В Лондоне они также получали больше, чем в провинции, но условия жизни у них были в основном хуже, потому что обитали они в перенаселенных ветхих постройках в районах вроде Уайтчепела, Степни, Поплара, Бетнал-Грина и Саутворка, которые в 1840-е годы были очень подробно описаны парламентскими комиссиями. Клерки, торговцы и другие “белые воротнички” могли позволить себе пользоваться недавно появившимися омнибусами и поездами и переселялись в быстрорастущие предместья. У чернорабочих такой возможности не было — они были вынуждены жить в пешей доступности от места работы.

Конкуренция со стороны провинциальных городов и других стран была постоянным источником давления, побуждавшим предпринимателей искать пути экономии на рабочей силе. Потогонные мастерские или работа на шельдине — часто прямо по месту жительства — были идеальным средством для сохранения в Лондоне таких отраслей, как изготовление одежды и обуви, которые в противном случае были бы вытеснены из столицы из-за высоких накладных расходов, арендной платы и зарплат. Таким образом, заключал Стедман Джонс, лондонская нищета с ее потогонными мастерскими, перенаселенностью, хронической безработицей и упованием на благотворительность была фактически побочным продуктом лондонского богатства. Быстрое расширение города вело к росту цен на землю, высоким накладным расходам и зарплатам. Высокие зарплаты привлекали новые волны неквалифицирован-

ных приезжих и в то же время заставляли нанимателей искать пути замены дорогих рабочих дешевыми.

Лондонские швеи были наиболее наглядным примером этого явления, и именно они стали героинями самых захватывающих репортажей Мейхью, который анонсировал “невиданное зрелище, неслыханные истории”⁷⁷. Опираясь на результаты переписи, Мейхью определил, что в Лондоне было 35 тысяч швей, из которых 21 тысяча работала в “респектабельных” мастерских — от ателье по пошиву на заказ до цехов, снабжавших одеждой низший средний класс. Остальные 14 тысяч, писал он, работали в “недостойном”, потогонном секторе⁷⁸. Мейхью утверждал, что тарифы на сдельщине “для швей были настолько ниже прожиточного уровня, что для выживания им практически необходимо было воровать, отдавать вещи в залог или заниматься проституцией”⁷⁹.

В этом проекте Мейхью играл роль скорее импресарио, чем наблюдателя. В ноябре он с помощью священника организовал “собрание швей, вынужденных выйти на панель”. Он обещал всем участницам полную конфиденциальность. Мужчин на собрание не пускали. Рассказы выступавших записывали две стенографистки. В зале было полутемно, входные билеты получили двадцать пять женщин. Их пригласили на сцену и попросили рассказать о своих горестях и несчастьях. Священник просил их говорить открыто. К изумлению Мейхью, так они и делали:

Ниже приводится история, которой нет равных по трогательности и трагичности. Должен признаться, что духовная и телесная агония бедной Магдалины, излагавшей ее, произвела на меня большое впечатление. Это была высокая, хорошо сложенная девушка с удивительно правильными чертами лица. Во время своего рассказа она закрыла лицо руками и рыдала так громко, что я с трудом разбирал ее слова. Сквозь сомкнутые перед глазами пальцы сочились слезы — не помню, чтобы я когда-либо был свидетелем такого горя⁸⁰.

Репортаж Мейхью, опубликованный в “Морнинг кроникл”, подтвердил худшие опасения Томаса Карлейля в отношении современного индустриального общества, побудив его язвительно высказаться об экономистах:

Спрос и предложение, свободная торговля, принцип волюнтаризма, время все исправит — вот только британская индустриальная жизнь в это время быстро превращается в одно огромное ядовитое болото, воняющее бедой физически и морально; огромную *современную* Голгофу душ и тел, погребенных заживо; этакую трещину Курция⁸¹, ведущую в такую глубокую впадину, которой донныне не видело Солнце. Эти сцены, которые “Морнинг кроникл” открывает людям — спасибо ей за услугу, которые газеты редко оказывают, — должны вызывать в сознании каждого картины, трудно выражимые словами⁸¹.

Среди этих трудно выразимых картин был образ вулкана накануне извержения. “Вас потрясают эти душераздирающие описания бездн страданий и несчастий, дымящейся у нас под ногами? — спрашивал друга Дуглас Джерролд, тогдашний редактор “Панча” и тесть Мейхью. — Когда читаешь о страданиях одного класса и алчности, тирании, кровожадности другого, начинаешь сомневаться в том, что этот мир достоин будущего”⁸².

“Морнинг кроникл” продолжала публикацию репортажей Мейхью под общим заголовком “Рабочие и бедняки” весь 1850 год. После выхода в свет половины статей автор объявил о том, что поставил перед собой более общую цель. Он при-

Курций Марк — римский юноша, герой следующего предания: в 362 г. до н.э. в середине форума вдруг появилась трещина неизмеримой глубины, которую невозможно было заполнить. Прорицатель предсказал, что город в величайшей опасности, если пропасть не будет заполнена, а может она быть заполнена лишь лучшим благом Рима. Тогда Курций, со словами “Нет лучшего блага в Риме, как оружие и храбрость!” в полном вооружении сел на коня и бросился в пропасть, которая после этого сомкнулась.

знался, что хочет изобрести “новую политическую экономию, которая будет хоть немного принимать в расчет требования трудящихся”. Он объяснял свое намерение тем, что экономическая наука, которая “отдаст должное не только нанимателям, но и трудящимся, стоит в первом ряду потребностей современного мира”⁸³.

Друг Карлейля, Джон Стюарт Милль, точно так же мотивировал создание своего трактата “Основы политической экономии”, опубликованного всего за два года до заявления Мейхью — в 1848 году — и уже ставшего самым читаемым экономическим трудом после “Богатства народов” Адама Смита.

“Требования трудящихся стали основным вопросом современности”, — писал Милль во время ирландского картофельного голода 1845 года, когда у него зародилась идея книги⁸⁴. Миллю в то время было тридцать девять, и он был давно влюблен в Гарриет Тейлор. Эту несчастливую в замужестве женщину Карлейль описывал как “бледную... страстную и печальную”, “настоящую героиню романа”⁸⁵. Чем больше возмущался Милль отказом мужа Гарриет дать ей развод, тем больше он сочувствовал ее социалистическим идеалам.

Принимаясь за политэкономия, Милль надеялся опровергнуть утверждение Карлейля о том, что эта наука “скучная, бесстрастная, мрачная, не несущая надежды ни на этот мир, ни на будущий”⁸⁶, а также убеждение Тейлор в том, что политэкономия несправедлива к трудящимся. Как и Диккенс, Милль считал очень важным “избегать нудного, абстрактного рассмотрения этих вопросов — подхода, который лишил политэкономистов доверия”. Он порицал своих предшественников за то, что они позволяют “неправедным претендовать на исключительность в сфере высоких и благородных чувств и в конечном счете оставлять за собой эту прерогативу”⁸⁷.

Милль, несомненно, метил в Давида Рикардо, выдающегося еврейского биржевого маклера, который в возрасте три-

дцати семи лет начал третий виток своей карьеры — на этот раз в качестве экономиста. В промежуток между 1809 годом и своей безвременной смертью в 1823-м Рикардо не только заново представил блестящие, хотя и часто небрежно высказанные идеи Адама Смита в виде внутренне согласованных, четко изложенных математических принципов, но и предложил целый ряд собственных идей, касающихся преимуществ торговли как для богатых, так и для бедных народов, и того, что специализация стран максимально способствует их процветанию. Тем не менее его “Начала политической экономии и налогообложения” отпугнули многих потенциальных читателей как абстрактной манерой изложения, так и мрачными выводами. Рикардианский “железный” закон заработной платы утверждал, что хотя заработная плата может испытывать краткосрочные подъемы и спады под влиянием колебаний спроса и предложения, в целом она стремится к обеспечению лишь прожиточного минимума — и в этом опирался на закон Мальтуса о народонаселении и исключал возможность существенного прироста реальной заработной платы⁸⁸.

Милль отмечал, что Рикардо, Смит и Мальтус были активными сторонниками политических и экономических прав индивидуума, противниками рабства, протекционизма, монополий и привилегий для землевладельцев. Сам он выступал за профсоюзы, всеобщее избирательное право и права женщин на собственность. В ответ на экономический кризис и социальные столкновения голодных 1840-х он предложил отменить 50-процентный налог на импорт зерна. Типичный рабочий тратил не меньше трети своего скудного жалованья на питание для себя и своей семьи. Милль резонно предположил, что после отмены пошлины на импорт цены на продукты снизятся и реальная заработная плата вырастет. Тем не менее даже он с глубоким пессимизмом оценивал возможности улучшения жизни рабочих. Он, как и Карлейль, был убежден, что отмена хлебных законов всего лишь даст отсрочку, как давали ее изобретение железной дороги, открытие Северной Америки

и обнаружение золота в Калифорнии. Подобные события, несмотря на все свое благотворное влияние, не могли отменить непреложных законов, правивших миром.

Закон Мальтуса о народонаселении и “железные” законы Рикардо о заработной плате и закон убывающей отдачи, согласно которому использование все большего труда для обработки одного акра приводит ко все меньшему увеличению отдачи, — все говорило о том, что население исчерпает все ресурсы и богатство нации будет увеличиваться только за счет бедных, которые были обречены использовать “великие дары науки сразу по мере... их получения для бессмысленного умножения обыденной жизни”⁸⁹. Правительство могло лишь создать условия, при которых просвещенный эгоизм и законы спроса и предложения могли функционировать более эффективно.

Милль считал, что экономикой управляют законы природы, которые столь же неподвластны человеческим желаниям, как и законы гравитации. “К счастью, — писал Милль, завершая в 1848 году свои “Начала”, — в законах стоимости нет ничего, что осталось бы выяснить современному или любому будущему автору; теория этого предмета является завершенной”⁹⁰.

Однако Генри Мейхью, например, с этим не согласился. Он считал, что Миллю не удалось превратить политэкономия в “веселую науку”, то есть в науку, которая может увеличить совокупность счастья и свободы человека или повысить его власть над обстоятельствами⁹¹. Раз Милль не опроверг “железный” закон заработной платы, значит, нужно попробовать снова. В итоге Мейхью — как и другие его современники — не преуспел в ниспровержении классической теории заработной платы. Зато его выдающаяся серия очерков о трудящихся Лондона стала путеводителем для более молодого поколения социальных исследователей: репортажи произвели на них большое впечатление, и они тоже захотели узнать, насколько можно улучшить положение рабочего класса без изменения существующего порядка.

В августе 1849 года, меньше чем через два года после приезда Карла Маркса в Лондон в разгар эпидемии холеры, весь мир, казалось, рванулся в это его “убежище”, чтобы увидеть Великую выставку. Первая всемирная выставка была детищем другого немецкого иммигранта, мужа королевы Виктории — принца Альберта, но Маркс, который к тому времени жил со своей женой Женни, тремя маленькими детьми и служанкой в двух обшарпанных комнатухах над лавкой в Сохо, не хотел иметь с ней ничего общего. Надежным укрытием ему служило место G7 в библиотеке Британского музея, с ее высокими сводами, царящим там мрачным величием собора и успокоительной тишиной. Не обращая внимания на восторженные газетные репортажи о строительстве Хрустального дворца в Гайдпарке, Маркс изучал труды английских экономистов Мальтуса, Рикардо и Джеймса Милля, отца Джона Стюарта Милля, и заполнял тетрадь за тетрадью цитатами, формулами и пренебрежительными замечаниями. Пускай филистеры молятся в своем буржуазном пантеоне, говорил он себе. Ему нет дела до ложных идолов.

В мае 1851 года Карл Маркс уже не был ни мечтательным юным студентом, скрывающимся от мира в домашнем халате и сочиняющим сонеты дочери барона, ни brutальным журналистом, пьянствующим ночи напролет в парижских кафе. За десять лет, прошедших со времени получения им по почте докторского звания от Йенского университета, он успел промотать неожиданно свалившееся на него наследство от дальнего родственника — 6 тысяч франков. Он основал три радикальных журнала, два из которых закрылись после выпуска единственного номера. Ни на одной работе он не удерживался дольше нескольких месяцев. В то время как его бывший протеже Энгельс опубликовал бестселлер, главный труд жизни Маркса все еще был не написан. Он тоже кое-что печатал, но в основном — многословную полемику с другими социалистами. В тридцать два года он был всего лишь еще одним безработным иммигрантом, главой большой и постоянно

растущей семьи, вынужденным просить и занимать деньги у друзей. К счастью для него, его ангел-хранитель Энгельс пообещал посвятить себя семейному бизнесу специально для того, чтобы Маркс мог уделять все время своей книге.

Тем временем, поскольку в город съезжались главы государств и другие высокопоставленные лица, Скотланд-Ярд внимательно следил за радикалами. Судя по донесению шпиона прусского правительства, самую главную угрозу Маркс представлял для заданных миссис Битон* стандартов ведения домашнего хозяйства:

Маркс живет в одном из самых плохих и потому самых дешевых районов Лондона. Он занимает две комнаты. Окна гостиной выходят на улицу, окна спальни — во двор. Во всей квартире нет ни одного чистого и целого предмета мебели. Все поломано, обтрепано и ободрано, покрыто толстым слоем пыли, все в полном беспорядке. Посреди гостиной стоит большой старомодный стол, покрытый замавленной скатертью. На нем — рукописи, книги, газеты, а также детские игрушки, лоскуты от рукоделия его жены, чашки с отбитыми краями, ножи, вилки, свечи, чернильница, стаканы, трубки, табачный пепел... Все это вперемешку на одном и том же столе. Всей этой коллекции разных разностей мог бы позавидовать продавец подержанных вещей⁹².

Год выставки для Маркса ознаменовался очередной неурядицей. Хотя он и обожал свою жену, он легкомысленно сделал ребенка ее горничной и домработнице Хелен Демут. Женни, которая тоже забеременела, была вне себя. Через три месяца после того, как она родила болезненную девочку, домработница родила крепыша. Чтобы пресечь “постыдные пересуды”, уже циркулировавшие в падких на сплетни иммигрантских

Миссис Битон — составительница популярного пособия по домоводству 1861 года, “Книги о ведении домашнего хозяйства миссис Битон”.

кругах, Маркс быстро отослал своего новорожденного сына приемным родителям из Ист-Энда и больше никогда с ним не встречался. “Некоторые невыносимо бестактны в этом отношении”, — жаловался он другу⁹³. Мать мальчика продолжала обслуживать семью Маркса. Поскольку дома стало еще невыносимее, Маркс каждое утро спешил на место G7 и оставался там до закрытия библиотеки.

Когда 1 мая 1851 года открылась Великая выставка, Маркс уже начал сомневаться, что современный Рим будет разрушен его подданными. Не чартисты штурмовали Букингемский дворец, а четыре миллиона британцев и десятки тысяч иностранцев наводнили Гайд-парк, устремившись на Первую всемирную выставку. Людской поток помог Томасу Куку запустить его туристическое бюро и свел вместе людей самого разного происхождения. “Никогда ранее в Англии не было такой свободной и многообразной смеси различных классов, чем та, что собралась под этой крышей”, — ликующе сообщалось в одном из тогдашних отчетов о выставке⁹⁴. Марксу выставка напоминала игры на арене, которые правители Рима затевали для развлечения толпы. “Англия кажется скалой, о которую разбиваются революционные волны”, — писал он ранее в одной из своих статей для “Новой рейнской газеты”. “Всякий социальный переворот во Франции... неизбежно будет сокрушен английской буржуазией, мировой промышленной и торговой гегемонией Великобритании”⁹⁵. Выставка должна была поощрить конкуренцию в торговле, которую принц Альберт и другие ее организаторы считали гарантией мира. Маркс уповал на войну: “только мировая война может разрушить старую Англию... и привести к власти пролетариат”⁹⁶. Чем хуже положение, объяснял он, тем больше вероятность революции.

Однако он не отвергал полностью и вероятность того, что “произошедшее после 1848 года грандиозное увеличение производительности труда” приведет к новому более сокрушительному кризису. Отрицая выставку как “потребительский фетишизм”, он предсказывал неизбежный крах буржуазного

порядка⁹⁷. Как писали они с Энгельсом в своем “Манифесте”, буржуазия “производит прежде всего своих собственных могильщиков”⁹⁸.

Стремясь опередить “неизбежную” революцию, которая должна была вот-вот начаться — если не в Англии, то на континенте, Маркс начал энергично работать над собственной Книгой Откровений, критикой того, “что англичане называют “началами политической экономии”⁹⁹. Он проводил большую часть времени в Британском музее, собирая в читальном зале материалы для своего великого труда. Маркс уже *знал*, что ответы на жгучие вопросы современности — “Возможно ли существенное улучшение уровня жизни при современной системе частной собственности и конкуренции?” и “Может ли все и дальше идти так, как есть?” — должны быть отрицательными. Ему оставалось это доказать.

Начиная заниматься экономикой в 1844 году, Маркс не собирался показывать, что жизнь при капитализме ужасна. Десятилетие разоблачительных репортажей, парламентских комиссий и социалистических брошюр, включая работы Энгельса, уже сделало это за него. В его планы не входило обличать капитализм с точки зрения морали, и особенно морали христианской, как это делали утопические социалисты вроде Пьера Жозефа Прудона, который утверждал, что “частная собственность — это кража”. Маркс не ставил своей задачей склонить капиталистов на свою сторону, чего пытался достичь его любимый писатель Диккенс с помощью “Рождественской песни”. Маркс давно отверг понятие о какой-либо данной Богом морали и утверждал, что человек должен руководствоваться собственными правилами.

Основной целью его великого труда было “математически точное” доказательство того, что система частной собственности и свободной конкуренции не может работать и поэтому “должна произойти революция”. Он хотел раскрыть “закон движения современного общества”. При этом он планировал представить труды Смита, Мальтуса, Рикардо и Милля как

ложную религию, подобно тому, как радикальные немецкие богословы доказывали, что библейские тексты являются подделкой и фальсификацией. Подзаголовок он выбрал такой: “К критике политической экономии”¹⁰⁰.

Марксов “закон движения” не родился подобно Афине из его могучего и мрачного мыслительного аппарата, как полагал его друг доктор Людвиг Кугельман, подаривший философу на Рождество бюст Зевса. Автором идеи экономической теории Маркса был журналист Энгельс. Маркс же должен был доказать, что эта теория непротиворечива с логической точки зрения и правдоподобна с практической.

В “Манифесте” Маркс и Энгельс выдвинули две причины неработоспособности капитализма. Во-первых, по мере создания богатства положение народных масс будет ухудшаться: “с ростом капитала положение трудящихся становится все хуже”. Во-вторых, по мере создания богатства “все более масштабными и разрушительными” будут становиться последствия периодически разражающихся финансовых и промышленных кризисов¹⁰¹.

Если в “Манифесте” о “постоянно снижающейся заработной плате” и “постоянно возрастающей тяжести труда” говорится как об исторических фактах, то в “Капитале” Маркс утверждает, что “закон аккумуляции капитала” *требует* снижения заработной платы, интенсификации и удлинения рабочего дня, ухудшения рабочих условий, снижения качества потребляемых рабочими товаров и снижения средней продолжительности жизни рабочих. При этом он больше не ссылается на свой второй аргумент о постоянном углублении спадов производства¹⁰².

В “Капитале” Маркс отрицает закон Мальтуса о народонаселении, который на самом деле является одновременно и теорией, определяющей, от чего зависит заработная плата. Формулируя свой закон, Мальтус полагал, что заработная плата

напрямую зависит от запаса рабочей силы. Чем больше рабочих, тем больше конкуренция между ними и, следовательно, тем меньше заработная плата. Если число рабочих уменьшается — то все наоборот. Энгельс в своей работе 1844 года “Наброски к критике политической экономии” уже привел основное возражение Мальтусу. Возражение сводилось к тому, что бедность может поразить любое общество, в том числе социалистическое.

Доктрина Маркса основывается на предположении, что вся стоимость, включая прибавочную, создается за счет рабочего времени трудящихся. “Не существует ни единого атома стоимости, который бы возник не из неоплаченного труда”. В “Капитале” для подтверждения своего тезиса он цитирует Милля:

Орудия производства и материалы, как и другие вещи, исходно не стоили ничего, кроме труда... Если добавить труд, затраченный на производство орудий и материалов, к труду, который был впоследствии затрачен на обработку этих материалов с помощью этих орудий, получится общая сумма труда, потраченного на производство конечного товара... Возмещение капитала означает возмещение зарплат нанятых рабочих и ничего более¹⁰³.

Экономический историк Марк Блауг указывает, что если только рабочее время порождает стоимость, то установка более эффективного оборудования, реорганизации работы продавцов, наем более квалифицированного высшего руководства или выбор более эффективной маркетинговой стратегии — вместо привлечения дополнительных рабочих к производству — неизбежно приведет к падению прибыли. Поэтому в схеме Маркса прибыль можно удержать от падения только одним способом: усилить эксплуатацию рабочих, заставив их работать бесплатно дополнительное время. Как подробно продемонстрировал Генри Мейхью в серии очерков, опубликованных в “Морнинг кроникл”, существует множество спо-

собов снизить реальную заработную плату. Блауг пишет, что основополагающим в аргументации Маркса является то, что ни профсоюзы, ни правительство — “организации класса-эксплуататора” — не могут повернуть процесс вспять¹⁰⁴.

Поразительное число ученых отрицает, что Маркс когда-либо утверждал, что зарплаты будут снижаться с течением времени или что они связаны с неким биологическим прожиточным минимумом. Однако при этом они игнорируют неоднократно сказанное Марксом разными словами по разным поводам: капитализм не может выжить потому, что заработки рабочих не растут, даже если растет объем или ценность произведенных ими товаров.

Полагая, что труд является единственным источником стоимости, Маркс тем самым объявлял, что доход собственника — прибыль, процент или заработная плата управляющего — не является заработанным. Он не утверждал, что рабочим для производства товара не нужен капитал — фабрики, станки, инструменты, запатентованные технологии и тому подобное. Он просто считал, что капитал, предоставляемый собственником, является всего лишь продуктом *прошлого* труда. Однако собственник любого ресурса — лошади, помещения или денег — может использовать его сам. Маркс утверждал, что откладывать на завтра потребление того, что можно потребить сегодня, рисковать своими ресурсами, налаживать бизнес и управлять им не значит создавать стоимость, а потому эти действия не заслуживают вознаграждения. Но это все равно что говорить, что продукция может быть изготовлена без накопления ресурсов, ожидания и риска. Это мирской вариант древнего христианского запрета на проценты.

Проблема, как замечает Блауг, состоит в том, что это лишь иная формулировка утверждения “только труд добавляет товару стоимость” — того самого, которое Маркс и пытается доказать, — а вовсе не независимое доказательство.

Используя правительственные документы, газеты, журнал “Экономист” и другие источники, Маркс собрал убедительные

свидетельства того, что во второй половине XVIII и в первой половине XIX века уровень жизни рабочих был нищенским, а условия труда — ужасающими. Но доказать, что в 1850-е и 1860-е годы, когда он писал “Капитал”, средний уровень зарплаты снижался или — что больше соответствовало бы его целям — были основания полагать, что он *непрерывно* начнет снижаться, ему не удалось.

Если бы Маркс вышел на улицу и огляделся вокруг, как Генри Мейхью, или пообщался с талантливыми современниками вроде Джона Стюарта Милля, которые занимались теми же вопросами, он бы увидел, что жизнь не соответствует их с Энгельсом прогнозам. Средний класс рос, а не исчезал. Финансовые и промышленные кризисы не становились более разрушительными.

Закрытие в 1862 году Великой выставки не положило конец “великому празднеству”. Хрустальный дворец был куплен неким бизнесменом, который разобрал его, перевез в Сиденхем, на юг Лондона, и построил там еще более грандиозное сооружение. К большому негодованию Маркса, новый Хрустальный дворец работал как викторианский парк развлечений — сродни современному Диснейленду. И что еще хуже — экономика была на подъеме. Марксу пришлось признать: “кажется, будто найден кошель Фортуната”. В производстве произошел “гигантский прогресс”, за последние десять лет даже больший, чем за десять предыдущих:

Ни один период в развитии современного общества не является до такой степени благоприятным для изучения капиталистического накопления, как период последних 20 лет.

Фортунат — герой одноименного романа конца XV века, который получает в подарок от феи волшебный кошель, где всегда можно обнаружить десять золотых монет.

...Но из всех стран классический пример представляет опять-таки Англия, так как она занимает первое место на мировом рынке, так как только здесь капиталистический способ производства достиг полного развития и так как, наконец, во дворянство тысячелетнего царства свободной торговли с 1846 г. отняло у вульгарной политической экономии ее последнюю лазейку¹⁰⁵.

Что было еще хуже для теории Маркса — реальная заработная плата не уменьшалась по мере накопления капитала в виде фабрик, зданий, железных дорог и мостов. В отличие от десятилетий, предшествовавших 1840-м, когда повышение реальной заработной платы касалось в основном лишь квалифицированных рабочих и влияние этого повышения на средний уровень жизни снижалось за счет увеличения числа безработных, удлинения рабочего дня и увеличения размера семей, прирост зарплаты в 1850-е и 1860-е годы был значительным и несомненным, что широко обсуждалось в то время. Современник Маркса, статистик Роберт Гиффен говорил о “бесспорном росте материального благополучия” с середины 1840-х до середины 1870-х¹⁰⁶. Роберт Дадли Бакстер, юрист и статистик, сравнивал структуру распределения доходов в 1867 году с потухшим вулканом, поднимающимся на двенадцать тысяч футов над уровнем моря, где “низкая и обширная подошва соответствует трудящемуся населению, возвышенность — среднему классу, а верхние пики — тем, у кого экстраординарно высокие доходы”¹⁰⁷. Идеальной моделью для описания доходов Бакстеру казался пик Тенерифе. Однако, по его данным, к 1867 году доля рабочих в общем объеме национального дохода увеличилась.

В дальнейшем наблюдения современников были подтверждены учеными. Еще в 1963 году Эрик Хобсбаум, экономический историк-марксист, признал, что “спор сводится исключительно к вопросу о том, что произошло в период, который, по общему согласию, *завершился* где-то между 1842-м

и 1845-м”¹⁰⁸. Позднее экономический историк Чарльз Файнштейн, придерживающийся в многолетних дебатах об итогах промышленной революции пессимистической позиции, отметил, что в 1840-х реальная заработная плата “наконец-то начала подъем на новый уровень”¹⁰⁹.

Но Маркс никогда не выходил на улицу. Он даже не потрудился как следует выучить английский¹¹⁰. Его мир был ограничен узким кругом иммигрантов со сходным образом мыслей. Его контакты с лидерами английского рабочего класса были поверхностными. Он никогда не обсуждал свои идеи с людьми, которые могли бы дискутировать с ним на равных. У него не было никаких взаимоотношений с экономистами, которых он называл “разносчиками идей свободной торговли”¹¹¹ и чьи идеи он хотел опровергнуть. Он никогда не встречался и не вступал в научную переписку с корифеями — такими как философ Джон Стюарт Милль, биолог Чарльз Дарвин, социолог Герберт Спенсер, писательница Джордж Элиот, которые жили (и дискутировали между собой) на расстоянии одной-двух миль от него. Как это ни удивительно, лучший друг владельца фабрики и автора одного из самых страстных описаний ужасов механизации ни разу не был ни на одной английской фабрике. Он вообще единственный раз посетил фабрику только в конце жизни, когда отправился на экскурсию на фарфоровый завод возле Карлсбада, где проходил курс водолечения¹¹².

По настоянию Энгельса в 1859 году Маркс нехотя опубликовал анонс своего великого труда. Тоненькая брошюра под названием “К критике политической экономии” вызвала удивление и замешательство; откликов практически не было, не считая анонимных рецензий, написанных по его указанию Энгельсом¹¹³.

Обосновывая свое решение остаться в Англии (и даже попытки стать британским гражданином), Маркс обычно

ссылался на преимущества Лондона, столицы современного мира, для того, кто хочет изучить эволюцию общества и получить представление о его будущем. Однако Исайя Берлин, тоже иммигрант, писал, что Маркс “мог с таким же успехом провести свою ссылку на Мадагаскаре, если бы туда можно было обеспечить регулярную доставку книг, журналов и правительственных отчетов”. К 1851 году, когда он начал серьезную работу над своим критическим трактатом, призванным, по его утверждению, уничтожить английскую экономическую науку, идеи и взгляды Маркса уже полностью “сформировались и едва ли подверглись изменениям” в последующие пятнадцать с лишним лет¹¹⁴.

Когда Маркс принялся “создавать полный отчет о возникновении и неизбежном падении капитализма”¹¹⁵, его зрение было в таком плачевном состоянии, что ему приходилось держать книги и газеты на расстоянии нескольких дюймов от лица. Интересно было бы знать, какое влияние близорукость оказала на его мировоззрение. Согласно преданию, Демокрит, которому была посвящена докторская диссертация Маркса, ослепил себя намеренно. По одной версии, греческий философ не хотел, чтобы его соблазнили прекрасные женщины. По другим, он хотел отгородиться от запутанной, противоречивой и меняющейся действительности, чтобы она не отвлекала его от размышлений над образами и идеями, царившими в его голове.

Можно было бы ожидать, что превращение семьи Маркса из арендаторов комнатух над лавкой в добропорядочных налогоплательщиков и владельцев дома в Лондоне заставит его испытывать неловкость относительно своей теории. Двадцать лет подряд доказывая, что капитализм обречен, сам Маркс прошел путь от представителя богемы до полноценного буржуа. Он больше не требовал включить в программу коммунистической партии отмену права наследования¹¹⁶. Благодаря одному

из полученных наследств его семья смогла сменить “старую дыру в Сохо” на “привлекательный дом” в новом квартале возле Хэмпстед-Хит, который осваивали представители среднего класса. Район был таким новым, что там не было ни мощеных мостовых, ни газового уличного освещения, ни омнибусов — только груды мусора, камни и грязь.

Маркс часто повторял, что в системе, которая увеличивает богатство, не уменьшая при этом нищету, есть что-то неправильное, однако его не удивляло, что иной раз рост богатства провоцирует и рост нищеты. Он полагал, что беднейшие лондонские кварталы, с каждым десятилетием все больше напоминавшие трущобы из романов Диккенса, своим существованием доказывают, что экономика не может обеспечить достойную жизнь обычным людям. А вот Гарет Стедман Джонс, напротив, считал, что жилищный кризис был неприятным побочным эффектом беспорядочного роста Лондона, увеличения богатства и неутолимой потребности в неквалифицированной рабочей силе. Принципиально важно, что характерный для середины викторианской эпохи строительный бум был связан с массовым сносом домов. Чтобы расширить лондонские доки, проложить железнодорожные пути, построить Нью-Оксфорд-стрит, реформировать канализацию и водопровод, а в 1860-х — выкопать тоннели для первых перегонов лондонской подземки, между 1830-м и 1870-м в центре Лондона были очищены от построек тысячи акров земли, в основном в бедных районах, где земля была дешевой. Десятки тысяч мигрантов устремились в Лондон в поисках работы, количество жилья в шаговой доступности от промышленных зон резко сокращалось. В результате рабочие были вынуждены тесниться во все более ветшавших, все более перенаселенных и все более дорогих жилищах. Как только снос домов прекратился, а “белые воротнички” стали ездить на работу из предместий по железной дороге, жилищный кризис пошел на спад.

В 1862-м, когда состоялась новая выставка, Маркс вновь столкнулся с финансовыми неурядицами. Издатель “Нью-

Йорк трибьюн” Хорас Грили перестал печатать его колонку, которая давала Марксу дополнительный доход (хотя тексты для нее писал Энгельс). В какой-то момент его денежные дела были так плачевны, что Маркс попытался поступить служащим в железнодорожную контору, был отвергнут по причине плохого почерка и слабого владения английским и даже в течение короткого времени подумывал об эмиграции в Америку. К счастью, для производства своих жемчужин ему, как и устрице, достаточно было песчинок. Погруженный в денежные заботы, он вскоре принялся за длинное эссе по экономике — снова заполнял свои тетради и все время жаловался, что чувствует себя “машиной, обреченной пожирать книги и перерабатывать их, пополняя навозную кучу истории”¹¹⁷. В это же время он придумал название для своего большого труда — “Капитал”¹¹⁸.

Свистопляска вокруг Всемирной выставки продолжала расстраивать Маркса. Он бы наверняка согласился с русским писателем Федором Достоевским, который писал о стеклянном дворце, что “это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, воочию совершающееся”¹¹⁹. Однако всего через год фортуна снова улыбнулась Марксу. Он неожиданно получил приличное наследство, а также ежегодную субсидию от Энгельса в размере 375 фунтов, и смог переехать с семьей в еще больший и еще более представительный дом, тратя от 500 до 600 фунтов в год, чего не могли себе позволить 98% английских семей¹²⁰.

Маркс уже почти забыл о Судном дне, когда тот наконец настал.

Спуск на воду военного корабля Ее Величества “Нортумберленд” водоизмещением в 11 000 тонн 17 апреля 1866 года должен был стать праздником и напомнить о превосходстве Великобритании в промышленности и торговле. “Нортумберленд” почти пять лет находился на стапеле “Миллуолл айрон

воркс”. Но торжество не состоялось: в день спуска на воду из-за необычно большого веса корабль соскользнул с направляющих. Как стало ясно позднее, это событие было знаковым: оно свидетельствовало о шаткости судовых и судостроительных компаний.

Не прошло и месяца, как в четверг вечером, 10 мая, на первой неделе после открытия лодочного сезона в Лондоне, по городу разнесся пугающий слух. Обанкротилась компания “Оверенд, Герни и К^о”, один из крупнейших торговых банков, казавшийся гражданам столь же незыблемым, как Королевский монетный двор. “Невозможно описать ужас и беспокойство, охватившие людей в конце этого и на следующий день, — писал финансовый корреспондент “Таймс”. — Никто не чувствовал себя в безопасности”. К десяти часам утра следующего дня бушующая толпа полубезумных кредиторов обоего пола и, по-видимому, из всех социальных слоев заполнила финансовый центр. “К полудню волнения переросли в мятеж. Самые респектабельные банки были взяты в осаду... а людские водовороты на Ломбард-стрит сделали эту узкую городскую артерию непроходимой”¹²¹.

Глава местного представительства “Нью-Йорк таймс” отправил издателем срочную телеграмму со словами: “разразилась самая страшная паника, когда-либо случавшаяся в Британской метрополии на памяти человечества”. Чтобы успокоить толпу, был вызван дополнительный батальон констеблей. Канцлер казначейства сумел приостановить действие Закона о банковской лицензии, однако к этому времени Банк Англии потерял 93% своих денежных резервов, британский денежный рынок замер, а множество банков и организаций, живших в кредит, оказались на грани разорения. “Англичане помещались на биржевых спекуляциях... Наступил час расплаты: на лицах наших банкиров, капиталистов и купцов — ужас и паника”¹²².

Среди первых жертв паники оказались владельцы миллуоллской судоверфи. Благодаря буму в судостроении, по-

догретому международной гонкой вооружений и торговлей, с 1861 по 1865 год лондонских докеров стало вдвое больше¹²³. “Магнаты этой отрасли промышленности в период подъема не только перепроизвели свыше всякой меры, но кроме того и взяли на себя по контрактам обязательства о выполнении огромных поставок, рассчитывая на то, что источник кредита и впредь будет течь с прежним изобилием”, — злорадствовал Маркс¹²⁴.

К моменту банкротства “Оверенда” новые заказы иссякли. Банкиров постиг крах, потому что “они заполнили моря своими судами” и “терпели колоссальные убытки из-за своей паровой флотилии”. Другими жертвами стали легендарные строители железных дорог Пето и Беттс. Да, от паники пострадали прежде всего легковверные инвесторы и “бесчисленные мошеннические компании”, возникшие в период дешевых денег. Однако кризис доверия вынудил Банк Англии повысить базовую процентную ставку с 6 до сокрушительных 10%, и этот “классический панический уровень”¹²⁵ сохранялся все лето. Пьеса под названием “Сотня тысяч фунтов” продержалась на сцене считанные дни. “Таймс” даже не потрудились отрецензировать ее. Бум кончился.

Маркс узнал о “черной пятнице” из вечерней газеты, которую прочел в своем кабинете в северной части Лондона. В это время его тревожил финансовый кризис, казавшийся ему непосредственно. Дом 1 по Модена-виллас, в который он и его семья переехали незадолго до этого, был одним из множества претенциозных строений, заполнивших окрестности Лондона. Для безработного журналиста, который, стремясь закончить книгу, давно перестал принимать заказы на статьи, этот дом был слишком дорог. Маркс объяснял экстравагантность своего жилища необходимостью “укрепить социальное положение” дочерей-подростков. И вот он снова был разорен, а сроки вноса арендной платы давно миновали. Как, к несчастью, и сроки сдачи в печать “Капитала”.

Почти пятнадцать лет Маркс уверял своего лучшего друга и покровителя, что его грандиозная “Критика политической экономии” уже “практически закончена”, что он готов “раскрыть закон движения современного общества” и что он “воткнет кол в сердце английской политической экономии”. Наконец Энгельс, который пятнадцать лет без отдыха работал на манчестерской фабрике, чтобы содержать Маркса, стал проявлять нетерпение.

Процветание Англии негативно сказалось на проекте Маркса. С 1863 года он написал очень мало. Серия неожиданных денежных поступлений на время дала ему иллюзию независимости, но теперь он снова жил на пособие от Энгельса, и ангельски-терпеливый спонсор впервые стал выказывать беспокойство. Маркс отделялся от него красочными описаниями своих несчастий, мешавших работе: ревматизм, болезнь печени, инфлюэнца, зубная боль, назойливые кредиторы, возникновение карбункулов эпических размеров — списку не было конца. В апреле 1866 года Маркс признается: “Я болен и не могу писать”. На следующий день после Рождества он жалуется, что “очень долго совсем не писал”. На Пасху в письме с морского берега в Маргейте признается, что “живет лишь ради собственного здоровья уже более месяца”¹²⁶.

Энгельс подозревал — и как выясняется, был прав, — что основная проблема Маркса в том, что он “слишком долго возится с этой проклятой книгой”. “Надеюсь, что ты благополучно справился со своим ревматизмом и зубной болью и опять *прилежно* сидишь над книгой, — писал он 1 мая. — Как она продвигается и когда будет готов первый том?”¹²⁷ Поскольку “Капитал” *не* продвигался, Маркс погрузился в мрачное молчание.

“Черная пятница”, подобно уколу адреналина, имела такой возбуждающий эффект, которого не могли дать никакие упреки Энгельса. Через считанные дни пророк снова сидел за письменным столом и яростно строчил. В начале июля он уже мог сообщить Энгельсу: “в последние две недели я снова

основательно поработал” и пообещать представить запоздавший труд “к концу августа”¹²⁸.

Можно ли обвинить автора апокалиптических предсказаний в том, что он выжидал для них подходящее время? Мелодраматическое пророчество — “Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют” — на момент его написания звучало почти правдоподобно. А в знаменитой главе “Всеобщий закон капиталистического накопления” он был вынужден сплутовать, чтобы обосновать утверждение о том, что бедные стали беднее. Цитируя слова Гладстона о “паразитическом” и “невероятном” росте подлежащего налогообложению дохода в период с 1853 по 1863 год, Маркс вкладывает в уста либерального премьер-министра следующие слова: “Это ошеломляющее увеличение богатства и мощи... ограничивается лишь имущими классами”¹²⁹. Напечатанный в “Таймс” текст доклада показывает, что на самом деле Гладстон сказал нечто противоположное.

“Я должен признаться, что я почти с тревогой и болью взирал бы на это ошеломляющее увеличение богатства и мощи, если бы был уверен, что оно ограничивается лишь имущими классами”, — сказал он, добавив, что благодаря быстрому росту не подлежащего налогообложению дохода “средний уровень жизни британского рабочего за последние 20 лет повысился, как мы рады узнать, настолько невероятно, что этот рост можно практически объявить беспрецедентным для любой страны и любого времени”¹³⁰.

Прогноз Маркса о том, что рукопись будет закончена к концу лета, оказался чрезмерно оптимистичным, но через пятнадцать месяцев после “черной пятницы”, в августе 1867 года, он уже мог обрадовать Энгельса, что отослал немецкому издателю последнюю порцию гранок. В своей записке он мимоходом упоминает знаменитый рассказ Оноре де Бальзака. Некий художник считает свое творение шедевром, потому что совершенствовал его долгие годы. Сняв с картины покрывало, он мгновение смотрит на него и отшатывается.

“Ничего! Ровно ничего! А я проработал десять лет!” Он сел и заплакал”¹³¹. Увы, как Маркс и боялся, образ “Неведомого шедевра” подходил для его экономической теории. Его “математическое доказательство” было встречено зловещим молчанием. И во время самого худшего экономического кризиса нашего времени великий экономист XX века Джон Мейнард Кейнс отверг “Капитал” как “устаревший учебник экономики, не только ошибочный с экономической точки зрения, но и лишенный интереса и практического применения в современном мире”¹³².

Глава II

НЕЛЬЗЯ ЛИ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ПРОЛЕТАРИАТА? СВЯТОЙ ПОКРОВИТЕЛЬ МАРШАЛЛА

Каждый на службе у них:
Конюх служит коням,
Служит скоту пастух,
Торговец служит деньгам,
Служит еде едок.
Пряжу — прясть торопись,
 зерно — мели поскорей.
Вещи уселись в седло
И погоняют людей.

РАЛЬФ УОЛДО ЭМЕРСОН
*Ода, посвященная Уильяму Чаннингу*¹

Основной движущей силой большинства экономических исследований является стремление посадить человека в седло.

АЛЬФРЕД МАРШАЛЛ²

Во время суровой зимы 1866/67 годов у нескольких зданий в лондонском Ист-Энде ежедневно собиралось до тысячи человек. Когда двери открывались, толпа с криками бросалась вперед, сражаясь за билеты. По яростным проклятьям и горестному виду неудачников прохожий мог предположить, что начинается боксерский матч или собачий бой. Но вну-

три не было залитого светом ринга — только грязный двор приходского работного дома. Двор был разделен на загоны, снабженные каменными плитами. Билет давал своему обладателю право сесть на одну из таких плит, взять тяжелый молот и долбить покрытый грязью гранит. Пять бушелей щебня приносили ему три пенса и буханку хлеба³.

Люди, осаждавшие работные дома в том январе, не были похожи на болезненных оборванцев, которые обычно ассоциируются с этими презренными учреждениями. Это были крепкие парни в добротных пальто. За несколько месяцев до этого они зарабатывали один-два фунта в неделю в доке, на строительстве шоссе или железнодорожного туннеля — и этого было более чем достаточно, чтобы обеспечить жильем семью из пятерых человек, есть мясо и масло, пить пиво и даже откладывать немного на черный день⁴. Так продолжалось до тех пор, пока “черная пятница” не привела к губительной остановке строительства в море, на земле и под землей, а лавина банкротств не лишила работы тысячи людей; до эпидемии холеры, небывалых морозов, закрывших доки на недели, и увеличения цен на хлеб вдвое; до того, как были истрачены последние сбережения, заложена последняя вещь домашнего обихода и исчерпана помощь родственников.

Беднейшие приходы ежедневно отказывали сотням несчастных, а замученные финансовым бременем налогоплательщики — вроде Карла Маркса — волновались, что растущие налоги в пользу бедных разорят и их. Несмотря на потоки пожертвований, благотворительные организации не справлялись с обилием заявок. “Никто не знает масштабы этого ужаса”, — в январе 1867 года писала другу Флоренс Найтингейл, обеспеченная женщина и реформатор больничного дела:

Дело не только в том, что в Ист-Энде, как пишут газеты, оказалось двадцать тысяч безработных. Хуже то, что в книге учета бедных каждого прихода записей в два, а то и в пять раз больше обычного. Все работные дома превратились

в больницы. А в “школах для бедных” не могут обеспечить даже одноразовое питание — они на грани закрытия. И это распространилось повсеместно: охвачены Мэрилебон, Сент-Панкрас, Стрэнд и юг Лондона⁵.

В Гринвиче разразились хлебные бунты, а булочники и владельцы других мелких лавочек пригрозили взять в руки оружие, чтобы защищаться от разъяренной толпы⁶. В мае тысячи жителей Ист-Энда вступили в схватку с конной полицией в Гайд-парке, формально в поддержку второй парламентской реформы и права рабочих голосовать на выборах, но по существу для того, чтобы дать выход своему недовольству и ненависти к богатым⁷.

В условиях новой эпохи информации лондонцы среднего класса едва ли могли не знать о царящих вокруг несчастьях: пять раз в день они получали почтовые отправления, кроме того, сведения поступали из газет, книг, журналов, лекций, проповедей. Репортеры нового поколения, вдохновленные примерами Генри Мейхью, Чарльза Диккенса и других журналистов 1840-х годов, заполняли страницы “Дейли ньюс”, “Морнинг стар”, “Пэлл-Мэлл газет”, “Вестминстер ревью”, “Хаусхолд вордс”, консервативной “Дейли мейл” и либеральной “Таймс” драматичными рассказами очевидцев и собственными репортажами из Ист-Энда. Репортеры под видом бедствующих трудяг проводили ночи в рабочих домах, чтобы описать царящие там ужасы. Роберт Гиффен, редактор либеральной “Дейли ньюс”, стал выдающимся специалистом по статистике своего времени. В его первой крупной научной статье с триумфом отмечалось утроение национального богатства за период с 1845 по 1865 год, но вторая, написанная в 1867 году, существенно отличалась от первой по тональности и точке зрения: автор резко возражал против введения регрессивного налогообложения, которое грозило снизить “прожиточный минимум бедняков”. По словам его биографа Роджера Мейсона, во время депрессии 1866–1867 годов Гиффена больше всего огорчало то, что ее

жертвами стали в основном законопослушные граждане, которые работали, копили, а наиболее удачливые и щедро жертвовали на благотворительность. Но добродетель не защитила их от разразившегося бедствия⁸.

Новая волна голода и болезней и рост числа бездомных на фоне расцвета богатства привели к распространению радикальных настроений среди поколения тех, кто вырос в период бума и считал достаток и прогресс сами собой разумеющимися. Сценаристы писали пьесы с главными героями-пролетариями. Поэты печатали труды, содержавшие социальную критику. Профессора и священники со своих кафедр обрушивались на британское общество. Типичным примером такого рода увещеваний может служить высказывание слепого либерального реформатора Генри Фоссета, профессора политической экономии Кембриджского университета:

Нам говорят, что экспорт и импорт стремительно растут; приводят красочные описания империи, над которой никогда не заходит солнце, и торговли, которая распространилась по всему миру. Наш торговый флот постоянно умножается, увеличивается число и размеры наших предприятий. Роскошь цветет пышным цветом; в парках все больше великолепных экипажей... Но посмотрим на картину с другой стороны — и что мы увидим? Рука об руку с этим бескрайним богатством, тесно соприкасаясь с этой греховной роскошью, крадется страшный призрак повсеместной нищеты и растущего пауперизма! Посетите крупнейшие центры коммерции и торговли — что вы там увидите? Крайняя нищета неизменно сопутствует величайшему богатству!⁹

Полные христианского ощущения вины и стремления творить добро, университетские выпускники, ранее мечтавшие стать миссионерами в отдаленных уголках империи, начинали понимать, сколько добра требуется сотворить дома. В том году Уильям Генри Фримантл, автор книги “Мир как объект искуп-

ления”, стал викарием в приходе Св. Марии, одном из беднейших в Лондоне. Прогулка по Ист-Энду во время эпидемии холеры побудила члена евангелической секты Томаса Барнардо построить приют для сирот местных бедняков, вместо того чтобы отправиться в Китай и обращать китайцев в христианство. Аналогичный эпизод побудил будущего “генерала Армии спасения” Уильяма Бута, автора книги “Во мраке Англии и путь к спасению”, создать свою Армию. Оксфордский ученый Сэмюэль Барнетт основал Ассоциацию университетских поселенцев и призывал студентов жить среди бедняков, организуя бесплатные столовые и вечерние школы.

Став миссионерами в собственной стране, эти юноши и девушки стремились к научному, а не сентиментальному подходу. Они видели свое призвание не в раздаче милостыни, а в распространении среди бедных привычки и тяги к ценностям среднего класса. Как сказал оксфордский выпускник Эдвард Денисон в 1867 году: “Подавая милостыню, вы сохраняете их согбенными. Стройте школьные здания, нанимайте учителей, давайте стипендии, организуйте клубы для рабочих — помогите им помочь себе”¹⁰.

В начале июня 1867 года на лондонском вокзале Юстон молодой человек с тонкими чертами лица, шелковистыми светлыми волосами и сияющими голубыми глазами сел на поезд Великой северной железной дороги, шедший в Глазго. С собой у него были лишь трость да набитый книгами рюкзак. Попутчики могли принять его за викария или школьного учителя, собравшегося провести отпуск в горах. Однако в Манчестере молодой человек надел свой рюкзак, выпрыгнул на платформу и исчез в толпе.

Прежде чем продолжить путешествие на север, к шотландским горам, Альфред Маршалл, двадцатичетырехлетний математик и стипендиат колледжа Св. Иоанна в Кембридже, несколько часов бродил по фабричным кварталам и прилегающим к ним

трущобам, “заглядывая в лица бедняков”. Он решал, что выбрать делом своей жизни: немецкую философию или австрийскую психологию. Это были его первые шаги на пути от метафизики к настойчивому постижению социальной реальности. Позже он скажет, что эти прогулки заставили его задуматься над “справедливостью существующих социальных условий”¹¹.

В Манчестере Маршалл увидел бурое дымное небо, бурные грязные улицы и огромные скопления складов, заводских ангаров и убогих жилищ, которые он встречал в романах вроде “Севера и Юга” Элизабет Гаскелл — и все это в нескольких сотнях метров от сияющих магазинов, ухоженных парков и роскошных гостиниц. В узких закоулках ему встречались малорослые мужчины с землистым цветом лица и невысокие бледные фабричные девушки в продуваемых ветром шалях и с волокнами хлопка в волосах. Зрелище “столь глубокой нищеты” рядом с таким “изобилием роскоши” заставило Маршалла задуматься, действительно ли существование пролетариата вызвано “природной необходимостью”, как его приучили думать. Он задался вопросом: “почему все не могут быть джентльменами?”¹²

Маршалл, произношение и манеры которого не дотягивали до уровня других стипендиатов колледжа Св. Иоанна, иногда сравнивал свое открытие нищеты с познанием первородного греха, а последующее увлечение экономикой — с религиозным обращением. Но хотя в качестве объекта изучения нищета впервые предстала перед ним после паники 1866 года, было бы большой ошибкой считать, что до этого ему не приходилось заглядывать в лица бедняков¹³. Его дед с материнской стороны был мясником, а дед по отцовской линии обанкротился. Его отец и дядя начинали жизнь неимущими сиротами. В свидетельстве о браке Уильям Маршалл указал свое социальное положение как “джентльмен”, но он никогда не поднимался выше скромной должности кассира в Банке Англии. Его сын

Альфред родился не в престижных предместьях, как он позднее намекал, а возле кожевни в Бермондси, одной из наиболее одиозных лондонских трущоб. А когда Маршаллы переехали в Клэпэм, район низших слоев среднего класса, они поселились в доме напротив газового завода.

Маршалл был вундеркиндом, и отец смог убедить директора банка оплатить его обучение. В результате Маршалл поступил в Мерчант-Тейлорз-скул, частную школу в Сити, где обучались сыновья банкиров и биржевых маклеров. Начиная с восьми лет он ежедневно проделывал путь на омнибусе, пароме и отчасти пешком через самые отвратительные промышленные районы и трущобы, облепившие Темзу. Маршалл заглядывал в лица бедняков всю свою жизнь.

Герой романа Чарльза Диккенса “Большие надежды”, опубликованного в 1861-м — в год окончания Маршаллом школы, — малолетний сирота Пип делает, по его словам, “безумное признание”. Заставив свою собеседницу три раза поклясться, что она сохранит услышанное в тайне, Пип шепчет: “Мне ужасно хочется стать джентльменом”¹⁴. Его подружка Бидди так поражена, словно Пип, которого должны вот-вот отдать в ученики кузнецу, объявил о намерении стать Папой Римским. Чтобы безумная мечта героя стала явью, Диккенсу пришлось изобрести каторжников на туманном болоте, высокомерную наследницу, особняк с привидениями, таинственное завещание и загадочного благодетеля. Даже в век, благосклонный к людям, добившимся всего собственными усилиями, мысль о том, что мальчик вроде Пипа — не говоря уже обо множестве других Пипов — может перейти в средний класс общества, представлялась плодом чистой фантазии или эксцентричным утопическим видением, настолько же далеким от реальной жизни, как и фантазмагорический роман Диккенса. Как сухо отмечалось в редакционной статье “Таймс” в 1859 году: “девяносто девять человек из ста не смогут продвинуться в жизни — по рождению, образованию или обстоятельствам им суждено навсегда остаться на низшей ступени общества”¹⁵.

Однако налицо были знаки перемен. Как заметил Теодор Хаппон, вопрос о том, кто может стать джентльменом и каким путем, стал одним из самых широко обсуждаемых в викторианской литературе. Джентльмен определялся по рождению, занятиям и гуманитарному, то есть не профессиональному образованию. Так исключались все, кто работал своими руками, в том числе квалифицированные ремесленники, актеры, художники и торговцы (если только речь не шла о торговле в очень крупных масштабах). Мисс Маррабл из “Булхэмптонского викария” Антони Троллопа “полагала, что если сын джентльмена намерен сохранить свой статус джентльмена, ему надлежит зарабатывать на жизнь в качестве священника, юриста, солдата или моряка”¹⁶. Лавинообразный рост численности “белых воротничков” стал размывать старые границы — иначе зачем бы мисс Маррабл понадобилось провозглашать свои правила? Доктора, архитекторы, журналисты, учителя, инженеры и клерки рвались вперед, добиваясь права называться джентльменами¹⁷.

Занятия работающего джентльмена должны были оставлять ему достаточно свободного времени, чтобы он мог думать о чем-то, помимо оплаты счетов, а его доходы должны были позволить ему оплатить образование сыновей и выдать дочерей замуж за джентльменов. Однако конкретные размеры такого дохода вызвали многочисленные споры. Бедняки из романа Троллопа “Смотритель” были уверены, что ста фунтов в год хватило бы, чтобы превратить каждого из них в джентльмена, но когда наивный смотритель грозитя уйти на пенсию на сто шестьдесят фунтов в год, его отчитывает более практичный зять: только фантазер может рассчитывать, что достойно проживет на эти жалкие крохи¹⁸. Отец Альфреда Маршалла на двести пятьдесят фунтов в год содержал жену и четверых детей¹⁹, а вот Карл Маркс, который — следует признать — не слишком умело распорядился деньгами, не мог соответствовать уровню жизни среднего класса, располагая вдвое большей суммой²⁰. В 1867 году достойные джентльмена доходы были большой

редкостью. Только одна из четырнадцати британских семей имела хотя бы сто фунтов в год²¹.

Однако даже мисс Маррабл могла бы признать, что кембриджский стипендиат годится в джентльмены. Все пятьдесят шесть стипендиатов получали из фонда колледжа Св. Иоанна ежегодные дивиденды, размеры которых выросли с 210 фунтов в 1865 году до 300 фунтов в 1872-м. Кроме того, каждому предоставлялось жилье и слуга²². Стипендия покрывала обед за “высоким (профессорским) столом”, состоявший обычно из двух блюд, куда входили мясо с овощами, пироги и пудинги, а в конце вдоль стола провозили большую головку сыра. Дважды в неделю добавлялось третье блюдо: суп или рыба. Большинство стипендиатов пополняли свой бюджет, занимаясь репетиторством или выполняя обязанности лектора или казначея. Для одинокого человека без жены и детей — а стипендиаты должны были сохранять безбрачие — работа в колледже оставляла достаточно времени для занятий наукой, писания трудов и плодотворных бесед, а доходы позволяли много путешествовать, достойно одеваться, иметь личную библиотеку и несколько картин или безделушек — иными словами, обеспечивали все атрибуты жизни джентльмена.



Преобразование Альфреда Маршалла из бледного, беспокойного, полуголодного и плохо одетого школьника в кембриджского преподавателя было почти столь же поразительным, как и превращение Пипа из подмастерья деревенского кузнеца в совладельца компании. Отец Маршалла начал работать маклером в Сити в шестнадцать лет. Его брата Чарльза, который был старше его всего на четырнадцать месяцев, в семнадцать лет послали в Индию работать у производителя шелка. Сестра Агнесса отправилась в Индию вслед за Чарльзом, чтобы выйти там замуж, но вскоре умерла.

Как и многие другие разочарованные отцы викторианской эпохи, отец Маршалла пытался с помощью своего одаренного сына прожить другую жизнь. Стремясь выучить Альфреда на священника, Уильям Маршалл убедил работодателя оплатить учебу сына в хорошей подготовительной школе. Он был “образцом строгого евангелиста с тощей шеей и торчащим щетинистым подбородком”²³, домашний тиран, державший в страхе жену и детей. Будучи “совой”, он часто не отпускал Альфреда до одиннадцати, натаскивая его по ивриту, греческому и латыни²⁴.

Неудивительно, что мальчик страдал от приступов панического страха и мигреней. Как вспоминал его одноклассник, Альфред был “маленьким и бледным, плохо одевался и выглядел измученным”. У застенчивого Маршалла почти не было друзей. Он обнаружил “выдающиеся способности к математике, предмету, который презирал его отец”, и приобрел стойкую ненависть к классическим языкам. “По дороге в школу и из школы Альфред прятал в кармане “Начала евклидовой геометрии” в изложении Роберта Потса. Он прочитывал теорему, а потом доказывал ее в уме, на ходу”²⁵.

Обучение в Мерчант-Тейлорз-скул стоило относительно недорого, но даже при годовом жалованье в 250 фунтов Уильям Маршалл с трудом мог выделять сыну 20 фунтов в год на карманные расходы, необходимые для приходящего ученика²⁶. Тем не менее Маршалл-старший был готов подвергнуть себя и близких режиму строжайшей экономии, только чтобы Альфред ходил в эту школу, ведь ее успешное окончание гарантировало студенческую стипендию, позволявшую получить классическое образование в Оксфорде. И это было вожделенной наградой — в то время университетское образование было роскошью, доступной лишь одному из пятисот сверстников его сына. Что еще важнее, студенческая стипендия в Оксфорде — согласно вскоре отмененным законам — практически гарантировала пожизненную исследовательскую стипендию в области классических наук в одном из оксфорд-

ских колледжей, должность служителя церкви, государственного чиновника или преподавателя в одной из престижных частных школ.

Когда Маршалл объявил, что намерен отказаться от оксфордской стипендии и отправиться изучать математику в Кембридж, его отец пришел в ярость и попытался — угрозами и уговорами — изменить его решение. Только существенная ссуда от австралийского дядюшки и стипендия математического факультета позволили Маршаллу вопреки родительской воле воплотить свою мечту в жизнь. Когда семнадцатилетний юноша шел по берегу реки Кем сдавать вступительный экзамен, он приветствовал приближение свободы радостными криками.

После трех лет обучения в колледже Св. Иоанна его ждало новое серьезное испытание — публичный экзамен для получения отличия по математике. Лесли Стивен, будущий отец Вирджинии Вулф, учившийся в Кембридже одновременно с Маршаллом, считал, что завоеванное тем второе место было все равно что наследство в пять тысяч фунтов (полмиллиона долларов в нынешних деньгах), а это обеспечивало более чем хороший старт в жизни²⁷. Эта победа Маршалла позволила ему немедленно стать пожизненным стипендиатом колледжа, что давало возможность жить там и получать плату за репетиторство и лекции (еще две с половиной тысячи фунтов, по подсчету Стивена). Отработав — в нагрузку к своим основным обязанностям — год в подготовительной школе, чтобы вернуть ссуду дяде, Маршалл впервые в жизни был по-настоящему финансово независим и мог делать что хотел.

Важно было решить, как именно воспользоваться этой свободой. Математика начинала ему приедаться. Когда Маршалл, сидя в горах Северной Шотландии, читал Иммануила Канта (“единственный человек, которого я когда-либо боготворил”²⁸), мир под ним был скрыт туманом. Однако лица бедняков, видения изнурительного труда и беспросветной нужды продолжали преследовать его. Как и Пип, Альфред Маршалл поднялся наверх, но не мог забыть тех, кто остался внизу.

Маршалл вернулся из Шотландии в Кембридж в октябре 1867 года, “загоревший, подтянутый и полный сил”²⁹. Раньше у него — как у младшекурсника — не было доступа к важнейшей составляющей обучения в Кембридже: клубам и частным собраниям в комнатах преподавателей. Но теперь, после успешной сдачи столь серьезного экзамена, его пригласили в “Троут-клуб”, сообщество университетских радикалов, регулярно обсуждавших политические, научные и социальные вопросы. Лидер и душа сообщества философ Генри Сиджвик, бывший четырем годами старше Маршалла, быстро оценил его талант и взял под свое крыло. “Он сформировал меня”, — признавался Маршалл. Если отец почти выжал из него жизненные соки, то Сиджвик “вернул к жизни”³⁰.

Под руководством Сиджвика Маршалл занялся изучением немецкой метафизики, эволюционной биологии и психологии, поднимаясь ежедневно в пять утра, чтобы углубиться в чтение. Несколько месяцев он провел в Дрездене и Берлине, где, по словам его биографа Петера Гроневергера, “попал под обаяние гегелевской “Философии истории”³¹. Подобно молодым Гегелю и Марксу, он нашел неотразимым утверждение Гегеля о том, что человек должен не слепо подчиняться власти, а руководствоваться собственной совестью. Из вышедшей в 1859 году работы Чарльза Дарвина “Происхождение видов” и опубликованного в 1862 году сочинения Герберта Спенсера “Система синтетической философии” он воспринял эволюционный подход к обществу. Возможность “более глубокого и быстрого развития человеческих способностей” подстегивала его интерес к психологии³². Молодой человек, перед которым благодаря первоклассному образованию открылись огромные возможности, постепенно пришел к выводу, что самые серьезные препятствия к умственному и моральному развитию человека носят материальный характер.

Он начал считать себя “социалистом”. В 1860-е годы этот термин подразумевал интерес к социальным реформам или принадлежность к какой-нибудь коммуне, в то время как

столь же расплывчатый термин “коммунист” включал всех, кто считал невозможными какие-либо улучшения, пока не будет полностью разрушена система частной собственности и конкуренции³³. Когда Маршалл расспрашивал Сиджвика о преодолении классовых различий, учитель мягко распекал его: “если бы вы разбирались в политической экономии, вы бы так не говорили”. Маршалл понял намек. “Я начал читать Адама Смита, Милля, Маркса и Лассаля, чтобы узнать, какой практический результат могут дать социальные реформы, проводимые государством или другими организациями”, — вспоминал он позже. Он начал с изучения “Основ политической экономии” Джона Стюарта Милля, которые к тому времени выдержали уже шесть изданий, и очень увлекся³⁴.

Его интерес был усилен неожиданным принятием парламентской реформы 1867 года, которая одним махом превратила Англию в демократическое государство. Этот закон сразу увеличил число избирателей более чем в два раза, предоставив право голоса примерно 888 тысячам взрослых мужчин, в основном квалифицированным ремесленникам и владельцам лавок, платившим не менее 10 фунтов в год в качестве арендной платы или налога на недвижимость. Таким образом, рабочий класс стал частью политической системы, а демократия — единственно возможной формой правления. Несмотря на то что права голоса все еще не имели три миллиона фабричных, поденных и сельскохозяйственных рабочих — а также, разумеется, женщины, — историк XX века Гертруда Гиммельфарб подчеркивает, что этот закон возвестил неизбежность перехода к всеобщему избирательному праву³⁵. Однако Маршалла беспокоил разрыв между идеальным понятием гражданства и реальным миром, в котором материальные трудности и лишения не позволяли большинству его соотечественников полноценно использовать свои гражданские свободы.

“Подъем”, подобный тому, что совершил Маршалл, может породить чувство вины, наложить определенные обязательства. В литературе викторианской эпохи у главных героев часто есть

двойники, которые, обладая теми же достоинствами и стремлениями, вынуждены оставаться на месте, в то время как герой делает рывок вверх. Когда американский журналист и писатель Генри Джеймс в 1869 году бродил по Лондону, к нему, казалось, прямо “с лондонских мостовых выскочил” главный герой написанного им в 1886 году романа об анархистах — Гиацинт Робинсон. Джеймс смотрел на прогуливавшихся вокруг превосходно одетых людей, на экипажи, на залитые светом особняки и театры, клубы и картинные галереи, слышал обрывки любезных разговоров. Ему казалось, что именно здесь и находятся двери, “ведущие к свету, теплу, радости, хорошим и добрым отношениям”. В это самое время он вообразил молодого человека, похожего на него самого, который “разглядывает то же людское шоу, которое разглядывал и он”, включая “множество свидетельств свободы и беззаботности, знаний и власти, денег, возможностей и пресыщенности”. И все-таки Робинсон отличался от Джеймса: переплетчик, превратившийся в “Княгине Казамассиме” в бомбиста, “вынужден держаться от этого общества на почтительном расстоянии, без всякой надежды на сближение”³⁶.

Будучи принятым в изысканном мире свободы, возможностей, знаний и беззаботности (но не власти или большого богатства), Маршалл поместил изображение своего двойника туда, где он мог видеть его каждый день:

Я увидел в витрине небольшую писанную маслом картину [изображавшую лицо мужчины с поразительно смятым и тоскливым выражением лица, как будто он потерял все на свете,] и купил ее за несколько шиллингов. Я повесил портрет над своим камином в колледже и с тех пор называл этого человека своим святым покровителем и посвятил свою жизнь стремлению сделать таких людей достойными рая³⁷.

По мере того как Маршалл изучал труды основоположников политэкономии, “экономика становилась все более насущ-

ной — не столько в связи с ростом богатства, сколько в связи с уровнем жизни; и я полностью посвятил себя ей”. Это “посвящение” произошло не сразу. Он нашел “бесплодную страну фактов” интеллектуально непривлекательной и неприглядной с точки зрения общества. Когда ему предложили прочесть несколько лекций по политической экономии, Маршалл согласился с неохотой. “Я преподавал экономику... но с негодованием отвергал утверждение о том, что являюсь экономистом... “Я — философ, блуждающий в чужом краю”³⁸.

Когда в 1867 году Маршалл всерьез принялся за изучение экономики, его наставник Сиджвик был убежден, что “идиллические времена политической экономии уже в прошлом”³⁹. За отменой хлебных законов в 1846 году последовал период низких цен на продовольствие, и в течение недолгого времени политэкономия была “настоящей наукой, не хуже астрономии”⁴⁰. Но экономический кризис и политические беспорядки 1860-х возродили среди интеллектуалов старую неприязнь к этой дисциплине. Идя еще дальше Карлейля с его “мрачной наукой”, историк искусства Джон Рескин отвергал современную политическую экономию как “ублюдочную науку” и, подобно Диккенсу, призывал к созданию новой экономики, “настоящей науки политической экономии”⁴¹. По мнению Гиммельфарб, основная проблема заключалась в том, что “наука о богатстве” вступала в конфликт с евангелическими доктринами поздней викторианской эпохи⁴². Викторианцев отталкивала мысль о том, что жадность — это достоинство и что невидимая рука конкуренции гарантирует всему обществу лучший из возможных исходов.

С обретением рабочими права голоса обе политические партии стали бороться за эту часть электората. При этом на “политическую экономию” ссылались, чтобы противостоять любым реформам — будь то повышение платы сельскохозяйственным рабочим или введение пособий для

бедняков — на том основании, что такая реформа замедлит рост национального богатства. Сами основоположники политической экономии были — в свое время — сторонниками радикальных реформ: они боролись за права женщин и отмену рабства, защищали интересы среднего класса в его противостоянии с аристократией. Однако для последователей их идеи стали источником негативного отношения к рабочему классу. Как отмечал Лесли Стивен, отец Вирджинии Вулф: “Эта доктрина.. использовалась для опровержения любых социалистических схем... Подразумевалось, что политэкономисты исповедуют фатализм, считая, что не существует никаких реальных схем социального обновления”⁴³.

Например, Генри Фоссет, реформаторски настроенный преподаватель политэкономии из Кембриджа, обращаясь к бастующим рабочим, сказал, что они сами себе перерезают горло. Это заявление возмутило Рескина, который заявил по итогам забастовки строителей в 1869 году: “Политэкономисты беспомощны — практически безмолвны; они не способны предложить ни одного наглядного решения, которое могло бы убедить или успокоить противостоящие стороны”⁴⁴. Пример Милля был еще более ярким. Будучи к тому времени радикальным членом парламента, он называл себя социалистом и боролся за вторую парламентскую реформу и право рабочих на организацию профсоюзов и стачек. В то же время на будущее рабочего класса он смотрел едва ли менее мрачно, чем Рикардо и Маркс. Преподаватель Университетского колледжа Лондона Дж. Э. Кэрнс, который опубликовал знаменитый труд, осудивший экономическую систему рабовладения, несколькими годами позже вторил Миллю:

Возможное улучшение положения этих людей жестко ограничено барьером, который нельзя обойти и невозможно убрать. Как общность они не поднимутся никогда. Лишь немногие, более энергичные или удачливые, чем остальные, будут иногда вырываться за эти пределы... но громадное

большинство останется, по существу, в неизменном положении. Оплата труда как такового, квалифицированного или нет, никогда намного не превысит существующий уровень⁴⁵.

В основе пессимизма Милля лежала так называемая теория фонда заработной платы. Согласно этой теории, от которой Милль впоследствии отрекся, так и не найдя ей замены, для выплаты заработной платы может быть использована лишь конечная часть ресурсов. Как только фонд исчерпывается, никакого способа увеличить общую сумму выплат не остается. Поскольку спрос на рабочую силу фактически фиксирован, на размеры заработной платы влияет только предложение. Таким образом, одна группа рабочих может добиться повышения заработной платы только за счет снижения платы для других.

Если профсоюзам удастся добиться повышения заработной платы, выходящего за пределы фонда заработной платы, это приведет к безработице. Если правительство повысит налоги на богатых людей, чтобы субсидировать заработные платы, рабочее население увеличится, что приведет к росту безработицы и к дальнейшему повышению налогов. Более того, использование налогов для субсидирования зарплат снизит эффективность за счет устранения конкуренции и страха перед безработицей. В конечном счете, предупреждал Милль, «налог в пользу бедных поглотил бы весь доход страны»⁴⁶. Если рабочий класс не приобретет привычки к благоразумной экономии и не начнет контролировать рождаемость, утверждал автор популярного американского пособия, «рост народонаселения снизит уровень жизни до прежнего состояния»⁴⁷. В своем учебнике по политической экономии для начинающих Миллисент Фоссет приводила отмену хлебных законов как доказательство того, что зарплаты привязаны к физиологическому минимуму, который позволяет человеку только что не умереть с голоду. Имея в виду рабочего, она писала:

Он воспользовался дешевой едой не для того, чтобы жить с большими удобствами, а для того, чтобы содержать большее число детей. Это свидетельствует о том, что никакое существенное улучшение положения рабочего класса не может быть постоянным, если оно не сопровождается обстоятельствами, которые предотвращают компенсирующий рост населения⁴⁸.

Однако к моменту проведения второй парламентской реформы теория о том, что в долгосрочной перспективе зарплаты не могут вырасти, уже не казалась незыблемой, и не только из-за резкого роста средней зарплаты. Покорение природы с помощью железных дорог, пароходов и механического ткацкого станка подсказывало, что общество еще не достигло естественных пределов роста. Тот факт, что эмигранты преуспевали за рубежом, а дома быстро рос средний класс, состоявший из квалифицированных ремесленников и “белых воротничков”, противоречил утверждению, что законы биологии исключают возможность массового избавления от нищеты. Нищета, которая одно время казалась естественной и почти повсеместной чертой общественного ландшафта, начинала все чаще восприниматься как его дефект.

Существует ли какой-то искусный механизм, который может поднять зарплаты настолько, чтобы средняя зарплата обеспечивала жизнь на уровне среднего класса? Милль признал несостоятельность теории фонда заработной платы, но ни он, ни его критики не смогли предложить удовлетворительной альтернативы. Над выработкой такой альтернативы билось огромное количество викторианских интеллектуалов — начиная от Чарльза Диккенса, Генри Мейхью и Карла Маркса и кончая Джоном Рескиным и Генри Сиджвиком. Поскольку преуспеть в этом никто не смог, было неясно, удастся ли примирить надежды на социальные улучшения с экономической реальностью — или ощутимый выигрыш, полученный в 1850–1860-е годы, является исключительно временным. Тори, подобные

Рескину и Карлейлю (который был противником отмены рабства), предсказывали катастрофу, если старые феодальные связи не будут восстановлены. Социалисты возражали, что без социальных реформ положение рабочих “не может быть исправлено, а их беды — устранены”⁴⁹. Так называемые споры об уровне жизни сводились к одному вопросу: насколько можно улучшить положение при существующем социальном устройстве?

Весенним вечером 1873 года Альфред Маршалл выступал в арендованном у Кембриджского колледжа лектории перед женской аудиторией из 70–80 слушательниц. Он говорил очень энергично, без конспекта; его прекрасное лицо было освещено внутренним огнем. Маршалл обращал к женщинам простые, прямые, обыденные слова, как если бы беседовал с сестрами. Он призывал их перестать плести кружева и тратить время попусту, не идти на поводу у родных. Советовал стать социальными работниками и учителями, как “мисс Октавия Хилл”^{*}. Прежде всего он настаивал на том, что им надлежит понять, “какие нужно преодолеть трудности и... как их преодолеть”⁵⁰.

Вслед за своим наставником Генри Сиджвиком и другими университетскими радикалами 1860–1870-х годов Маршалл начал рассматривать образование как оружие в борьбе против социальной несправедливости. Как и другие почитатели опубликованной в 1869 году книги Милля “Подчиненность женщины”, он считал, что образованные женщины являются главной движущей силой общественных перемен. С точки зрения Маршалла, основная проблема женщин и рабочих, по сути, была одна и та же: они зависели от других людей и не имели возможностей для самореализации. Низкая заработная плата вынуждала рабочих полностью погрязнуть в тяжелый од-

Октавия Хилл (1838–1912) — знаменитый филантроп викторианской Англии.

нообразный труд, который не давал большинству из них, за исключением выдающихся одиночек, удовлетворить свои нравственные и творческие потребности. Представительниц среднего класса традиция обрекала на невежество и тяжкий труд другого рода. Вдохновленный романами своих современниц, таких как Джордж Элиот и Шарлотта Бронте, Маршалл особенно остро сочувствовал тяжелой доле женщин, которые были лишены возможности развивать свои таланты, и сожалел о том, что эти таланты потеряны для общества. Он был убежден, что задача освобождения рабочего класса требовала — наряду с более научным подходом к экономике — участия представительниц среднего класса. Маршалл активно пропагандировал тезис о существовании “теснейшей связи между свободной реализацией творческого потенциала женщин и совершенствованием рабочего класса”. В то время как современники славил “хранительницу семейного очага”, Маршалл читал просветительские лекции для женщин, на общественных началах проводил экзамены и из личных средств премировал слушательницу — автора лучшего сочинения по экономике. Позднее он же внес существенный вклад в размере шестидесяти фунтов в фонд строительства Ньюем-холла, ставшего ядром одного из первых в Кембридже исключительно женских колледжей. В 1873 году Маршалл вместе с Сиджвиком, другими членами “Гроут-клуба” и Миллисент Фоссет — чья сестра Элизабет Гаррет стремилась получить медицинское образование — основал Общий комитет по организации лекций для женщин⁵¹.

В первую очередь лекции Маршалла были посвящены основному парадоксу современного общества: существованию нищеты посреди изобилия. Он учил, задавая последовательные вопросы. Почему промышленная революция не освободила рабочий класс “от несчастий и пороков”? Насколько можно улучшить жизнь в данных социальных условиях, основанных на частной собственности и конкуренции? Его ответы показывали, что его позиция была весьма далека от предположений

и выводов предшественников. Он говорил женщинам, что филантропия и политическая экономия — вопреки убеждениям Мальтуса, разделявшимся современными мальтузианцами — не противоречат друг другу.

Но даже отвергая выводы основателей политической экономии, Маршалл настаивал, что сама наука жизненно необходима для общества. Проблема нищеты была намного сложнее, чем считало большинство реформаторов. Экономика, как и естественные науки, была не более чем инструментом, позволяющим разделять сложные задачи на простые составляющие, которые можно анализировать по отдельности. Вмешательство на основе ложного понимания причин легко могло усугубить проблему. Маршалл цитировал Адама Смита, Давида Рикардо, Томаса Мальтуса и Джона Стюарта Милля, чтобы продемонстрировать мощь созданного ими “аналитического механизма” и показать, как его следовало усовершенствовать. Без такого инструмента, объяснял он, истину удавалось бы узнавать лишь случайно, а накапливать знания с течением времени вообще было бы невозможно.

Маршалл соглашался с Миллем в том, что промышленная революция не освободила рабочий класс от тирании экономической необходимости и не предоставила материальных возможностей для “повышения уровня жизни”. “Можно было бы ожидать, что быстрый прогресс в науке и в технике производства в значительной степени предотвратит пренебрежение интересами рабочих в пользу интересов производства.. Этого не произошло”⁵². Однако он решительно отвергал утверждение политэкономистов о том, что этого и *не могло* произойти, что вознаграждение за труд как таковой, квалифицированный или нет, никогда значительно не превысит существующий уровень⁵³.

Он не сомневался, что основной причиной нищеты является низкая заработная плата, но вот почему эта плата так низка? Радикалы утверждали, что виной тому жадность работодателей, а мальтузианцы считали, что это следствие моральных дефектов самих бедняков. Маршалл предложил свой ответ: низкая

производительность труда. В доказательство он приводил тот факт, что квалифицированные рабочие зарабатывали в “два, три, четыре раза” больше неквалифицированных, вопреки утверждению Маркса, что конкуренция заставит зарплаты как неквалифицированных, так и квалифицированных рабочих колебаться возле прожиточного минимума. Готовность работодателей доплачивать за специализированную подготовку и мастерство означала, что зарплата зависит от вклада рабочего в *текущее* производство. Или, иначе говоря, что плата определяется не только предложением рабочей силы, но и спросом на нее. Если это так, то средняя заработная плата не будет сохраняться на одном уровне. Когда с течением времени технологии, образование и усовершенствование организации производства будут повышать производительность труда, вместе с ней будет повышаться и зарплата рабочих. Плоды лучшей организации, знаний и технологии постепенно устранят главную причину нищеты. Необходимы активность и инициатива, а не смирение.

Позднее историк Арнольд Тойнби так оценивал важность открытия Маршалла: “*Это первая большая надежда, которую дает трудящимся новейший анализ вопроса о заработных платах. Они видят, что есть и иной способ повышения зарплат, помимо уменьшения числа трудящихся*”⁵⁴. Рабочие могут сами влиять на возможность повышения заработка для себя и своих детей. “Таким образом, — объяснял Маршалл своим слушателям, — лучшим средством от низкой зарплаты является образование”.

Он потратил массу усилий на опровержение тезиса социалистов: если бы не угнетение богатых, бедные жили бы в “абсолютной роскоши”. Годовой доход Англии, объяснял он женщинам, достигает примерно 900 миллионов фунтов. Зарплаты за ручной труд составляют 400 миллионов. Большая часть оставшихся 500 миллионов, указывал Маршалл, идет на зарплаты трудящихся, которые не принадлежат к так называемому рабочему классу: квалифицированным и полуквалифицированным рабочим, государственным чиновникам

и военным, специалистам и управляющим. На самом деле, при абсолютно равномерном распределении доход на душу населения оказался бы меньше 37 фунтов. Для уменьшения нищеты требовался рост производства и производительности труда, иными словами — экономический рост.

С точки зрения Маршалла, основная ошибка его предшественников заключалась в том, что они не видели, что человек является порождением обстоятельств, меняется вместе с ними. А основная ошибка их критиков (которую, сколь это ни забавно, разделяли и сами основатели политической экономии) состояла в том, что они не учитывали совокупный эффект постепенных изменений и важную роль фактора времени.

Мне кажется, что немного есть на свете вещей с большим поэтическим потенциалом, чем таблица умножения... Если вы сможете обеспечить определенный годовой прирост имеющемуся у вас умственному и моральному капиталу, то нет предела тому продвижению, которое может быть достигнуто. Если вы сможете приложить жизненную силу, к которой применима таблица умножения, то из маленького семени может вырасти дерево любого размера⁵⁵.

Идеи имели значение, когда прошлое не просто повторялось, а давало жизнь чему-то новому. “Органон”, или инструмент для открытия истин — истин, которые, как и все научные открытия, зависели от обстоятельств, — должен был стать независимой силой. “Мир движется, — отмечал Маршалл, — но скорость его движения зависит от того, насколько самостоятельно мы мыслим”⁵⁶.



Год спустя, сидя в гостиной Энн Клаф на Риджент-стрит и увлеченно беседуя с Генри Сиджвиком о “высоком”, Мар-

шалл почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд⁵⁷. Опустив вязание на колени, на него смотрела девушка с “прекрасным цветом лица”, “глубоко посаженными большими глазами” и копной волос цвета красного дерева, свободно заколотой на затылке⁵⁸. Позже кто-то назвал двадцатилетнюю Мэри Пэйли “настоящей принцессой Идой”. Героиня одноименной оперы Гилберта и Салливана “отвергла свет и, с группой женщин скрывшись в уединенном сельском доме, отдалась занятиям философией глубокой”. К тому моменту Мэри только что разорвала свою помолвку с красивым, но глупым офицером и присоединилась к горстке девушек-первопроходцев, стремившихся получить образование в Кембридже. На этот “возмутительный поступок” ее толкнуло не неприятие мужчин или обычных условий брака. “Кто хочет благосклонности добиться, тот должен метить в голову — не в грудь. Сродни девицы спичкам безопасным, воспламеняет кои кладезь знаний”⁵⁹.

Мэри сходила на одну из лекций Маршалла в каретном сарае в Гроувдодже, где зачарованно внимала его гимнам во славу Канта, Бентама и Милля. “Я подумала тогда, что никогда не видела такого привлекательного лица”, — призналась она, покоренная его “сияющими глазами”. Она пошла на танцы в колледж, где работал Маршалл, и, ободренная его “печальным” взглядом, пригласила его на лансье^{*}. Не обращая внимания на его слова о том, что он не умеет танцевать, она провела его через всю сложную последовательность фигур, сама “порадившись своей смелости”⁶⁰. Вскоре она уже стала постоянной посетительницей “воскресных вечеров”, проходивших в его комнатах в колледже Св. Иоанна, где он угощал ее чаем, лепешками, бутербродами и апельсинами и показывал свою “большую коллекцию портретов, разбитых на категории: философы, поэты, художники...”

* Лансье — английский бальный танец.

Мэри могла напоминать Маршаллу Мэгги Тулливер, умную, но испытывавшую страх перед математикой героиню “Мельницы на Флоссе” Джордж Элиот, которая хотела выучить “Эвклида”, как ее брат Том⁶¹. В то время этот роман Элиот был любимой книгой Маршалла. Встретив однажды Мэри Пэйли и ее лучшую подругу Мэри Кеннеди на улице, Маршалл сделал предложение — но речь шла не о браке, а о чем-то совершенно немислимом. Молодой профессор хотел, чтобы две его лучшие ученицы сдали “трайпос” по этике — публичный выпускной экзамен по политической экономии, политике и философии, который студенты сдавали для получения ученой степени бакалавра с отличием. Это была гораздо более амбициозная цель, чем “повышение культурного уровня” с помощью лекций по литературе, истории и логике, ради которого Мэри поступала в Кембридж.

Сделав это предложение, Маршалл проявил смелость, чуждую другим реформаторам образования, которые в основном стремились повысить уровень преподавания в средней школе. “Запомните, — предупреждал Маршалл, — до сих пор вы состязались с тягловыми лошадьми, а трайпос — это соревнование со скакунами”. Он пообещал, что они с Сиджвиком будут ее готовить. По словам Мэри Кеннеди, “он сказал, что нужно будет заниматься не меньше трех лет, специализируясь в одном-двух предметах. Мы легко согласились, не понимая, за что беремся”.

Девушка, принявшая вызов, происходила, как и Маршалл, из строгой евангелической семьи. Мэри была правнучкой Уильяма Пэйли, архидиакона Карлайла и автора “Принципов моральной и политической философии”. Отец Мэри был ректором Аффорда, расположенного возле Стемфорда в сорока милях к северо-западу от Кембриджа. “Непреклонный радикал”, выступавший против охоты на лис, бегов и ритуалов “высокой церкви”, он отказывался разговаривать с окрестными священниками, а дочерям запрещал играть в куклы и читать Диккенса. Мэри вспоминала: “Сначала нам с сестрой разре-

шали играть в куклы, а потом отец их сжег. Это был ужасный день — он сказал, что мы творим идолов, и больше кукол у нас не было”.

Тем не менее отец Мэри был более терпимым, образованным и состоятельным человеком, чем Уильям Маршалл. Мэри выросла “в старинной усадьбе с фасадом, увитым красными и белыми розами, лужайкой, за которой начинался лес, и садом с цветочными бордюрами и аккуратными газонами”. Семья Пэйли вела очень активный образ жизни: игры с мячом, стрельба из лука, крокет, экскурсии в Лондон, летние каникулы в Ханстантоне и Скарборо. “Отец принимал участие в работе и играх, интересовался электричеством и фотографией”, — вспоминала Мэри. Ее мать “была всегда жизнерадостна и полна энергии”. В 1862 году Мэри повезли в Лондон — посмотреть очередную Всемирную выставку. Чарльз Диккенс оставался под запретом, но зато Мэри прочла “Тысячу и одну ночь”, “Путешествия Гулливера”, “Илиаду” и “Одиссею”, греческие пьесы и пьесы Шекспира, а также романы Вальтера Скотта, которые Маршалл тоже любил.

Когда в 1869 году в Кембридже были организованы Высшие местные экзамены для женщин старше восемнадцати, Том Пэйли — вопреки возражениям жены — поддержал намерение Мэри их пройти. После блестящей сдачи и разрыва помолвки с офицером отец разрешил ей то, “что раньше было не принято”, — поехать жить в Кембридж. Энн Джеммайма Клаф, подруга Сиджвика и одна из предводительниц движения за образование женщин, как раз открывала пансионат для студенток. Позднее Мэри писала: “Мой отец был доволен и горд, а его восхищение мисс Клаф победило нежелание отправлять дочь в Кембридж (что по тем временам было немислимым предприятием)”⁶².

В октябре 1871 года Мэри присоединилась к мисс Клаф и четырем девушкам, проживавшим в доме 74 по Риджент-стрит. Кембридж был совершенно не подготовлен к совместному обучению. Поскольку смешанная аудитория была “не-

приемлема”, сочувствующих преподавателей приходилось просить повторять свои лекции отдельно для женщин, а мисс Клаф должна была присутствовать на всех этих занятиях в качестве дуэньи. “Стремление к свободе, охватившее юных участниц этого движения”, и “неуместность” хорошеньких студенток были постоянным источником беспокойства. Мэри, которая как раз обклеила свои комнаты обоями Уильяма Морриса* в ознаменование начавшегося “праерафаэлитского периода” своей жизни, вызывала особую тревогу. Она одевалась в духе персонажей картин Эдварда Берн-Джонса — сандалии, накидки, летящие платья. Художник-любитель, она рисовала акварелью, предпочитая сочные тона, и однажды покрыла свое платье для игры в теннис изображениями вьющегося винограда и гранатов.

Мэри начала регулярно посещать занятия. Не только артистичная, но и серьезная, Мэри без труда усваивала “кривые” — графики, которыми Маршалл иллюстрировал соотношение между спросом и предложением. К собственному удивлению, Мэри победила на конкурсе эссе. Ее увлек дерзкий план Маршалла принять участие в трайпосе, а пространные, написанные красными чернилами комментарии, которыми он еженедельно снабжал ее домашние задания, стали “большим событием”.

Мэри Пэйли сдавала публичный экзамен по общественно-философским наукам в декабре 1874 года. Еще накануне экзамена было не ясно, допустят ли ее к сдаче. Среди экзаменаторов был один особенно “упрямый ретроград”. В конце концов ее — хотя и неохотно — допустили, но высшую оценку поставить отказались. “В то время на заседаниях экзаменационной комиссии не было председателя с решающим голосом, и поскольку двое проголосовали за присуждение мне первой категории, а двое — второй, я повисла, как выразился мистер

Уильям Моррис (1834–1896) — английский поэт, художник, издатель, социалист. Крупнейший представитель второго поколения “праерафаэлитов”, организатор фирмы по производству предметов декоративно-прикладного искусства.

Сиджвик, “между небом и землей”, — вспоминала она позже. Тем не менее успех сделал ее местной знаменитостью.

Время ее пребывания в Кембридже, по-видимому, закончилось, и Мэри вернулась домой, в Афффорд. Там, а точнее, в близлежащем Стэмфорде, она немедленно организовала — “полностью самостоятельно!” — образовательные курсы для женщин. Кроме того, она согласилась на предложение некоего профессора Стюарта из Кембриджа написать для таких курсов учебник по политэкономии. Потом она получила письмо от Сиджвика, в котором он просил ее заменить Маршалла на лекциях по экономике в Ньюеме, где мисс Клаф собрала около двадцати студенток.

В то время Маршаллу было тридцать два года, и он был одним из “продвинутых либералов” Кембриджа. Он носил модные длинные волосы, щеголял усами с закрученными вверх концами и больше не одевался как застегнутый на все пуговицы молодой священник. Он вступил в организованный незадолго до этого Кембриджский клуб реформ и читал радикальный журнал для рабочих “Улей”.

Весной 1874 года стачка сельскохозяйственных рабочих вызвала бурное столкновение между радикалами и консерваторами Кембриджа. Профсоюзы были тогда в новинку — их только недавно легализовали. Национальный союз сельскохозяйственных рабочих, новая радикальная организация, которой руководил Джозеф Арч, возникла осенью предыдущего года и охватывала несколько десятков городков Восточной Англии. Рабочие добивались повышения зарплат, сокращения рабочего дня, а также права голоса и реформы земельного законодательства⁶³. Повсюду вокруг Кембриджа вспыхивали стачки. Стремясь “подавить восстание”, фермеры объединялись в “Комитеты обороны”, увольняя и выселяя людей с профсоюзными билетами и привозя штрейкбрехеров издалека — даже из Ирландии. В сочувствовавшей консерва-

торам газете “Кембридж кроникл” высказывалось мнение, что фермеры “выступают не столько против повышения зарплаты, сколько против коварной тактики и нестерпимого диктата со стороны профсоюзов, действующих через демагогов-делегатов”⁶⁴. К середине мая конфликт длился уже два с половиной месяца и стал предметом общенациональных дискуссий.

В университете, где только что прошла подписка в пользу голодающих в Бенгалии, мнения резко разделились. Симпатии среднего класса к бедствиям рабочих были возбуждены рядом исследований, в первую очередь докладом Королевской комиссии, составленным архиепископом Манчестера, в котором отмечались длинный рабочий день, низкие зарплаты, катастрофические несчастные случаи и рационы сельскохозяйственных рабочих, состоявшие из “чайного супа”, черствого хлеба и кусочка сыра”⁶⁵. Во время локаута “Таймс” печатала очерки, призванные ужаснуть викторианских читателей. В одном из них описывался домик, где в единственной спальне ютились “рабочий, его жена, дочь 24 лет, сын 21 года, еще один сын 19 лет, 14-летний мальчик и 7-летняя девочка”⁶⁶. Авторы романов тоже развивали эту тему. В романе Джордж Элиот “Миддлмарч”, опубликованном за три года до этих событий, Доротея Брук говорит своему дяде, состоятельному землевладельцу, что она не может выносить “жеманные картины в гостиной... Подумайте о Ките Даунсе, дядюшка! Он с женой и семью детьми ютится в лачуге из двух комнатушек немногим больше этого стола! А бедные Дэгги! Их дом совсем развалился, и они живут на кухне, а комнаты оставили крысам. Вот одна из причин, милый дядя, почему мне не нравились ваши картины”⁶⁷.

Однако консерваторов беспорядки заставили вспомнить о хлебных бунтах 1816–1817 годов и поджогах стогов в 1830-е. Большинство было принципиально против идеи профсо-

Чайный суп — еда английских бедняков: сухари, залитые чаем с молоком, с добавлением соли, перца, лука и иногда сала.

юзных объединений. Весной один из видных деятелей университетского сообщества, “имевший заметное социальное положение... и занимавший влиятельную должность в одном из колледжей” Кембриджа, опубликовал в “Кембридж кроникл” несколько пространных “Сигналов тревоги”, в которых призывал фермеров не сдаваться. Он назвал профсоюзных лидеров “профессиональными уличными горлопанам”, а их либеральных сторонников — “назойливыми слюнтяями”. Автор статьи — возможно, им был кембриджский преподаватель Уильям Уэвелл — подписался аббревиатурой “*CSM*”, выбранной скорее всего в пику либеральным оппонентам, поскольку расшифровывалась она как *Common Sense Morality* — мораль здравого смысла. Говоря о зарплатах и профсоюзных объединениях, *CSM* ссылался на законы политической экономии, утверждая: “Это просто проблема спроса и предложения — вопрос должен урегулироваться сам собой без участия платных агитаторов и демагогов”⁶⁸.

Когда во вторник, 11 мая 1874 года, бурлящая толпа сторонников профсоюзов протиснулась в расположенный на грязной северной окраине Кембриджа Барнвел-Уоркингменхолл, их глазам предстало странное зрелище: на сцене стояли их неожиданные ученые союзники в своих академических одеяниях. Один из профсоюзных лидеров, пылкий Джордж Митчелл, под смех окружающих сказал, что, “увидев всех этих джентльменов в шляпах и мантиях, подумал, что и на него наденут что-то подобное”⁶⁹. Первым выступил известный реформатор Седли Тейлор, бывший стипендиат Тринити-колледжа. Он предложил принять резолюцию, осуждающую усилия фермеров по развалу профсоюза как “пагубные для интересов страны”, и попутно дал гневную отповедь коллеге *CSM*.

Потом наступила очередь Маршалла. Поддержав одинокого фермера-отступника, который предложил поддержать отстраненных от работы трудящихся, он призвал к сбору пожертвований: “Давайте проявим нашу солидарность сердцем и кошельком!”

Обращаясь к сельскохозяйственным рабочим, Маршалл объяснял, что в “решениях морального характера” нельзя опираться на политическую экономию, их следует принимать на основе “ее сестры — этики”. В своих публикациях в “Улье” он писал, что “неверно было бы считать политическую экономию саму по себе руководством к жизни. Чем больше мы ее изучаем, тем больше видим ситуаций, когда материальные интересы отдельного человека противоречат стремлению к повышению общественного благосостояния. В таких случаях следует призывать на помощь чувство долга”⁷⁰.

В следующую субботу “Кембридж кроникл” заклеила речь Маршалла как “искусную софистику”. На самом деле ему удалось показать, почему рынки рабочей силы не всегда формируют справедливую заработную плату и почему существование профсоюзов может привести к повышению эффективности и более равномерному распределению богатства. Маршалл начал с того, что его “просили рассказать о законах спроса и предложения”. Он обрушился на противников профсоюзов, которые считали, что заработная плата находится на своем “естественном уровне”, потому что в противном случае другие работодатели предложили бы рабочим больше, а “если заработную плату поднять искусственно, то вскоре она снова снизится”. Это был “железный” закон заработной платы Рикардо, с которым были согласны даже многие из тех, кто сочувствовал тяжелому положению рабочих. Само рассуждение, как признавал Маршалл, было “превосходным”, но его послышки — ложными. Ни один фермер не предложит соседским работникам более высокую плату, чтобы переманить их к себе. Кроме того, повышение заработной платы повысит производительность труда, потому что рабочие смогут лучше питаться. Признавая, что у “профсоюзов есть свои недостатки”, Маршалл отмечал, что “профсоюз выводит интересы и привязанности людей за пределы прихода; он помогает им почувствовать потребность в учебе и поклясться, что их сыновья получают образование... Зарплаты

вырастут... налог в пользу бедных сократится... Англия будет процветать”⁷¹.

Несмотря на поддержку университета и большинства печатных изданий, стачка провалилась. Фермерам удалось продержаться за счет использования механизации и детского труда. Когда в начале июня забастовочный фонд иссяк, профсоюз призвал рабочих вернуться на поля. Эта история убедила Маршалла в том, что новые идеи могут победить старые только в результате тщательно спланированных, упорных кампаний по завоеванию сердец и умов людей практики.

Спустя пять недель после отъезда из Нью-Йорка, по дороге в Сан-Франциско, Маршалл стоял и угрюмо смотрел вниз, на Ниагарский водопад. С подвесного моста на Козий остров водопад смотрелся далеко не так величественно, как обещал путеводитель Бедекера. Как математик Маршалл понимал, что виною всему законы перспективы, и пытался произвести в уме необходимые вычисления, чтобы убедить себя в том, что водопад так колоссален, как его описывали. Но это упражнение не слишком помогло ему — он продолжал чувствовать себя жестоко обманутым. “Ниагара — это сплошное надувательство, — писал он матери 10 июля 1875 года. — Чтобы понять, что Ниагара во много раз больше, чем кажется, нужно больше времени, чем для того чтобы понять, что альпийская долина, которая кажется шириной в одну милю, имеет на самом деле ширину шесть миль”⁷².

Маршалл приехал в Америку для изучения ее социального и экономического устройства. Из Манхэттена он отправился на колесном пароходе в Олбани. В одном из писем он отмечал, что за сорок лет до того Алексис Токвиль был “возмущен и взбешен”, когда узнал, что “сиявшие на берегу Гудзона великолепные мраморные виллы в греческом стиле” на самом деле были деревянными. Он же — напротив — “вопреки своим ожиданиям не увидел никаких особых подделок”⁷³.

И действительно, куда бы Маршалл ни посмотрел, он открывал больше, чем виделось на первый взгляд: американские архитекторы демонстрировали “дерзость и мощь” — их здания неизменно были “основательными и прочными”⁷⁴. Американский напиток под названием “мятный джулеп” был “роскошным”. Службы американских священников были “на голову выше наших” — они достигли удивительного совершенства в англиканской литургии⁷⁵. Американские рабочие были полны энергии⁷⁶. Осенью, вернувшись в Кембридж, он докладывал собравшимся членам клуба обществоведения и философии: “В Америке я не встретил ни одного человека, чей вид свидетельствовал бы о скучной или пресной жизни”⁷⁷. К середине июля, когда Маршалл добрался до Кливленда, он был убежден, что “девять из десяти англичан в Канаде были бы счастливее, чем в США; хотя сам я — если бы мне пришлось эмигрировать — поехал бы в США”⁷⁸.

До выхода главного труда Маршалла “Принципы экономической науки” оставалось еще пятнадцать лет, но он уже выработал основы своей “новой экономики” — она отличалась и от старой доктрины невмешательства государства в экономику, которую исповедовали Смит, Рикардо и Милль, и от недавно пришедших ей на смену социалистических откровений Маркса. В течение десяти лет он “разрабатывал основы своей теории, ничего не публикуя”⁷⁹. Путешествие по Америке убедило его в том, что он на верном пути.

Родственники Маршалла высмеяли его намерение потратить 250 фунтов наследства того же дядюшки, который финансировал его образование, на поездку в Америку. Он оправдывался тем, что собирает материал для книги о внешней торговле. Это было так, но вместе с тем, как отмечает экономический историк Джон Уитакер, Маршалл ставил перед собой гораздо более общую задачу — его все больше захватывало “почти навязчивое стремление познать все аспекты постоянно меняющейся экономической реальности”⁸⁰. Как и другим европейским наблюдателям, включая Токвиля, США виделись

ему огромной социальной лабораторией. Но если Диккенса, Уильяма Мейкписа Теккерея и Троллопа интересовали старые — теперь уже решенные — вопросы о демократии, рабстве и выживании союза, то Маршалл хотел понять, куда ведет развитие промышленности, рост международной торговли и упадок традиционной морали. В Америке эти процессы протекали быстрее, чем где бы то ни было. “В Америке я хотел увидеть историю будущего”, — сказал он своим слушателям, вернувшись в Кембридж⁸¹.

Маршалл отплыл в Америку во время самого большого бума в истории трансатлантического туризма. Тираж самого популярного путеводителя по Северной Америке подбирался к полумиллиону. Интенсивность движения по Северной Атлантике была так высока, что водная гладь напоминала сухопутную скоростную магистраль. Не менее десятка пароходных компаний предлагали еженедельные рейсы из Ливерпуля в Нью-Йорк, а английским путешественникам рекомендовали заказывать билеты за год вперед⁸². Путешествие Маршалла на борту парохода “Испания”, одного из самых быстрых и комфортабельных лайнеров, заняло всего десять дней — не сравнить с трехнедельным мучением, которое Диккенс испытал в 1842-м. Поездки по Америке — из-за огромных расстояний — стоили дорого. Маршаллу приходилось тратить по 60 фунтов в месяц, в то время как его летние походы по Альпам обходились всего в 15. Но впоследствии, по словам Мэри, он считал, что “никогда не тратил деньги столь удачно. Там он многое узнал, но еще важнее — понял, что хочет узнать”⁸³.

В ходе поездки он убедился в том, что “экономические аспекты играют в духовной жизни людей большую роль, чем было принято считать”. В частности, он полагал, что “никакие мысли, действия или чувства человека не оказывают такого влияния на его формирование... как мысли, действия и чувства, связанные с его повседневной жизнью”⁸⁴. Он побывал во многих церквях и гостиницах, особенно в Бостоне, где познакомился с ведущими американскими мыслителями, в том

числе с поэтом Ральфом Уолдо Эмерсоном и историком искусства Чарльзом Элиотом Нортонем. Несколько дней провел в общинах религиозной секты шейкеров и последователей Роберта Оуэна в Новой Англии. Но в основном путешествовал по фабрикам, заполняя блокнот записями разговоров с предпринимателями и рабочими, а также чертежами оборудования. На фабрике по производству пианино “Чикеринг и сыновья”, расположенной возле Бостона, он записал, что “от рабочих требуется высокий уровень старательности и сообразительности” и что у многих там были очень “одухотворенные лица”. Во время визита на фабрику по производству органов он задался вопросом: “не тормозит ли развитие интеллекта то, что человек занимается лишь одной, очень малой частью общего процесса?”⁸⁵ И пришел к выводу, что этого не происходит.

В те времена деловая поездка всегда включала в себя элементы туристической. И путешествие Маршалла не было исключением. Соблазн воспользоваться незадолго до этого построенной трансконтинентальной железной дорогой был слишком силен. Сидя в гостинице в Ниагаре, Маршалл булавочными уколами наметил маршрут своей поездки на запад на рекламной карте, представленной железнодорожной компанией “Юнион Пасифик”, чтобы мать в Лондоне могла следить за его продвижением к Сан-Франциско, рассматривая карту на просвет.

В идущий на тихоокеанское побережье поезд было удобнее всего сесть в Чикаго. Новая железнодорожная система напоминала гигантскую руку, ладонь которой накрывала Великие озера, а пальцы простирались в сторону Сиэтла, Портленда, Сан-Франциско и, если говорить о двух самых южных направлениях, Лос-Анджелеса. Большинство путешественников садились в Чикаго на Северо-Западный экспресс, который шел на запад через Иллинойс и Айову в Каунсил-Блаффс. Маршалл же поехал по Великой Северной железной дороге к Сент-Полу, а потом проплыл в обратном направлении, вниз по течению Миссисипи на речном судне из тех,

что “характерны не столько великолепием убранства, сколько взрывоопасностью”⁸⁶. На границе Айовы он пересел на Северо-Западный экспресс и на следующий день прибыл в Каунсил-Блаффс. Там он пересек реку и в Омахе сел на поезд “Юнион-Пасифик”. Из Омахи дорога вела прямо на запад в Шайенн и Гренджер в штате Вайоминг, где она поворачивала чуть на север к Огдену (Юта), Рино и Сакраменто, прежде чем начинался финальный южный отрезок длиной в 125 миль, который вел к Сан-Франциско. В Шайенне Маршалл сел в дилижанс, чтобы совершить двадцатичетырехчасовую поездку в Денвер и обратно. Остановился в Огдене, чтобы осмотреть столицу мормонов — Солт-Лейк-Сити. На обратном пути он вышел в Рино, чтобы посмотреть на “дикое население Вирджиния-Сити”. Его не покидало ощущение, что его глазам открывается что-то удивительное и небывалое. Из окна железнодорожного поезда он видел то, что другой молодой британец до него описывал как “развертывание новой карты, открытие новой империи, создание новой цивилизации”⁸⁷.

Маршалл был поражен движением, постоянно происходившим у него на глазах. “Многое изменилось [со времен Токвиля] ... многое из того, что было тогда почти неподвижным, больше не является таковым”, — написал он в письме домой⁸⁸. Первое, что поразило его сразу после регистрации в гостинице на Пятой авеню, был “паровой лифт, который *безостановочно* ездил вверх-вниз с 7 утра до полуночи” [курсив автора]. Его внимание привлек стоявший в холле телеграфный аппарат, который без всякого участия оператора выдавал бумажную ленту с биржевыми котировками. Остановившиеся в жилой части города путешественники “получают информацию так же оперативно, как если бы они находились в здании биржи”, писал он⁸⁹.

Маршалл решил, что важнейшей характеристикой Америки является мобильность. Речь шла не только о железной дороге и телеграфе, многочисленных волнах новых иммигрантов или перемещении населения из промышленных центров Северо-Востока в растущие как грибы города Запада, которые

возникали настолько быстро, что “можно было подумать, что на этой плодородной почве здания вырастают сами”⁹⁰. Особый интерес представляла экономическая, социальная и психологическая свобода передвижения. Маршалла поражала готовность простых американцев оставить родных и друзей ради новых городов, поменять профессию и род деятельности, усвоить новые взгляды и навыки. Он рассказывал: “Если человек начинает торговать обувью и не зарабатывает деньги так быстро, как рассчитывал, он может на несколько лет заняться бакалеей, а потом — книгами, часами или мануфактурой”. Его восхищала независимость молодых людей: “Американские парни... не выносят ученичества... Обреченность на какой-то вид деятельности часто порождает в мозгу молодого американца мысль о том, что он станет заниматься чем-то другим, как только получит возможность”⁹¹.

Его также поражало благожелательное отношение американцев к урбанизации. “Англичанин Милль с непривычным энтузиазмом говорит... о радостях одинокого путешествия по живописным местам, — отмечает он сухо и добавляет: — Многие американские писатели азартно описывают общественный расцвет, происходящий по мере того, как сначала житель лесной глуши обнаруживает возле себя соседей-поселенцев, затем такой лесной поселок превращается в деревню, деревня — в городок, а городок — в большой город”⁹².

Как и его любимые писатели, Маршалл интересовался не столько материальными и технологическими новинками, какими бы впечатляющими они ни были, сколько их влиянием на образ мысли и поведение людей. Где гарантия, что выбор каждого пойдет на пользу обществу в целом? Приведет ли движение отдельных людей вверх и вниз и сопутствующее этому ослабление традиционных связей к социальному хаосу, как предсказывают пессимисты вроде Маркса и Карлейля? А может быть, мобильность влечет за собой “переход к тому состоянию вещей, о котором мечтают современные утописты”? Вот в чем был основной вопрос⁹³.

Природные инстинкты подталкивали Маршалла к оптимистичному ответу. Однажды вечером в Норвиче, штат Коннектикут, он отправился покататься с некоей мисс Нанн, которая пожелала взять вожжи и правила сама. Маршалл счел это приключение “очаровательным”. Он отметил, что молодые американки “сами себе хозяйки... и могут полностью распоряжаться своей судьбой”. Отмечая, что “средний англичанин счел бы [подобную свободу] опасной вольностью”, сам он считал ее “правильной и благодетельной”⁹⁴.

Отсутствие жестких классовых различий восхищало его. Когда продавец в шляпном магазине снял с головы Маршалла котелок и примерил на себя, чтобы определить нужный размер, Маршалл одобрительно заметил: “Мой друг был таким убежденным демократом, что ему даже в голову не пришло, что по каким-то причинам ему не следует надевать мою шляпу: в его действиях не было ни капли дерзости. Хорошо бы такая манера поведения стала повсеместной!”⁹⁵ Добравшись до Калифорнии, он с удовольствием сообщил, что чем дальше на запад он продвигается, тем ближе американское общество к идеалам равноправия. “Я вернулся с гораздо более оптимистичным взглядом на будущее мира, чем был у меня до отъезда”, — отметил он.

Говоря о перспективе, он предвидел новый тип общества:

В Америке мобильность создает равенство условий... Там, где почти все получают одинаковое школьное образование, а несравнимо более важное образование, приобретаемое благодаря жизненному опыту, хотя и различно по форме, но почти каждым приобретается сполна и обеспечивает практически равные возможности развития человеческих способностей, просто не может не быть подлинной демократии. Разумеется, большие различия в распределении богатства останутся; по крайней мере, будет несколько очень богатых людей. Но не будет резкого разделения внутри классов. Не будет того, что Милль называет жесткими границами

между разными категориями рабочих, которые практически эквивалентны врожденному разделению на касты.

Объясняя, как индивидуальные предпочтения могут пойти на пользу обществу в целом — Карлейль считал это невозможным, — Маршалл выделил два типа нравственного развития. Один был типичен для Англии, где, по его утверждению, “постепенное формирование характера происходит в соответствии с окружающими человека условиями, так что человек... не прилагая сознательных моральных усилий, оказывается в русле действий, пристрастий и интересов, характерных для общества, в котором живет”. В Америке же мобильность открыла иной путь развития, а именно “выработку твердой воли за счет преодоления трудностей, воли, которая оценивает каждое конкретное действие с точки зрения разума”⁹⁶.

Большинство исследователей общества викторианской эпохи, включая Карла Маркса, опасались, что индустриализация не просто разрушает традиционные социальные связи и источники существования, но и деформирует человеческую природу, обрекая людей на “невежество, одичание и моральную деградацию”⁹⁷. В Америке Маршалл увидел другую возможность: “У меня создалось впечатление, что в этических вопросах средний американец привык полагаться на свое личное мнение более осознанно и целенаправленно, более свободно и отважно, чем англичанин”.

Казалось, что Маршалл говорит о людях вообще, но в то же время он говорил и о себе. Это *он* выработал твердую волю за счет преодоления всяческих трудностей — тирании отца, благородной бедности и жестких классовых ограничений. *Он* отказался от авторитетов — отойдя от религиозных взглядов и переступив через желание отца сделать из него священника. Теперь он почувствовал, что его собственная независимость не ведет к краху, а открывает большие перспективы. Увиденное в Америке вселило в него надежды. “Такое общество может скатиться к распущенности и, таким образом, к пороку.

Но в своих высших формах оно разовьется в мощную правовую систему и будет подчиняться закону... Такое общество станет царством энергии”⁹⁸.

“Я несколько испорчен, когда дело доходит до “энергичности” и “сильного характера” в женщинах”, — написал Маршалл в письме из Америки. В другом он описывал “увлекательный вечер”, проведенный с мисс Нанн, признаваясь, что ее наивность в сочетании с самостоятельностью показалась ему очаровательной. Но при этом добавил, что “для постоянной поддержки предпочел бы силу, сформированную за счет отваги и успеха”⁹⁹. Очевидно, он думал о Мэри Пэйли, которая в его отсутствие одержала триумфальную победу на публичном экзамене.

По его возвращении в Кембридж они обручились. Маршаллу тогда было тридцать четыре года, а Мэри — двадцать шесть. Он был восходящей звездой “новой экономики”. Она — университетским лектором. Взгляды Маршалла на брак сформировались под влиянием таких интеллектуальных отношений, какие он видел между Джордж Элиот и Джорджем Льюисом, а также между Томасом и Джейн Карлейлями. “Идеалом супружества часто считается жизнь друг для друга. Если это значит, что супруги должны жить для взаимного удовлетворения, то мне это кажется совершенно аморальным, — написал Маршалл в одном из эссе. — Муж и жена должны жить не друг для друга, а друг с другом для какой-то цели”¹⁰⁰. У Мэри, которая в первый раз обручилась “от скуки”, такой подход вызвал восхищение. Как и у других необычных супругов, описанных Филлис Роуз в книге “Параллельные жизни: пять викторианских браков”, секрет союза Альфреда Маршалла и Мэри Пэйли заключался в том, что они “рассказывали одну и ту же историю”¹⁰¹. Пара немедленно решила превратить учебник Мэри в совместное предприятие и большую часть времени до свадьбы занималась работой над ним.

Они венчались в приходской церкви Аффорда, рядом со “старым домом, с увитым красными и белыми розами фасадом”, где Мэри выросла. На Мэри не было фаты — только цветков жасмина в волосах. В знак отказа от традиционного подхода и чтобы подчеркнуть свои высокие устремления, жених и невеста во время церемонии отказались от фразы о “повиновении”¹⁰².

Женившись, Маршалл утратил право на стипендию колледжа Св. Иоанна. Сначала они с Мэри думали преподавать в пансионе, но когда неожиданно оказалось вакантным место руководителя вновь созданного колледжа в Бристоле — впервые в Британии юноши и девушки должны были обучаться вместе, — они ухватились за эту возможность. В 1877 году они переехали в Бристоль, и Мэри занялась обустройством теннисного корта и обклеила большинство комнат обоями Морриса, а Маршалл подобрал подержанную мебель и фортепьяно. Но уже скоро она вернулась к преподаванию: читала лекции по экономике и занималась со студентками.

Созданный бристольским деловым сообществом Университетский колледж должен был обеспечивать “гуманитарное образование представителям и представительницам среднего и рабочего класса”¹⁰³. Несмотря на стесненность в средствах, колледж во времена Маршалла умудрялся вести дневные и вечерние занятия для пяти сотен студентов, проводить выездные лекции для окрестных рабочих, давать техническую подготовку текстильным рабочим и совместно с местными предприятиями организовывать практику для студентов-инженеров. Маршалл нес большую административную и одновременно педагогическую нагрузку. Его лекции, которые посещали мелкие бизнесмены, профсоюзные деятели и женщины, были “менее академичны, чем те, что читались в Кембридже... строгие теоретические положения чередовались с изложением практических проблем, и все это иллюстрировалось интересными примерами из разнообразных областей”, вспоминал один из слушателей¹⁰⁴. Маршалл “говорил без записей и его

лицо было озарено падавшим из окна светом, в то время как все остальное было в тени. Мне казалось, что это самая замечательная лекция на свете. Он верил, что экономическая наука призвана сыграть большую роль в усовершенствовании общества, и его энтузиазм был заразителен¹⁰⁵. Супруги продолжали работу над “Экономикой промышленности” (это занимало большинство вечеров), совершали долгие пешие прогулки и часто играли в теннис. Как отмечал один из друзей, они были “абсолютно счастливы”¹⁰⁶.

Позже Маршалл сказал, что чтение Маркса убедило его, что “экономисты должны изучать историю; историю прошлого и более доступную историю современности”¹⁰⁷. Диккенс и Мейхью вдохновили его на посещение фабрик и промышленных городов, на беседы с предпринимателями, управляющими, лидерами профсоюзов и рабочими. “Факты — моя страсть”, — любил говорить он¹⁰⁸. Он хотел писать для людей, занятых “нормальной жизнедеятельностью”¹⁰⁹.

Маршалл был убежден, что должен объединить теорию, историю и статистику, как это сделал Маркс в своем “Капитале”. Но он инстинктивно чувствовал, что его читателям необходимы практические выводы, щедро сдобренные непосредственными наблюдениями. Будучи ученым до мозга костей, он не мог теоретизировать без опоры на факты или полагаться на чужие наблюдения.

Маршалл считал необходимым изучить специфику всех основных отраслей промышленности. Он собирал данные о зарплатах по видам деятельности и уровням квалификации. Он уделил большое внимание тому, что Милль называл “техникой производства”¹¹⁰ — производственным технологиям, проектированию продукции, управлению, хотя и признавал: постоянные усилия владельцев предприятий по совершенствованию своей продукции, методов производства и поставщиков трудно сделать частью формальных теорий. Его особенно интересовали различия в деятельности семейных фирм и набравших вес акционерных компаний и корпораций. Маршалл участ-

вовал в работе комиссий и научных обществ, входил в совет лондонской благотворительной организации, вел большую научную переписку и — при активном участии Мэри — каждое лето несколько недель посвящал сбору информации.

Во время одной из таких экспедиций в заметках Мэри упоминаются “14 различных городов, шахты, металлургические и сталелитейные заводы, текстильные фабрики и Армия спасения”¹¹¹. Размах был поистине грандиозный: Конистонские медные рудники, сланцевые карьеры Кирби, доки в Барроу, металлургические и сталелитейные заводы, железные рудники в Милломе, прибрежные угольные шахты в Уайтхевене, Ланкастер и Шеффилд. Маршалл изобрел специальное устройство для структурирования и поиска информации в своей персональной базе данных. Его “Красная книга” представляла собой самодельную тетрадь, сшитую нитками. На каждой странице содержалась информация по различным темам — от музыки до технологий и заработных плат — организованная в хронологическом порядке. Достаточно было просунуть булавку в одно из отверстий на странице, чтобы узнать, какие еще события произошли в это время.

В отличие от большинства мыслителей викторианской эпохи Маршалл с восхищением относился и к предпринимателям, и к рабочим. Карлейль, Маркс и Милль считали современное производство неприятной необходимостью, труд — унижающим и изматывающим, предпринимателей — ограниченными и корыстолюбивыми, а городскую жизнь — отвратительной. Милль во всех отношениях, кроме двух (мотивации и терпимости к инакомыслию), отдавал коммунизму предпочтение перед системой, основанной на конкуренции, и надеялся на создание в не очень отдаленном будущем устойчивого социалистического государства. Однако ни один из этих мыслителей не мог похвастаться таким знанием предпринимательства и промышленности, какое приобрел Маршалл. Конечно, говоря о “жалком существовании”, Берк был прав: как в прошлом, так и в настоящем труд в значительной

степени унижал и обессиливал. Но, опираясь на личные наблюдения, Маршалл приходил к выводу, что по крайней мере некоторая часть труда в современных фирмах расширяла кругозор, вырабатывала новые навыки, способствовала мобильности, поощряла предусмотрительность и этичное поведение, не говоря уже о том, что она позволяла накопить средства для получения образования или открытия собственного дела. Более того, по его наблюдениям, доля такой работы увеличивалась, а остальной труд становился менее типичным. Короче говоря, предпринимательство могло стать и часто становилось шагом на пути к управлению своей судьбой.

Хотя Диккенса часто считают хроникером промышленной революции, почти единственная фабричная сцена у Диккенса носит фантазмагорический характер. Фабрика в Кокстауне из романа “Тяжелые времена” — это монстр Франкенштейна, показанный с большого расстояния. Шумное, грязное, унылое, отравляющее воздух и воду вокруг себя чудовище, которое превращает людей в машины и переделывает природу и общество на свой ужасный лад.

То был город из красного кирпича, вернее, он был бы из красного кирпича, если бы не копоть и дым; но копоть и дым превратили его в город ненатурально красно-черного цвета — словно размалеванное лицо дикаря. Город машин и высоких фабричных труб, откуда, бесконечно вьась змеиными кольцами, неустанно поднимался дым. Был там и черный канал, и река, лиловая от вонючей краски, и прочные многооконные здания, где с утра до вечера все грохотало и тряслось и где поршень паровой машины без передышки двигался вверх и вниз, словно хобот слона, впавшего в тихое помешательство¹¹².

Кокстаун был населен толпами “похожих друг на друга людей, которые все выходили из дому и возвращались домой в одни и те же часы, так же стучали подошвами по тем же тротуарам,

идя на ту же работу”. Знаменательно, что в воображении Диккенса внутри фабрики они делают “одну и ту же работу” и что “каждый день был тем же, что вчерашний и завтрашний, и каждый год — подобием прошлого года и будущего”. Иными словами, производство никогда не приводит к созданию чего-то нового.

В описании фабрики, данном Марксом в “Капитале”, подчеркнуты те же особенности, что у Диккенса, только без каких-либо деталей, что совсем неудивительно, поскольку Маркс ни разу не был на фабрике. Человек снова превращается в “живой придаток” машин, труд сводится к “унылому однообразию”, а автоматизация “освобождает труд от всякого содержания”¹¹³.

Маршалл описывает фабрики и фабричную жизнь более подробно и разнообразно. Он часами ведет наблюдения. Записывает производственные технологии, тарифные сетки и планировку зданий. Расспрашивает всех — от владельца и мастера до рядовых рабочих в цехе. Изучая то же явление, что и Диккенс или Маркс — влияние конвейерной сборки на рабочих, он не всегда приходит к тем же выводам.

Для любого предприятия характерно деление крупных операций на множество мелких составляющих, при этом деятельность каждого рабочего ограничена лишь небольшой частью всего производства. Мешает ли это интеллектуальному развитию рабочих? Думаю, нет... Если у человека нет мозгов, мы от него избавляемся — для этого есть масса возможностей благодаря колебаниям рынка. Если человек немного соображает, он остается на своем месте. Но если он хоть немного честолюбив, то стремится узнать обо всем, что происходит в цехе, где он работает: иначе у него нет шансов стать мастером этого цеха... Большинство мелких усовершенствований сделано мастерами нескольких цехов, а крупные усовершенствования делают люди, которые только этим и занимаются... Их усовершенствования касаются деталей производствен-

ного процесса — это многочисленные изобретения, которые обеспечивают воздухо непроницаемость одних частей или свободное движение других. Англичанин изобрел арфовый регистр¹¹⁴.

По мнению Диккенса и Маркса, фирмы предназначены для управления рабочими и эксплуатации. Милль полагал, что их единственная задача — обогащение владельцев. Для Маршалла фирма — это отнюдь не тюрьма, а управление не тождественно поддержанию дисциплины среди заключенных. Конкуренция, борьба за клиентов (или за рабочих) не позволяют ограничиваться бездумным повторением. По Маршаллу, предприятия должны были развиваться, чтобы выжить. Разумеется, он не отрицал, что предприниматели стремятся получить прибыль, но утверждал, что для обеспечения конкурентоспособной прибыли фирмы должны получать такой доход, чтобы после выплат рабочим, управляющим, поставщикам, землевладельцам и сборщикам налогов у них что-то оставалось. А для этого управляющие должны постоянно изыскивать возможности делать чуть больше с теми же (или меньшими) ресурсами. Иными словами, побочным продуктом конкуренции было повышение производительности труда, которая в долгосрочном плане определяла уровень зарплаты.

“Экономика промышленности” была опубликована британским издательством “Макмиллан” в 1879 году. Эта тонкая книжка, не претендовавшая на новизну и написанная простым и ясным языком учебника, содержала основы новой экономики Маршалла. Ее суть излагалась в следующем абзаце:

Основная ошибка английских экономистов начала века была не в том, что они игнорировали историю и статистику... Они рассматривали человека как своего рода константу, не давая себе труда исследовать ее вариации. Поэтому действие сил

спроса и предложения, по их мнению, носило гораздо более механический и регулярный характер, чем было на самом деле. Но самая губительная ошибка заключалась в том, что они не замечали, насколько переменчивы производственные процессы и организационные формы промышленности¹¹⁵.

Навязчивое стремление понять, как устроен бизнес, привело Маршалла к самому важному открытию. В условиях конкуренции получение прибыли не было единственной или даже основной экономической функцией фирмы. Основной задачей было повышение уровня жизни потребителей и рабочих. Как выполнялась эта задача? За счет производства и распределения большего количества товаров и услуг более высокого качества по более низкой стоимости и с использованием меньшего числа ресурсов. Почему? Конкуренция заставляла владельцев и управляющих постоянно вносить в свою продукцию, производственные технологии, распространение и продвижение товаров мелкие усовершенствования. Их постоянная погоня за эффективностью, экономией ресурсов и стремление достичь большего с меньшими затратами со временем позволяла делать больше с теми же или меньшими ресурсами. Накопление этих малых усовершенствований на сотнях и тысячах предприятий по всей стране с течением времени толкало вверх среднюю производительность труда и зарплаты. Иными словами, конкуренция заставляла фирмы повышать производительность труда, чтобы оставаться прибыльными. Конкуренция заставляла владельцев предприятий делиться плодами своих усилий с управляющими и сотрудниками в форме повышения зарплат, а с потребителями — в форме повышения качества или снижения цены.

Вывод о том, что бизнес является механизмом, обеспечивающим повышение зарплат и жизненного уровня, противоречил царившему среди интеллектуалов отрицательному отношению к бизнесу. Даже Адам Смит, использовавший для описания преимуществ конкуренции знаменитый образ неви-

димой руки рынка, которая заставляет производителей — вопреки их желанию — обслуживать потребителей, не утверждал, что задача мясников, булочников и гигантских акционерных компаний — повышать уровень жизни. А Карл Маркс хотя и признавал, что предприятия являются двигателями технологических изменений и повышения производительности труда, но даже не думал, что они же могут обеспечить и средства, с помощью которых человечество способно избежать нищеты, взяв в свои руки управление своим материальным положением.

После публикации книги произошло несчастье. Весной 1879 года у Маршалла диагностировали камни в почках. В то время с ними не умели бороться ни хирургическими методами, ни лекарствами. Врач сказал ему: “Никаких долгих прогулок, никакой игры в теннис; только полный покой дает шансы на выздоровление, — вспоминала Мэри. — Этот совет был большим ударом для человека, так любившего активную жизнь”¹¹⁶. Боли и слабость возродили старые страхи перед неминуемым концом, которые преследовали Маршалла еще с детства. Всего за несколько недель до этого он провел отпуск, бродя в одиночку по Дартмурским пустошам. Теперь он стал прикованным к дому инвалидом, коротавшим время за вязанием. Бристольский знакомый вспоминал, как встретил Маршалла и подумал, что ему около семидесяти:

Он... казался мне очень старым и больным. Мне сказали, что он одной ногой стоит в могиле, и я легко поверил этому. Как сейчас вижу его бредущим по Эпли-руд в пальто и мягкой черной шляпе... В следующий раз я увидел его... в 1890-м. Я был изумлен: на вид ему было на 30–40 лет меньше, чем за десяток лет до того¹¹⁷.

Теперь он больше зависел от Мэри; ей все чаще приходилось играть роль сиделки, а не интеллектуального партнера. Болезнь

сделала его более сосредоточенным. Писательство всегда вызывало у Маршалла затруднения. Теперь он понял, что нужно собраться с силами и заняться работой. Его надежда написать трактат, который затмит достижение Милля (а возможно, и Маркса) — синтез новой теории со свежими отчетами, полученными из реального мира, — сменялась боязнью, что он не справится с этой задачей. По мере развития и усложнения замысла он был все меньше доволен написанным. От мысли опубликовать исследование о торговле он отказался еще задолго до болезни. “Я пришел к выводу, что в нынешнем виде из этого материала не получится достойной книги”, — писал он в 1878 году¹¹⁸. И он быстро разочаровался в книге, которую написал вместе с Мэри. Но в 1881 году на крыше дома в Палермо, на Сицилии, он начал обдумывать “Принципы экономической науки”.

Среди всех панацей, предложенных во время Великой депрессии* начала 1880-х, самой большой популярностью и поддержкой пользовался зсмельный налог, предложенный американским журналистом Генри Джорджем. Книга Джорджа “Прогресс и бедность” стала бестселлером и немедленно сделала знаменитым автора, на чьи лекции собирались толпы слушателей. Джордж исходил из того, что бедность растет быстрее богатства и что виноваты в этом землевладельцы. Он утверждал, что землевладельцы получают сказочные доходы, не поставляя обществу никаких услуг — просто из-за того, что им посчастливилось иметь недвижимость. Более того: повышение ренты снижало доходы и реальную заработную плату, лишая предпринимателей необходимых средств для инвестиций. Определив, что причиной бедности является рентный доход, он предложил в качестве решения проблемы

Великая депрессия — название Долгой депрессии (1873–1896), бытовавшее до наступления депрессии 1930-х годов.

ввести высокий земельный налог. По его мнению, земельный налог не просто устранил необходимость во всех остальных налогах. Он “подымет заработную плату, увеличит доходы капитала, вырвет с корнем пауперизм, уничтожит бедность, даст прибыльное занятие всякому, кто пожелает его, предоставит полный простор человеческим способностям, уменьшит число преступлений, возвысит нравственность, вкус и образование, очистит правительство и поднимет цивилизацию до высот еще более благородных”¹¹⁹.

Маршалл все еще работал над своими “Принципами”, когда его снова втянули в давние споры об уровне жизни. Начало 1880-х стало периодом финансового и экономического кризиса и возрождения радикализма. Вновь зазвучали призывы к социальным реформам, а то, что экономический рост приносит пользу большинству населения, вызвало все больше сомнений. Термин “безработица” возник во время рецессии, последовавшей за паникой 1893 года, во время бурных дискуссий о том, растет или уменьшается заработная плата в долгосрочном периоде.

Основные разногласия были связаны с тем, в чем состоит главная роль конкуренции. Ведет ли она к тому, что каждый работодатель стремится снизить зарплаты быстрее, чем это сделают конкуренты? Или правы оптимисты, которые считают, что конкуренция заставляет компании постоянно прилагать усилия по повышению эффективности и поднимает средний уровень производительности труда, а затем и зарплат, сокращая количество бедных?

Первое формальное столкновение между Маршаллом и Генри Джорджем произошло в оксфордской гостинице “Кларендон” в 1884 году¹²⁰. Свистки, шиканье, захлопывание ораторов — все это было не редкостью во время дебатов. В какой-то момент один из студентов счел необходимым строго напомнить председателю, что “в зале присутствуют дамы”. К одиннадцати часам рев был таким оглушающим, что Джордж объявил, что “на таком буйном сборище он еще никогда не вы-

ступал”, и отказался отвечать на дальнейшие вопросы. Под “громкий шум”, крики “Национализация земли!” и “Земельный грабеж!” собрание “довольно резко закрыли”.

Если поддержка, оказанная Маршаллом сельскохозяйственным рабочим в 1874 году, говорила о его отказе от “догм” классической экономики, то произошедшее десять лет спустя столкновение с Джорджем показало, что и новомодные догмы не вызывали у него особого энтузиазма.

Критикуя предложение Джорджа бороться с бедностью с помощью земельного налога, Маршалл, бывало, называл его “поэтом” и хвалил за “свежесть и серьезность восприятия жизни”. Но в “Кларендоне” Маршалл был явно менее вежлив и обвинил Джорджа в том, что тот использует свою “уникальную и почти неповторимую способность завладевать слухом людей” для того, чтобы “вливать яд в их умы”. Под “ядом” он подразумевал предлагаемую Джорджем панацею от бедности.

В лекциях, которые он читал в Бристоле, он придерживался принципа “обсуждать саму тему, избегая лишних разговоров о Джордже”. “В подзаголовке книги Джорджа содержится упоминание о росте бедности, сопутствующем росту богатства, — говорил Маршалл. — Однако уверены ли мы, что с ростом богатства бедность действительно выросла?.. Давайте посмотрим, что говорят об этом факты”¹²¹.

Ссылаясь на статистические данные, взятые по большей части из составленной им и Мэри “Красной книги”, Маршалл утверждал, что можно было говорить о снижении благосостояния только самого “низшего слоя” рабочего класса, причем этот слой был намного тоньше, чем в начале столетия: почти вдвое, если рассматривать его процентную долю от всего населения. Что же касается рабочего класса в целом, то его покупательная способность утроилась. “Рабочий класс получает почти половину всего дохода Англии... [Поэтому] ему достается очень большая часть преимуществ, которые приносит прогресс”¹²².

Маршалл опирался на свои растущие знания в области экономической истории. Он был уверен, что все беды современно-

сти меркнут на фоне прошлых невзгод. “Ни в какой части света, за исключением новых стран, рабочему классу не живется так хорошо, как в Англии”. Оптимизм Маршалла особенно примечателен, поскольку эти слова он произнес в период, который историки позднее назвали “Великой депрессией”.

На второй лекции Маршалл подверг сомнению справедливость утверждения Джорджа о том, что в бедности виноваты наниматели, платящие низкую заработную плату. Во-первых, наниматели могут устанавливать цену на труд не в большей степени, чем диктовать цену на хлопок или оборудование. Они платят рыночную стоимость, которая высока, если у рабочего высокая производительность труда, и низка, если нет. “Многие английские рабочие плохо питались, и мало кто из них получил должное образование”. Низкая производительность труда была причиной того, что “большая часть англичан получала низкие зарплаты, а многие жили в настоящей нищете”. И хотя Маршалл не отрицал, что “существует такая форма национализации земли, которая в целом принесет пользу”, он утверждал, что “ни одна не принесет немедленного, словно по волшебству, избавления от бедности. Нам придется довольствоваться каким-то менее радикальным лекарством”¹²³.

Таким лекарством, по мнению Маршалла, было повышение производительности труда. Одним из путей было:

...обучение (в широком смысле) неквалифицированных и неэффективных рабочих и таким образом уничтожение этих категорий. С другой стороны — и эта фраза является ключевой для всего, что я хочу сказать о нищете, — если бы число неквалифицированных рабочих уменьшилось существенно, то тем, кто раньше делал неквалифицированную работу, нужно было бы платить высокую зарплату. Если бы общий объем продукции не увеличился, то эту зарплату нужно было бы вычитать из доли капиталистов и высокооплачиваемых рабочих... Но если сокращение неквалифицированных рабочих происходит из-за повышения эффективности труда,

то происходит увеличение продукции и — соответственно — увеличивается общий фонд, подлежащий разделу.

Он не возражал ни против профсоюзов, ни даже против довольно радикальных предложений по земельной реформе или прогрессивному налогообложению. Он просто отмечал, что ничто из перечисленного не даст “больше хлеба и масла”. Для этого нужна была “конкуренция”, время и сотрудничество всех слоев общества, правительства и самих бедняков¹²⁴.

Он обвинял Джорджа в пропаганде шарлатанского снадобья. И дело было не просто в том, что “мистер Джордж сказал: “Если вы хотите разбогатеть, берите землю””, а в том, что это отвлекает от образования, повышения квалификации, тяжелой работы и бережливости. Схема Джорджа добавит “меньше пенса в каждый шиллинг их дохода... И ради этого мистер Джордж хочет облить презрением все планы, следуя которым рабочие пытались улучшить свое положение”¹²⁵.

Когда в 1890 году “Принципы экономической науки” Маршалла наконец были опубликованы, они привели в чувство науку, которая к тому времени едва подавала признаки жизни. Книга утвердила его в роли ведущего экономиста, авторитета, к которому власти обращались за советом.

“Принципы” продемонстрировали отказ Маршалла от социализма, его симпатии к системе, основанной на частной собственности и конкуренции, а также оптимизм в отношении совершенствования человека и его материального положения. Экономика представала в книге не догматом, а “инструментом ума”. Сбылись мечты Диккенса: Маршалл сумел, придав науке более строгие основания, одновременно очеловечить экономику, добавив в нее “немного человеческой мягкости... и немного человеческой теплоты”.

Но своей главной идеей он был обязан поездке в Америку. В условиях частной собственности и конкуренции фирмы

находятся под постоянным давлением, стремясь достичь большего с теми же или даже меньшими ресурсами. С точки зрения общества, задача корпорации заключалась в повышении производительности труда и тем самым уровня жизни.

В Америке фирма занимала более важное место среди других социальных институтов, имела более высокий статус и делала для формирования национального склада ума и цивилизации больше, чем в других странах. Компания в Америке была не только основным источником богатства, но и самым главным проводником социальных перемен и наиболее привлекательным местом для талантливых людей. На этом фоне описания Диккенса предпринимателей как кретинов или хищников, рабочих как зомби, а успешного производства как однообразного повторения казались нелепыми. Тот несомненный факт, что производительная мощь Америки росла с невообразимой скоростью, означал, что компании — по крайней мере в совокупности — не просто перекладывали средства из одних карманов в другие или повторяли одни и те же операции год за годом. Во время посещения фабрик Маршалл был особенно поражен тем, что управляющие постоянно искали возможности для мелких усовершенствований, а рабочие — для получения лучших возможностей и полезных навыков. И те и другие были очень заинтересованы в том, чтобы получить максимальную отдачу от имеющихся в их распоряжении ресурсов.

Естественно, Маршалл понимал, что в задачу компаний входит и создание прибыли для владельцев, жалования для управляющих и заработной платы для рабочих. Еще Адам Смит отмечал, что ради увеличения дохода в условиях конкуренции фирмы должны на радость потребителям производить как можно больше товара по как можно более низким ценам. Но Маршалл внес в его анализ временную составляющую. Фирмы могут оставаться прибыльными и продолжать свое существование только в том случае, если они становятся все более и более производительными. Выживание в условиях конкуренции не сводилось лишь к непрерывному приспособ-

лению. Конкурируя за наиболее производительных рабочих, фирмы должны с течением времени делиться с ними выгодой, полученной от роста производительности труда.

Именно это отрицали Милль и другие основатели политэкономии. Они утверждали, что повышение производительности труда практически не приносит выгоды рабочему классу. В их воображаемых фирмах производительность могла расти семимильными шагами, но зарплаты никогда надолго не поднимались выше некоторого прожиточного минимума. А уж условия труда могли только ухудшаться. Маршалл увидел, что на деле этого нет и быть не может. Конкуренция на рынке труда вынуждала предпринимателей делиться выгодами от повышения производительности труда и улучшения качества продукции с рабочими, сначала как с получателями заработной платы, потом — как с потребителями. Практика показала, что Маршалл был прав. Доля заработной платы в валовом национальном доходе — годовом доходе страны в виде заработных плат, прибыли, процентов и дохода собственников — росла, а не падала, росли и уровни зарплаты и потребления рабочих. Это было верно почти для каждого года после 1848-го — года публикации “Манифеста коммунистической партии” и “Основ политической экономии” Милля.

Глава III

ПРОФЕССИЯ МИСС ПОТТЕР

УЭББ И ГОСУДАРСТВО-ПОПЕЧИТЕЛЬ

Она жаждала чего-то, что исполнило бы ее жизнь действием одновременно и рациональным и вдохновенным. А так как время пророческих видений и незримых наставников прошло ... какой еще остается ей светильник, кроме знания?

Джордж Элиот,
*Миддлмарч*¹

Каждый год в марте в Лондон слеталась десятитысячная стая экстравагантно оперенных экзотических птиц — так называемая верхушка общества². В течение трех-четырех месяцев, пока длился лондонский “сезон”, британская элита предавалась тщательно разработанным брачным играм. Утро отводилось под верховые прогулки по Роттен-роу или Дамской аллее в Гайд-парке. Днем мужские особи направлялись в парламент или закрытые клубы, а их жены и дочери шли по магазинам или наносили светские визиты. Вечерами все встречались в опере, на званых ужинах и балах, которые предоставляли исключительные возможности для брачных танцев. Каждые несколько дней обыденный график оживлялся непременно скачками, регатой, соревнованиями по крикету или открытием выставки.

Как и многое другое в высшем обществе викторианской эпохи, эта бурная и на первый взгляд легкомысленная погоня за удовольствиями имела важную подоплеку: во время сезона, который начинался с момента возобновления работы парламента, Лондон превращался в эпицентр всемирного брачного рынка. Состоятельные родители относились к тому, чтобы обеспечить своим дочерям два-три лондонских сезона, столь же серьезно, как к отправке сыновей в Оксфорд или Кембридж. Во всяком случае, участие в этих крайне замысловатых брачных танцах требовало примерно таких же затрат и усилий.

Если у семьи не было постоянного городского дома, нужно было найти представительный особняк в фешенебельном районе. Приобрести и доставить туда огромное количество дорогостоящих атрибутов, иметь которые предписывал хороший тон: “конюшню с лошадьми и экипажами... изысканный гардероб... [а также] весь обслуживающий персонал и принадлежности для обедов, танцев, пикников и приемов”. Само собой разумеется, для организации светских мероприятий такого масштаба, для наблюдения за “обширными [планами], большим количеством служащих и бесконечным множеством решений” необходим был руководитель — иными словами, хозяйка дома³.

Об этом размышляла Беатриса Элен Поттер (для домашних Бо или Беа), восьмая из девяти дочерей железнодорожного магната из Глостера по имени Ричард Поттер. Экипаж, в котором она вместе с отцом ехала сырым февральским днем 1883 года, остановился напротив внушительного ряда высоких вилл кремового цвета, выстроенных в итальянском стиле. Стройная девушка с властным выражением лица оценивающе взглянула на дом 47 по Принсес-Гейт. На время предстоящего сезона ему предстояло стать светской штаб-квартирой обширного клана Поттеров, и прежде всего шести ее замужних сестер с их большими семьями. У пятиэтажного дома был роскошный, украшенный фруктовыми и цветочными гирляндами фасад с ионическими колоннами, коринфскими пилястрами и высо-

кими окнами, обращенными к Гайд-парку. С противоположной стороны сквозь французские окна был виден обширный, спускавшийся террасами газон, украшенный классическими статуями и огромными вазами со свисающими из них побегами алой герани. Оба соседних дома были такими же большими. Отец выбрал Принсес-Гейт, чтобы жить в окружении таких же богатых и влиятельных людей, как он сам. Дом номер 13 арендовал американский банкир Джуниус Морган. Дом номер 40 на этот сезон снял Джозеф Чемберлен, отец Невилла Чемберлена, промышленник из Манчестера, превратившийся в либерального политика. Это было прекрасное окружение для блестящей дочери Поттера.

К двадцати пяти годам за плечами у Беатрисы было более полудюжины лондонских сезонов, но она умудрилась ни разу не влюбиться. До сих пор ее обязанности сводились к тому, чтобы насладиться полусотней балов, шестью десятками приемов, тридцатью обедами и двадцатью пятью завтраками, прежде чем в июле общество свернет свои боевые порядки и ретируется за город⁴. Обеспечивавшая такую жизнь “сложная машинерия”⁵ ее совершенно не касалась. В этом году все должно было быть иначе. Беатриса была единственной из сестер Поттер, не считая тринадцатилетней Розы, кто еще оставался в родительском доме в Глостере, когда весной предыдущего года умерла их мать. Внезапно Беатриса оказалась в роли хозяйки отцовского дома.

Покидая Глостер, Беатриса дала торжественную клятву “посвятить себя обществу и поставить себе целью добиться успеха на этой стезе”⁶. Под “успехом” она подразумевала брак с выдающимся человеком, подобный бракам ее старших сестер, хотя выражение “посвятить себя” и подразумевало, что в основе успеха будет лежать самопожертвование. Последней в брак вступила ее любимая сестра Кейт, которая прождала довольно долго и только в тридцать один год вышла за выдающегося либерального экономиста и политика, а теперь и секретаря казначейства Леонарда Кортни. Отец был уверен, что

Бо не отстанет от сестер. Помимо красоты, хорошего происхождения и большого приданого она обладала даром притягивать внимание. У тех, кто впервые встречал эту девушку в обществе, ее длинная изящная шея, пыливый взгляд и блестящие темные волосы вызывали ассоциации с прекрасным и немного опасным черным лебедем. Мужчины не могли противиться ее очарованию, особенно после того как догадывались, что она не воспринимает их всерьез.

Некоторое время после приезда в доме Поттеров царила неразбериха. Прибыло больше слуг, лошадей и карет, чем планировалось. Когда лишние слуги наконец отбыли, а отца накормили ужином, Беатриса поднялась наверх в комнату в задней части дома, которую выбрала для своей спальни. Теперь она могла подумать о чем-то помимо планов рассаживания гостей и меню, а именно о книгах, которые привезла, чтобы прочесть, и о вещах, которые собиралась выучить. Беатриса не видела ничего противоречивого в своих желаниях и обязанностях. В конце концов, на троне сидела женщина, счастливо вышедшая замуж, а самым знаменитым писателем современности была Джордж Элиот. Когда Беатрисе было восемнадцать, она потратила больше времени на изучение восточных религий, чем на подготовку к выходу в свет.

Из окна ее спальни был виден Музей Виктории и Альберта. Ей неожиданно пришло в голову, что этот грандиозный памятник человеческой изобретательности, находясь в самом центре Лондона, был совершенно “отделен от бурной жизни большого города”⁷. Беатриса подумала, сможет ли она сохранять буддистскую отстраненность в заполненных публикой гостиных и театрах. Разве нельзя выполнять светские обязанности, уделяя внимание и духовной части жизни, той, что заставляла ее постоянно возвращаться к вопросу: “Как надо жить и ради чего?”⁸

Вопрос предназначения волновал Беатрису с пятнадцати лет. Мать и сестры относились к этой навязчивой идее неодобри-

тельно. Разве недостаточно быть просто “одной из знаменитых мисс Поттер, которые живут в роскошных домах с прекрасными садами и выходят за сказочно богатых мужчин”⁹? Если бы Беатриса была героиней викторианского романа, его автор счел бы необходимым как-то обосновать, почему вопрос о предназначении занимал такое важное место в ее жизни. Именно так поступил автор опубликованного в 1881 году “Женского портрета” Генри Джеймс. В предисловии к роману он писал: “Тысячи и тысячи самонадеянных девиц, умных и неумных, ежедневно бросают вызов своей судьбе, какой же из ряда вон должна оказаться эта судьба, чтобы подымать вокруг нее много шума”¹⁰. Пока у представительниц среднего класса не было других возможностей, помимо раннего замужества и материнства, а Закон об имуществе замужних женщин от 1882 года не давал им права на свой собственный доход, основной лейтмотив “Женского портрета” — вопрос “Ну и что же она будет делать?” — вряд ли мог привлечь интерес читателя.

Еще в школьные годы ее соученица и кузина Маргарет Гаркнесс, писательница и дочь бедного сельского пастора, спросила Беатрису с некоторым раздражением: “Ты молода, красива, богата, умна — чего тебе еще нужно? Чем ты недовольна?”¹¹ Подобно героине Джеймса — Изабелле Арчер — Беатриса выросла в условиях необычной в те времена свободы: она имела возможность путешествовать, читать, заводить друзей и удовлетворять “свою тягу к знаниям” и “безмерное любопытство к жизни”. Беатриса предпочитала общество мужчин и принимала как должное то, что большинство из них подпадало под ее обаяние, но, как и Изабелла, не хотела “начинать жизнь с замужества”¹². Ей было одинаково важно завоевать высокую оценку своих умственных способностей и женских чар. С каждым годом она все сильнее стремилась к “настоящей цели и настоящему делу”¹³. Она была убеждена в своем “особом предназначении” и всем сердцем верила, что ей предстоит “прожить жизнь не зря”¹⁴. Как Доротея из “Миддлмарч”, Беат-

риса тянулась к идеалам, к чему-то, “что исполнило бы ее жизнь действием одновременно и рациональным и вдохновенным”¹⁵.

На личность Беатрисы наложила отпечаток ее принадлежность к “новому правящему классу”¹⁶ Британии, а ее ум сформировался в гуще “капиталистической деятельности”, где витал “беспокойный дух предпринимательства”¹⁷. Как отмечает историк Барбара Кейн, для Беатрисы ее класс выделялся не богатством, а тем, что был “классом людей, привыкших отдавать приказы и редко подчинявшихся чужим”¹⁸. Оба ее дедушки достигли успеха в жизни самостоятельно. Ее отец потерял львиную долю своего наследства во время краха 1848 года, но быстро компенсировал потери, поставляя палатки французской армии во время Крымской войны. К моменту рождения Беатрисы в 1858-м Ричард Поттер успел заработать третье состояние на древесине и железных дорогах и стал директором (а впоследствии и председателем правления) Большой западной железной дороги. Обладая скорее талантами предпринимателя и перекупщика, чем практического управляющего, Поттер одно время увлекался идеей строительства водного пути в обход Суэцкого канала. Его деловые интересы простирались от Турции до Канады, и он с семьей постоянно путешествовал. Имение Поттеров в Глостере — Стэндиш — роскошное и безликое, как гостиница, всегда было заполнено сменявшимися друг друга приезжими родственниками, гостями, слугами и нахлебниками.

Хотя с годами Ричард Поттер стал голосовать за консерваторов, он никогда не был типичным плутократом-тори. Его отец, оптовик в хлопкопрядильной промышленности, одно время был радикальным членом парламента и способствовал созданию “Манчестер гардиан”¹⁹ (“нашей газеты”, как называла ее Беатриса)²⁰. В число ближайших друзей этого общительного человека со свободными взглядами и разнообразными интересами входили ученые, философы и журналисты. Герберт Спенсер, наиболее светский из английских интеллектуалов

1860–1870-х годов, бывший железнодорожный инженер и автор редакционных статей “Экономиста”, говорил, что Ричард Поттер — “самый приятный человек на свете”²¹, и всю жизнь относился к нему с глубокой симпатией, несмотря на жизнерадостное равнодушие того к философским взглядам самого Спенсера.

Общеизвестно, что практически за каждой выдающейся женщиной стоит неординарный отец. Поттер поощрял Беатрису и ее сестер к чтению, давая им полный доступ к своей обширной библиотеке. Он не пытался ограничивать ни темы их разговоров, ни круг общения. Он так любил общество дочерей, что почти в каждую поездку брал с собой то одну, то другую. Беатриса утверждала, что “он был единственным знакомым ей мужчиной, который искренне верил, что женщины превосходят мужчин, и показывал это всем своим поведением”²². Именно ему она считала себя обязанной “присущей ей отвагой и мужеством, а также знакомством с рисками и возможностями больших предприятий”²³.

Лаурентина Поттер в некотором смысле была еще более необычным человеком, чем ее муж. Она напоминала пухлых и безмятежных матерей, которыми изобиловали романы Треллопа, в еще меньшей степени, чем ее муж — классического предпринимателя. Познакомившись с Поттерами вскоре после их свадьбы, Спенсер счел их “самой очаровательной парой на свете”²⁴. Узнав их поближе, он был очень удивлен, что за чисто женской внешностью, грацией и благородством Лаурентины скрывается “такой независимый характер”²⁵. В отличие от своего веселого мужа Лаурентина жила напряженной духовной жизнью, придерживалась пуританских взглядов и испытывала постоянную неудовлетворенность. Урожденная Хейуорт, она происходила из семьи свободомыслящих ливерпульских купцов и получила такое же образование, как и ее братья, которых обучали математике, языкам и политической экономии. Еще в юности она стала местной знаменитостью: о ее деятельном участии в борьбе против хлебных законов даже

писали в газетах. Десятилетия спустя Беатриса постоянно видела на ее туалетном столике экономические брошюры.

Лаурентина была очень несчастна. И ее дочь прекрасно понимала почему. Супружеская жизнь представлялась ей, по словам Беатрисы, как “тесное духовное единение с моим отцом, возможно, творческая деятельность в окружении знаменитых друзей”²⁶. Вместо этого первые двадцать лет брака она почти все время или была беременна или нянчила малыша, ограниченная обществом женщин и детей, в то время как муж ездил в деловые поездки и обедал с писателями и учеными. Она мечтала писать романы и опубликовала один — “Лора Гей”, прежде чем полностью погрузилась в семейные обязанности.

Когда родился ее девятый ребенок и единственный сын, Дики, Лаурентина полностью посвятила себя ему. Но в возрасте двух лет мальчик умер от скарлатины, и она впала в глубокую депрессию, отдалившись от остальных детей. Беатриса, которой в то время было семь, вспоминала мать как “постороннюю личность, то обсуждающую дела с отцом, то углубившуюся в книгу в своем будуаре”. Холодность матери породила у Беатрисы убеждение, что она “не создана для любви, что [в ней] есть что-то отталкивающее”. Склонная к быстрым переменам настроения, излишней драматизации, выдумкам и преувеличениям, от Хейуортов она унаследовала предрасположенность к “мировой скорби” и суициду. Двое родственников Лаурентины покончили с собой. “В целом мое детство нельзя назвать счастливым, — вспоминала уже взрослая Беатриса. — Слабое здоровье, недостаток любви и психические расстройства, возникавшие на этой почве, усугублялись тяжелым характером и обидами... В детстве я была совершенно *одинок*”²⁷. Однажды она даже стащила из домашней аптечки пузырек с хлороформом, который представлялся девочке удобным средством ухода от земных горестей.

Отвергнутая матерью, Беатриса, по словам биографа, искала близких людей “под лестницей”, среди слуг, на которых держался дом Поттеров. Она и ее старшие сестры были осо-

бенно близки с Мартой Джексон, которая ухаживала за детьми и которую они звали Дада. На самом деле, как много позже узнала Беатриса, Дада была их родственницей по материнской линии. Она происходила из ветви бедных, но уважаемых ланкаширских ткачей, работавших на ручных станках. Кейн полагает, что Дада поселила в душе Беатрисы мысль о первородном грехе, которая заставляла ее делать добро и всю жизнь отождествлять себя с “респектабельными” рабочими-бедняками. Писать же она начала, вдохновившись примером Лаурентины. В день своего пятнадцатилетия Беатриса начала вести дневник, с которым не расставалась до самой смерти. “Иногда я чувствую, что просто обязана писать, словно я должна донести мои бедные убогие мысли до чьего-то сердца, хотя бы и до своего собственного”²⁸.

Среди ученых, часто посещавших дом Поттеров, были биолог Томас Хаксли, сэр Фрэнсис Гальтон, кузен Чарльза Дарвина, и другие сторонники нового “научного” подхода, который подрывал устои традиционной веры. Когда Беатриса была подростком, интеллектуальную атмосферу в их доме во многом определял Спенсер, который стал ближайшим доверенным лицом Лаурентины и который, как и Поттеры, относился к религиозному меньшинству — диссентерам.

В 1860-е годы Спенсер, который ввел в обиход выражение “выживание сильнейших”, был более знаменит, чем Чарльз Дарвин. Его идеи о том, что социальные институты — подобно видам растений и животных — развиваются и поэтому их можно наблюдать, классифицировать и анализировать, захватили воображение публики. Один из первых сторонников эволюционной теории, Спенсер был радикальным индивидуалистом, выступал против рабства и за предоставление женщинам права голоса. Его неприязнь к государственному регулированию и высоким налогам вызвала симпатию у находившихся на подъеме представителей среднего (и чуть ниже

среднего) класса. Его популярность лишь росла благодаря тому, что он отказывался исключить возможность существования Бога.

Однако Спенсер не был создан для славы. Болезненный и склонный к ипохондрии, с возрастом он становился все более нелюдимым и эксцентричным. Из своих апартаментов он выходил только в клуб или к Поттерам. Частый гость в их имении в Глостере, он с удовольствием вызволял сестер Поттер из-под власти гувернанток своим заклинанием: “Подчинение *не* желательно”²⁹. Часто он уводил их собирать образцы, призванные проиллюстрировать ту или иную из его эволюционных теорий. Летом, когда Поттеры укрывались в Котсуолдских холмах, он в белом парусиновом костюме и с зонтиком от солнца устремлялся в путь через буковые рощи и старые грушевые сады. За ним вереницей шла “весьма живописная группа”³⁰ высоких стройных девушек с по-мальчишечьи короткими темными волосами, одетых в светлые муслиновые платья и вооруженных ведерками и сачками. Время от времени группа останавливалась, чтобы произвести раскопки в поисках окаменелостей. Тысячи лет назад на месте старых железнодорожных траншей и известняковых карьеров Глостера было дно мелкого теплого моря, и теперь тут скрывались россыпи окаменелых аммонитов, криноидей, трилобитов и иглокожих. Девочки относились к своему высокоученому другу не слишком почтительно. “Мы что, от обезьян приходим, мистер Спенсер?” — хихикая, спрашивали они хором. Его неизменный ответ: “99 процентов людей происходят от обезьян, но только один процент уже произошел!” — вызывал новый всплеск веселья, а иногда на “примечательную голову” философа обрушивался и шквал буковых листьев³¹.

Самая серьезная из всех сестер и больше всех увлеченная чтением, Беатриса была очарована работой выдающегося ума Спенсера. Спенсер поощрял ее интерес, называя Беатрису “прирожденным метафизиком” и сравнивая ее со своим идолом — Джордж Элиот. Он давал ей списки книг для чтения

и советовал следовать своим интеллектуальным амбициям. Без его поддержки Беатриса могла бы покориться участи, к которой подталкивали ее тогдашние нравы, а иной раз и собственное сердце.

Формальное образование Беатрисы было поразительно скудным. Как и у многих девушек из высшего класса, оно ограничивалось несколькими месяцами, проведенными в престижном пансионе для благородных девиц. Это произошло во многом из-за ее частых болезней — мнимых и реальных, но и потому, что даже Ричарду Поттеру, несмотря на его по тогдашним меркам либеральные взгляды, в голову не приходило отправить ее в университет. Так что образование она получила в основном дома; иными словами, это было самообразование в сочетании с возможностью читать даже те книги, которые были изъяты из публичных библиотек. “Мама говорит, что я слишком молода, необразованна и, что хуже всего, слишком легкомысленна, чтобы составить ей компанию, — писала она в дневнике. — Но я наберусь смелости и постараюсь измениться”³². Скуповатая во многих других отношениях, Лаурентина не жалела денег на газеты и журналы. Беатриса погрузилась в религию, философию, психологию — все то, что интересовало ее мать. В школьные годы она читала Джордж Элиот, а также модного французского философа и отца социологии Огюста Конта.

Поскольку у Беатрисы был неограниченный доступ к библиотеке отца и журналам матери, она могла познакомиться с религиозными и научными дискуссиями, бушевавшими в конце викторианской эпохи, — такой шанс редко предоставлялся ее современницам. Она вспоминала: “Мы жили в состоянии лихорадочного возбуждения, постоянно обсуждая современные гипотезы о долге и предназначении человека в этом мире и в мире ином”. Когда Беатрисе было восемнадцать и она готовилась к выходу в свет, она уже сменила старую англиканскую веру на новую доктрину Спенсера — доктрину “гармонии и прогресса”. Она разделяла и политические убеждения своего

наставника-либерала, и его идеал “научного исследователя”. Образ последнего возбудил в ней “всепоглощающий интерес к природе вещей” и “надежду взглянуть на человечество с высоты птичьего полета”, а также тайное стремление написать “книгу, которую будут читать”³³.

Через три недели после вселения в дом на Принсес-Гейт Беатриса жаловалась, что разрывается между “многочисленными занятиями, требующими времени и энергии”³⁴. После особенно утомительного ужина она раздраженно отмечает: “Светские дамы такие пустые”³⁵. Она не понимает, почему “умные женщины стремятся выйти замуж за представителей этой социальной среды”³⁶. Она изливает свою горечь в дневнике: “Я чувствую себя будто в клетке — роскошь, удобство и респектабельность моего положения зажимают меня в тисках”³⁷.

Беатриса стремилась к деятельной жизни и вместе с тем мечтала о любви, но уже начала думать, что шансов достичь того и другого у нее не больше, чем у несчастной Лаурентины. Когда Изабелла Арчер настаивала, что “для женщины есть и другие занятия”, она, вероятно, в первую очередь имела в виду небольшую, но постоянно растущую группу женщин, которые зарабатывали на жизнь самостоятельно — они могли дружить с кем хотели, говорить о чем хотели, жить в съемных квартирах и путешествовать сами по себе.

Однако по зрелому размышлению Беатриса поняла, что такие женщины многое теряют. Когда она встретила в буфете Британского музея дочь печально известного Карла Маркса Элеонору, та “была одета небрежно и своеобразно, а ее черные кудри торчали во все стороны”! Беатрисе нравились интеллектуальная самоуверенность и романтический облик Элеоноры, но богемный образ жизни ее отталкивал. “К сожалению, — говорила она себе, — нельзя общаться с людьми, не оказываясь в той или иной степени *связанной* с ними”³⁸. Она восхищалась

своей кузиной Маргарет Гаркнесс, будущим автором “В темном Лондоне”, “Городской девушки” и других социальных романов. Живя самостоятельно в убогой однокомнатной квартирке в Блумсбери, Мэгги успела попробовать силы в качестве учительницы, няни и актрисы, прежде чем обнаружила в себе талант писательницы. Ее родные были в ужасе, и Мэгги пришлось порвать с ними — Беатрисе это казалось таким же немыслимым, как эмиграция в Америку. Она бы хотела, чтобы тревожившие ее страсти утихли. “Почему я, жалкий лягушонок, пытаюсь напыжиться и стать профессионалом? Если бы я только могла избавиться от этой мучительной тяги к свершениям...”³⁹.

И снова на помощь пришел Спенсер, предложивший Беатрисе занять место ее старшей сестры в качестве волонтера по сбору арендной платы в Ист-Энде. Таким образом она сможет готовиться к Работе социального исследователя, продолжая частные занятия. Беатриса, как Альфред Маршалл за поколение до нее, очутилась в Лондоне. Она пошла на заседание “Общества благотворительности” — общественной организации, занимавшейся научной благотворительностью, или благотворительностью «а основе достоверных сведений и убеждения, что в конечном счете человек может помочь себе сам. “Люди должны жить за счет собственных заработков и усилий и... как можно меньше зависеть от государства”⁴⁰. Посещение бедных всегда было традиционной обязанностью женщин, но к 1880-м годам социальная работа становилась для незамужних или замужних, но бездетных женщин настоящей профессией, которая пользовалась уважением в обществе и имела множество привлекательных сторон. Беатриса писала: “Нам определено полезно посещать бедных... Их жизненный опыт дает нам много нового и интересного; изучение их жизни и окружающей среды открывает нам факты, которые могут помочь в решении социальных проблем»⁴¹. Вскоре ей приходит в голову такая мысль: “Если бы я только могла посвятить этому жизнь...”⁴² Однако за прошедшие несколько месяцев она всего

два-три раза зашла в Дома Катерины* в Уайтчепеле. “Я не могу заниматься необходимой практикой без ущерба для моих обязанностей”, — вздыхала она⁴³.

Однажды ночью в том же самом месяце Беатриса не могла заснуть до рассвета — ее переполняло возбуждение. Ее собеседником на приеме у соседней оказалась Джозеф Чемберлен, самый влиятельный английский политик и самый властный и притягательный человек среди ее знакомых.

Чемберлен был старше Беатрисы на двадцать два года и ко времени их знакомства успел дважды овдоветь, но излучал жизненную энергию и энтузиазм. Могучего телосложения, с пышными волосами, пронзительным взглядом и удивительно чарующим голосом, он был прирожденным лидером. Он сделал большое состояние на производстве винтов и шурупов, прежде чем уйти в политику и стать мэром Бирмингема — должность, на которой он ярко продемонстрировал свое стремление к реформам. В течение четырех лет он снабжал Бирмингем “парками, мостовыми, рынками, судами присяжных, газо- и водопроводом, чтобы *превратить*”⁴⁴ грязный фабричный город в современный мегаполис. В награду за годы, потраченные на восстановление нормальной работы либеральной партии, он получил пост в кабинете министров.

Ко времени знакомства Беатрисы с Чемберленом он уже был признанным возмутителем спокойствия в английской политике. Продуманная до мелочей элегантность его облика — монокль, сшитый на заказ костюм, свежая орхидея в петлице — плохо вязалась с репутацией смутьяна. Но в ходе бурных дебатов 1883-го Чемберлену удалось сосредоточить внимание избирателей на паре связанных друг с другом вопросов: бедности и праве голоса. Он использовал свою правительственную

Дома Катерины — жилища для рабочих, построенные в 1884 году частной благотворительной компанией *East End Dwellings Company*. Названы в честь Катерины (Кейт) Кортни, старшей сестры Беатрисы Поттер.

должность для пропаганды всеобщего избирательного права для мужчин, дешевого жилья и бесплатной земли для сельскохозяйственных рабочих. Он привел в бешенство консерваторов, когда пригласил лидера их партии лорда Солсбери посетить Бирмингем — и выступил с главной речью на митинге протеста против его приезда. Противники называли его “английским Робеспьером” и обвиняли в разжигании классовой ненависти. Королева Виктория потребовала от Чемберлена извинений, после того как в ходе демонстрации рабочих он оскорбил королевскую семью. Герберт Спенсер говорил Беатрисе, что Чемберлен — это “человек, который может иметь хорошие намерения, но который уже принес и еще принесет неисчислимые беды”⁴⁵.

Будучи последовательницей Спенсера, Беатриса осуждала почти все, что провозглашал Чемберлен, особенно его популистские призывы к эмоциям избирателей. И все же он привлекал ее. “Он мне и нравится и не нравится”, — записала она в дневнике. Предчувствуя опасность, она сурово предостерегала себя, что “разговор с “умными людьми” в обществе это западня и обман... Гораздо лучше читать их книги”⁴⁶. Она не последовала собственному совету.

Поскольку Поттеры и Чемберлен жили по соседству на Принсес-Гейт, противоречивый либеральный политик и светская, пусть и не всегда придерживавшаяся принятых норм мисс Поттер постоянно сталкивались. Второй раз они встретились в июле того же года на ежегодном пикнике Герберта Спенсера. Проговорив с Чемберленом весь вечер, Беатриса призналась: “Его личность меня заинтересовала”⁴⁷. Пару недель спустя ее посадили между Чемберленом и аристократом, владельцем огромного поместья. “Пэр говорил о своих владениях, а Чемберлен — о том, как *завладеть* чужими на благо народа”, — шутливо писала она. Хотя его политические взгляды отталкивали ее, его “интеллектуальный энтузиазм” и “всепоглощающая *целеустремленность*” приводили ее в восхищение. Беатриса говорила себе: “Как бы я хотела изучить этого человека!”⁴⁸

Это был самообман. Социальный исследователь и бесстрастный наблюдатель, она уже потеряла почву под ногами и соскользнула в водоворот чувств. Эти непонятные чувства неодолимо тянули ее — она была над ними не властна. Она мучительно размышляла, будет ли счастлива, выйдя замуж за Чемберлена. Привыкнув к обожанию окружающих, она не радовалась легким победам. Изголодавшись по любви с детства, она мечтала завоевать внимание человека, который был сосредоточен не на ней, а на некой важной цели. Чемберлен, стремившийся стать премьер-министром, требовал слепой преданности от своих последователей и близких и соблазнял голую так, как иные соблазняют женщин. Такой сильной личности Беатриса еще не встречала. Неужели он не увидит в ней достойную пару?

Она пыталась анализировать его странную притягательность: “Банальности любви всегда казались мне скучными”, — писала она в дневнике.

Но Джозеф Чемберлен другой — с его мрачностью и серьезностью, с его отсутствием всякой галантности и способности говорить приятные пустяки. Одно то, как он предполагает, почти утверждает, что ты находишься неизмеримо ниже его и что все касающееся тебя тривиально, а сама ты не имеешь никакого значения в мире, кроме того, что ты можешь быть связана с ним, — такого сорта ухаживание (если это можно назвать ухаживанием) действует — по крайней мере на мое воображение — возбуждающе⁴⁹.

Она наполовину верила, что Чемберлен сделает ей предложение до конца лондонского сезона, но этого не произошло. Разочарованная Беатриса вернулась в Стэндиш, где стала мечтать о своих грядущих достижениях и — нельзя ничего исключать — о любви⁵⁰. В сентябре сестра Чемберлена Квара пригласила ее посетить лондонский дом Чемберленов. И снова Беатриса ожидала предложения. “При таком простом,

но достойном происхождении он *должен быть* прям в своих намерениях”, — убеждала она себя⁵¹. И снова предложение не последовало, хотя “намерения” Чемберлена уже стали темой разговоров в семье Поттеров. Беатриса пыталась умерить собственные ожидания и ожидания своих сестер: “Если, как говорит мисс Чемберлен, этот достопочтенный джентльмен придерживается *сугубо традиционных взглядов на женщин*, моя нетрадиционность может полностью оградить меня от его притязаний. Я ведь не собираюсь ее скрывать”⁵².

В октябре, когда Беатриса была в Стэндише, охваченная мыслями о Чемберлене, либеральная “Пэлл-Мэлл газет” опубликовала несколько отрывков из памфлета о лондонском Ист-Энде, написанного от первого лица конгрегационалистским священником⁵³. Прискорбные жилищные условия этого района описывались с такими ужасающими подробностями, что средние классы были потрясены и взволнованы. Как и репортажи Генри Мейхью о жизни бедняков в 1840–1850-е годы, “Горький плач обездоленных Лондона” описывал тесноту и само отсутствие жилья, низкие зарплаты, болезни, грязь и голод. Но, как отмечает Гертруда Гиммельфарб, скандал был еще в большей степени связан с многочисленными намеками на распущенность, проституцию и инцест:

Аморальность является естественным следствием подобных условий... В этих притонах вопрос о том, женаты ли живущие вместе мужчина и женщина, вызовет лишь насмешку над вашей наивностью. Никто не знает. Никому нет дела... Инцест — обычное дело; и никакой вид порока и сладострастия не вызывает удивления и не привлекает внимания⁵⁴.

Немедленным результатом этой сенсационной публикации были дебаты о причинах кризиса и ответственности правительства, вспыхнувшие между влиятельным консервативным

лордом Солсбери и Джозефом Чемберленом. Лидер тори и владелец больших участков земли в Ист-Энде винил в перенаселенности бум лондонской инфраструктуры, а Чемберлен напал на владельцев городской недвижимости и земли, предлагая обложить их налогом для оплаты жилья рабочих. Примечательно, что и консерватор и радикал считали, что бороться с последствиями жилищного кризиса должно было правительство.

Беатриса осудила публикацию “Пэлл-Мэлл” как “поверхностную и сенсационную” и вместе со Спенсером сожалела о ее политическом влиянии⁵⁵. Однако она отметила, что изображение от первого лица и наблюдения очевидца придали репортажу дополнительный вес. Она напомнила себе, что отправилась в жилища арендаторов не во имя благотворительности, а ради изучения жизни. Бурная реакция на “Горький плач” и надежда Спенсера на то, что кто-то из его сторонников напишет достойное опровержение, подтолкнули ее к тому, чтобы поставить обществу свой собственный диагноз.

Беатриса решила начать с относительно знакомой среды, посетив бедных родственников своей матери в Бэкапе, сердце хлопчатобумажного региона. Среди них была и любимая Дада, вышедшая замуж за дворецкого Поттеров. То, что Беатриса могла приняться за такой проект, характеризует степень ее независимости. Чтобы не эпатировать семью и не лишать дара речи респондентов, она поехала в Ланкашир не как одна из “включенных Поттеров”, а просто как “мисс Джонс”. Через неделю она написала отцу: “Очевидно, чтобы увидеть жизнь промышленного центра, надо поселиться среди рабочих”⁵⁶.

Беатриса увидела то, что ожидала: “Чистые филантропы часто не замечают существования независимого рабочего класса и ведут сентиментальные речи о “народе”, на самом деле имеют в виду бездельников”⁵⁷. Она решила написать статью о независимых бедных. На Рождество они встретились со Спенсером, и тот уговаривал ее опубликовать отчет о своих впечатлениях от Бэкапа. Реальные наблюдения за “рабочим человеком в его

нормальном состоянии” были лучшим противоядием против “пагубной тенденциозности политической деятельности” торри и либералов, направленной на повышение налогов и усиление роли правительства⁵⁸. Спенсер обещал поговорить с редактором журнала “Девятнадцатый век”. Разумеется, Беатриса была чрезвычайно довольна, но вместе с тем втайне веселилась по поводу того, что само воплощение “пагубной тенденциозности” не только завоевало ее сердце, но и могло вот-вот войти в семью Поттеров⁵⁹.

Беатриса пригласила Чемберлена с двумя детьми на Новый год в Стэндиш. Она не знала, как справиться со своими противоречивыми чувствами, не увидевшись с ним, и была уверена, что он думает так же. “Мое мучительное состояние не может продолжаться долго, — пишет она в своем дневнике. — Скоро решится, “быть или не быть””⁶⁰. Однако встреча оказалась ужасно неловкой. Чем больше Беатриса сопротивлялась Чемберлену, тем яростнее он настаивал на своих политических взглядах. После особенно бурного спора он признался, что чувствует себя так, будто выступил с речью. “Я чувствовала, что его странно пристальный взгляд следит за каждым моим движением, как будто он проверяет, признаю ли я его безусловное превосходство”, — отмечала Беатриса. Когда Чемберлен сказал, что от женщин он хочет всего лишь “мудрого сочувствия”, она мысленно обвинила его в том, что на самом деле он хочет “мудрого подчинения”. И снова он уехал, не сделав предложения⁶¹.

“Если вы верите в Спенсера, вы никогда не поверите в меня”, бросил Чемберлен Беатрисе во время их последнего спора⁶². Если таким образом он надеялся обратить ее в свою веру, то он ошибся.

Когда Беатриса была девочкой, ее отец смеялся над привычкой Спенсера “идти против потока прихожан, направляющихся в церковь” в деревне рядом с именем Поттеров.

“Не сработает, уважаемый Спенсер, не сработает”, — приговаривал Ричард Поттер⁶³. Тем не менее Спенсеру удалось в течение двух десятилетий, если не больше, вести за собой целое поколение думающих людей. Его “Социальная статика”, опубликованная спустя три года после разразившихся по всей Европе революций 1848 года, приветствовала победу новых экономических и политических свобод над привилегиями аристократов и сделала призыв “минимум правительства и максимум свободы” лозунгом прогрессивных представителей среднего класса. Альфред Маршалл воспринял эволюционную теорию в большей степени от Спенсера, чем от Дарвина. Карл Маркс послал Спенсеру экземпляр второго издания “Капитала” с дарственной надписью, надеясь, что одобрение философа увеличит продажи⁶⁴.

Однако к началу 1880-х Спенсер снова шел против течения. Его новая книга “Личность и государство” содержала общий приговор постоянному росту государственного регулирования и налогообложения:

Быстро умножающиеся диктаторские меры постоянно сокращают свободу отдельного человека и делают это двумя путями. С каждым годом увеличивается число установлений, ограничивающих гражданина в тех сферах, где ранее его деятельность не подвергалась контролю, и вынуждающих на действия, которые ранее он мог предпринимать по своему усмотрению. Одновременно все более тяжелые общественные обязанности, в основном местного характера, еще более ограничивают его свободу, сокращая ту часть его заработка, которую он мог тратить по своему желанию, и увеличивая ту, которая будет тратиться по желанию представителей власти⁶⁵.

Этот призыв к невмешательству показался читателям последней упомянутой попыткой защитить устаревшую, реакционную и все менее уместную доктрину. Как объясняет Гиммельфарб, большинство мыслящих людей викторианской эпохи уже от-

казывались от этой доктрины или по крайней мере подвергали ее сомнению, а многие даже жалели, что когда-то ее поддерживали. Она цитирует оксфордского экономического историка Арнольда Тойнби, который извинялся перед читателями из рабочей среды: “Мы — средний класс (я не имею в виду только самых богатых) — пренебрегали вами; вместо справедливости мы предлагали вам благотворительность”⁶⁶.

В 1884 году книга Спенсера была опубликована; они с Беатрисой были близки как никогда, проводя вместе по несколько часов каждый день. “Я понимаю ход мысли Герберта Спенсера, но я не понимаю причины страсти господина Чемберлена”, — признавалась она⁶⁷. Она послала свой экземпляр книги “Личность и государство” с автографом автора руководительнице Гертон-колледжа в Кембридже с запиской, показывающей, что она оставалась крайне пылкой сторонницей Спенсера. По поводу пособий по безработице, общественных школ, правил безопасности и других вопросов широкомасштабного “государственного вмешательства” она писала: “Я возражаю против этих гигантских экспериментов... отдающих душком скоропелых теорий — самым опасным социальным ядом... необдуманной выпиской шарлатанских социальных снадобий”⁶⁸.

И в то же время Беатрису охватывали противоречивые чувства. Чемберлен заставил ее понять, что “социальные вопросы сегодня являются важнейшими. Они занимают место религии”⁶⁹. Поэтому, хотя она и не была готова мгновенно принять новый “дух времени”, она не могла и полностью отвергнуть его, и тем более его мужественного и напористого поборника⁷⁰.

Когда сестра Чемберлена пригласила ее посетить Хайбери, его новый внушительный особняк в Бирмингеме, Беатриса отправилась сразу же, полагая, что приглашение исходит от любимого человека. По приезде ее сразу же поразило, насколько сильно различаются их вкусы. Она не нашла ничего привлекательного в “замысловатом доме из красного кирпича с бесчисленными эркерами” и едва не содрогнулась, когда уви-

дела безвкусный интерьер “с вычурными мраморными арками, шелковыми обоями, богатыми драпировками и безнадежно помпезными акварелями. Ни книг, ни письменных принадлежностей, ни музыкальных инструментов — ни одна салфетка-подголовник не смягчала кричащую роскошь обитой шелком мебели”.

В первый день уважаемый член либеральной партии Джон Брайт порадовал ее рассказами о политической активности ее матери, вспомнив, как великолепно была Лаурентина, юная хозяйка дома в Хейворте, когда сорок лет назад принимала у себя сторонников трезвости и борцов с хлебными законами. На фоне восхищения политической деятельностью ее матери, которое высказал этот пожилой человек, требование Чемберлена к женщинам из его семьи — не иметь собственного мнения — выглядело особенно деспотичным. Однако самовлюбленность Чемберлена привлекала Беатрису. В тот вечер она видела, как он соблазнял многотысячную толпу в главном концертном зале Бирмингема и безраздельно властвовал над нею. Беатриса насмешливо говорила, что необразованные и недалекие избиратели подпали под обаяние страстной речи Чемберлена, а не его идей, но, видя, как “целый город полностью подчинился его власти”, она поняла, что и ее капитуляция неизбежна. Точно так же Чемберлен будет властвовать и дома, завладев ее чувствами (“когда чувство становится сильным, как это произойдет со мной в браке, рассудок уже не может сопротивляться”). Даже зная, что с Чемберленом она будет несчастна, Беатриса попалась на крючок. “Все мои мысли только о нем”, — пишет она в своем дневнике.

На следующее утро Чемберлен с большой помпой повел Беатрису смотреть новую обширную “оранжерею с орхидеями”. Беатриса объявила, что *она* любит только дикорастущие цветы, и притворилась удивленной, когда Чемберлен огорчился. В тот вечер Беатрисе показалось, что его взгляды и поведение говорят о “сильном желании, чтобы она *думала*

и чувствовала, как он” и “ревности к другим источникам влияния”. Она сочла, что это свидетельствует о росте его “признанности” к ней⁷¹.

В январе 1885 года Чемберлен начал самую радикальную и яркую кампанию за всю свою карьеру. Он привел в ярость своих однопартийцев-либералов, предупредив рабочих из своего избирательного округа, что всеобщее избирательное право не приведет к настоящей демократии, если они не создадут собственной политической организации. Он возмутил и консерваторов — тем, что вернулся к риторике классовой войны, задав свой знаменитый вопрос: “Я спрашиваю: какой выкуп заплатит собственность за свою безопасность?”⁷² Чемберлен управлял Бирмингемом под дерзким девизом “Высокие налоги — процветающий город”, а теперь использовал свой правительственный пост, чтобы потребовать всеобщего избирательного права для мужчин и бесплатного светского образования, а также “три акра земли и корову” для каждого, кто вместо работы на фабрике или шахте предпочтет заниматься индивидуальным сельскохозяйственным производством. Для этого предлагалось повысить налоги на землю, доходы и наследство. Беатриса снова поехала в Бирмингем и сидела на галерке во время его пламенного выступления. А на следующий день снова почувствовала себя униженно отвергнутой — он не сделал предложения.

Беатрису продолжали мучить навязчивые противоречивые чувства. Она презирала себя и за то, что увлеклась деспотичным мужчиной, и за то, что не смогла его завоевать. Она посмела мечтать о жизни, сочетающей любовь с интеллектуальными достижениями. Время от времени она была готова принести в жертву одно ради другого. Теперь ей казалось, что она с самого начала заблуждалась по поводу своего потенциала. “Я ясно вижу, что мои умственные способности — лишь мимраж, что у меня нет особого предназначения” и “я любила

и потеряла; возможно, из-за своего намеренно неправильного поведения, возможно, что и себе на пользу; и все же — потеряла”⁷³.

Подавленная, она удивлялась, что осмелилась мечтать о завоевании такого выдающегося человека, как Чемберлен, и мучила себя мыслями о том, что могло бы быть: “Если бы и с самого начала задалась этой целью, если бы я находилась под другими влияниями и у меня был бы другой характер, и могла бы стать спутницей его жизни. Это не принесло бы мне счастья, но это могла быть достойная жизнь”⁷⁴. Первого августа она составила завещание: “В случае моей смерти прошу, чтобы эти мои дневники после прочтения моим отцом (если он того пожелает) были отправлены Кэрри Дарлинг [подруге]. Беатриса Поттер”⁷⁵.

Ей удалось оправиться от потрясения. К парламентским выборам в начале ноября 1885 года ее перестали одолевать мысли о самоубийстве, к ней стали возвращаться силы. Глядя, как отец отправляется голосовать, она снова стала планировать свою карьеру социального исследователя. И тут судьба нанесла ей новый удар, угрожавший положить “внезапный и роковой конец” ее независимой деятельности⁷⁶. Ричарду Поттеру не суждено было вернуться в Стэндиш с избирательного участка самостоятельно — его сразил тяжелейший инсульт.

Как обычно, Беатриса выплеснула свой ужас на страницы дневника. “Быть спутницей человека с утасоющим рассудком — жить без физической и духовной деятельности — никакой работы. Господи, какой ужас!”⁷⁷ На Новый год она составила новое завещание, умоляя читателя уничтожить дневник после ее смерти. “Если смерть придет, она будет желанна”, — горько пишет она. “Положение незамужней дочери в доме неиндифферентно даже для сильной женщины. Для слабой оно просто невыносимо”⁷⁸.

Те прошлые мучительные сомнения — как жить, к какой цели стремиться, кого любить — казались порождением горчички. “Теперь я никогда не бываю в мире с собой, — писала

она в начале февраля 1886 года. — Вся моя прошлая жизнь кажется непоправимой ошибкой, а два последних года — просто кошмаром!.. Когда же утихнет боль?»⁷⁹



Ответ пришел через несколько дней: казалось, мощный реп доносился из скрытых глубин общества. В полдень в понедельник, 8 февраля, десятитысячная толпа, бросив вызов туману и морозу, собралась на Трафальгарской площади. По периметру площадь оцепили две с половиной тысячи полицейских. По их оценкам, толпа состояла на две трети из безработных, а также из радикалов всевозможных мастей. Оратор-социалист, которого утром согнали с пьедестала колонны адмирала Нельсона, вскарабкался обратно — власти его уже не останавливали. Он вызывающе размахивал красным флагом и разжигал ненависть толпы к “виновникам нынешней нищеты в Англии”⁸⁰. От имени своих слушателей он требовал от парламента организации общественных работ для “десятков тысяч достойных людей, оставшихся без работы не по своей вине”⁸¹. Его поддерживали одобрительными возгласами, а люди все прибывали, пока толпа не выросла в пять раз.

Митинг закончился мирно, но потом демонстранты начали расходиться по центральным улицам Вест-Энда — Оксфорд-стрит, Сент-Джеймс-стрит, Пэлл-Мэлл — “ругая власти, громя лавки, грабя питейные заведения, напиваясь и разбивая окна”. Полицию не только застали врасплох, но и значительно превзошли в численности. Часа три, а то и больше в Вест-Энде хозяйничала “орущая толпа”. Были разорены сотни лавок, каждый походивший на иностранца был избит, некий лорд Лимерик был пригвожден к ограде своего клуба, экипажи в Гайд-парке перевернуты и разграблены. Движение транспорта в центре Лондона замерло, вокзал Чаринг-Кросс был полностью парализован, а к вечеру Сент-Джеймс-стрит

и Никадилли были усыпаны битым стеклом вперемешку с драгоценностями, обувью, одеждой и бутылками⁸².

Мятеж заставил дрожать от страха обеспеченный лондонский Вест-Энд. Хотя в ходе волнений никто не погиб и лишь дюжина мятежников была арестована, во вторник большинство владельцев магазинов подчинились требованию полиции и держали двери закрытыми. Репортер “Нью-Йорк таймс”, высмеивая неподготовленность полиции — она оказалась готова пресечь любые возможные волнения только к среде, хотя “полиция Бостона или Нью-Йорка была бы готова сразу, к вечеру понедельника”, — с сочувствием отмечал, что это был самый страшный лондонский мятеж со времен печально известных антикатолических бунтов 1780 года⁸³. Лондонцы утверждали, что грабежей такого масштаба в городе не было с тех пор, как — почти за пятьдесят лет до этого — сразу после проведения первой парламентской реформы взошла на престол Виктория⁸⁴. Королева объявила бунт “чудовищным”⁸⁵.

Утверждение королевы о том, что бунт представлял собой “кратковременную победу социализма”, было скорее всего неверным⁸⁶. Однако он действительно вызвал шквал активности и призывов к действиям. Обеспокоенные и мучимые совестью лондонцы пожертвовали 79 000 фунтов в фонд лорда-мэра, предназначенный для помощи безработным, и потребовали раздать эти деньги. Кузина Беатрисы — Мэгги Гаркнесс — задумала роман под названием “Без работы”⁸⁷. Джозеф Чемберлен, ставший к тому времени членом кабинета министров Уильяма Гладстона, вызвал бурные споры своим планом организации общественных работ в Ист-Энде. Заточенной в сельском поместье Поттеров Беатрисе приходилось заботиться не только о здоровье отца, но и о расстроенной младшей сестре и не менее расстроенных делах отца, однако она уже в достаточной мере оправилась от депрессии, чтобы отправить редактору либерального издания “Пэлл-Мэлл газет” письмо, в котором высказывала сомнения в справедливости сложившегося мнения о причинах кризиса и возможных путях выхода из него.

Беатриса была готова к вежливому отказу. Ответ от редактора пришел с обратной почтой — слишком быстро, как ей казалось, чтобы принести хорошие новости. Но, открыв конверт, она обнаружила запрос на разрешение напечатать “Взгляд женщины на проблему безработицы” с ее подписью. Беатриса вскрикнула от радости. Ее первая реальная “заявка на публичное выступление” привела к успеху — ее мысли и слова сочли достойными внимания⁸⁸. Пришлось поверить, что произошел “поворотный момент в [ее] жизни”⁸⁹.

Через десять дней после бунта Беатриса имела удовольствие впервые прочесть свои слова опубликованными: “Я собираю арендную плату в крупном блоке домов, расположенных возле лондонских доков и приспособленных для проживания беднейших слоев рабочего класса”. Она хотела высказать два тезиса. Первый заключался в том, что — вопреки мнению многих филантропов и политиков — безработица в Ист-Энде, “крупном центре сдельных работ и беспорядочной благотворительности”, была порождена не общенациональным кризисом производства, а дисбалансом на рынке труда. Пока традиционные для Лондона виды деятельности, такие как судостроение и промышленное производство, перемещались в другие города, в столицу стекалось рекордное количество неквалифицированных сельскохозяйственных рабочих и иммигрантов, привлеченных ложными или преувеличенными сообщениями о сказочных зарплатах и пустующих рабочих местах. Второй тезис следовал из первого: объявление об организации общественных работ неизбежно привлечет на и так перенасыщенный рабочей силой рынок еще больше неквалифицированных приезжих, которые пополнят ряды безработных и снизят зарплаты работающих⁹⁰.

Через неделю после публикации ее статьи Беатриса получила другое письмо, от которого у нее быстрее забилося сердце и задрожали руки. Чемберлен похвалил ее статью и попросил совета. Став президентом Департамента местного самоуправления, он отвечал теперь за помощь бедным.

Не согласится ли она встретиться с ним, чтобы помочь устранить недостатки его плана?⁹¹ Ее гордость была по-прежнему унижена, и, опасаясь нового унижения, Беатриса отказалась встретиться с Чемберленом, а вместо этого послала ему критический анализ его плана. В ответ Чемберлен повторил свое рассуждение о “выкупе”. Как он выразился, “богатые должны платить за то, чтобы бедные оставались в живых”⁹². Из своего опыта в качестве работодателя для тысяч рабочих он вынес убеждение, что в условиях углубления кризиса правительство не может и дальше бездействовать. Принципы управления менялись независимо от того, какая партия находилась у власти. По мере роста богатства — вкупе с ростом политической власти обедневшего большинства — возникла моральная и политическая необходимость действовать, которой не было ранее. Поскольку появились средства для облегчения бедственного положения людей и — что еще важнее — электорат знал, что такие средства существуют, уже нельзя было ничего не делать. Подвести моральные основания под политику невмешательства еще можно было в более бедной аграрной Англии времен Рикардо и Мальтуса. Но теперь попытка следовать указаниям, изложенным в “Личности и государстве”, была безнравственной и к тому же самоубийственной с политической точки зрения. Он писал: “О нищих мой департамент все знает... Однако я уверен, что промышленные рабочие, не являющиеся нищими, тоже испытывают большие лишения... Что можно сделать для них?”⁹³

Беатриса была непоколебима. “Я не вижу причин, по которым что-то нужно делать”, — настаивала она. Она не предлагала никаких изменений в его план — она просто советовала ничего не делать. “У меня нет никаких предложений, кроме того, что правительству стоит проявлять суровость, а людям — любовь и самоотверженность”, — писала она. И не смогла отказать себе в удовольствии добавить — отчасти насмешливо, отчасти игриво:

Нелепо думать, что обычной женщине стоит присылать на рассмотрение предложения компетентнейшего министра Ее Величества... особенно учитывая, что он — как мне известно — имеет весьма невысокое мнение об уме даже самых выдающихся женщин... и не выносит независимых суждений⁹⁴.

Чемберлен отвергал обвинения в женоненавистничестве и признавал, что часть ее возражений резонна. Тем не менее он не скрывал, насколько отталкивающими показались ему убеждения, лежавшие в основе ее ответа:

В отношении основного вопроса ваше письмо обескураживает, и я боюсь, что вы правы. Но я буду действовать так, как если бы вы не были правы, потому что если мы признаем невозможность устранения дефектов общества, то опустимся ниже уровня животных. Такие убеждения служат оправданием абсолютного и чистейшего себялюбия⁹⁵.

Чемберлен поступил так, как обещал: проигнорировал совет Беатрисы и предпринял один из тех “грандиозных экспериментов”, которые так не одобрял Спенсер. Программа общественных работ, которую Чемберлену удалось закрепить законодательно, имела относительно скромные масштабы и продолжалась всего несколько месяцев. Но некоторые историки рассматривают ее как важное новшество⁹⁶. Впервые правительство рассматривало безработицу не как чьи-то личные неудачи, а как социальное зло, и брало на себя ответственность за помощь жертвам.

Когда Чемберлен дал понять, что устал от эпистолярной перебранки, Беатриса в сердцах написала и отправила признание в любви — признание, о котором она немедленно и горько пожалела. “Меня унизили так глубоко, как только можно

унизить женщину”, — призналась она себе⁹⁷. Предложение доктора отвезти отца в Лондон на время сезона спасло ей жизнь. Вместо того чтобы снова погрузиться в депрессию и потянуться к настойке опиума, она перевезла свое хозяйство в Йорк-Хаус в Кенсингтоне. В конце апреля 1886 года Беатриса присоединилась к своему кузену Чарли Буту, состоятельному филантропу, для участия в наиболее масштабном социальном исследовании, когда-либо проводившемся в Британии.

Кузену Беатрисы было за сорок, это был высокий и нескладный человек, “с цветом лица болезненной девушки”, обладавший обманчиво мягкими манерами⁹⁸. Те, кто не знал Чарльза Бута, принимали его за музыканта, преподавателя или священника — практически за кого угодно, кроме президента крупной трансатлантической пароходной компании, которым он был на самом деле. Днем он изучал цены акций, новые южноамериканские порты и графики морских перевозок. А вечера отдавал своей настоящей страсти — филантропии и социологии. Он и его жена Мэри, племянница историка Томаса Бабингтона Маколея, были скромными, энергичными и любознательными людьми. Либералы по убеждениям, как Поттеры и Хейворты, они входили в “кружок Британского музея”, объединявший журналистов, лидеров профсоюзов, политэкономистов и разнообразных активистов. Хотя Беатриса и морщила иной раз свой орлиный нос, глядя на небрежное ведение Бутами хозяйства и на их странных гостей, она проводила в этом безалаберном доме все свободное время.

Подобно другим граждански активным предпринимателям, Бут долгое время участвовал в работе местного статистического общества и разделял характерное для викторианской эпохи убеждение в том, что необходимым условием эффективной социальной деятельности являются достоверные данные. Когда Чемберлен был мэром Бирмингема, Бут как-то провел по его указанию опрос, и они стали друзьями. В ходе опроса больше четверти бирмингемских детей школьного возраста не удалось обнаружить ни дома, ни в школе, и это привело

к принятию целого ряда законов. В начале 1880-х, когда критики современного общественного устройства снова сосредоточили свои усилия на борьбе с “бедностью среди изобилия”, его поражало, как часто люди с добрыми намерениями оказывались совершенно “беспомощными”, столкнувшись с неразрешимой — на первый взгляд — проблемой и множеством противоречивых диагнозов и рецептов. Беда, по его мнению, была в том, что у политэкономистов были теории, а у активистов — житейские истории, но ни те, ни другие не могли составить беспристрастное и полное описание проблемы. Как если бы ему поручили реорганизовать южноамериканские морские пути без использования карт.

Предыдущей весной Бут был возмущен заявлением каких-то социалистов, что в Лондоне бедствует более четверти населения. Подозревая, что этот показатель существенно завышен, но не имея возможности это доказать, Бут решил перейти к действиям. Он запланировал опрос по всем домам, мастерским, улицам и видам занятости, чтобы установить доходы, занятия и жизненные обстоятельства каждого из четырех с половиной миллионов жителей Лондона. Он собирался потратить собственные средства и составить карту лондонской бедности.

В отличие от Генри Мейхью, которым восхищалась Беатриса, Бут обладал видением ситуации, управленческим опытом и техническими знаниями, необходимыми для реализации его грандиозного плана. Посоветовавшись с друзьями, такими как Альфред Маршалл, который в то время преподавал в Оксфорде, и Сэмюэль Барнетт, работавший в центре социальной помощи Тойнби-холл, он начал с набора команды исследователей. Он пригласил Беатрису на первое собрание Совета по статистическим исследованиям, которое проводилось в лондонском отделении его фирмы. Она откликнулась и была там, конечно, единственной женщиной. Бут объяснил, что хочет получить “достоверную картину всего лондонского общества”, и представил “тщательно разработанный и подробный план”, который предусматривал в числе прочего, что переписчиками

станут школьные инспекторы, а для перепроверки будут использованы результаты переписи и данные благотворительных организаций⁹⁹. Он хотел начать с Ист-Энда, где проживал миллион человек — каждый четвертый лондонец:

Единственной причиной подобного образа действий с моей стороны является тот факт, что именно в этой части Лондона предположительно обитает наиболее бедствующая часть населения Англии, и, таким образом, именно она является своего рода средоточием проблемы бедности среди богатства, которая беспокоит умы и сердца столь многих людей¹⁰⁰.

На Беатрису произвело большое впечатление, что Бут взялся за такое грандиозное предприятие в одиночку. Ей показалось, что и она могла бы решиться в будущем на что-нибудь подобное. Ведь именно “такого рода деятельностью [она] хотела бы заняться... если бы была свободна”¹⁰¹. Она решила пойти, так сказать, в подмастерья к своему кузену, отдавая столько времени и получая столько знаний, сколько позволят ей заботы о семье. В ее задачу не входил сбор статистических данных. Она должна была пройти по мастерским и жилым домам, делая собственные наблюдения и опрашивая рабочих — начиная с легендарных лондонских докеров.

Когда Поттеры вернулись в свое сельское имение, Беатриса воспользовалась вынужденным заточением, чтобы восполнить недостаток образования. Ей казалось очень важным дополнять статистику личными наблюдениями и опросами, но она быстро поняла, что настоящие наблюдения невозможны без теории, которая позволила бы отделять зерна от плевел. Репортажи Мейхью быстро потеряли актуальность именно потому, что он накапливал факты бессистемно. Стремление найти какую-то закономерность побудило ее к изучению экономики, и в особенности истории становления экономических идей, поскольку “каждый новый поворот теории отражал некое наблюдение над современной промышленной жизнью”¹⁰².

Через день-другой беспорядочного чтения Беатриса пожаловалась, что политэкономия — “невыносимая скучища”¹⁰³. Однако всего через две недели она с удовлетворением отмечала, что “переломила хребет экономической науке”¹⁰⁴. Она прочитала — или по крайней мере просмотрела — “Систему логики” Милля и “Учебник политической экономии” Фоссета и была уверена, что “получила представление” о том, что хотели сказать Смит, Рикардо и Маршалл. В начале августа она уже вносила последние поправки в свою критику английской политэкономии. Ведущие политэкономы — за исключением Маркса, чьи работы она прочла только осенью, — были виноваты, по ее мнению, в том, что воспринимали свои предположения как подлинные факты. Беатриса осуждала их за пренебрежение к происходившему в реальности. Она послала свой вердикт кузену Чарли, надеясь, что тот поможет с его публикацией. К ее огорчению, Бут посоветовал отложить рукопись, чтобы вернуться к ней через год-другой.

Год спустя, когда Беатриса закончила изучение жизни докеров, Бут повел ее на выставку художников-праерафаэлитов в Манчестере. Картины произвели на Беатрису такое большое впечатление, что она решила превратить в “картину” свое очередное исследование — обзор швейных потогонных мастерских. Ей пришлось в голову, что для придания отчету достоверности ей нужно по-настоящему окунуться в рабочую среду. “Я не могла составить правильной картины, не пожив среди рабочих. Я думала, что смогу это сделать”¹⁰⁵.

Подготовка к дебюту в роли девушки из рабочей среды заняла несколько месяцев. Лето она провела в Стэндише, обложившись “всеми посвященными потогонной системе книгами, правительственными отчетами, брошюрами и периодическими изданиями, которые смогла достать”¹⁰⁶, а осенью полтора месяца прожила в небольшой гостинице в Ист-Энде, проводя по 8–12 часов в день на кооперативной швейной фабрике, где обучалась

швейному делу. Вечером, если хватало сил не свалиться сразу в постель, она шла на светские приемы в Вест-Энде.

В апреле 1888-го Беатриса была готова к началу своего тайного исследования. Она переехала в обшарпанные мебелированные комнаты в Ист-Энде. На следующее утро она надела убогую поношенную одежду и пешком пошла “начинать жизнь рабочей женщины”. За несколько часов она приобрела свой первый опыт поиска работы.

По ее признанию, “ощущение было странным”. Как она писала в дневнике, “не было никаких объявлений, кроме вакансий для “хороших портних”, а в такие места я не рисковала обращаться, чувствуя себя самозванкой. Я продолжала бродить, пока не впала в отчаяние — у меня заболели ноги и спина, я почувствовала себя по-настоящему “безработной”. Наконец я собралась с духом”¹⁰⁷.

“Непохоже, чтобы вы привыкли много работать”, — снова и снова слышала она. И все же спустя двадцать четыре часа, несмотря на ее опасения, что ее маскарад и неуклюжие попытки использовать просторечие не смогут никого обмануть, она уже сидела за большим столом и возилась с парой брюк непослушными, как сосиски, пальцами. Ей пришлось положиться на доброту товарки, которая, хоть и работала на сдельщине, находила время, чтобы учить Беатрису азам, и “эксплуататора”, пославшего девочку купить для нее ниток, которые работницы должны были приносить с собой.

Женщина, чьим девизом было: “Женщину всегда нужно добиваться”, с удовольствием записала песенку рабочих девушек:

Если парень нравится,
 Что ж к нему не свататься?
 Нас, девчонок, на беду
 Водят все на поводу?¹⁰⁸

Как только зажгли газовое освещение, наступила непереносимая жара. У Беатрисы были исколоты пальцы и болела спина.

“Восемь часов по часам на пивоварне”, — прокричал пронзительный голос.

За это она получила шиллинг — свой первый в жизни заработок. “Шиллинг в день — примерная стоимость неквалифицированного женского труда”, — записала она в дневнике, добравшись до своих меблированных комнат.

На следующее утро, в восемь тридцать, она снова была в доме 198 по Майл-Энд-роуд. Она делала петли для пуговиц на брюках еще пару дней, прежде чем “оставила мастерскую и ее обитателей: им суждено было день за днем заниматься своим делом, превратившись [для нее] лишь в воспоминание”¹⁰⁹.

Эксперимент Беатрисы получил широкую известность. В мае комитет палаты лордов, проводивший исследование потогонных мастерских, пригласил ее свидетельствовать о положении дел. “Пэлл-Мэлл газет”, в которой печатались отчеты о слушаниях, описывала ее привлекательную внешность — “высокая, гибкая, темноволосая, с блестящими глазами” — и отмечала, что в кресле свидетеля она держалась “совершенно спокойно”¹¹⁰. Во время слушаний Беатриса снова, как в детстве, поддавалась склонности к преувеличениям и сказала, что проработала в мастерской не три дня, а три недели. После этого она несколько недель трепетала, опасаясь разоблачения. Но когда в середине октября “Страницы из дневника работницы” были опубликованы в либеральном журнале “Девятнадцатый век”, они принесли ей упоительный успех. “Публику в большей степени покорила оригинальность поступка, чем его описание”¹¹¹. Тем не менее, признавалась Беатриса, приглашение выступить в Оксфорде с чтением этой статьи сделало ее до смешного счастливой. (“Теперь я знаю, что если мне есть что сказать, я могу сделать это, причем сделать хорошо”¹¹².) Перед самым Новым годом, несмотря на сильную простуду, приковавшую ее к постели, Беатриса наслаждалась многочисленными упоминаниями о ней в газетах и даже “поддельным интервью... отправленным по телеграфу в Америку и Австралию”¹¹³.

Теперь Беатриса чувствовала в себе силы, чтобы взяться за самостоятельный проект. С тех самых пор, как она под видом “мисс Джонс” провела неделю в Бэкапе среди работавших на ручных станках ткачей, ее захватила мысль написать историю кооперативного движения. Даже потрясение, которое она испытала, прочитав в “Пэлл-Мэлл газет”, что Джозеф Чемберлен тайно обручился с двадцатипятилетней американской “аристократкой” (“сначала дыханье перехватило — как от резкого удара — а потом все было кончено”¹¹⁴), не помешало Беатрисе снова погрузиться в правительственные отчеты. Кузен Чарли уговаривал ее написать вместо этого трактат о женском труде. Того же мнения придерживался и Альфред Маршалл, с которым она впервые встретила в Оксфорде и который пригласил ее отобедать с ним и Мэри. По его словам, он был в большом восхищении от ее “Дневника”. Воспользовавшись возможностью, она спросила, что он думает о ее новом проекте. Ответ звучал очень эффектно: “если вы посвятите себя изучению роли своего пола в промышленности, то ваше имя будет повсеместно известно и через двести лет, если же вы напишете об истории кооперации, то через несколько лет ваш отчет будет переписан заново или забыт”¹¹⁵.

Беатриса и не подумала следовать этому совету — она предпочитала общаться с мужчинами, а не с женщинами, и к тому же заподозрила, что Маршалл счел ее недостаточно квалифицированной для изложения его любимой темы. Вопрос был окончательно решен, когда она в эмоциональном порыве присоединилась к другим социально активным женщинам и подписала петицию против предоставления женщинам права голоса. “В то время я была известна как антифеминистка”, — объясняла она позже¹¹⁶.

Беатриса вообще не раз меняла свои взгляды. Несмотря на то что в спорах с Чемберленом она энергично отстаивала доктрину невмешательства, либерализм, которого придержи-

вались ее родители и Спенсер, уже начинал вызывать у нее сомнения. Она по-прежнему часто встречалась со старым философом, но их споры становились настолько бурными, что они остерегались говорить о политике. И вообще она все больше времени проводила с кузеном Чарли.

Когда в апреле 1889 года Бут опубликовал первый том своего исследования “Жизнь и труд людей”, в “Таймс” написали, что отчет “поднимает занавес, до сих пор скрывавший восточную часть Лондона”, и отдельно похвалили главу о докерах, которую написала Беатриса¹⁷. В июне того же года Беатриса приняла участие в конгрессе кооператоров. Там она поняла: чтобы рабочие могли когда-нибудь рассчитывать на внедрение в жизнь с таким трудом достигнутых соглашений о зарплате и продолжительности рабочего дня, “демократия потребителей должна быть дополнена демократией рабочих”¹⁸. Яркая и совершенно неожиданная победа лондонских докеров, которых все считали отчаявшимися индивидуалистами, неспособными к совместной деятельности, в забастовке в августе 1889 года, произвела на нее большое впечатление. “Лондон бурлит: стачки стали повсеместными, новый тред-юнионизм, начав с внушительной победы в доках, получает все более широкое распространение”, — писала Беатриса в дневнике.

Социалисты под руководством небольшой группы энергичных молодых людей (“Фабианское общество”) управляют лондонскими радикалами и готовы при первом провале тред-юнионизма потребовать действий от правительства. А я, благодаря особенности моего социального положения, должна быть в гуще всех партий, сочувствуя всем, но ни к кому не примыкая¹⁹.

Воочию наблюдать все эти волнующие события Беатриса не могла: она пребывала в сельской гостинице, прикованная к находившемуся в полубессознательном состоянии отцу, “вдали от мира мыслей и дел других людей”. Она работала

над книгой, но без всякой уверенности в том, что сможет ее закончить. Дневниковая запись: “до смерти надоело разбираться в теме. Создана ли я для умственной работы? Может ли женщина жить чисто интеллектуальной жизнью?.. Фон моей жизни невыразимо депрессивен — отец лежит в постели без сознания: ребенок, животное; у него меньше способности думать и чувствовать, чем у моего питомца Дона”¹²⁰.

Беатрису все больше раздражало, что уход за отцом невозможно совместить с продвижением по выбранной стезе. Она приходила к выводу, что женская доля сродни угнетенному положению рабочих. Она думала о домах “всех этих уважаемых и достигших больших успехов мужчин”, женившихся на ее сестрах, с которыми она оставалась близка:

Потом... я продираюсь сквозь скопища калек и бродяг Ист-Энда или прихожу на публичные дебаты рабочих и слушаю, как все более громко стонут мыслящие люди, обреченные на круговерть ручного труда, *о деятельности, в которой учитываются способности*, горько стонут рабочие девятнадцатого века — как мужчины, так и женщины¹²¹.

Предыдущей осенью, когда отец сказал ей, что хочет “видеть свою маленькую Бо замужем за хорошим крепким парнем”, Беатриса записала в дневнике: “я не могу совершить это страшное самопожертвование — выйти замуж; я никогда этого не сделаю”¹²².

О Сиднее Уэббе Беатриса услышала за несколько месяцев до встречи с ним. Она прочла сборник эссе, изданный “Фабрианским обществом” — группой социалистов, которая планировала прийти к власти так же, как римский генерал Фабий выиграл карфагенскую войну: действуя постепенно и применяя партизанскую тактику, а не вступая в открытые битвы. Она сказала другу, что “самое важное и интересное — пока что эссе

Сиднея Уэбба”¹²³. Сидней сделал ей встречный комплимент в своей рецензии на первый том работы Бута: “Единственный из составителей, обладающий литературным талантом, — это мисс Беатриса Поттер”¹²⁴.

Их первая встреча произошла в квартире Мэгги Гаркнесс в Блумсбери. Беатриса спросила кузину, знает ли она какого-нибудь специалиста по кооперативам, и Мэгги сразу же вспомнила фабианца, который, казалось, знал все. Сидней влюбился с первого взгляда, хотя с их первой встречи он ушел не вдохновленным, а подавленным. “Она слишком красива, богата и умна”, — сказал он другу¹²⁵. Позже он утешал себя мыслью о том, что они, по крайней мере, принадлежат к одному социальному классу — пока Беатриса не поправила его. Общение с “синими воротничками” ее развлекало. Ей нравилось разговаривать и курить с профсоюзными активистами и кооператорами в их тесных квартирках. Но самоуверенность рабочих, “поднявшихся... внутри собственного класса” и являющихся на лондонские обеды, где “они не скрывают своего происхождения и не чувствуют никакой неловкости”, пробуждало в ней подспудный снобизм¹²⁶. Беатрисе казалось, что Сидней похож на помесь лондонского шулера с немецким профессором; она высмеивала его “лоснящийся от носки черный буржуазный пиджак” и просторечное произношение. Однако непостижимым образом что-то в этом “удивительном человечке с огромной головой на маленьком тельце” ее привлекало¹²⁷.

Как и подсказывала его “огромная голова”, Сидней действительно был человеком большого ума. Подобно Альфреду Маршаллу, он был выходцем из лондонского нижнего среднего класса и смог подняться благодаря волне, вынесшей наверх “белые воротнички”. Родившись на три года позже Беатрисы, он вырос над парикмахерской своих родителей возле Лестер-сквер. Его отец, который помимо стрижки волос подрабатывал в качестве приходящего бухгалтера, был радикальным демократом. Он поддержал парламентскую кампанию

Джона Стюарта Милля. Решающий голос в семье принадлежал матери, а она хотела, чтобы Сидней с братом получили профессиональное образование. Обладая поразительной памятью, математическими способностями и умением сдавать экзамены, Сидней был лучшим учеником школы; в шестнадцать лет его взял на работу биржевой маклер, а в двадцать один ему предложили стать партнером в фирме. Он отказался и вместо этого сдал экзамен на гражданскую службу и получил должность в министерстве по делам колоний. К тому времени им уже овладел политический зуд, и он понял, что власть интересует его больше денег. Он продолжал завоевывать стипендии и степени, включая, согласно официальному биографу Уэббов Ройдену Харрисону, юридическую степень в Лондонском университете. Ко времени бунта на Трафальгарской площади и последовавшей за этим победы консерваторов на выборах Сидней нашел свое истинное призвание в качестве мозгового центра Фабианского общества.

Фабианцы придерживались весьма своеобразных взглядов. Сидней проповедовал “коллективную собственность всюду, где это было возможно, и коллективное управление — во всех остальных случаях; коллективное снабжение продовольствием всех слабых и немощных и коллективное налогообложение, пропорциональное благосостоянию, особенно в отношении богатых”. При этом фабианский социализм ассоциировался в основном с местным управлением и проектами небольшого масштаба, такими как молочные кооперативы и государственные ломбарды. Стратегия фабианцев также отличалась от стратегий большинства других социалистических групп. Они не боролись за голоса избирателей и не призывали к революции, а стремились постепенно внедрить социализм за счет “приобщения всех существующих общественных сил к идеалам и принципам коллективизма”¹²⁸.

В 1887 году Сидней был избран в руководящий комитет фабианцев. На тот момент в обществе было шестьдесят семь членов, его годовой доход составлял 32 фунта, и все знали, что

хорошенькие женщины могут встретить там умных мужчин — и наоборот. Английский историк Дж. М. Тревельян описывал фабианцев как “разведчиков без армии”. Они не стремились стать парламентской политической партией. Они намеревались влиять на политику, направляя “огромные массы, движущиеся под чужими знаменами”¹²⁹. Сидней, который пришел к выводу, что “в Англии ничего не делается без согласия кучки лондонских интеллектуалов, имеющих практическую хватку, — числом менее двух тысяч человек” и что борьба за электорат — это игра богачей, называл стратегию фабианцев по внедрению во влиятельные круги “проникновением”¹³⁰.

Лучшим другом и ближайшим соратником Сиднея был Джордж Бернард Шоу, остроумный эльфоподобный ирландец, мастер театральных рецензий и главный журналист среди фабианцев. К середине 1880-х он успел поработать сборщиком арендной платы в Дублине и биржевым маклером в лондонском Сити и пришел к убеждению, что корни социальных проблем лежат в экономике. Вторую половину десятилетия он посвятил “освоению” экономики. Они с Сиднеем старались разобраться, во что они верят и куда им направить свою энергию. Они посещали регулярные собрания группы, организованной рядом профессиональных экономистов в Лондонском городском колледже, и в итоге отвергли утопический социализм и коммунизм Маркса. Они называли свою цель социализмом, но это был социализм с частной собственностью, парламентом и капиталистами, зато без Маркса и классовой борьбы. Они мечтали не убить “Франкенштейна” свободного предпринимательства, а приручить и подчинить его — не уничтожить богатых, а обложить их налогами¹³¹.

Через несколько недель после первой встречи с Сиднеем Беатриса начала думать, что “социалистическое общество, сочетающее индивидуальную свободу с общественной ответственностью”, может оказаться жизнеспособным и привлека-

тельными. “Я наконец стала социалистом!” — объявила она¹³². Беатриса уловила дух времени, который в 1888 году в ходе дебатов о бюджете заставил либерального депутата парламента Уильяма Харкорта воскликнуть: “Все мы теперь социалисты”¹³³. Что же касается Сиднея, то о нем она стала думать как об “одном из небольшого числа людей, с кем она могла рано или поздно объединиться навсегда”¹³⁴.

Сначала Беатриса воспринимала очевидную влюбленность Сиднея как само собой разумеющееся обстоятельство и была рада тому, что ее интеллектуальная зависимость от него растет. Когда он признался, что любит ее и хочет на ней жениться, она прочла ему лекцию о том, что нельзя смешивать любовь и работу. Она настаивала на том, что хочет быть его соавтором, а не женой, и запретила всякое упоминание о “низких чувствах”¹³⁵.

В 1891 году Беатриса снова проводила сезон в Лондоне, с волнением ожидая выхода из печати своей книги о кооперативах и переживая по поводу курса лекций, который она согласилась прочесть. Сидней объявил, что увольняется с государственной службы. У него не было иной жизни, кроме работы, и он чувствовал себя “как извозчичья лошадь, с которой нельзя снимать оглобли, чтобы она не упала”¹³⁶. Он снова вернулся к запретной теме, обещая в случае согласия не запираť ее в четырех стенах, а позволить вести скромную трудовую жизнь, активно участвовать в социальной работе и проводить много времени на свежем воздухе. Он предложил вместе написать книгу о профсоюзах. Наконец — после того как Беатриса целый год твердила Сиднею, что не любит его — она дала согласие¹³⁷.

Когда Сидней прислал Беатрисе свою фотографию в полный рост, она попросила “оставить мне только голову — ведь я выхожу замуж за твою голову.. А эта фотография никуда не годится”¹³⁸. Она боялась сообщать о своих планах близким. “Люди удивятся”, — писала Беатриса в дневнике.

На первый взгляд это кажется неожиданным финалом для некогда блистательной Беатрисы Поттер.. выйти замуж

за некрасивого невысокого мужчину, у которого нет ни социального положения, ни тем более средств, чьей единственной рекомендацией, как могут сказать некоторые, является его напористость. И я не влюблена — не так, как раньше. Но я вижу в нем нечто иное... большой ум и душевную теплоту, способность полностью отдаваться служению на благо общества¹³⁹.

Беатриса настаивала на сохранении их помолвки в тайне, пока жив ее отец. В известность были поставлены только сестры и несколько близких друзей. Буты отреагировали холодно, а Герберт Спенсер немедленно отказался от мысли завещать ей свое научное наследие — таким образом, Беатриса потеряла положение литературного душеприказчика Спенсера, которым когда-то очень гордилась.

Ричард Поттер умер 1 января 1892 года, за несколько дней до тридцатичетырехлетия Беатрисы. Он оставил своей любимой дочери ежегодный доход в размере 1506 фунтов и “ни с чем не сравнимую роскошь свободы от всяческих забот”¹⁴⁰. После похорон Беатриса провела неделю в “безобразной и тесной” квартирке своей будущей свекрови в Парк-Виллидж возле Риджентс-парк. 23 июля 1892 года Беатриса и Сидней оформили свой брак в одной из лондонских регистрационных контор. А Беатриса сделала соответствующую запись в своем дневнике: “Беатриса Поттер уходит. Появляется Беатриса Уэбб, или скорее (миссис) Сидней Уэбб, потому что я теряю — о ужас! — сразу оба имени”¹⁴¹.

Когда год спустя, в конце лета 1893 года, Бернард Шоу впервые нанес молодоженам продолжительный визит, Беатриса сочла его тщеславным и взбалмошным, прирожденным волокитой, но при этом “великолепным собеседником”, “любителем флирта и потому прекрасным компаньоном”. Если Сидней был “организатором” Фабианского союза, то Шоу, по ее мнению, придавал союзу “блеск и остроту”¹⁴².

Первая пьеса Шоу — “Дома вдовца” — была поставлена в Королевском театре в Сохо в предыдущем декабре, а теперь он работал над новой, построенной по той же схеме: берется одна из тем, которую воспитанные викторианцы и не думали обсуждать, в данном случае — презренная профессия, и с ее помощью показывается реальный механизм работы общества¹⁴³.

Весь предыдущий год в печати было полно историй о легальных борделях на континенте — великосветских мужских клубах, в которых совершались сделки и в которых английских девушек заманивали в сексуальное рабство. Шоу, как обычно, превращал социальную проблему в экономическую. Он написал одному из друзей: “Во всех моих пьесах экономическое образование играло такую же важную роль, какую в работах Микеланджело играло его знание анатомии”¹⁴⁴. Его персонаж — миссис Уоррен, владелица высококлассного борделя в Вене, деловая женщина, которая понимает, что в основе проституции лежит не секс, а деньги. Как и в “Домах вдовца”, где Шоу хотел показать, что владелец трущоб был не злодеем, а продуктом социальной системы, в которой участвует каждый, теперь он хотел объяснить зрителям, что в обществе, где женщины затягиваются в проституцию, нет невиновных. “Ничто не доставит нашей лицемерной британской публике большего удовольствия, чем обвинение в профессии миссис Уоррен самой миссис Уоррен, — писал Шоу в предисловии. — Однако основная задача моей пьесы обвинить в этом саму британскую публику”¹⁴⁵.

Это была идея Беатрисы: “показать на сцене современную даму из высшего общества”, а не шаблонную сентиментальную куртизанку¹⁴⁶. В результате на свет появилась Виви Уоррен, получившая кембриджское образование дочь миссис Уоррен. Подобно Беатрисе, Виви “привлекательна.. благоразумна.. сдержанна”. Подобно Беатрисе, Виви удастся вырваться за границы своего класса и уготованной ей сексуальной роли. В рассказе Ги де Мопассана “Иветта”, из которого Шоу позаимствовал сюжет, рождение полностью предопределяет даль-

нейшую судьбу героини. “Другого выхода нет”, — говорит мадам Обарди, проститутка и мать Иветты. Но в мире поздневикторианской Англии, в котором живет Виви Уоррен, другой выход *есть*. Узнав о том, чем на самом деле занимается миссис Уоррен и из каких доходов оплачено обучение ее дочери в Кембридже, Виви лишается своего наивного представления о мире. Но она не убивает себя и не идет по стопам матери — она принимается за бухгалтерию. “У меня другая работа и другая дорога”, — говорит она матери. Как и Беатриса, она сама решает, что ее судьба будет иной. В финальной сцене “Профессии миссис Уоррен” Виви остается на сцене одна — она сидит за письменным столом, с наслаждением погружившись в “вычисления”.

Тем временем реальная Виви жила со своим мужем в десятикомнатном доме, в двух шагах от здания парламента. Почти каждое утро к ней в библиотеке присоединялись Сидней и Шоу. Втроем они пили кофе, курили сигареты и сплетничали, а главное — редактировали три первые главы их с Сиднеем книги о тред-юнионах.

Всемирно известный писатель-фантаст Герберт Джордж Уэллс на короткое время превратил это фабианское трио в квартет, но потом поссорился с Уэббами. Позже он высмеял их в написанном в 1910 году романе “Новый Макиавелли” под именами Альтиоры и Оскара Бейли, влиятельной лондонской четы, которая постоянно собирает и обнародует сведения об общественных делах, чтобы приобрести влияние, став “источником информации для всех видов законодательных инициатив и политических маневров”. Выросшая, подобно Беатрисе, среди людей правящего класса, Альтиора “очень рано обнаруживает, что влиятельные люди в самую последнюю очередь готовы работать”. Праздная, но блестящая Альтиора выходит замуж за Оскара, из-за его высокого лба и трудолюбия. Под ее руководством они становятся “самой выдающейся и влиятель-

ной четой”. “Два человека... которые планировали получить власть — необычным путем. И истинный Боже, они ее получили!” — восклицает компаньон рассказчика¹⁴⁷.

Термин “мозговой центр”, который ассоциируется с растущей ролью экспертов в разработке государственной политики, возник лишь во время Второй мировой войны. Да и тогда, по словам историка Джеймса Смита, “мозговым центром” называли “защищенную комнату, в которой можно было обсуждать планы и стратегии”¹⁴⁸. И только в 1950–1960-е годы, после того как получили известность корпорация “Рэнд” и Брукингский институт, слова “мозговой центр” стали использовать для обозначения частных компаний, нанимающих исследователей, желательно независимых и объективных, которые готовят самостоятельные и непредвзятые рекомендации для государственных чиновников и политиков. И тем не менее Беатриса и Сидней с первого дня своего брака стали именно “мозговым центром” — возможно, первым в истории и наверняка одним из наиболее эффективных. “И этим они беззастенчиво гордились, — издевался Уэллс. — На внутренней стороне обручальных колец Бейли было выгравировано: *P. V. P., Pro Vono Publico*”.

Уэббы проникательно предположили, что по мере роста амбиций демократически избранных правительств будет расти и их потребность в экспертах. Они предсказали возникновение нового класса бюрократии: “Из соображений простого удобства выборные органы *должны* все больше и больше пользоваться услугами служащих-экспертов.. Мы полагаем, что из таких экспертов должен сформироваться новый и очень влиятельный класс.. Мы рассматриваем себя как их непрофессиональных и неоплачиваемых предшественников”¹⁴⁹. Исходя из этого прогноза, они основали Лондонскую школу экономики — тренировочную площадку для нового класса социальных инженеров, — а также еженедельник “Нью стейтсмен”.

* *Pro Vono Publico* — на благо общества (лат.).

Выбранный Беатрисой дом под номером 41 по Гровнор-роуд — “почти нарочито обыкновенный и непритязательный” — наглядно демонстрировал их приоритеты. Они вели спартанский образ жизни, чтобы выделить средства на исследования. Уровень комфорта, подобающий представителям среднего класса, был принесен в жертву книгам, статьям, опросам и сбору свидетельских показаний. Живя в эпоху угольных ведерок и холодного водоснабжения, Уэббы тем не менее обычно нанимали всего двух слуг, но зато — трех научных сотрудников. “Все успешные политические карьеры, — говорит Альгиора из романа Уэллса, — основаны на правильном управлении секретарями”¹⁵⁰. Беатриса поставила перед собой задачу превратить Англию из страны, где царит принцип невмешательства, в страну, где все планируется сверху донизу. Для этого они проводили крупномасштабные исследования, почти полностью подчинив свою жизнь этой деятельности. Друзья семьи спорили о том, “кто в этой паре ведущий”, но Уэллс не сомневался, что “она руководила им”¹⁵¹. Она была генеральным директором их предприятия — все держалось на ее воображении, ее способностях администратора и стратега. Уэллс был уверен, что их совместное предприятие по продвижению идей “было почти полностью ее изобретением”. С его точки зрения, Беатриса была “решительна, обладала богатым воображением и неисчерпаемым запасом идей”, в то время как Сидней “был почти полностью лишен инициативы, а идеи мог только запоминать и обсуждать”¹⁵².

Стоя спиной к огню, Беатриса сверкала “цыганской роскошью черного, красного и серебра”. Даже создавая в своем романе карикатурный образ Беатрисы, Уэллс был вынужден признать, что она прекрасна, элегантна и “совершенно неповторима”. Другие женщины, которых он встречал в доме на Гровнор-Роуд, были либо “крайне рациональны, либо ослепительно великолепны”¹⁵³. И только Беатриса обладала обоими качествами. Она могла обсуждать бюджеты, законы и политические махинации, но ее

сверхдорогие кокетливые тувельки не оставляли сомнений в ее женственности.

Папиной дочке Беатрисе всегда нравились властные мужчины, флирт и политические сплетни. Принятая фабианцами на вооружение тактика проникновения открывала путь ко всем трем удовольствиям. “Я задалась целью развлечь и заинтересовать его, но при этом пользовалась любой возможностью внедрить в его голову здравые теории и сведения” — так выглядел типичный отчет об обеде с премьер-министром. В число ее именитых гостей постоянно входили прошлые, нынешние и будущие премьер-министры. Не принадлежа ни к какой партии, она с одинаковым удовольствием развлекала и тори, и либералов. “Ведь все они в определенной степени полезны”, — прагматично отмечала она¹⁵⁴.

Вечерами “мозговой центр” превращался в политический салон. Раз в неделю Уэббы давали ужин, приглашая около дюжины гостей. Раз в месяц у них был прием на 60–80 человек. Гости привлекала не еда. В быту Уэббы придерживались режима строгой экономии, чтобы иметь возможность нанять больше научных сотрудников, и Беатриса с большим удовольствием сдерживала свой аппетит, нежели давала ему волю¹⁵⁵. Подобно Альтиоре Беатриса кормила гостей “с неприкрытой экономностью, которая позволяла поддерживать беседу на блестящем уровне”¹⁵⁶. Как говорил Р.Г. Тоуни, экономический историк и один из ее постоянных гостей, платой за присутствие было “участие в одном из тех знаменитых упражнений в аскетизме, которые миссис Уэбб называла ужинами”¹⁵⁷. Тем не менее каждый стремился получить приглашение в дом 41 на Гровнор-роуд, который стал центром поразительно интенсивной политической и социальной деятельности. На одном “великолепном небольшом обеде”, который Беатриса рассматривала как “типичный уэббовский прием... с его смесью мнений, классов и интересов”, присутствовали норвежский посол в Лондоне, член парламента от тори, член парламента от либералов, Джордж Бернард Шоу, Бертран Рассел, философ

и будущий нобелевский лауреат, а также баронесса, которая принимала у себя каждого крупного политика и писателя того времени¹⁵⁸. В романе Уэллса отмечается уникальный талант Беатрисы в роли хозяйки дома и его важность для карьеры Уэббов. «Она собирала вместе великое множество интересных людей, имевших то или иное отношение к государственной службе. В ее гостиной встречались деятели, которым не доставало эффективности, знаменитости, которым не хватало знаний, и богачи, у которых отсутствовала направляющая идея, — нигде больше нельзя было встретить столько разнообразных составляющих нашей беспорядочной общественной жизни»¹⁵⁹.

В романе Уэллса человек, впервые попавший в дом Бейли, говорит другу, который его привел:

— Какое странное сборище!

— Сюда все приходят, — отвечает завсегдашай. — Большинство на дух не переносит хозяев; они вызывают зависть и слегка раздражают: временами Альтиора бывает ужасна — но мы *вынуждены* приходиться.

— Чтобы быть в гуще событий? — спрашивает первый.

— Несомненно. Это часть британского механизма — та, что не видна¹⁶⁰.

Уинстон Черчилль был одним из тех, кто был *вынужден* прийти к Уэббам во время лондонского сезона 1903 года. В прошлом году на обеде в среде либеральных политиков его посадили рядом с Беатрисой. Тогда считалось, что у этого потомка старинной аристократической семьи Спенсеров, сына знаменитого в прошлом политика-тори и члена парламента от тори возникли разногласия с правительством консерваторов. Но он возмутил Беатрису, отвергая не только тред-юнионы, но и государственное начальное образование. Хуже того — с самого начала и до конца обеда он без остановки говорил о себе, обратившись к Беатрисе лишь с вопросом, не знает ли она, кто может предоставить ему необходимые данные. «Никогда

не делаю умственную работу сам, если ее может сделать кто-то другой”, — весело пояснил он. “Эгоистичный, самоуверенный, поверхностный и реакционный”, — сердито законспектировала свои впечатления Беатриса в тот вечер. О его впечатлениях от этой встречи ничего неизвестно¹⁶¹.

К следующей встрече с Уэббами Черчилль уже перешел в стан либеральной оппозиции. Настроение электората менялось. После дорогостоящей и безуспешной войны с бурами в Южной Африке британские избиратели разочаровались в империализме за границей и озаботились бедностью дома. Тори, которые были правящей партией уже почти десять лет (сначала под руководством маркиза Солсбери, а затем — Артура Бальфура), предложили протекционистские меры, но лишь оттолкнули избирателей из рабочей среды, которые опасались новышения цен на продукты питания и потери рабочих мест в экспортных отраслях; Джозеф Чемберлен, разработчик программы тори по реформе пошлин, произносил последние в своей политической карьере речи перед практически пустыми залами. Альфред Маршалл, который вернулся к активной деятельности специально, чтобы разгромить Чемберлена и протекционистов, даже сомневался, стоило ли ему мучиться, выслуывая в публичные дискуссии. Черчилль быстро понял, что политика тори все меньше отражает царящие настроения, и решил, что либералы готовы сместиться влево вместе со всей страной. По его мнению, для этого они должны были предложить хоть какое-то решение этого социального вопроса. Он считал, что без голосов тред-юнионов у либералов не будет шансов надолго остаться у власти, даже если они умудрятся победить на выборах.

Во время обеда Беатриса посадила Черчилля справа от себя. Он ухитрился произвести почти такое же плохое впечатление, как и в первый раз. Женщина, которая только что дала себе клятву исключить из употребления не только алкоголь, но также кофе и табак (единственной “уступкой в ее договоре с самой собой” оставался чай), пришла к выводу, что “он слиш-

ком много пьет, слишком много говорит и практически не думает”. Она обсуждала с Черчиллем идею гарантированного “национального прожиточного минимума”. Его возражения — по ее оценке — сводились к повторению экономических суждений на уровне детского сада. Она вынесла свой вердикт: “Он совершенно не разбирается в социальных вопросах... и даже не подозревает об этом... Ему очевидно незнакомы даже самые элементарные аргументы против неограниченной конкуренции”¹⁶².

В конце своей авторитетной книги по истории Англии XIX века французский историк Эли Галеви упоминает несколько законов, имевших “почти революционное значение... и принятых по инициативе Черчилля”¹⁶³. Среди этих мер была “первая попытка ввести в кодекс законов о труде Великобритании минимальную зарплату, которая являлась одной из основ “национального прожиточного минимума” Уэббов”.

Хотя Черчилль считал Беатрису излишне властолюбивой (позднее он отмечал, что “не хотел бы оказаться запертым в бесплатной столовой вместе с миссис Сидней Уэбб”), на самом деле он сознавал свое невежество и вскоре начал “жить с правительственными отчетами и спать с энциклопедиями”¹⁶⁴. С Беатрисой Черчилль виделся редко, но зато освоил почти все программные произведения фабианцев, от “Жизни и труда” Бута и книги “Бедность: исследование городской жизни” Сибоба Раунтри до “Истории тред-юнионизма” и “Промышленной демократии” Беатрисы и Сидней Уэббов. Романы Герберта Уэллса, который начал смещаться от научной фантастики к социальной инженерии, стали его любимыми книгами. “Я бы мог сдать по ним экзамен”, — хвастался Черчилль¹⁶⁵. Будучи большим поклонником Шоу, он был на премьере “Майора Барбары”. Однажды он вместе со своим личным секретарем

Книга *Industrial Democracy* в русском переводе была издана в двух томах в 1900–1901 годах и называлась “Теория и практика английского тред-юнионизма”. В. И. Ленин перевел на русский язык 1-й том этой работы, а перевод 2-го тома отредактировал.

Эдди Маршем провел несколько часов в самых ужасных трущобах Манчестера, совсем как Альфред Маршалл за поколение до них. “Только представьте, каково жить на одной из этих улиц — никогда не видеть ничего красивого, никогда не есть ничего вкусного, *никогда не говорить ничего умного!*” — сказал Черчилль Маршу после этого¹⁶⁶.

Черчилль испытал такое сильное потрясение, отмечает его биограф Уильям Манчестер, что вскоре бывший архиконсерватор стал “левым громовержцем”. Его подтолкнуло к этому множество факторов, сыграл свою роль и политический расчет, но конкретные аргументы и меры были в основном почерпнуты у Беатрисы. К началу 1906 года, когда резкое перераспределение голосов обеспечило либералам большинство, Черчилль проповедовал то, что он называл “защитой миллионов отверженных”, и призывал “провести черту”, ниже которой “мы не позволим людям жить и работать” — именно за это его агитировала Беатриса¹⁶⁷.

В октябре того же года Черчилль произнес в Глазго примечательную речь, которая не только вышла далеко за пределы того, что было на уме у лидеров либеральной партии, но и, согласно биографу Черчилля Питеру де Мендельсону, “содержало зачатки множества ключевых элементов той программы, с помощью которой лейбористская партия получила поддержку большинства, позволившую провести “тихую революцию” 1945–1950 годов”¹⁶⁸. Это было одно из самых выдающихся ораторских выступлений Черчилля; он говорил о том, что “основное направление развития цивилизации — умножение коллективных функций общества”, которые, по его мнению, по праву принадлежат государству, а не частным предприятиям:

Мне бы хотелось увидеть, как государство проводит разнообразные новые и смелые эксперименты... Я считаю, что государство должно все больше играть роль запасного работодателя. Мне очень жаль, что в наших руках нет железных дорог страны... мы все согласны с тем... что государство должно

все больше и все серьезнее брать на себя заботу о больных, пожилых и прежде всего о детях. Я мечтаю о повсеместном установлении минимальных стандартов для жизни и труда и их постепенном повышении, по мере того как это будет позволять растущая производительность труда.. Я не хочу видеть, как снижается мощь конкуренции, но мы могли бы многое сделать, чтобы ослабить последствия неудач.. Мы хотим свободной конкуренции на пути вверх, но мы не позволим свободно конкурировать на пути вниз. Не следует уничтожать основу науки и цивилизации, но нужно натянуть защитную сетку над пропастью¹⁶⁹.

Никто не имеет больше прав претендовать на авторство *идеи* государственной “защитной сетки”, современного “государства всеобщего благосостояния”, чем Беатриса Уэбб. Оглядываясь назад незадолго до своей смерти в 1943 году, она с удовлетворением отмечала: “Мы увидели, что только государству можно доверить заботу о будущих поколениях.. Короче говоря, мы пришли к пониманию новой формы государства, той, что можно назвать “государством-попечителем” в противовес “государству-полицейскому”¹⁷⁰.

Суть идеи возникла при изучении ею и Сиднеем тред-юнионов. В написанной в 1897 году книге “Промышленная демократия” они предложили установить общенациональные стандарты здравоохранения и охраны труда. “Национальный минимум” должен был защитить всю рабочую силу страны, за исключением сельскохозяйственных рабочих и домашней прислуги. Наиболее радикальным предложением было введение общенациональной минимальной заработной платы. Отмечая, что “в отсутствие регулирования конкуренция между разными родами занятости ведет к созданию и сохранению в определенных профессиях условий найма, которые являются разрушительными для нации в целом”, они настаивали, что установление государством нижнего порога для зарплат и условий труда не является, вопреки утверждениям Маркса

и Милля, принципиально несовместимым с неограниченным ростом производительности труда, от которого зависит повышение реальных зарплат и уровня жизни¹⁷¹. На самом деле, доказывали они, затраты предпринимателей на соблюдение подобных ограничений с лихвой компенсируются за счет сокращения числа несчастных случаев на производстве и повышения эффективности работников, которые лучше питаются и меньше утомляются. Однако им пришлось признать, что власть государства над частными предприятиями простиралась дальше, чем хотелось бы лидерам тред-юнионов, которые требовали в основном свободного обсуждения повышения зарплат и улучшения условий труда.

Более амбициозные идеи по созданию “новой формы государства” завладели Беатрисой лишь почти десять лет спустя. В конце 1905 года, в последние дни правительства консерваторов, во главе которого стоял Бальфур, ее включили в состав королевской комиссии по реформе Законов о бедных. Комиссия продолжала работать в течение трех лет уже при новом правительстве либералов. С самого начала Уэбб конфликтовала с другими членами комиссии. Опираясь на положение Альфреда Маршалла о том, что “причиной бедности является бедность”, она определяла проблему в абсолютных, а не в относительных терминах. Неравенство, а потому и бедность — в смысле обладания меньшим, чем другие — неизбежны, рассуждала она, но нищета, “то есть условия, при которых отсутствуют жизненно необходимые вещи, так что здоровье, силы и способность к выживанию ослабляются настолько, что сама жизнь подвергается опасности”, неизбежной не является¹⁷². Устранение нищеты помешает бедности одного поколения автоматически передаваться следующему.

После проведенных в Ист-Энде дней она могла со знанием дела говорить о семьях, в которых “то один, то другой почти постоянно страдает то от язв, то от несварения желудка, то от головных болей, ревматизма, бронхита, периодически переходящих в какую-то более серьезную болезнь или приво-

дящих к преждевременной смерти”; о семьях, где у отца семейства нет работы, “что означает нехватку еды, одежды, топлива и нормальных жилищных условий”, или о тех, кто не может работать: вдовах с маленькими детьми, стариках и безумных¹⁷³.

Уэбб отрицала тезис о том, что нужда всегда обусловлена каким-то моральным изъяном. Взамен она приводила список из пяти причин, которые примерно соответствовали основным группам обездоленных: больные, вдовы с маленькими детьми, старики и люди, страдающие различными психическими заболеваниями — от пониженного уровня интеллекта до помешательства. Наибольшее беспокойство вызывали трудоспособные бедняки. Их несчастья, утверждала Беатриса, являются результатом безработицы или хронической частичной занятости.

При этом она подчеркивала, что острая необходимость устранить нищету вытекает “не из ухудшения ситуации, а из постоянного повышения стандартов во всех сферах организации общества”, подразумевая под этим и то, что рабочий класс получил право голоса, и то, что Германия — основной конкурент Британии на международной арене — приняла ряд мер по социальному обеспечению¹⁷⁴.

Основным недостатком тогдашней политики Британии было то, что помощь предоставлялась только тем, кого бедственное положение вынуждало за ней обращаться, но для того, чтобы предотвратить возникновение нищих и иждивенцев, ничего не делалось. Как выразилась Беатриса, “все мероприятия, связанные с Законом о бедных, направлены на облегчение жизни выжатого как лимон рабочего, но не на то, чтобы уничтожить потогонные системы”, “спасти людей от потери работы, защитить от подступающей болезни... [прекратить] увечья и гибель в результате несчастных случаев на производстве, потерю здоровья из-за антисанитарных жилищных условий проживания или предотвратимых профессиональных заболеваний”¹⁷⁵.

Она хотела, чтобы государство как можно меньше занималось распределением пособий, переключившись на устранение причин бедности. “Суть профилактической политики в том, чтобы в каждом случае предоставлять не пособие, а необходимую поддержку, причем именно ту поддержку, которая нужна конкретным людям”¹⁷⁶. Она не задавалась вопросом, знают ли правительство или его эксперты, как лечить “болезни современной жизни”, и не беспокоилась о цене такого лечения. Ее представление о государстве-попечителе, которое занимается профилактикой нищеты, а не просто помощью нищим, неизбежно вступало в противоречие с менее радикальными планами других членов комиссии. В итоге она, как и собиралась, отказалась подписать отчет комиссии. Вместо этого они с Сиднеем потратили первые девять месяцев 1908 года, излагая ее идеи в тексте под названием “Особое мнение”, который она убедила подписать еще трех членов комиссии. В их “великом коллективном документе”, как она его называла¹⁷⁷, описывалась единая система от колыбели до могилы, призванная “обеспечить общенациональный минимум цивилизованной жизни... доступный в равной степени всем, независимо от пола и классовой принадлежности, под которым мы понимаем достаточное питание и образование для молодых, прожиточный минимум заработной платы в трудоспособном возрасте, лечение для больных и скромные, но надежные средства существования для немощных и старых”¹⁷⁸.

Уэбб сознавала, что эта идея будет воспринята другими реформаторами как утопическая и что она сводится к отказу от традиционного правительства с ограниченными функциями. Она полагала, что государство-попечитель — в отличие от социалистического государства — прекрасно сочетается со свободным рынком и демократией. Она описывала государство всеобщего благосостояния просто как следующую стадию естественной эволюции либерального государства. И тем не менее сама мысль, что обеспечение прожиточного

уровня граждан является обязанностью государства и что государство должно гарантировать минимальный прожиточный уровень каждому, кто не способен позаботиться о себе сам, была не просто отступлением от спенсеровского идеала минимального государства. Идея Беатрисы полностью порывала с традиционным либерализмом Гладстона, который обещал равенство возможностей, но достижение результатов представлял гражданам и рынку, — и радикальнее ее в то время были только фантазии социалистических фанатиков.

“Это может произвести такой же переворот в социологии и политологии, какой произвело “Происхождение видов” Дарвина в философии и естествознании, — писал ее друг Бернард Шоу в своей рецензии на “Особое мнение”. — Это грандиозно и революционно, здраво и практично одновременно — ровно то, что нужно, чтобы вдохновить и привлечь новое поколение”. И далее: “Его [рабочего человека] право на жизнь и право общества на поддержание его здорового и дееспособного существования рассматриваются совершенно независимо от его коммерческой выгоды для какого-либо частного предпринимателя”. Таким образом, задача выходила далеко за рамки простого повышения производительности труда и заработной платы, о котором говорил Маршалл. “Рабочий является клеткой общественного организма, и забота о его здоровье необходима, если мы хотим, чтобы был здоров весь организм”¹⁷⁹.

Многие люди могли бы считаться авторами таких концепций, как минимальная заработная плата, минимальные стандарты в области права на отдых, охраны труда и здоровья всех рабочих, всеобщая страховая защита, бюро по трудоустройству, борьба с циклической безработицей с помощью форсирования крупных правительственных проектов. Многие не только предполагали, что все условия, порождающие хроническую бедность или более острую ее форму, которую Уэбб называла нищетой, не только можно предотвратить, но и были убеждены, что их предотвращение является обязанностью го-

сударства и для выполнения этой обязанности государство должно получить новые возможности. Но никто не излагал эти идеи так четко, систематизированно, никто не высказывал их непосредственно “искателям практических предложений”, как называла Беатриса политиков. И никто не подобрал формулировки, которые описывали бы революционные изменения как эволюционные и даже неизбежные.

У Беатрисы был дар представлять радикальные изменения как эволюционные. Однако даже она была изумлена тем, что идеи, которые в 1890-е годы казались им с Сиднеем утопичными, всего десять лет спустя уже выглядели осуществимыми или по крайней мере политически приемлемыми. Оглядываясь годы спустя на “Промышленную демократию”, она с определенным удовлетворением отмечала: “Фактически все, что характеризовало социальную историю текущего века — как в управлении, так и в законодательстве, — было непризнанной и часто весьма незначительной адаптацией идеи общенационального минимума, сформулированной в этой книге”¹⁸⁰.

Год 1908-й стал переломным для нового либерального правительства. Как отмечала Беатриса в своем дневнике, в условиях роста безработицы и воинственности тред-юнионов, наличия преобладающего большинства либералов в парламенте и превращения “социальной проблемы” в основной вопрос политической повестки дня, началась “судорожная погоня за новыми конструктивными идеями”. Акции Уэббов росли в цене. “К счастью, именно сейчас мы можем предложить множество хороших [идей], отсюда большой интерес к нашему обществу, — радостно продолжает Беатриса. — Каждый встреченный политик жаждет “наставлений”. Это смотрится довольно забавно. Будь то консерваторы, либералы или лейбористы — все стали искателями практических предложений”¹⁸¹. Это был прекрасный повод для транжирства, решила она и заказала себе новое вечернее платье.

“Уинстон овладел схемой Уэббов”, — ликовала Беатриса в октябре 1908 года, отметив, что они “возобновили знакомство”. Откликнувшись на ее вызов, Черчилль теперь получил в дневнике Беатрисы такую характеристику: “блестяще одаренный деятель — не просто краснобай”¹⁸².

В первые два года либерального правительства Герберта Генри Асквита реформы Черчилля не выходили далеко за пределы риторики. Несмотря на оглушительную победу на выборах 1906 года, либералы сумели реализовать лишь ничтожную часть своей программы, не считая восстановления некоторых защитных мер для тред-юнионов. Перелом наступил в апреле 1908 года, когда тридцатитрехлетний Черчилль сменил Дэвида Ллойд Джорджа на посту министра торговли. Беатриса нашла эту кабинетную перестановку “восхитительной”¹⁸³. Пост, объединявший в себе многие функции американских министерств труда и торговли, подразумевал целый ворох обязанностей: регистрацию патентов, регламентацию деятельности компаний, торговое судоходство, железные дороги, решение трудовых споров и консультирование министерства иностранных дел по торговым вопросам. Короче говоря, как отмечал биограф Ллойд Джорджа, обязанностью министра торговли было обеспечение “правильного и размеренного функционирования капитализма”¹⁸⁴. Но Черчилль использовал свою должность для проведения радикальных социальных реформ. Вот тогдашний комментарий одного из его друзей: “Он полон мыслей о бедных, которых он только что обнаружил. Он думает, что послан Провидением, чтобы что-то для них сделать. “Во имя чего я был столько раз спасен от верной смерти, если не для того, чтобы сделать что-то для них?”¹⁸⁵.

На следующие два года Черчилль и Ллойд Джордж, ставший канцлером казначейства, образовали союз, который раз и навсегда положил конец “старой гладстоновской традиции уделять основное внимание политическим аспектам либерализма, оставляя “положение народа” на произвол судьбы”¹⁸⁶. Новый министр торговли, не дожидаясь приведения к при-

сяге, потратил ночь на составление длинного письма премьер-министру с изложением своих личных политических пожеланий. После кратчайшего витиеватого вступления: “Сквозь мглу своего невежества я смутно вижу абрис политики, которую я называю “минимальный стандарт”¹⁸⁷, — Черчилль описал этот минимум как совокупность пяти составляющих, перечисленных им в порядке убывания законодательных приоритетов: страхование от безработицы, страхование от нетрудоспособности, обязательное обучение до семнадцати лет, общественные работы по строительству дорог или лесоразведению взамен пособия по бедности и национализация железных дорог.

Рецессия, последовавшая за паникой 1907 года, показала, что откладывать реализацию предложений Черчилля больше невозможно. Безработица среди членов тред-юнионов, составлявшая в конце 1907-го 5%, в течение года удвоилась. Альфред Маршалл показал, что рост безработицы обычно вызывается снижением деловой активности. Теперь Беатриса продемонстрировала, что безработица, в свою очередь, является основной причиной бедности. Однако по поводу того, должно ли правительство вмешаться и может ли оно это сделать, не было единого мнения. Черчилль хотел бросить вызов здравому смыслу. Зная, что его предложения намного смелее того, что было на уме у премьер-министра Асквита, он убеждал либеральное правительство последовать примеру Германии и ввести страхование от безработицы и на случай болезни: “Я предлагаю подложить под нашу промышленную систему некую прокладку в духе Бисмарка и с чистой совестью ждать возможных последствий”¹⁸⁸. Он “определенно вносит свой вклад в конструктивные действия государства”¹⁸⁹, радовалась Беатриса, приходя к выводу, что “Ллойд Джордж и Уинстон Черчилль — лучшие среди либералов”¹⁹⁰. Она ценила способность Черчилля “быстро схватывать и незамедлительно реализовывать новые идеи, едва ли вникая в их философское обоснование”¹⁹¹.

В итоге все усилия либералов по проведению реформы были сосредоточены на борьбе против вето, наложенного палатой лордов. Примечательно, какую существенную часть изменений удалось все-таки провести в жизнь, отмечает Уильям Манчестер: “До прихода к власти Черчилля и Ллойд Джорджа все попытки законодательно обеспечить пособие несчастным проваливались”¹⁹².

Уэбб проиграла битву за социальное страхование, которое обошлось бы гораздо дешевле, чем предоставление услуг государством. Но в конечном счете она выиграла войну за государство всеобщего благосостояния. Они с Сиднеем обосновали “принятие государством ответственности за все растущее число услуг, предоставляемых растущим классом экспертов и поддерживаемых расширенным государственным аппаратом”¹⁹³. “Особое мнение” стало одним из первых описаний современного государства всеобщего благосостояния. Лорд Уильям Беверидж, автор плана Бевериджа 1942 года, который собирал материалы для “Особого мнения”, позднее признавал, что его проект послевоенного британского государства всеобщего благосостояния “опирался на то, что все мы впитали от Уэббов”¹⁹⁴.

Глава IV

ЗОЛОТОЙ КРЕСТ

ФИШЕР И ДЕНЕЖНАЯ ИЛЛЮЗИЯ

Ох уж эти милые люди — все время у них новые эксперименты и все на полном серьезе; и к себе они относятся так серьезно — верят, что становятся все лучше и лучше, все мудрее и мудрее, убеждены, что становятся все богаче и богаче — с каждым годом, с каждым месяцем, с каждым днем... Ох! Все прекрасно, миссис Уэбб, все прекрасно.

Г. Морс Стивенс¹

“В Америку... а ведь могли бы поехать в Россию, Индию или Китай. Что за вкус!” — фыркал знакомый тори, когда Беатриса и Сидней весной 1898 года объявили о том, что едут в Нью-Йорк². Как явствует из этого упрека, Уэббы путешествовали не как туристы, а как исследователи общества. Тем не менее Беатриса отправилась по магазинам, скупая “шелк и атлас, перчатки, белье, меха и вообще все, что может понадобится удраномыслящей сорокалетней женщине, которая хочет внушить американцам и жителям колоний настоящее уважение к усовершенствованиям коллективизма”³. Если уж она собиралась проехать по социальной лаборатории мира, то должна была ослепить аборигенов.

Книга “Американизация мира” была опубликована и стала бестселлером лишь пару лет спустя, но Уэббы, безусловно, были знакомы со взглядами ее автора Уильяма Стета, редактора “Пэлл-Мэлл газет”. Стед был убежден, что экономическое будущее Британии связано с ее бывшей колонией. Экономике двух стран были переплетены больше, чем в XVIII веке, когда Америка была британским доминионом, или в 1860-е, когда во время Гражданской войны в Америке организованная северянами блокада южных портов привела к страшному “хлопковому голоду” в Ланкашире. В последнюю четверть XIX века, несмотря на преференции в пользу империи, Британия импортировала больше сырья из США, чем из собственных колоний⁴. Термин “американское нашествие” был изобретен британскими журналистами за полвека до того, как французы возродили его в 1960-е⁵.

В 1902 году одна из лондонских газет сокрушенно констатировала:

Средний гражданин просыпается от звука американского будильника, встает со своей постели, застланной бельем из Новой Англии, бреется с помощью безопасной бритвы янки и нью-йоркского мыла. Он надевает сделанные в Бостоне ботинки поверх носков из Западной Каролины, прикрепляет к брюкам подтяжки из Коннектикута, кладет в карман часы “Уотербери” и садится завтракать... Позавтракав, он выбегает на улицу, садится в изготовленный в Нью-Йорке трамвай, который везет его до Шепердс-Буш, а там сделанный янки лифт поднимает его до смонтированной американцами железной дороги, которая везет его в деловой центр. В его рабочем кабинете все, разумеется, американское. Он сидит на шарнирном стуле из Небраски перед мичиганским конторским столом, пишет письма на сиракузской пишущей машинке, подписывает их нью-йоркской авторучкой и промокает промокашкой из Новой Англии. Копии писем сохраняются в папках, сделанных в городе Гранд-Рапидс⁶.

Либеральный премьер-министр Уильям Гладстон задолго до этого предупредил, что Соединенные Штаты неизбежно отнимут у Британии экономическое господство. “Несмотря на наше стремительное развитие, — писал он в 1878 году, — Америка обгоняет нас уверенной рысцой”⁷. В 1870 году валовый внутренний продукт в расчете на одного жителя — излюбленный инструмент для сравнения среднего уровня жизни — в Британии был на 25% выше, чем в США. Но в течение следующих тридцати лет самый важный показатель производительной мощности страны и ключевой фактор среднего уровня заработной платы — ВВП в расчете на одного работника — в Соединенных Штатах рос почти вдвое быстрее⁸. Одной из причин было то, что британцы ежегодно инвестировали в Америке больше половины своих годовых сбережений — больше чем на родине и во много раз больше, чем в соседних европейских странах⁹. Прибыль от этих инвестиций в каждый конкретный год прибавлялась к национальному доходу Британии, а сами инвестиции позволяли американским компаниям проводить модернизацию. Кроме того, более половины британских эмигрантов (среди ирландцев эта доля была еще выше) направлялись в Америку — за тридцать лет в США выехало почти 8 миллионов мужчин, женщин и детей. А вот Канада привлекала менее 15% британских эмигрантов, несмотря на то что культура этой страны имела более выраженный “английский оттенок”¹⁰. В 1890-е годы средние доходы и уровни жизни в Британии и США сравнялись, что побудило британского премьер-министра Гладстона указать на эти страны как на “важнейший, первый в истории человечества пример свободных институтов в гигантских масштабах”¹¹.

Скорость превращения США из преимущественно сельской, аграрной страны в страну в основном промышленную, урбанизированную, ставшую символом экономического успеха, поражала современников. Во время поездки Альфреда Маршалла по Америке в 1875 году основными источниками

ее дохода были сельское хозяйство и — в меньшей степени — горнодобывающая промышленность. К моменту приезда Уэббов заработная плата и доход в промышленности в три раза превышали заработную плату и доход в сельском хозяйстве. За двадцать лет до 1900 года годовой доход крупнейших американских отраслей промышленности увеличился в четыре раза. Доходы от печати и издательской деятельности выросли в пять раз, от машиностроения и производства солодового виски — в четыре, от металлургической и сталелитейной промышленности и производства мужской одежды — в три. Электрификация, рефрижерация, новый способ изготовления сигарет, фрезерные станки, дистилляционное и другое оборудование, совершенно новые отрасли, основанные на переработке нефти и угля, расширение сети железных дорог, телеграфная связь практически со всеми населенными пунктами произвели революцию в масштабах, структуре и охвате американских фирм. Возникли такие компании, как “Ремингтон” (1816), “Зингер” (1851), “Стандарт ойл” (1870), “Даймонд матч” (1881) и “Американ тобакко” (1890). Пришла эра массового распространения, массового производства и научного подхода к управлению, короче говоря, эра большого бизнеса¹².

Беатрису и Сиднея, впрочем, больше интересовал американский государственный механизм, чем функционирование американского бизнеса. Свою первую остановку они сделали в Вашингтоне, и это был неудачный выбор, поскольку столица находилась во власти военной лихорадки. Восстание на Кубе, его подавление Испанией и гибель американского броненосца “Мэн” на рейде Гаваны, в которой обвинили Испанию, спровоцировали мощные массовые выступления в поддержку военного вмешательства. Милитаристские настроения победили сопротивление деловых и религиозных лидеров и республиканского президента Уильяма Маккинли. Беатриса и Сидней в числе более чем тысячи зрителей сидели на гостевой галерее палаты представителей, когда президент Маккинли объявил, что изменил свое решение.

Палата представителей ужаснула Беатрису, а Сенат оставил ее равнодушной. Заместитель министра военно-морских сил Тебди Рузвельт, который был ведущим пропагандистом войны, понравился ей больше. Его рассказы о жизни на ранчо на западе страны показались ей “очаровательно колоритными”, хотя она и была разочарована тем, что во время обеда он большую часть времени “извергал проклятья и угрозы” и казался абсолютно равнодушным к местному самоуправлению — теме их с Сиднеем очередной книги¹³.

Нью-Йорк произвел на Беатрису не лучшее впечатление:

Шум, шум, ничего кроме шума... Этот город вызывает расстройство чувств, уши гложут, в глазах резь от непрерывного мелькания, нервы и мышцы дергает и трясет в трамваях; на железной дороге — будь то обычный вагон или пульмановский — вы ни на минуту не остаетесь в одиночестве, двери распахивают и захлопывают, пассажиры вскакивают и выскакивают, мальчишки с газетами, сладями, фруктами, напитками вереницей проносятся мимо, вынуждая вас либо посмотреть на их товар, либо грубо отвергнуть его, кондукторы открывают и закрывают окна, включают и выключают газовые лампы, звонок поезда звенит непрерывно, а время от времени паровой свисток (больше похожий на сирену маяка, чем на свисток) диким ревом предупреждает о приближении поезда¹⁴.

Она не разделяла любовь Маршалла и американцев к технике и порождаемой ею мобильности. Не только поезда и небоскребы, но и “превосходно сконструированные телефоны, квалифицированные стенографисты, скоростные лифты, всевозможные электрические сигналы” оставили ее равнодушной. Она была вынуждена признать “пронизавшие и пропитавшие нас насквозь организационные способности американцев”, но объяснила их тем, что американцы считают “единственной движущей силой стремление к материальной выгоде”.

Она быстро пришла к выводу, что самым серьезным изъяном национального характера является малый объем внимания (“нетерпеливость”), и полагала, что высокая скорость передвижения, связи, американской жизни в целом — “шум, суматоха, грохот и суета” — является пустой тратой энергии. “Все это преклонение перед механическими изобретениями кажется нам признаком нежелания американцев что-либо планировать заранее”, — писала она¹⁵. В отличие от Маршалла она не связывала “нервную энергию” со стремлением управлять, организовывать и доводить дело до конца, а любовь к риску — с нововведениями и социальной мобильностью.

Когда несколько недель спустя Беатриса и Сидней отправились на запад, их первая остановка была в Питтсбурге. В компании “Карнеги стил”, “огромной машине по производству богатства”, которая в итоге стала “Ю.С. Стил”, ее поразило, до какой степени техника вытеснила ручной труд. Генри Клей Фрик провел для Беатрисы экскурсию по сталелитейному комбинату в Гомстеде, Пенсильвания. Он рассказал ей, что “Карнеги стил” всего за несколько лет увеличила объем продукции в три раза, уменьшив число сотрудников с 3400 до 3000. Она описывала “акры цехов, заполненных мощнейшим и самым современным оборудованием. Людей там, казалось, не было совсем. Огромные механизмы, краны и печи грохотали и пытели без видимого участия людей. И только время от времени внутри маленькой кабины, болтавшейся между полом и крышей ангара, можно было заметить человека, управлявшего каким-нибудь электрическим агрегатом, который приводил в движение и направлял миллионы лошадиных сил... Мы поняли, что за последние десять лет были достигнуты грандиозные технические успехи, позволявшие экономить человеческий труд, в основном за счет использования электроэнергии для работы новых автоматизированных устройств. “Передвижные тележки”, которые заменяли ручную доставку стальных заготовок к прокатному стану и готовых изделий от него; автоматические устройства, которые по-

зволяли одному человеку с помощью рычага открывать дверцу печи и выливать расплавленную сталь на тележку; и автоматическая загрузка самих печей стальным скрапом с платформ выполнялась тоже одним человеком — все это было внедрено за последние шесть лет”.

Феноменальный успех “Карнеги” она пронизательно объясняла не столько “механическими изобретениями”, которые были доступны сталелитейным предприятиям по всему миру, сколько превосходным управлением и организацией. Она отметила, что все владельцы были членами частной фирмы, проявлявшей “щедрость по отношению ко всем работникам умственного труда” — им предоставлялись “прекрасные дома... экскурсионные поездки в Европу и многочисленные льготы”¹⁶.

Сам город, наоборот, был “сущим адом... который сочетал дым и грязь худшей части “Черной страны”^{*} с отвратительной канализацией самого затрапезного итальянского городка. Забытые Богом жители... многоквартирные дома, прижатые друг к другу задними сторонами, — ужасные деревянные постройки, втиснутые между 20-этажными офисными зданиями, улицы узкие и забитые электропоездами, несущимися со скоростью 20 миль в час — настоящая преисподняя в сочетании с самой коррумпированной из всех коррумпированных американских администраций”¹⁷.

Она увидела то, о чем еще до приезда ее предупреждал Чарльз Филипп Тревельян: Эндрю Карнеги, которого она называла “рептилией”, и другие питтсбургские магнаты могли “создать пару парков и что-нибудь еще вроде бесплатной библиотеки”, но в остальном предоставили город “полностью самому себе”¹⁸.

^{*} *Черная страна* — район каменноугольной и железоделательной промышленности с центром в Бирмингеме.

После Питтсбурга Беатриса пронеслась через Чикаго, Денвер, Солт-Лейк-Сити и Сан-Франциско. Когда она плыла к Гавайям по пути в Новую Зеландию и Австралию, то уже была убеждена, что остальному миру практически нечему учиться на примере американского социального эксперимента.

Перед отъездом из Нью-Йорка Беатриса встретила с несколькими преподавателями и экономистами. За исключением Вудро Вильсона, который впоследствии стал президентом Принстонского университета и 28-м президентом США, американские ученые произвели на нее неблагоприятное впечатление. После обеда в Колумбийском университете она сравнила одного преподавателя экономики со “старшим учителем начальной школы” и описывала университетский городок как “нечто среднее между больницей и Лондонским политехникумом”. Йель был не более чем “небольшим милым традиционным университетом”. Об экономисте, который впоследствии получил известность как автор антитрестовского Закона Шермана, она неодобрительно писала, что “по виду, манерам и речи приняла бы его за предприимчивого управляющего магазином из какого-нибудь западного города”¹⁹.



Ирвинга Фишера, нового преподавателя факультета экономики в Йеле, никак нельзя было назвать заурядным или скучным. В его глазах светился ум, у него было спортивное телосложение, крепкое рукопожатие, юношески прекрасное лицо. Этот тридцатилетний человек был единственным американским экономистом, которого Кембридж, остальная часть Англии и Европа принимали всерьез. Альфред Маршалл и Леон Вальрас, французский экономист-математик, считали его гением²⁰.

Названный в честь Вашингтона Ирвинга, автора “Легенды о Сонной лощине”, Фишер родился в Согертисе, небольшом

поселке в долине реки Гудзон, в штате Нью-Йорк, через два года после окончания Гражданской войны. Его дед был фермером. Его отец Джордж Фишер — добродетельным евангелическим священником. А мать Элла Фишер, бывшая ученица Джорджа, — волевой набожной девушкой. Когда Ирвингу был год, его отцу, который незадолго до этого закончил Йельскую богословскую школу, была предложена кафедра в городе Пис-Дейл, штат Род-Айленд.

Пис-Дейл был уменьшенным и более живописным вариантом вымышленного фабричного городка Новой Англии, описанного Генри Джеймсом в романе “Послы”. Подобно массачусетскому Вуллету, городок, где Ирвинг Фишер провел свое детство, был процветающим, патриархальным и пропитанным евангелизмом городком Новой Англии. Выдающимся гражданином и благодетелем города был Роуланд Хазард, кванкер, унаследовавший шерстопрядильные фабрики своего отца и основавший химическую компанию. Хазард считался прогрессивным работодателем — он ввел систему разделения прибыли со своими сотрудниками, а передав управление делами своим сыновьям, преобразился в политического реформатора. Одна из его дочерей, Каролина, в конце концов стала президентом колледжа Уэллсли*. Хазард построил конгрегационалистскую церковь и пригласил Джорджа Фишера стать ее первым пастором. Благодаря покровительству Хазарда Ирвинг рос в просторном доме священника с видом на Атлантический океан, среди “простых отношений” и “честных душ”²¹.

Когда Ирвингу было тринадцать, его отец внезапно покинул семью и паству, отправившись в годичную поездку по Европе, где посещал знаменитые университеты и города с соборами. Вернувшись, неугомонный пастор с большим рвением стал бороться за всеобщую трезвость, что вызвало серьезные разногласия в его приходе. Потеряв поддержку паствы, он по-

Колледж Уэллсли — престижный частный гуманитарный колледж высшей ступени для женщин в пригороде Бостона г. Уэллсли, шт. Массачусетс.

дал в отставку и переехал в тесную квартирку в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, где Ирвинга записали в муниципальную школу. В течение двух лет семья Фишеров жила на средства родственников.

Затем Джордж Фишер нашел для себя новый приход — в 1200 милях, на границе Миссури и Канзаса. Миссури, как писал Альфред Маршалл в 1875 году, был “полон болот, негров, ирландцев, малярии, роскошных диких цветов и обширных кукурузных полей”, а Сент-Луис был на редкость “нездоровым городом”²². Но ни жара, ни влажность не могли остановить волны мигрантов с востока, которых привлекали растущие цены на пшеницу и повышающаяся ценность земли. Камерон, штат Миссури, представлял собой скопище железнодорожных грузовых станций, складов, загонов для скота в сочетании с несколькими широкими улицами, окаймленными высокими домами, и доброй дюжиной церквей. Когда осенью 1883 года Джордж Фишер уезжал из Нью-Хейвена, он рассчитывал позвать к себе жену и младшего сына следующей весной. Ирвинг, которому к тому времени исполнилось шестнадцать, поехал с отцом до Сент-Луиса, чтобы поселиться там у сестры Джорджа и ее мужа, профессора Вашингтонского университета. Фишер устроил своего сына в выпускной класс элитной конгрегионалистской подготовительной школы. Он страстно мечтал, чтобы его талантливый первенец поступил в Йель и получил там богословское образование.

Когда Джордж Фишер продолжил свое путешествие, отец с сыном расстались всего второй раз в жизни. Они собирались ехать друг к другу в гости, но расстояние между Камероном и Сент-Луисом — около трехсот миль — оказалось слишком большим, чтобы преодолеть его в мороз, снег и гололед. К концу первой зимы в Камероне Джордж Фишер стал жаловаться на странную вялость, постоянную лихорадку и упадок духа. Быстро выяснилось, что это были классические симптомы туберкулеза. В мае Джордж, который к тому времени был уже очень болен, отправился в долгий обратный путь — на восток.

В Нью-Джерси жил другой его зять, врач, приютивший жену и младшего сына, а теперь взявший на себя уход за умирающим. Ирвинг остался на месте. Джордж Фишер настоял на том, чтобы сын закончил школу в Сент-Луисе и сдал вступительные экзамены. В июле 1884 года Ирвинг, закончив школу с отличием и выиграв стипендию в Йель, приехал к родителям и младшему брату, но состояние отца уже было безнадежным. После его смерти семнадцатилетний Ирвинг, его мать и десятилетний брат остались без средств к существованию.

Горе Фишера усугублялось разочарованием от того, что ему почти наверняка придется отложить обучение в университете или совсем от него отказаться. Единственное, что пришло ему в голову, — это вернуться в Миссури и попроситься на работу на ферму семьи своего одноклассника, где он работал прошлым летом.

Неожиданно оказалось, что отец оставил у друга в Писдейле наследство в размере 500 долларов на обучение Ирвинга. Фишер поселился с матерью и братом в трехкомнатной квартире возле Йеля, так что его мать могла сдавать вторую спальню другому студенту, а сам Ирвинг мог работать репетитором. В сочетании со стипендией и наследством отца это позволило ему поступить в Йель осенью 1884-го, как и планировалось.

Дж. Уиллард Гиббс, один из “великих людей” Йеля, отмечал, что если массы собираются управлять миром, им понадобится серьезное образование. В то время лишь немногие профессии требовали университетского образования, и только 1–2 процента молодых людей могли позволить себе на четыре года отказаться от зарплаты. Однако к 1880-м годам все больше юношей из маленьких американских городков, “стремясь избавиться от детского комплекса неполноценности”, начинали смотреть на колледж как на заманчивый выход из положения. В условиях новой промышленной и городской экономики

Америки число вакансий для инженеров, бухгалтеров, юристов и учителей, не говоря уже об управляющих в новых корпорациях, росло с такой скоростью, что эти профессии давали реальные шансы достичь успеха быстрее, чем традиционный “изматывающий путь наживания денег” — долгий, трудный и ненадежный²³.

Большинство студентов Йеля происходило из обеспеченных семей, так что богатство само по себе не повышало здесь социальный статус — большая удача для бедного, но амбициозного юноши вроде Фишера. Чтобы стать популярным и знаменитым, нужно было продемонстрировать спортивные или ораторские успехи, показать себя умелым спорщиком, умным человеком или даже ученым. Фишер выступал за команду колледжа по гребле, поразил преподавателей на открытом экзамене по ораторскому мастерству, выиграл престижные призы по математике и другим предметам и занял первое место в своем выпуске, состоявшем из 124 человек²⁴. А кульминацией студенческой карьеры стал прием в члены элитного тайного общества “Череп и кости”.

Поэтесса Мюриэл Рукайзер в написанной ею биографии Гиббса отмечает, что в Америке тогда наступила “эпоха молодых наук”²⁵. В 1880-е в Соединенных Штатах произошел взрыв научной активности и повсеместный рост интереса к науке. Всем были известны имена Чарльза Дарвина, Герберта Спенсера и Альфреда Рассела Уоллеса, независимо от Дарвина открывшего эволюцию посредством естественного отбора; быстро увеличивалось число зоопарков и музеев естествознания; возник жанр научной фантастики. В книге Эдварда Беллами “Взгляд назад: 2000—1887”, которая переносила читателей в Бостон 2000 года, описывался золотой век фонографов, кредитных карточек и радио²⁶. Новые профессиональные общества, научные издания и лаборатории росли как грибы после дождя, а университеты переносили упор с классического обучения на подготовку научных и технических специалистов. Бруклинский мост, введенный в строй во время обучения Фишера

и выпускном классе, стал символом того, как наука может преобразовать общество. Развитие огромных компаний, рост капиталов предпринимателей, роль железных дорог в экономическом развитии — все это стимулировало интерес к поиску новых “инструментов управления”²⁷. Все большее количество людей воспринимали науку как средство достижения богатства и одновременно как механизм устранения социального зла в виде бедности, болезней и невежества.

Гиббс был физиком, химиком и математиком; он первым применил второй закон термодинамики к химии. По его словам, задача ученого заключается в том, чтобы “найти такую точку зрения, с которой объект видится наиболее простым”²⁸. Он был большим поборником математизации науки. Математика была универсальным языком общения и одновременно инструментом анализа, поэтому она могла помочь всеобщему обмену научными идеями, подобно тому, как латынь веками позволяла ботаникам и анатомам понимать друг друга. На собраниях преподавателей Гиббс почти никогда не выступал. Но однажды, в конце бурного спора о том, можно ли в списке обязательных требований Йеля в отношении классических языков заменить греческий или латынь математикой, он встал, вежливо кашлянул и, выходя из комнаты, пробормотал: “Математика — это язык”²⁹.

К старшему курсу Фишер считал себя математиком, но стремился к большему. “Я хочу знать правду о философии и религии”³⁰. Он отверг мысль о том, чтобы стать священником, как его лучший друг из Сент-Луиса, Уилл Элиот. Он останавливался то на праве, то на железных дорогах, то на государственной службе, то на научной деятельности. “Как много всего хотелось бы сделать! Мне постоянно кажется, что у меня не хватает времени на все, чего хочется. Я хочу много читать, — писал он Элиоту. — Я хочу многое написать. Я хочу зарабатывать деньги”³¹. В итоге Фишер выбрал “науку о богатстве”.

Принято считать, что американская экономика времен “эры прогрессивизма” была совершенно в стороне от британ-

ского поступательного движения к коллективизму и государству всеобщего благосостояния. Утверждается, что помимо нескольких так называемых институционалистов вроде Торстейна Веблена, которые критиковали коммерческое общество, в экономической науке доминировали социал-дарвинисты, которые защищали богатых людей и принцип государственного невмешательства в экономику, ничуть не заботясь о судьбе бедных.

На самом деле все было совсем не так. Практически все основатели Американской экономической ассоциации, получив образование и сформировав свое мировоззрение в Берлине, Геттингене или Мюнхене, разделяли взгляды немецкой “исторической школы”, которая — в отличие от английской экономики — открыто осуждала свободную конкуренцию и отстаивала государство всеобщего благосостояния. Заведующий кафедрой политэкономии в Йельском университете Артур Хедли однажды ехидно охарактеризовал американских экономистов “как многочисленный и влиятельный коллектив, занятый расширением функций правительства”³². Экономический факультет Йеля не был исключением, если не считать его самого одиозного сотрудника Уильяма Грэма Самнера. Предупредив, что современные политические ярлыки — консервативный-либеральный или левый-правый — едва ли применимы к мыслителям XIX века, историк Ричард Хофштадтер однажды задал риторический вопрос, имея в виду Самнера: “был ли за всю историю философской мысли другой настолько прогрессивный консерватор?”³³ Сын английской эмигрантки-разнорабочей и священника Епископальной церкви, Самнер был и политическим экономистом, и первым американским социологом. Строгий и ироничный, с поредевшими седыми волосами, Самнер, когда ему уже было под пятьдесят, самостоятельно выучил “два скандинавских языка, голландский, испанский, португальский, итальянский, русский и польский” и благодаря своим либеральным взглядам превратил Нью-Хейвен “в своего рода социал-дарвинистский приход”. Современники

называли его лекции “догматичными”, манеру “бесстрастной”, а голос “стальным”³⁴. Но его увлеченность предметом и бесстрашное изложение спорных взглядов сделали его самым популярным лектором Йельского университета.

Самнер был большим поклонником Чарльза Дарвина и Герберта Спенсера. Он возражал не только против расширения функций правительства, но и против деятельности большинства частных благотворительных организаций. Его экономика была насквозь мальтузианской, то есть глубоко пессимистичной: подобно Мальтусу, Рикардо и Миллю, он считал все схемы ускорения эволюции общества шарлатанством, глупостью, искажением истины или спекуляцией. Однако, как и те экономисты, которыми он восхищался, он ни в коей мере не защищал статус-кво. Получив образование священника, Самнер был готов точно так же клеймить войну, как и богатство, одинаково защищать бастующие труд-юнионы и право банкира Эндрю Меллона на его миллионы, славить работающих женщин и одновременно — свободную торговлю. Когда президент Йельского университета по теологическим соображениям попытался запретить ему использовать в преподавании книгу Спенсера “Принципы социологии”, Самнер пригрозил отставкой. Примерно в то же время, когда Уэббы совершали свою поездку по Америке, Самнер публично осудил доктрину Монро и испано-американскую войну и привел республиканских выпускников Йеля в такую ярость, что они потребовали его отставки.

Фишер, по словам его сына Ирвинга Нортон Фишера, записывался на все курсы лекций Самнера. Он относился к экономике как математик или как ученый-экспериментатор и однажды в письме к Элиоту назвал себя “твой холодный аналитический математический друг”³⁵. Едва познакомившись — благодаря Самнеру — с азами экономики, он решил, что многого в ней сможет достичь человек, получивший естественнонаучное образование и готовый применить хладнокровный, аналитический, математический подход.

Когда весной 1890 года Фишер советовался с Самнером относительно темы своей диссертации, сам Самнер уже охладел к классической политической экономии и заинтересовался “наукой об обществе”. Кроме того, он увлекся изучением иностранных языков (что не совсем обычно в столь зрелом возрасте) и сбором этнографических данных и хотел поставить социологию на более строгую научную основу. В связи с этим он предложил Фишеру написать диссертацию по математической экономике. Это был новый предмет, выходящий за пределы технических возможностей большинства старых экономистов, включая самого Самнера. Он одолжил Фишеру книгу Уильяма Стэнли Джевонса, одного из пионеров нового метода, в рамках которого математические вычисления использовались для анализа потребительского выбора на основе предельных изменений.

Молодые амбициозные представители гуманитарных наук стремились овладеть естественнонаучными знаниями, чтобы использовать их в качестве специального инструмента для повышения научной строгости в своих отраслях. Психолог и философ Уильям Джеймс, только что вернувшийся из Европы, писал в том же году своему другу: “Мне кажется, что психологии пора перейти в разряд естественных наук”³⁶. Фишер считал математику идеальной всеобщей валютой, обеспечивающей обмен идеями, и его увлекла перспектива укрепления теоретических основ политической экономии по аналогии с тем, как Гиббс укрепил основы химии:

Прежде чем инженер будет готов к постройке Бруклинского моста или к выступлению на нем после его постройки, ему нужно изучить математику, механику, *теорию* натяжения и естественной кривой провисания троса и т.п. Поэтому, прежде чем применять политэкономия к железнодорожным тарифам, решать с ее помощью проблемы трестов или объяснять какие-либо текущие кризисы, лучше всего было бы разработать *теорию* политэкономии в целом³⁷.

Чистые социал-дарвинисты и их оппоненты — социалисты — считали конкуренцию отличительной чертой современной экономики и уподобляли рыночные механизмы законам джунглей. Но Фишера, как и Маршалла, больше интересовал высокий уровень взаимозависимостей и кооперации между экономическими субъектами — семьями, фирмами, правительствами — и разнообразные каналы, с помощью которых различные составляющие вносят свой вклад в конечный результат.

Фишер иногда ездил из Нью-Хейвена в Нью-Йорк и несколько раз посетил тамошнюю биржу. Читая книги, полученные от Самнера, он постоянно возвращался к мыслям об операциях на рынке ценных бумаг. Его поразило, что экономисты явно позаимствовали часть своей терминологии у более древней науки — физики: они говорили о “силах”, “потоках”, “инфляции”, “расширении” и “сокращении”. Однако, насколько ему было известно, никто не пытался построить реальную модель процесса, который приводит к “возникающему на бирже большого города прекрасному и замысловатому равновесию, причины и последствия которого простираются далеко за городские пределы”³⁸.

Маршалл представлял себе современную экономику как “аналитический механизм” и использовал графики для демонстрации влияния внешних факторов на отдельные рынки. Фишер решил построить математическую модель экономики в целом. Он хотел иметь возможность отслеживать, как рынок “вычисляет” цены, уравнивающие спрос и предложение. Будучи практичным янки, он хотел построить модель, которая выдавала бы числовые значения, а не просто математические символы. Едва начав разработку модели, Фишер решил пойти еще дальше и построить физический аналог уравнений в виде гидравлической машины. Такая идея, вероятно, могла прийти в голову только лабораторному экспериментатору, который провел сотни часов за повторением утомительных физических опытов. Фишер попросил прочесть свою рукопись Гиббса, ко-

торый в гораздо большей мере, чем Самнер, мог понять, что он пытается сделать.

В модели Фишера всё зависит от всего. Объем данного товара, который хочет каждый потребитель, зависит от того, сколько он хочет каждого из остальных товаров. Фишер понимал, что его громоздкая конструкция — все эти баки, клапаны, рычаги, противовесы и эксцентрики — “по меньшей мере не идеально” отражает работу биржи в “Нью-Йорке или Чикаго”, но он не собирался за это извиняться. “Идеализация неизбежна в любой науке, — писал он в своей докторской диссертации. — Ни один физик не смог полностью объяснить ни одного факта во Вселенной. Он обеспечивает лишь некоторое приближение. Экономист не может рассчитывать на большее”³⁹.

Удивительное физическое устройство позволяло представить себе элементы, взаимодействие которых устанавливает цены. “Этот механизм можно было использовать и как инструмент для исследования” удаленных и неочевидных взаимосвязей. Например, можно было видеть, как произошедший по каким-то внешним причинам всплеск спроса или предложения на одном из рынков отражается на ценах и объемах производства на десятках взаимосвязанных рынков, меняет прибыль и ассортимент товаров, приобретаемых каждым покупателем. Гидравлическая машина Фишера была предшественницей имитационных прогностических моделей с тысячами уравнений, которые были разработаны в 1960-е годы и использовались при расчетах на громоздких вычислительных машинах того времени и которые сегодня каждый студент может использовать на своем ноутбуке для вычисления ВВП той или иной страны. К сожалению, ни исходная модель Фишера, ни дубликат, созданный в 1925 году, когда оригинал сломался по дороге на выставку, не сохранились.

Свою диссертацию Фишер написал за одно лето, в 1890 году. Его увлеченность математическими методами сказалась в том, что в работу был включен исчерпывающий обзор

приложений и соответствующая библиография. Известный экономист Пол Самуэльсон назвал “Математические исследования теории стоимости и цен” “самой выдающейся из всех диссертаций по экономике”⁴⁰. Когда она была опубликована, журнал “Экономик джорнел”, основанный Альфредом Маршаллом и другими членами только что созданной Британской экономической ассоциации, назвал ее гениальной. Рецензент Фрэнсис Исидро Эджуорт, оксфордский профессор и один из основателей математической экономики, писал: “Доктор Финшер, по нашему мнению, уже заслужил бессмертие, упрочив фундамент теории экономики”⁴¹. Маршалл, который не слишком щедро признавал достижения других ученых, включил в первое издание своих “Принципов” целых три очень лестных ссылки на “Исследования” Фишера, назвав их “выдающимися” и поставив того в один ряд с “глубочайшими мыслителями Германии и Англии”⁴².

Представление Фишера об экономической реальности — особенно его понимание взаимозависимости и взаимной обусловленности — повлияло на его мысли о многих других предметах. Как раз перед получением докторской степени он прочел в Йельском клубе политических наук доклад, предлагая создать международную организацию, в которой будут представлены все страны мира и которая будет заниматься мирным урегулированием международных конфликтов. Согласно историку Барбаре Такмен, этот доклад позднее привел к созданию Лиги поддержания мира, которая, как считается, в свою очередь пробудила интерес президента Вильсона к формированию Лиги наций⁴³.

К 1890-м начавшийся в Америке после Гражданской войны бум в строительстве железных дорог, горной промышленности и освоении земель прекратился, обнажив шаткость финансовых основ многих предприятий. За паникой 1893 года и крахом фондовой биржи последовала тяжелейшая депрессия,

которой не было равных за всю предыдущую историю Америки. Однако в письмах Фишера его другу, Уиллу Элиоту, нет никаких упоминаний об этих катастрофах, как в романах Джейн Остин нет упоминаний о наполеоновских войнах. Возможно, он руководствовался при этом теми же соображениями, что и писательница: его мысли были сосредоточены на любви, ухаживании и браке.

Характерно, что Фишер откладывал возвращение в Пис-Дейл, город счастливого детства, до тех пор пока не смог вернуться в родные места в лавровом венце. Когда он уезжал, ему было тринадцать и он был глубоко несчастен. Когда он вернулся, за ним тянулся шлейф «блестящей карьеры в Йельском университете, лауреата всевозможных наград, лучшего ученика своего выпуска, преподавателя, а теперь и профессора математики»⁴⁴. Перед ним, как перед героем трехчастного викторианского романа, стояла задача завоевать наследницу — или, поскольку дело было в Америке, дочь босса. Все произошло как по воле провидения. Ирвинг едва ли не с первого взгляда влюбился в подругу своего детства Маргарет Хазард, или, как ее называли, Марджи.

У Марджи Хазард было счастливое детство, природа одарила ее невозмутимостью и необычайно добрым нравом. Ее сестра была настоящим интеллектуалом, а Марджи — творческой натурой с материнскими наклонностями. Ее вера в Ирвинга была полной и непоколебимой. Несмотря на то что она была богатой наследницей, а у него не было ни гроша, она считала себя счастливейшей из женщин. Они поженились в июне 1893 года, пригласив на церемонию бракосочетания и последующие празднества все население Пис-Дейла. Обряд совершали три священника, а свадебный торт весил пятьдесят фунтов. Некоторые были возмущены такой неприкрытой демонстрацией роскоши: ведь тогда чуть не каждый день становилось известно об очередном банкротстве или банковской панике. Поэтому было весьма кстати, что жених с невестой ускользнули в Нью-Йорк, сели на океанский

лайнер и отправились в Европу — в свадебное путешествие длиною в год⁴⁵.

“Все образованные американцы рано или поздно едут в Европу”, — кисло отмечал Ральф Уолдо Эмерсон. Богатые отправлялись в обязательное “большое турне” по столицам; люди с интеллектуальными запросами — в “большое турне” по университетам⁴⁶. Изъездив в 1893–1894 годах на поезде всю Англию и континентальную Европу, Фишер смог обменяться идеями практически со всеми видными членами небольшого, хотя и растущего, братства экономистов. Его “небольшая книга.. проложила ему путь” по Европе, обеспечив немедленное членство в международном братстве ученых-экономистов. В Вене Фишер обедал с Карлом Менгером, основателем австрийской экономики. В швейцарской Лозанне — с Леоном Вальрасом. К ним присоединился выдающийся ученик Вальраса — Вильфредо Парето, и его жена шокировала Фишера, закулив за чаем. Он заехал в Оксфорд, чтобы поговорить с немногословным и рассеянным Фрэнсисом Исидро Эджуортом, и совершил путешествие в Кембридж, чтобы отдать дань уважения Альфреду Маршаллу, чьи опубликованные незадолго до этого “Принципы” упрочили его положение ведущего мирового экономиста-теоретика.

Несмотря на интенсивный график поездок, Фишеру хватило времени, чтобы посетить лекции математика Анри Пуанкаре в Париже и немецкого физика Германа Людвиг фон Гельмгольца в Берлине. Когда на севере Европы стало слишком холодно для забеременевшей новобрачной, он нанял другого слушателя конспектировать для него лекции, а сам отвез жену на французскую Ривьеру. Бродя в одиночку по Альпам, он испытал озарение при виде того, как вода, стекая со скал, скапливается в расщелине. “Наблюдая за этим водоемом с его входящим и исходящим потоками, я неожиданно понял, что базовое различие между капиталом и доходом по сути то же, что и различие между водоемом и вытекающим из него по-

током”⁴⁷. После выступления Фишера в Оксфорде Эджуорт сказал Марджи, которая снова присоединилась к мужу: “Профессор Фишер поднимется на большую высоту”⁴⁸.

К тому времени, как Фишер с женой вернулись в новенький, полностью обставленный особняк в Нью-Хейвене, заботливо подготовленный Хазардами, в стране царило уныние. К 1895 году разорилось более пятисот банков. Пятнадцать тысяч компаний объявили о банкротстве. Безработным стал каждый седьмой рабочий⁴⁹. Огнедышащие печи и громады текстильных фабрик были на месте, множество железных дорог было по-прежнему готово к перевозке грузов, прерии все так же золотились пшеницей и кукурузой. Но на фоне этого потенциального изобилия страну охватил голод. “Никогда еще на моей памяти люди не умирали от голода так часто, как в последние несколько месяцев, — говорил преподобный Томас де Витт Талмаге своей пастве. — Вы читали в газетах, как много людей находят мертвыми то там, то тут, и вскрытие показывает, что причиной их смерти стал голод?”⁵⁰

Повсюду царила ненависть к богатым. Джеймс Дж. Хилл, основатель Большой северной железной дороги, писал другу, что “в последнее время народ сосредоточился на социальных проблемах... Десять лет подряд это были “железные дороги, монополии и тресты”, но теперь, похоже, это те, у кого нет ничего, против тех, у кого что-то есть”⁵¹. В тот год на Бродвее поставили мелодраму Чарльза Т. Дейзи “Война богатых”.

Депрессия усугубила давние социальные и политические конфликты. Это не была преимущественно классовая борьба: хотя в 1894 году произошла знаменитая Пульмановская забастовка, в целом число стачек ежегодно снижалось. Столкновения происходили скорее между регионами, между представителями разных отраслей, между малыми и большими компаниями. Шахтеры с серебряных рудников Запада обвиняли Вашингтон в падении цен на металлы. Фермеры

обвиняли ненасытных восточных банкиров и безжалостные железнодорожные монополии в своих долговых проблемах. Это был самый неудовлетворенный электорат. Бум обошел их стороной, а крах приводил в отчаяние. Дешевело все подряд, но при этом цены на пшеницу, кукурузу и сахар падали в среднем в два-три раза быстрее, чем на другие товары. Все, связанные с сельским хозяйством, были по уши в долгах, задавлены высокими процентными ставками и боялись потери права выкупа своих закладных.

Президентская кампания 1896 года превратилась в референдум о направлении экономического развития страны. Действовавший демократический президент Гровер Кливленд был отвергнут собственной партией. Уильям Дженнингс Брайан, тридцатилетний кандидат от демократов, обещал своим западным избирателям, что он “национализирует железные дороги, отменит пошлины и, самое главное, избавит их от финансовой тирании”. Он называл банкиров с Восточного побережья “самой безжалостной и беспринципной шайкой спекулянтов в мире” и “денежными монополистами”⁵². Его оппоненты в ответ называли его анархистом, Бенедиктом Арнольдом*, Антихристом, “высокопарным и слащавым демагогом”⁵³. В результате тщательного отбора кандидатур Джеймсом Дж. Хиллом и другими магнатами его республиканским противником стал Уильям Маккинли.

За шесть недель до выборов, уже успев распять Уолл-стрит на своем золотом кресте**, Брайан — в рамках президентской кампании — отправился в один из бастионов денежной власти.

Бенедикт Арнольд (1741–1801) — генерал-майор, участник войны за независимость США, который сначала сражался в рядах американцев, но впоследствии перешел на сторону Великобритании.

** *Золотой крест* — отсылка к знаменитой “Речи о золотом кресте”, которую Брайан произнес 9 июля 1896 года на съезде демократической партии в Чикаго. Его пламенное обращение к сторонникам золотого стандарта: “Вам не удастся распять человечество на золотом кресте!” — получило широкую известность.

В первый день осеннего семестра “Великий Общинник”^{*} выступил в Йеле перед тысячей студентов и преподавателей университета. Появление на трибуне медведеподобного красавца с вьющимися черными волосами в черной фетровой шляпе и галстуке-ленточке вызвало шквал приветственных и возмущенных возгласов.

“Основным вопросом” выборов 1896 года, объяснил он, является неясный на первый взгляд вопрос о денежном стандарте страны. Брайан говорил низким, слегка охрипшим голосом, яростно выступая против “золотого стандарта, который заставляет голодать всех, кроме меня и владельцев денег”. Выбор золота в законе от 1873 года, запрещавшем свободную чеканку серебряных денег, привел к денежной засухе, более губительной, по его словам, для основной отрасли страны — сельского хозяйства, чем любое стихийное бедствие. “Когда денег мало, они дорожают, — сказал Брайан толпе. — Если деньги дорожают, цена всего остального падает, а падающие цены — это тяжелые времена”⁵⁴.

Согласно Брайану, единственный способ возродить экономику заключался в удешевлении денег, то есть в привязке доллара к более доступному эквиваленту, чем золото, “что позволит стране развиваться”. Он обвинил Маккинли и поддерживавших его “золотых демократов” в упорном стремлении восстановить процветание с помощью разрушительной политики “твердых денег”, которую проводил действовавший президент-демократ. На четвертом году депрессии самого Маккинли и клубы твердых денег, организованные его сторонниками, по-прежнему больше волновали инфляция и лондонский валютный рынок, чем страдания народа. То, что плохо для фермера, плохо для всей Америки, включая малых предпринимателей, специалистов и фабричных рабочих, а также студентов Нью-Хейвена. Если серебряный стандарт разорит

^{*} *Великий Общинник* — прозвище Уильяма Питта Старшего (1708–1778), британского государственного деятеля, блестящего оратора, члена палаты общин. Брайан иронически сравнивается с этим деятелем.

бизнесменов “быстрее, чем это сделал золотой стандарт, то это действительно будет очень плохо, друзья”, говорил Брайан толпе, добавляя, что политическая “партия, которая голосует за золотой стандарт, по существу, голосует за продолжение тяжелых времен”⁵⁵.

При упоминании республиканской партии студенты принялись вопить, свистеть и выкрикивать фамилию Маккинли. Брайан, что было для него нехарактерно, вышел из себя. “Я так привык выступать перед молодыми людьми, которые сами зарабатывают на жизнь, — кричал он, — что с трудом понимаю, на каком языке обращаться к тем, кто хочет получить известность не как создатели богатства, а как распределители богатства, созданного другими”⁵⁶. Некий второкурсник вспоминал следующие слова Брайана, которые тот впоследствии отрицал: “Девяносто девять из ста студентов этого университета — дети богатых бездельников”. Слова “девяносто девять” сработали как стартовый пистолет на соревновании. “Де-вя-но-сто де-вать! Де-вя-но-сто де-вать! Де-вя-но-сто де-вать!” — скандировали девяностодевятники до тех пор, пока разъяренный Брайан не ушел со сцены, оставив храм во власти менял⁵⁷. На следующий день “Нью-Йорк таймс” злорадствовала: “ЙЕЛЬ НЕ СТАЛ СЛУШАТЬ; юный оратор не смог перенести насмешливые аплодисменты и духовой оркестр — он говорил всего двадцать минут и ушел в ярости”⁵⁸.

“Еще ничто, кажется, не вызывало у меня такого *морального* отторжения, как “серебряная мания”, — признавался Ирвинг Фишер в письме к другу Уиллу Элиоту⁵⁹. — Наука об обществе еще очень незрелая, и... пройдет много времени, прежде чем она начнет приносить реальную пользу”⁶⁰.

Незадолго до этого Фишер, в основном из-за желания “держать руку на пульсе современности”, перешел с математического факультета Йельского университета на факультет по-

литической экономии, хотя и считал про себя, что сотрудники этого факультета “слишком самоуверенны” и чересчур убеждены в том, что знают, как исправить несовершенство мира. Он был все так же подтянут и энергичен и поддерживал форму с помощью постоянных занятий бегом, греблей и плаванием. И все-таки время нанесло ему урон: он ослеп на левый глаз (результат несчастного случая во время игры в сквош)⁶¹.

У Фишера было не так много политических убеждений, но он столкнулся с тем, что от него как от преподавателя “ожидают собственного мнения”⁶². Неправильно проведенные реформы могут только усугубить положение, предупреждал он. Самнер высказал серьезные опасения по поводу популистских мер в брошюре с вызывающим названием “Нелепая попытка переделать мир”⁶³. Во время депрессии, последовавшей за паникой 1893 года, Фишер писал своему другу Уиллу:

Что касается социальных реформ, то я считаю, что попытки филантропов провести лечение как можно быстрее могут иметь скорее негативные последствия. Лучшее, что может сделать проповедник, — это противодействовать настроению “нужно что-то делать!” и посоветовать нам терпеливо ждать, пока у нас будет достаточно знаний, чтобы опираться на них в своей деятельности, а до тех пор ограничивать филантропию теми жесткими рамками, в которых она уже доказала свою состоятельность — в основном в части образования... Существует такое количество *конкретных* реформ, которые нужно провести — в городском управлении, борьбе с пороками, образовании, что истинным гуманистам не нужно и не должно говорить о планах по “переустройству общества”, пока не проведены эти “малые” реформы⁶⁴.

Сам Фишер, как оказалось, не последовал своим советам. На собрании Американской экономической ассоциации в ноябре 1895 года, возмущенный легкомысленной готовностью некоторых своих коллег “играть с валютой”, он об-

рушился на аргументы защитников серебра с язвительной критикой. “Если серебро является более дешевым металлом, то результатом биметаллизма должно стать обесценивание валюты... Внедрение системы, основным достоинством которой считается справедливость, нельзя начинать с такой вопиющей несправедливости. Честные люди должны отнестись с ужасом к предложению вернуться к коэффициенту 15½ к одному”. Неудивительно, что это выступление привлекло благосклонное внимание антибрайановских сил. Фишер позволил вовлечь себя в комитет за твердую валюту Нью-Йоркского клуба реформ и в антибрайановскую кампанию⁶⁵.

Тут следует объяснить, как получилось, что именно деньги стали основным вопросом президентской кампании 1896 года. По традиции деньги считались чем-то могущественным, жеманным и с большой вероятностью порочным и таинственным, как природные катастрофы и эпидемии. И христианство, и ислам враждебно относились к ростовщичеству. Финансовые кризисы — от биржевого краха и банковской паники до гиперинфляции — вызывали вспышки народной ненависти к банкирам. И вообще этот предмет был окутан мифами, суевериями и эмоциями.

В последние два десятилетия XIX века обе стороны денег мифологизировали “свой” металл и демонизировали оппонентов. В 1880-е биржевой делец стал расхожим литературным злодеем, а его предшественниками были Нибелунги из оперного цикла Рихарда Вагнера “Кольцо Нибелунга” и Август Мельмот из романа Антони Троллопа “Дороги, которые мы выбираем”. Вот что пишет об этом историк Гарольд Джастис:

В основе бытовавшего в XIX веке представления о мире лежало светское понятие первородного греха. Средство, которое многие мыслители того времени предлагали для

устранения незаконнорожденности системы, практически полностью соответствовало решению Лютера (в светском варианте). Для преодоления последствий этого греха нужна была сильная власть. Естественная общность была разрушена коварной жадностью, но государство может создать свой собственный порядок и свое сообщество и тем самым направить деструктивные силы динамического капитализма в нужное русло. Такая стратегия обеспечивала единственно возможный путь в обход апокалиптического кризиса, предсказанного Марксом, Вагнером и лордом Солсбери⁶⁶.

“Денежный вопрос” всегда волновал американских экономистов больше, чем английских. Однако в значительной степени это было исторической случайностью, вызванной отчасти давнишним подозрительным отношением американцев к федеральной власти, а отчасти принятым во время Гражданской войны решением выпустить неконвертируемые банкноты и двадцать лет спустя начать обменивать их на золото. Еще важнее было то, что банковская и финансовая паника, кризисы и депрессии повторялись с частотой, вызывавшей опасения. Британский финансовый журналист Уолтер Бэджет писал в 1873 году:

Крайне важно отметить, что наша промышленная система подвержена не только хаотическим внешним воздействиям, но и регулярным внутренним изменениям; что эти изменения время от времени делают нашу кредитную систему очень хрупкой и что именно повторение этих периодов хрупкости наводит на мысль о том, что паника приходит в соответствии с каким-то законом, то есть примерно через каждые десять лет неизбежно наступает такой период⁶⁷.

В свете такого фатализма представляются вполне убедительными возражения идеалистически настроенного молодого ученого, который утверждал, что деньги до сих пор изуча-

лись в недостаточной степени или недостаточно строго и что лучшее понимание роли денег в экономических вопросах свело бы к минимуму иррациональные решения и ненужные конфликты.

В диссертации на соискание степени доктора философии, опубликованной в 1892 году, Фишер писал, что “деньги, которые используются как мера ценности и поэтому отражаются на восприятии всех экономических ценностей, мало изучены, и тайна, окутывающая деньги, стала причиной многих неверных трактовок и расчетов”. Хотя упор в этом исследовании был сделан на то, как “вычисляются” цены в ходе взаимодействия спроса и предложения, Фишер рассматривал деньги прежде всего как единицу измерения. Золотой стандарт был примитивным механизмом определения их ценности. Но уже во время написания диссертации Фишер предложил лучший выход. Он увидел, что цены можно стабилизировать, если привязать стоимость доллара в золотом эквиваленте к индексу потребительских цен. Фишер рассматривал равновесие как точку отсчета, а денежные колебания как источник нестабильности. В “Математических исследованиях” он подчеркивал, что “идеальное статичное состояние, используемое в нашем анализе, фактически *никогда* не достигается”, из чего делал вывод, что “паника свидетельствует об отсутствии равновесия”⁶⁸.

Ставка процента — это цена, которую люди, имеющие сбережения, берут с тех, кому позволяют пользоваться своим капиталом, то есть оказывают реальную и ценную услугу. Стоимость капитала, в свою очередь, определяется ожиданиями владельцев сбережений и инвесторов относительно будущего потока процентных выплат. Инфляция и дефляция приводят к сильным и непредсказуемым изменениям доходов и являются следствиями колебания стоимости денежного стандарта — линейки, сделанной скорее из резины, нежели из жесткого материала, — а вовсе не заговора демагогов и черни или, наоборот, банкиров с Уолл-стрит.

Придя к экономике через споры о денежной системе, которые преобладали в американской политике в конце века, Фишер был больше всего озабочен справедливостью в отношении должников и кредиторов и устранением социальных конфликтов, которые усугублялись неожиданными изменениями стоимости денег. На практике конкретному предпринимателю было трудно определить, меняется цена на его товар или на все товары в целом, и соответствующим образом изменить свои контракты. Граждане, не понимавшие, что стоимость валюты не является фиксированной, возлагали вину за инфляцию или дефляцию на козлов отпущения: жителей восточной части США, евреев или иностранцев.

США последовали примеру Британии, Германии и Франции и ввели золотой стандарт — систему, при которой национальная валюта привязана к определенному количеству золота и, таким образом, к определенному количеству единиц других валют. Стандарт играл роль некоей единой международной валюты, весьма удобной для экспортеров и импортеров. Фермерам Канзаса, продававшим пшеницу британским купцам, нужны были доллары для оплаты железнодорожных расходов и труда рабочих, покупки семян и т. п. Поэтому британским купцам приходилось покупать доллары за фунты. Очевидно, что возможность всегда обменять 1 фунт на 5 долларов — это почти так же удобно, как единая валюта.

К сожалению, фиксированные курсы обмена валют не означают, вопреки типичному заблуждению, что стоимость валюты остается неизменной и относительно отечественных товаров. На самом деле, хотя США приравнивали стоимость доллара к определенному количеству золота, покупательная способность самого золота, а следовательно, и доллара, внутри страны изменялась иной раз на 50%, а то и на все 100%. Например, в 1880-е годы стоимость доллара резко выросла в результате общемирового дефицита золота, что привело к снижению цен и яростным дебатам между теми, кто хотел сохранить золотой стандарт, и теми, кто хотел вернуться к серебряному.

Американские фермеры, которые пытались спекулировать землей и использовать ипотеку для покупки земли, были чистыми дебиторами. Они утверждали, что поддержание золотого паритета ограничивало запас денег, приводя одновременно к росту процентных ставок и падению цен на урожай и доходов с ферм. Это значило, что для выплаты или обслуживания долга требовалось больше тонн зерна или тюков хлопка, чем предполагал фермер или банк на момент выдачи закладной. Фишер не понаслышке знал о проблемах фермерских хозяйств Запада, поскольку в годы учебы в Сент-Луисе дружил с сыновьями фермеров из Миссури, а летом работал на их фермах.

В 1896 году в ходе президентской кампании Уильяма Дженнингса Брайана движение за свободную чеканку серебра, а вместе с ним — и упорство Фишера в отстаивании золотого стандарта достигли апогея. В это время вышла из печати его монография “Рост стоимости и процентные ставки”. С его точки зрения, речь шла о справедливой политике распределения богатства. Фишер соглашался с “защитниками серебра” в том, что дефляция обогатила кредиторов за счет дебиторов. Но их аргументация в пользу возврата к серебряному стандарту была ошибочной. Фактически, утверждал он, снижение процентных ставок автоматически нивелирует повышение реальной стоимости долга. Рынок пришел в порядок... Брайан проиграл выборы. Забавно, что его речь о “золотом кресте” прозвучала как раз в то время, когда были обнаружены новые месторождения золота, что — вместе с некоторыми другими событиями — привело к резкому росту предложения золота и увеличению денежной массы, положившему конец дефляции 1880–1890-х годов без отказа от золотого стандарта в США.

К тридцати годам Ирвинг Фишер был автором нескольких книг и монографий, восходящей звездой научного мира и от-

цом растущего семейства. Он был сильнее, красивее и энергичнее, чем в двадцать. Он ездил на велосипеде, занимался ходьбой и делал упражнения с гирями. Его любимым видом спорта было плавание, и ничто — ни холодная вода у берегов штата Мэн, ни беспокойство Маргарет — не могло удержать его на берегу летом.

В августе 1898 года, когда семья жила в своем летнем поместье, Фишер едва не утонул. В последовавшие за этим недели у него развилась апатия, держалась немного повышенная температура, углублялась депрессия — угрожающие симптомы, напоминавшие начало смертельной болезни его отца. Вскоре после тридцать первого дня рождения и получения Фишером должности профессора у него диагностировали туберкулез, фактически вынеся ему смертный приговор.

По словам историка Катерины Отт, туберкулез был СПИДом XIX века. В начале XX столетия чахотка была причиной каждой третьей смерти в крупных городах, причем основными жертвами “белой чумы” становились молодые люди. Болезнь протекала очень тяжело, а уровень выживаемости был ужасающе низок. Жертвы боялись потери работы и остракизма, которые неизбежно влек за собой этот диагноз. Один человек писал, что объявление врача о том, что он болен туберкулезом “вполне могло бы продолжаться словами: “Господи, упокой его душу””, потому что он действительно сразу почувствовал себя покойником⁶⁹. Фишер помнил, как умирал его отец: иссохший, похожий на скелет, совершенно оглохший, он не мог проглотить ничего, кроме капли молока, и едва мог говорить. Агония Джорджа Фишера продлилась несколько недель. Когда он умер, ему было всего пятьдесят три.

Обычно больным рекомендовали отдых, свежий воздух и хорошее питание. В рамках “лечения внушением”, которое получило распространение одновременно с модой на все японское и китайское, эта болезнь объяснялась стрессом, связанным с современной жизнью. Сторонники этой методики убеждали больных взять на себя ответственность за собствен-

ное здоровье и советовали “отвлечься от тревожных мыслей, что позволит соединиться с могущественным и незримым духом Божества, всего человечества или какой-то другой силы”⁷⁰.

Это была эра позитивного мышления. Выступая в местной школе для мальчиков, Фишер поделился с ними собственным мифоощущением:

Все величие этого мира определяется в основном духовным самоконтролем. Наполеон сравнивал свой ум с комодом. Он выдвигал один ящик, изучал его содержимое, задвигал и выдвигал следующий. Говорят, что мистер Пирпонт Морган управляет собой аналогичным образом... То, что мы называем *жизнью* человека, состоит просто из потока сознания, последовательности образов, которым он позволяет появиться в своем мозгу... В нашей власти выбирать этот поток сознания и направлять его так, чтобы придавать своему характеру желательные формы⁷¹.

Следующие шесть лет Фишер боролся за восстановление своего здоровья, природной энергичности и обычной для него чистоты духа. Он провел почти полгода в санатории “Адирондак коттедж” в Саранаке, штат Нью-Йорк. Руководил этой лечебницей доктор Эдвард Трюдо, и в своей работе он равнялся на альпийские санатории, описанные Томасом Манном в “Волшебной горе”. Детей отправили к бабушке с дедушкой, а Марджин сопровождала Фишера в Саранак. Они купили енотовую шубу и поэму Джона Гринлифа Уиттьера “Занесенные снегом” — для чтения вслух. “Доктора обещают полное исцеление, но на это нужно время, — писал Фишер Уиллу Элиоту в декабре 1898 года. — Я сижу на открытой веранде, на градуснике — двадцать*, снег — глубиной два фута. Оказалось, но чернила замерзают, поэтому пишу карандашом”⁷². В январе

* На градуснике было 20° по шкале Фаренгейта, то есть примерно -7° по шкале Цельсия.

1901 года врачи сказали Фишеру, что он полностью выздоровел, но на восстановление былых запасов энергии у него ушло еще три года.

Излечение от туберкулеза пробудило в Фишере дремавшего доселе проповедника. Он стал активно пропагандировать развитие государственного здравоохранения, здоровый образ жизни и самоконтроль, благодаря которому, по его мнению, он и выздоровел. Победа над болезнью убедила его в возможности небывалого — например, удвоения средней продолжительности жизни к 2000 году. Когда он познакомился с Джоном Харви Келлогом, пропагандистом “биологического образа жизни”, то сказал ему, что “ищет не источник вечной молодости в духе конкистадора Понсе де Леона, а идеи, которые помогут продлить молодость и наслаждение ею”⁷¹. Под влиянием Келлога Фишер проводил над спортсменами из Йельского университета эксперименты по вегетарианскому питанию, подал заявку на должность руководителя Смитсоновского института и лоббировал создание министерства здравоохранения. В 1908 году преемник убитого Уильяма Маккинли Теодор Рузвельт, самый молодой президент в истории США, ввел Фишера в Национальную комиссию по охране окружающей среды. В основе идеи охраны окружающей среды “лежит наше чувство долга перед потомками”. Живущим в условиях изобилия американцам, отмечал Фишер, трудно понять, что “они расходуют запасы, принадлежащие будущим поколениям”⁷⁴.

В 1906 году, в год землетрясения в Сан-Франциско, Фишер объявил, что *Homo economicus*, человека экономического, пора отправить на покой, а идеологию невмешательства государства в экономику, так называемую *laissez-faire* — признать мертвой. На пленарном выступлении перед Американской ассоциацией содействия развитию науки он назвал принятие правительственных мер по регулированию и социальному

обеспечению “самым примечательным изменением, которое претерпел экономический подход за последние пятьдесят лет”¹⁰). Опыт показал, говорил он, что основные постулаты либеральной теории — индивидуум лучше всех знает, что соответствует его интересам, а соблюдение личных интересов приносит обществу максимальную пользу — неверны. Государственное регулирование и общественные движения в поддержку реформ — существовавшие в XIX веке эквиваленты современных неправительственных организаций — не только не приносили вреда, но были необходимы. На самом деле, считал он, они сделали уже очень много для сохранения окружающей среды и улучшения общественного здравоохранения. Он сказал, что если бы ему предложили выбор между крайним либерализмом Самнера и социализмом, он выбрал бы последний, и перечислил множество случаев, когда то, что хорошо для отдельной личности, плохо для общества в целом, — и заключил, что от теории невмешательства следует отказаться.

Из опубликованной им в 1906 году книги “Природа капитала и дохода” видно, что Фишер все больше понимал капитал как поток будущих услуг и все больше заботился об охране окружающей среды. Он был убежден, что взаимозависимость между экономическими агентами — она проявлялась в урбанизации, экономической специализации и глобализации — требует большей информированности и более высокого уровня образования, координации и вмешательства со стороны государства. Он считал, что работа о будущем требует профилактики и охраны. Побывав на грани смерти, он острее почувствовал потребность в экономической эффективности и сокращении отходов. По мнению экономического историка Перри Мерлинга, на Фишера оказал влияние современник Адама Смита, Джон Риче: следуя его идеям, Фишер определял “процентный доход” — включая прибыль, ренту и зарплаты — как стоимость потока услуг от механизмов, земли и человеческого капитала,

накопленных в прошлом. Все реформы Фишера, отмечает Мерлинг, от мер по продлению жизни до предотвращения депрессий и войн, имели целью повышение текущего благосостояния нации⁷⁶.

Современные экономисты говорят об “ограниченной рациональности”, “экзогенных факторах” и “провалах рынка”. Фишер говорил о невежестве и отсутствии самоконтроля. Более того, он утверждал, что даже если каждый индивидуум в отдельности действует совершенно рационально, совокупный эффект от действий множества людей может снизить общее благосостояние. “Неверно, что предоставленные самим себе люди всегда действуют себе на пользу; более того, даже если они действуют в своих интересах, это не всегда хорошо для общества в целом”⁷⁷. Один из видов невежества, объяснил он, заключается в том, чтобы рассматривать текущее положение вещей как норму. Продолжительность жизни, полагал он, могла бы быть в два раза больше. Производительность труда — тоже. Один из его самых интересных выводов состоял в том, что ум человека может исказить действительность. Он называл это “денежной иллюзией”. По мнению Фишера, инфляция и дефляция — все изменения общего уровня цен — плохи тем, что провоцируют людей на неправильные решения. На уровне национальной экономики денежная иллюзия означает, что предпринимателям и потребителям нужно много времени, чтобы подстроиться под изменившиеся цены и процентные ставки.

Из того что *Homo sapiens* (человек разумный) не является *Homo economicus* (человеком экономическим), то есть гиперрациональной вычислительной машиной, он сделал два вывода. Во-первых, это был серьезный аргумент в пользу обязательного обучения. Во-вторых — еще более серьезный аргумент в пользу регулирования поведения людей, будь то противопожарные правила в многоквартирных домах или запрет азартных игр, алкоголя и наркотиков: “Неверно, что невежественные родители имеют право на реализацию своих

идеи в отношении образования своих детей, поэтому проблема детского труда касается не только отдельных людей, как одно время полагали, но имеет важные и далеко идущие последствия для общества в целом”⁷⁸.

В своей критике конкурентной системы Фишер пошел намного дальше Маршалла. Тем самым он предвосхитил общий ход развития экономической теории после Второй мировой войны. “Даже там, где вмешательство государства невозможно или нежелательно, все равно имеет смысл пытаться улучшить условия за счет влияния одного класса на другой, то есть за счет социальной агитации”⁷⁹.

Даже если каждый человек в отдельности будет руководствоваться собственными интересами и вести себя абсолютно рационально, это совсем не обязательно даст желательные для общества результаты. “Действия одного человека никогда не приведут к созданию системы городских парков или хотя бы к удобной планировке улиц”, — говорил он. Поэтому он отвергал приватизацию денежной системы, на которой настаивал Спенсер, а также “еще более нелепое предложение о том, что полицейские функции государства следует передать частным рукам, что полицейские подразделения должны быть просто добровольческими комитетами бдительности, подобно существовавшим когда-то отрядам противопожарной защиты, и что соперничество между такими компаниями обеспечит лучшее обслуживание, чем то, которое обеспечивает государственная полиция”⁸⁰.

После болезни Фишер испытал необычайный прилив творческой энергии. На протяжении пяти-шести лет он размышлял идеи, зрелые в нем в течение его вынужденной ссылки, в ходе которой он осваивал индийскую философию и практику медитации.

Вчера на закате я сидел, как индус, ни о чем не думая, но *ощущая* спокойствие и мощь Вселенной... Подсознательные впечатления от охватывавших меня в течение трех или более лет

депрессии, страха и тревоги по-прежнему входят в мой духовный багаж, но лежат на дне, я надеюсь, навсегда. Только напряженный труд и настойчивое самовнушение позволили мне подавить уныние. Должен признаться, что после первого года моей основной проблемой был страх... Оптимизм не связан ни с существованием зла, ни с тем, чего мы ожидаем от будущего. Человек может верить, что мир устроен несчастливо, что земля остынет и умрет, а его самого ждет боль, потеря друзей, чести, благосостояния — и все равно быть оптимистом⁸¹.

Год 1907-й был беспокойным для финансовых рынков. Фишер торопился закончить новую книгу “Ставка процента”, которую снабдил подзаголовком “Ее природа, определение и связь с экономическими явлениями”.

Впервые он представил экономические колебания как следствия недостаточной предусмотрительности, объясняя периоды спекулятивного возбуждения и депрессии недостоверным прогнозированием. “Паника — это всегда результат непредвиденных обстоятельств, и частью этих непредвиденных обстоятельств, а частично результатом других непредвиденных обстоятельств является нехватка ссудных денег”⁸².

Если бы ожидания инфляции или дефляции были верными, объясняет Перри Мерлинг, процентные ставки на денежных рынках подстраивались бы немедленно и идеально. Если бы кредиторы ожидали, что общий уровень цен поднимется, они бы потребовали у заемщиков соответствующего повышения процентной ставки. Если бы они ожидали снижения общего уровня цен, то согласились бы на соответствующее снижение ставок. По той же причине и заемщики, ожидая повышения инфляции, понимали бы, что выплата номинально более высоких процентных ставок не скажется на реальной сумме возврата. А ожидая дефляции, они были бы готовы платить лишь по сниженным номинальным процентным ставкам. Короче говоря, если бы прогнозы были верны, изменение уровня цен не сказывалось бы на реальных уровнях

производства и занятости. Проблема, разумеется, в том, что такое идеальное прогнозирование невозможно: “Их неспособность [правильно предвидеть дефляцию] приводит к непредвиденным потерям заемщика и непредвиденным доходам кредитора”⁸³.

Фишер пересмотрел свои прошлые представления о том, что изменения в стоимости денег оказывают пренебрежимо малое влияние на реальную экономическую деятельность, и решил, что процентная ставка не изменяется так плавно и так точно, чтобы компенсировать изменения покупательной способности доллара, поэтому для обеспечения справедливой и прозрачной денежной системы необходимы стабильные цены:

Биметаллисты были отчасти правы, когда утверждали, что в период двух десятилетий падения цен (1875–1895) класс кредиторов был в выигрыше. В период 1896–1906 годов ситуация была прямо противоположной. Однако не следует делать ошибочный вывод, что обогащение класса заемщиков в последнее десятилетие компенсирует его обнищание в ходе двух предыдущих, поскольку персональный состав классов быстро меняется. Не следует также полагать, что класс заемщиков состоит из бедняков. *Типичным современным заемщиком является акционер, а типичным кредитором — держатель облигаций*⁸⁴.

В рамках действовавшего денежного стандарта американский доллар привязывался к определенному *весу* золота, но не к его *стоимости* или покупательной способности. Это означало, что покупательная способность доллара внутри страны увеличивалась и уменьшалась в соответствии с изменением спроса и предложения денег. Большинство людей, даже самые искушенные инвесторы и бизнесмены, смотрели на доллар как на меру стоимости и едва ли могли отслеживать или прогнозировать изменения этой самой стоимости. Инфляция и дефляция были вредны, потому что инвесторы, потребители

и бизнесмены не умели их предсказывать или хотя бы точно измерять их масштаб в настоящем и недавнем прошлом. Решения, принимавшиеся на основании неверных ожиданий, приводили к неверным инвестициям, а с точки зрения экономики в целом — к избыточным инвестициям в одних отраслях и к недостаточным — в других. Это “бездумная расточительность, расплата за которую должна была наступить в виде экономического кризиса”⁸⁵.

Посмотрим, что произошло за шестьдесят лет. Сначала Чарльз Диккенс, Генри Мейхью и Карл Маркс описали мир, в котором материальные условия, с незапамятных времен обуславливавшие нищету человечества, становились менее жесткими и более пластичными. В 1848 году Карл Маркс показал, что конкуренция заставляет предприятия производить больше с теми же ресурсами, но при этом утверждал, что ничто не может превратить рост производительности труда в рост зарплат и уровня жизни.

Затем, в 1880-е, Альфред Маршалл пришел к выводу, что искусный механизм конкуренции побуждает предпринимателей постоянно вносить в производство различные усовершенствования, которые *со временем* накапливаются, и одновременно вынуждает их делиться прибылью в виде повышения зарплат или снижения цен, опять-таки с течением времени. Если производительность труда определяет зарплату и жизненный уровень, люди — вместе и порознь — могут изменять свои материальные условия за счет повышения собственной производительности.

Беатриса Уэбб не только изобрела *государство всеобщего благосостояния*, но и нашла свое призвание как социального исследователя. Социолог Милль утверждал, что государство всеобщего благосостояния в конечном итоге поглотит все налоговые поступления, а Маркс настаивал, что такое государство не вписывается в логику исторического процесса.

Убб же показала, что нищету можно предотвратить и что обеспечение образования, санитарии, питания, медицинской и других форм неденежной помощи повысит производительность труда и зарплату в частном секторе настолько, что это перекроет их снижение вследствие налогообложения. Иными словами, повышение грамотности, качества питания и медицинского обслуживания бедных будет скорее способствовать экономическому росту, чем тормозить его.

Ирвинг Фишер первым понял, как сильно деньги влияют на реальную экономику, и пришел к выводу, что государство может повысить экономическую стабильность, если будет лучше управлять деньгами. Выявив общую причину двух на первый взгляд противоположных бед — инфляции и дефляции, он указал потенциальный инструмент — контроль над предложением денег, с помощью которого государство могло смягчить или даже полностью устранить инфляционные бумы и дефляционные депрессии.

Глава V

СОЗИДАТЕЛЬНОЕ РАЗРУШЕНИЕ

ШУМПЕТЕР И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ЭВОЛЮЦИЯ

Нормальный ход многолетнего исторического развития [был] сведен к 2–3 десятилетиям.

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ
Накопление капитала, 1913¹

Четвертого ноября 1907 года известие о бегстве вкладчиков из “Никербокер траст компани” вызвало панику на Лондонской фондовой бирже. Испуганные инвесторы в поисках спасения ринулись в Банк Англии за золотыми слитками. Опасаясь массивного оттока резервов, банк повысил ставку кредитования, которую он применял при выдаче другим банкам кредитов на одну ночь. В разгар этой паники джентльмен Йозеф Алоиз Шумпетер и девица Глэдис Рикард-Сивер скромно сочтались узами брака в регистрационной конторе возле вокзала Паддингтон. К тому времени как учетная ставка впервые за сорок лет достигла 7 процентов², новобрачные уже отплыли в Каир.

В свои двадцать четыре Шумпетер уже был гражданином мира. Он родился в небольшом фабричном городке на терри

терии нынешней Чешской Республики и был единственным сыном текстильного фабриканта в третьем поколении. После внезапной кончины его отца, погибшего в тридцать один год от несчастного случая на охоте, его мать Йоганна, которая на всю жизнь осталась самым важным человеком в жизни Шумпетера, решила сделать все, чтобы обеспечить своему четырехлетнему сыну блестящее будущее. В основном ради него она решила переехать в милый университетский городок Грац. Когда ее солнышку исполнилось одиннадцать, она вышла замуж за оставшего генерала старше ее на тридцать лет и уговорила мужа переехать в Вену, в роскошные апартаменты возле Рингштрассе. Благодаря аристократическим связям отца Шумпетер посещал классический лицей для детей аристократов. Там, в Терезиануме, он не только научился фехтованию и верховой езде, но и освоил не менее пяти древних и современных языков, приобрел неоценимые связи в обществе, а также изысканные манеры, привычку к беспорядочным половым связям и экстравагантные вкусы титулованной элиты. За элитарное образование он заплатил высокую эмоциональную цену. Другим «я» юного честолюбца был одинокий забитый студент, увлеченный чтением философских и социологических трудов. В школе, где «легкий налет глупости» свидетельствовал об аристократическом происхождении, его ум и целеустремленное трудолюбие, характерное для среднего класса, только подчеркивали его статус парвеню³. Его экзотическая наружность — невысокий, худощавый и смуглый юноша с необычайно высоким лбом обладал пронзительным взглядом слегка выпуклых глаз — провоцировала язвительные намеки на его «восточное» (читай: еврейское) происхождение. В порядке компенсации он достиг совершенства в верховой езде, фехтовании и риторике, научившись скрывать свои огорчения под маской пресыщенности и ироничности.

К 1901 году восемнадцатилетний Шумпетер закончил Терезианум и поступил в Венский университет, сделав первый шаг на пути к высшему венскому обществу. Они

с матерью надеялись, что этот путь он одолеет стремительно. Конечно, “первоклассное общество” Вены состояло лишь из императора и его двора. Но заведующий кафедрой университета или член правительства мог проникнуть во “второе общество” — смесь умных и деятельных со знатными и богатыми. Еще будучи первокурсником юридического отделения, Шумпетер уже видел себя самым молодым университетским профессором империи и самым надежным экономическим советником императора.

Вена времен *belle époque* — счастливых лет перед Первой мировой войной — часто рисуется историками как декадентское, самодовольное и консервативное общество, а Австро-Венгерская империя как безнадежно отсталая страна по сравнению с Англией, Францией или Германией. Оскар Яси назвал Австро-Венгрию “поверженной с экономической точки зрения империей”⁴. Карл Шорске описывал ее буржуазию как политически пассивную⁵. Эрих Штрайсслер оплакивал недостаток предприимчивости и распространившуюся среди сыновей предпринимателей — таких как Людвиг Витгенштейн и Франц Кафка — моду отдавать предпочтение искусству перед промышленностью⁶. В написанном в 1932 году Йозефом Ротом романе “Марш Радецкого” о закате и падении Габсбургской династии венский аристократ граф Хойницкий объясняет предсмертное состояние империи тем, что настало “время не алхимии, а электричества”. Указывая на сияющую электрическую люстру, он восклицает: “А во дворце Франца Иосифа все еще зажигают свечи!”⁷

На самом деле Вена была помешана на современности. Уже в 1883 году десятки тысяч посетителей переносились электропоездами в Пратер, огромный “народный парк” на Дунае, чтобы посмотреть самую большую в истории выставку света и электроэнергии — Международную электрическую выставку. Шестьсот участников, включая американские “Вестин-

гауз” и “Дженерал электрик”, немецкую *АЕG* и шведский концерн “Эрикссон”, демонстрировали пятнадцать аккумуляторов, пятьдесят два бойлера, шестьдесят пять моторов и сто пятьдесят электрогенераторов. В “телефонной музыкальной комнате” посетители могли, “не сделав и шага, слушать музыку и пение из оперного театра”⁸. На другом стенде можно было получить последние новости от будапештской новостной службы для телефонных подписчиков. Самые храбрые могли в движущемся внутри стеклянного цилиндра гидравлическом лифте вознестись на высоту 220-футовой ротонды, залитой сиянием ламп мощностью в общей сложности в 250000 свечей. На церемонии открытия кронпринц Рудольф, не скрывая гордости, говорил о “море света”, которым Вена поразит весь мир⁹.

В этой гонке за электричеством Вена была впереди Лондона. Телефонное обслуживание было введено в 1881 году. Трамваи заменили конку в 1897-м. К 1906-му, когда состоялась постановка оперетты “Электрик”, в десяти центральных районах города уже было проведено электричество. “Электрокультура” стала девизом венских предпринимателей. Каждая домохозяйка мечтала подключиться к электросети, которая избавит ее кухню от дыма и копоти. Владельцы фабрик хотели современных фабрик с электрическим освещением и электрооборудованием. Врачи вроде Зигмунда Фрейда жаждали попробовать на своих пациентах электрошоковую терапию. Бабушка Людвиг Витгенштейна возила его кузена, шестилетнего Фридриха Хайека, кататься на своем новом электромобиле.

Хотя император Франц Иосиф I действительно отвергал лифты и электрическое освещение, его сын кронпринц Рудольф был рьяным поборником прогресса. Австрия занимала четвертое место в Европе по уровню концентрации торговли и производства: в стране производились сталь, текстиль, бумага, химическая продукция и автомобили. Вена служила административным, торговым и финансовым центром для обширных провинций, которые снабжали новые европейские

мегаполисы продовольствием, топливом и сырьем. Экономический подъем, начавшийся в конце 1870-х и продлившийся почти десять лет, привел к буму в экспорте сахара и текстиля, а также в строительстве железных дорог. К концу 1880-х электрификация сменила железные дороги в качестве самого сильного магнита для новых инвестиций.

В архитектуре города сказались не только имперские, но и буржуазные устремления. Рингштрассе, широкий бульвар, опоясывавший центр города с его неоклассическим зданием парламента, оперным театром в стиле барокко и вкраплениями особняков “баронов бульвара”, отражал ошеломляющее движение времени. Роскошный “Митпалас”, где можно было снять в аренду апартаменты, привлекал нуворишей и парвеню сильнее, чем виллы. Вена, город среднего класса, город многих этносов, но подчеркнута одной культуры — немецкой, стала центром притяжения для беженцев со всей остальной империи, особенно после 1867 года, когда либеральные члены кабинета министров наряду с экономической модернизацией стали пропагандировать еврейскую эмансипацию. Многие из недавних иммигрантов стали уличными продавцами или лавочниками. Их сыновья осваивали в основном профессии юристов и медиков, в которых можно было обойтись без обучения в элитной школе, становились банковскими служащими, журналистами или занимались искусством, для которого не требовалось университетской степени. Преобладание евреев в юридической, медицинской и банковской сфере, в журналистике и среди людей искусства вызывало возмущение, особенно в трудные времена. Как писал один историк, “падение фондовой биржи неизменно сопровождалось ростом антисемитизма”¹⁰.

Статистические данные противоречат стереотипному представлению об экономическом разложении накануне войны. В период с 1870 по 1913 год экономика росла в три раза быстрее, чем в предыдущие сорок лет, а реальный подушевой доход удвоился, несмотря на бурный рост населения. Безусловно, Вена, как и викторианский Лондон, страдала

от хронической нехватки жилья, канализации, питьевой воды и мощных мостовых. Но экономический историк Дэвид Гуд приводит убедительные свидетельства того, что “проблемы империи были вызваны не экономическим упадком, а экономическим подъемом”¹¹.

К 1901 году, когда Шумпетер начал изучать право в Венском университете, это учебное заведение стало одним из крупнейших европейских исследовательских центров в области математики, медицины, психологии, физики, философии и экономики. В то время как в немецкой экономике доминировала возглавлявшаяся Густавом Шмоллером из Берлинского университета “историческая школа”, которая презирала абстракцию и превозносила имперское государство, Вена — благодаря Карлу Менгеру — стала идеологическим и интеллектуальным антиподом Берлина и лидером теоретической экономики в континентальной Европе.

В университетах немецкоговорящего мира право занимало более высокое положение, чем в британских и американских университетах, сильнее был уклон в гуманитарные и общественные науки. Помимо канонического и римского права Шумпетер изучал историю, философию и экономику. Он быстро пришел к выводу, что экономика — особенно теоретическая — интересует его больше, чем право. Менгер был уже слишком стар и слаб, чтобы читать лекции, но интеллектуальную битву против исторической школы, которую он вел так долго, теперь продолжали два его блестящих последователя, Ойген фон Бем-Баверк и Фридрих фон Визер. Шумпетер посещал их семинары и выделялся на фоне старших студентов — таких как известный либерал Людвиг фон Мизес и два ведущих европейских марксиста Отто Бауэр и Рудольф Гильфердинг — своим “отстраненным, спокойным научным подходом” и “любезными” манерами¹². На последнем курсе — в возрасте двадцати двух лет — он напечатал в статистическом

ежемесячнике Бем-Баверка не менее трех статей. К моменту получения в начале 1906 года степени доктора права он уже показал себя твердым сторонником современной экономической теории, которую в Берлине называли “английской экономикой”, несмотря на наличие известных австрийских, французских и американских приверженцев этого направления. Его первой публикацией после окончания университета стало длинное и провокационное эссе под названием “О математическом методе в теоретической экономике”.

Обозначив, так сказать, свои позиции, Шумпетер отправился в интеллектуальный “гран-тур”, что было принято среди выпускников немецкоязычных университетов. Тайно планируя примирить враждующие школы экономической мысли и, возможно, пробить брешь в обороне самого главного университета континента, он провел весенний семестр в Берлинском университете, знакомясь с основными представителями германской исторической школы. Летом он провел несколько недель в Париже, где слушал лекции Анри Пуанкаре по физике. Конечной целью его поездки была Англия, страна, которой он восхищался как “венцом капиталистической цивилизации” и труды экономистов которой он основательно изучил¹³.

Приехав в Лондон в начале осени, Шумпетер продолжал жить странной двойной жизнью, к которой подготовило его полученное образование. В свете это был общительный, блестящий аристократ с континента, любитель удовольствий. Английские манеры, обычаи и порядки пришлись ему по душе, и он стал следовать правилам лондонского светского общества. Он снял квартиру на Принсес-сквер, около Гайд-парка, заказывал костюмы у портных на Сэвил-роу, у него была своя верховая лошадь для ежедневных прогулок по Роттен-роу. Вечера он проводил в театрах и на приемах, а на выходных гостил в загородных домах.

Его другое, не менее элегантное “я” делило часы бодрствования между аскетичной и намеренно плебейской Лондонской школой экономики и тихим читальным залом Британ-

ского музея с высокими потолками, где он стремился работать за тем же столом, за которым грузный, небрежно одетый Карл Маркс сочинял свой “Капитал”. Убеденный в том, что подлинно гениальные мыслители делают свои главные открытия до тридцати, и стремясь достичь первой ступени в запланированной научной карьере как можно быстрее, двадцатичетырехлетний Шумпетер спешил выполнить намеченное.

Перед отъездом из Вены он набросал проекты двух книг. Первая была призвана познакомить враждебную и плохо информированную немецкую аудиторию с “английской”, то есть теоретической экономикой. Во второй он планировал изложить собственные идеи, которые — а как же иначе — должны были произвести революцию в экономической теории. Подобно большинству интеллектуалов своего поколения, Шумпетер был увлечен применением дарвиновской теории естественного отбора к обществу. Это ли не парадоксально, думал он: постоянная изменчивость — символ современности, а экономическая теория ее игнорирует, хотя именно этот процесс делает экономику страны более производительной, специализированной и сложной. Эволюция экономики была так же неуловима, как “некоторые естественные процессы”, про которые Марсель Пруст в романе “По направлению к Свану” писал, что они “настолько постепенны, что... даже если мы можем различить все последовательные состояния, у нас все равно нет подлинного ощущения перемены”¹⁴. Экономисты довольствовались предположением о том, что экономика просто год за годом копирует себя, слегка увеличиваясь с течением времени, но оставаясь неизменной во всех остальных аспектах. Конечно, при анализе влияния крошечного изменения одной экономической величины на остальные “статическая” теория соответствовала реальности, как хорошо сшитый костюм соответствует фигуре. Однако для анализа существенных изменений или значительных временных отрезков, когда нельзя игнорировать структурные изменения в технологии, рабочей силе или экономических институтах, существовавшая теория

едва ли годилась. И — вопреки притязаниям немецких экономистов — экономическая история тут тоже не спасала. Точные науки в отличие от истории оперируют обобщениями. История занимается тем, что реально произошло, а точные науки — тем, что могло или не могло произойти при определенных условиях. Именно это делает их инструментами управления. Чтобы экономика стала такой наукой, ей надо было перейти к обобщениям.

Для этого требовалась теория экономического развития, и свежеспеченный выпускник университета намеревался ее создать. Шумпетер мечтал заменить статическую экономическую теорию динамической, подобно тому как Дарвин своей эволюционной биологией отправил в архив традиционную. Как Шумпетер отметит годы спустя, он полагал, что его идея “в точности совпадает с идеей... Карла Маркса”, у которого тоже было “представление об экономической эволюции как об отдельном процессе, порожденном самой экономической системой”¹⁵.

По крайней мере однажды Шумпетер отправился на поезде в Кембридж, чтобы попросить совета у Альфреда Маршалла. Маршаллу в то время было шестьдесят пять, он плохо себя чувствовал, только-только приходил в себя после столкновения с тогдашним министром по делам колоний Джозефом Чемберленом по поводу британской политики в отношении свободной торговли и был на грани ухода с кафедры в Кембридже. Тем не менее он пригласил дерзкого юнца на завтрак к себе домой в Бэллиол-Крофт и терпеливо выслушал его соображения относительно построения теории экономической эволюции.

Как было прекрасно известно Шумпетеру, эта теория была неосуществленной мечтой его старшего коллеги. Хотя для анализа взаимодействия спроса и предложения на отдельных рынках Маршалл пользовался инструментарием физики, он всегда настаивал, что экономические процессы больше напоминают биологические, нежели механические, и критиковал своих

предшественников за то, что они считали институты, технологии и человеческое поведение неизменными. Последнее издание своих “Принципов экономической науки” он даже предварил заявлением, что “Мекка экономистов находится в сфере экономической биологии”¹⁶. Тем не менее Маршалл не дошел до разработки теории экономического развития в том виде, в каком это предлагал сделать Шумпетер. По-видимому, в ходе их часовой беседы английский оракул сделал какие-то скептические замечания, потому что на прощание Шумпетер сказал, что в этом разговоре он выступает в качестве опрометчивого влюбленного, устремленного к авантюрному браку, а Маршалл — в роли добродушного дядюшки, пытающегося его отговорить. Маршалл дружелюбно откликнулся: “А так и должно быть. Потому что если у племянника все серьезно, дядюшка тратит силы зря”¹⁷.

Шумпетер, возможно, намекал, что готов с головой окунуться в приключение сугубо личного характера. У него был роман с женщиной на двенадцать лет старше его. Глэдис Рикард-Сивер была англичанкой, принадлежала к высшему слою общества, была “сногшибательно красива”. Ее отец был священником ортодоксальной ветви англиканской церкви, и росла она на просторной вилле, расположенной в тени церкви Святого Петра рядом с Харроу. Хотя биографам не удалось сойтись во мнениях по поводу всей прочей информации о ней, включая ее возраст, судя по имеющимся свидетельствам, она была одной из “знаменитых старых дев” Беатрисы Уэбб, проводивших жизнь в Британском музее. Рикард-Сивер исполнилось тридцать шесть лет, и к моменту знакомства с Шумпетером она ни разу не была замужем. Их встреча могла произойти в Лондонской школе экономики, которая опекала подобных женщин, увлеченных феминизмом, социальными реформами и популярной среди фабианцев евгеникой. Решение вступить в брак было принято внезапно, причем ни жених, ни невеста, по-видимому, не рассчитывали получить родительское благословение в случае их, родителей, заблаговременного

оповещения. Единственным свидетелем на гражданской церемонии, прошедшей в конторе на Пикадилли, был брат Глэдис. Хотя свою роль в импульсивном решении Шумпетера могли сыграть англофилия и соблазн брака с аристократкой, наиболее правдоподобным мотивом представляется все-таки предположительная беременность. Позднее Шумпетер намекал друзьям, что Рикард-Сивер воспользовалась его юношеской наивностью. Она умерла в 1933 году, завещав все свое к тому времени довольно значительное состояние обществу контроля за рождаемостью¹⁸.

Нарушив собственный запрет на вступление в брак в течение “священного десятилетия” после окончания учебы, Шумпетер столкнулся с необходимостью зарабатывать на жизнь. Фрагмент романа, найденный в бумагах экономиста после его смерти, описывает австрийского аристократа, женившегося на “англичанке с великолепной родословной, но без каких-либо средств”, что наводит на мысль, что доход Глэдис, по крайней мере в то время, был недостаточен для обеспечения их совместной жизни¹⁹. Путь к профессорству в Австрии был извилист и ненадежен. Он подумал было о вступлении в лондонскую коллегия адвокатов, но на это тоже понадобились бы годы.

В то время предприимчивые молодые люди с высокими запросами, низкими доходами и женами на иждивении отправлялись за богатством на Восток. Возможно, именно Рикард-Сивер предположила, что перед человеком с юридическим образованием, но без опыта работы в Каире откроются более заманчивые финансовые перспективы, чем в Лондоне или Вене. У англичанки из незаконченного романа Шумпетера “были связи, которые она без колебаний использовала на благо любимого”, а многочисленные представители клана Рикард-Сивер участвовали в крупномасштабных предприятиях по всему миру, от Северной Америки до Северной Африки. Один из ее дядюшек, к примеру, тесно сотрудничал с Сесилом Родсом и был первым известным железнодорожным инжене-

ром, поддержавшим план Родса по строительству трансконтинентальной железной дороги из Кейптауна в Каир.

Так или иначе, решение было принято, и молодожены, едва обменявшись клятвами верности, направились вместе с зимними ласточками на юг, в Египет.

Путешественники эдвардианской эпохи могли воочию убедиться, что весь мир пронизан токами перемен. На стремительно уменьшающемся земном шаре от перемен не были защищены даже древние цивилизации вроде египетской. И если кто-либо прежде считал экономическое развитие чисто европейским феноменом, Египет должен был поколебать его представление не столько о пределах роста, сколько о том, *кто* вообще может расти. Если бы Шумпетер не поехал в Каир, то вполне мог бы оправдать несправедливую оценку экономического историка У. У. Ростоу, назвавшего его «довольно ограниченным экономистом развитого индустриального мира»²⁰.

Как ни трудно поверить в это сейчас, Египет начала XX столетия очень напоминал нынешний Китай. Антони Троллоп посетил Каир по делам почтовой службы в 1859 году. В романе «Бертрамы», написанном на пути домой, он иронизировал:

Некогда мужчины и женщины, или лучше сказать, леди и джентльмены, чувствовавшие слабость в груди, направлялись на юг Девоншира, потом в моду вошла Мадейра; теперь их всех посылают в Большой Каир. Каир оказался так близко от дома, что скоро и он перестанет помогать²¹.

Завоевание Египта Западом началось с разгрома, который Наполеон учинил мамлюкам в 1798 году, но окончательное преобразование Египта из османской вотчины в британский протекторат произошло во второй половине XIX века в результате деятельности предпринимателей, банкиров и юристов.

Гражданская война в Америке и вызванный ею хлопковый голод превратили Каир в Клондайк-на-Ниле. Правитель Египта, хедив Исмаил-паша, воспользовался возможностью превратить всю страну в гигантскую хлопковую плантацию, принадлежавшую государству. По мере роста торговли Британии с Индией он нашел способ извлечь пользу и из этого, способствовав созданию Суэцкого канала. В Египет хлынули потоки иностранного капитала в основном в форме ссуд. С точки зрения польской революционерки Розы Люксембург, Египет демонстрировал крайнее безумие современного империализма:

Один заем следовал за другим, проценты по старым займам покрывались новыми займами, и колоссальные заказы английскому и французскому промышленному капиталу оплачивались капиталом, занятым у англичан и французов. Европейский капитал, при всеобщих криках Европы о безумном хозяйничанье Исмаила, делал в Египте беспрецедентные сказочные дела — гешефты, которые удались капиталу на его всемирно-историческом пути один только раз²².

По мере строительства канала долги неотвратимо накапливались, и множество других грандиозных проектов оказались нереализованными. Не прошло и шести лет, как хедив обанкротился и был вынужден продать свои 44% акций в канале и позволить своему правительству стать, по сути, лишь управляющим чужим имуществом. Если бы он делал инвестиции более осмотрительно и избежал долгов, полагают некоторые историки, Египет мог бы войти в XX столетие как еще одна Япония, пусть и меньшего масштаба.

В 1883 году в Египте фактически начался период британского владычества. За спиной хедива встал наделенный властными полномочиями Эвелин Баринг, 1-й граф Кромер, представитель знаменитой династии банкиров и один из крупнейших империалистов своей эпохи. Главной задачей Баринга

было восстановление платежеспособности Египта. Он поставил во главе египетской бюрократии британских чиновников, начал выплачивать проценты по долгам, сбалансировал бюджет и потратил оставшиеся деньги на ирригацию и инфраструктуру. Англо-французское соглашение 1904 года продлило правление Британии на неопределенный период и породило новый, еще более мощный приток инвестиций. В результате Египет, по размерам едва превосходивший Голландию, привлек такие же объемы британского капитала, как и Индия. За три года номинальная стоимость египетских акций выросла в пять раз, при этом образовалось более 150 компаний с общим капиталом в 43 миллиона фунтов. Лорд Ратмор, один из директоров Банка Египта, так описывал спекулятивное помещательство, охватившее инвесторов: “Люди казались безумными; не знаю, какое еще слово можно использовать; они как будто считали, что всякая возникшая компания стоит вдвое больше своей цены еще до того, как она начинала свою деятельность”²³.

Тем не менее иностранный капитал трансформировал прежде феодальную экономику Египта. Если старые империи собирали дань, утверждает историк Ниал Фергюсон, то новые обеспечивали вливания капитала и, как следствие, экономический рост. В 1900 году египетская промышленность состояла из двух соляных и двух текстильных фабрик, двух пивоварен и одного завода по производству сигарет. Самой важной отраслью к тому времени здесь была сахаро-рафинадная: в ней работало 20 тысяч человек. А к 1907 году в новых отраслях, таких как очистка и прессование хлопка или производство хлопкового масла и мыла, работало 380 тысяч человек. Зарплаты росли вместе с ценами на хлопок, и султан Хусейн Камиль, пришедший на смену своему отцу в качестве хедива, восхищался скоростью, с которой его соотечественники осваивали европейскую культуру: “На наших фабриках я видел, как египтяне управляют самыми замысловатыми машинами”²⁴.

Египетская иностранная колония — недавние иммигранты, а также евреи, копты и греки, обосновавшиеся в стране

несколькими веками ранее, — помогла превратить Египет в “практически самую космополитичную страну мира”. Каир кишел охотниками за удачей, банкирами, биржевыми маклерами и предпринимателями, инвестировавшими средства в туризм, железные дороги, банковское дело, сахар и, конечно, в хлопок. Фирма “Томас Кук и сын” освоила Нил и предоставляла английским туристам “кусочек Запада, плывущий по африканской реке”. В 1902 году “Джон Эрд и компания” завершили строительство Асуанской плотины. Сесил Родс приближал к воплощению свою мечту о трансконтинентальной африканской железной дороге. При этом не все предприниматели преследовали финансовую выгоду: известный египтоман Джон Пирпонт Морган был лишь одним из нескольких американских миллионеров, финансировавших археологические раскопки вдоль Нила (другим, кстати, был основатель “Стандарт ойл” Джон Д. Рокфеллер).

Египет стал витриной империализма нового образца. Выступая после ухода на покой в лондонском клубе либеральной партии, Баринг хвастался: “Насколько мне известно, история не знает других таких быстрых взлетов от нищеты и несчастий к изобилию и благосостоянию, какой произошел в Египте”²⁵. Конечно, Баринг, известный цветистостью своих речей, был в этом вопросе лицом заинтересованным. Однако даже такой непримиримый критик британского империализма, как Люксембург, не спорила с ним.

Когда в 1906 году Уильям Дженнингс Брайан, три раза бывший кандидатом от демократов на президентских выборах, остановился в Каире на обратном пути из Индии, город поразил и даже разочаровал его своим современным видом. Вместо потрескавшихся каменных плит и “живописных восточных чудес” он нашел там яркие огни, электрические трамваи, автомобили, спроектированные Александром-Гюставом Эйфелем гидравлические мосты и бутилированную воду, а высоток там было не меньше, чем минаретов. Купить в Каире кружку холодного эля “Басс” или номер “Дейли мейл” было так же просто,

как в Нью-Йорке или Лондоне. Деловой район с его башнями универмагов из стекла на чугунных каркасах, гигантскими роскошными отелями, множеством банков, телефонных и телеграфных контор придавал Каиру вид европейского города. Окрашенные в пастельные тона жилые районы, выстроенные в стиле *belle époque*, широкие бульвары и открытые кафе напомнили Брайану Париж²⁶.

Среди состоятельных молодоженов особой популярностью пользовались круизы по Нилу, но когда Шумпетер приехал в Каир, у него на уме были более важные дела, чем прогулки по палубе парохода Кука под руку с Глэдис. Во время их путешествия в Египет — на поезде до Марселя, на пароходе до Александрии, снова на поезде в Каир — за ними по пятам следовали новости о глобальном финансовом кризисе. В каждой столице, испытывавшей жестокий биржевой кризис, волна банковской паники и банкротств называлась по-своему. Многие бизнесмены полагали, что именно в их городе сложилась самая тяжелая ситуация и что она вызвана в основном местными причинами, хотя на самом деле идентичные события происходили в полудюжине стран как до, так и после нью-йоркской паники. Рвались звенья цепи, опоясывавшей весь мир.

В Каире беда началась с того, что британская строительная компания “Сэр Дуглас Фокс и партнеры”, проложившая первый отрезок трансконтинентальной железной дороги Родса, попыталась приобрести концессию на строительство “фуникулерной дороги от основания до вершины пирамиды Хеопса”. Вот тут-то, как писал экономический историк Александр Нойс, то ли обиделись духи преисподней, то ли инвесторы сочли, что спекуляции дошли до предела безумия²⁷. Во всяком случае, египетский рынок акций рухнул. Поначалу биржевики и бизнесмены полагали, что это временный спад. На состоявшийся через месяц костюмированный бал собралась “шумная, веселая и живописная толпа”, и народу было столько, что танцевать было негде. Но в апреле рынок рухнул еще раз, и на этот раз падение продолжилось.

Лондонский журнал “Экономист” писал:

Груды акций ждали продажи, хотя рынок был уже настолько насыщен ценными бумагами, что предложение хотя бы шести десятков тех или иных акций снижало котировки на целые пункты. В другой момент похожие трудности возникли с покупкой. Всем было известно, что мелкие фирмы балансируют на грани краха, и стоило кризису принять острую форму, как одна из этих фирм остановила платежи²⁸.

На этот раз паника коснулась всех. За несколько недель испарилась четверть стоимости компаний, котировавшихся на каирской бирже. Это немедленно сказалось на бурно росшем до этого рынке недвижимости. “Великая пирамида дутых ценностей”, построенная на заемные средства, рухнула в одночасье. В мае слухи о трудностях в нескольких каирских банках вызвали банковскую панику. “Похоже, что общее снижение стоимости всех египетских ценных бумаг, кроме государственных, с момента завершения строительства Асуанской плотины составило около миллиарда долларов”, — мрачно сообщал корреспондент “Нью-Йорк таймс”²⁹. Дело усугублялось тем, что политическая ситуация стала, по словам одного высокопоставленного британского дипломата, “просто отвратительной”: произошел всплеск яростной националистической пропаганды³⁰.

Баринг и другие британские официальные лица попытались сделать хорошую мину при плохой игре. Повторяя обычную присказку о том, что депрессии — это экономический эквивалент разгрузочных дней после бурных пиршеств, они утверждали, что “в конечном итоге кризис принесет большую пользу Египту и его финансовой системе, очистив финансовые артерии от нездоровых наслоений”³¹. Но когда кредиты были полностью исчерпаны, Банк Англии был вынужден обеспечить “срочную поставку золота на сумму 3 000 000 долларов”. Один известный египтянин выразил знакомые нам

сожаления, признавшись: “Мы жили не по средствам, расходуя капитал, который нам не принадлежал”³².

Однако египетский крах был частью общемирового, точно так же как Каир был одним из звеньев цепи, тянувшейся от Сан-Франциско до Сантьяго, от Лондона до Бомбея, от Нью-Йорка до Гамбурга и Токио. И цепь эта держалась не только на кораблях, железных дорогах и телеграфных кабелях, но и на векселях, долговых расписках, банковских переводах и золотых запасах, а кризис, который жителям Каира казался уникальным, был практически глобальным. Как впоследствии отмечал один лондонский банкир, “начиная с середины 1905 года во всем мире возникла острая нехватка ссудного капитала, продолжавшая в следующие два года расти на удивление бурными темпами, поэтому задолго до октября 1907 года вдумчивые люди на многих далеких друг от друга рынках высказывали серьезные опасения относительно того, к чему это приведет”³³. Началом цепной реакции стало событие “на краю света”: в 1906 году в Сан-Франциско произошли мощное землетрясение и пожар, которые не только практически сровняли этот город с землей, но и спровоцировали чудовищный объем исков к лондонским страховым компаниям. Поскольку для удовлетворения этих исков страховщики были вынуждены покупать доллары, продавая фунты, стоимость фунта в золотом эквиваленте стала падать. В октябре 1906 года, чтобы остановить отток золота, Банк Англии поднял процентные ставки до 6%. Заемщикам стало сложнее брать кредиты и отдавать долги по ним.

Действие золотого стандарта проявилось в том, что, когда Англия чихнула, Штаты простудились. В марте 1907-го рухнула нью-йоркская биржа, а в мае на спад пошла экономическая активность. Эта рецессия привела к последней и самой серьезной банковской панике — панике 1907 года, которая задела в первую очередь нью-йоркские трасты. В результате возникших кредитных ограничений обанкротились тысячи банков и предприятий по всей Америке. Серьезный экономический спад продолжался более года; деловая конъюнктура

полностью восстановилась лишь в 1910 году. В Англии и в континентальной Европе кризис был еще более глубоким и длительным. С другой стороны, в Каире паника 1907 года была лишь временной.

Через неделю после отъезда с вокзала Паддингтон Шумпетер и его жена сидели на элегантной террасе легендарного отеля “Шепердс”, глядя на суету улицы Аль-Камель, шелкая мухобойками, выслушивая “десятки различных предложений от гидов и торговцев”³⁴ и впитывая — параллельно с употреблением напитков — “особую колониальную атмосферу Каира”³⁵. Молодые и прекрасные, они превосходно вписывались в эту многонациональную среду, где, как писал лондонский “Тревелер”, “американцы, британцы, немцы и русские перемешаны с японцами, индийцами, австралийцами, южноафриканцами — преуспевающие, хорошо одетые и красивые представители того, что мы называем цивилизованным обществом”³⁶.

Обвал акций и цен на недвижимость породил гору гражданских исков. Шумпетер поступил на работу в итальянскую юридическую фирму и вскоре представлял европейских бизнесменов перед специфическим Смешанным судом Египта, наследием османской администрации. Здание суда выходило на Атаба-эль-Кадру, где сходились маршруты всех трамваев. Эта самая шумная площадь Каира была полна “гортанных криков уличных торговцев, звона медных подносиков разносчиков воды, гудков автомобилей, звонков трамваев.. шум усугублялся возгласами мужчин и женщин, вступавших в страстные перепалки”³⁷.

Оказалось, что юридическая практика, принося доход, не требовала при этом от Шумпетера полной занятости. Выходя из суда, он не всегда отправлялся в загородный клуб, а часто нырял в свое любимое кафе — ведь Каир, как и Вена, был городом кафе. Эти чисто мужские убежища использовались для игры в шахматы, для ведения дел, как литературные

салоны и — все чаще — как штаб-квартиры фундаментальных исламистов и антиимпериалистических заговорщиков. Попивая турецкий кофе и потягивая кальян, который, как и в Вене, передавался по кругу, Шумпетер писал быстро и аккуратно — его перо так и летало по бумаге.

“Немецкие экономисты толком не знают, чем занимается “чистая” экономика”, — отмечал двадцатичетырехлетний автор. Шумпетер хотел, чтобы его книга стала поводом для критиков, особенно для немецких экономистов, “понять, а не бороться; изучить, а не критиковать; анализировать и выяснить, что правильно... а не просто принять или отвергнуть” экономическую теорию; книга должна была опровергнуть популярное в немецких университетах представление, что “английская”, или теоретическая, экономика была умирающей дисциплиной³⁸. Конечно, “экономика, как механика, описывает статическую картину, в отличие от биологии, которая рассказывает историю эволюции”³⁹. Она не может пролить свет на динамические процессы, которые изменили сначала Британию, потом Францию, Германию и Австро-Венгрию, а теперь и Египет. Но этот недостаток экономической теории был аргументом в пользу создания новой, динамической теории, а не отказа от теоретической экономики как таковой.

В последней главе своей книги о будущем экономики Шумпетер ставил два вопроса. Во-первых, можно ли доказать существование *экономического* развития, то есть обосновать рост именно *экономическими*, а не демографическими, политическими или иными внешними причинами? Во-вторых, можно ли разработать правдоподобное описание экономической эволюции в предположении, что сохранится существующая социальная система — капитализм в сочетании с демократией? Он был убежден, что ответы на оба вопроса должны быть утвердительными.

В марте 1908 года, едва он успел отправить свою 600-страничную рукопись в немецкое издательство, как с юга подул сирокко, и Шумпетера свалила мальтийская лихорадка — из-

нурительная, часто смертельная бактериальная инфекция. Вездесущая пыль, испепеляющая жара и опасность осложнений убедили его, что пора возвращаться в Лондон. Обе цели поездки в Каир были достигнуты: он закончил свою первую книгу и если не стал богатым, то по крайней мере снова располагал некоторыми средствами. Его юридическая практика была успешной, и к тому же, завоевав доверие одной из дочерей хедива, он стал управляющим ее инвестициями. Как он впоследствии вспоминал, ему удалось заработать существенную сумму, удвоив доход от сдачи в аренду ее недвижимости и предсказав реорганизацию сахаро-рафинадного производства⁴⁰. В октябре 1908 года он уже жил в Лондоне, восстанавливая здоровье в доме своего шурина и лелея план возвращения в Вену.

К февралю 1909 года он был уже достаточно здоров, чтобы прочесть в Университете Вены “квалификационную” лекцию “О природе и сути экономической теории”. Выступление вызвало восторженные отклики и принесло ему звание приват-доцента. Отзывы на его книгу были не такими единодушными, хотя она произвела впечатление даже на критиков. К его огорчению, родной университет не пригласил его на работу. Вместо престижной должности в одной из великих европейских столиц ему пришлось довольствоваться местом адъюнкт-профессора в отдаленном уголке империи, напомиравшем место, где он родился.

Черновцы были городом разноязычных мигрантов, местный университет возник недавно и не пользовался особым авторитетом. Жители делились на немцев-протестантов, говоривших по-немецки евреев и румынских католиков; большинство приехало сюда относительно недавно, и многие стремились переехать в Вену, Париж или Нью-Йорк. Отчасти потому, что мало кто пустил там глубокие корни, ни одна из этнических и религиозных групп не доминировала над остальными, никто не пытался обращать других в свою веру — людям хватало

энергии только на работу в своих магазинах и на предприятиях да на воскресные прогулки в городском парке. Шумпетер выражал свое недовольство, изменяя Глэдис, пренебрегая коллегами и нарушая все возможные приличия. Он шокировал преподавателей, появляясь на собраниях в бриджах для верховой езды, а однажды вызвал на дуэль университетского библиотекаря.

Вспоминая о годах (1902-1909), проведенных в патентном бюро в Берне, Альберт Эйнштейн заметил, что одиночество и монотонность провинциальной жизни стимулировали его “творческое мышление”. Он советовал другим ученым, стремящимся создать гениальные работы, подолгу пребывать в вынужденной изоляции, нанимаясь на временные должности, например смотрителя маяка. Это дает возможность спокойно отдаваться своим мыслям и, конечно, записывать их, отключившись от отвлекающей суеты чужих идей.

Таким уединенным маяком и стали для Шумпетера Черновцы. За два года, проведенные в этом городе, он выделил основное из того, что впитал, увидел, вообразил и обдумал в возрасте 24–26 лет, живя за границей, и на основе этого написал “Теорию экономического развития”.

Для Шумпетера процесс экономического развития не сводился к тривиальному росту масштабов экономики: должна была также развиваться ее структура, повышаться производительность труда рабочих, усиливаться специализация отраслей, усложняться финансовая система. Он считал само собой разумеющимся, что цель производства — это “удовлетворение потребностей”⁴¹ и что повышение уровня жизни является следствием развития. Но само развитие не сводилось “просто к росту населения или благосостояния”. В стране с быстро растущим населением объем производства может увеличиваться, не вызывая соответствующего повышения среднего уровня зарплат или потребления. Империи-хищники, подобные

Древнему Египту, могли обогащаться за счет слабых стран без повышения уровня производительности труда. Новые малонаселенные территории могут процветать без развития специализации и при низкой степени взаимозависимости.

Способность страны обеспечивать своим гражданам высокий уровень жизни определяется, во-первых и в основном, ее производственными мощностями, которые позволяют ей производить все больше и больше с теми же ресурсами (как горшочку с кашей из сказки братьев Grimm). На глазах у Шумпетера производительность труда в пересчете на одного работающего удвоилась или утроилась — после почти двух тысяч лет стагнации от рождения Христа до рождения королевы Виктории. Поэтому для него развитие экономики было реальностью, а не теоретической возможностью. Он рассуждал, как Марк Твен, который в 1897 году заявил, что “со времени рождения королевы мир продвинулся больше, чем за все предыдущие две тысячи лет, вместе взятые”⁴². Мальтус и Милль, напротив, “жили на пороге самых впечатляющих экономических взлетов за всю историю человечества. Многочисленные возможности превращались в реальность прямо у них на глазах. Тем не менее они не видели ничего, кроме задавленных нуждой людей, со все большим трудом добывающих хлеб насущный. Они были уверены, что технический прогресс не сможет противодействовать роковому закону о снижении нормы прибыли и что до стационарного состояния рукой подать”⁴³.

Уже нельзя было отрицать, как это было возможно в 1848-м или даже в 1867 году, что жизненный уровень обычных людей повысился. В богатых странах резко возросло потребление продовольствия, в частности мяса и сахара, а также одежды и табака. Улучшение питания нашло отражение в демографических показателях: младенческая смертность после 1845 года стала резко снижаться, ожидаемая продолжительность жизни при рождении после 1860 года начала повышаться, средний

рост, уменьшившийся между 1820 и 1870 годами, после 1870-го тоже начал увеличиваться. Бездомные и попрошайки — двойная язва общества — почти исчезли. “Капитализм не случайно, а закономерно, благодаря заложенному в нем механизму, постепенно повышает уровень жизни масс”, — писал Шумпетер. Даже обычно осторожный Альфред Маршалл в 1907 году настаивал, что “закон снижения нормы прибыли в настоящий момент почти не работает”⁴⁴.

Если развитие, как полагал Маркс, происходило в основном за счет глобализации и местные условия мало что значили, средний уровень жизни в разных регионах должен был выравниваться. Но каждый, кто в то время пожил бы в Каире, Лондоне, Черновцах и Вене, был бы поражен резкими различиями в уровне и скорости экономического развития в разных странах. Если в 1820 году средний уровень жизни в самой богатой стране мира — тогда ею еще оставалась Голландия — был примерно в три с половиной раза выше, чем в беднейших странах Африки и Азии, то к 1910 году уровень жизни в богатейших странах превосходил уровень в беднейших уже более чем в восемь раз⁴⁵. Эта разница в уровнях жизни отражала в первую очередь разницу в производительной мощности, а не в территории, природных ресурсах или населении. Для любых конкретных значений капитала и рабочей силы наиболее эффективные страны могли произвести в несколько раз больше, чем наименее эффективные⁴⁶. И что еще важнее, производительность труда в некоторых странах росла в несколько раз быстрее, чем в других. Поэтому вопрос был не в том, какой процесс обеспечит повышение производительной мощности в несколько раз на протяжении жизни двух-трех поколений, а в том, почему этот процесс протекает в одних странах во много раз быстрее, чем в других.

Традиционный ответ гласил, что развитие страны зависит от ее ресурсов. Шумпетер придерживался совсем иной точки зрения: важно не то, что страна имеет, а что она делает с тем, что имеет. Он выделял три *местных* элемента “промышлен-

ной и торговой жизни”, которые двигали процесс: инновации, предприниматели и кредиты. По его мнению, отличительной чертой капитализма были “непрерывные нововведения”, или менитый “вечный поток созидательного разрушения”⁴⁷. Маркс тоже отмечал, что “буржуазия не может существовать, не вызывая постоянно переворотов в орудиях производства”, но он имел в виду в основном фабричную автоматизацию⁴⁸. Шумпетер смотрел на проблему шире. Он понимал под “нововведением” не только открытие само по себе, но и прибыльную реализацию новых идей и включал в это понятие различные типы изменений (новые товары, технологии, источники сырья, рынки и типы организации).

Маршалл, чьим девизом было “природа не делает скачков”, делал упор на постоянные и постепенные усовершенствования, производимые управляющими и квалифицированными рабочими и накапливающиеся со временем⁴⁹. Шумпетер выделял новаторские скачки — резкие, разрушительные и дискретные. “Сколько бы вы ни соединяли почтовых карет, у вас не получится железнодорожный состав, — настаивал он, — ... сутью экономического развития является различное использование предоставленных услуг земли и труда”⁵⁰. Но одними только новыми технологиями нельзя было объяснить, почему одни страны развивались, а другие — нет, потому что новое оборудование и технологии могли распространяться — и распространялись — по всему земному шару. Маркс явным образом отказывал отдельным людям в праве на роли в его экономической драме. Уэбб однажды пожаловалась, что у Маркса “владелец автомата” управляли силы, над которыми он не властен и которые он не может постигнуть, слепо извлекая “прибыль, даже не отдавая себе отчета в существовании каких-либо желаний, требующих удовлетворения”⁵¹. Шумпетер же делал упор на человека. По его мнению, развитие зависело в первую очередь от предпринимательства. Он разделял характерное для немецкой культуры конца XIX века увлечение культом лидера. Прослушав разъяснения Сиднея Уэбба по поводу фабианской

теории о наследственной гениальности как причине неравенства доходов, он заинтересовался работами Фрэнсиса Гальтона, двоюродного брата Чарльза Дарвина, и Карла Пирсона, профессора Лондонской школы экономики, посвященными наследственной гениальности и роли элит.

Шумпетер помещал в центр повествования прозорливого лидера. Задача предпринимателя заключалась в том, чтобы революционизировать производство, используя изобретения или, в более общем смысле, используя новые технологические решения⁵². Это могут быть новые товары (например, автомобили или телефонные аппараты), новые процессы (например, применение цианидного способа добычи золота в Южной Африке), новая организация (например, траст), новый рынок (например, Египет для железнодорожных вагонов или хлопкоочистительного оборудования) или новые источники поставок (например, хлопок из Индии). От автоматического капитализма Маркса и владельца-инженера Маршалла предприниматель Шумпетера отличался желанием “разрушить старые шаблоны мышления и действия” и использовать имеющиеся ресурсы по-новому. Нововведение требует преодоления препятствий, инерции, сопротивления. Для этого нужны исключительные способности и исключительные люди. “Реализация нового плана отличается от действий согласно заведенному порядку так же, как строительство дороги отличается от движения по ней”, — писал Шумпетер⁵³.

Мотивом для его предпринимателей служит не столько любовь к деньгам, сколько наследственная тяга, “азартное желание создать собственную империю”, а также стремление к власти, борьбе и уважению окружающих. И наконец — “радость создания, достижения результатов, да и просто приложения своей энергии и изобретательности”⁵⁴. В то время как Маркс объявлял буржуа паразитом, деятельность которого в конечном счете разрушит общество, Шумпетер взял на вооружение идею Фридриха фон Визера о том, что “развитие есть результат творческой деятельности отдельных людей, прокладывающих

маршруты в неведомые экономические края”⁵⁵. Он не устал подчеркивать “творческую роль класса деловых людей, которую большинство “буржуазных” экономистов постоянно игнорирует”. Он настаивал, что наука и технология являются не независимыми силами, а такими же “продуктами буржуазной культуры”, как и сама “деловая производительность”⁵⁶. Для уничтожения бедности предприниматели сделали больше, чем любое государство или благотворительная организация, хотя многие при этом нажили большие состояния.

Несмотря на свою энергичность, прозорливость и властность, предприниматели могут процветать лишь в определенных условиях. Права собственности, свобода торговли и стабильность валюты — все это важно, но ключевым фактором для их выживания является недорогое и обильное кредитование. Для выполнения своих планов, объяснял Шумпетер, предпринимателю необходимо переключить землю, рабочую силу и оборудование с их текущего использования на то, что соответствует его проектам. Его помощниками являются “банкиры и другие финансовые посредники, которые мобилизуют сбережения, оценивают проекты, управляют рисками, контролируют управляющих, приобретают оборудование и вообще перенаправляют ресурсы из старых каналов в новые”⁵⁷. Несомненно, особая зависимость финансового сектора от конфиденциальности и доверия делает его очень подверженным паникам и крахам. Но без хорошо функционирующих кредитных рынков и прочной банковской системы страна не получит низких процентных ставок и обильных кредитов, необходимых для реализации нововведений. Отличительной чертой успешных стран — это подчеркивал и Ирвинг Фишер — являлось не отсутствие кризисов и спадов, а то, что во время инвестиционных бумов они с лихвой отыгрывают потерянное.

Наивысшие процентные ставки встречались в беднейших странах. Как пишет экономический историк Дэвид Лэндес, “в этих “недоразвитых” странах, где лучи капитализма, выполняя свою загадочную цивилизующую роль, еще не привели

к пробуждению, было мало банков, но много заимодателей, мало инвестиций, но много накоплений, а взамен кредитования процветало ростовщичество”⁵⁸. В Египте предприниматели сталкивались с большими сложностями из-за отсталости местной банковской системы и примитивности кредитных учреждений и бирж. Процентные ставки были в 2–3 раза выше, чем на Западе. Самые лучшие ценные бумаги приносили ежегодный доход 12–20%. Тем временем бедный крестьянин платил 5–6% в месяц.

Показав, что прежняя экономическая теория имела в виду “практически не развивающуюся систему”, Шумпетер смог на ее основе сформулировать другую — подходящую для общества в движении. Он показал, как экономика может производить больше с теми же самыми ресурсами за счет выработки новой, более специализированной структуры. Более того, из его теории следовало, что это доступно любой стране. В теории Шумпетера упор переносился с природных ресурсов на устройство местной деловой среды, из чего следовало, что народы сами управляют своей судьбой. Правительства, желающие процветания своих граждан, должны отказаться от территориальных амбиций и сосредоточить усилия на создании в стране благоприятного делового климата: надежной системы собственности, стабильных цен, свободной торговли, умеренных налогов и последовательного регулирования деловой жизни. Естественных ограничений роста экономики не существует. Человеческие потребности безграничны. Рост доходов и новых желаний обеспечивает такие же возможности для прибыльности предприятий, как и открытие новых территорий. Если создать благоприятные условия для торговли, нововведения могут преодолеть ограничения, обусловленные спецификой населения, территории и ресурсов. Это был заманчивый, романтический и даже героический подход. Шумпетерова формула экономического успеха предусматривала равные возможности, была оптимистична и в принципе не рассматривала войну как необходимый компонент экономического успеха.

Шумпетер закончил “Теорию экономического развития” в мае 1911 года. К тому времени он уже вернулся в Вену, жил в квартире матери и ожидал известия о том, предоставят ли ему освободившееся место в Университете Граца. Это был приятный провинциальный городок, где он провел часть своего детства. Тамошний университет не пользовался особой известностью, зато находился на расстоянии двух с половиной часов езды на поезде от столицы. Его преподаватели не проявили ни малейшей отзывчивости: работа Шумпетера была названа “бессодержательной, абстрактной и формалистской”, голоса были отданы другому кандидату. Только обращение его научного покровителя Бем-Баверка в министерство образования помогло отменить это решение и позволило сбыться мечте Шумпетера: в возрасте двадцати восьми лет он стал самым молодым профессором империи.

Когда осенью 1911 года Шумпетер начал преподавать в Граце, его ждал холодный прием как среди студентов, которые бойкотировали его занятия, так и среди новых коллег. Но эта холодность не шла ни в какое сравнение с тем, что ожидало главный труд его жизни, который был опубликован той же осенью и, как писал Шумпетер позднее, “повсеместно вызвал враждебное отношение”⁵⁹. Даже Бем-Баверк отнесся к новой книге Шумпетера настолько отрицательно, что на следующий год посвятил ее разгрому целых шестьдесят страниц. Еще неприятнее было то, что других откликов практически не было — большинство экономистов ее просто проигнорировало.

Получив предложение провести 1913/14 учебный год в Колумбийском университете в качестве первого австрийского профессора, приглашенного по обмену, Шумпетер охотно согласился. Однако Глэдис дала понять, что не намерена его сопровождать. Их брак дал трещину вскоре после его заключения, возможно, потому, что у английской феминистки и фабианки было мало шансов ужиться с венским аристократом, а может быть, просто потому, что оба (по крайней мере по словам Шумпетера) вступали в другие половые связи. Со-

гласившись с тем, что их брак был ошибкой, он не пытался ее уговаривать. В августе 1913 года он в одиночестве отплыл из Ливерпуля на борту “Лузитании”, а Глэдис продолжила свою прежнюю жизнь в Лондоне.

Творческий отпуск Шумпетера прошел чрезвычайно успешно. Он полюбил Нью-Йорк, а его, в свою очередь, полюбили американцы, очарованные его искрометной манерой говорить и пораженные его личными привычками, например тем, что он ежедневно тратил час на свой туалет. Один коллега из Колумбийского университета назвал его вступительную лекцию “выступлением примечательным и очень необычным — одновременно блестящим и глубоким”⁶⁰.

Увенчало его триумф сообщение президента университета о том, что попечители проголосовали за присуждение ему почетной степени. На него посыпались приглашения прочесть лекции в Принстоне, Гарварде и других университетах. Ирвинг Фишер пригласил его в Нью-Хейвен на День благодарения. За обедом они говорили о возможности войны в Европе. Подобно английскому политику Норману Энджеллу, Фишер был убежден, что экономическая интеграция сделала эту возможность маловероятной. Многие страны, говорил он, теперь настолько зависят от иностранного капитала, что просто не могут позволить себе нарушать правила игры. Шумпетер слушал его скептически.

Перед отъездом из США он не смог отказать себе в удовольствии и проехал по стране на поезде, как ранее это сделал Маршалл. В Вену он вернулся только в августе 1914 года.

АКТ ВТОРОЙ

СТРАХ

Пролог

ВОЙНА МИРОВ

Человечество попытается спасти и сберечь все, что уцелело в катастрофе.

ИРВИНГ ФИШЕР, 1918¹

“Сидней отказывался верить в возможность войны между великими европейскими державами”, — написала Беатриса Уэбб на полях дневника рядом с записью от 31 июля 1914 года². Судя по тому, что рынки акций и облигаций в то время держались вблизи своих исторических максимумов, инвесторы тоже не заметили приближения Великой войны^{*}. Война представлялась явным экономическим самоубийством и, следовательно, была немыслимой. Через неделю после того, как Германия захватила Бельгию, Джордж Бернارد Шоу в журнале “Нью стейтсмен”, основанном им совместно с Уэббами, утверждал, что война закончится в течение нескольких недель. Как заметила Уэбб в начале августа, война казалась “ужасным кошмаром, захватившим все классы, и никто не может понять, как эта катастрофа случилась”³.

Для Уэбб война была “пустым и унылым временем”. Ее политический капитал заметно уменьшился еще до 1914 года

^{*} *Великая война* — перевод названия *Great war*, использовавшегося до Второй мировой войны в англоязычном мире для обозначения Первой мировой войны.

и продолжал скукоживаться. Она надеялась, что им с Сиднеем будет отведена какая-то важная роль в возглавляемом либералами военном коалиционном правительстве Дэвида Ллойд Джорджа. Эти надежды не оправдались, и в итоге Уэббы отправились в довольно бесцельное мировое турне. Когда в 1918 году Беатриса наконец была назначена в комиссию по изучению разрыва между заработными платами женщин и мужчин, она почти сразу же пожалела, что приняла это назначение. “Меня нисколько не интересует эта тема”, — жаловалась она. Она была слишком поглощена мыслями о том, “в каком мире мы будем жить, когда война закончится”⁴.



Джон Мейнард Кейнс, кембриджский преподаватель, государственный служащий, биржевой спекулянт и меценат, был человеком довольно невзрачным и весьма грубым. Эти недостатки он компенсировал умом, чарующим голосом и эффективностью в решении практических вопросов. Его лучшими друзьями, которые неизменно называли его Мейнардом, были художники, писатели, критики — члены так называемого “блумсберийского кружка”. Они рассчитывали, что он будет покупать их картины, консультировать их по вопросам недвижимости, инвестировать средства их траст-фондов — а между собой спорили о том, является он безнадежным обывателем или нет.

Когда в августе 1914 года Великобритания вступила в войну, блумсберийцы тут же согласились с Шоу, что война — это безумие и “выгодна только некоторым капиталистам”⁵. Кейнс сначала поклялся отказаться от военной службы по идейным соображениям, но потом передумал, чем привел своих друзей в смятение. И расстроил их еще больше, приняв предложение тогдашнего министра финансов Дэвида Ллойд Джорджа стать сотрудником его министерства. Кейнс мотивировал свое ре-

шение тем, что хотя война — несомненное зло, его присутствие в правительстве поможет бороться с этим злом.

Министерство финансов должно было не только добиться “максимальных потерь противника при минимальных затратах”, но и обеспечить финансирование войны без ущерба для самой надежной в мире валюты и без угрозы господству Великобритании как банкира для всего мира⁶. Но война затягивалась, Великобритания давала огромные суммы в долг своим европейским союзникам и была вынуждена одалживать еще большие суммы у Соединенных Штатов. Кредиты были настолько велики, пишет биограф Кейнса Роберт Скидельски, что “проблемы межсоюзнических долгов.. стали главным источником раздражения, непонимания и почти непрерывных склок между членами альянса”. За несколько месяцев Кейнс стал самым компетентным специалистом в вопросах межсоюзнических (читай — американских!) кредитов⁷. Обитатели министерских комплексов на Уайтхолле общались между собой с помощью служебных записок, а по этой части Кейнс был мастер. Его энергия, уверенность и хладнокровие казались неиссякаемыми.

Сверхъестественную способность Кейнса охватывать взглядом всю картину в целом хорошо иллюстрирует один эпизод в конце войны. В начале весны 1918 года немцы, застав союзников врасплох, прорвали Западный фронт, и вскоре десятки тысяч немецких солдат оказались всего в нескольких милях от Триумфальной арки. Париж обстреливался днем и ночью. Страх перед гаубицами “Большая Берта” добрался до Лондона. Если Париж падет, с тревогой размышляли британцы, немцы могут переместить орудия на берег Ла-Манша и обстреливать южные графства.

Кейнс же в это время был слишком увлечен предложением одного из своих друзей-блумсберийцев, чтобы предаваться тревожным мыслям. Художник и критик Роджер Фрай предупредил его, что на продажу вот-вот будет выставлена выдающаяся коллекция холстов. За свою долгую карьеру Эдгар Дега собрал сотни работ Мане, Коро, Энгра, Делакруа и других

и не расстался практически ни с одной из них. Все эти сокровища должны были пойти с молотка в галерею Ролана в Париже 26 и 27 марта.

Увидев возможность спасти кусочек цивилизации, которую он любил и во имя которой воевала его страна, Кейнс не стал колебаться. Он немедленно связался с директором Национальной галереи Чарльзом Холмсом и попросил его убедить военный кабинет выделить 20 000 фунтов стерлингов в счет военных расходов. Предвидя, что руководство казначейства может не одобрить такие экстравагантные расходы в пору общенациональных лишений, Кейнс, как рассказывает Роберт Скидельски, представил их как страховку от дефолта: “Согласно нашей договоренности с министерством финансов Франции, мы имеем право на зачет британских государственных расходов во Франции в счет наших кредитов” — так начал он свою записку министру финансов. К этому моменту Франция задолжала Великобритании такие несусветные суммы, что вероятность получения хотя бы процентов по долгу, не говоря уже о выплате самого долга, выглядела крайне низкой. И Кейнс сказал, что гораздо лучше собирать “бесценные картины, чем сомнительные французские облигации”⁸.

Спустя несколько дней он послал своему бывшему любовнику Дункану Гранту, а в то время любовнику Ванессы Белл, победную телеграмму: “Деньги на картины выделены”⁹. Параллельно он умудрился выбить для себя и Холмса приглашения на конференцию союзников в Париже. Они пересекли Ла-Манш в сопровождении “эсминцев и серебристого дирижабля над головой” и отправились на поезде в Париж¹⁰. Чтобы избежать наплыва французских торговцев и любознательных британских журналистов, Холмс нацепил фальшивые усы и бакенбарды; кроме того, и он, и Кейнс путешествовали под чужими именами. Их хитрость оказалась настолько успешной, что через два дня, сразу после закрытия аукциона, Кейнс радостно писал матери: “Я купил четыре картины себе и еще двадцать с лишним — государству”¹¹.

На самом деле он вернулся домой с одним из яблочных натюрмортов Сезанна и двумя работами Делакруа, в то время как сэр Чарльз Холмс приобрел для Национальной галереи двадцать семь рисунков и картин, в числе которых были натюрморт Гогена и “Женщина с кошкой” Мане. Страх перед немецкой оккупацией вызвал резкое падение цен, и Холмс смог уложиться в половину выделенной ему суммы, что особенно обрадовало Кейнса. После его возвращения из Франции Ванесса Белл писала Роджеру Фрау: “вчера поздно вечером совершенно неожиданно вернулся Мейнард — его высадили у въезда в переулок... и сказал, что оставил Сезанна на обочине дороги! Дункан тут же бросился туда, чтобы забрать холст”¹².

Англофил и сторонник конституционной монархии, Йозеф Шумпетер был в ужасе, когда Австрия и Германия вступили в войну союзниками. Получив в декабре 1914 года призывную повестку, он сразу же подал заявление о бессрочном освобождении от военной службы на том основании, что он был единственным преподавателем экономики в Университете Граца. По словам его биографа Роберта Лори Аллена, он рассчитывал на роль консультанта при правительстве и проводил в Вене столько времени, сколько ему позволяли обстоятельства, обхаживая политиков всех мастей. (Он был столь же неразборчив и в личной жизни, и Глэдис объявила о своем намерении навсегда остаться в Англии, хотя и не дала согласия на формальный развод.) Но Шумпетер оказался слишком радикальным для своей собственной консервативной Христианско-социальной партии и слишком консервативным для социалистов. Чем дольше тянулась война, тем больше он расстраивался из-за того, что “полностью лишен возможности приносить пользу”.

Будучи противником войны, Шумпетер убеждал императора и его советников заключить сепаратный мир с союзниками — Франц Иосиф действительно чуть не решился

на это, — а также искать союза с Англией после войны. Накануне капитуляции Шумпетер вел борьбу на два фронта: как против все более популярной концепции послевоенного экономического и политического союза с Германией, “аншлюса”, так и против все более безнадежных взглядов австрийского среднего класса на будущее демократии и частного предпринимательства в Европе. В последний год войны он занимался прогнозированием проблем, с которыми австрийскому правительству предстояло столкнуться после ее окончания.

За полгода до прекращения военных действий, на публичной лекции в Венском университете, Шумпетер предложил план послевоенного восстановления экономики. Как и Кейнс, он был оптимистом. В книге “Кризис налогового государства”, написанной им на основе этой лекции, он отрицал неизбежность социализма и предсказывал, что капиталистическое государство всеобщего благосостояния, которое он называл налоговым государством, сможет пережить войну. Кризис, согласно его прогнозам, может возникнуть не в результате торжества социализма, но как следствие разрыва между запросами избирателей и их готовностью платить налоги. Основная задача демократических правительств будет состоять в том, чтобы избежать хронического дефицита бюджета и инфляции.

Даже молодежь, пережившая победу “грубости, жестокости и лжи” над цивилизацией, предполагала, что цивилизация в конечном счете придет в себя¹³. 31 августа 1918 года сотни солдат томились на железнодорожной платформе на альпийском курорте, где четыремя годами ранее император объявил войну Сербии. Человек примечательной внешности — невысокий, подтянутый, излучающий нервную энергию, сухопарый, с сединой и холодными голубыми глазами, в форме императорской армии — уверенно направился сквозь толпу к тощему молодому капралу. “Ваша фамилия не Хайек?” — спросил он его. “А ваша не Витгенштейн?” — отозвался тот¹⁴.

Хайеки и Витгенштейны принадлежали к числу самых известных семейств Вены. Первые — высшие государственные служащие и ученые, вторые — богатые промышленники и коллекционеры. Фридрих фон Хайек и Людвиг Витгенштейн были двоюродными братьями, хотя по возрасту Витгенштейн вполне мог быть дядей Хайека. Раньше они едва ли обменивались несколькими словами на семейных встречах, но оба, с разницей в несколько недель, добровольно отправились на войну, отчасти в надежде на то, что, заглянув в лицо смерти, смогут стать лучше. Оба они месяцами жили впроголодь, без нормальной одежды, без жилья, с инфлюэнцей, малярией, в условиях нарастающей межэтнической напряженности. Оба участвовали в катастрофическом наступлении у реки Пьяве, этой последней отчаянной и безнадежной судороге австро-венгерской армии. Они видели, как их товарищи по оружию шли через кишящие комарами болота с соленой водой, держа винтовки над головой, пока в какой-то момент не падали. И, в отличие от 100 тысяч бойцов имперской армии, они выжили.

Хайек рвался в Вену, чтобы узнать, приняли ли его на службу в авиацию. Витгенштейн взял отпуск, чтобы встретиться с издателем, заинтересовавшимся рукописью, которую он носил в своем вещмешке. Это был “Логико-философский трактат”, который вскоре признают одним из самых значительных философских сочинений XX века. В поезде на Вену они сели в одно купе и, пока поезд сквозь ночь катился на восток, разговаривали.

Витгенштейн без устали говорил о Карле Краусе, который в своем антивоенном журнале “Факел” высмеивал лживую австрийскую печать и утверждал, что “долг таланта” — искать и распространять истину. Хайека расстраивал мрачный взгляд Витгенштейна на будущее, но в то же время он был глубоко впечатлен его “всепоглощающей страстью к истине”¹⁵. В Вене их дороги разошлись. В следующую мировую войну Хайек выполнит свой долг в отношении истины, написав “Дорогу к рабству”.

Лучшим и самым ярким представителем поколения, не успевшего поехать по причине молодости, был Фрэнк Рамсей, протеже Мейнарда Кейнса. Как и Кейнс, Рамсей происходил из старинного кембриджского рода. Его отец был главой одного из колледжей, а младший брат позже стал архиепископом Кентерберийским. Нескладный, но блестящий юноша, в шестнадцать лет Рамсей помогал переводить “Трактат” Витгенштейна, а в девятнадцать так убедительно раскритиковал диссертацию Кейнса по теории вероятности, что тот полностью отказался от мысли о карьере математика. Ему было поручено сделать новую редакцию “Начал математики”, довоенного труда Бертрانا Рассела и Альберта Норта Уайтхеда, в котором они пытались свести всю математику к нескольким логическим постулатам.

Когда началась война, Рамсею было одиннадцать. Война пробудила в нем — как и во многих его соучениках — радикальные настроения: он огорчил директора школы, выразив намерение переключиться с математики на экономику, которая, по его мнению, с большей вероятностью могла сделать этот мир лучше. Однако вместо того чтобы специализироваться в одном направлении — в математике или в экономике, Рамсей стал философом, причем выдвинул оригинальные идеи в обеих дисциплинах. До своей трагической смерти от неудачной операции в возрасте двадцати шести лет он успел опубликовать в “Экономик джорнел” лишь две работы, но обе они, как и предсказывал Кейнс, стали классикой.

Свободный духом, страстно увлекавшийся литературой, психоанализом и множеством обожавших его женщин, Рамсей олицетворял общий подход Кейнса: несмотря на ограничения формальной логики, для социальных проблем всегда можно найти творческое решение. Еще студентом он был равнодушен к тезису (вроде бы подтвержденному мировой войной), что будущее человечества будут определять некие могучие и безличные силы, неподконтрольные людям. Выступая на собрании тайного кембриджского “Общества апостолов”, чле-

нами которого в студенческие годы были также Кейнс и Рассел, Рамсей заявил, что “ширь небес” его не пугает. “Звезды, может быть, огромны, но они не могут ни думать, ни любить, а эти качества впечатляют меня гораздо сильнее, нежели размеры”, — сказал он. И добавил: “Моя картина мира построена с учетом перспективы — масштаб в ней не соблюдается. На первом плане в ней люди, а любая звезда — не больше трехпенсовой монетки”¹⁶.

Потрясенный колоссальными людскими и материальными потерями в ходе войны, Ирвинг Фишер с удвоенной энергией трудился в сфере общественного здравоохранения и в послевоенной Лиге поддержания мира. В 1914–1918 годах он помог создать Институт продления жизни, целью которого было распространение передового опыта в области личной гигиены, “сохранения здоровья... и повышения жизненного тонуса”¹⁷; он стал соавтором бестселлера “Как надо жить” о том, что сегодня назвали бы здоровым образом жизни, и развернул серьезную кампанию за запрет алкоголя. И, даже призывая Америку вступить в войну против Германии, он выражал сожаление по поводу негативных “евгенических” последствий отправки на войну лучших представителей молодого поколения, которым предстояло погибнуть или быть искалеченными на полях сражений. Он возглавил рабочую группу, которая добивалась принятия законов об охране труда, автоматическом повышении заработной платы по мере роста стоимости жизни и всеобщем медицинском страховании. Как ни странно, война, казалось, не ослабила, а наоборот, укрепила его веру в современную науку и в возможность улучшения человеческой природы и породы.

Но прежде чем война закончилась, он перенес тяжелый удар судьбы, который вполне мог бы побудить человека не столь самоуверенного усомниться в правильности своих взглядов. В конце весны 1918 года, после нескольких месяцев

изматывающего беспокойства, он был вынужден взглянуть в лицо правде и осознать, что его двадцатичетырехлетняя дочь Маргарет, с которой у него были очень близкие отношения и которая незадолго до этого обручилась, по-видимому, страдает неизлечимым душевным заболеванием. Вскоре после того, как ее жених получил офицерское звание, она стала беспрестанно говорить о странных предзнаменованиях, о Боге и бессмертии, о своей уверенности в том, что ее жених будет убит¹⁸. Когда стало очевидно, что она “слышит голоса”, а ее поведение становится все более странным, Фишер привез ее в психиатрическую клинику “Блумингсдейл” в Северном Манхэттене. Диагноз был ужасным: *dementia praecox* — в то время так называли шизофрению. Не в силах смириться с тем, что Маргарет вряд ли выздоровеет, он использовал все свои связи в медицинском сообществе, надеясь получить более обнадеживающий прогноз.

Вскоре он нашел Генри Коттона, главного врача больницы штата Нью-Джерси в Трентоне, который утверждал, что добился невероятных успехов в лечении шизофрении. Известный психиатр и реформатор от медицины, Коттон был убежден, что психические заболевания связаны с “очаговыми инфекциями”. От других исследователей, придерживавшихся аналогичных взглядов, он отличался тем, что стремился активно применять свои теории на практике, решительно удаляя своим пациентам инфицированные зубы, миндалины, толстую кишку и репродуктивные органы. Он утверждал, что с начала войны полностью вылечил сотни безнадежных больных.

Именно это и хотел услышать Фишер — отец, отчаянно пытавшийся сохранить свое чадо и истово веривший в чудеса современной медицины. Окрыленный тем, что нашел человека, который обещал вылечить его дочь, Фишер в марте 1919 года привез ее к Коттону на лечение. Когда врач сообщил о наличии у нее “типичной кишечной палочки”, Фишер согласился с его лечебными рекомендациями. Коттон немедленно удалил Маргарет два зуба мудрости. Когда выяснилось,

что ни апатия, ни бред, ни подозрительность, ни спутанность сознания не проходят, он удалил ей шейку матки. До и после этой операции ей неоднократно делали прививки ее же собственным стрептококком, последний раз в сентябре. Позже, выступая в Принстоне, Коттон вынужден был публично признать, что лечение пациентки №24 оказалось “провальным”: 19 ноября 1919 года, в возрасте двадцати пяти лет, Маргарет умерла от сепсиса¹⁹.

Фишер был совершенно подавлен. Тем не менее он не подверг сомнению ни правильность “лечения” Коттона, ни его заключение, гласившее, что причиной психоза Маргарет и косвенной причиной ее смерти было нежелание ее родителей своевременно разобраться с ее больными зубами мудрости в сочетании с ее склонностью к запорам. Его безграничная вера в медицинскую науку также не была поколеблена. Разве что кампания Фишера стала более неистовой. Он снова и снова говорил себе, что из двух катастроф, которые, в его представлении, были неразрывно связаны между собой — смерти Маргарет и войны — должно произрасти нечто хорошее. Он предсказывал, что общество войдет в фазу “сохранения жизни” и будет использовать науку для продления жизни и улучшения здоровья: “Захватив на время значительную часть мира, война уничтожила и покалечила большую часть захваченного, — говорил он. — Человечество попытается спасти и сберечь все, что уцелело в катастрофе”²⁰.

А катастрофа оказалась чудовищной: 8,5 миллиона погибших и 8 миллионов инвалидов, в основном молодых людей. Девять из десяти солдат австро-венгерской армии и почти три четверти солдат французской армии были убиты, ранены, захвачены в плен или пропали без вести. “Военные потери нашей семьи — трое убитых, четверо раненых и двое с серьезными травмами, из семнадцати племянников, надевших военную форму, — писала Уэбб. — Каждый день я встречаю печальных

женщин с изможденными лицами и вялыми движениями, и не смею спросить такую о муже или сыне”²¹.

Мировая война обернула вспять глобализацию, остановила экономическое развитие, разорвала материальные, финансовые и торговые связи, обанкротила правительства и частных коммерсантов и заставила слабые или популистские режимы полагаться на отчаянные меры, которые должны были предотвратить революции, но сплошь и рядом приближали их. Когда война закончилась, и победители, и побежденные были парализованы колоссальными долгами в сочетании с жестокими приступами инфляции и дефляции. Нищета, голод и болезни, все ужасы, описанные Мальтусом, казалось, снова преследовали людей. Жители великих столиц Европы — как Лондона и Парижа, так и Берлина и Вены — поневоле осознавали, что они сами и их страны стали намного беднее. Вирджиния Вулф не могла отрешиться от размышлений о войне и ее разрушительных последствиях. В ее романе “По морю прочь”, опубликованном в 1915 году, обеспеченная матрона из Вест-Энда обнаруживает, что “... быть бедной — это, в конце концов, обычнейшая вещь, что в Лондоне живет несметное число бедных людей”. Десятью годами позже, в романе “Миссис Дэллоуэй”, “война закончилась” для всех, кроме ее жертв, таких как ветеран Септимус Смит, то и дело заговаривающий о самоубийстве, и обедневшая и сведенная с ума социалистка Дорис Килман, продолжающая страдать и через пять лет после перемирия. В романе “На маяк” миссис Рэмзи и ее семью преследует угроза туберкулеза, еще одного наследия войны.

Война нанесла удар по легитимности частной собственности, свободных рынков и демократии, в то же время придав мощный импульс агрессивным революционным движениям от Москвы до Мюнхена. “Люди везде радуются, — с беспокойством заметила Беатриса Уэбб в день перемирия. — Повсюду рушатся троны, а собственники втайне дрожат”²². Йозеф

Шумпетер и Мейнард Кейнс, каждый со своих позиций соответственно в Австрии и в Англии, пытались убедить своих соотечественников, что политическое исцеление, как и сдерживание опасных революционных страстей, произойдет лишь в случае успешного восстановления экономики. А для оживления мировой экономики союзникам придется провести политические границы, которые имели бы экономический смысл, утверждали они; и что еще более важно, придется отказаться от иллюзии, что взыскание репараций с проигравших позволит восполнить собственные потери. Оба экономиста признавали необходимость стабилизации национальных валют, восстановления кредитных потоков и устранения торговых барьеров.

Философ Бертран Рассел был в числе многих западных интеллектуалов, которые были убеждены, что “Великая война показала, что с нашей цивилизацией что-то не так”²³. Его первой реакцией на известие о большевистской революции был осторожный оптимизм. Он готов был поверить, что Советская Россия если не земля обетованная, то как минимум грандиозный футуристический эксперимент. Но в отличие от многих других людей, для которых действительностью становятся их собственные надежды и опасения, он решил повременить с окончательным суждением до тех пор, когда сможет как следует изучить новое общество, которое, по их собственным утверждениям, строили революционеры.

Глава VI

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ШУМПЕТЕР В ВЕНЕ

Час социализма еще не пробил.

ЙОЗЕФ ШУМПЕТЕР, 1918¹

Если Австрия в руинах.. я думаю, там много материалов, с помощью которых можно будет поднять ее из руин.

ФРЭНСИС ОППЕНГЕЙМЕР,
представитель казначейства
Великобритании, 1919²

Когда 11 ноября 1918 года было объявлено перемирие, Лондон, как писала Уэбб, взорвался “шумом, как из преисподней”. В Париже “безумное празднество” длилось до рассвета. Облегчение чувствовалось даже в Берлине: его жители радовались прекращению убийств и избавлению от династии, которая втянула их в войну³. Из четырех великих европейских столиц молчала только Вена. Перед зданием парламента на Рингштрассе собралась огромная серая толпа. Несколько солдат сорвали имперского орла со своей формы и принуждали других делать то же самое. Километрах в полутора оттуда Зигмунд Фрейд в своем кабинете на Берггассе записал в карманном дневнике: “Конец войны”. Характерно, что он не использовал слова “мир”⁴.

Через несколько недель многонациональная Австро-Венгерская империя окончательно распалась. Вена, в которой было примерно столько же жителей, сколько и в Берлине, вдруг оказалась столицей “изуродованной и обедневшей республики” с населением в 6 миллионов и территорией, составившей одну десятую территории бывшей империи. После заключительной сессии имперского парламента, на которой законодатели швыряли в ораторов чернильницы и портфели, Чехословакия, Венгрия и будущая Югославия отделились, забрав себе многие земли с немецкоязычным населением. В результате оказалось, что восточная и северная границы Австрии теперь проходят практически по внешним контурам пригородов Вены⁵. Более того, новые соседи постоянно оспаривали даже эти границы, угрожая вторжением. Австрия же была не в состоянии защитить себя и не могла угрожать в ответ. К 12 ноября, после того как император с семьей тихо ускользнул в изгнание и власть официально перешла к новому, республиканскому правительству, четырехмиллионная австро-венгерская армия полностью развалилась. В промежутке между предложением перемирия и его подписанием несколькими днями спустя сотни тысяч солдат были заключены в итальянские лагеря для военнопленных. Большинству из них удалось попасть домой только через несколько лет.

Революционный пожар, вспыхнувший вследствие поражения и голода в Санкт-Петербурге в феврале 1917 года, теперь распространялся на запад — в Будапешт, Берлин и Вену. Во временном правительстве Австрии тон задавали два марксиста. Большинство наблюдателей с января 1918 года воспринимали коммунистический путч как неизбежность. Через неделю после Нового года активисты организовали забастовку на заводе “Даймлер-Бенц” в знак протеста против сокращения рациона муки вдвое. Полмиллиона мужчин и женщин, которые были мобилизованы имперскими властями для работы на заводах по производству боеприпасов, покинули свои предприятия. Множились слухи о неизбежности восстания в Венгрии и революции в Германии.

Город с опаской ожидал возвращения разбитых войск бывшей империи. В книге “Последние дни человечества” антивоенный сатирик Карл Краус предупреждал, что озлобленные, полуголодные и вооруженные орды превратят Австрию в сплошное поле боя. “Война... покажется детской игрой по сравнению с миром, который вот-вот разразится”⁶. Сотни тысяч мужчин, среди которых был и девятнадцатилетний Фридрих Хайек, покинули свои части на Падано-Венецианской равнине и присоединились к “голодному, дезорганизованному и недисциплинированному” массовому исходу на север. По пути они меняли военных лошадей, машины и артиллерию на еду, грабили магазины или просто поджигали их. В начале ноября вся эта масса пыталась протиснуться в единственный узкий выход из Италии через перевал Бреннер, чтобы попасть в Инсбрук. Вооруженные солдаты захватывали поезда. “Крыши, платформы, буфера, ступени вагонов, даже паровозы увешаны солдатами, — сообщал один корреспондент. — Издалека поезд выглядит как несущийся на бешеной скорости пчелиный рой”⁷. Сотни людей срывались и гибли, когда поезда с ревом уходили в туннели и под мосты, их телами пестрели насыпи по обе стороны дороги.

Государственные служащие уже не существующей империи, преисполненные решимости уберечь Австрию от исчезновения в пучине “кровавой анархии”, старались хотя бы обеспечивать движение поездов. Как-то один британский коммерсант сообщил, что по линии Триест — Вена примерно через каждые двадцать минут отправляется 70–100 тысяч человек. Опасаясь анархии и захвата власти коммунистами, чиновники создали на окраинах Вены склады, где солдаты сдавали оружие, прежде чем войти в город. В самом городе полиция продолжала исполнять свои обязанности. После того как отряды Красной гвардии “освободили” несколько продовольственных и оружейных складов, социал-демократическое правительство спешно набрало безработных заводских рабочих в отряды народной милиции. Благодаря этим мерам, а также страст-

тому желанию венгерских, чешских и югославских солдат как можно быстрее вернуться домой обстановка в Вене оставалась относительно спокойной.

Приезжавшие в Вену солдаты попадали в, по существу, осажденный город. В этом городе — с максимальной среди европейских городов долей среднего класса — практически не было ни еды, ни топлива. Почти с самого момента провозглашения новой республики из Вены не вывозились промышленные товары, а в нее не поставлялись ни мясо, ни молоко, ни картофель, ни уголь. Никогда еще с 1683 года, когда Вена на короткое время была окружена турками-османами, она не была настолько отрезана от внешнего мира. Выехать в Мюнхен, Цюрих или даже соседний Будапешт стало почти невозможно. Почтовое сообщение было крайне нерегулярным. Телеграммы добирались до места назначения за две-три недели, а то и вообще пропадали. Посылки приходили без содержимого или не приходили вовсе. “Не кормите таможенных чиновников и железнодорожников”, — предупреждал Фрейд своих родственников в Англии⁸.

Само собой разумеется, городу с двухмиллионным населением нужно где-то покупать продовольствие. До войны Вена и альпийские провинции получали почти весь необходимый картофель, молоко и сливочное масло, а также треть поставок муки и две трети мяса из не говоривших по-немецки областей империи⁹. Но в середине войны Венгрия прекратила экспортировать товары в Австрию. А теперь блокаду ввели и другие новые соседи австрийцев, прежде всего Чехословакия и Югославия. Как писал британский высокий комиссар, “на протяжении сотен лет торговля шла по определенным каналам и коммуникации развивались в соответствии с этим. И вот эти каналы и коммуникации неожиданно были заблокированы... В результате рядом с регионами с излишками продовольствия есть регионы, где люди голодают”¹⁰.

При этом в Австрии было много оружия, соли, древесины и промышленных изделий на продажу; в Чехословакии были овощи, картофель, сахар и уголь, в Венгрии и Югославии — молоко. Но все старания временного правительства наладить бартерную торговлю с новыми государствами были напрасны из-за националистической политики последних и их опасений по поводу возможной нехватки ресурсов для собственных нужд.

И это еще не все. Союзники объявили, что будут продолжать начатую во время войны блокаду Германии, пока центральные державы не подпишут условия мира, предложенные победителями — странами Антанты. Это означало, что единственная страна, по-прежнему готовая продавать Австрии продовольствие, не могла этого делать. Герберт Гувер, которого американское правительство прислало в Европу с инспекцией, с горечью заметил: “Миротворцы сделали все возможное, чтобы оставить [Австрию] без еды”¹¹.

В довершение всего сельские провинции Австрии ввели неофициальную блокаду Вены. Некоторые из них вообще угрожали объединиться с Германией или Швейцарией. Война разрушила австрийское сельское хозяйство. Мужчин не было дома, и работать на полях было некому. Крупный рогатый скот, главный источник удобрений, в войну забивали, чтобы обеспечить армейские поставки. Государство принуждало крестьян продавать продукты по регулируемым ценам, что привело к сокращению посевов и накоплению запасов. По мере обострения продовольственного кризиса, особенно в последний год войны, сельские районы начали сами принимать необходимые меры: вводили местные запреты на вывоз продовольствия, принимали законы, запрещающие приезд туристов, останавливали и обыскивали людей, чтобы не допустить вывоза продуктов из своего района.

Новое правительство унаследовало неподъемные военные долги, но не золотой запас, на который можно было бы купить еду для своих граждан. Правительства Венгрии и Чехословакии захватили остатки золота, хранившиеся в центральном

банке. Гувер прибыл в Париж в середине декабря, чтобы запустить программу оживления торговли продуктами питания и, при необходимости, обеспечить продовольственную помощь. Он был потрясен состоянием австрийских финансов: "Граждане, которые платили налоги, чтобы платить жалованье военным и чиновникам, вышли из игры. Государство — которое платило зарплату военным, железнодорожникам — было банкротом"¹².

Серьезная нехватка продовольствия возникла почти сразу с началом войны. Еще в 1915 году на смену венским воздушным булочкам пришел бурый "военный хлеб"; обычным явлением тогда же стали и "постные недели". Все стало "эрзац": не только хлеб, сделанный "из чего угодно, кроме муки", свидетельствовал Стефан Цвейг, австрийский журналист и писатель, но и "кофе — поило из обожженного ячменя, пиво — желтая водичка, шоколад песочного цвета"¹³. Меры правительства по реквизиции и распределению только увеличивали долю продуктов, уходивших на черный рынок. Но и теперь, несмотря на окончание боевых действий, запасы в городе продолжали сокращаться. Людвиг фон Мизес, ведущий австрийский экономист, вспоминал, что "ни разу в течение первых девяти месяцев перемирия в Вене не было запаса продуктов более чем на восемь-девять дней"¹⁴. На правительственных складах (а это был единственный законный источник продовольствия) хранилось ничтожное количество квашеной капусты и "военного хлеба" для раздачи домохозяйкам, которые стояли в очередях по несколько часов. Хлебный паек составлял около 180 граммов в день на человека — менее четверти среднего потребления до войны. Мясной рацион составлял 10% от довоенного уровня. Молоко выдавалось только детям до года. По оценкам одного из экспертов, среднесуточное потребление составляло чуть больше тысячи калорий — этого было достаточно для поддержания жизни в течение всего лишь нескольких недель.

Люди на улицах были бледными и вялыми, а дети выглядели года на три моложе своего возраста. "Сейчас мы факти-

чески едим самих себя, — писал Фрейд другу. — Все четыре года войны были шуткой по сравнению с горькой тяжестью этих месяцев, и ясно, что следующие будут не лучше”¹⁵. Франц Кафка, работавший клерком в страховой компании, написал рассказ “Голодарь” об искусстве голодания. В районах проживания среднего класса обычным явлением стал туберкулез, хотя перед войной его практически не было. До войны ежедневно хоронили сорок—пятьдесят покойников, а в 1920 году — до двух тысяч. Феликс Зальтен, австрийский театральный критик и писатель, автор знаменитой сказки “Бэмби” (1923), вспоминал, что “слыша о том, что львы, пантеры, слоны, жирафы в затянувшейся агонии умирают от голода в своих клетках в зоопарках, люди лишь пожимали плечами: ведь столько людей лежало в своих кроватях в смертных муках, истощенные, страдающие до самого конца”¹⁶.

Сам город тоже стал чахнуть. У его населения наблюдались классические симптомы голода — усталость, безразличие и пассивность, чередующиеся с приступами мании. Несмотря на приток демобилизованных солдат, имперских бюрократов и нескольких тысяч еврейских беженцев из восточных регионов, спасавшихся от погромов, население города, которое быстро росло в начале бума 1900-х годов, сократилось на несколько сотен тысяч человек. Как тело, лишенное пищи, начинает поглощать свои мышцы, так вся страна начала жить за счет накопленного ею имущества. Наступил момент, когда правительство объявило, что Австрия готова заложить “что угодно” — замки, дворцы, охотничьи домики, охотничьи угодья и даже резиденции Габсбургов¹⁷.

Страдания, обусловленные продовольственной блокадой, усугублялись “холодной блокадой”. Через неделю после заключения перемирия угля для отопления квартир уже не было, а для приготовления пищи его оставалось лишь на неделю. Еженедельная норма расхода топлива соответствовала одной 25-ваттной лампочке в квартире, одной свече и топливу в объеме чуть больше чашки. Ванны и даже прачечные стали



Во времена
Джейн Остин
“девять десятых
человечества”
были обречены
на пожизненный
тяжкий труд.

Всего поколение спустя Чарльз
Диккенс уже был убежден, что
“мы движемся в правильном
направлении — к более
совершенному состоянию
общества”.





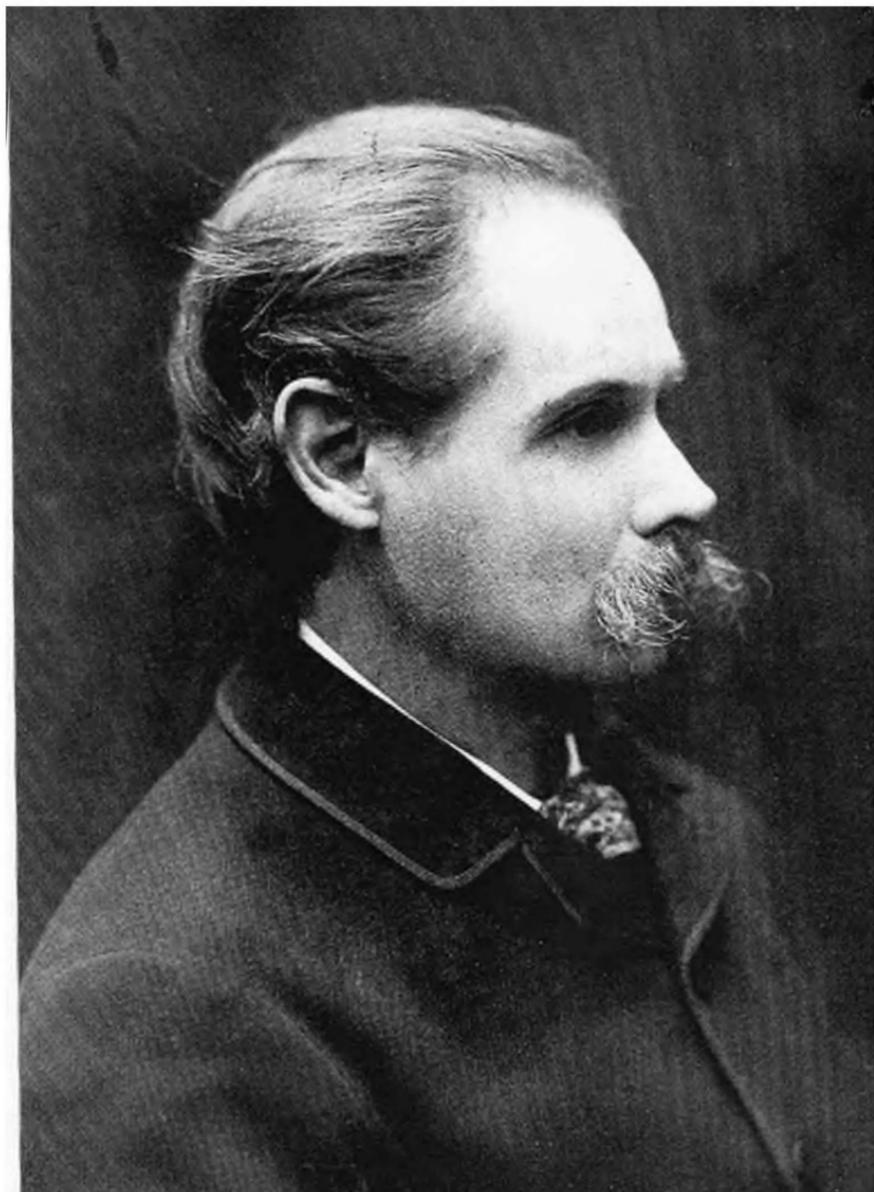
Генри Мейхью, первый журналист-исследователь, захотел узнать, можно ли поднять заработную плату и в целом уровень жизни лондонской бедноты. Во время эпидемии холеры он прочесывал задворки Лондона, собирая факты, но не смог построить теорию, способную опровергнуть пессимистичные теории человеческой судьбы, предлагаемые “мрачной” наукой экономикой.



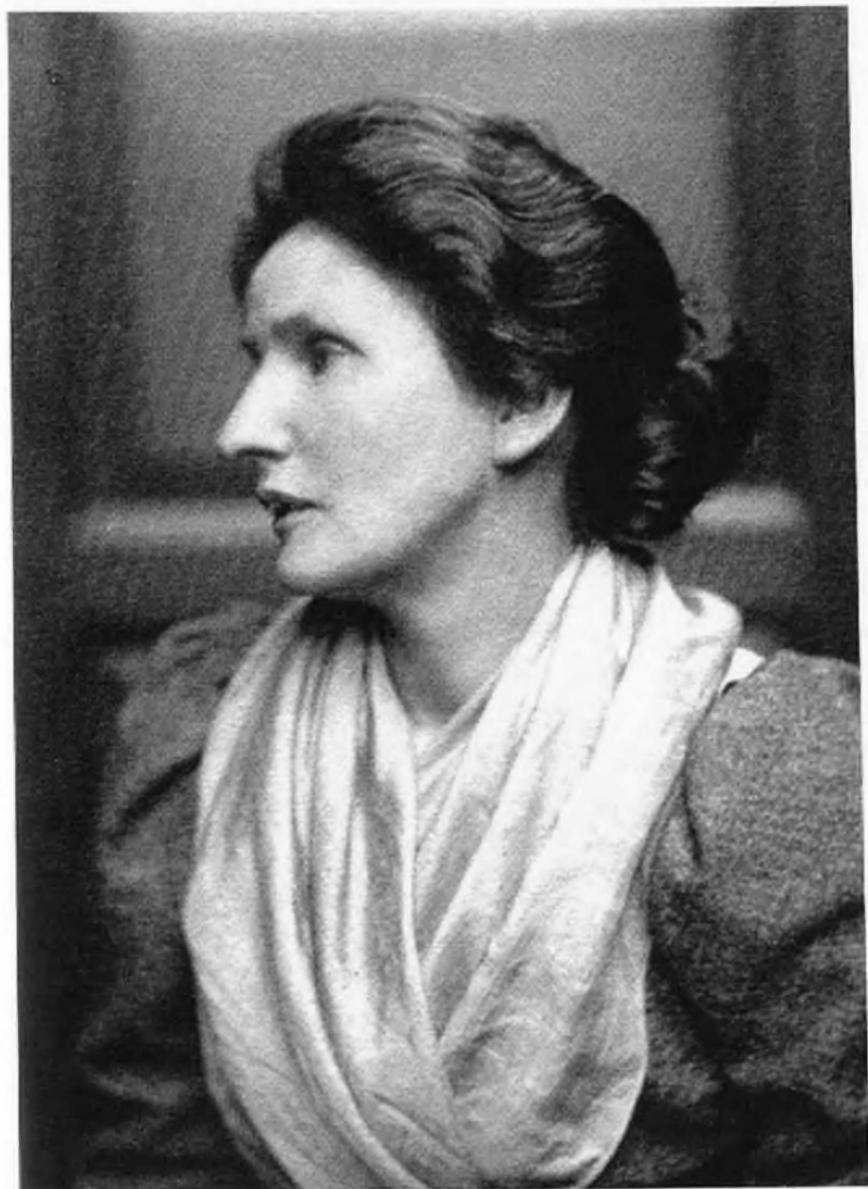


Фридрих Энгельс видел в викторианском Лондоне современный Древний Рим и одновременно — конец света, неизбежный и неотвратимый. Его друг и иждивенец Карл Маркс обещал раскрыть закон движения современного общества, но постоянно испытывал творческий кризис.





Математик и несостоявшийся миссионер, выходец из нижнего слоя лондонского среднего класса Альфред Маршалл видел свою главную цель в том, чтобы посадить человека в седло”, и был глубоко убежден в том, что существование пролетариата не вызвано природной необходимостью.



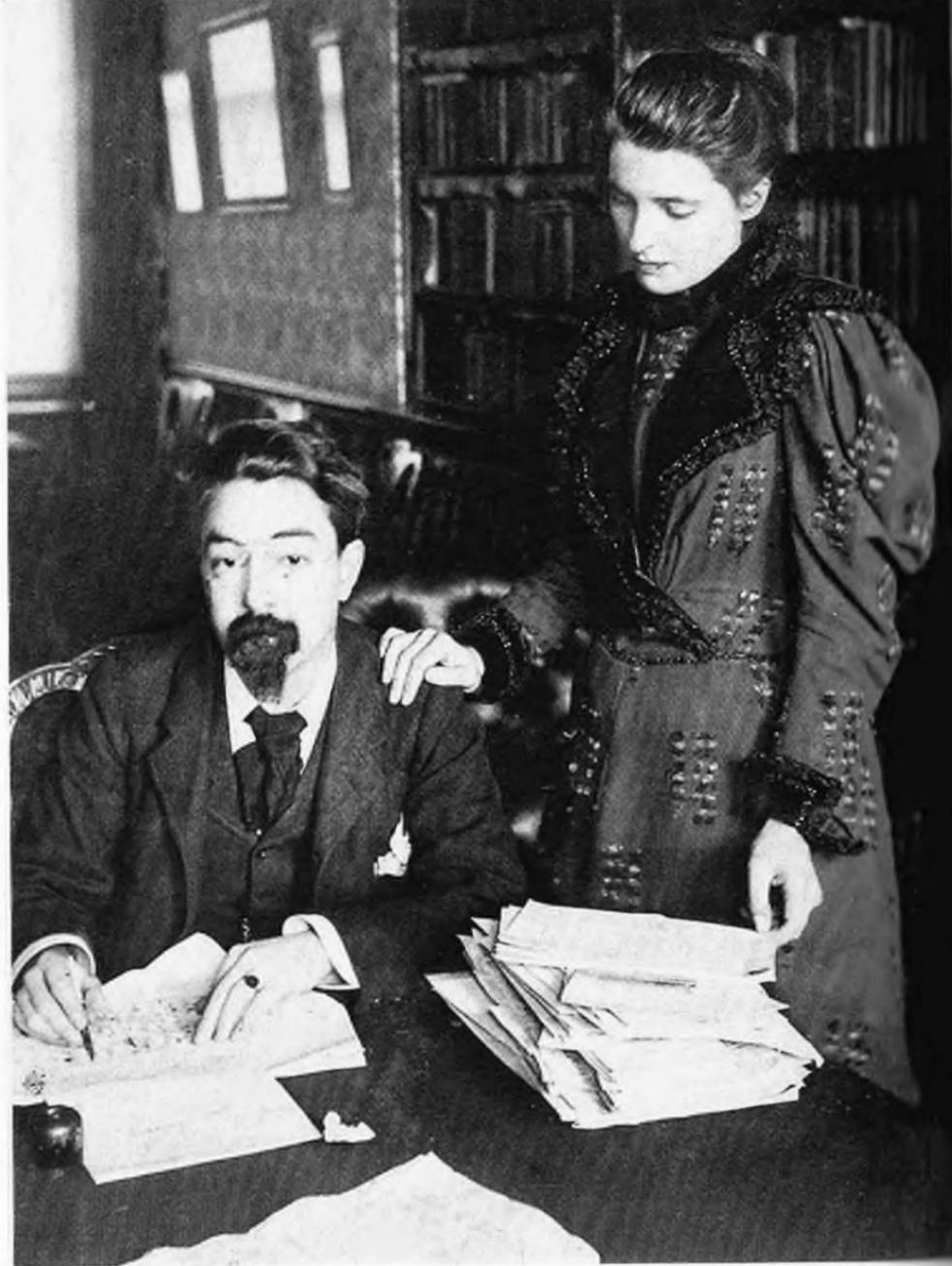
Вдвоем с женой Мэри Пэйли, выпускницей Кембриджа они стремились превратить экономику в компас, который указал бы человечеству путь из нищеты.



По факту рождения Беатриса Поттер принадлежала к правящему классу Великобритании.



Она разрывалась между двумя взаимоисключающими желаниями: сделать карьеру социального исследователя или стать женой влиятельного человека, а именно харизматичного и властного Джозефа Чемберлена.



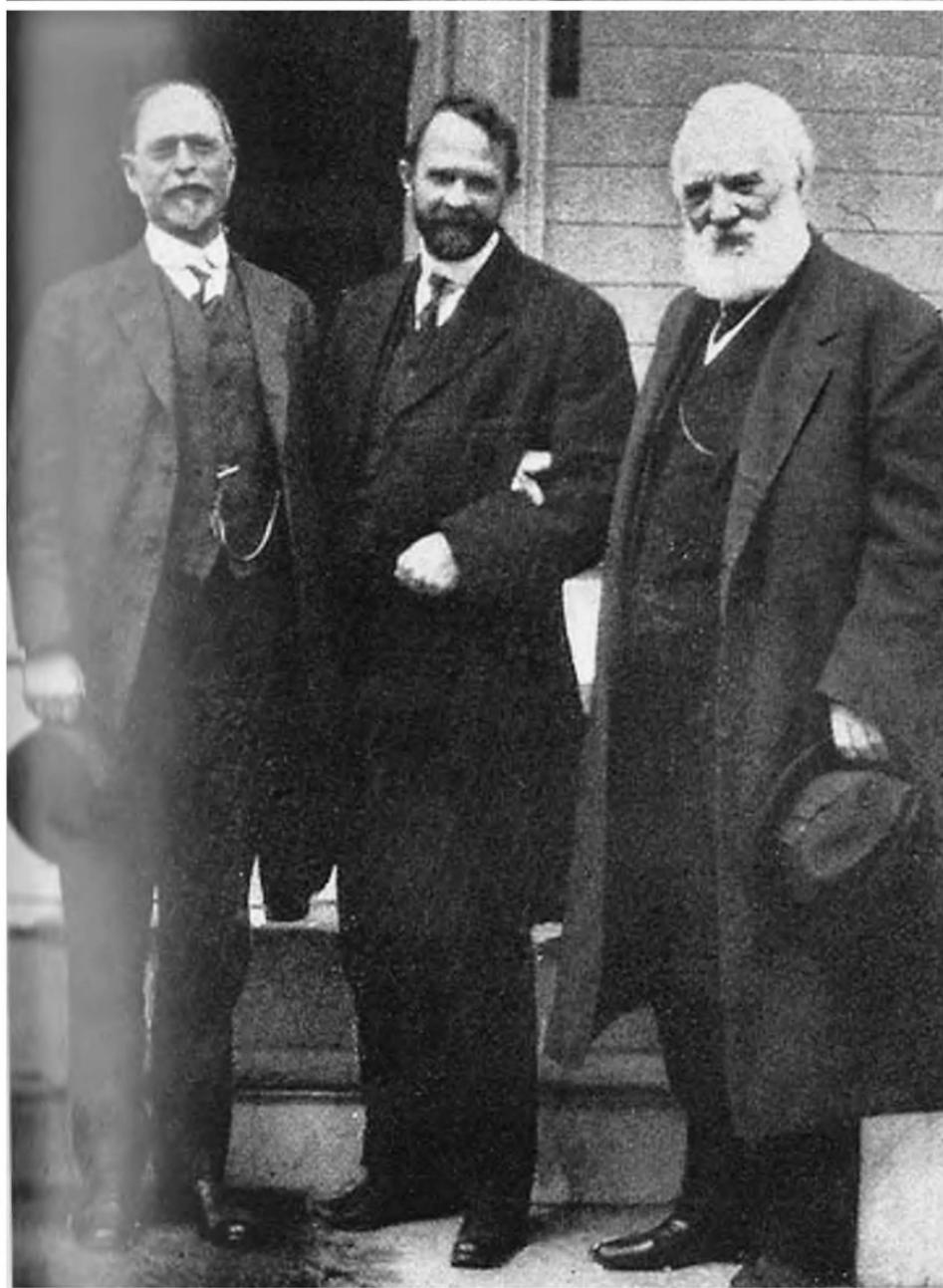
Идеальным партнером для себя она сочла умницу Сиднея Уэбба, сына лондонского парикмахера, и они вместе выдвинули идею социального государства и “мозгового центра”.



Идеи Беатрисы использовал бывший тори, а затем “левый громовержец” Уинстон Спенсер Черчилль.



Величайший американский экономист прошлого века Ирвинг Фишер сумел вылечиться от туберкулеза; он был янки, борцом за трезвость и изобретателем. Фишер получил математическое образование, но, стремясь “держать руку на пульсе современности”, изобрел картотеку “ролодекс”, разработал индекс потребительских цен и экономическое прогнозирование.



В 1920-х годах Фишер (слева) был в Америке экономическим оракулом, крупнейшим авторитетом в области здорового образа жизни и биржевым аналитиком и был известен, пожалуй, не меньше чем Александр Грэхем Белл (справа).



Во время годичного обучения в аспирантуре в Лондоне Йозеф Алоис Шумпетер занимался верховой ездой, фехтовал, одевался и разговаривал, как представитель венской аристократии, каковым и хотел казаться. При этом большую часть времени он проводил в Британском музее, сочиняя книгу, демонстрирующую потребность в теории экономической эволюции, которую он намеревался предложить.



После импульсивной женитьбы Шумпетер умчался в Египет, экономическое чудо времен *belle époque*, где заработал состояние в качестве юриста и финансового менеджера. Каир вдохновил его на написание главной работы — “Теории экономического развития”.



Фридрих фон Хайек заинтересовался тем, как функционируют рынки и современная экономика, в окопах Первой мировой войны в звании капрала многонациональной австро-венгерской армии. Во время второй мировой Хайек подчинился указанию Витгенштейна и написал “Дорогу к рабству” — сокрушительную атаку на плановую экономику.

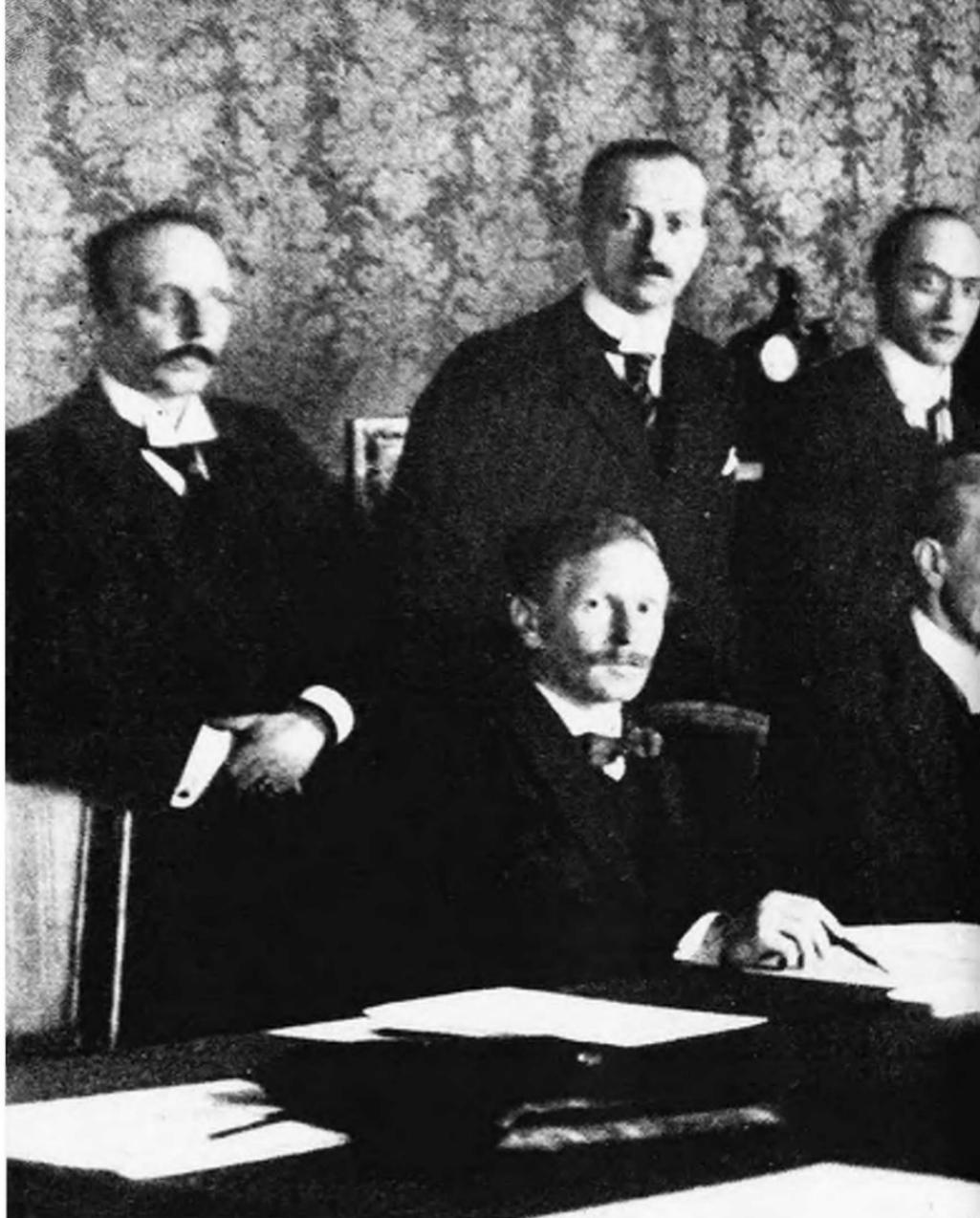


Datum *№. 379, am 30. Juni 1918.*

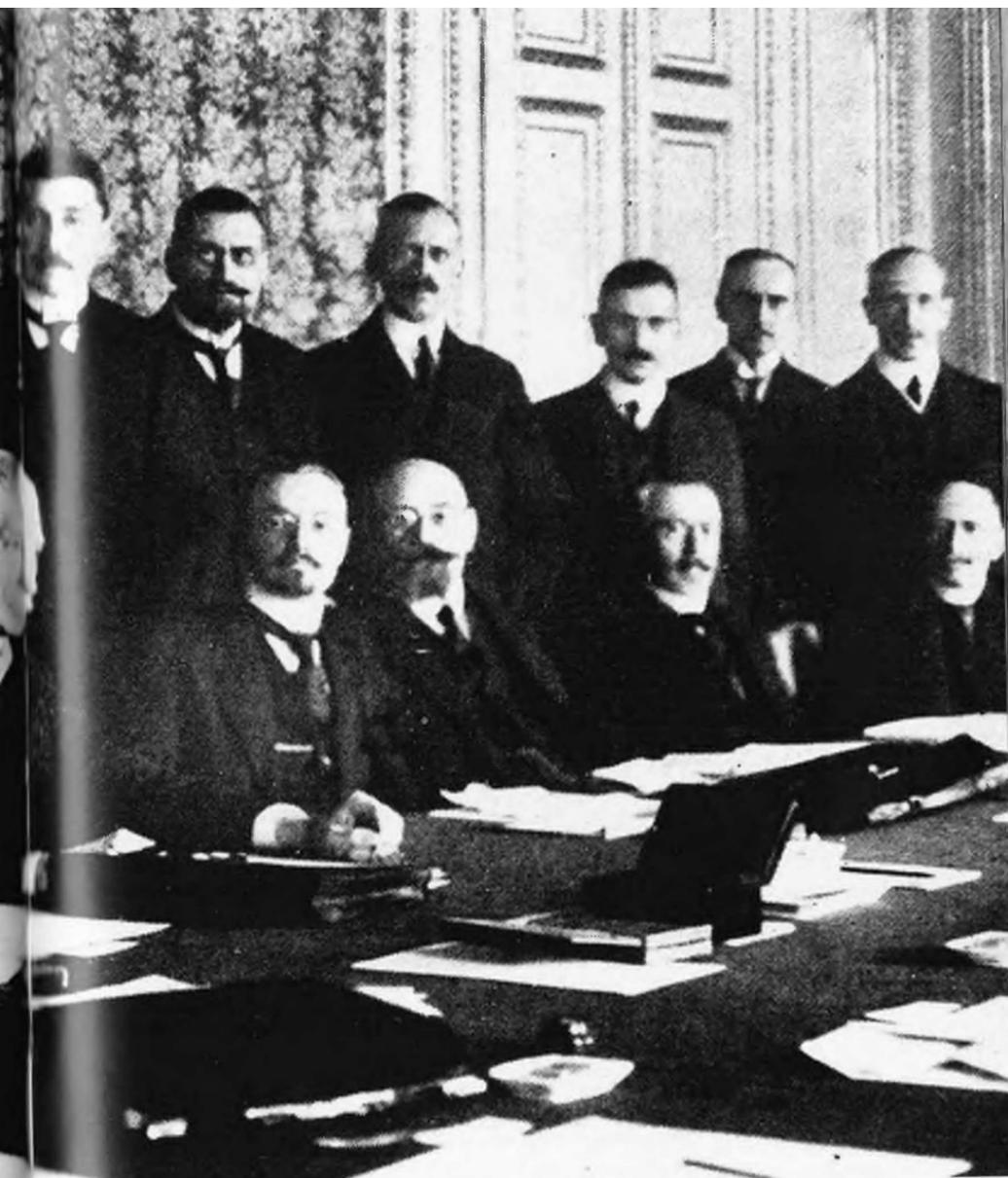
Ludwig Wittgenstein

Unterschrift des Besitzers

Людвиг Витгенштейн, двоюродный брат Хайека, авиационный инженер, переквалифицировавшийся в философа, убедил молодого Хайека, что долг гения — говорить “неудобную” правду, рассказывая о том, что обычно замалчивается.



Первая мировая война разрушила основы экономического чуда XIX века и обанкротила правительства всех стран-участниц, и победительниц, и побежденных, оставив после себя голод, гиперинфляцию и революционные бури, бушевавшие от Урала до Рейна.



Будучи министром финансов изувеченной, нищей и голодной нации, Шумпетер (стоит, третий слева) пытался убедить австрийцев, что они могут восстановить экономику, не бросаясь в объятия ни "красной" России, ни обиженной Германии.



Джон Мейнард Кейнс (в центре), умный, амбициозный и уверенный в себе представитель одной из интеллектуальных династий Англии, определял хорошую жизнь как жизнь, доступную джентльмену в Лондоне накануне Первой мировой войны. Рядом с ним Бертран Рассел (слева) и Литтон Стрейчи.



Кейнс коллекционировал художников и писателей, а также, благодаря своему таланту спекулянта, и произведения искусства. В молодости предметом его горячей любви был художник Дункан Грант (слева), который, как и другие друзья Кейнса из Блумсбери, во время Первой мировой войны отказался служить в армии и призывал Кейнса сделать то же самое.



Во время войны Кейнс стал ключевой фигурой в министерстве финансов Великобритании. Он занимался американскими кредитами Франции и другим союзникам, но ушел в отставку после того, как "большая четверка" отказалась включить в Версальский мирный договор в качестве приоритетной задачи послевоенное восстановление европейской экономики.



К удивлению и неодобрению своих друзей-блумсберийцев, Кейнс женился на русской балерине Лидии Лопуховой, чье своеобразное чувство юмора, ломаный английский и отсутствие интеллектуальных претензий сделали ее любовью всей его жизни.



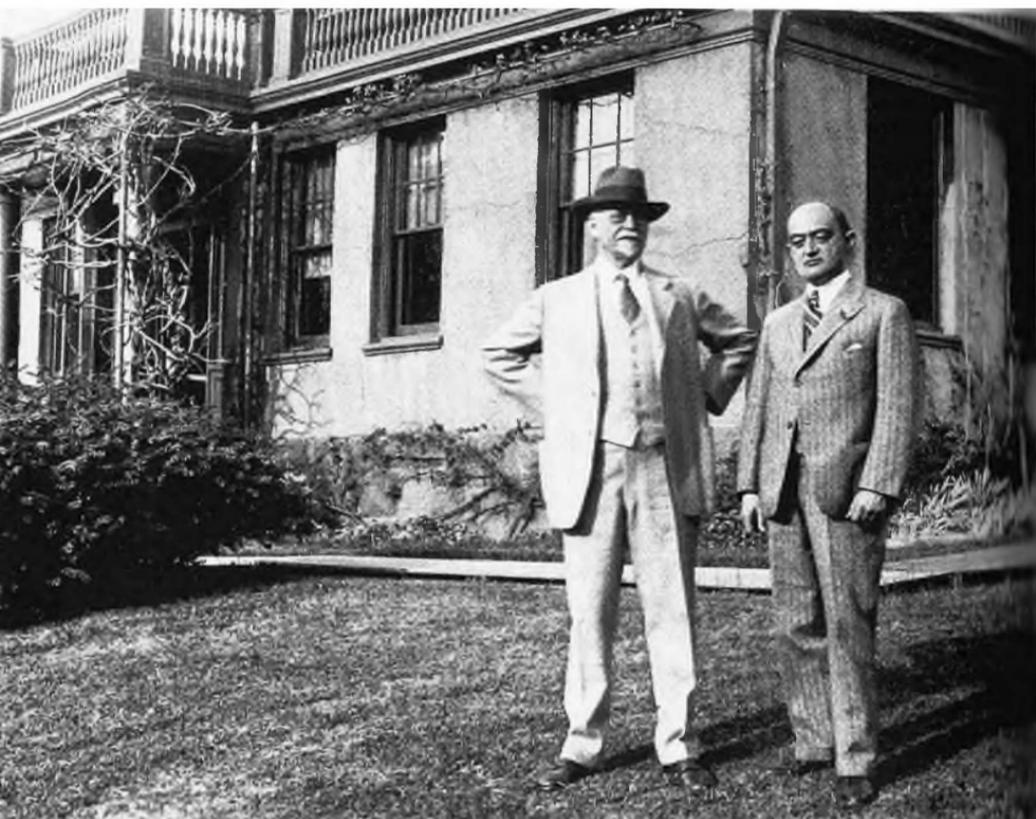
В 1923 году Хайек в рамках научно-исследовательской работы провел год в Нью-Йорке, где встречался с Ирвингом Фишером и написал статью с критикой спесивых реформаторов-монетаристов, которые были уверены, что центральные банки могут сглаживать экономические циклы, управляя денежной массой. Он сомневался, что подъемы и спады экономики можно предсказать достаточно надежно, чтобы строить на этом основании государственную политику.



Послевоенный кризис привлек генеральскую дочь Джоан Робинсон к экономике, к мужу — герою войны Остину Робинсону и к знаменитому английскому экономисту Джону Мейнард Кейнсу. Уверенная в себе, амбициозная и свободно владеющая пером, Робинсон пробилась в ближний, сплошь мужской круг учеников Кейнса, развивая теорию о том, как рост крупного бизнеса может приводить к росту цен и снижению производства и занятости.



Она воспользовалась помощью своего любовника Ричарда Кана, который стал посредником в ее общении со знаменитым экономистом.



Рецепты борьбы с Великой депрессией Ирвинг Фишер и Йозеф Шумпетер (на фото в Нью-Хейвене в 1932 году) предлагали противоположные, но в отношении использования математики в экономике они были единодушны.



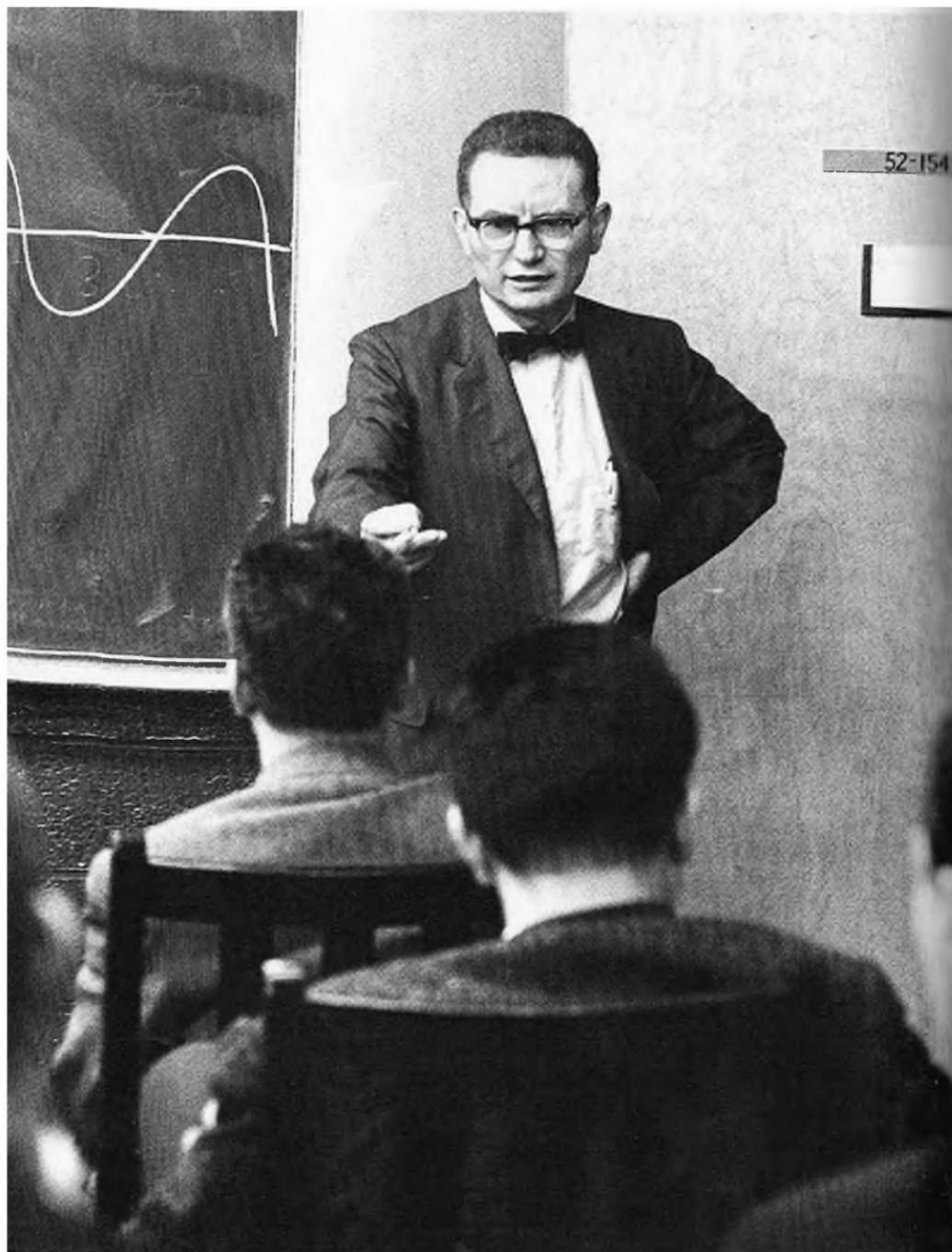
Еще за несколько месяцев до “дня Д” Франклин Делано Рузвельт призвал союзников избежать ошибок, допущенных после Первой мировой войны, и сосредоточить внимание на послевоенном восстановлении экономики.



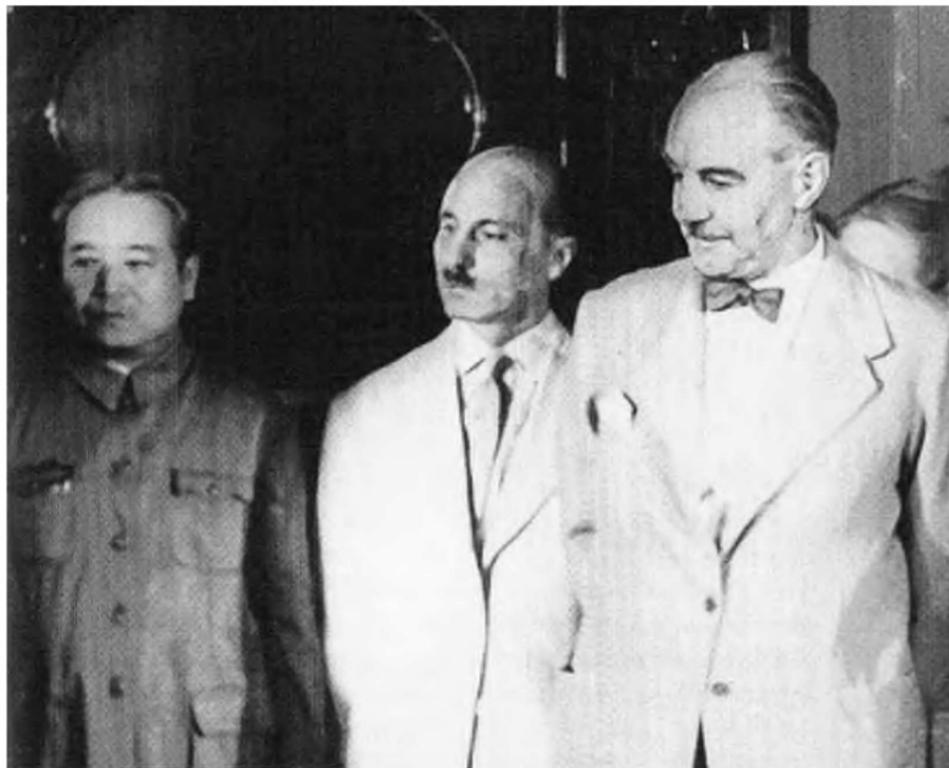
Молодой
Милтон Фридман
(сфотографирован
с женой Роуз), один
из множества
молодых
кейнсианцев —
сторонников “нового
курса”, во время
Второй мировой
войны, при Генри
Моргентау, играл
ключевую роль
в министерстве
финансов, всеми
практическими делами
в котором заправлял,
однако, блестящий,
но бесчестный
Гарри Декстер Уайт.



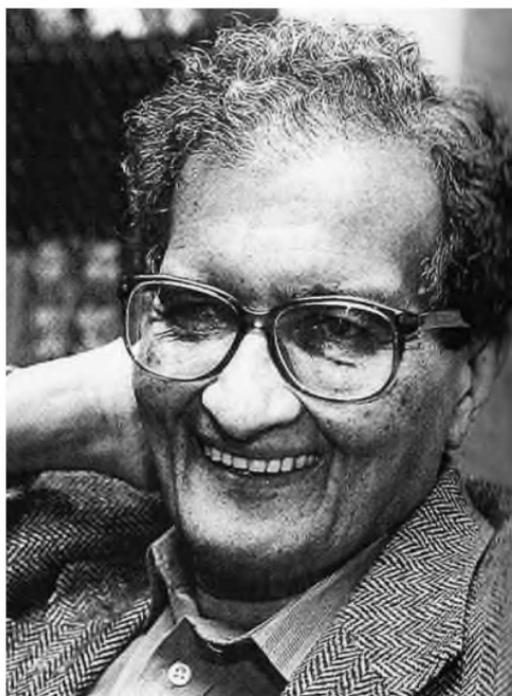
Кейнс и Уайт были главными архитекторами Бреттон-Вудской валютной системы, которая открыла путь для послевоенного восстановления экономики на Западе. И отказ Сталина присоединиться к ней стал полной неожиданностью для советского агента влияния и шпиона Уайта.



Слева: После Второй мировой войны Пол Энтони Самуэльсон был самым влиятельным американским кейнсианцем. Его мировоззрение формировалось во времена упадка зернового пояса, земельного бума-пузыря во Флориде и Великой депрессии. Он модернизировал экономику, используя математику, идеи Кейнса, а также многие собственные оригинальные идеи. Послевоенное поколение американцев, в том числе Джон Ф. Кеннеди, изучало новую экономику по его учебнику и его колонке в “Ньюсуик”, и считается, что именно он внушил Кеннеди идею о снижении налогов.



Джоан Робинсон, самая известная из английских последователей Кейнса, после его смерти отеклась от своих блестящих ранних работ и стала одним из образцово-показательных интеллектуалов — сторонников Сталина и Мао и суровым критиком американского лидерства в экономической теории. Этот снимок сделан в Пекине в июле 1953 года при подписании первого торгового соглашения с Китаем, знаменовавшего некоторый перелом в отношениях двух стран, и ее здесь почти не видно. На снимке также д-р Ши Шао-тинь, Роланд Бергер, Гарольд Спенсер.



Робинсон призывала своего протеже Амартию Сена, в 1953 году приехавшего в кембриджский Тринити-колледж из Калькутты, отказаться от “этического мусора”. Она утверждала, что демократия и благосостояние народа — это роскошь, которую бедные страны просто не могут себе позволить. Сен игнорировал ее советы и занимался проблемами голода, экономической справедливости и трансформации индивидуальных предпочтений в общие.

недоступной роскошью для семей среднего класса. В школах, и так закрытых в связи с пандемией гриппа, теперь были объявлены “холодные каникулы”. Магазины предписывалось закрывать не позднее четырех дня. Кафе должны были выталкивать своих посетителей до девяти. Люди изводили на дрова собственные двери, сдирали кору со стволов и рубили деревья в городских парках. Оголились целые участки Венского леса, с элегантных бульваров исчезли телефонные столбы и деревья, а с кладбищ — деревянные кресты. Один из приезжих писал: “Вся жизнь в Вене омрачена нехваткой топлива”¹⁸.

Сегодня, прочитав строчку из тогдашней социал-демократической “Арбайтер-цайтунг”: “Людам нужны дрова, потому что у них нет угля, но дрова нельзя привезти, потому что нет угля для паровозов”,¹⁹ поневоле вспомнишь абсурдные моменты из “Уловки-22”. По данным историка Чарльза Гулика, в Австрийской Республике осталось 30% заводских рабочих бывшей империи, 20% парогенерирующих мощностей, но всего 1% запасов угля. Отсутствие топлива означало, что заводы, доменные печи, пекарни, кирпичные, цементные и иные заводы и электростанции приходилось останавливать, прекращая промышленное производство, жилищное строительство и производство электроэнергии. Из шестнадцати венских промышленных концернов с числом рабочих более тысячи человек половина закрылась навсегда. В городе, который был пионером электрификации, отключение электричества стало обычным делом, даже на Рождество. Перестали ходить трамваи. По железным дорогам двигались только грузовые поезда с продовольствием. В свою очередь, дефицит электроэнергии, спад в производстве оружия и демобилизация способствовали пополнению рядов безработных.

В канун Рождества 1918 года официальный представитель Великобритании в бывшей Габсбургской империи Томас Канингем незадолго до полуночи ехал по одной из самых величественных улиц Вены, Мариахильферштрассе. “На улицах не было ни души и почти не было света, — записал он в своем

дневнике. — Прекрасный старинный город стал “Мертвым городом”^{*20}. В День рождественских подарков Уильяма Бевериджа на рынке окружили доведенные до отчаяния домохозяйки, которые “обступили нас, как призраки в аду, и твердили, что хотят есть”²¹. Казалось, что одна из великих европейских столиц была на грани гибели.

Очередная мечта Йозефа Шумпетера — стать министром торговли в последнем имперском кабинете министров — растаяла за несколько недель до перемирия. С тех пор он торчал в Граце, нехотя готовясь к лекциям весеннего семестра. Приближались первые общенациональные выборы, по результатам которых социал-демократы и правая Христианско-социальная партия рассчитывали сформировать коалиционное правительство, и он пытался наладить контакты с левыми на предмет получения должности министра финансов. Либерал в духе Берка, сторонник максимальной индивидуальной свободы и минимального вмешательства государства, он в целом имел хорошие отношения с социалистами. А два социал-демократа, на тот момент фактически стоявшие во главе страны, были его старыми университетскими друзьями. Отто Бауэр, еврей из среднего класса с пангерманскими симпатиями, был лидером партии и временным министром иностранных дел. Канцлером был дородный и грубовато-добродушный Карл Реннер, восемнадцатый ребенок в семье моравских крестьян. Хотя оба были марксистами, их взгляды в целом были ближе к фабианству, чем к большевизму. Несмотря ни на что пост достался другому человеку.

Однако в начале нового года неожиданно возникла новая политическая возможность. Другой университетский приятель, немецкий социалист, которому вскоре предстояло

* “Мертвый город” — опера австрийского композитора Эриха Вольфганга Корнгольда (1897–1957).

стать первым министром финансов Веймарской республики, обратился к Шумпетеру с интересным предложением: не присоединится ли он к собранной в декабре в Берлине группе экспертов социалистического толка, чтобы консультировать новое правительство Германии по вопросам перехода к социализму, в частности относительно возможной национализации угольной промышленности?

Это может показаться странным, но политики-социалисты, отвечавшие в тот момент за благосостояние 60 миллионов граждан, никогда не обременяли себя сколько-нибудь серьезными размышлениями о том, как должна или может работать социалистическая экономика. Маркс прямо запрещал своим последователям заниматься этими, как он считал, утопическими фантазиями. Главный немецкий марксист лишь признавал, что такие игры воображения можно использовать как “хорошие умственные упражнения”²². Но нарастающая радикализация немецких рабочих вынуждала искать решение. После заключенного в ноябре перемирия работники устраивали мятежи и забастовки, требовали за пределами высокой заработной платы, физически запугивали и “спонтанно экспроприировали” фирмы у их владельцев. Более четырех лет немецкий рабочий класс приносил себя в жертву, и теперь требовал расплаты. В течение многих лет лидеры левых партий обещали отнять власть у работодателей и передать ее рабочим. Но, придя к власти, они поняли, что никакое правительство не выживет, если не сможет поднять на ноги производство. Задача экспертов состояла в том, чтобы предложить выход из сложной ситуации.

Шумпетер с готовностью принял приглашение. Кратчайший путь в Вену, казалось ему, вполне мог пролегать через Берлин. У власти в Австрии и Германии были социалисты, вероятность слияния двух немецкоязычных государств увеличивалась, да и министр иностранных дел Австрии Бауэр тоже был членом этой комиссии. Кроме того, Шумпетер ожидал, что комиссия будет ориентироваться на постепенное прове-

дение реформ. Позже Шумпетер оправдывал свою готовность участвовать в социалистическом проекте так: “Если кто-то настаивает на совершении самоубийства, то неплохо, чтобы при этом присутствовал врач”²³. Однако инвесторы, банкиры и промышленники в послевоенном Берлине в большинстве своем не ожидали от комиссии подобных предложений. Один из членов экспертной группы, видный немецкий социалист Эдуард Бернштейн предупреждал: “Мы не можем отнять богатство у богатых, потому что это парализовало бы всю систему производства”²⁴. Бауэр, который хотел заменить советы директоров советами представителей управленцев, рабочих и потребителей, подчеркивал, что национализированные и частные предприятия будут работать бок о бок “несколько поколений”²⁵.

Шумпетер, не теряя времени, попросил в университете отпуск и немедленно его получил. Путешествие в Берлин заняло четыре дня вместо прежних двух, но, прибыв в прусскую столицу, он оказался в городе, который — несмотря на отчаянные времена — никто не рискнул бы назвать “мертвым”.

Берлин, январь 1919 года. Несмотря на нехватку продуктов и страшную дороговизну, город, избежавший оккупации, сохранял целостность. Но каждая партия демобилизованных солдат — озлобленных, легко возбудимых и уже пристрастившихся к насилию — угрожала разнести его в щепки. Пожар мог вспыхнуть от любой случайной искры.

Он вспыхнул между Рождеством и Новым годом. Коммунисты-спартаковцы* призвали к всеобщей забастовке, и началась полномасштабная гражданская война. Массовые демонстрации тянулись от площади Александерплац до Рейхстага. Поезда стояли, банки были забаррикадированы, универ-

Коммунисты-спартаковцы — члены “Союза Спартака”, коммунистической организации, созданной Розой Люксембург и Карлом Либкнехтом в 1910-е годы.

ситеты закрыты, магазины заколочены досками. Спартаковцы захватили практически все фабрики, электростанции, правительственные здания, газеты и телеграф. На улицах громыхали броневики, а после того как революционеры стали забрасывать правительственных солдат гранатами и косить из пулеметов, канцлер Германии санкционировал применение огнеметов и полевой артиллерии. Напуганные граждане в тщетных попытках убежать застревали на вокзалах. Самый известный берлинец Альберт Эйнштейн уже уехал в Цюрих и писал оттуда другу: “Хорошо читать о событиях в Берлине здесь, под солнечным небом, и есть шоколад”²⁶. Шумпетер, однако, получал удовольствие, находясь в гуще событий.

Социалистический “мозговой трест” в течение нескольких недель заседал в подвале Рейхсбанка, который не дали захватить государственные служащие, предусмотрительно забаррикадировавшиеся в здании. Несмотря на хаос и кровопролитие в стране, комиссия продолжала работать в режиме университетского семинара, спокойно и подробно рассматривая альтернативы в диапазоне от национализации до свободной конкуренции, не забывая и о практических вопросах — например, как можно национализировать предприятия без ущерба для их эффективности и внедрения инноваций.

Шумпетер придерживался той же высокомерной и циничной позиции, которую он сформулировал на семинаре Бем-Баверка в Венском университете. “Я понятия не имею, возможен ли социализм, но если он возможен, надо быть последовательными, — легкомысленно говорил он. — В любом случае это будет интересный эксперимент — один раз стоит попробовать”²⁷. Он рассматривал проблему национализации как чисто формальную. Один банкир вспоминал: “ [По его мнению,] для того чтобы после войны национализировать крупные фирмы, надо следовать определенному алгоритму”²⁸.

В конце концов, как и ожидалось, комиссия отвергла и политику невмешательства, и огосударствление собственности по советскому типу и выбрала сочетание общественной соб-

ственности и частного управления. Когда доклад был подготовлен, два либеральных члена комиссии отказались подписать его и обнародовали свое “особое мнение”. Шумпетер, однако, поставил свою подпись под докладом большинства. Его пребывание в комиссии, как он и надеялся, окупилось сполна. Впечатленный его готовностью к сотрудничеству и уровнем профессиональной компетентности, Гильфердинг предложил Бауэру рассмотреть возможность назначения Шумпетера на должность министра финансов Австрии, и ко дню публикации доклада комиссии — 15 февраля, за день до выборов в парламент Австрии — венская пресса уже намекала, что Шумпетеру будет предложено войти в правительство. Две недели спустя Бауэр вернулся в столицу Германии на четыре дня для проведения секретных переговоров об аншлюсе с министром иностранных дел Веймарской республики Ульрихом фон Брокдорфом-Ранцау. (Союз с Германией был главным приоритетом Бауэра, и он уже заручился поддержкой писателя Роберта Музиля, которому “официально было поручено индексировать вырезки из газет... и который на самом деле должен был в разных газетах продвигать идею объединения с Германией”²⁹.) Тут “Шумпетер заторопился с отъездом”, вспоминает другой член комиссии³⁰. Накануне еще одной всеобщей забастовки и кровавого восстания он покинул Берлин в компании Бауэра.



Должность министра финансов в новом коалиционном правительстве была одним из двух-трех безнадежно неблагоприятных постов, которые не могли привлечь ни одного карьерного политика.

Как можно было удержать валюту государства-банкрота от падения, купить продовольствие за границей, не имея ни золота, ни долларов — или сострять бюджет, в котором каждая позиция, от границ до репараций, определялась членами

Антанты в Париже? Стоило Реннеру произнести его имя, как консервативные христианские социалисты, однопартийцы Шумпетера, тут же согласились. Это не значит, что они так уж ему доверяли. Принадлежавшая антисемитской культуре партия помещиков и аристократов числила Шумпетера среди юдофилов, ведь он поддерживал связи с Ротшильдами и другими еврейскими банкирами и бизнесменами. Кроме того, он выказал прискорбное отсутствие партийной лояльности, воспрепятствовав продвижению по службе партийного организатора христиан-социалистов на факультете в Граце. Однако они видели в Шумпетере, считавшемся “своего рода гением по части экономики”, человека, способного взять на себя ответственность за шаткие финансы республики³¹. Поскольку судьба Австрии зависела от союзников, рассуждали Реннер и Бауэр, в пользу Шумпетера говорили его прозападные настроения и антивоенные убеждения, опыт проживания за рубежом, почетная степень американского университета, а также свободное владение английским и французским.

Памфлетисты и слева, и справа тут же заклеили Шумпетера как оппортуниста. “Как хорошо, наверное, иметь три души в одном теле!” — так начиналась статья в “Морген”, имея в виду души либерала, консерватора и социалиста. Карл Краус назвал его “профессором по смене своих убеждений”³². Но вряд ли желание Шумпетера войти в правительство можно было счесть постыдным: если бы молодая Австрийская Республика не смогла обеспечить народу хлеб наряду с миром, демократия была бы обречена. У Шумпетера был готов план восстановления экономики страны. Возможность стать министром финансов во время революции он считал возможностью спасти свою страну от разорения.

В некотором смысле новый министр финансов и венская домохозяйка сталкивались со сходными проблемами. Чтобы платить за продукты питания и топливо для своей семьи, у Анны Айзенменгер, чей удивительный дневник позволяет нам заглянуть в повседневную жизнь того ужасного времени,

было три варианта: зарабатывать, занимать или продавать свои вещи. Те же возможности были у Шумпетера, которому нужно было сделать так, чтобы поезда ходили, милиция несла службу, а бесплатные столовые оставались открытыми. Чтобы выжить, фрау Айзенменгер и ее семья подавали прошения о пенсии, сдавали комнаты, работали в американской организации помощи и, в качестве экстренной меры, продавали драгоценный запас довоенных сигар доктора Айзенменгера. Шумпетер же мог собирать налоги, уговаривать банкиров покупать государственные облигации, тратить государственные резервы наличных денег и золота (когда они были) и, наконец, продавать государственное имущество.

Если кто-то хотел купить вещи за границей или просто съездить в соседнюю Женеvu, ему нужно было получить на руки иностранную валюту. Если у человека был счет в швейцарском банке, можно было воспользоваться им, как сделал Макс фон Нейман, банкир из Будапешта, когда — после коммунистического переворота Белы Куна — увез свою семью, в том числе и сына Джона, во временное изгнание. При отсутствии таких резервов иностранную валюту необходимо было зарабатывать или занимать. Зигмунд Фрейд и его коллеги-психоаналитики принимали английских пациентов, таких как Джеймс Стрейчи и его жена Аликс, которые платили в фунтах. Айзенменгер занял доллары у двоюродного брата в Америке. В основном же людям приходилось покупать фунты и доллары за кроны.

И поскольку многое из необходимого для выживания Австрии нужно было импортировать, австрийский министр финансов обязательно должен был найти иностранную валюту или золото для таких закупок. Если он не мог этого сделать, он должен был организовать иностранные займы или просто надеяться на подарки. Но его основной задачей было поддержание стоимости кроны по отношению к другим валютам. Каждый рывок обменного курса кроны вверх означал, что за уголь или свинину Австрия сможет платить чуть меньше, и наоборот, каждое движение вниз означало, что ей придется платить больше.

Вот почему домохозяйки стояли под окнами пунктов обмена валют и с замиранием сердца ждали последних сообщений о курсе кроны. Для министра финансов курс национальной валюты имел еще большее значение, потому что он отвечал за государственный бюджет. Каждое снижение стоимости кроны увеличивало бюджетный дефицит. Самая важная задача министра финансов состояла в том, чтобы не допустить обрушения валюты. Здесь присутствовал элемент шулерства. Люди принимали ту или иную валюту, если полагали, что с ее помощью смогут погасить свои долги. А что давало им эту уверенность? Разумеется, сознание того, что с помощью этой валюты они смогут погасить свои долги. Так что любой министр финансов должен был стремиться повышать курс своей валюты, и если у него не было золотых или валютных резервов, он должен был надувать щеки, размахивать руками и таким образом держать ее на плаву.

Шумпетер, самый молодой министр финансов в истории Австрии, произносил свою первую речь в утопавшем в позолоте мраморном палаццо в центре города, втиснутом в узкий переулок, название которого переводится как “Врата рая”. Чередуя пламенные призывы с шутивными замечаниями — все это произносилось с прекрасным терезианским выговором, — он ходил по сцене и активно жестикулировал. Он понимал, что в современной политике успех определяется способностью лидера “очаровать”, “произвести впечатление”, “завладеть вниманием” общественности. И для стабилизации экономики требуется “популярное правительство и надежный яркий лидер, волевой и энергичный, словам которого народ мог бы доверять”³³. В мрачном, холодном зале, заполненном чиновниками в черных костюмах, он излучал энергию, оптимизм и надежду.

Все участники войны, включая Англию и Францию, вышли из нее обремененные беспрецедентными долгами, но даже на общем фоне долги Австрии выделялись своими размерами. Имперское правительство не осмелилось подни-

мать налоги во время войны, поэтому в 1919 году налоговые поступления покрывали лишь две трети государственных расходов. Теперь же приходилось выплачивать и огромные проценты по военным долгам, от которых новая Австрийская Республика унаследовала непропорционально большую долю. Правительство также обещало выделить помощь безработным, по сути — средства на содержание милиции. Оно должно было платить государственным служащим, в том числе и тем тысячам, которые раньше работали в представительствах империи на окраинах, а теперь вернулись в Вену. Наконец, оно должно было обеспечить продовольственные субсидии. Старое имперское правительство полагало, что львиную долю накопившихся огромных долгов оплатят побежденные противники, и судный день постоянно откладывался.

Большинство австрийцев могло представить себе лишь два варианта развития событий: либо быть “удочеренными” Германией, либо находиться под постоянной опекой Антанты. Отто Бауэр был активным сторонником объединения с Германией. Он не видел ничего плохого и в небольшой инфляции, рассматривая ее как “средство оживления промышленности и повышения жизненного уровня трудящихся”³⁴. Между тем банкиры и промышленники склонялись к союзу с Антантой. Они разделяли заветные желания чиновников британского казначейства, в частности Мейнарда Кейнса, которые надеялись, что “Австрии никогда не позволят разориться. Антанта выправит ее финансовую систему. Все, что нужно, — это крупная ссуда в фунтах”³⁵.

Шумпетер придерживался иной точки зрения. Он считал, что у сократившейся в размерах Австрии есть возможности для восстановления экономики. Он был глубоко убежден, что дело не столько в объемах ресурсов, которыми располагает страна, сколько в том, как она ими распоряжается. Если предпринимателям позволено создавать новые предприятия, финансовая система функционирует эффективно, а в сфере торговли не слишком много ограничений, экономика, а вместе с ней

и общество могут восстановиться самостоятельно. Он не был согласен с расхожей идеей, что экономическая жизнеспособность страны обусловлена обширными территориями, огромным населением и наличием природных ресурсов. В удивительном эссе по социологии империализма, написанном в 1919 году с намеком на Германию, он показал, как военно-промышленный комплекс Древнего Египта разорил империю постоянными войнами: “Порожденный войнами, которые в нем нуждались, механизм теперь сам порождал войны, в которых нуждался он”³⁶. Англия стала богатейшей страной еще до того, как обзавелась колониями. Швейцария была не больше Шотландии, а ее подушевой доход был сравним с английским. До войны Вена была важнейшим финансовым, транспортным и торговым центром Центральной Европы. Покуда члены Антанты или соседи Австрии не будут мешать свободе торговли и правительственным мерам по восстановлению платежеспособности, он не видел причин, по которым Вена — в отсутствие на ее пути непреодолимых препятствий — не сможет вернуть себе довоенную экономическую роль и высокий уровень жизни. “Принято считать, что немецкоязычная Австрия нежизнеспособна”, — признавал Шумпетер. Но при этом решительно добавлял: “Я верю в наше будущее... Не следует думать, что для экономического выживания страна должна обладать всем необходимым сырьем в пределах собственных границ... Соседние страны не могут существовать без нас и без нашего финансового посредничества”³⁷.

Безусловно, этому государству необходимо было решить проблему огромного военного долга. Историк Ниал Фергюсон писал, что существует пять и только пять способов облегчить такое бремя: это официальный (де-юре) отказ от выплат, как это сделали Ленин в 1918 году и Гитлер в 1938-м, и различные варианты отказа де-факто, включая изменение условий погашения, снижение стоимости денег, которыми выплачивается долг (инфляция), или достижение таких высоких темпов экономического роста, при которых доход растет быстрее, чем

процентные выплаты. Наконец, самый достойный вариант — это просто расплатиться по долгам.

В соответствии со своим убеждением, что Австрия может справиться сама, Шумпетер сообщил аудитории, что решительно выступает за последний вариант. Это был самый быстрый способ восстановить доверие инвесторов к Австрии как платежеспособному государству и оживить производство. Но ни одно послевоенное правительство не могло позволить себе повысить налоги на фермеров и средний класс ради богатых держателей облигаций. А повышение налога на прибыль препятствовало бы инвестициям именно тогда, когда экономике были отчаянно необходимы вливания новых капиталов. Шумпетер предпочел иное решение заставить богатых оплатить военный долг Австрии, взяв с них высокий одноразовый налог на *имущество*. В сущности, он хотел расплатиться с богатыми держателями облигаций их собственными деньгами, отняв у них значительную часть их ликвидных активов, включая денежные средства, облигации и акции.

План Шумпетера опирался на его теоретический трактат “Кризис налогового государства”, а гениальный ход состоял в том, что хотя коммерческие предприятия, фермерские хозяйства и другое имущество поменяют владельцев, они по-прежнему будут оставаться в частных руках. Налогообложение существующей собственности, а не будущих доходов обеспечивало еще одно преимущество: инвесторы не побоятся использовать новый капитал для инвестиций, а бизнесмены — для расширения производства. Чтобы снизить риск того, что правительство в попытке справиться с долгами будет раздувать инфляцию, Шумпетер предложил создать центральный банк, который, как Банк Англии, не зависел бы от казначейства. В то же время он выступил за стабилизацию кроны на ее нынешнем, а не довоенном уровне. Эти меры позволили бы укрепить доверие иностранных инвесторов, на которых Шумпетер возлагал свои надежды, и сделать так, чтобы инвестиции в австрийскую экономику обходились для них недорого.

Чтобы предложенная Шумпетером программа восстановления заработала, необходимо было удовлетворить два требования: во-первых, условия мирного договора не должны были создавать непреодолимых препятствий для возобновления торговли, и, во-вторых, необходимо было постоянно прилагать усилия для сбора налогов в достаточном объеме, чтобы покрывать расходы правительства. “В настоящий момент мы не можем получить никакого кредита даже за границей, потому что иностранцы не верят в наше будущее”, — сказал он своим сотрудникам. Устранение или хотя бы существенное сокращение дефицита потребует от правительства героических мер, признался он. Он выступил за введение налогов на “демонстративное потребление” таких пролетарских “излишеств”, как пиво и табачные изделия, а также налога на продажу “роскошных продуктов, роскошных развлечений, роскошных тканей, роскошных магазинов, слуг, роскошной одежды”³⁸. С таким планом Шумпетер не мог рассчитывать, что у него появятся новые друзья справа или слева. Его собственная партия была категорически против введения налога на имущество, особенно на фермы, а социалисты считали идею налога на пиво уморительным примером политической недалекости Шумпетера.

Шумпетер не пробыл в должности министра финансов и трех дней, как крона начала свободное падение. Коммунистические повстанцы во главе с бывшим капралом австро-венгерской армии, обученные и вооруженные Москвой, разъезжали по Будапешту в открытых грузовиках с красными флагами. В знак солидарности в венгерскую столицу тут же отправилась Красная гвардия из демобилизованных австрийских солдат. Победа большевиков многими понималась однозначно: чтобы не подчиняться Антанте, Венгрия бросается в объятия Москвы. Это побудило Ллойд Джорджа, тогдашнего британского премьер-министра и ярого поборника репараций, направить мирной

конференции предупреждение. Страны Антанты, не менее “усталые, кровоточащие и разоренные”, чем проигравшие, были при этом полны решимости заставить немцев и их союзников заплатить за восстановление, а сторонники Ленина соблазняли немцев обещаниями “новой жизни”, то есть, пояснял Ллойд Джордж, возможностью “освободить немецкий народ от задолженности перед союзниками и перед собственными богачами”, которые одалживали рейху средства на ведение войны. И если союзники будут настаивать на чрезмерно жестких условиях мира для Германии, неизбежным результатом этого будет установление власти “спартаковцев от Урала до Рейна”³⁹.

Как по команде, мрачное пророчество Ллойда Джорджа начало сбываться немедленно. 7 апреля в Мюнхене группа анархистов провозгласила Баварскую советскую республику. В течение недели местных руководителей сменили профессиональные революционеры — связанные с Интернационалом российские эмигранты, которые тут же начали уничтожать своих противников. Документ на русском языке, захваченный в ходе полицейского рейда, позволял предположить, что на помощь восставшим была готова прийти армия Ленина, отправившись в Германию через Польшу. В Париже говорили, что Вена, оказавшаяся между двумя “красными” столицами, — это костяшка домино, которая упадет следующей. В ходе парламентской дискуссии о том, надо ли оставить британские войска в России, чтобы помочь ей справиться с большевиками, Уинстон Черчилль предупредил, что “большевизм есть великое зло, но и возник он из великих социальных зол”. Шесть недель спустя британский кавалерийский генерал Бриггс в письме Черчиллю из России приводил доводы в пользу британской поддержки: “Голод ведет к большевизму”⁴⁰.

В рабочих районах Вены появились эмиссары Белы Куна, эффектно обещая обеспечивать едой пролетариев (но не буржуазию!) в будущей Австрийской советской республике. Они рисовали фантастические картины жизни в Будапеште: цены

в первоклассных отелях на уровне цен в дрянных закусовых, семьи рабочих, живущие по-королевски в конфискованных дворцах, социальное равенство между буржуазией и пролетариатом. Бауэр в своих мемуарах вспоминал:

Как только [Бела Кун] понял, что мы не собирались [объявлять Австрию советской], он развязал против нас целую кампанию. Центром агитации стало посольство Венгрии в Вене. Коммунистическая партия Австрии получала из Венгрии много денег, которые тратились не только на усиление пропаганды, но и на подкуп доверенных лиц среди рабочих и солдат. Коммунистическая пропаганда стремилась убедить рабочих, что в Венгрии существуют большие запасы продовольствия, которых будет достаточно для удовлетворения всех потребностей Австрии⁴¹.

Для противодействия этой пропаганде Герберт Гувер из своей штаб-квартиры в Париже на авеню Монтень, 51 посылал телеграммы, призывая своих представителей в Вене обклеить городские стены листовками, предупреждающими, что «любые нарушения общественного порядка сделают невозможными поставки продовольствия и поставят Вену лицом к лицу с перспективой абсолютного голода»⁴². Одновременно с этим он активизировал операции по оказанию помощи в борьбе против коммунизма и смерти. В Вене правительство приказало полуроте фольксвера (народной армии, или социалистической милиции) разместиться во дворе по адресу Херренгассе, 7, где кабинет министров проводил свои заседания.

Боязнь переворота можно объяснить и любопытный инцидент, связанный с министром продовольствия, Гансом Левенфельд-Руссом. По-видимому, в последний день марта Шумпетер позвонил ему, попросив пригласить на обед его и Людвиг Паула, министра транспорта. Как только они остались втроем, Шумпетер прямо спросил, готовы ли они в случае переворота присоединиться к новой большевистской власти

вместе с ним. “И не подумаю!” — резко откликнулся Паул⁴³. Левенфельд-Русс сердито кивнул в знак согласия. Шумпетер тут же дал задний ход, сказав, что он тоже не может помыслить об участии в таком правительстве.

Когда Левенфельд-Русс потребовал объяснить, почему Шумпетер хотел встретиться без свидетелей и почему задал такой странный вопрос, тот ответил, что всего лишь хотел прощупать единственных членов правительства, которые — как и он — были назначены не канцлером, а политической партией.

Возможно, он говорил правду. Примерно в это же время Канингем сообщал, что один из его источников представил “длинный обстоятельный доклад.. детальный план установления социалистической формы правления, разработанный социалистической партией”. По словам информатора Канингема, это правительство было задумано для маскировки — “советское скорее с виду, чем по сути”⁴⁴. Предположительно, Реннер и другие умеренные члены кабинета были готовы прибегнуть к этой уловке, хотя более левые политики вроде Бауэра не хотели иметь с этим ничего общего. Канингем получил от британского министерства иностранных дел указание уведомить министра обороны Австрии, что в случае прихода к власти в стране большевистского правительства, будь оно фальшивое или подлинное, продовольственная помощь Австрии будет приостановлена, а поставки оружия в Польшу, которая имела к Австрии территориальные претензии, будут возобновлены.

Пока Австрийская Республика балансировала на грани смерти, кабинет постоянно проводил заседания. Причем начинались они, как правило, через несколько часов после окончания обычного рабочего дня. Примерно в то время, когда в театрах заканчивались оперы, пятнадцать министров и их заместители, на машинах или пешком, направлялись к Моденскому дворцу

в доме 7 по улице Херренгассе (одной из прекраснейших улиц Вены, известной еще с позднего Средневековья). Нервные, невыспавшиеся люди тащились мимо взъерошенных охранников из фольксвера, расположившихся во дворе, и поднимались по величественной лестнице в некогда ярко освещенные и элегантные покои, где раньше императоры встречались со своими советниками, а теперь Карл Реннер организовал свою канцелярию. Им приходилось обходить пулеметы, установленные там и сям возле окон, и сидеть в пальто из-за холода и сырости. Заседания эти обычно затягивались далеко за полночь, и премьер-министр иногда посылал в соседний ресторан за какой-никакой едой и пивом, чтобы можно было продолжать работу.

17 апреля министры только-только приступили к “невозможно длинной” повестке дня, как вдруг по усыпанной мусором Рингштрассе мимо роскошных высоток с заколоченными окнами пошли тысячи худых и оборванных мужчин с “измученными желтыми” лицами. Они шли к площади перед парламентом в нескольких кварталах отсюда. Большинство из них были безработными и демобилизованными солдатами, на многих война оставила свою печать, у некоторых не было руки или ноги. Между обычными людьми затесалось небольшое количество вооруженных коммунистов и иностранных агитаторов. За несколько часов им удалось завести толпу: она ринулась штурмовать здание парламента, а оказавшись внутри, подожгла его. Когда началась стрельба, фольксвер также ворвался в здание. Отвоевывая парламент, “народная милиция” застрелила около пятидесяти демонстрантов и ранила несколько сотен — по крайней мере так гласили первые сообщения.

Однако другой эпизод шокировал общественность даже больше, чем попытка путча: когда в разгар боя на улице перед парламентом под полицейским застрелили лошадь, голодные люди стали рвать ее на части и уносить кровавые куски мяса. Для обычных венцев, обожавших парадных белых императорских лошадей так же сильно, как американцы обожали

боксеров, этот инцидент свидетельствовал, что на смену цивилизации неумолимо возвращается варварство. Недавно назначенного министра финансов это потрясло как никого другого, потому что даже в это отчаянное время он держал несколько породистых лошадей.

В Будапеште бытовало убеждение, что революция в Вене неизбежна, но к середине дня восстание захлебнулось. Фридрих Адлер, недавно выпущенный на свободу убийца предпоследнего премьер-министра монархии и популярный политик-социалист, призывал к спокойствию. Сами коммунистические лидеры не могли договориться о том, провозглашать советскую республику или нет. На следующий день руководители рабочих советов отказались призвать народ к всеобщей забастовке. Эллис Эшмид-Бартлетт, военный корреспондент “Дейли телеграф”, бросился из Будапешта в столицу Австрии. “Я ожидал, что в Вене бушуют страсти, но оказалось, что в городе все спокойно”⁴⁵.

Излюбленным местом встреч дипломатов, шпионов и контрреволюционеров в Вене был отель “Захер”, расположенный напротив оперного театра и славившийся своим роскошным шоколадным тортом. Говорили, что мадам Захер была яркой монархисткой. Шумпетер там часто обедал. 2 мая сэр Томас Канингем обнаружил Шумпетера в одном из частных залов в задней части отеля в компании еще четырех мужчин, включая Эллиса Эшмид-Бартлетта, британского корреспондента, который в свое время обнародовал историю бойни в битве при Галлиполи. Примерно в середине трапезы к ним и присоединился Канингем, который, видимо, слышал, что Эшмид-Бартлетт находится в Вене.

Эшмид-Бартлетт пытался собрать деньги для 150 венгерских офицеров, которые разбрелись по Вене, с одной стороны, боясь депортации, а с другой стороны, стремясь организовать контрреволюцию против Белы Куна (у них совершенно

не было денег и не было возможности взять кредит, и не такой, который предоставляла сочувствующая им мадам Захер, а такой, который позволил бы, скажем, арендовать поезд). Фон Нейман, банкир из Будапешта, приехал в Вену, чтобы помочь с поиском денег. Другие богатые сочувствующие боялись одалживать им деньги, опасаясь, что информация об этом дойдет до членов социалистического правительства Австрии. Луи Ротшильд, на которого возлагали свои надежды заговорщики, каждый день выдвигал новые условия. В конце концов Канингем предложил Эшмид-Бартлетту встретиться с Шумпетером, известным в Британии как ярый противник союза с Германией, против которого выступала и Британия.

Интеллект Шумпетера, его живая манера разговора и безупречный английский произвели на журналиста большое впечатление. Он с одобрением отметил, что Шумпетеру еще не было сорока и что он никоим образом не выказывал той осмотрительности, которая отличает сотрудников казначейства. “Мы обсуждали будущее Австрии”, — вспоминал он. Шумпетер немедленно объявил себя сторонником конституционной монархии по образцу британской и согласился с тем, что “единственный способ устранить нависшую над Веной “красную опасность” — это свергнуть советское правительство в Венгрии”. Сказав затем, что он с радостью дал бы контрреволюционерам денег из казны, если бы не необходимость отчитываться перед парламентом за каждую крону, он предложил гарантировать Ротшильду, что если тот одолжит деньги, то казначейство посмотрит на это сквозь пальцы. “Это была хорошая новость, — вспоминал Эшмид-Бартлетт, — так как она снимала главное возражение Луи Ротшильда.. А именно его страх столкнуться с неприятными вопросами австрийского правительства”.

Но случилось так, что 4 мая монархисты захватили посольство Венгрии в Вене и обнаружили там крупную сумму денег (говорили о 135 миллионах крон и 300 миллионах швейцарских франков), предназначенных для разжигания в Вене революции.

Как раз когда переговоры с Ротшильдом близились к концу, Шумпетер прислал своего секретаря, и тот сообщил банкиру, что тому “нет необходимости давать деньги, потому что они нашлись в другом месте”⁴⁶. Когда Бела Кун попытался получить назад свои военные активы и добиться выдачи офицеров-аристократов, Шумпетер заступился за них. Продолжения у этой истории не было, так как правительство Белы Куна было свергнуто правым адмиралом Миклошем Хорти и его сторонниками.

В течение следующих нескольких недель австрийское правительство щедро раздавало деньги. В коалиционном правительстве, сформированном в марте 1919 года, доминировали социалисты, потому что только они могли как-то контролировать безработных, солдат, рабочие советы и радикалов. Утверждая, что значительное консервативное крестьянское большинство не допустит социалистической революции и что любой путч приведет к вмешательству Антанты, Бауэр настаивал на различных мерах социальной поддержки. Социалисты понимали, что времени у них в обрез, и сумели заложить основу австрийского “государства всеобщего благосостояния” буквально в течение нескольких недель. В одной только Вене 60 тысяч инвалидов войны, членов семей военнопленных, а также чиновников бывшей империи и членов их семей получили право на пособие, так что к концу года шестая часть населения страны жила на пособия, не производя никаких товаров на продажу.

Между тем у Шумпетера не получалось добиться поддержки его налоговых предложений. Никакие кредиты от союзников не поступали. Запасы золота и иностранной валюты были ничтожными. У правительства не было иного выбора, кроме как финансировать свой дефицит путем печатания денег.

Министры искали возможность переложить бремя на бизнес, используя механизмы, которые Бауэр назвал “далеко идущими посягательствами на права частных предпринимателей, первоначально задуманными как чрезвычайные меры и расчи-

танными всего на несколько месяцев”. В мае кабинет принял постановление, требующее от крупных компаний повышения занятости на 20%. За ним последовали и другие, заставлявшие работодателей признать профсоюзы и предоставлять рабочим оплачиваемые отпуска, а также запрещавшие останавливать предприятия без разрешения правительства. Неудивительно, что это привело к резкому снижению производительности труда, к жалобам на прогулы и к дальнейшему снижению налоговых поступлений.

Тем не менее кабинет Реннера шел дальше по пути социализации. В середине мая Отто Бауэр объявил о программе частичной национализации горнодобывающей промышленности, чугунолитейного производства, электростанций, лесов и лесоматериалов. Шумпетер возразил: если государство приведет свои финансы в порядок и стабилизирует крону, владельцы предприятий снова начнут делать инвестиции и расширять производство. Оттолкнув консерваторов своим предложением возложить на богатых бремя выплаты военного долга, он отпугнул и своих социал-демократических коллег, заявив, что обобществление частных предприятий сделает невозможным привлечение иностранных инвесторов и затруднит восстановление экономики.

Социал-демократические коллеги Шумпетера доверяли ему не больше, чем члены его собственной партии, называя его между собой “самодовольным”, “тщеславным” и “неискренним”. В то время как другие министры носили потрепанную одежду и дырявую обувь, Шумпетер одевался как английский банкир или дипломат: костюм безупречного покроя, сшитый в ателье на лондонской Сэвил-роу, белоснежный шелковый платок, тяжелые золотые часы поверх платка. Газетные карикатуристы неизменно изображали его в кавалерийских бриджах, высоких сапогах и фетровой шляпе. Под мышкой он носил хлыст, как будто собирался подстегивать своих коллег по министерству, кабинет, а может быть, и всю страну, чтобы навести в ней порядок. Другие министры жили в скромных квартирках

со своими бесцветными женами. Шумпетер же, по-видимому, навсегда оставив Глэдис, как будто выставлял напоказ свою холостяцкую расточительность. Он снимал апартаменты в шикарном отеле “Астория” за углом от министерства, квартиру на Штрудльхофгассе, а также половину графского дворца, где закатывал роскошные чаепития и обеды для Ротшильдов, Вингенштейнов и других плутократов, а также для иностранных дипломатов, журналистов и политиков. Он часто подкатывал к министерству в роскошном конном экипаже, ел в лучших ресторанах, пил лучшее французское шампанское, а под руку с ним или рядом с ним в карете часто видели девушек по вызову, иногда даже двух сразу. Его образ жизни явно не соответствовал зарплате министра, и было очевидно, что Шумпетер занимал деньги у богатых друзей. Даже его давний наставник Фридрих фон Визер думал, что Шумпетера “не очень-то волнуют несчастья окружающих”, и подозревал, что “он уйдет в отставку, как только удовлетворит свое тщеславие”⁴⁷. Шумпетер усугублял ситуацию, притворяясь равнодушным к критике. Он говорил журналистам: “Неужели вы думаете, что я захочу оставаться министром, если государство обанкротится?”⁴⁸

Еще одним источником трений был аншлюс, который Отто Бауэр считал единственно возможным вариантом экономического возрождения Австрии и которому Шумпетер — единственный из всех членов кабинета — активно противостоял. В конце мая местный корреспондент газеты “Ле Тан” нашел “доктора Шумпетера” за письменным столом в желтом танцевальном зале. Роскошный барочный дворец в самом центре голодающего города, щедрая сусальная отделка пустых хранилищ казначейства, фрески от пола до потолка, прославляющие былые военные победы Австрии, на фоне нынешнего разложения и анархии показались репортеру весьма забавными. К тому же он натолкнулся здесь на Шумпетера, “буржуйского мальчика для битья” в действующем кабинете министров, по

сидел в ногах у портрета Фердинанда I, — вот это было смешно!»⁴⁹ Читатели “Ле Тан” оценили юмор: ведь этот глупый и сексуально бессильный австрийский император был вынужден отречься от престола в 1848 году, в год другой революции. Такая же судьба, казалось, уготована столь же глупой и беспомощной Австрийской Республике и ее министрам — даже такому волевому, блестящему и брызжущему сексуальной энергией, как доктор Шумпетер.

Австрийское правительство пыталось повлиять на условия мирного договора, диктуемые Антантой, и активно пропагандировало свое “право на объединение с Германией”⁵⁰. После появления в “Ле Тан” интервью с Шумпетером Бауэр на очередном заседании кабинета обвинил его в тайном лоббировании интересов Франции и Англии, пытавшихся запретить аншлюс. В своих мемуарах Бауэр жаловался: “французские политики получили возможность заявить, что австрийские лидеры, банкиры и промышленные магнаты ежедневно уверяют дипломатов Антанты в Вене, что Австрии аншлюс не нужен и что она вполне может справиться сама, если условия мира будут относительно благоприятными”⁵¹.

Обвинение Бауэра было в значительной степени справедливым. Шумпетер уже в течение нескольких недель pronuncié речи против аншлюса. Он также предложил Анри Ариэлю, руководителю французской военной миссии в Вене, идею валютного союза с Францией. Он полагал, что новое австрийское государство может избежать банкротства, рассчитывая, что Франция будет стремиться создать в Центральной Европе общий рынок, в котором не будет доминировать Германия. Еще в конце июня Шумпетер публично заявил, что он надеется, что Антанта обеспечит “справедливое распределение времени” военных долгов и не будет настаивать на конфискации австрийских активов в Чехословакии, Венгрии и Югославии. Как он выразился, “в случае с Германией мирный договор должен сдерживать восстановление; в случае с Австрией — стимулировать его”⁵².

В конце мая Шумпетер еще раз раскритиковал политику аншлюса в “сенсационном” интервью “Нойес ахт ур блатт”, в котором предупреждал: “Ради нашей безопасности мы должны поддерживать мирные отношения со всеми государствами, и особенно с ближайшими соседями”⁵³. Бауэр написал ему яростное письмо, но вместо того чтобы прислушаться к предупреждению, Шумпетер попытался заключить тайное сепаратное соглашение с англичанами. Он передал Фрэнсису Оппенгеймеру, эмиссару Кейнса в Вене, проект “секретного” плана допуска союзников к контролю над финансами и центральным банком Австрии в обмен на долгосрочные кредиты. В телеграмме своему боссу Оппенгеймер, горячо поддержавший план Шумпетера, сообщал, что “австрийский министр иностранных дел не разделяет общего мнения, что единственное спасение для Австрии — это объединение с Германией. Он хотел бы, чтобы ответственность за Австрию взяла на себя мощная финансовая комиссия союзников по примеру британской финансовой администрации в Египте, но чтобы при этом — независимо от возможной формы такого управления — не пострадало самолюбие австрийцев. Он настаивает на том, что самым важным пунктом в программе восстановления Австрии является, вероятно, сохранение единой валюты в государствах-преемниках и предоставление Вене роли их общего банкира”.

Оппенгеймер добавлял: “Это редкая удача — иметь дело с таким доброжелательным и непредубежденным экспертом”⁵⁴. Эти двое продолжали часто встречаться. Кроме всего прочего, Шумпетер активно пытался помочь британцам приобрести австрийские компании, которые контролировали судоходство на Дунае. Как сообщил Оппенгеймер Кейнсу, “доктор Шумпетер согласился содействовать передаче этой компании, а возможно, и трех других, в британскую собственность на исключительных условиях за наличные деньги и обещал сохранить за нами право первого выбора, пока мы не примем это предложение или не откажемся от него”⁵⁵. Естественно, ничто

в Вене не оставалось тайной надолго. “Шумпетер все плетет свои интриги, — писал Бауэр Реннеру. — Пока я не буду ничего делать, но после заключения мирного договора он должен будет подать в отставку”⁵⁶.

Почти сразу после того, как 7 мая в Версале союзники объявили условия мирного договора немцам, австрийская делегация во главе с премьером Карлом Реннером выехала из Вены во Францию. 2 июня 1919 года, после двух недель ожидания в старом королевском замке в Сен-Жермен-ан-Ле — ожидание им скрашивали французская кухня и вина — они ознакомились с условиями Антанты для Австрии. “Это был ужасный документ”, — вспоминал Отто Бауэр. Большие куски немецкоязычной Австрии отходили к чехам, югославам и итальянцам. “Не менее жесткими были и экономические условия... Они были просто списаны с германского мирного договора”⁵⁷. В проекте Сен-Жерменского договора констатировалось, что Австро-Венгерская империя распалась, но наказания за былые преступления предусматривались только для Австрии. Три миллиона немецкоязычных австрийцев теперь должны были жить под властью чехов. Частная собственность граждан Австрии подлежала конфискации. Правительство Австрии должно было выплачивать репарации в течение тридцати лет. Смертельным ударом, по крайней мере с точки зрения Бауэра, было то, что категорически запрещалось объединение с Германией.

Вена была потрясена и не сразу смогла поверить в случившееся. Шумпетер сказал одному репортеру, что “союзниками, очевидно, двигало стремление уничтожить немецкоязычную Австрию”⁵⁸. Потом, 30 июня, он добавил: “Убить народ не просто. Обычно это просто невозможно. Но здесь мы имеем один из немногих случаев, когда это возможно... финансовый крах неизбежно повлечет за собой социальный”⁵⁹. Валютный рынок вынес договору свою оценку, и крона рухнула еще раз. Как сказал Фридрих фон Визер несколько месяцев спустя на Лон-

донской конференции по оказанию помощи и восстановлению (где присутствовал и Кейнс), тем самым валютные рынки “показали, что не считают Австрийскую Республику, с границами, установленными мирным договором, и с бременем, возложенным на нее согласно договору, жизнеспособной. Австрийские патриоты сделают все для того, чтобы их страна выжила. Но не стоит удивляться тому, что окружающий мир, безразличный к ее существованию, объявил ее нежизнеспособной”⁶⁰.

Обойдясь с Австрией так же сурово, как с Германией, союзники не только снизили шансы нового государства на выживание, но и окончательно уничтожили репутацию Шумпетера. Он был вынужден признать, что его политические суждения были наивными. В дневнике он записал, что оказался человеком без интуитивного ощущения политической реальности, “человеком без антенн”⁶¹.

Политическая смерть Шумпетера была мучительно долгой. На заседании кабинета министров 15 июля Бауэр бросил ему еще одно обвинение, на этот раз — в саботаже “социализации” базовых промышленных ресурсов, а именно содействию передаче итальянской компании “Фиат” крупнейшего австрийского горнодобывающего и лесоперерабатывающего концерна, после чего правительство уже не могло взять управление им на себя. Шумпетер тщетно пытался защищаться, представляя ряд сделок с брокером по фамилии Кола как попытки добыть золото и твердую валюту для защиты кроны⁶². Две недели спустя Шумпетера ждало новое унижение — ему пришлось отстаивать правительственный план продажи за границу (или заклада) некоторых принадлежавших государству “бессмертных произведений искусства”, в том числе ценных императорских гобеленов. Другого способа получить иностранную валюту, необходимую для покупки продовольствия за границей, просто нет, утверждал он, но при этом сухо предупреждал: “Такие операции нельзя будет проводить часто”. Он просил законо-

дателей в последний раз одобрить его бюджет. “Самая главная задача государства — в ближайшие три года не допустить банкротства правительства и выпуска новых банкнот”, — восклицал он, сознавая, что те, к кому он обращается, не слышат его слов⁶³. Это было последнее выступление Шумпетера перед парламентом.

В середине октября полностью отстраненный от дел и постоянно подвергавшийся насмешкам в прессе Шумпетер был наконец уволен. Уволен при таких обстоятельствах и таким образом, что одна либеральная газета обвинила Реннера в намеренном подрыве репутации своего бывшего коллеги. Но и этим дело не кончилось: некоторые действия Шумпетера в качестве министра финансов стали предметом расследований, продолжавшихся несколько месяцев. Банкир Феликс Сомари вспоминал, что “Шумпетер ко всему относился легко”, и объяснял его хладнокровие обучением в Терезиануме, “где студентов учили владеть собой и ни при каких обстоятельствах не выказывать эмоций. Необходимо было освоить правила игры всех партий и идеологий, но избегать обязательств”⁶⁴. Однако внутренне Шумпетер был сломлен. Он был убежден, что ему не хватило “качеств лидера”⁶⁵. Его публичное унижение усугублялось тем, что были разрушены надежды его матери. То, что последующие программы союзников по стабилизации Австрии опирались на его разработки и что правительство, отправившее его в отставку, было признано “неспособным управлять страной”, не смягчало горечь неудачи. Отвечая на вопросы о пережитом, он обычно ограничивался словами: “Я занимал должность министра во время революции, и поверьте мне, это было не очень приятно”⁶⁶.

В ноябре, когда Визер вернулся из Лондона, его знакомые все еще говорили о падении Шумпетера, и он записал: “Кажется, все партии считают, что Шумпетер полностью уничтожен. Даже молодые экономисты, считавшие его своим лидером,

отвернулись от него. Никто больше не возлагает на него ни каких надежд”⁶⁷. Его бывшие поклонники предали его. После двух семестров в Университете Граца, где он зализывал свои раны, Шумпетер сделал то, что делают многие бывшие государственные служащие: ушел в частный сектор.

Время для этого было самое подходящее. Крах австрийских надежд на счастливое будущее по времени совпал с бумом фондового рынка, все лихорадочно заключали сделки. Как вспоминал один наблюдатель, “котировки акций менялись ежедневно, приспособляясь к падению стоимости денег. Капиталисты стремились уберечь свой капитал, вкладывая его в ценные бумаги и векселя... Фондовая биржа жила, ориентируясь на непрерывное падение кроны. Обменный курс кроны по отношению к другим валютам падал быстрее, чем ее внутренняя покупательная способность. Поэтому цены на многие товары в Австрии были гораздо ниже мировых рыночных цен, и экспорт австрийских изделий мог приносить большую прибыль”⁶⁸.

В качестве последнего выражения признательности парламент выдал Шумпетеру “золотой парашют” в виде банковской лицензии, а к 1921 году Шумпетер сумел трансформировать ее в президентство в небольшом, но старом и уважаемом банке. Он истратил все свои сбережения и наделал массу долгов, введя такой образ жизни, который был не по средствам профессору и политику. Теперь ему нужно было зарабатывать деньги.

Глава VII

ЕВРОПА УМИРАЕТ

КЕЙНС В ВЕРСАЛЕ

Мнение эксперта игнорируется.

Кейнс был слишком великолепен в отношении договора с австрийцами. Он собирается бороться. Он говорит, что намерен уйти в отставку.

ФРЭНСИС ОППЕНГЕЙМЕР, 1919¹

Ситуация в Вене не была уникальной. В январе 1919 года голод и эпидемии свирепствовали на всей земле от Санкт-Петербурга до Стамбула. Британцам и американцам, которые прибыли в Европу, чтобы оценить ущерб, казалось, что весь континент на грани гибели. Один наблюдатель записал в своем дневнике, что проехал десять часов от побережья до Лилля, на востоке Франции, и не увидел “ни одного человека, не связанного с армией... ни одного животного... и вообще ни одного живого существа, ничего, кроме бурьяна и покинутых домов”. К бельгийском Ипре, где несколькими годами раньше шли самые ожесточенные сражения, “кирпич и камень потускнели, и на руинах проросли трава и мох”².

Через восемь недель после подписания перемирия оказалось, что возвращение к мирной жизни невозможно. Блокада еще действовала. Союзники не решились отказаться от своего наиболее эффективного оружия против Германии.

так быстро. Сотни тысяч солдат продолжали воевать в десятках малых войн: повсюду погромы, высылки, массовые убийства. В войне погибло восемь с половиной миллионов человек. Почти столько же остались инвалидами или были искалечены психологически. В Центральной Европе выросло целое поколение “детей войны” — низкорослых и худосочных.

После войны “век всеобщего единства” и его экономические достижения уже казались столь же далекими от реальности, как сон. Чудовищные человеческие потери и урон, нанесенный имуществу, усугублялись тем, что довоенные каналы торговли и кредитов также были разрушены. Повсюду возникали все новые барьеры для экспорта и импорта. Те, у кого было что продать, часто не хотели отдавать свой товар в обмен на бумажные деньги, выпущенные правительствами банкротами, и торговля в значительной мере свелась к бартеру. Победители и проигравшие в ходе самой дорогой войны в истории заложили все, что могли, не только истощив свои резервы, но и исчерпав ограниченные возможности налогообложения. Вплоть до 1916 года во Франции, Германии и России не было подоходного налога. А теперь нельзя было взять кредит, чтобы прокормить население, купить топливо для печей, отремонтировать поврежденные заводы или финансировать новые торговые предприятия. Жажда мести и угроза банкротства в равной степени вынуждали неустойчивые правительства искать тех, кто взял бы на себя расходы.

“Экономический механизм Европы заело”, — писал Вудро Вильсону Дэвид Ллойд Джордж, британский премьер-министр военного времени³. Все зависело от экономического возрождения, но собравшиеся в Париже главы государств победителей, казалось, были не способны уделить этому вопросу достаточно внимания. По крайней мере такая мрачная перспектива открывалась с четвертого этажа великолепного отеля “Мажестик” возле площади Этуаль*, где разместились

* Сегодня эта парижская площадь называется площадь Шарля де Голля.

британская делегация и где Мейнард Кейнс, восходящая звезда казначейства, сочинял Ванессе Белл письмо, в котором уверял ее, что ее бы “весьма позабавили удивительные переплетения психологических особенностей, личных амбиций и интриг, которые превращают нависшую над Европой катастрофу в величественную игру”⁴.

Кейнс приехал в отель “Мажестик” 10 января, в самый влажный и самый депрессивный месяц в году. Президент Вудро Вильсон пробыл в Париже уже четыре недели, а премьер-министра Ллойд Джорджа ждали не раньше чем через день. Несмотря на жестокие обстрелы, городу удалось отразить наступление войск кайзера, но теперь он превратился в союзническую оккупационную зону. Филиалы “Американ экспресс” росли здесь как грибы. Гигантские британские печатные прессы безостановочно трудились на Марсовом поле. Улицы были забиты черными седанами, везущими дипломатов, и бурными военными автомобилями, а по тротуарам туда-сюда сновали молодые мужчины и женщины в формах двадцати семи стран. Казалось, весь мир был сосредоточен в Париже.

На Сене возникли миниатюрный Уайтхолл и миниатюрный Белый дом. Между ними курсировал министр вооружений Великобритании Уинстон Черчилль, как всегда в сопровождении своего верного секретаря Эдди Марша. На дальнем конце Елисейских полей обосновался президент США Вудро Вильсон с группой советников, в которую входили, в частности, финансист Бернард Барух, юридический советник американской группы Джон Фостер Даллес и бывший помощник министра обороны Феликс Франкфуртер. Делегации привезли с собой собственные парки автомобилей и эскадрильи самолетов, создали свои собственные телефонные и телеграфные сети и даже обзавелись собственными поездами.

Кейнс не был членом ближнего круга Ллойд Джорджа. Соответственно, премьер-министр со своей любовницей Фрэн-

сис Стивенсон разместился в роскошной квартире, а Кейнс поселился в отеле “Мажестик” вместе с остальными членами британской делегации. Вскоре после перемирия отель начали готовить к новой жизни, и здесь был свой врач, специальная помощница для женского персонала, а также подразделение детективов из Скотланд-Ярда, которые должны были предотвращать утечки информации. В результате выйти из отеля было легко, а “войти в него — крайне сложно”, вспоминал член британской делегации дипломат Гарольд Николсон, муж писательницы Виты Сэквилл-Уэст и старый друг Кейнса. В здании отеля “от чердака до подвала работали вышколенные британские слуги из наших провинциальных гостиниц. Поэтому еда сводилась к типичному англо-швейцарскому ассортименту”, писал Николсон⁵. Интересно, что никому в голову не пришло заменить французский персонал в соседнем отеле “Астория”, где британская делегация работала и хранила секретные карты и документы.

В отеле “Мажестик” бывали самые удивительные люди. Так, посуду на кухне мыл Хо Ши Мин, будущий лидер Вьетнама. В холле часто можно было встретить Т. Э. Лоуренса, теперь больше известного как Лоуренс Аравийский, драматурга Жана Кокто, писателя Марселя Пруста — “бледного, небритого, неопрятного, с неприметным лицом, одетого в шубу и белые лайковые перчатки”. Свою встречу с ним Николсон описывал так:

Он задает мне вопросы. Не буду ли я так любезен рассказать ему, как работают комиссии? — “Ну, обычно мы встречаемся в 10.00, с нами секретари...” — “Нет, нет, вы говорите слишком много и слишком быстро. Начните сначала. Вы взяли служебную машину. Вы вышли на набережной Орсе. Вы поднялись по лестнице. Вы вошли в комнату. А потом? Что было потом? Подробнее, голубчик, как можно подробнее!” Так что я рассказываю ему все. Обо всей этой притворной сердечности; рукопожатиях, картах, шелесте бумаг, чае в со-

седней комнате, миндальном печенье. Он зачарованно слушает, иногда прерывая: “Больше подробностей, мой дорогой, не торопитесь!”⁶

Журналистов было больше, чем дипломатов. По поручению лондонской “Дейли ньюс” в Париж приехал Фредерик Морис, бывший генерал-майор британской армии. Совсем недавно он чуть не вызвал отставку правительства, обвинив премьер-министра в том, что тот солгал парламенту относительно численности британских войск в конце войны. Его любимое дитя Нэнси в это время тоже была в Париже в качестве новенькой секретарши генерал-майора Эдварда Луи Спирса, женатого консерватора средних лет, которому предстояло в один прекрасный день стать ее мужем — одна из бесчисленных молодых ассистенток, чья форма цвета хаки стала источником вдохновения для авторов нескольких слегка непристойных песенок. Ее младшая сестра Джоан, пятнадцатилетняя и не по годам развитая ученица школы Св. Павла в Лондоне, про которую ну никак нельзя было подумать, что она станет одним из самых известных экономических мыслителей XX века, отдала бы все, чтобы тоже быть в Париже. Но ей пришлось довольствоваться отрывочными и помпезными сводками Нэнси, адресованными их матери.

Мейнард Кейнс считался в Париже “одним из самых влиятельных закулисных деятелей”. Даже его критики признают, что у него был “ясный ум, уверенность в себе и безошибочная память”⁷. Он вполне обоснованно жаловался на переутомление, но его сотрапезники с иронией отмечали его “непревзойденное пищеварение” и способности к употреблению шампанского. В свои тридцать шесть Кейнс еще казался тощим и долговым студентом. В школьные годы за вздернутый нос и мясистые губы он получил прозвище Рыло, у него был голодный взгляд человека, который, как пренебрежительно выразилась

одна из любовниц Бертрана Рассела леди Оттолайн Моррелл, “жаждет работы, славы, влияния, власти, восхищения”⁸. Самонадеянность Кейнса была поразительной, манеры ужасными, а одежда небрежной. Однако сияющие глаза, оживленная мимика и уверенность в себе делали его весьма привлекательным, а его нежный и мелодичный голос находили неотразимым и мужчины, и женщины.

Кейнс, родившийся, как и Йозеф Шумпетер, в 1883 году, был любимым сыном в очень успешной и сплоченной академической кембриджской семье, которая была близка, а иногда и состояла в родстве или свойстве с другими учеными династиями, включая Дарвинов, Рамсеев, Морисов, Стивенсов и Стрейчи. Его отец Невилл Кейнс был профессором этики и близким другом Альфреда Маршалла. Его мать Флоренс, в 1932 году ставшая мэром Кембриджа, активно занималась политикой и благотворительностью на местном уровне. Для Кейнса и его младших брата и сестры они были мудрыми, заботливыми и любящими родителями.

Кейнса, признанного гением еще в подростковом возрасте, почти с пеленок прочили в стипендиаты Кембриджа. Невилл Кейнс убеждал своего одаренного сына посвятить себя математике. В 1902 году, с отличием окончив Итон и получив наивысший балл на вступительных экзаменах, Кейнс стал студентом Королевского колледжа, одного из старейших в Кембридже, причем со стипендией. Когда он кончал первый курс, в свет вышла книга философа Дж. Э. Мура “Принципы этики”, которая произвела на него огромное впечатление, тем более что Мур в свое время был членом философского “Общества апостолов”, которое связывало между собой разные поколения кембриджских интеллектуалов. Речь в “Принципах” шла об определении понятия хорошей, правильной жизни. В викторианскую эпоху следовало быть старательным, уметь делать деньги и подчиняться правилам. Отказавшись от характерных для поколения Альфреда Маршалла утилитарных ценностей и призывов делать добро, а заодно и от тогдашних сексуальных

нравов, Мур исповедовал крайний индивидуализм и эстетизм, смягченный “золотым правилом”²⁸. “Ничто не имело значения, кроме душевного состояния, своего собственного и других людей, конечно, но главным образом, собственного, — вспоминал Кейнс в 1938 году. — Эти душевные состояния не были связаны ни с какими действиями, или достижениями, или последствиями. Это были вневременные, страстные состояния созерцания и общности”²⁹.

Заметим, что в этих воспоминаниях нет даже намек на увлеченность Кейнса греблей, верховой ездой, теннисом, а более всего — гольфом, на его страсть к публичным дискуссиям, его принадлежность к партии либералов и престижным социальным и интеллектуальным студенческим обществам, которые приглашали его в свои члены или даже в руководители. Еще студентом Кейнс выказал качества природного лидера и, разумеется, блестящий интеллект. Хотя он редко ложился спать раньше трех часов ночи, это не помешало ему в канун двадцать первого дня рождения получить степень бакалавра “первого класса с отличием”. В то время он полагал, что пойдет по стопам Невилла, и целый год изучал математику, чтобы сдать кембриджский трайпос. В 1905 году покорить королеву наук было значительно труднее, чем в те времена, когда Маршалл получил свое второе место. Двенадцатое место Кейнса вряд ли можно было считать неудачей, но его было недостаточно, чтобы получить стипендию в Королевском колледже. Чтобы читатель представлял себе уровень конкуренции, следует сказать, что великий специалист по теории чисел Г.Х. Харди, известный прежде всего как автор “Апологии математика”, в 1900 году финишировавший на трайпосе четвертым, в то время все еще дожидался места лектора в университете.

Отправляясь в поход в Альпы, Кейнс взял с собой “Принципы экономической науки” Маршалла. Осенью он вернулся

²⁸ “Золотое правило нравственности”, или “категорический императив” Иммануила Канта гласит: поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой.

в Кембридж достаточно увлеченным экономикой, чтобы начать посещать лекции Маршалла, одновременно готовясь к экзамену для поступления на государственную службу. “Маршалл все время уговаривает меня стать профессиональным экономистом и пишет лестные замечания к моим работам, — писал Кейнс своему близкому другу Литтону Стрейчи. — Как ты думаешь, в этом что-нибудь есть? Я сомневаюсь”¹⁰.

Тем не менее этот предмет все-таки зацепил Кейнса, и он начал думать, что, наверное, мог бы “управлять железной дорогой, или создать трест, или хотя бы дурить инвесторов”¹¹. Из-за невозможности получить академическую должность Кейнс обратил взоры на казначейство. Но второе место на экзамене по государственной службе обеспечило ему временную ссылку в министерство по делам колоний, где ему поручили работу с индийской рупией. В отличие от Сесили, героини пьесы Оскара Уайльда “Как важно быть серьезным”, Кейнс нашел, что рупия — дело весьма увлекательное. Он пришел к выводу, что валюта любой страны — это ключевой фактор состояния ее экономики, а поскольку страны взаимно объединены посредством торговли и инвестиций — то и мировой экономики в целом.

Все были готовы принимать британские фунты в обмен на товары или услуги, но не все были готовы принимать рупии. Ценность денег, будь то гигантские каменные жернова, которые предпочитали древние микронезийцы, золотые монеты или записи на балансе банка, зависит исключительно от готовности людей принимать их. Поэтому состояние валюты государства неизбежно отражает оценку остальным миром его экономических перспектив, платежеспособности и готовности выполнять свои обязательства. В этом смысле валюта напоминала пульс, жизненно важный показатель, который может сигнализировать и о серьезной болезни или травме, и о кратковременном приступе волнения или страха. Задача врача заключается в том, чтобы определить причину учащения пульса, прежде чем пациент упадет в кому или, наоборот, поставит

его в глупое положение, спрыгнув с каталки совершенно здоровым. Если же до пациента тысячи километров и более подробную информацию о его состоянии получить невозможно, проблема заметно усложняется. Однако Кейнсу, с его живым умом, умением подмечать взаимосвязи и талантом обобщения, такие загадки не просто пришлись по вкусу: у него проявились природные задатки диагноста.

Со своими служебными обязанностями в отношении рупии Кейнс справлялся с такой легкостью, что у него оставалось время прямо на службе писать работу по теории вероятностей, благодаря которой он надеялся получить вожделенную стипендию в колледже. По вечерам и в выходные дни он был свободен и мог бывать в обществе и заводить полезные знакомства. Он жил в Лондоне и снимал квартиру на Гордон-сквер, 46, в районе, чья дурная репутация сделала его модным. Его соседками сверху были красивые, властные и невероятно талантливые сестры Стивен, будущие Ванесса Белл и Вирджиния Вулф. Кейнс особенно подружился с Ванессой, художницей, любившей сплетничать и сквернословить. Из сексуального дневника Кейнса, скрупулезно подробного, как и его записные книжки с цифрами расходов и результатами игр в гольф, видно, что его личная жизнь в это время расцвела. В отличие от периода 1903–1905 годов, когда сексуальных партнеров у него просто “не было”, в 1911 году их было уже восемь, а в 1913-м их число достигло рекордного уровня — девять. Среди них были любовники и друзья на всю жизнь: Дункан Грант, Литтон Стрейчи и Дж. Т. Шеппард, ректор Королевского колледжа и открытый гей¹². Тем не менее он редко пропускал воскресный обед в Кембридже со всем обширным кланом Кейнсов.

Ему едва исполнилось двадцать лет, как он почти на десятилетие стал главным британским экспертом по малоизвестным валютам. Размышления о валютах выработали у него привычку думать об экономике в целом вместо того, чтобы рассматривать отдельно “торговлю”, “труд” или “промышленность”, и научили делать серьезные выводы на основании немногих

показателей. Он научился также предчувствовать, какие действия правительства окажут системное влияние — подобное влиянию Луны на приливы, — а не только воздействие на отдельные отрасли или группы отраслей. Однако в 1908 году он покинул министерство по делам колоний. Артур Пигу, премьерник Альфреда Маршалла в Кембридже, и отец Кейнса предложили ему помощь на срок до года, чтобы он мог закончить свой трактат. В 1909 году он завершил работу, но она не принесла ему желанного места в Королевском колледже, которое давало бы ему право учить студентов за деньги и питаться за столом для профессоров и преподавателей, и тогда Маршалл лично оплатил место преподавателя экономики в Кембридже для Кейнса. После этого сотрудники Королевского колледжа приняли его в свои ряды.

В своем первом сообщении родителям из Королевского колледжа восемнадцатилетний первокурсник Кейнс объявил: “Я внимательно осмотрел это заведение и пришел к выводу, что оно не очень-то эффективно”¹³. Как отмечает его биограф Роберт Скидельски, учреждения в его жизни будут меняться, но его мнение о них, а лучше сказать, об окружающем мире в целом — никогда. По его мнению, они работали плохо и нуждались в более грамотном управлении. Будучи подвержен приступам “неуправляемого гнева”¹⁴, особенно при столкновении с глупостью, Кейнс, однако, в целом скорее сердился, нежели возмущался, и был скорее нетерпеливым, нежели самоуверенным. Он отличался от своих друзей из Блумсбери тем, что не испытывал, как многие люди искусства, презрения к мирскому успеху и власть имущим. Как и Уинстона Черчилля, который признавался жене, что даже тогда, когда “все движется к катастрофе... мне интересно, я испытываю подъем и счастье...”¹⁵, мировые проблемы более воодушевляли, нежели подавляли Кейнса, и он не мог сдержать свое стремление сделать плохое не таким плохим, а хорошее — еще лучшим.

Его реакция на войну являла собой необычное сочетание патриотизма, оппортунизма и прагматизма. Когда в августе 1914 года Англия объявила войну Германии, он был в полном смятении. Будучи неисправимым оптимистом, он разделял общее мнение, что война будет кончена в течение нескольких месяцев, если не недель. Тогдашний министр финансов Дэвид Ллойд Джордж впервые обратился к нему за советом еще до начала боевых действий. Он потратил целый день, пытаясь убедить Ллойд Джорджа не идти на поводу у банкиров Сити и не приостанавливать конвертируемость фунта в золото, до тех пор пока это не станет абсолютно необходимым. Кейнс был явно настроен более оптимистично, чем банкиры.

Формально он стал сотрудником казначейства в январе 1915 года, и ему поручили военные финансы. Объявленная в 1916 году мобилизация, касавшаяся мужчин в возрасте от семнадцати лет до сорока одного года, значительно повысила его статус, поскольку Кейнс стал частью британской военной машины. По крайней мере полдюжины его ближайших друзей и бывших любовников были пацифистами и решили не воевать. Они настаивали, чтобы Кейнс прекратил участвовать в войне, о неприятии которой он говорил открыто. Однажды за ужином Кейнс нашел у себя на тарелке записку от Стрейчи: "Дорогой Кейнс, почему ты все еще в казначействе? Твой Литтон"¹⁶. Пока Кейнс оставался сотрудником казначейства, на военную службу его призвать не могли, поскольку мужчины, "занятые работой государственной важности", освобождались от призыва. Находясь под сильным давлением друзей, требовавших, чтобы он занял четкую антивоенную позицию, Кейнс постоянно угрожал уволиться со службы, а в феврале 1916 года успокоил родителей известием, что подал заявление о получении статуса отказника по идейным соображениям. Из его заявления было ясно, что он возражает не столько против войны, сколько против обязательного призыва, то есть руководствуется не пацифистскими, а либертарианскими мотивами. Когда Кейнс сообщил призывной комиссии, что из-за сильной

занятости в министерстве финансов не сможет присутствовать на слушаниях, его ходатайство было отклонено, и он к этому вопросу больше не возвращался. В конце концов друзья простили его, особенно после того, как он стал использовать свои связи в Уайтхолле, чтобы, по возможности, защищать их. Тем не менее биографы Кейнса — до Скидельски — в большинстве своем считали этот эпизод настолько опасным для репутации Кейнса, что скрывали это наряду с его гомосексуальностью.

Работа Кейнса состояла в том, чтобы помогать казначейству занимать у американцев доллары на самых выгодных условиях, то есть под минимально возможные проценты, и выдавать займы в фунтах Франции и другим союзникам Британии на континенте тоже на самых выгодных условиях, то есть под максимально высокие проценты, сохраняя при этом стабильным обменный курс фунта стерлингов. В сферу его обязанностей входило также накопление редких валют, таких как испанская песета, в чрезвычайных ситуациях, что позволило ему приобрести практический опыт торговца валютой и страсть к этой рискованной, но захватывающей игре, в которой делают ставки на рост курса одной валюты и снижение курса другой. В конечном счете, пишет Скидельски, через Кейнса проходило все военное, а позже во многом и послевоенное финансирование.

К концу войны, когда общество начало надеяться, что Германия возместит Англии ужасные военные потери, Кейнс все больше втягивался в мучительные споры о размере репараций. Ллойд Джордж, в конце 1916 года возглавивший военное коалиционное правительство, попросил казначейство оценить, сколько сможет выплатить Германия. Он считал само собой разумеющимся, что «специалисты казначейства заняты главным образом тем, чтобы найти источник доходов, который позволит снизить непосильное бремя налогов, идущих на уплату процентов по нашему гигантскому военному долгу, для следующих двух поколений»¹⁷. Но Кейнс, которому поручили сформировать позицию казначейства по этому вопросу,

руководствовался иными соображениями. Когда после всеобщих выборов 14 декабря 1918 года он представил свой доклад о репарациях вступившему в должность канцлера казначейства Остину Чемберлену, сыну Джозефа Чемберлена, эффект был сногсшибательным.

Комиссия союзников по репарациям во главе с бывшим губернатором штата Нью-Йорк Чарльзом Эвансом Хьюзом уже рекомендовала принудить Германию выплатить 40 миллиардов долларов, что составляло примерно треть военных расходов союзников. Однако Кейнс пришел к выводу, что с Германии можно получить не более 3 миллиардов фунтов стерлингов, или 15 миллиардов долларов, то есть меньше суммарного долга Великобритании и Франции Соединенным Штатам. Кейнс указал, что сумма репараций, предложенная комиссией союзников, в два раза превышает довоенную оценочную стоимость золотого запаса Германии, ценных бумаг, кораблей, запасов сырья, фабрик и оборудования, и предупреждал, что слишком большие репарации в конечном счете повредят британским экономическим интересам из-за того, что Германия просто откажется признать долг.

Его доклад вызвал фурор. Большинство британцев полагало, что раз войну начали немцы, им и надлежит расплачиваться. В конце концов, говорил Ллойд Джордж, кто-то должен нести это бремя. Довоенных налоговых поступлений в казну было недостаточно даже для выплаты *процентов* по военному долгу. С 1914 года государственный долг Франции вырос в десять раз, Великобритании — в четыре. Если немцы не будут платить, то ни в чем не повинным англичанам и французам ради выплаты своих долгов придется нести более тяжелое налоговое бремя. Английских избирателей эта тема волновала так сильно еще и потому, что почти 40% населения Великобритании владело государственными ценными бумагами. В лагерь сторонников репараций входил и британский бизнес, который хотел, чтобы для погашения долга налогом облагались не английские компании, а немецкие.

Кейнс отказался пойти на попятную, заявив, что даже предложенные им 3 миллиарда фунтов стерлингов, вероятно, слишком большая сумма. В яростном споре, разгоревшемся внутри казначейства, Кейнс последовательно отстаивал свою позицию, предлагая самый низкий размер репараций. Ллойд Джордж называл его “Пэком от экономики”, имея в виду шекспировского духа-шалуна, произнесшего бессмертную фразу: “Как безумен род людской!”¹⁸

В то время как журналисты, общественность и политики заикнулись на сумме, которую должна была выплатить Германия, Кейнс обратил внимание на *метод*, который позволил бы получить деньги с Германии. Самый простой и древний подход совпадал с тем, который Германия планировала использовать для получения репараций от Великобритании, Франции и Бельгии в случае победы на Западном фронте. Его и предложила использовать комиссия Хьюза. Он предусматривал конфискацию у Германии всего движимого государственного и частного имущества — от акционерных сертификатов и золотого запаса до кораблей и оборудования. Кейнс предпочитал альтернативный вариант, согласно которому имеющиеся у Германии средства оставались более или менее нетронутыми, плюс к тому ее должны были снабжать сырьем, но при этом взимать ежегодную дань из будущих экспортных поступлений. “Таким образом мы возродим высокую производительность Германии”, — объяснял Кейнс, при этом союзники могут “заставить ее работать в подневольном состоянии в течение многих лет”¹⁹.

Как пишет Скидельски, Кейнс отправился в Париж с двумя трудно согласуемыми между собой целями, которые в совокупности можно было бы определить как возрождение европейской экономики без ущерба для перспектив британского экспорта. Чтобы стратегия Кейнса сработала, было необходимо соблюсти два условия: немецкие репарации должны были быть относительно небольшими, а американцы должны были простить Великобритании военный долг. Только так можно было

не дать Германии наращивать громадный торговый профицит, не допустить превышения ее экспорта над импортом (то есть притока в Германию фунтов стерлингов и франков) и избежать прямого конкурентного столкновения английского экспорта с тяжелой колесницей экспорта немецкого. Кейнса не обескуражило то, что общественность США, Британии и Франции была очень далека от того, чтобы хотя бы частично принять эту стратегию, а народные избранники не могли игнорировать мнение народа.

Через десять дней после капитуляции Германии Кейнс хвастался матери: “Меня назначили руководителем по финансовым вопросам на мирной конференции”²⁰. Однако это было преувеличением: в своей официальной роли он должен был заниматься помощью мирному населению, а его участие в трудных политических переговорах о репарациях не предполагалось. Прежде всего Кейнс должен был помогать Герберту Гуверу в разработке финансовых механизмов, которые обеспечили бы переход Европы от войны к миру, особенно в части обеспечения поставок продовольствия.

Перемирие подразумевало продолжение блокады Германии и Австрии, но допускало возможность поставок им необходимых продуктов питания и лекарств. Позже Франция наложила арест на оставшееся у Германии золото, твердую валюту и другие ликвидные активы, настаивая, что они должны быть зарезервированы для выплаты репараций. Счета Германии были заморожены, покупать продовольствие ей было не на что, и немцам грозила медленная голодная смерть. Кейнс был намерен преодолеть препятствия, созданные Францией.

Едва приехав во Францию, Кейнс тут же отправился в оккупированную Германию с “необычным поручением”. Ему предложили присоединиться к группе американских и французских экспертов по финансовым вопросам в Трире, древнем городе на реке Мозель, на стыке границ Франции, Германии

и Люксембурга, в котором вырос Карл Маркс. Рядом с Триром, в то время оккупированном армией США, находилась штаб-квартира французского маршала Фердинанда Фоша. Трир был выбран местом переговоров для пересмотра условий ноябрьского перемирия. Хотя экспертам союзников и хотелось узнать, “выступают ли ребра у голодных детишек”, за трое суток они предприняли лишь несколько коротких вылазок из вагона, чтобы купить выпущенные оккупационными войсками деньги, бумажную одежду и другие сувениры²¹. В первый же вечер собралась четверка для игры в бридж, и Кейнс играл почти круглые сутки.

Его миссия включала в себя решение не только финансовых, но и продовольственных вопросов. Как и Гувер, он был потрясен блокадой и, как и президент Вильсон, был убежден, что “пока продолжается голод, власть не сможет быть устойчивой”²². Формально Кейнс приехал в Трир, чтобы добиться поставок продовольствия в Германию. Но, как и на переговорах по другим вопросам, на этой конференции оказалось, что все не так просто. Отдельная проблема заключалась в том, что союзники планировали завладеть торговым флотом Германии, стоявшим на якоре около Гамбурга, но не знали, как осуществить такой захват. Соглашение о перемирии не предусматривало передачу судов, а захватывать суда силами военно-морского флота было неразумно с политической точки зрения. И лидеры союзников решили, что продовольственный кризис предоставляет им шанс заставить немцев заключить соответствующую сделку. Кейнсу предстояло убедить немцев, что “суда за продовольствие... это разумная сделка”. Позднее Кейнс признавался, что там присутствовал элемент блефа, не говоря уже о том, что очень трудно было объяснить “сбитым с толку, запуганным, нервничавшим и попросту голодным” финансистам, “как дела обстоят на самом деле”.

В Трире Кейнс с любопытством наблюдал, как немецкие финансисты, одетые словно сотрудники похоронного бюро, подходили к поезду. Они шли “чопорно и напряженно”, под-

нимаемая нога, “как на фотографии или в кинофильме”. Войдя в вагон, немцы не протянули переговорщикам руки, а лишь сухо поклонились. Вид у них был унылый — “напряженные подавленные лица с усталым настороженным взглядом, как у людей, чьи акции на бирже резко упали”²³.

Глава Рейхсбанка выглядел как “старый сломанный зонтик”. У представителя министерства иностранных дел “лицо было испещрено дуэльными шрамами” — явный признак его былой принадлежности к студенческой корпорации. Излагал взгляды немецкой группы третий участник переговоров, “маленький человечек, исключительно опрятный, очень хорошо и аккуратно одетый, с высоким жестким воротничком, который казался чище и белее обычного воротничка”, и “с глазами, полными необычайной скорби и при этом как бы излучавшими на нас слабый свет, похожими на глаза загнанного животного”. Это был Карл Мельхиор, еврейский банкир из Гамбурга, либерал, противник военного использования подводных лодок и партнер банкира Макса Варбурга, имевшего обширные связи в Соединенных Штатах.

Кейнс заговорил первым и спросил, все ли понимают английский язык. В своих мемуарах Макс Варбург описывал лицо Кейнса как ничего не выражающую маску, но отметил, что в его голосе и в формулировках вопросов ощущалось сочувствие. Когда настала очередь Мельхиора, он заговорил “эмоционально, убедительно, на почти идеальном английском”. Банкир приводил изобретательные аргументы в пользу займа, в то время как Кейнс старался “четко и холодно” внушить ему мысль, что заем, по причинам политическим, вообще не обсуждается²⁴. Им удалось договориться о том, что Германия немедленно выплатит 5 миллионов фунтов стерлингов в золоте и твердой валюте в обмен на молоко и масло, но только об этом.

Через месяц, опять в Трире, Кейнс снова встретился с немцами, однако переговоры застопорились на вопросе о сделке “корабли в обмен на продовольствие”. Немцы решили дер-

жаться за свои суда как можно дольше, потому что видели в них свой главный козырь на предстоящих мирных переговорах и не желали уступать их без должной компенсации. Более того, у немцев, по-видимому, создалось впечатление, что Соединенные Штаты готовы предоставить им средства, необходимые для первых частичных платежей за продовольствие, значительную часть которого составляли излишки американской свинины.

В конце второго заседания немцы заявили, что без займа они не смогут оплатить крупномасштабный импорт продовольствия. Если союзники сочтут заем политически невозможным (а Кейнс предупреждал, что, вероятно, именно так и будет), то Германия суда не отдаст. Если переговоры провалятся и Германия не сможет закупить продовольствие, ничто не сможет предотвратить “распространение большевизма по всей Европе”²⁵. Переговоры зашли в тупик. Никто ничего не мог сделать, кроме Большой четверки, то есть руководителей Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Италии — но Большая четверка была занята: спорила о численности бразильской делегации и выслушивала предложения “коптов, армян, словаков и сионистов”. Т. Э. Лоуренс, который вроде бы работал переводчиком при эмире Саудовской Аравии Фейсале, воспользовался решением эмира процитировать несколько отрывков из Корана и предложил схему самоуправления арабов на территории бывшей Османской империи²⁶.

Следующая встреча Кейнса с Мельхиором состоялась в начале марта в Спа, в Бельгии, в бывшей штаб-квартире немецкого верховного командования, среди холмов, покрытых черными соснами, “вдали от голодных городов и шума”²⁷. Но и здесь переговоры не сдвинулись с места. Кейнс был в отчаянии: за два месяца после первой встречи в Трире не было сделано ничего, чтобы высвободить золото для оплаты продовольствия. Он интуитивно чувствовал, что Мельхиор, возможно, ощущал нечто подобное, и попросил разрешения прозондировать почву. Пройдя мимо угрюмых клерков, Кейнс застал Мельхиора од-

ного и, дрожа от волнения, спросил, могут ли они поговорить наедине. Он вспоминал:

Мельхиор спросил, что мне угодно... Я попытался объяснить ему свои ощущения, убедить его, что мы разделяем его пессимистичные прогнозы, что нас — не меньше чем его — тревожит острейшая проблема начала поставок продовольствия, что лично я убежден, что мое правительство и американское правительство действительно стремятся к тому, чтобы продовольствие пошло, но... Если они, немцы, будут оставаться на прежних, утренних, позициях, роковая задержка неизбежна — они должны решиться и отдать суда²⁸.

Мельхиор пообещал, что сделает все возможное, но считал, что надежды мало. “Немецкая честь, организация и мораль рушатся, он не видит ни малейшего просвета; он полагает, что Германия погибнет и цивилизация померкнет; мы должны делать все, что можем; но темные силы сильнее нас”²⁹. Встречи Кейнса с Мельхиором подтвердили его собственные пессимистические представления о разрушительных последствиях войны, и неудивительно, что, учитывая восстания в Берлине и в других городах Германии, он разделял опасения Мельхиора, что Германия станет жертвой большевизма, если условия договора будут слишком тяжелыми.

К вечеру следующего дня стало очевидно, что усилия Мельхиора ни к чему не привели: новое немецкое правительство в Веймаре не собиралось уступать. Временами казалось, что Кейнс обеспокоен угрозой революции и черепашьими темпами переговоров больше, чем немцы. Он не был уверен в том, что запасы продовольствия Германии истощены так сильно, как считалось в Великобритании. Убежденный в том, что для схода с мертвой точки необходим какой-то драматический жест, Кейнс предложил пойти на публичный разрыв и убедил членов делегации заказать ночной поезд в Париж, чтобы немцы, проснувшись, увидели, что их партнеры по пере-

говорам уехали. Приехав в Париж, Кейнс узнал, что благодаря его выходке проблема привлекла внимание Большой четверки. 8 марта 1919 года лорд Ридделл, газетный магнат и военный пресс-секретарь Великобритании, записал в дневнике:

Совет принял решение поставлять продовольствие в Германию при условии, что немцы отдадут свои суда и оплатят эти поставки векселями других стран, товарами или золотом. Франция выступила категорически против. Ллойд Джордж позже сказал мне, что французы ведут себя очень глупо, и если они не проявят благоразумия, то приведут немцев к большевизму. Он рассказал, что резко напал на Клотца, министра финансов Франции, заявив, что если в Германии возникнет большевистское государство, там воздвигнут три памятника: один — Ленину, второй — Троцкому, а третий — Клотцу. Клотц не ответил... Американцы довольны... Все английские и американские деловые люди выступают за отмену блокады и настоятельно призывают к скорейшему урегулированию проблем с Германией, чтобы мир мог снова жить нормально³⁰.

Через четыре дня Кейнс сел в поезд на Трир в компании британского адмирала Рослина Вемисса, которого Большая четверка уполномочила предъявить Германии ультиматум. Франция добилась своего по одному пункту: переговоры о продовольствии должны были продолжиться только после того, как немцы отдадут свои суда. “Сможете проследить, чтобы они не создавали никаких проблем?” — спросил адмирал Кейнса. Тогда Кейнс вновь пригласил Мельхиора для приватной беседы и сообщил, что если немцы заявят о своей безоговорочной готовности, сделка состоится. “Вы можете гарантировать, что фон Браун пойдет на это?” — спросил Кейнс, имея в виду главу немецкой делегации. Мельхиор сделал небольшую паузу, затем “он снова посмотрел на меня своими серьезными глазами. “Да, — ответил он, — с этим не должно быть никаких

трудностей””. На следующий день все действовали в соответствии со своими ролями: “Все вопросы были улажены, и составы с продовольствием пошли в Германию”³¹.

Кроме того, Кейнс (с гораздо меньшими трудностями) убедил союзников согласиться на заем для оплаты английских поставок продовольствия в Австрию в начале 1919 года. После этого небольшого триумфа Кейнс разместил немцев в Шато де Виллетт под Парижем. Там планировалось собрать финансистов из многих стран, чтобы обсудить проблемы послевоенного восстановления. Так случилось, что сам Кейнс посетил замок только один или два раза. Вскоре после того как приехали немцы, руководители мирной конференции отложили вопрос о восстановлении — союзники надолго увязли в вопросе о репарациях.

“На Парижской мирной конференции тема репараций вызвала больше тревог, разногласий, обид и задержек, чем любой другой пункт Договора”, — напишет впоследствии Томас Ламонт, представитель министра финансов США³². Гарольд Николсон заметил, что, хотя конференцию часто изображают как поединок между силами тьмы и света — Вильсон против Жоржа Клемансо, карфагенский мир* Клемансо против мягкого мира Вильсона, Кейнс против Клотца, — на самом деле это было “не столько дуэлью, сколько всеобщей рукопашной”³³.

Среди союзников возникли серьезные разногласия. Президент Вильсон не хотел, чтобы всю стоимость войны записали на счет Германии. Он утверждал, что справедливо было бы потребовать от Германии возместить только ущерб, причиненный немецкими войсками, и не более того. Кроме того, было сложно договориться о том, какую долю дани, собираемой

Карфагенский мир был заключен в III веке до нашей эры между Древним Римом и Карфагеном; по его условиям Карфаген был разрушен до основания. В переносном смысле так называют любое мирное соглашение, имеющее катастрофические последствия для побежденной стороны.

с Германии, должен получить каждый из победителей и как долго эта дань будет взиматься. Ллойд Джордж предложил взимать ее в течение тридцати лет, однако Клемансо заявил, что, если потребуются, Германия должна расплачиваться хоть тысячу лет. До марта 1919 года союзники так и не смогли договориться по этому вопросу. Франция настаивала на 25 миллиардах фунтов стерлингов, а Соединенные Штаты отказывались обсуждать сумму, превышавшую 5–6 миллиардов. Британцы говорили об 11 миллиардах. В начале марта Кейнс предложил не упоминать в договоре общую сумму репараций. Так в конце концов и сделали.

Ллойд Джордж, раздраженный постоянными утечками информации в прессу, предложил Большой четверке встречаться неофициально. Поэтому вторая половина мирной конференции, с середины марта до середины мая, проходила в “крошечном кабинете” Вудро Вильсона. Сначала главы государств США, Великобритании, Франции и Италии — Вудро Вильсон, Дэвид Ллойд Джордж, Жорж Клемансо и Витторио Орландо — работали вчетвером (плюс один переводчик), сидя вокруг камина в мягких креслах. Николсон вспоминает, что, хотя “время от времени руководителям приходилось становиться на четвереньки и ползать по разложенным по полу картам для их изучения, Большой четверке удалось выработать то, что фактически стало предпоследним вариантом соглашения”³⁴.

Апрель был жесточайшим месяцем. Когда потеплело, праздничная атмосфера Парижа внезапно сменилась буйством страстей. Подтвердились опасения многих участников, которые возражали против проведения конференции во французской столице: разгул спекулянтов, средневековый водопровод и клопы оказались самыми меньшими неудобствами. Газеты наполнились оскорбительными публикациями. “Бесконечная шумиха, поднятая в прессе, резкие личные нападки, все это значительно усилилось, — отмечал британский дипломат Гарольд Николсон. — В совокупности эти вопли прямо под

дверями конференции создавали нервную обстановку и мешали работе”³⁵. Ллойд Джордж одновременно противостоял консерваторам в парламенте: те считали, что он проявляет недостаточную жесткость по отношению к Германии. Клемансо стал мишенью ожесточенной критики французской прессы, которая была убеждена, что англичане и американцы его перехитрили. Орlando вообще покинул конференцию. А Вудро Вильсон серьезно заболел — неясно, был ли это грипп или пищевое отравление. К маю разногласия внутри оставшейся тройки лидеров достигли такого накала, что однажды Вильсон вынужден был физически вмешаться в ссору между Ллойд Джорджем и Клемансо.

Эта “конференция внутри конференции” не только отеснила от принятия решений представителей небольших стран, но и оставила в стороне таких экспертов, как Кейнс. Большая четверка принимала далеко идущие экономические решения без должной подготовки и без достаточной информации. Президент Вильсон обдумывал просьбу Великобритании о прощении долга всего несколько минут и отверг ее без долгих рассуждений. Британский премьер-министр Ллойд Джордж, отмечает его биограф, советовался с Кейнсом, когда хотел “отвертеться от своих обязательств, но вовсе не собирался следовать его советам”³⁶. По двенадцать часов в сутки Кейнс то садился в продуваемый насквозь автомобиль, то выходил из него и быстро перемещался из одной жаркой комнаты в другую, а по окончании рабочего дня часто ужинал с Яном Сметсом, южноафриканским членом британского военного кабинета и убежденным сторонником Лиги Наций и примирения с Германией.

Бедный Кейнс часто сидит со мной по вечерам после хорошего ужина, мы ругаем весь мир и приближающийся конец света... Потом мы смеемся, но при этом нас преследует страшная картина, нарисованная Гувером: тридцать миллионов человек, которые умрут от голода, если немедленно

не оказать им крупномасштабную помощь. А потом мы думаем, что все не так ужасно и что найдется какой-то выход и худшее не случится³⁷.

Перед рассветом 7 мая 1919 года Герберт Гувер, приземистый и крепкий, изумлявший европейцев способностью беспричинно заводить склоки в повседневной жизни, гулял по Елисейским полям. Уличные фонари еще слабо светились, проспект был пустынный. Он шел медленно, опустив голову, как боксер после проигранного боя, и совсем не ожидал встретить кого-либо из знакомых. За исключением нескольких аскетического вида французских генералов, делегаты мирной конференции любили посидеть за завтраком с “Таймс” и английским мармеладом. Поэтому он удивился, увидев две знакомые фигуры в котелках: они шли по бульвару ему навстречу. Между тем Кейнс и Смэтс оживленно разговаривали, смотрели друг на друга и, казалось, не замечали Гувера. Почему они здесь в такой час?

Когда они приблизились и узнали Гувера, то тоже очень удивились. И всех троих сразу осенило: каждый из них поднялся в четыре утра, когда курьер доставил свежееотпечатанный проект договора. До этого никто из них не видел полный текст, хотя 4 мая Кейнс — с нарастающим беспокойством — читал некоторые его разделы. Несмотря на то что они наблюдали процесс подготовки договора “изнутри”, несмотря на скептицизм Кейнса и Смэтса по поводу происходящего, они все же были поражены. Они не верили своим глазам, были охвачены гневом и мрачными предчувствиями и просто не смогли усидеть дома. После такой вспышки телепатии Гувер, Кейнс и Смэтс разом заговорили. Гувер вспоминает: “Мы сошлись во мнении, что договор ужасен”³⁸.

Не прошло и двух недель, как закоренелый оптимист Кейнс покинул номер в отеле “Мажестик” и переехал в съемную квартиру с поваром и слугой на краю Булонского леса, где совершенно подавленный лежал в постели, вставая только в тех

случаях, когда его вызывал премьер-министр. К 14 мая, ощущая себя “соучастником всего этого злодеяния и глупости”, Кейнс решил уйти в отставку. “Этот мирный договор возмутителен, невыполним и принесет одни несчастья”, — писал он матери, Дункану Гранту и другим³⁹.

После этого Кейнс лишь пытался предотвратить “убийство Вены”⁴⁰. Переговоры по Австрии были отложены до завершения дел с Германией. Кейнс регулярно получал информацию от Фрэнсиса Оппенгеймера, эмиссара казначейства в Вене, находившегося в постоянном контакте с Йозефом Шумпетером, который, в свою очередь, предоставлял данные по австрийским активам, налоговым поступлениям и др. 29 мая Кейнс отправил Ллойд Джорджу меморандум, настаивая на том, чтобы Австрии не пришлось платить никаких репараций. На следующий день он принял участие в заседании комиссии по австрийским репарациям и добился серьезной уступки: требование о репарациях в размере 10 миллиардов золотых крон было снято. Приведя ужасные статистические данные о смерти детей от туберкулеза и недоедания, Кейнс сумел смягчить требование Франции о передаче ей австрийского поголовья молочных коров.

Кейнс согласился с жесткой критикой договора одной венской газетой:

Никогда прежде суть мирного договора так грубо не противоречила намерениям, которыми якобы руководствовались его составители, как в этом соглашении... в котором каждый пункт пропитан жестокостью и безжалостностью, в котором невозможно обнаружить даже намек на человеческое сочувствие, который ни во что не ставит все то, что объединяет людей, который является преступлением против самого человечества, против страдающих, измученных людей⁴¹.

Хотя Кейнс должен был понимать, что дело это безнадежное, он продолжал просить Бернарда Баруха, чтобы министер-

ство финансов США одобрило его “великий план, который поможет всем подняться на ноги”⁴². Ллойд Джордж созвал британскую делегацию на специальное заседание и пообещал, что запретит продвигать части британской армии в Германию или использовать британский флот для блокады Германии с целью обеспечения возможности пересмотра условий договора в последнюю минуту. Но, как писал Кейнс матери, время для широких жестов было упущено. Французы были в ярости, а у президента Вильсона, который вроде бы должен был отнестись к этой идее сочувственно, усилились подозрения относительно британских намерений. Он наложил вето на предложение Ллойда Джорджа так же безапелляционно, как месяцем раньше отверг предложение Кейнса о списании долгов. Ллойд Джордж больше не возвращался к этому вопросу, возможно, потому, что разведка сообщила, что немецкий кабинет уже решил подписать договор. Он мрачно предсказывал: “Через двадцать пять лет нам придется все это переделывать, но стоять это будет уже в три раза дороже”⁴³.

Когда 28 июня немцы действительно подписали Версальский мирный договор, Кейнс уже почти месяц находился в Англии. Он укрылся на ферме Чарльстон, в доме Вирджинии и Ванессы Стивен, и там, чтобы отвлечься, яростно занимался прополкой. 5 июня он отправил министру финансов Остину Чемберлену прошение об отставке. Кроме того, в тот же день он написал Ллойд Джорджу: “сражение проиграно. Пусть Близнецы [судья лорд Самнер и финансист лорд Канлифф, глава британской комиссии по репарациям] злорадствуют при виде разорения Европы и вкушают то, что досталось британским налогоплательщикам”⁴⁴.

Остин Робинсон, сын англиканского священника, военный летчик и студент последнего курса Кембриджа, датировал свое “обращение в экономическую веру” октябрём 1919 года, когда он посетил одну из последних в семестре лекций Кейнса⁴⁵.

Кейнс читал перед большой аудиторией отрывки из своей еще не законченной книги о мирном договоре. На Робинсона произвели очень сильное впечатление “его глубокая преданность мировым проблемам и возмущение неспособностью предотвратить предсказуемую катастрофу”⁴⁶. Кейнс утверждал, что правильная экономическая политика — важнейшее средство предотвращения будущих конфликтов, и это оказалось подлинным откровением для поколения Робинсона, которое собиралось посвятить себя устранению последствий войны и таким образом поскорее забыть о ней. Робинсона заинтересовала убежденность Кейнса в том, что идеи не менее, а может быть, и более важны, чем соперничающие между собой экономические и политические интересы.

Над “Экономическими последствиями мира” Кейнс начал работать почти сразу после возвращения в Кембридж. Тему книги Кейнс почерпнул из реплики любовницы Яна Смэтса: “Госпожа Жиллетт, имея в виду Лигу против хлебных законов, напомнила Смэтсу, что в XIX веке экономическая реформа предшествовала реформе избирательного права и что “сейчас, кажется, складывается похожая ситуация — нельзя решить политические и территориальные проблемы, пока экономика не будет в порядке””. Смэтс пересказал ее слова Кейнсу, который отметил, “что это очень верно, и что он никогда не смотрел на это в таком ракурсе”⁴⁷. Марго Асквит, остроумная супруга бывшего премьер-министра, посоветовала Кейнсу включить в повествование портреты основных действующих лиц. В августе лондонское издательство “Макмиллан” согласилось опубликовать книгу, но Кейнсу пришлось оплатить расходы на ее издание. А Феликс Франкфуртер, с которым он подружился в Париже, организовал издание книги в США.

Кейнс назвал договор отвратительным предательством, совершенным политическими лидерами старшего поколения. Большая четверка не только ничего не сделала для восстановления довоенной европейской экономики — она даже не рас-

смастривала этот вопрос всерьез. Она просто сочла, что разорванные связи и разрушенные экономики возродятся сами собой.

Договор не содержит никаких статей об экономическом оздоровлении Европы, в нем ничего не говорится о том, как превратить побежденные центральные империи в добрых соседей, как укрепить новые государства Европы, как восстановить Россию; в нем нет ни слова о том, каким образом можно обеспечить экономическую солидарность самих союзников, не достигнуто соглашение о мерах по восстановлению разстроенных финансов Франции и Италии, по согласованию систем Старого и Нового Света...

Поразительно, что не удалось привлечь внимание Большой четверки к фундаментальным экономическим проблемам Европы, голодающей и распадающейся у них на глазах. В экономической сфере их интересовало только одно — репарации; и они решали эту проблему как проблему теологическую, политическую, проблему электоральных махинаций и т. п., но только не как проблему, определяющую экономическое будущее стран, судьбы которых они вершили.

Этот Карфагенский договор “в случае его осуществления принесет дополнительный вред, вместо того чтобы восстановить ту хрупкую и сложную, потрясенную и искореженную войной систему, в рамках которой только и могут жить и работать европейские народы”⁴⁸.

“Экономические последствия мира” — чрезвычайно мрачный текст, что побудило Леонарда Вулфа дать автору прозвище “Кейнсандра”. “Земля в континентальной Европе сотрясается, и нет ни одного человека, который не ощущает толчков, — писал Кейнс. — Это не вопрос расточительности или “трудовых конфликтов”, а вопрос жизни и смерти, голода и выживания, вопрос ужасных конвульсий умирающей цивилизации”. Частично пессимизм Кейнса обусловлен ощущением того,

что “не только война сделала Европу беднее”. Оглядываясь назад, Кейнс рассматривал довоенное процветание как самообман:

Мы считали наши самые необычайные и преходящие достижения последнего времени естественными и вечными, решили, что на них можно опираться, и строили соответствующие планы. На этой непрочной и ложной основе мы изобретали схемы совершенствования общества и составляли политические платформы, продолжали свои раздоры и преследовали свои амбиции, считая, что у нас достаточный запас прочности, чтобы не смягчать, а раздувать междоусобный конфликт в европейской семье.

Кейнс утверждал, что уровень жизни не мог бы повышаться долго. Процветание Европы было основано не на “искусном механизме” конкуренции — среде, дружественной к предпринимателям и финансистам с большими средствами, — а на счастливой исторической случайности, которая временно устранила некоторые ограничения роста благосостояния. Америка экспортировала большие объемы излишков продовольствия, поэтому Европа имела возможность питаться по дешевке.

Беда в том, писал Кейнс, что американское зерно *не сможет* оставаться дешевым после того, как потребление в США сравняется с предложением. Он воспроизвел аргумент Артура Джевонса, талантливого современника Маршалла, который в 1870 году предсказал, что сокращение запасов угля задушит экономический рост Англии. Просто теперь вместо угля ограничивающим фактором стала пшеница. Кейнс допускал, что в мире в целом дефицита пшеницы может и не быть. Но чтобы обеспечить более крупные поставки в будущем, по его мнению, Великобритании придется предложить более высокие цены в реальном выражении. Короче говоря, закон убывающей отдачи со временем вновь заявит о себе, и для получения того же

количества хлеба Европе придется предлагать все больше других товаров и услуг.

Мрачные экономические прогнозы Кейнса оказались слишком пессимистичными. В краткосрочной перспективе экономика Европы восстановилась, несмотря на послевоенную разруху и изъяны в договоре. В долгосрочной перспективе — от Великой депрессии до начала XXI века — продовольствие не только не подорожало, но, наоборот, стало дешевле, как в абсолютных ценах, так и по отношению к заработной плате. Политические пророчества Кейнса о том, что “возмездие... не заставит себя ждать” и “ничто не может надолго задержать решающую гражданскую войну между силами реакции и отчаянными конвульсиями революции”, оказались намного более точными.

По мнению Скидельски, именно Первая мировая война и ее последствия определили интеллектуальные приоритеты Кейнса и направления его размышлений об экономике. Редактор лондонской “Таймс” Генри Уикхем Стид охарактеризовал идеи Кейнса как “бунт экономики против политики”⁴⁹. Кейнс утверждал важность реалий и идей, с которыми генералы и премьер-министры были знакомы лишь поверхностно: каким образом зарабатывают на жизнь в современном мире и что возможность зарабатывать на жизнь является если не гарантией, то как минимум необходимым условием мира.

Он осознавал, насколько специализированной стала мировая и особенно европейская экономика, как каждая ее часть зависит от других частей, в какой степени психологические изменения в обществе влияют на экономику и, следовательно, как легко кризис в одной части мировой экономики может распространяться на все целое. Кейнс еще не нащупал политические рычаги, “инструменты управления этими процессами”, которые позволили бы правительствам эффективнее регулировать экономический курс. Но он уже начал размышлять

об “экономике в целом” и о последствиях действий или бездействия правительства.

Война укрепила его недоверие к традиционным взглядам и освободила от иллюзии, что прогресс достигается сам по себе, автоматически. Разрушительные действия правительств, сознательно игнорировавших экономические реалии, стали для него жестоким уроком. Викторианское экономическое чудо вызвало быстрый рост производительных сил и резкое повышение уровня жизни. Но это чудо было обусловлено конкретными политическими мерами: распространением свободной торговли, введением золотого стандарта, обеспечением верховенства закона, а также свободной конкуренцией. Усвоив этот урок, Кейнс не мог понять, как правительство может уклоняться от своей обязанности и не восстанавливать благосостояние.

В середине октября он прибыл на континент для участия в международной конференции банкиров. Макс Варбург, партнер Мельхиора, отметил: “Такой крупной коммерческой сделки, как этот мирный договор, еще никогда не было”⁵⁰. Теперь его брат Пол, американский финансист, надеялся организовать коммерческие кредиты, финансируемые в основном американскими банками, чтобы Германия смогла импортировать сырье. Подчинившись внезапному порыву, Кейнс послал Мельхиору телеграмму с предложением встретиться. Через три дня они под дождем прогуливались вдоль каналов Амстердама, впервые разговаривая свободно, и удивлялись тому, “как это необычно — встречаться без всяких барьеров”⁵¹.

Мельхиор еще до подписания мирного договора в знак протеста сложил с себя обязанности члена немецкой делегации, затем дважды отклонил предложение стать министром финансов Веймарской республики и вернулся в свой гамбургский банк. Он рассказал Кейнсу, что президент Германии преждевременно дал понять британскому агенту, что Герма-

ния намерена подписать договор. Мельхиор был уверен, что именно эта информация побудила Ллойд Джорджа отказаться от попыток изменить договор. После обеда Кейнс пригласил Мельхиора и Варбурга в свой гостиничный номер и прочитал им вслух главу, посвященную президенту Вильсону. Кейнс изобразил американского руководителя как человека, поразившего у мира надежды, которые не смог оправдать:

С каким любопытством, тревогой и надеждой мы стремились взглянуть на избранника судьбы, на его лицо и манеру держаться, на человека, который, прибыв с Запада, должен исцелить раны прародительницы его собственной цивилизации и заложить основы нашего будущего.

Разочарование было настолько сильным, что некоторые из тех, кто больше остальных верил в его миссию, боялись даже касаться этой темы. Неужели это правда? — спрашивали они тех, кто вернулся из Парижа. Неужели договор настолько плох, как кажется? Что случилось с президентом? Какая слабость или несчастье могли привести к столь невероятному, совершенно неожиданному предательству?

Вильсон мог читать звучные проповеди во славу своих “Четырнадцати пунктов”, но ему не доставало “яркого интеллектуального инструментария, необходимого для того, чтобы успешно противостоять сошедшимся лицом к лицу в Совете четырех искусным и опасным ораторам, которых гигантское столкновение сил и личностей вознесло на вершину как блестящих полемистов и мастеров компромисса”⁵². Когда Кейнс читал эти строчки, Варбург, который презирал президента, посмеивался, а Мельхиор был совершенно серьезен и, казалось, вот-вот заплачет.

На конференции Кейнс убеждал банкиров выступить за уменьшение репараций, аннулирование военных долгов союзников и выдачу Германии международного займа. Вместе с Варбургом он составил обращение к Лиге Наций, и с деся-

ток участников конференции подписали его. Таким образом, первая из многих попыток пересмотреть Версальский договор была сделана, когда на нем еще не высохли чернила.

Поставив перед собой задачу каждый день, без выходных, писать по тысяче слов, “готовых к публикации”, к октябрю Кейнс написал текст, содержащий 60 тысяч слов. По мере завершения отдельных глав он читал их вслух или посылал разным людям, в том числе матери и Литтону Стрейчи. В то время вообще казалось, что вся книгоиздательская индустрия занялась выпуском книг, посвященных заключению мирного договора. Книга Кейнса была первой, она вышла в свет за две недели до Рождества, а к Пасхе в Англии и Соединенных Штатах было продано уже около ста тысяч экземпляров. Эта своеобразная “репарация” Кейнса блумсберийцам за его содействие войне была принята благосклонно. Литтон Стрейчи, чья книга “Выдающиеся викторианцы” стала литературной сенсацией 1918 года, называл аргументы Кейнса “сокрушительными” и предсказывал, что “никто не сможет их игнорировать”⁵³. Остин Чемберлен, хотя и ворчал, что Кейнс слишком несдержан, признался жене, что книга “блестяще написана” и доставила ему “злорадное удовольствие”⁵⁴. Все обозреватели хвалили слог Кейнса, и многие соглашались с тем, что Германия не сможет выполнить условия договора.

Книга Кейнса довела вяло текущий спор до точки кипения. Некоторые критики утверждали, что Германия способна платить намного больше, чем писал Кейнс. Другие называли его политическим невеждой. В наименее лестных отзывах его называли “бесчувственным интеллектуалом” — ведь он не играл ни на чьей стороне. Как и ожидалось, тори атаковали Кейнса, подвергая сомнению его благонадежность и высказывая предположение, что он, наверное, заслужил гитлеровский “Железный крест”. Историк А. Дж. П. Тейлор лаконично и не без оснований охарактеризовал основной тезис “Экономических

последствий мира” следующим образом: “принять меры предосторожности следует, чтобы не возбуждать недовольство немцев, а не чтобы избежать немецкой агрессии”⁵⁵. Капитан Поль Манту, переводчик Большой четверки, критиковал книгу на том основании, что Кейнс “ни разу не присутствовал на заседаниях [Совета четырех]”⁵⁶. Но чаще всего критика сводилась к тому, что Кейнс не понял главного. Уикхем Стид, редактор “Таймс”, писал:

Война научила нас, что экономисты, банкиры и государственные финансисты опасно просчитались, утверждая, что война невозможна из-за ее экономической невыгодности. Война 1870–1871 годов вполне окупилась, и Германия развязала новую, считая, что она также окупится⁵⁷.

Американские обозреватели предположили, что под видом альтруизма по отношению к Европе Кейнс просто продвигает британские интересы. Социолог Торстейн Веблен распекал Кейнса за то, что тот “совершенно не понял” Вудро Вильсона⁵⁸. В первую годовщину подписания договора “Нью-Йорк таймс” назвала “Экономические последствия мира” “очень сердитой книгой” и утверждала, что “за это время американское мнение изменилось: возникло недоверие ко всей Европе и желание держаться подальше от запутанных зарубежных проблем”⁵⁹. Бернард Барух выразил позицию администрации, заявив, что Кейнс хотел, чтобы “вместо Германии платила Америка”⁶⁰.

Сегодня некоторые историки признают, что Кейнсова критика президента Вильсона была несправедливой и что Францию он тоже осуждает слишком пристрастно. Во всяком случае, утверждают они, британские требования о возмещении ущерба были еще менее оправданы, чем французские. С другой стороны, книга Маргарет Макмиллан “Париж в 1919-м: шесть месяцев, которые изменили мир” и другие новейшие исследования мирной конференции показывают, что в наши дни широкое распространение получила точка зре-

ния Кейнса: союзники грубо нарушили договор с Германией и должны были разрешить проигравшим обсуждать отдельные его положения. Мало кто возражает против основного тезиса Кейнса: мир, основанный на шатком экономическом фундаменте, не может быть продолжительным.

Неудивительно, что “Экономические последствия мира” сделали Кейнса героем в Вене и Берлине. В печати появлялись выдержки, переводы и новые издания. Поскольку в договоре не была зафиксирована предельная сумма репараций, считалось, что Кейнс не только высказался в поддержку немцев, но и оказал реальное влияние на ход переговоров. Йозеф Шумпетер, бывший австрийский министр финансов, назвал книгу “шедевром”⁶¹.

Глава VIII

БЕЗРАДОСТНЫЙ ПЕРЕУЛОК ШУМПЕТЕР И ХАЙЕК В ВЕНЕ

Чередование бумов и спадов является формой экономического развития, присущей эпохе капитализма.

ЙОЗЕФ ШУМПЕТЕР¹

Двадцатые годы прошлого столетия почти всегда рассматриваются как бы в зеркало заднего вида, причем исключительно как преамбула, если не причина Великой депрессии, подъема фашизма и триумфа большевизма. Считается, что для Запада это было время упадка, разочарований, “кажущегося процветания” и заблуждений. Но с точки зрения как минимум четырех человек — Йозефа Шумпетера, Фридриха Хайека, Джона Мейнарда Кейнса и Ирвинга Фишера, — это был период расцвета изобретательства, не менее, а то и более увлекательный и по-настоящему прогрессивный, чем любой другой отрезок XX века.

Кейнс и Фишер стали экономическими оракулами и процветали финансово. Но что более важно, они создавали новое интеллектуальное богатство. Высокие показатели инфляции и дефляции после Первой мировой войны убедили их, что при такой патологии свободный рынок и демократия не смогут долго существовать, и они отправились на поиски системных причин колебаний. Подобно врачу из комедии Мольера

“Мнимый больной”, ученые переключили внимание с отдельных частей экономического организма на его кровеносную систему и пришли к выводу, что инфляция и дефляция — казалось бы, полярные противоположности — являются симптомами одного и того же заболевания и что система кредитования и эмиссии денег является как источником болезни, так и механизмом ее распространения.

Чтобы восстановить нарушенное взаимодействие частей мировой экономики — некоторые находились, что называется, у последней черты, — требовалась новая модель. Фишер и Кейнс надеялись, что можно вообще не допускать резких подъемов и спадов. Они не разделяли ни убеждения Альфреда Маршалла, что подъемы и депрессии суть результаты случайных внешних воздействий, ни уверенности Карла Маркса, что они имманентно присущи рыночной экономике. По их мнению, в отличие от стихийных бедствий резкие и сильные экономические колебания представляли собой рукотворные катастрофы и, как таковые, могли быть предотвращены. Фишер, Кейнс и Хайек искали инструменты управления этими процессами, будучи уверенными, что они существуют и их можно заставить работать; при этом англичанин и американец были готовы положиться на свободный выбор государственных чиновников, а австриец, чей народ прошел через более трагическую историю, настаивал, что правительства в своих действиях должны быть ограничены определенными правилами. Лишь Шумпетера, наверное, можно было охарактеризовать как фаталиста, что было обусловлено как его темпераментом и личными трагедиями, так и его интеллектуальными убеждениями.

Осенью 1919 года, когда Шумпетера уволили, финансовый кризис в Австрии входил в острую стадию. Столкнувшись со стремительно растущим дефицитом и опасаясь социальных волнений в случае введения жестких мер экономии, правительство Карла Реннера, оказавшееся в затруднительном

финансовом положении, печатало для оплаты своих счетов все больше и больше бумажных денег. Людвиг фон Мизес, президент Торгово-промышленной палаты, описал “тяжелое гудение” печатных станков центрального банка: “Они работали без остановки днем и ночью... [Тем временем] большое количество промышленных предприятий простаивало, другие были переведены на неполный рабочий день, и только печатные станки, штамповавшие банкноты, работали на полную мощность”². Чем больше крон выпускало правительство, тем меньше можно было купить на одну крону. Шеф полиции Вены жаловался, что “каждая эмиссия снижает стоимость кроны”³. Это мгновенно оказывало влияние на обменный курс, и поскольку значительную часть своих повседневных потребностей Австрия покрывала за счет импорта, стремительное падение кроны вызывало резкий рост цен внутри страны. Как ни странно, поначалу социал-демократы приветствовали инфляцию как инструмент оживления экономики, не подозревая, как скоро наступит общий упадок и политический крах — как и положено после периода мании.

Сначала казалось, что дешевые кредиты и рост цен подтолкнут парализованную экономику и приведут ее в движение. По мере того как инфляция понижала реальную стоимость заимствований, а падающая крона помогала австрийским экспортерам побеждать иностранных конкурентов, росли объемы инвестиций, экспорт и занятость. Но затем торговые партнеры Австрии стали вводить пошлины на ее экспорт, у предприятий возникли трудности в пополнении запасов, а безработица опять начала расти.

Тем временем инфляция перешла с рыси на галоп, а потом вообще на бешеную скачку. В результате постоянных перезаключений соглашений с профсоюзами рабочих, который до войны получал 50 крон в неделю, в конце 1919 года стал получать около 400 крон. Но его новая зарплата позволяла ему купить всего четверть от тех объемов продовольствия, угля и одежды, которые можно было приобрести на довоенную зар-

плату. Так что, несмотря на восьмикратное увеличение номинального заработка, его реальный заработок сократился на 75%. Через год ему необходимо было проработать более восьми недель, чтобы купить дешевый костюм и пару туфель⁴. Государственные служащие и пенсионеры обнаружили, что их еженедельный доход позволяет приобрести всего лишь пару яиц или две буханки хлеба. И это было только начало. Однажды Фрейд, который начал подумывать о переезде в Берлин, пожаловался: “Здесь стало невозможно жить, и иностранцы, нуждающиеся в психоанализе, не хотят сюда приезжать”⁵. К октябрю 1921 года цены в среднем росли более чем на 50% ежемесячно, то есть в стране началась гиперинфляция. К октябрю 1922 года уровень цен был в двести раз выше, чем годом ранее.

По словам историка Ниала Фергюсона, инфляция уничтожила все сбережения среднего класса и подорвала веру в демократическое правление. “Все мы потеряли 19/20 наших денежных средств”, — писал Фрейд другу⁶. Не имеющие никакой ценности банкноты, как и эрзац-продукты и бумажные костюмы, вызывали всеобщее ощущение надувательства. В рассказе Стефана Цвейга “Незримая коллекция” слепой коллекционер считает, что его собрание гравюр старых мастеров в целостности и сохранности; на самом же деле его семья обменяла рисунки на товары и подменила чистыми листами бумаги. Анна Айзенменгер в своем дневнике описала чувство, которое она испытала, когда пересчитывала “оставшиеся банкноты в 1000 крон, лежавшие рядом с продуктовыми карточками в ящике письменного стола... Не разделят ли они судьбу неотоваренных продуктовых карточек, если государство не сможет выполнить обещание, данное им в надписи на каждой банкноте?”⁷ Когда доверие к кроне улетучилось, повседневная торговля свелась к бартеру. Многие крестьяне и торговцы отказывались принимать наличные. Для представителей среднего класса это означало, что за мешок муки нужно было отдать пианино, за четыре фунта свинины и десять фунтов сала — пятьдесят довоенных сигар, а за несколько мешков

картошки — золотую цепочку от часов или, в случае Фрейда, статью для журнала.

Пока полки в венских магазинах не опустели, за несколько фунтов или долларов здесь можно было купить все, что угодно, а иногда вообще скупить весь магазин. В опубликованном в 1920 году романе французского журналиста Пьера Ампа “Страда человеческая: золотоискатели” описан исторический центр города, населенный спекулянтами, которые слетались в Вену, как стервятники. Герой романа Зальцбах обвиняет их в том, что они обращают страдания в золото⁸. Предметом более крупных сделок становились австрийские сельскохозяйственные угодья, шахты, железные дороги, суды, электростанции, заводы и банки. По мере обесценения кроны все это тоже стало продаваться по бросовым ценам, если покупатель платил в фунтах, долларах или другой твердой валюте. Скупка австрийских активов иностранными компаниями возмущала народ, и отчасти поэтому дело Колы, связанное с приобретением компанией “Фиат” горнодобывающего и лесоперерабатывающего концерна “Альпине Монтан”, преследовало Шумпетера долгое время после того, как он покинул свой пост.

Ветераны войны бродили в поисках объедков вокруг десятков ресторанов, расположенных внутри венского кольца — Рингштрассе, пока представители нового класса миллионеров пили шампанское и поглощали деликатесы, “не уступавшие по качеству и количеству тем, что предлагались в Лондоне”. Разительный контраст между “новыми” богатыми и “новыми” бедными, который еще до войны вызывал у молодого Адольфа Гитлера отвращение, все усиливался. Попрошайки, нищие и беженцы, казалось, были повсюду. Народное негодование сосредоточилось на дельцах черного рынка, военных спекулянтах, иностранцах, и в особенности на евреях. За каждым скачком цен на продукты питания следовали демонстрации протеста против роста стоимости жизни и вспышки насилия. В декабре 1921 года огромная толпа била витрины, нападала на гостиницы и грабила продовольственные магазины. Один

из приезжих написал из Вены жене, что “рука об руку с раздражением, вызванным постоянным ростом цен, идет сильнейшее чувство обиды и ненависти ко всем тем, кто сделал деньги на несчастье Австрии: фарцовщикам, валютным спекулянтам и им подобным, которые в большинстве своем являются евреями”¹⁰.

Инфляция превратила старую Вену в своего рода “комнату смеха” — с искаженными, перевернутыми ценностями. В фильме Георга Пабста “Безрадостный переулок”, снятом в 1925 году, главную роль в котором сыграла Грета Гарбо, высокопоставленные государственные чиновники ютятся в темных, неотопливаемых квартирах, соседи шпионят друг за другом, домохозяйки нарушают закон, девушки из хороших семей становятся проститутками, а здравомыслящие граждане превращаются в одержимых биржевых спекулянтов. Первоклассные ценные бумаги обеспечивали страховку от инфляции. Люди, которые никогда не вкладывались ни во что, кроме государственных облигаций, вдруг понесли оставшиеся у них деньги на фондовый рынок, суливший огромные прибыли.

В своем дневнике Анна Айзенменгер записала разговор с управляющим банка, который демонстрирует беспомощность представителей среднего класса в обстановке спекулятивной лихорадки, охватившей все население:

— Если бы вы купили швейцарские франки, когда я вам предлагал, вы бы не потеряли три четверти своего состояния.

— Потеряла? — воскликнула я в ужасе. — Разве крона не восстановится?

— Восстановится? — усмехнулся он. — ...Наша крона провалится ко всем чертям, будьте уверены.

— Зайдите ко мне на минутку... — Он начал объяснять мне, что монархия была вынуждена делать военные займы и что подписка на эти займы часто была обязательной. Это делалось потому, что государство уже израсходовало свои запасы золота и у него не было средств для ведения войны. Война

продолжалась на деньги от военных займов, но покрытия для банкнот, в настоящее время находящихся в обращении, практически не было.

— Просто проверьте обещание, записанное на этой купюре в 20 крон, и попробуйте, скажем, обменять ее на 20 серебряных крон, — сказал он, протягивая мне бумажку в 20 крон... Теперь вы меня поймете, если я скажу вам, что в настоящее время хорошо иметь дома, или [землю], или акции заводов или шахт, или что-то в этом роде, но не владеть никакими деньгами, по крайней мере ни австрийскими, ни немецкими. Вы понимаете, о чем я?

— Да, но у меня же государственные ценные бумаги. Раз может быть что-то более надежное?

— Но, сударыня, где то государство, которое гарантирует вам их ценность? Его больше нет!

Разговор закончился тем, что сотрудник банка посоветовал мадам Айзенменгер вложить деньги в акции. Так делало множество венцев, так поступила и она.



Хотя политическая карьера Шумпетера, по всей видимости была закончена и он был вынужден вернуться на свою университетскую должность в Граце, у него оставалось много друзей в высших эшелонах власти. На следующий год парламентские консерваторы наградили его банковской лицензией в виде компенсации за позорное увольнение. Он мог ее продать, использовать или положить в ящик. Поскольку инвестиционных банков в Вене было вряд ли больше двух десятков и многие банки этого сообщества отчаянно пытались привлечь капитал, продажа лицензии населению, на лицензию, разрешающую начать банковскую деятельность, был большой спрос. Так что парламентский подарок Шумпетеру оказался весьма ценным “золотым парашютом”.

Шумпетер был избран президентом старейшего инвестиционного банка Вены “Бидерман” 23 июля 1921 года, в день, когда этот банк объявил о публичном размещении своих акций. Шумпетеру было тридцать восемь. В обмен на использование имени и его подписи на банкнотах и тому подобном он получил великолепный кабинет, годовой оклад в размере 100 тысяч крон (около 250 тысяч сегодняшних долларов) и достаточно акций, чтобы стать вторым по значению акционером банка. Самой большой привилегией была открытая для него практически неограниченная кредитная линия.

Момент был удачный. Лига Наций наконец-то составила план мер для спасения Австрии, который сильно напоминает мертворожденный план Шумпетера 1919 года. В обмен на срочный заем правительство пообещало, во-первых, создать новый центральный банк, которому будет запрещено финансировать дефицит правительства с помощью покупки облигаций министерства финансов, во-вторых, сбалансировать бюджет, уволив примерно 100 тысяч государственных служащих и закрыв налоговые лазейки, и, в-третьих, возвратиться к европейскому стандарту после сокращения внешнего долга Австрии до приемлемого уровня — и таким образом обеспечить финансовую и монетарную дисциплину. Слухов о грядущем изменении и объявления о том, что Комиссия союзников по репарациям отказывается от претензий к Австрии, оказалось достаточно, чтобы остановить падение кроны и снизить инфляцию с 1000% до 20% еще до подписания соответствующих протоколов, которое состоялось в августе¹².

Спекулятивная лихорадка при этом не уменьшилась, а переместилась в сторону высоконадежных ценных бумаг. Потребованные компании выпускали акции, а не брали кредиты под высокие проценты, банки быстро поглощали новые эмиссионные сертификаты. Вскоре банки стали крупнейшими инвесторами австрийского бизнеса. По словам историка Ф. А. Макартни, “австрийские банки — за редким исключением наиболее консервативных фирм с хорошей репута-

цией — не ограничивали свои инвестиции соображениями безопасности, поэтому акции обращались [в банковской сфере] столь же резко, как и на бирже. Спекулятивной стали и промышленность, даже самые солидные предприятия. Она в массовых масштабах переходила в руки банков, а акции свободно покупались, продавались и использовались для самых неожиданных целей”¹³.

Как и ожидалось, Шумпетер оставил собственно банковские дела опытному и давнему руководителю банка “Видерман” и стал, по сути, инвестиционным менеджером и венчурным капиталистом. Он быстро приобрел крупные пакеты акций нескольких предприятий, некоторые из них совместно с партнером, с которым был знаком еще с Терезианума. Через несколько месяцев он был директором банка “Кауфманн-фарфорового завода и дочернего химического предприятия немецкой транснациональной компании”¹⁴.

Азарт от заключения сделок, покупок и продаж опьянил Шумпетера, может, и одевался как президент банка, но его образ жизни — как ехидно отмечала венская пресса — был экстравагантен, как у лорда. У него по-прежнему были бошские личные долги и еще более крупные задолженности по налогам. Он отказался от номера в отеле и своей половины дворца, но продолжал устраивать щедрые ужины у себя дома и тратил чудовищные деньги на любовниц, лошадей и одежду. О репутации он заботился не больше, чем о деньгах. В ответ на предупреждение делового партнера о нежелательном появлении на публике с проститутками “он проехался широким и вниз... по главному бульвару в центре города... с хорошенькой проституткой-блондинкой на одном колене и с бритой проституткой — на другом”¹⁵.

В начале 1924 года Шумпетер считал свои финансовые дела “в полном порядке”¹⁶, поскольку его кредитная линия в “Видерман” покрывалась надежными ценными бумагами. Но 9 мая 1924 года произошел ошеломляющий крах Венской фондовой биржи, и в промежутке между завтраком и обедом три четверти

ности “высоко ликвидных ценных бумаг”, под гарантии которых осуществлял сделки Шумпетер, растаяли как дым¹⁷. В следующие несколько безумных дней ему пришлось распродать на рушащемся рынке остатки своих лучших бумаг. Банк “Бидерман” понес огромные потери в иностранной валюте, потому что неправильно спрогнозировал курс французского франка. Чтобы добыть денежные средства, директорам банка, в том числе Шумпетера, пришлось продать значительную часть акций “Бидерман” дочерней компании Банка Англии. Летом 1924 года многие из его компаний обанкротились, что вынудило его как директора компенсировать потери своим акционерам. Его партнер по Терезиануму оказался если не жуликом, то во всяком случае человеком, замешанным в темных делах, и фамилия Шумпетера упоминалась в нескольких судебных процессах и даже в одном уголовном расследовании, которое затянулось месяцами.

Сочетание личного банкротства и сомнительного делового партнера показалось британским инвесторам “Бидермана” чрезмерным, и они настаивали, чтобы Шумпетер вышел в отставку. К сентябрю 1924 года, когда он и правда уволился, пресса обвиняла его в том, что он использовал свои связи в “Бидерман”, чтобы оказывать услуги одному из министров. От его миллионов уже ничего не осталось. Директора банка выплатили Шумпетеру выходное пособие в размере годового заработка, но его долги были гораздо больше, и никаких перспектив возмещения потерь не было. Финансовый кризис спровоцировал длительную рецессию. Обанкротились многие крупные банки и сотни промышленных и торговых предприятий. В конечном счете банк “Бидерман” был ликвидирован, хотя, что удивительно, все инвесторы получили свои деньги. В худшие дни спада Людвиг фон Мизес подвел другого экономиста к окну своего кабинета и, указывая вниз, на Рингштрассе, ставшую символом либеральной эпохи в Вене, мрачно сказал: “Может быть, скоро здесь все порастет травой, потому что наша цивилизация кончится”¹⁸.

Хотя враги Шумпетера судили его строго, но все же далеко не так строго, как судил себя он сам. Прошедшее после начала войны десятилетие — фактически четвертое десятилетие его жизни — он характеризовал словами из “Ада” Данте: “*Il gran rifiuto*” (что означает “отречение от великой доли”), которыми он обозначал и упущенные возможности, и потерю мужества. В сорок один год он больше сожалел о прошлом, чем думал о будущем.

Но упадок духа продлился недолго. Необходимость защищать себя и найти способ заработать побуждала его к действиям. А в конце этого ужасного года у него снова появился повод для радости. Как и большинство донжуанов, Шумпетер переживал бесчисленные увлечения, иногда довольно сильные, но никогда не любил по-настоящему. Анни Райзингер обезоружила его своей молодостью (ей был 21 год), беззащитностью и принадлежностью к рабочему классу. Она была дочерью управляющего в доме его матери, и он знал ее, когда она была еще младенцем. Когда ей исполнилось восемнадцать, он попытался затеять с ней легкий флирт, но был отвергнут — она была гораздо больше напугана его репутацией бабника, нежели тем, что он был видным общественным деятелем вдвое старше ее. Потом он как-то столкнулся с ней на Рождество, когда она нанесла визит его матери. По сравнению с тем, какой он ее помнил, она похорошела, стала более женственной и более сдержанной. Он почувствовал, что ее жизнерадостность и отсутствие интеллектуальных притязаний действуют на его измученную душу живительно.

Он был одинок и подавлен. Она приходила в себя после несчастливой романа с женатым мужчиной. В общем, оба пытались восстановиться. Шумпетер подошел к делу основательно. Он ежедневно оказывал ей знаки внимания: возил в оперу, на балы, в рестораны, а в выходные дни — за город. Осыпал цветами и дорогими безделушками. Делая предложение, встал на колени.

Его мать была в ужасе от перспективы получить в невестки продавщицу, но возражать не стала. Человек с такой дурной

репутацией и без гроша в кармане вряд ли мог рассчитывать на блестящую партию, о которой она мечтала. Кроме того, формально он все еще состоял в браке с первой женой. Шумпетер не видел Глэдис, вернувшую себе девичью фамилию, с момента их расставания в 1913 году. Неясно, отказалась ли она обсуждать развод или он просто не удосужился ее спросить. Ясно только, что они все еще были супругами и что Глэдис, если бы захотела, могла помешать ему жениться повторно или возбудить дело о двоеженстве. К счастью для Шумпетера, социалистическое правительство “красной Вены” смягчило законы о разводе, и дружелюбный чиновник выдал ему разрешение на брак с Анни. Преодолев свои и родительские опасения, Анни согласилась.

Между тем друзья Шумпетера искали возможности для спасения его карьеры. Несмотря на неудачи в политике и банковском деле, его репутация блестящего экономиста-теоретика устояла. Правда, он приобрел врагов в Вене и в Берлине, которые помешали бы его назначению в любой из университетов в этих городах, но многие другие университеты за рубежом, в частности в Токио, были рады его принять. В конце концов Боннский университет — первый университет, из которого вылетел молодой Карл Маркс, — предложил ему место на кафедре государственных финансов. “Шумпетер — гений” — так начиналось письмо одного из его сторонников в министерство культуры в Берлине. Немецкие университеты были совершенно отрезаны от современной экономики, отмечал автор письма, а Шумпетер сможет превратить Бонн из интеллектуального болота в важный центр теоретической экономики.

“Бонн покорен!” — победно телеграфировал Шумпетер невесте в октябре 1925 года, когда узнал, что одолел своего венского соперника фон Мизеса. Несколько неожиданно для себя самого, он очень хотел получить эту работу. Хотя формально его должность относилась к кафедре государственных финансов, ему обещали, что он сможет читать лекции по чистой теории. В начале ноября они с Анни сочетались браком в при-

сутствии всего двух свидетелей и отправились в неспешное путешествие по роскошным спа-курортам Северной Италии, а в Бонн прибыли к началу весеннего семестра.

Вскоре Шумпетер и его жена стали самой блистательной парой Бонна. Сделав, как обычно, широкий жест, Шумпетер снял роскошный оштукатуренный особняк с видом на Рейн, в котором в бытность студентом жил кайзер Вильгельм. К тому моменту, как Анни в первый раз посетила чаепитие на его кафедре, Шумпетер уже придумал ей новую биографию. Он представлял ее не как дочь управляющего, которая в Вене была кассиршей в банке, а французский учила в Париже, работая помощницей по хозяйству, а как избалованную дочь известного венского семейства, получившую образование в дорогом французском пансионе благородных девиц. Умопомрачительные долги Шумпетера вынуждали его подрабатывать в качестве журналиста и лектора, но все его знакомые утверждали, что в эти годы он был счастливее, чем когда-либо прежде. Кроме всего прочего, Анни была беременна их первым ребенком.

Но идиллия длилась недолго. В середине июня совершенно неожиданно умерла его мать, и для него это был тяжелый удар. В течение всей его сознательной жизни она была для него “великим человеческим фактором”, и он часто говорил о своей “безусловной привязанности” и “неограниченном доверии” к ней¹⁹. Через две недели после того, как Шумпетер вернулся из Вены с ее похорон, его ждала еще одна страшная потеря: он стал свидетелем “ужасной смерти” Анни во время родов²⁰. Родившийся мальчик прожил менее четырех часов.

Крах банка “Бидерман” и потеря двух самых близких людей сразу после этого навсегда изменили его. Ему понадобилось более десяти лет, чтобы расплатиться с долгами, а снова стать богатым ему так и не удалось. Шесть лет спустя Шумпетер писал из Сингапура:

Никак не могу освободиться. Не могу избавиться от тяжелых воспоминаний и предчувствий... ошибки, неудачи, трудно-

сти и т. д., и 1924 год, никогда я не видел всего этого так ясно, как сейчас, плывя на прекрасной яхте, казалось бы, в комфорте и безопасности по спокойному океану. И ощущение упадка, интеллектуального и физического, часто превращается в прямое предчувствие смерти²¹.

А вот на будущее капитализма Шумпетер смотрел с удивительным оптимизмом. Экономист Израэл Кирцнер пишет, что в 1920-е годы исследования экономических циклов подстегивались двумя вопросами: работоспособен ли капитализм²² и сможет ли выжить экономика с частной собственностью и свободными рынками? Карл Маркс считал, что паника и спады порождаются самой экономической системой и в конечном итоге уничтожат ее. Альфред Маршалл, наоборот, объяснял спады случайными потрясениями, вызванными внешними по отношению к экономике причинами. Шумпетер же ставил Маркса с ног на голову и рассматривал экономические циклы как явление внутреннее, но по сути своей положительное. Он писал: «обычно экономический успех ассоциируется с социальным благополучием, а рецессия — с падением уровня жизни. В нашей картине это не так — скорее, даже наоборот»²³.

Несмотря на частые кризисы и депрессии, с 1848 года, отмечал он, производство и уровень жизни населения выросли в несколько раз. Но развитие шло скачками, потому что инновации не «распределялись равномерно во времени... а возникали — если уж возникали — сразу целыми группами»²⁴. Инновации плодят раздражителей, следует еще один всплеск инвестиций, а затем вторичная волна инноваций. Потом поток инвестиций иссякает, потребительские товары наводняют рынок, цены падают, а расходы растут. Сокращение прибылей вызывает рецессию.

Оборотной стороной внедрения инноваций, роста производительности труда и повышения уровня жизни является постоянное перераспределение. В теории экономического развития Шумпетера за бумом неизменно следовал спад —

“вечный поток созидательного разрушения”, но по сути экономика оставалась стабильной. Если системе и угрожала опасность, то она возникала в политической сфере. Маркс и Энгельс рассматривали рецессию как свидетельство провала и источник нестабильности, Шумпетер же придерживался противоположной точки зрения: поскольку цикл ведет к развитию, депрессии — это периоды оздоровления, когда включаются механизмы вытеснения неэффективных предприятий и компании вынуждены сокращать расходы и оптимизировать свою работу. Гибель фирм и целых отраслей неизбежна, как неизбежна смерть отдельного человека. В экономике тоже ничто не вечно, и Шумпетер писал: “Ни одно лекарство не может постоянно сдерживать великий экономический и социальный процесс, в ходе которого предприятия, отдельные индивидуумы, формы жизни, культурные ценности и идеалы сползают вниз по социальной шкале и наконец исчезают”. Но смерть освобождает пространство для новой жизни. Для развития необходимы управленческие таланты, трудовые и иные ресурсы, которые перемещаются из старых отраслей в новые. Таким образом, если страны жаждут прогресса, они должны мириться со спадами. Нравится нам это или нет, любил он говорить, но “чередование бумов и спадов является формой экономического развития, присущей эпохе капитализма”²⁵.

Именно инновации — и такие серьезные, как электричество, и такие мелкие, как зубные щетки, — несут “основную ответственность” за периодические “подъемы”, радикально обновляющие экономический организм, и следующие за ними “спады”, вызываемые “нарушением равновесия под влиянием новых изделий или методов”. Спад несет с собой огромные страдания — увеличение безработицы, сокращение заработной платы, убытки и банкротства, но он не длится долго. “Явление это неприятное, но преходящее”, — писал Шумпетер, в это время “поток товаров обновляется и обогащается, производство частично реорганизуется, производственные издержки

уменьшаются, и то, что на первый взгляд кажется прибылью предпринимателей, в итоге приводит к увеличению постоянных реальных доходов других классов”²⁶. Он утверждал, что постоянные изменения необходимы для экономической стабильности, как движение необходимо для поддержания велосипеда в вертикальном положении.

В Бонне он окунулся в работу над двумя книгами, пестовал группу перспективных молодых студентов, написал десятки газетных колонок и посвятил сотни часов лекциям для групп немецких предпринимателей. Он объяснял свое маниакальное стремление к работе необходимостью выплаты чудовищных долгов, но работа была для него также и анестетиком. Дневник, которому он каждую ночь поверял горести своего разбитого сердца, почти полностью состоял из перечня сожалений и самообвинений. После похорон матери он ни разу не бывал в Вене.

Осенью 1927 года, спустя два года после смерти матери и Анни, Шумпетер принял предложение стать преподавателем Гарвардского университета и приехал в Соединенные Штаты во второй раз. Теперь он, пожалуй, не был так очарован этой страной, как в 1912 году, но был потрясен богатством Америки, ее энергией и оптимизмом. Некоторые финансовые эксперты в то время предупреждали о раздувании спекулятивного пузыря на фондовом рынке. В эссе, написанном весной 1928 года, он с готовностью признал, что за бумом вполне может последовать обвал курсов акций, период падения производства и высокой безработицы. Но его вывод был таким: “нестабильность, возникающая под влиянием инновационного процесса, как правило, искореняет сама себя, а не накапливается”. Таким образом, пояснил он, капитализм остается “экономически устойчивым и даже обретает все большую стабильность”²⁷.

Высокий, темноволосый, слегка обносившийся молодой человек, отдаленно напоминавший Льва Троцкого, сидел в глав-

ном читальном зале Нью-Йоркской публичной библиотеки, изучая пожелтевшие экземпляры “Нью-Йорк таймс”. Среди материалов о последних месяцах войны он искал те, что касались австро-венгерской армии. Его голубые глаза, обрамленные металлической оправой очков, то и дело распахивались от удивления. Как это удивительно — проехать полсвета только для того, чтобы выяснить: все, что он знал об одном эпизоде из собственной жизни, было неправдой.

Венцы вообще относились к австрийской прессе с цинизмом, но Фридрих фон Хайек, кузен Людвиг Витгенштейна и бывший капрал австро-венгерской армии, был потрясен. До сих пор он считал, что наступление на Пьяве, как утверждали австрийские газеты, было смелым, даже рискованным стратегическим маневром, который, однако, провалился вследствие разных ошибок. Между тем из лежавших перед ним номеров “Таймс” было ясно, что американские и британские военные корреспонденты единодушно считали поражение австро-венгерских войск неминуемым еще за несколько *недель* до начала наступления. Другими словами, сто тысяч жизней, одной из которых могла оказаться жизнь самого Хайека, были загублены из-за чьей-то лжи.

В августе 1918 года Хайек был в рядах той самой распадающейся армии, хаотически отступавшей из Италии через Альпы. Когда он наконец добрался до Вены, то отказался от мечты стать дипломатом и поступил на юридический факультет Венского университета. Позже он объяснял свой интерес к общественным наукам войной, и особенно опытом службы в многонациональной армии. Каким образом общество может привести существующие внутри него и зачастую противоположные друг другу желания и интересы к гармонии, не прибегая к принуждению? Как могут люди, говорящие на разных языках, с разной культурой и разным образованием, общаться между собой и договариваться о совместных действиях? Недееспособное командование австро-венгерской армии, очевидно, не нашло ответов на эти вопросы, но по-

зиционная война оставляла Хайеку время для чтения. Среди книг, которые он читал и перечитывал, было два толстых тома по политической экономии.

В Венском университете, который еле-еле функционировал из-за отсутствия угля, света и продуктов питания, лучшим другом Хайека стал другой ветеран, тоже студент юридического факультета Герберт Фюрт, тяжело раненный на Пьяве. Фюрт был сыном члена городского совета Вены и первой суфражистки Австрии. Он ввел Хайека в изысканное общество студентов с левыми убеждениями из ассимилировавшихся и относительно богатых еврейских семей. Фюрт и его друзья проводили время в кафе “Ландтман” напротив Оперы в спорах о марксизме и психоанализе. Сыновья юристов, ученых и бизнесменов, они поразили Хайека значительно большей космополитичностью и уверенностью в себе по сравнению с другими его ровесниками. Как он позднее вспоминал, “события в интеллектуальном мире Франции и Англии были знакомы им почти так же хорошо, как и то, что происходило в мире, говорившем по-немецки”. С их помощью он открыл для себя Бертрана Рассела и Герберта Уэллса, Пруста и Кроче и усвоил, “что подлинная увлеченность духовной жизнью не обязательно должна сопровождаться неспособностью достигать успехов”²⁸.

После войны в политической жизни студентов Венского университета царили в основном ожесточенный католический национализм и оголтелый коммунизм. Хайек и Фюрт, считавшие себя социалистами-фабианцами, находили то и другое отталкивающим. Стремясь создать приемлемую альтернативу, они в первом же семестре организовали умеренную социалистическую организацию — Демократическую ассоциацию студентов.

Хайек посещал лекции экономиста Фридриха фон Визера, последнего министра финансов монархии и наиболее эффективного представителя Австрии на международном уровне. Он читал труды австрийских экономистов, таких как Карл Менгер и Ойген фон Бем-Баверк. Но, как и следовало

ожидать, в городе с десятком тысяч кафе, острой нехваткой квартир и избытком интеллектуалов, которым недоставало рабочей нагрузки, основное образование Хайек получил в кафе, общаясь со сверстниками. На третьем году обучения Хайек и Фюрт организовали проходивший раз в две недели семинар, который они в шутку называли “Кружком духов” — *Geist-Kreis*. Немецкое *Geist* означает “Святой Дух”, но этим же словом обозначаются “светские” духи, в том числе и демоны, которые являются людям на спиритических сеансах. Двадцать с лишним членов кружка, в том числе экономисты Оскар Morgenstern, Готфрид Хаберлер и Фриц Махлуп, философ Эрих Фегелин и математик Карл Менгер (сын другого, не менее известного Карла Менгера, экономиста; только отца звали “*Carl*”, а сына — “*Karl*”), а также историки, искусствоведы, музыковеды и литературные критики, обсуждали разные темы, от пьес до логического позитивизма.

Хайек получил степень доктора права весной 1922 года, в разгар гиперинфляции. Он немедленно поступил на работу в качестве мелкого государственного служащего в бюро урегулирования претензий по военным убыткам. Как и синекура Эйнштейна в швейцарском патентном ведомстве, работа оставляла Хайеку возможности для других занятий, что позволило ему получить еще одну степень — доктора политологии. Его друг заметил, что если заработок в течение девяти месяцев увеличивается с 5 тысяч до 1 миллиона крон, как это случилось с Хайеком, “сознание человека может измениться”²⁹. Вероятно, это было преувеличением, но можно с уверенностью сказать, что взрывообразный рост зарплаты Хайека и одновременное снижение ее покупательной способности побудили его обратить внимание на роль денег — примерно так же Эйнштейн, время от времени засыпая в своем рабочем кресле в патентном бюро в Берне, пришел к специальной теории относительности. Хотя Хайек предпочитал коллекционировать старые книги, а не инвестировать в акции, он начал мечтать о том, чтобы стать президентом австрийского центрального банка.

Кроме того, внимание Хайека привлекло еще одно явление. “Молниеносное обобществление”³⁰, проведенное большевиками в 1919 году, и угрозы правительства Реннера национализировать ключевые отрасли промышленности поставили перед левыми венскими интеллектуалами новые насущные вопросы: жизнеспособен ли социализм? Может ли он обеспечить нужные товары? Может ли существовать плановое хозяйство? Немецкий социолог Макс Вебер уже вступил в дискуссию со своим решительным “нет”³¹. Министр иностранных дел Отто Бауэр и Йозеф Шумпетер сказали “да”, хотя последний уточнил: “при благоприятных обстоятельствах”³².

Затем работодатель и наставник Хайека либеральный экономист Людвиг фон Мизес поднял дискуссию на новый интеллектуальный уровень. В своей книге “Социализм”, дающей обширную пищу для размышлений, он переформулировал задачу, поставив вопрос о необходимых объемах информации. Он исходил из того, что экономика в определенном смысле похожа на счетную машину, аппарат для решения математических задач. Он утверждал, что централизованной плановой экономике недостает данных для сведения числа неизвестных к числу уравнений и, следовательно, для расчета цен, которые обеспечили бы баланс спроса и предложения.

Мизес допускал, что планирование позволит составить список потребительских товаров и услуг. Но, спрашивал он, что дальше? Как власти определяют, что для потребителей стоимость, скажем, автомобиля будет не меньше стоимости труда, стали, резины и других ресурсов, потраченных на его изготовление? Откуда они узнают, что потребительская ценность автомобиля будет превышать ценность автобуса, который можно было бы сделать, используя те же ресурсы?

В рыночной экономике, писал Мизес, при выполнении таких расчетов отдельные предприятия и потребители используют данные о ценах. Например, возникает вопрос: будет ли стоимость изготовления автомобиля больше или меньше той суммы, которую потребители готовы за него заплатить?

Чтобы ответить на него, нужно подсчитать затраченные человеко-часы, килограммы стали и резины, затраты на маркетинг, организацию сбыта и другие ресурсы, умножить все это на соответствующие цены и затем сложить все вместе. Чтобы определить потребительскую ценность автомобиля, нужно взять его цену для покупателя и — раз речь идет об одном автомобиле — умножить ее на 1. Имеет ли смысл производить автомобили? Если затраты на производство автомобиля окажутся меньше дохода от его продажи, можно приступать к выпуску. В противном случае придется заняться чем-то другим.

При замене рынка планированием, утверждал Мизес, исчезнут рыночные цены, необходимые для выполнения подобных расчетов. Но разве нельзя их просто выдумать? Можно, конечно, но если никто не производит для рынка и никто не покупает на рынке, цены не будут *рыночными*. Они не будут отражать субъективные предпочтения потребителей, которым нужен этот товар, и не помогут предприятиям рассчитать, нужно ли поставлять данный товар — тем более в режиме реального времени. Такие цены не обеспечат вам необходимую информацию для принятия правильного решения. У вас не будет никакого способа определить, используете ли вы свои ресурсы по максимуму или, наоборот, безрассудно расточаете.

Споры по поводу обобществления и мысль фон Мизеса о рынках как инструментах расчета и передачи информации произвели на Хайека настолько сильное впечатление, что он написал статью о государственном регулировании арендной платы. Для многих семей нехватка жилья (еще одно наследие войны) стала не менее острой проблемой, чем нехватка продуктов и отсутствие работы. В 1922 году социал-демократы, среди которых был и отец Фюрта, решили закрепить арендную плату на уровне, в четыре раза превышающем довоенный. Но поскольку индекс потребительских цен с января 1921 года вырос в 110 раз, получилось, что таким образом городской совет, сам того не желая, фактически отменил арендную плату. Как стратегия борьбы с нехваткой жилья это выглядело нелепо.

Как только это ограничение вступило в силу, новое строительство прекратилось, существующие здания стали ветшать, а проблемы перенаселенности и бездомности усугубились. Мера, предназначенная для защиты бедных слоев населения, обернулась ограничением мобильности людей, усилением неравенства и уменьшением накоплений, доступных для инвестирования³³.

В 1923-м Хайек ухватился за предложение провести очередной учебный год в Нью-Йоркском университете в Гринвич-Виллидж в качестве научного сотрудника у Джереми Уилпла Дженкса, валютного эксперта в Комиссии по репарациям, манеры и облик которого подтвердили сложившееся у Беатрисы Уэбб предубеждение в отношении американцев. Приехав в Нью-Йорк с несколькими долларами в кармане, Хайек с ужасом узнал, что Дженкс отбыл в Корнелл, где он также был профессором.

Правда, в самый последний момент он вернулся, избавив Хайека от необходимости мыть посуду в дешевой закусочной на Шестой авеню. Собирая данные для Дженкса, Хайек одновременно учился в Нью-Йоркском университете, начал писать книгу о формировании цен на средства производства (оборудование и фабричные здания) и закончил большую статью, посвященную анализу работы Федеральной резервной системы, которая была создана за десять лет до этого. Он встретился с Ирвингом Фишером, вручив тому рекомендательное письмо от Шумпетера. Кроме того, ему удалось попасть на лекции Уэсли Митчелла и Джона Бейтса Кларка в Колумбийском университете, ведущем центре исследования экономических циклов в США.

Хайек приехал в Нью-Йорк прежде всего затем, чтобы как можно глубже погрузиться в американские теории бумов и спадов. Абстрактный вопрос о жизнеспособности капитализма интересовал его гораздо меньше, нежели возможность экономического прогнозирования. Можно ли предсказать, каков будет уровень производства и каковы будут цены через

шесть месяцев или через год, причем предсказать достаточно точно, чтобы регулирующие кредитно-денежные учреждения могли принять меры для противодействия зарождающейся инфляции или дефляции? Для Хайека эти вопросы не были чисто теоретическими. Фон Мизес, который рекомендовал его Дженксу, обсуждал с Хайеком запуск программы исследования экономических циклов и составления экономических прогнозов под эгидой Торговой палаты в Вене.

Хайек с удовольствием остался бы в Нью-Йорке еще на год, но к тому времени, как Фонд Рокфеллера сообщил ему, что попечительский совет выделил ему новый грант, он уже плыл обратно в Европу. В конце мая 1924 года он вернулся в Вену, к своей скучной работе в бюро компенсаций. Он был несчастен и подавлен. До отъезда в США он влюбился в свою кузину Хелен Биттерлих, которая работала секретарем в том же бюро. Перед отъездом в Нью-Йорк он почти сделал ей предложение, но не решился и теперь злился на себя: в его отсутствие она вышла замуж за другого.

Он воспрянул духом, получив от Мизеса приглашение посещать его закрытый семинар — «самый важный центр экономических дискуссий в Вене, а возможно, и во всей континентальной Европе». Помимо дюжины бывших членов «Кружка духов», в эту группу входили экономист Марта Штеффи Браун, философы Феликс Кауфман, Альфред Шюц и Фриц Шрайер, историк Фридрих Энгель-Яноши. Первый доклад Хайека на этом семинаре был посвящен его анализу регулирования арендной платы в Вене.

Мизес пытался получить для Хайека место в Торговой палате Вены. Не добившись этого, он собрал достаточно денег, чтобы создать независимый институт прогнозирования и сделал Хайека его руководителем. Австрийский институт исследования экономических циклов был построен по образцу академических и частных организаций, в которых Хайек побывал в Соединенных Штатах, и Хайек стал его первым директором. Таким образом, в неполные тридцать лет он ока-

зался руководителем научно-исследовательского института, поддерживающего связи с аналогичными организациями за рубежом и ежемесячно публикующего прогнозы для международной аудитории, хотя весь его персонал на тот момент состоял из двух машинисток и одного клерка.

В 1928 году, надеясь получить доцентуру в Венском университете, Хайек представил на обсуждение свою книгу “Теория денег и экономические циклы”, которую начал писать еще в Нью-Йорке. Молодой либерал, выходец из рабочего класса Лайонел Роббинс в то время был в Лондонской школе экономики и искал интеллектуальных союзников. Он случайно попал на пробную лекцию Хайека на тему “Парадокс бережливости” и был настолько увлечен ею, что спросил у Хайека, не будет ли тому интересно приехать в Лондон. Кроме того, Роббинс заинтересовался последним прогнозом института. В февральском бюллетене 1929 года Хайек предсказал, что мировые процентные ставки не упадут до тех пор, пока продолжается бум на американском фондовом рынке. “Крах наступит в ближайшие несколько месяцев”, — предупреждал он³⁴.

Глава IX

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗУМА

КЕЙНС И ФИШЕР В 1920-Е ГОДЫ

Мир постепенно осознает, что способен улучшаться. Политическая экономия перестала быть “мрачной наукой”.

ИРВИНГ ФИШЕР, 1908¹

Мы должны научиться ограничивать и умирять так называемый экономический цикл.

ИРВИНГ ФИШЕР, 1925²

Мировая война позволила Кейнсу отложить принятие окончательного решения о своей карьере. Когда-то он думал, что хочет управлять железной дорогой, но теперь железные дороги были далеко не так привлекательны, как до войны. Их место заняла финансовая сфера. Экономика займов, кредитов и страхования преобразилась под влиянием плавающих курсов валют, огромных военных долгов, острой потребности в кредитах и мучительной проблемы репараций. Вся сфера финансов, прежде бывшая тихой, хотя и таинственной заводью, вдруг стала самой быстрорастущей отраслью хозяйства, а в глазах скептиков — просто гигантским казино.

Освальд Фолк по прозвищу “Лис”, биржевой маклер и друг, которого Кейнс привел в министерство финансов во время войны, ввел его в круги Сити — лондонского аналога нью-йоркской Уолл-стрит. Не прошло и года, как Кейнс оказался президентом страховой компании. Он ничего не знал о страховании или, скажем, о желательности диверсификации инвестиционного портфеля. На первом же заседании правления он сказал, что компания по страхованию жизни “должна иметь только один объект для инвестиций, и каждый день новый”³. То, что Кейнс даже не вспомнил о выдвинутой Фишером концепции компромисса между инвестиционным риском и нормой прибыли, показывает, сколь новой и непривычной она была. Многие идеи настолько очевидны, что их, казалось бы, и открывать незачем — однако простейшая мысль, что класть все яйца в одну корзину рискованно, была усвоена так же плохо, как теория относительности Эйнштейна.

Кейнс ни в коей мере не ограничивался работой в страховой компании. Произошедший в результате войны крах мирового золотого стандарта с его фиксированными обменными курсами — нечто вроде единой мировой валюты, а его замена плавающими валютными курсами обернулась раем для валютных спекулянтов. Пока Кейнс успешно торговал франками, долларами и фунтами, как это было осенью 1919 года и весной 1920-го, он мог позволить себе покупать картины Сера, Пикассо, Матисса, Ренуара и Сезанна. “Дело, конечно, рискованное, но мы с Фолком, понимая, что от этого зависит наша репутация, намерены вести себя очень осторожно”, — уверял Кейнс отца, который, как и некоторые друзья Кейнса из Блумсбери, ничтоже сумняшеся передал ему в управление несколько тысяч фунтов. Хотя, возможно, следующая мысль сына — “независимо от результата эта игра с высокими ставками меня забавляет” — должна была бы заставить его настроиться⁴.

Весной 1920 года, все еще находясь в приподнятом состоянии духа, Кейнс отправился в стремительный тур по кон-

тиненту вместе с Ванессой Белл и Дунканом Грантом. Они нанесли визит американскому историку искусства и пропагандисту художников Возрождения Бернарду Беренсону. На флорентийской вилле Беренсона “И Татти” Кейнс и Грант, к великому собственному (но не хозяина!) удовольствию, решили поменяться ролями: каждый из них выдал себя за другого. Но в основном они ходили по магазинам. Даже Кейнс, который часто жадничал, когда речь шла о незначительных суммах, купил семнадцать пар кожаных перчаток. В марте, примерно в то время, когда Йозеф Шумпетер готовился начать свои масштабные и рискованные игры в Вене, Кейнс решил от имени своего синдиката сыграть на повышение доллара. Цены в Англии и тем более в континентальной Европе росли быстрее, чем в Соединенных Штатах, рассуждал он, так что фунт по отношению к доллару наверняка ослабеет. Его логика была совершенно безупречной — только несвоевременной. Едва он вернулся в Лондон, как франки, марки, лиры, наоборот, начали *расти* по отношению к доллару. К тому времени, когда фундаментальные принципы вновь возобладали, Кейнс был разорен. В результате какого-то обратного алхимического преобразования его 14 000 фунтов стерлингов прибыли превратились в более чем 13 000 фунтов убытков. И что удивительно, вера инвесторов в его гений от этого нисколько не пострадала! Отец и друзья были уверены, что Кейнс вскоре возместит и свои, и их потери, а брокер согласился вновь открыть его счет, если Кейнс положит на него 7000 фунтов. Еще более удивительно то, что эта замечательная демонстрация веры вполне оправдала себя: к концу 1924 года Кейнс снова был богатым человеком.

Добившись успеха в качестве автора бестселлеров, Кейнс обратился к журналистике, чтобы иметь дополнительную возможность финансировать тот образ жизни, к которому уже начинал привыкать. Он писал для “Манчестер гардиан”, лондонской “Ивнинг стандарт” лорда Бивербрука и американской “Нью рипаблик”. По словам его биографа Роберта Скидельски, в 1920-е годы сотрудничество Кейнса с прессой обеспечивало

ему около трети доходов, и в конце концов он стал издателем левого политического еженедельника “Нью стейтсмен”, основанного Уэббами и Джорджем Бернардом Шоу. Питер Кларк, еще один биограф Кейнса, заметил, что это “наступление мыслей на безмыслие”, по-видимому, позволило Кейнсу еще ярче проявить свои разнообразные таланты⁵.

В 1922 году основной темой его статей были деньги и банковское дело. До Первой мировой войны теория денег была прежде всего навязчивой идеей американцев. Но Ирвинг Фишер, практически единственный американский экономист-теоретик, серьезно воспринимавшийся в Кембридже, убедил Кейнса, что деньги оказывают гораздо более сильное влияние на “реальную” экономику, нежели считалось в рамках общепринятой теории⁶. Еще в 1913 году, через пару лет после того, как они с Фишером встретились на коронации Георга V, выступая перед группой бизнесменов в Лондоне, Кейнс повторил утверждение Фишера о том, что главной причиной подъемов и депрессий является “создание и уничтожение кредита”⁷. Послевоенные экономические неурядицы, казалось, подтверждали теорию Фишера.

В 1923 году Кейнс был настолько увлечен этими новыми идеями, что отразил их в своем “Трактате о денежной реформе”:

Колебания стоимости денег с 1914 года были настолько масштабными, что они, вкупе со всем, что из этого вытекало, стали одним из самых значительных событий в экономической истории современного мира. Колебания стандарта, будь то золото, серебро или бумажные деньги, были беспрецедентно сильными и при этом воздействовали на общество, экономическая организация которого в большей, чем когда-либо, степени опиралась именно на предположение, что стандарт стоимости будет более или менее стабильным.

Он пытался показать, что из-за инфляции и дефляции инвесторы и бизнесмены с трудом могут просчитывать послед-

ствия собственных решений, а решения о выборе между накоплением и инвестированием искажаются в гораздо большей степени, нежели обычно полагают в обществе. Он также старался поднять эту проблему на теоретический уровень, где он и Фишер были единомышленны: “Мы должны освободиться от живущего в нас глубокого недоверия к тому, что корректировка стандарта стоимости может быть предметом взвешенного решения. Мы больше не можем оставлять дело [на произвол судьбы]”. Зло инфляции в том, что она перераспределяет существующее богатство произвольным образом, настраивая одни группы граждан против других, и в конечном счете подрывает демократию. Зло дефляции в том, что она тормозит создание нового богатства, уничтожая рабочие места и доходы.

Нам не обязательно выбирать меньшее из двух зол. Легче согласиться, что лучше избегать обоих зол. Сегодняшний индивидуалистический капитализм, именно потому, что он доверяет накопление отдельному инвестору, а производство — отдельному предпринимателю, предполагает наличие стабильного измерительного инструмента, без которого он не может быть эффективным, а вероятно, вообще не сможет выжить.

Снова и снова Кейнс повторял свою главную мысль: от этих бед есть лекарство. “Лекарство заключается... в таком контроле стандарта стоимости, чтобы если некое событие само по себе заставляет ожидать изменения общего уровня цен, то контролирующий орган может принять меры для противодействия этому изменению”. А провал попытки сделать деньги “предметом взвешенного решения” оставит после себя опасный вакуум, в котором “множество популярных средств... которые сами по себе хотя и являются лекарствами — субсидии, фиксация цен и аренды, охота на спекулянтов и налоги на сверхприбыли — в конечном итоге тоже становятся злом, и не всегда самым меньшим”.

“В долгосрочной перспективе мы все мертвы” — эта самая известная фраза Кейнса появляется в “Трактате” в следующем контексте: “Долгосрочная перспектива — неправильный ориентир для управления текущими событиями. В долгосрочной перспективе мы все мертвы. Экономисты ставят себе слишком легкую и слишком бесполезную задачу, если во время шторма берутся сообщить нам лишь то, что когда шторм утихнет, океан снова станет спокойным”⁸. Позже Шумпетер и другие критики интерпретировали эту красочную фразу Кейнса так, что он якобы игнорировал влияние краткосрочных монетарных и финансовых стимулов на инфляцию в более долгосрочном периоде. Но ведь из этого пассажа ясно, что он возражал лишь против тезиса, что инфляция и дефляция будут лечить себя сами, без активного вмешательства. Он считал, что государствам время от времени придется делать взвешенный выбор между двумя желанными, но несовместимыми целями. Эту идею он заимствовал у Фишера, которого называл “пионером ценовой стабильности в противовес стабильности обменных курсов”⁹. В мире, где капитал свободно пересекает границы, странам приходится выбирать между стабильностью цен на их импорт и экспорт, с одной стороны, и стабильностью цен на товары и услуги отечественного производства, с другой стороны. Получить то и другое одновременно невозможно — приходится выбирать. И Кейнс не оставляет сомнений относительно того, какой вариант выбирает он сам: именно стабильность внутренних цен принципиально важна для предотвращения разрушительных в социальном плане перераспределения богатства и высокого уровня безработицы.

Первая мировая война уничтожила золотой стандарт. С 1875 года британское правительство гарантировало, что 6 фунтов стерлингов можно обменять в Банке Англии на одну тройскую унцию золота, и банк был обязан следить за тем, чтобы фунтов печаталось не больше, но и не меньше, чем было

необходимо для сохранения этого паритета. Когда и другие страны привязали свои валюты к золоту и стали “твердыми”, их взаимные обменные курсы, естественно, стали фиксированными. Например, после того как правительство США постановило, что 30 долларов можно обменять на одну тройскую унцию золота, 1 фунт стал равен 5 долларам. Другими словами, как заметил экономист Пол Кругман, золотой стандарт XIX века работал почти как единая мировая валюта, регулируемая Банком Англии.

Когда началась война, участвовавшие в ней страны одна за другой отказывались от золотого стандарта, чтобы иметь возможность покупать оружие и продовольствие для своих армий. После войны скорейшее возвращение к золотому стандарту стало для британских политиков и министров финансов страны чем-то вроде Святого Грааля. Но ни один политик не был таким убежденным сторонником восстановления довоенного золотого стандарта, как Уинстон Черчилль, который вернулся в консервативную партию и которого Стэнли Болдуин, глава нового правительства консерваторов, назначил канцлером казначейства (то есть министром финансов).

В ходе рокового ужина с Черчиллем 17 марта 1925 года Кейнс пытался убедить того, что при сохранении довоенного золотого паритета стоимость фунта стерлингов окажется значительно завышенной. И хотя сильный фунт будет благом для британской финансовой отрасли, это ударит по традиционным экспортным отраслям, особенно по текстильной и угольной, и приведет к массовой безработице. Об этом он сам и Ирвинг Фишер уже давно писали в прессе. Но Кейнсу не удалось убедить министра. Как вспоминал Черчилль впоследствии, имея в виду предвыборное обещание 1918 года: “Это не экономический вопрос, это политическое решение”¹⁰.

“Экономические последствия мистера Черчилля” — так Кейнс назвал памфлет, написанный им несколько месяцев спустя — были практически такими, как предсказывал сам Кейнс, Фишер и другие противники этой меры. Предваря увеличе-

ние обменного курса фунта на 10%, Банк Англии в декабре 1924 года поднял учетную ставку с 4 до 5%, то есть на целый пункт выше ставки в Нью-Йорке. Это было сделано для того, чтобы стимулировать спрос на фунт за счет привлечения в Лондон американских денег на короткие сроки. Но поскольку более высокие процентные ставки задушили поток новых кредитов, а сильный фунт уменьшил спрос на экспортную продукцию, тяжелая промышленность Великобритании рухнула, и уровень безработицы на севере страны резко возрос. Кейнс объяснил этот спад отказом Черчилля последовать его совету.

Здесь необходимо чуть-чуть вернуться назад. После того как Кейнсу удалось определиться, как он будет зарабатывать на жизнь и куда приложит свою энергию, он задумался о том, как он вообще хотел бы жить. Ему было уже под сорок. Чего-то не хватало. На протяжении большей части 1921 и 1922 годов он считал себя “женатым” на Себастьяне Спротте, красивом студенте, с которым познакомился, когда читал лекции в Кембридже. Были и другие увлечения. Но мало того, что все эти связи по глубине значительно уступали тем отношениям, которые у него были десятью годами раньше с Дунканом Грантом, — они еще и усиливали его недовольство. Они напоминали ему, что по целому ряду причин, в том числе и потому, что гомосексуализм был тогда социально неприемлемым и даже наказуемым, такие отношения не могли дать ему партнера, с которым он мог бы разделить свою богатую, разнообразную и все более публичную жизнь.

Кейнс всегда был счастлив в кругу своей семьи. Почти все его старые друзья и подруги из Блумсбери были женаты или замужем, с кем-то жили, создавали свои семьи, обзаводились детьми. Они так или иначе ожидали, что и он сделает то же самое, но его выбор — русская балерина с роскошным чувственным телом и своеобразным чувством юмора, но без

особых интеллектуальных запросов — сначала удивил, а потом ужаснул их. Кейнс встретил Лидию Лопухову на премьеру Русского балета Дягилева, в составе которого она танцевала комические роли. Их страстный роман начался в мае 1921 года, когда он нашел предлог, чтобы поселить ее над своей квартирой в Блумсбери, у пока еще ничего не подозревавшей Ванессы Белл. Четыре года спустя, 3 августа 1925 года, они отпраздновали свадьбу в Лондоне — шумно и при большом стечении народа. Перед свадьбой Кейнс купил усадьбу 'Ничтон в графстве Суссекс, и теперь разгуливал там в костюме из твида, инспектируя поголовье свиней и пшеничные поля как и положено помещику.

Свой медовый месяц он провел у родственников жены в Санкт-Петербурге, который тогда только-только переименовали в Ленинград, а затем, в качестве гостя советского правительства, побывал в Москве. Вместе с несколькими другими преподавателями он представлял Кембриджский университет на праздновании двухсотлетия Российской Академии наук. График Кейнса как высокопоставленного лица предусматривал посещение Госплана и Государственного банка, спектакли "Гамлет" на русском языке, балета и многочисленных банкетов. Как он писал Вирджинии Вулф, принимающая сторона "смutilа его, наградив орденом, украшенным бриллиантами". Когда молодые появились в доме у Вулф в графстве Суррей после поездки, она обнаружила, что Кейнс поменял твидовый костюм эсквайра на вышитую рубашку-толстовку и карманную шапку. Потом она обобщила впечатления Кейнса от России для их общих друзей:

Повсюду агенты тайной полиции, нет свободы слова, жадность к деньгам искоренена, люди живут сообща... Здесь здесь почитают, коллекции Сезанна и Матисса — лучшие в мире. Бесконечные шествия коммунистов в цилиндрах

цены непомерные, однако производится шампанское, плюс самая лучшая кухня в Европе, банкеты начинаются в 20.30 и продолжаются до 2.30... и безмерная роскошь старых императорских поездов, еда из царских тарелок.

Ваше всегда, он блеснул своим талантом публициста, описывая подробности, отмечая фальшивые ноты и указывая на явные противоречия, и использовал свои аналитические способности, чтобы отличить видимость от реальности. Другие высокопоставленные гости уезжали из Москвы с глубокими впечатлениями от относительно хорошего питания, одежды и жилья советских рабочих, которым в отличие от их западных коллег, во видимому, вообще не приходилось опасаться безработицы. Но Кейнс смог объяснить читателям “Нью рипаблик”, что советское экономическое чудо — на самом деле “потемкинская деревня”. Обычные городские рабочие и правда жили лучше, чем до войны. Действительно, условия их жизни были “лучше, чем если бы им платили в соответствии с их производительностью”, писал Кейнс. Но шесть из семи советских граждан — это крестьяне с мелкими наделами, которых безжалостно эксплуатируют, куда сильнее, чем при царе:

Из-за эксплуатации крестьян коммунистическое правительство в состоянии создавать сравнительно сносные условия для рабочих-пролетариев, о которых оно, конечно, особенно заботится... Официальный метод эксплуатации крестьян — это не столько налоги (хотя земельный налог является важным пунктом в бюджете), сколько ценовая политика.

Формы могла платить городским рабочим в два-три раза больше, чем крестьянам, просто потому, что заставляла крестьян продавать урожай государству по ценам гораздо ниже рыночных. В результате не только снижался уровень жизни большинства жителей страны, но и разрушалась экономика. Производство сельскохозяйственной продукции, “реального

богатства страны”, падало, доходы крестьян снизились до нуля, и имел место массовый неконтролируемый исход сельского населения. Москва и Санкт-Петербург были полны бродячих беженцев, и фактически уровень безработицы в них составлял 20–25%, а не официальные 0%. “Реальные доходы русского крестьянина снизились почти вдвое, в то время как промышленные рабочие в России страдают от скученности и безработицы как никогда раньше”, — заключал Кейнс¹¹.

Хотя он советовал пригласившим его советским руководителям пересмотреть их разорительную политику, он вместе с тем признавал, что советская экономика не является “настолько неэффективной, чтобы не быть в состоянии жить”, хотя и “с низким уровнем эффективности” и низким уровнем жизни. Григорий Зиновьев, в то время второй человек в команде Сталина, предположил, что через десять лет “уровень жизни в России будет выше, чем до войны, а во всех других странах ниже”¹² — и Кейнс не стал ему противоречить, хотя лишь потому, что перспективы Запада у него и раньше вызывали беспокойство. Возможно, потому что его родители в Санкт-Петербурге стали жертвой преследований или смерти, потому что он был потрясен неэффективностью, безобразиями и глупостью, еще в большей степени, нежели жестокостью, он отвергал утверждение, что ключ к спасению Запада находится в Советской России:

Как я могу принять кредо, согласно которому ил предпочтительнее рыбы, а простой и грубый пролетарий выше буржуа и интеллигенции, которые, при всех их недостатках, создают высокое качество жизни и, конечно, несут в себе семена любого прогресса? Даже если нам нужна религия, можно отыскать ее среди хлама “красных” книжных магазинов?

Не скрывая своих блумсберийских предрассудков, он обвинял “ил” и “хлам” “некоторым скотством русского характера

ции русского и еврейского характеров, когда они, как это было в свое время, объединяются»¹³. Когда редактор "Нью-Йорк Таймс" попросил его удалить — во имя американских читателей — этот оскорбительный пассаж, Кейнс отказался это сделать.

В конце 1925-го — начале 1926 года Кейнс ненадолго отвлёкся от монетарных проблем. Вместе со всей страной он был охвачен безобразным конфликтом между угольными баронами и шахтерами и угрозой общенациональной забастовки. Непосредственной жертвой укрепления фунта стала разваливающаяся старая промышленность Великобритании, и так обремененная избытком мощностей, устаревшими технологиями, высокими себестоимостью и неумелым управлением. После долгой серии переговоров между владельцами шахт и профсоюзами по поводу сокращения зарплат зашли в тупик, консервативное правительство попыталось выиграть время, субсидируя заработную плату шахтеров. Но субсидии кончились, а конфликт остался, и впереди снова маячила забастовка. В отличие от консервативной друиы Кейнса из либеральной партии не верили, что забастовка будет первым шагом к революции. Тем не менее они поддерживали правительство, настаивая на том, что такая акция будет незаконной, неконституционной и нанесет удар по дефициту. Кейнс сочувствовал шахтерам, которые не были виноваты в том, что Черчилль принял неправильное решение, и выдвинул с компромиссными предложениями: профсоюзы соглашаются на некоторое сокращение заработной платы, профсоюзники закрывают наименее эффективные шахты, а правительство в обмен на это продолжит субсидирование. И варианты были бы все.

Но этим планам не суждено было сбыться. Всеобщая общенациональная забастовка в мае 1926 года провалилась. Шахтеры бастовали еще полгода, пока голод не загнал их обратно на работу на тех самых условиях, которые они ранее отвергали. Однако за это время либеральная партия раскололась на две части. И Кейнс оказался в одной компании со своим заклятым

врагом Ллойд Джорджем, который выступал против жесткой позиции правительства, а его старые друзья по партии оказались на противоположной стороне. Среди новых друзей Кейнса была Беатриса Уэбб, с которой он несколько раз встречался. То, что он встал на сторону шахтеров, она объяснила его недавней женитьбой:

До сих пор он не привлекал меня — блестящий, высокомерный, я бы сказала, недостаточно терпеливый для социальных исследований, даже если бы он имел к ним склонность. Но... я думаю, что его брак по любви с этой очаровательной русской малышкой-танцовщицей пробудил в нем сочувствие к бедным и страдающим¹⁴.

Как проникательно определила Уэбб, антипатия Кейнса к проявлениям стадного чувства — будь то богатые банкиры, профсоюзы, пролетарская культура или показатель патриотизма мешала ему как политику, но при этом она полагала, что он может принести пользу в качестве министра.

В сентябре Кейнс отправился в Берлин, чтобы сделать неофициальный доклад о всеобщей забастовке, а также прочитать официальную лекцию на тему “Конец *laissez-faire*”. В Берлинском университете многочисленная и возбужденная аудитория встретила его весьма тепло, что было большой редкостью в отношении англичан. Он нападал на Версальский мирный договор, осуждал захват Рура французами, поддерживал сокращение репараций и организацию пакетов зарубежных займов — все это сделало его очень популярным в Германии. Последней и самой важной мерой был план Дауэса, который решительно сокращал размеры немецких репараций и открывал шлюзы для огромного потока иностранных, в основном американских займов. Веймарская республика, купавшаяся в деньгах и как магнитом притягивавшая иммигрантов и иностранных рабочих,

первоначально золотой век. Кейнс нашел атмосферу в немецком Вандервоге почти головокружительной.

Он снова увиделся со своим старым другом Карлом Мельхиором, который к тому времени тоже успел жениться, и в первый (и единственный) раз встретился с Альбертом Эйнштейном. На его отношение к ним накладывали свой отпечаток голландско-берийское отвращение к деньгам и параноидальный страх перед угрозой чужой культуры, нависшей над культурой голландской. « [Эйнштейн] еврей... и мой дорогой Мельхиор тоже еврей », — думал он.

Но я чувствую, что если бы жил там, то мог бы сделаться англичанином. Бедные пруссаки слишком медлительны и неповоротливы по сравнению с другим типом евреев — не этими мудрыми бесами, а деловитыми чертями, с рогами, вилами и длинными хвостами... Неприятно видеть цивилизацию, подчиненную нечистым евреям, у которых сосредоточилось все — и деньги, и власть, и мозги. По мне уж лучше пухлые швабскохозяйки и толстопалые парни из «Вандерфогеля»¹⁵.

Это минутное отождествление — в основе которого лежала скорее тяга к примирению, чем сочувствие — с медлительными, неповоротливыми массами, а не мудрыми бесами, которых он в действительности предпочитал, отражало его страх перед толпой — в менее оскорбительных выражениях он раскрыл эту тему в своем официальном докладе «Конец *laissez faire*». Если правительства демократических стран окажутся настолько глупы, что оставят экономическое положение своих граждан на произвол судьбы, они рискуют столкнуться с катастрофой.

В 1910-е годы Кейнс продолжал читать лекции в Кембридже. Один студент вспоминал, что он «больше походил на биржевого маклера, чем на преподавателя, на городского человека,

который на выходные выезжает за город”¹⁶. Тем не менее его блеск и слава привлекали на лекции многих слушателей. Вечерами по понедельникам в его квартире в Королевском колледже встречались члены закрытого клуба политэкономистов, и на эти собрания приглашали умных студентов и амбициозных преподавателей.

“Давайте засучим рукава и будем работать, использовать простаивающие ресурсы для увеличения богатства, — сказал Кейнс 27 марта 1928 года на собрании членов либеральной партии. — Когда каждый человек и каждый завод будут работать, только тогда можно будет сказать, что больше мы ничего сделать не можем”¹⁷. Во время всеобщей забастовки Кейнс полагал, что новые теории об управлении экономическими циклами, поданные в виде решения проблемы безработицы в Великобритании, могут обеспечить альтернативу и высоким тарифам, за которые выступали правые, и непомерным налогам, которые предлагали левые. Его новый союзник Ллойд Джордж активно строил планы возвращения к власти и искал новую стратегию. Кейнс задумался было о том, чтобы выступить кандидатом от либералов в Кембриджском университете, но после нескольких дней мучительных раздумий отказался от этой идеи. Вместо этого он стал архитектором политики, на которой Ллойд Джордж весной 1929 года построил свою кампанию. Иными словами, чашкой Петри для роста бактерий “Общей теории” Кейнса послужила политическая кампания.

Величайшей угрозой для капитализма Кейнс считал не неравенство, а нестабильность. При этом под неравенством он понимал не разрыв между богатыми и бедными, а неожиданные доходы или убытки, не связанные с упорным трудом, бережливостью или хорошими идеями. “Самые серьезные нарушения стабильности и справедливости, которые можно указать в XIX веке... были вызваны изменениями в уровне цен”, — писал он, вторя Ирвингу Фишеру. Таким образом,

“первый и самый важный шаг... заключается в создании новой монетарной системы”¹⁸. В отличие от Уэбб, Кейнс отвергал политику классово́й борьбы (для этого он был все-таки слишком “элитарен”). Лейбористы “делают вид, что противостоят всем, кто более успешен, более умен, более трудолюбив, более бережлив по сравнению со средним уровнем, — брюзжал он. — Это партия класса, и этот класс — не мой... Я могу поддаться влиянию того, что кажется мне справедливым и соответствующим здравому смыслу; но в классово́й войне я всегда на стороне образованной буржуазии”¹⁹.

Ллойд Джорджу, которого Кейнс в 1919 году гневно называл “дьяволом во плоти”, в 1922 году пришлось уйти в отставку — из-за активной раздачи льгот в обмен на взносы в поддержку его избирательной кампании, а также распутства и нарушений множества других этических норм. Тем не менее “валлийский колдун” сохранил влияние на либеральную партию и на Кейнса. Будучи фактически безработным на протяжении большей части 1920-х годов, он превратил свое имение Черт в экономический мозговой центр, тратя всю свою энергию, время и партийные деньги, которыми он распоряжался, на разработку программы либералов. Теперь он рассчитывал вернуться, опираясь на план борьбы с безработицей, и Кейнс был главным экономистом этой кампании.

После 1919 года число безработных в Великобритании не опускалось ниже миллиона человек, ежегодно слегка возростая, пока в 1929 году уровень безработицы не достиг 10%. К тому моменту страна в целом еще не полностью оправилась после Первой мировой войны. Хотя мировая торговля росла, объем британского экспорта сократился. В 1913 году Британия была главным экспортером в мире, а к 1929 году она уступила первое место Соединенным Штатам²⁰. В “мастерской мира” преобладали старые, “дымящие” отрасли — добыча угля, черная металлургия, текстильная и судостроительная промышленность, в то время как потребителям по всему миру требовалось больше нефти, химикатов, автомобилей, кинофильмов и дру-

гой продукции новых отраслей. Кроме того, за усредненными общенациональными цифрами скрывался огромный разрыв между процветающим югом Англии и индустриальным севером, охваченным хронической депрессией, что способствовало оживлению старой концепции, бытовавшей в голодные сороковые годы прошлого, XIX века, о существовании Англии в виде двух отдельных стран — богатой и бедной.

25 сентября 1927 года Кейнс, в составе группы из четырнадцати профессоров, прибыл по приглашению Ллойд Джорджа в Черт на неформальную встречу “тех, кто пытался заложить основы нового радикализма”²¹. Кейнс и Ллойд Джордж провели совместное исследование “Индустриальное будущее Британии”, которое обошлось последнему в 10 тысяч фунтов. Доклад вышел из печати в начале февраля 1928 года и быстро приобрел прозвище “Желтая книга” — в соответствии с цветом обложки. Хотя в письме Герберту Уэллсу Кейнс выразил надежду, что больше никогда “не окажется втянутым в коллективное авторство такого масштаба”, он признавал, что этот документ был “весьма серьезной попыткой составить список целесообразных и практичных мер в политико-индустриальной сфере”²².

Работая над этим докладом, Кейнс впервые смог кое-что узнать о промышленных компаниях (а не только о финансовых). Он говорил кандидатам от либералов, что тенденция к укрупнению в бизнесе обусловлена не только технологиями и финансовыми соображениями, но и угрозой накопления нераспроданных запасов. Крупный бизнес возник естественным путем, и его следовало принимать таким как есть. Это не было похоже на горячее одобрение гигантских корпораций в духе Шумпетера, но и явно не соответствовало отношению к ним социалистов.

“Мы сможем победить безработицу!” — под таким лозунгом либералы выступали в кампании 1929 года. 1 марта Ллойд Джордж отважно пообещал в течение года сократить безработицу до “нормального” уровня²³. Центральным элементом его

избирательной платформы стала финансируемая с огромным дефицитом программа общественных работ, призванная подтолкнуть экономику. Ускоренный рост должен был обеспечить налоговые поступления для оплаты дорог, систем канализации, телефонных линий, линий электропередачи и нового жилья, а для оплаты труда рабочих использовались бы средства от страхования на случай безработицы. Менее чем через три недели Кейнс внес свой вклад с помощью брошюры под названием “Можно ли выполнить обещание либералов?”. После того как министерство финансов ответило на это утверждением, что общественные работы просто заменят собой частные, он выпустил еще одну брошюру — “Сможет ли Ллойд Джордж это сделать?”.

Тот факт, что многие нынешние безработные, став рабочими, будут получать заработную плату, а не пособие по безработице, будет означать увеличение эффективной покупательной способности, что в целом будет стимулировать торговлю. Более того, первичное увеличение торговой активности повлечет за собой дальнейшее расширение торговой активности, поскольку позитивные факторы развития, как и факторы, подавляющие торговлю, обладают кумулятивным эффектом²⁴.

Как отмечает Скидельски, здесь содержался зародыш идеи мультипликатора. Основная идея, развитая двумя годами позже Ричардом Каном, одним из молодых красавчиков Кейнса, состояла в том, что увеличение государственных расходов на 1 доллар повышает расходы в частном секторе больше, чем на 1 доллар, так как первоначальное увеличение потребления ведет к росту занятости и доходов других людей, чьи расходы, пусть даже в меньшей степени, тоже увеличиваются, и так далее.

Как всегда уверенный в себе, перед всеобщими выборами 30 мая Кейнс заключил пари, что либералы завоюют сто мест в парламенте. Однако на самом деле они получили всего лишь пятьдесят девять мест, что окончательно поставило крест

на политической карьере Ллойд Джорджа, а Кейнсу обошлось в 160 фунтов, утрата которых лишь чуть-чуть компенсировалась 10 фунтами, выигранными у Уинстона Черчилля. Кроме того, эта кампания заставила его переписать большие куски "Трактата о деньгах". Лето 1929 года было идиллическим: работа над рукописью, съемки пятиминутной балетной сцены для одного из первых британских звуковых фильмов "Темно-красные розы", теннис и встреча с главным чиновником правительства по общественным работам Освальдом Мичелли восходящей звездой лейбористской партии, который в 1940-е годы станет фашистом. Единственным источником раздражения были жалкие результаты товарных спекуляций Кейнса. Он играл на повышение каучука, зерна, хлопка и олова в 1928 году, но рынки вдруг отвернулись от него, и для покрытия убытков ему пришлось продать часть своего портфеля акций.

Ирвинг Фишер купил свой первый бензиновый автомобиль в 1916 году. Последнюю и самую роскошную из электрических моделей Фишера, закрытый "детройт", приходилось каждую ночь отправлять в гараж для подзарядки, а скорость у него была не больше сорока километров в час. А теперь Фишер, ежегодно наматывавший по рельсам тысячи миль, отправлялся в путь в новеньком "додже", бессовестно пожирающем бензин. Дороги между Нью-Йорком и Бостоном тогда были еще главным образом грунтовыми, разбитыми и усеянными выбоинами, в которые могло провалиться колесо (и не только), но Фишер новый автомобиль "открыл почти не ограниченные перспективы"²⁵. В 1920-х годах Фишер покупал новый автомобиль примерно каждые два года, все дороже и дороже, по мере того как росло благосостояние его самого и всей страны. К концу десятилетия в дополнение к "линкольну" у него был кабриолет "ласаль" и новенький "стирнс-найт", ответ Америки на английский "ролс-ройс". И, как и у "великого" Джея Гэтсби у него был шофер-ирландец.

К 1929 году автомобиль имела уже каждая пятая американская семья. Как и предсказывал Фишер в 1914 году, после войны экономика Соединенных Штатов оказалась самой крупной и сильной в мире. В отличие от Англии и Франции, США "в Первой мировой войне... не понесли прямых экономических потерь, более того, по некоторым направлениям даже получили экономические и социальные преимущества. В том же США продемонстрировали всем воюющим державам, что правительство не обязательно является безнадежным источником обстоятельств, но способно формулировать стратегическую и экономическую политику, которые позволяли бы до некоторой степени определять, станет ли война как экономический фактор причиной прибылей или убытков"²⁶.

Благодаря военному производству и экспорту в континентальную Европу и Великобританию к 1918 году Соединенные Штаты обогнали последнюю по объему годового производства. В то время как в Германии и в Австрии произошел крах экономики, а рост экономики Англии сдерживался жесткой политикой ее собственного банка, в Америке в 1921 году начался уверенный подъем из послевоенной рецессии. Правда, в середине десятилетия Америка пережила две рецессии, каждая из которых длилась чуть больше года, но они были относительно незначительными, что большинство американцев, в том числе фермеров, их просто не заметили. В течение всего периода с 1921 по 1929 год экономика росла в среднем на 4% в год, а уровень безработицы составлял в среднем менее 5%. В 1929 году экономика в целом выросла на 40% по сравнению с 1921 годом, а доход на душу населения увеличился на 50%. Это заметное достижение для любой страны в любом отношении, с тех пор редко повторявшееся²⁸.

Но средние цифры не могут отразить те радикальные изменения, которые принесли с собой новые виды энергии. Они породили совсем иной образ жизни. Наступила новая

эра — эра автомобилей, загородных домов, Калифорнии, нефти, телефонов, ежедневных газет, котировок акций, холодильников и вентиляторов, электрического освещения, радио и кино, работающих женщин и небольших семей, сокращения членства в профсоюзах и крупных торговых центров. Среди мужчин, достигших шестидесяти лет, получила хождение дотоле вообще неизвестная идея выхода на пенсию. После заявления Луиса Брандейса, что железным дорогам не придется повышать тарифы, чтобы платить сотрудникам более высокую заработную плату, если они организуют работу в соответствии с принципами, предложенными Фредериком Уинслоу Тейлором, появились новые корпоративные словечки “научное управление” и “тейлоризм”. Компании “Ар-си-эй” и “Эй-ти-энд-ти” тогда были все равно что сегодня “Майкрософт” и “Гугл”. Между тем старая экономика, с ее фермами, угольными шахтами, шерстяными и обувными фабриками — основными источниками американского богатства в XIX веке — уходила в прошлое.

Пароходы, железные дороги, телеграф расширили пределы передвижения и общения для поколения Альфреда Маршалла. А автомобили и телефон сделали то же самое для поколения Фишера, при этом обеспечив возможность индивидуальных путешествий и междугородной связи. Фишер был в восторге от того, что теперь может ездить без всяких расписаний, так же, как Беатриса Уэбб, купив свой первый велосипед, упивалась тем, что может накручивать мили без шофера. Массовое производство сделало возможным массовое владение автомобилями, радиоприемниками, телефонами, вентиляторами, холодильниками и сборными домами, а это, в свою очередь, сделало жизнь в пригороде привлекательной и доступной. В распоряжении потребителей теперь были инструменты управления, позволявшие им набирать номера, щелкать выключателями и влезать на водительское сиденье.

И если Уэбб наотрез отказывалась водить машину, а Джефффри Кейнс однажды назвал брата “антимоторным

моторофобом, смеявшимся над всеми видами моторного транспорта”²⁹, то Фишер, наоборот, олицетворял любовь американцев к автомобилям и вообще ко всевозможным механическим и электрическим штукам. В марте 1922 года, после того как его речь впервые была передана по радио, он заказал два радиоприемника. Он писал сыну, что это была, “наверное, самая большая аудитория, к которой я когда-либо обращался”. Обращаясь к “аудитории, которую он не мог ни видеть, ни слышать и в существование которой он не вполне верил”, он сказал, что открытие трансатлантического вещания фактически превратило “всех жителей Земли в соседей”³⁰. Вскоре после того как двадцатипятилетний пилот авиапочты США Линдберг в 1927 году без посадок перелетел на одномоторном моноплане с Лонг-Айленда в Париж, бывший тогда в Париже Фишер воспользовался новой услугой — трансатлантической телефонной связью — и провел девятиминутное “селекторное совещание” с женой в Род-Айленде, матерью в Нью-Джерси и зятем в Огайо. Ирвинг-младший вспоминал, что Фишер “следил за секундной стрелкой своих часов”³¹. К тому времени Фишер уже заменил большую часть своей деловой переписки телефонными переговорами, записывал тексты обычно уже не на бумагу, а на диктофон, а если спешил, а спешил он почти всегда, то диктовал непосредственно машинистке, сидящей перед “Оливетти”. Его домашний офис уже давно занимал весь третий этаж его нового особняка в Нью-Хейвене, с картотечными шкафами и столами машинисток в коридорах и на лестничных клетках. Его штат состоял из 8–10 женщин, которые использовали телефоны со стеклянными микрофонами и печатали под рокот аппарата, вырабатывавшего озон для оздоровления атмосферы в помещении.

Большую часть времени Фишер тратил на кампании в поддержку Лиги Наций, ограничения иммиграции, охраны окружающей среды и реформ в области общественного здравоохранения, включая всеобщее страхование. Сам он жил по тем же заповедям. Практически весь верхний этаж дома

Фишера занимал домашний спортзал, который Фишер называл “гаражом для поддержания в форме своего личного двигателя”. Помимо здоровой пищи и витаминов его увлекало спортивное оборудование. Его тренажерный зал заполняли булавы, гантели, устройства для поднятия тяжестей, там был гребной тренажер, электрический шкаф, гелиолампа, вибрирующий шезлонг, похожий, по мнению его детей, на электрический стул, и “дикивинный механизм для общего ритмического массажа”³². К 1929 году в штате у Фишера числились личный врач и тренер.

Он вновь и вновь повторял, что история не позволяет судить о потенциальных возможностях человека. В 1926 году, выступая перед группой работников общественного здравоохранения³³, Фишер утверждал, что человек подошел к пределу долголетия не ближе, чем к пределу потребления. Истинный предел, утверждал он, составляет сто лет. Он отметил, что к 1931 году ожидаемая продолжительность жизни английского мальчика будет почти на двадцать лет больше, чем в 1871 году³⁴. Не менее важно, что семь из десяти человек достаточно здоровы, чтобы наслаждаться жизнью и полноценно работать. Между тем в конце войны шесть человек из каждых девяти квалифицировались как “немошные”, “физически ущербные” или инвалиды “с сомнительными перспективами выживания”³⁵. Он предсказал (и как выяснилось, весьма точно), что к 2000 году средняя продолжительность жизни увеличится с пятидесяти восьми до восьмидесяти двух лет³⁶.

Вера Фишера в возможности совершенствования человека и безграничный потенциал науки и свободного предпринимательства росла вместе с ростом экономики в двадцатых годах:

Мир постепенно осознает, что способен улучшаться. Политическая экономия перестала быть “мрачной наукой”, учением, гласившим, что при мальтузианском росте населения нищенские зарплаты неизбежны, и теперь серьезно и с оптимизмом подошла к проблеме ликвидации нищеты. Аналогично гигиена, самая младшая из биологических дис-

циплин, отвергает устаревшую доктрину о том, что смерть неотвратима и что она должна год за годом взимать свою страшную дань в неизменном размере. Вместо этой фаталистичной веры у нас теперь есть уверенность Пастера в том, что “человеку под силу избавиться от всех паразитарных заболеваний”³⁷.

Фишер стал одним из основателей и первым президентом Американского общества евгеники. Евгеника — приложение генетики к браку, здравоохранению и практике иммиграции — ни в коей мере не была только порождением фабианцев. Селекция человека издавна практикуется в большинстве сообществ в тех или иных формах — от детоубийства у спартанцев до тайных брачных ритуалов британской аристократии. В конце викторианской эпохи достижения науки, в частности медицины, и общий дух преобразований дали евгенике ее название и принесли огромную популярность. Создателем этого направления считается Фрэнсис Гальтон, двоюродный брат Чарльза Дарвина и один из ближайших друзей Ричарда Поттера. В 1911 году майор Леонард Дарвин, сын Чарльза, основал Международное общество евгеники. Восторженными приверженцами евгеники были Беатриса и Сидней Уэбб и вообще наиболее известные фабианцы, в том числе Бернард Шоу и Герберт Уэллс. Кейнс, который был вице-президентом и членом правления Британского общества евгеники, а также казначеем его отделения в Кембридже, считал евгенику “самой важной, существенной и, я бы добавил, реальной ветвью социологии”³⁸. При этом евгеника объединяла людей независимо от их политических убеждений. Консерваторы, такие как Артур Бальфур, премьер-министр с 1902 по 1905 год, архитектор (после Второй мировой войны) британского государства всеобщего благосостояния лорд Беверидж, Уинстон Черчилль, писатели Леонард Вулф и Вирджиния Вулф, феминистки Виктория Вудхолл и Маргарет Сэнгер — все были ее восторженными поклонниками.

Справедливости ради необходимо заметить, что в 1910-м или 1920 году под евгеникой понималось совсем не то, что в 1970-е годы, после того как она стала ассоциироваться с нацистским геноцидом и законами Джима Кроу и была дискредитирована. “Общая атмосфера” первого международного конгресса, который состоялся в Лондоне в 1912 году и в котором Фишер принял участие, была “консервативной”³⁹. Он и Кейнс были сторонниками свободы личности, в частности, Фишер был противником расизма и выступал за “устранение... расовых, а также иных антиобщественных предрассудков, например, таких, на которых строится Ку-клукс-клан”⁴⁰. Тем не менее, именно Фишер и Американское общество евгеники были основными инициаторами закона об иммиграции 1924 года, направленного не только, как выразился Фишер, против “иммиграции в высшей степени неподходящих [лиц], которые раньше прибывали в нашу страну из социальных учреждений Европы”⁴¹, но и на радикальное сокращение любой иммиграции из Южной и Восточной Европы.

Фишер сосредоточился на негативных последствиях инфляции и дефляции для должников и кредиторов, вызываемом ими необоснованном перераспределении богатства и “порочных механизмах правовой защиты”, которые правительства принимают под давлением жертв, но которые, “как средства примитивной медицины, часто не только бесполезны, но и вредны”⁴². Тогда он еще не связывал колебания уровня цен со взлетами и падениями занятости и производства, отводя им далеко не главную роль. На самом деле в предметном указателе к его “Элементарным принципам экономической науки”, опубликованном в 1911 году, вообще нет терминов “подъем”, “депрессия” и “безработица”.

Короткий, но резкий спад 1920–1921 годов привлек внимание Фишера к тому, как правительство могло бы бороться с безработицей. В 1895 году у федерального правительства США

не было ни возможностей, ни полномочий для регулирования общего уровня экономической активности. Оно было слишком малочисленно для экономики такого масштаба. Налоги шли на финансирование деятельности правительства, в основном в военной сфере, а тарифы позволяли помогать конкретным отраслям. Эмиссией денег занимались банки, и в условиях принятого в XIX веке золотого стандарта ее темпы строго увязывались с темпами роста предложения золота в мире.

Теперь у Соединенных Штатов был свой центральный банк — Федеральная резервная система (ФРС), созданная в 1913 году — и больше возможностей для влияния на уровень экономической активности путем поощрения или подавления денежной эмиссии и кредитования. Глубина кризиса убедила Фишера в том, что, пытаясь снизить порожденную войной инфляцию, ФРС давила на тормоза слишком сильно и слишком долго. А масштабы бедствия среди фермеров, напоминавшие о 1890-х годах, и среди фабричных рабочих убедили его, что самое большое зло, связанное с нестабильными ценами — это их влияние на объемы производства и занятость. Предметом исследований Фишера в третьем десятилетии XX века стала причинно-следственная цепочка, тянущаяся от денежной эмиссии к созданию рабочих мест.

Интерес Фишера постепенно смещался в сторону подъемов и спадов, а также роли денег в поддержании или, наоборот, нарушении стабильности экономики. Он подозревал, что колебания денежной и кредитной массы вызывают не только инфляцию и дефляцию, но и взлеты и спады экономической активности и занятости, и постепенно пришел к выводу, что улучшение кредитно-денежной политики может способствовать “ослаблению циклических колебаний”⁴³.

В дополнение к устойчивому потоку научных статей Фишер все больше и больше писал для газет. Как и Кейнс и Уэбб, он знал, что для того, чтобы с максимальным успехом “продать” свои идеи тем, кто определяет государственную политику, нужно действовать не напрямую и в качестве посторон-

него. Он писал статью за статьей, делая все возможное, чтобы убедить общественность в том, что инфляция и безработица имеют общие монетарные причины. Он признавал, что любая связь между банковской системой и “вопросом настолько глубоко человеческим, как программа борьбы с безработицей” большинству людей покажется надуманной. Конечно, комментаторы признавали связь между общим снижением среднего уровня цен и ростом безработицы во время тяжелой послевоенной рецессии в Соединенных Штатах и Великобритании. Кроме того, всплески инфляции связывались с подъемами производства и найма. Однако в теории “экономических циклов”, то есть чередования подъемов и спадов производства и занятости, обычно не упоминались изменения уровня цен, и другие исследователи не обнаруживали никакой корреляции между ценами и занятостью.

Как установил Фишер, другие прогнозисты упускали из виду эмпирическую связь между ценами и занятостью. Озарение снизошло на него в Швейцарских Альпах: экономисты путали уровень цен с изменениями этого уровня — ну как если спутать скорость поступления воды в ванну с глубиной воды в ванне. Как говорил Фишер, другие аналитики “не замечали очевидного различия между высокими ценами и ростом цен и, аналогично, между низкими ценами и падением цен. Иными словами, они исследовали уровни цен, а не скорости их изменения”⁴⁴. Одна из причин такой путаницы состояла в том, что не существовало хороших показателей, позволявших определять скорость изменения среднего уровня цен в экономике. Большую часть 1920-х годов Фишер посвятил разработке и публикации точных ценовых показателей, которые можно было бы использовать для прогнозирования экономической активности и которые позволили бы людям отслеживать изменения покупательной способности доллара.

Фишер был убежден, что если понять причину экономических циклов, то можно будет “предсказывать состояние деловой среды на подлинно научной основе... подобно тому,

как мы прогнозируем погоду”. В 1926 году он писал, что “монетарная теория должна, например, помогать нам анализировать и прогнозировать уровень цен”. Он полагал, что если центральный банк сможет точно прогнозировать цены, то он будет способен и предотвращать ожидаемые ценовые колебания, и, следовательно, устранять или по крайней мере сглаживать подъемы и депрессии. Цели для Фишера обычно определялись средствами. “Мы должны научиться ограничивать и сокращать так называемые экономические циклы”, а не считать депрессии и подъемы “чем-то неизбежным”, утверждал он⁴⁵.

В общем, к середине 1920-х годов Фишер добавил экономические циклы в список экономических недугов, которые не только излечимы, но уже скоро начнут поддаваться современным методам лечения: “Мысль о том, что они неизбежны и непредсказуемы, совершенно ложная. Напротив, их причины в основном хорошо известны, и сейчас мы в значительной степени можем снижать интенсивность этих чередующихся приступов озноба и жара в бизнесе”⁴⁶. Он объяснял свою уверенность видимым успехом, которого ФРС уже достигла в “приблизительной стабилизации доллара”, ссылаясь на принятые центральным банком меры по предотвращению периодов спекуляции. “В нашем распоряжении такое средство эффективной профилактики безработицы, как стабилизация покупательной способности доллара, фунта, лиры, марки, кроны и многих других денежных единиц”⁴⁷. Как и Кейнс, он настаивал, что стабильность валюты имеет в первую очередь социальное значение. “Если мы хотим уберечь нашу многоэтажную кредитную надстройку от периодических обвалов, — писал он, — деятельность банков следует рассматривать как нечто большее, нежели частный бизнес. Это важнейшая государственная служба”⁴⁸.

В 1925 году в своей заметке в медицинском информационном бюллетене санатория в Батл-Крик Фишер объяснял, “почему

он предпочел бы быть сотрудником санатория, нежели миллионером”⁴⁹. Хотя существовало много вещей, которые он ценил выше денег, втайне он всегда мечтал когда-нибудь сравняться с женой в финансовом плане. Его первое изобретение, обладавшее коммерческим потенциалом, стало следствием его нетерпеливости. Вынужденный рыться в ящиках, перебирая карточки с загнутыми уголками, он просто сходил с ума и в конце концов смастерил гениальное устройство, которое удерживало карточки на месте таким образом, что они оставались видимыми для пользователя. Фишер пытался убедить десяток производителей офисной техники, что его изящное устройство — идеальное решение для современного бизнеса с его непрерывным ростом объемов записей и что компании будут расхватывать любое изделие, которое позволит им более эффективно упорядочивать и хранить записи.

Сначала картотеку “ролодек” постигла участь многих других изобретений: изобретателю пришлось самому наладить ее производство, используя собственные деньги, а вернее, деньги жены. Фишер организовал в Нью-Хейвене крошечную фабрику со штатом, состоявшим из его брата, плотника и помощника. Капиталом фирмы стал полученный от Маргарет кредит в 35 тысяч долларов. Через год после войны компании “Индекс визибл” для производства нужна была уже трехэтажная фабрика, плюс торговый офис в здании “Нью-Йорк таймс” на Нассау-стрит в центре Манхэттена. Первым крупным клиентом Фишера стала компания “Нью-Йорк телефон”, которая в 1925 году помогла его компании стать прибыльной. Воспользовавшись моментом, Фишер организовал слияние со своим главным конкурентом, сформировав ядро “Ремингтон Рэнд”. Вложив к тому времени в свою фирму в общей сложности 148 тысяч долларов, он обменял обыкновенные акции “Индекс визибл” на 660 тысяч долларов наличными, пакет привилегированных акций, облигаций, опционов, дивиденды и место в совете директоров нового предприятия “Рэнд Кардекс”. Позже он признавался сыну, что желание платить за себя самому было

одним из его “подспудных желаний с тех пор, как он женился... Изобретательство открыло ему возможность зарабатывать деньги, не тратя много времени”⁵⁰. В пятьдесят Фишер осуществил свою мечту и стал мультимиллионером.

Между тем экономическое прогнозирование и правда расцветало. Экономический бум породил рынок экономических прогнозов. Фишер начал писать колонки экономических обозрений, публикуемые сразу в нескольких газетах. Он еженедельно анонсировал “индекс покупательной способности денег” — один из нескольких ценовых показателей, которые в конце концов признало правительство США. Вскоре он создал Институт индексов и стал рассылать информацию об оптовых ценах в десятки газет из штаб-квартиры в своем домашнем офисе в Нью-Хейвене на Проспект-стрит, 460. После продажи “Индекс визибл” Фишер перенес свои операции обработки данных и прогнозирования в новое здание “Нью-Йорк таймс”, а его индексы и схемы начали появляться в “Филадельфия инкуайер”, “Джорнел оф коммерс”, “Миннеаполис джорнел”, “Хартфорд карент” и других газетах.

Всегда стремившийся использовать свои идеи в реальном мире, во время войны Фишер начал проводить индексацию зарплат своих сотрудников с учетом инфляции. Вероятно, он был первым за всю историю работодателем, ежегодно осуществлявшим явную и автоматическую коррекцию зарплат с учетом “стоимости жизни”. Как ни странно, этот опыт научил его тому, что на практике индексация не обеспечивает решения проблем, порождаемых инфляцией и дефляцией. Он объяснял это так:

Пока стоимость жизни росла, сотрудники “Индекс визибл” приветствовали раздачу конвертов с оплатой “высокой стоимости жизни”. Они думали, что их заработная плата растет, хотя им старательно объясняли, что их реальная заработная плата просто стоит на месте. Но как только стоимость жизни снизилась, они обиделись на “сокращение” зарплат⁵¹.

Эту реакцию своих работников Фишер приводил в качестве доказательства вездесущей “денежной иллюзии”. Более того, он рискнул предположить, что трейдеры с Уолл-стрит не менее машинисток склонны придерживаться ложного мнения, что ценность их собственной валюты не изменяется, в то время как цены на товары, услуги и другие валюты прыгают туда-сюда. При общей прибыли в 10% на акцию капиталовложение может казаться исключительно выгодным. Но если инфляция составляет 11%, то фактически инвестор теряет деньги. Фишер был уверен, что инвесторы и профсоюзы будут платить за критерий, который позволит первым определять “истинную” рентабельность, а вторым — обеспечивает ли данное предложение о повышении зарплаты ее “реальный” рост или нет.

Интерес к денежной стабилизации привел Фишера к изучению индексов, а потом — к изучению доходности акций. Американский фондовый рынок рухнул в 1921 году, когда Федеральная резервная система подняла процентные ставки, чтобы подавить инфляцию военных лет, но в следующем году курсы акций резко подскочили. К середине 1929 года они были уже втрое выше в номинальном выражении, чем в 1921 году, и примерно в 19 раз выше, чем прибыль корпораций после уплаты налогов⁵². Акции компании Фишера “Ремингтон Рэнд” в реальном выражении в период между 1925 и 1929 годами выросли десятикратно.

Еще в 1911 году Фишер утверждал, что в качестве долгосрочного вложения диверсифицированный портфель акций лучше, чем облигации. Стоимость облигаций отражает лишь способность правительства выплачивать свои долги и его готовность противостоять инфляции. Акции же могут учитывать влияние на прибыль прироста производительности в частном секторе и, следовательно, обладают гораздо большим потенциалом роста. Бум двадцатых годов продолжался, и Фишер становился все большим оптимистом. К 1927 году

он стал самым известным проповедником “Новой экономики” и занимал сотни тысяч долларов для маржинальной торговли. У него было несколько неприятных моментов. Однажды, когда осенью того же года он вернулся из поездки в Париж и Рим, оказалось, что его секретарша ждет его в Нью-Йорке прямо на причале: резкое падение цен на рынке заставило ее использовать 100 тысяч долларов со счета его агента для погашения краткосрочного банковского кредита. Однако не более чем через месяц после этого Фишер убеждал Ирвинга-младшего “рисковать половиной имеющихся активов, взяв под нее кредит и используя доходы от кредита для покупки новых активов, а через полгода или, может быть, через год продать их с существенной прибылью, а затем провести диверсификацию”⁵³.

В августе 1929 года уровень безработицы составлял всего 3%. Поток нововведений после войны начал течь быстрее. Патентов за прошедшее десятилетие было зарегистрировано больше, чем за все предыдущее столетие. Неудивительно, что экономическая комиссия, назначенная Гербертом Гувером, новым президентом и бывшим руководителем американской миссии по предотвращению голода в Европе после Первой мировой войны, заключила: “Мы находимся в благоприятной ситуации. У нас очень мощная движущая сила”⁵⁴. Когда инвесторы из “медведей”, такие как Роджер Бэбсон, предупреждали, что цены на акции поднялись слишком высоко и слишком быстро, Фишер возражал, что они изменяются в соответствии с корпоративными прибылями. В другой раз он перечислил причины, вследствие которых корпоративные прибыли, скорее всего, будут продолжать расти: слияния увеличивают экономию от масштаба и снижают издержки производства; расходы компаний на НИОКР растут; увеличиваются масштабы повторного использования материалов, все шире внедряются научные методы управления, автомобили и хорошие дороги повышают эффективность бизнеса, а рост “экономического” тред-юнионизма предвещает сокращение масштабов индустриальных конфликтов.

К 1929 году Фишер был директором “Ремингтон Рэнд”, инвестором в полутора десятках начинающих компаний и руководителем процветающей службы прогнозирования. При этом большую часть года он перерабатывал свой шедевр 1907 года “Ставка процента” в “Теорию процента”. Осмысливая историю одного из самых впечатляющих “бычьих” рынков в истории фондового рынка США, Фишер объяснял всплеск цен на акции послевоенным инновационным бумом и соответствующим увеличением возможностей для выгодного вложения денег. В сентябре он передал свою рукопись в издательство и сразу же начал работу над книгой об акциях. 29 октября он должен был выступить в отеле “Тафт” в Нью-Хейвене перед группой сотрудников кредитных учреждений. За две недели до этого “Нью-Йорк таймс” сообщила: профессор Йельского университета Ирвинг Фишер уверенно заявил членам Ассоциации торговых агентов, что цены на акции достигли “чего-то вроде широкого горного плато”⁵⁵.

Глава X

ПРОБЛЕМЫ С МАГНЕТО

КЕЙНС И ФИШЕР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ

По всему миру люди всерьез рассматривали и публично обсуждали возможность того, что западная общественная система может сломаться и перестать работать.

Арнольд Дж. Тойнби, 1931¹

В Лондоне Кейнс первые полчаса каждого дня проводил в постели, читая финансовые сообщения и разговаривая по телефону со своим брокером и другими людьми из Сити. Но эти ежедневные исследования не позволили ему обнаружить ни одного знака грядущего обвала американской фондовой биржи в октябре 1929 года. Фонд Королевского колледжа, которым он управлял в качестве казначея, сократился на треть, а его личный портфель просел еще глубже. Как объяснял Роберт Скидельски, проблема была не в том, что у Кейнса было много американских акций, а в том, что он вложил в фьючерсные контракты на каучук, хлопок, олово и зерно в ожидании того, что в условиях американского бума цены на сырьевые товары поднимутся, причем сделал это за счет заимствований с десятипроцентной маржой. Когда в 1928 году цены на сырье стали снижаться, Кейнс был вынужден продать большую часть акций на падающем рынке для покрытия своих товарных пози-

ций. К концу 1929 года его собственный капитал уменьшился с 44 000 фунтов до менее чем 8000 фунтов². В результате полученного опыта Кейнс стал “стоимостным инвестором”, придя к выводу, что “правильный метод инвестирования — вкладывать достаточно крупные суммы в предприятия, о которых инвестор, по его мнению, что-то знает, и в руководство которых он твердо верит”³.

Несмотря на финансовую катастрофу и неуместные надежды прошлых лет, Кейнс сохранял свой обычный оптимизм. Он был уверен, что американские денежные власти откроют “эпоху дешевых денег”, чтобы предотвратить тяжелую рецессию⁴. Три ланча с новым премьер-министром лейбористом Рамсеем Макдональдом, чья партия на выборах в мае 1929 года нанесла сокрушительное поражение как находившимся у власти тори, так и кандидату от родной для Кейнса либеральной партии Ллойд Джорджу, убедили Кейнса, что новое правительство откажется от правила, которое Черчилль называл “незыблемой догмой казначейства”⁵.

По установившейся традиции, во времена финансовых кризисов в качестве лекарства казначейство подтверждало финансовую состоятельность, подводя баланс, а Банк Англии повышал процентные ставки для защиты золотого содержания фунта стерлингов. Подразумевалось, что самый короткий путь к выздоровлению — это восстановление доверия предпринимателей и инвесторов, а любая попытка правительства действовать в качестве “работодателя последней инстанции” просто уменьшит занятость в частном секторе. Как неоднократно утверждал в парламенте Уинстон Черчилль, министр финансов в бывшем правительстве тори, “государственные заимствования и государственные расходы — каковы бы ни были их политические и социальные преимущества — на самом деле, как правило, создают очень мало дополнительных рабочих мест и совсем не создают постоянных дополнительных рабочих мест”⁶. Кейнс был уверен, что лейбористы с восторгом примут предложения либералов о финансировании общественных

работ и снижении процентных ставок, наплевав на их влияние на дефицит государственного бюджета и золотой паритет фунта стерлингов. Его оптимистические ожидания подтвердились в июле, когда его пригласили возглавить Экономический консультативный совет — “экономический генеральный штаб” премьер-министра Макдональда⁷. “Я снова в фаворе”, — ликующе писал он Лидии⁸.

Кейнс был уверен, что легкие деньги позволят стабилизировать экономику. Безработица может на несколько месяцев взлететь вверх, писал он в колонке в лондонской “Таймс”, но если процентные ставки будут падать быстрее, чем цены, инвестиции в бизнесе придут в норму, так что цены на товары и доходы фермеров восстановятся. Он также верил в активность нового президента Герберта Гувера (в отличие от пассивного Калвина Кулиджа). Гувер назначил президентом Федеральной резервной системы энергичного Юджина Айзека Мейера, будущего издателя “Вашингтон пост”, и обнародовал программу быстрой реализации федеральных строительных проектов. Этот бывший удачливый топ-менеджер в горнодобывающей отрасли, после войны полновластно распоряжавшийся продовольственной помощью европейцам, приглашал тузов бизнеса в Белый дом на так называемые мозговые штурмы. Через несколько недель после краха фондового рынка его министр финансов Эндрю Меллон отправился в Конгресс с просьбой снизить на 1% налоги с корпораций и физических лиц⁹. И как всегда, Кейнс был достаточно уверен в своих прогнозах, чтобы подкрепить их деньгами. К сентябрю 1930 года, пишет Скидельски, он снова закупил большие объемы американского и индийского хлопка.

Мнение Кейнса пользовалось все большим спросом, и он использовал свои газетные колонки, выступления по радио и интервью в кинохронике, чтобы расписывать преимущества монетарного “активизма” для борьбы со спадом. В декабре 1930 года он написал для “Нейшн” длинную статью, которая начиналась так: “Мир с опозданием осознает, что в этом году мы

живем в тени одной из величайших экономических катастроф современной истории”. Чтобы победить всеобщую апатию, он использовал каждую общественную площадку для разрушения популярного мифа, который трактовал подъемы и спады как поводы для морализаторства. Он решительно отвергал концепцию рецессии как неотвратимой кары и желательной меры в борьбе с расточительством, неосмотрительностью и жадностью. На самом деле, объяснял Кейнс своим читателям, “мы просто навлекли на себя серьезные неприятности, вмешавшись в управленческие деликатные механизмы, работу которого не понимаем”¹⁰.

Иными словами, для Кейнса это была чисто техническая проблема. Депрессии он рассматривал — по аналогии с автомобильными катастрофами — как следствия аварий и ошибок в управлении. Депрессии оборачивались долгосрочным снижением производительности, которое, как и потерянное время, компенсировать невозможно в принципе; это не средства восстановления, а просто ненужные траты. Иногда спады вызываются неурожаями, ураганами, войнами и другими неожиданными бедствиями, но чаще всего причиной спадов все же являются неудачные или ошибочные решения в сфере экономической политики. Это означало, что в принципе спады можно свести к минимуму или вовсе исключить. Кейнс считал особенно важным опровергнуть мнение, что проблемой являются скорее подъемы, нежели депрессии. Как он выразился несколько лет спустя (повторив одно из положений “Теории экономического развития” Шумпетера), “при поиске правильных мер для [сглаживания] экономических циклов следует ориентироваться не на устранение подъемов, что постоянно держало бы нас в условиях полуспада, но на устранение спадов, чтобы мы могли постоянно держаться в состоянии квазиподъема”¹¹. Он настаивал, что спад, вопреки обвинениям моралистов, всего лишь означает, что прошлые экономические достижения были фантазмагорическими. Сравнивая текущую ситуацию с инвестиционным бумом двадцатых годов, он писал, что “то, что было, не было сном. Вот то, что происходит сейчас,

это ночной кошмар, который исчезнет с наступлением утра. Ведь природные ресурсы и творения человека сейчас столь же плодородны и производительны, как и всегда.. Мы же не обманывались раньше”¹².

Экономика страдала от механической неисправности, которую было (относительно) легко исправить. В одной из своих колонок он написал, что в экономическом “двигателе” нет серьезной неисправности — речь идет всего лишь о поломке магнето или стартера¹³. Цены упали настолько, что фермеры и предприниматели, продавая свою продукцию, не могли покрыть затраты на ее производство. Таким образом, у них не было иного выхода, кроме как сокращать производство и инвестиции, тем самым иницируя очередной всплеск безработицы и дальнейшее падение цен. Все, что нужно было сделать органам кредитно-денежного регулирования, чтобы разорвать этот порочный круг, — это снизить процентные ставки, тем самым увеличив денежную массу, до тех пор пока бизнес не сможет поднять цены и не обнаружит, что инвестирование снова имеет смысл. Он был убежден, что легкие деньги помогают справиться и с вещами похуже заурядной рецессии.

Кейнс прибег к аналогии с автомобилем, чтобы показать, как выразился Скидельски, что серьезные катастрофы могут иметь простые причины, которые очень просто устранить. Однако многим его рассуждение показалось парадоксальным, даже легкомысленным. В то время как знаменитый математик и марксист Г.Х. Харди высмеивал концепцию механических решений серьезных научных проблем (“только очень неискушенные профаны воображают, что математики делают открытия, поворачивая ручку некоей чудесной машинки”¹⁴), Кейнс уверял своих читателей, что если диагноз поставлен правильно, то решение существует — было бы только у властей *стремление* действовать:

Решительные действия Федеральных резервных банков США, Банка Франции и Банка Англии могли бы принести

гораздо больше пользы, чем обычно полагает большинство людей, принимая симптомы или побочные действия за самое болезнь.. Я убежден, что Великобритания и Соединенные Штаты, мысля и действуя сообща, могут в разумные сроки снова запустить механизм, при условии, конечно, что твердая уверенность в правильном понимании проблемы побудит их к действиям. Потому что именно отсутствие такой уверенности сегодня в первую очередь парализует руки властям по обе стороны Ла-Манша и по обе стороны Атлантики.

Отсутствие этой уверенности было частично или даже главным образом проблемой интеллектуальной. Кейнс объяснял масштабы катастрофы тем, что “в современной истории нет ни одного примера такого значительного и быстрого падения цен по сравнению с обычным уровнем, как это имело место в прошлом году”¹⁵. Он понимал, что старые теории нельзя опровергнуть одними только фактами. Нужны были новые теории. Чтобы придать основательности своим рассуждениям, Кейнс поспешил отдать в печать двухтомный “Трактат о деньгах”, закончив предисловие в середине сентября 1930 года.

Основной идеей этого трактата была возможность управления экономическими циклами за счет стабилизации цен. Если инвестиции превышают сбережения, возникает инфляция; в противном случае цены и производство падают, а безработица растет — иными словами, начинается рецессия. Таким образом, депрессии можно предотвратить, стимулируя расходы и препятствуя накоплению, то есть используя меры прямо противоположные тем, которые расхваливали традиционалисты, подобные Черчиллю. “Потому что двигатель предпринимательства — не бережливость, но прибыль, — утверждал он и далее задавал риторический вопрос. — Разве семь чудес света были созданы благодаря бережливости? Сомневаюсь”¹⁶.

Его оптимистичная идея состояла в том, что, если дефляция побуждает фермеров, шахтеров и бизнесменов сокращать производство, у властей есть средства противодействовать

этому. В 1921 году в книге “Стабилизация доллара” Ирвинг Фишер утверждал, что центральный банк может регулировать количество денег и кредитов, изменяя процентную ставку. Повышая ставку при угрозе инфляции и снижая — при угрозе дефляции, центральный банк может сдерживать или поощрять инвестиции, в зависимости от того, хочет ли он стимулировать экономическую деятельность или притормозить ее. Регулируя инвестиции, денежные власти могут удерживать их в согласии со сбережениями, а цены — в согласии с затратами. Так думал Кейнс в 1931 году, когда он еще был уверен, что согласованные меры по снижению процентных ставок полагат конец спаду.

Как отмечает Скидельски, Кейнс не разделял экономической ортодоксальности социалистических политиков. Хотя высокий уровень безработицы вызывал крайнее беспокойство в обществе уже не менее девяти лет, у лейбористов все еще не было собственной программы борьбы с ней. Исключением была Беатриса Уэбб, активно критиковавшая концепцию министерства финансов. В 1909 году в своем “Особом мнении” она выступила с критикой “бухгалтерского учета в казначействе” и ежегодного сбалансированного бюджета¹⁷. В периоды резкого подъема, утверждала она, правительство должно повышать налоги на богатых и создавать излишки бюджетных средств. В трудные времена оно должно финансировать общественные работы, даже если это вызывает дефицит бюджета. Но к 1930 году она пришла к выводу, что безработица является неотъемлемой частью капитализма. Игнорируя тот факт, что безработица в Соединенных Штатах на протяжении большей части 1920-х годов составляла в среднем менее 5%, она сочла, что ее невозможно устранить, не национализировав частный бизнес¹⁸.

Большинство членов кабинета лейбористов так же твердо держались точки зрения казначейства, как и Уинстон Черчилль. Один из министров писал премьеру: “Капитан и офицеры большого корабля наскочили на мель при отливе; никакие человеческие усилия не заставят корабль всплыть, пока, следуя

естественному ходу событий, не начнется прилив”. Макдональд ответил, что “это письмо в точности отражает и его собственное мнение”¹⁹. Сокращение льгот и повышение налогов представлялось им более разумным, чем радикальные меры по стимулированию экономики, которые отстаивали Кейнс и Фишер.

В конце 1930 года Экономический консультативный совет Кейнса предложил целый комплекс обычных и радикальных мер, который включал в себя сокращение пособий по безработице, принятие десятипроцентных пошлин на импорт и реализацию “большой программы общественных работ” с целью создания рабочих мест для безработных²⁰. Совет недвусмысленно отвергал возражение, что любые новые рабочие места, оплачиваемые правительством, будут просто вытеснять частные рабочие места. “Мы не согласны с мнением, что программа таких работ обязательно вызовет заметное сокращение занятости в “обычной” промышленности”²¹. Но кабинет лейбористов, в котором Сидней Уэбб занимал пост министра по делам колоний, согласился только на первую меру и отклонил повышение тарифов и общественные работы.

К началу 1931 года, пишет Скидельски, финансовое положение Кейнса было настолько сложным, что он попытался продать две своих лучшие картины, в том числе “Женщину, сидящую в кресле”²² Матисса, но не нашел на них покупателей даже по минимальной цене.

Летом 1929 года Ирвинг Фишер не только позволил себе потратить изрядную сумму на “стирнс-найт”, но и с удовольствием проследил за тем, как бригада рабочих завершает роскошное обновление их с Мэгги дома в Нью-Хейвене. Самое лучшее

²² Речь идет о картине 1917 года, а не более известной одноименной работе 1940 года.

во всем этом то, сказал он тогда сыну, что счета оплачивает он сам, а не жена.

В свои шестьдесят Фишер выглядел лучше и здоровее, чем когда-либо: пышная седая шевелюра, стройная фигура и вдумчивый взгляд, по которому никак нельзя было заметить, что он слеп на один глаз. Он влез в долги, чтобы воспользоваться опционами на акции “Ремингтон Рэнд”, полученными в счет продажи “Индекс визибл”. Спустя четыре года цена его портфеля акций увеличилась десятикратно. Его Институт индексов, все еще размещавшийся в здании “Нью-Йорк таймс”, организовал абонентскую службу биржевых индексов. Фишер вел еженедельную колонку для инвесторов, которая каждый понедельник появлялась в газетах по всей стране. В глазах общественности он ассоциировался не только с “сухим законом” и маниакальной увлеченностью здоровым образом жизни, но также с бумом на фондовом рынке и оптимизмом “новой эры” в экономике.

К 1929 году уже начали накапливаться вопросы относительно того, насколько длительным может быть рост рынка, но Фишер отвергал пугающие предупреждения профессиональных “медведей”, таких как Роджер Бэбсон, указывая на удивительное сочетание низкой инфляции и высоких темпов экономического роста в этом десятилетии. “Мы стали свидетелями, вероятно, самого значительного в истории, по сравнению с любым аналогичным периодом времени, увеличения реальных доходов людей”²³ — писал он. В середине октября, по данным “Нью-Йорк таймс”, Фишер предсказал, что “уверенный подъем...” на фондовом рынке может продолжаться “... еще в течение нескольких месяцев”²⁴.

Даже после обвала Фишер отнюдь не был уверен, что рецессия неизбежна. В январе 1930 года он писал:

Падение ценности бумаг явилось в основном перераспределением богатства, а не его физическим разрушением... Физические объекты остались нетронутыми... Перерас-

пределение корпоративной собственности коснулось лишь очень небольшой доли населения и, следовательно, не сильно повлияет на покупательную способность основной массы потребителей²⁵.

Его конкурент, Гарвардское экономическое общество, соглашалось, что повторения тяжелой рецессии 1920–1921 годов ожидать не следует. Через несколько дней после обвала гарвардские прогнозисты сообщили своим подписчикам: “Мы полагаем, что эта рецессия на фондовом рынке и в бизнесе не является предвестником депрессии”²⁶.

Фишер недолго оплакивал потери, быстро переключившись на анализ произошедшего краха. Большую часть работы “Обвал фондового рынка и после него” он написал в ноябре — декабре 1929 года. Он защищал свой оптимистический прогноз относительно восстановления цен на акции, отмечая, что сейчас коэффициент “цена/прибыль” равен всего 11, что ниже долгосрочного исторического среднего уровня, и “он слишком низок, учитывая, что прибыль в будущем — согласно прогнозам — будет расти более быстрыми темпами”. Он отвергал популярное объяснение, что во всем виноваты вздутые цены на акции, утверждая, что “от двух третей до трех четвертей роста на фондовом рынке между 1926 годом и сентябрем 1929 года объясняется” ростом доходов и производительности (что подтверждается некоторыми современными исследованиями). В то же время он объяснял, как инвесторы, включая его самого, купились на сочетание низких процентных ставок и высоких доходов и сделали слишком много долгов: “Когда новые изобретения дают возможность получить больше по сравнению с текущей процентной ставкой, всегда возникает тенденция заимствования под низкие проценты, чтобы получить более высокий процент от инвестиций”. Проблема заключается не в искусственном завышении цен на акции, а в чрезмерных объемах заимствования:

Инвесторы оказались в ситуации, когда, с одной стороны, перед ними открывались прекрасные возможности заработка, а с другой — кредитные ставки были низкими. Они могли занимать под гораздо более низкие проценты, чем те, что они рассчитывали заработать. Короче говоря, и “бычий” рынок, и крах во многом объясняются ненадежным финансированием надежных перспектив²⁷.

Фишер продолжал прогнозировать восстановление фондового рынка и отрицать, что крах сделал депрессию неизбежной. Он отмечал, что экономическая активность начала снижаться еще до обвала фондового рынка, и предсказывал обычную рецессию. Если бизнес не настроится на “конец света” и не начнет сокращать масштабы производства и увольнять работников, настаивал он, реальная экономика переживет эту бурю. Месяц за месяцем в течение следующего года Фишер утверждал, что подъем вот-вот начнется. Как и Кейнс, он был уверен в компетентности и решительности Гувера.

В течение нескольких месяцев оптимизм Фишера выглядел обоснованным. К апрелю 1930 года фондовый рынок вернулся к уровню, которого он достиг в начале 1929-го. Цены снижались не так стремительно, как в 1921-м, и безработица росла не так быстро. В самом деле, в конце июня 1930 года безработица составляла 8%, а в 1921 году она равнялась 12%. Процентные ставки были чрезвычайно низкими. Но как заметили Милтон Фридман и Анна Шварц в своей крайне влиятельной “Монетарной истории Соединенных Штатов, 1867–1960 гг.”, вместо ожидаемого восстановления имело место ошутимое “изменение характера сокращения [деловой активности]”²⁸.

Дальнейшее падение промышленных цен свело на нет все возможные преимущества, которые заемщики могли бы извлечь из низких процентных ставок. В волне банкротств банков осенью 1930 и летом 1931 года счет погибших активов шел на миллиарды долларов. Даже когда Фишер наконец был вынужден признать тяжесть депрессии, он настаивал, что ры-

нок и экономика уже достигли дна. Его оптимизм, самоуверенность и упрямство подвели его, и как и многие другие сохранившие надежду, что прилив вот-вот начнется, он упорно держался за свои акции. Если бы Фишер придерживался осторожного алгоритма Герберта Гувера и выплатил банковские кредиты, пока акции “Ремингтон Рэнд” поднимались до 58 долларов за штуку в 1928 и 1929 годах, он сохранил бы восемь-десять миллионов. Даже если бы он продал свои акции через год после краха, он все равно бы кое-что заработал. Но в конце 1930 года акции “Ремингтон Рэнд” стоили уже 28 долларов, а к 1933 году их цена упала до 1 доллара за акцию. К апрелю 1931 года собственный капитал Фишера составлял лишь чуть более 1 миллиона долларов. В августе ему пришлось закрыть Институт индексов и распустить всех экономистов и статистиков. Как будто всего этого было недостаточно, Налоговое управление предъявило ему иск об уплате 75 000 долларов налогов от продажи акций “Ремингтон Рэнд” в 1927–1928 годах. Он был вынужден обратиться к свояченице Каролине Хазард, президенту колледжа Уэллсли в отставке, которая в конечном счете передала управление кредитом комитету, состоявшему из ее адвоката и двоих племянников.

К стрессу и унижению от финансового краха добавлялись обвинения и насмешки общественности. Бывший президент Американской экономической ассоциации припомнил в “Нью-Йорк таймс”, что Фишер “всегда утверждал, что все хорошо, и говорил о процветании, новой эре и повышении эффективности производства, оправдывая этим высокие цены на акции”²⁹. В этой статье также сообщалось, что “в качестве лиц, несущих максимальную личную ответственность за “продолжение и расширение мании”” спекуляции, предшествовавшей краху Уолл-стрит, “вчера были названы министр [финансов] Меллон, бывший президент Кулидж и профессор Йельского университета Ирвинг Фишер”³⁰. Когда генеральный директор компании, в которую он вложил много денег, был обвинен в мошенничестве, Фишер обратился в суд. Огласка этого дела

еще больше испортила его репутацию. Его сын вспоминал, что слышал, как два незнакомца обсуждали зловещие подробности дела, о которых тогда ежедневно сообщала “Нью-Йорк таймс”. “Черт возьми, думали, что он знает ответы на все вопросы, и посмотрите, как он погорел”³¹.

Тем временем экономический спад не прекращался, а, наоборот, ускорился и распространялся по всему миру. Объем промышленного производства в США составлял менее половины уровня 1929 года, а безработица подскочила до 16%. Тон комментариев становился паническим: к середине года газеты начали говорить о “Великой депрессии”³². Фишер признавался, что “это самое важное экономическое событие в жизни каждого из нас” останется “загадкой” на долгие годы³³. Они с Кейнсом были ошеломлены, а Фишер к тому же потерял доверие общественности.

Первую неделю июля 1931 года Кейнс и Фишер провели на пораженном засухой Среднем Западе. Два десятка экспертов-монетаристов встретились в Чикагском университете, чтобы обсудить реакцию правительства на то, что уже стали называть Великой депрессией. Кейнс похвалил администрацию Гувера за снижение налогов и утверждение множества строительных проектов, в частности строительства плотины Гувера. Он одобрил проведенное ФРС снижение процентных ставок до рекордно низкого уровня с целью предотвращения дефляции. “С депрессией нужно бороться, поднимая цены, а не снижая их”, — заявил он репортерам³⁴. Он по-прежнему был убежден, что снижения процентных ставок будет достаточно, чтобы остановить рецессию, но достаточно разумен, чтобы понимать, что нельзя класть все яйца в одну корзину, а нужно “атаковать проблемы по широкому фронту, пытаясь одновременно принять все разумные меры”³⁵ — это имеет и экономический, и политический смысл в столь непредвиденной ситуации.

Кейнс провел “круглый стол”, на котором был поставлен вопрос: “Что могут предпринять правительства и центральные банки для уменьшения безработицы?”³⁶ Будучи типичными для Среднего Запада сторонниками фискального консерватизма, преподаватели-экономисты из Чикаго тем не менее поддерживали политику администрации Гувера, предусматривавшую увеличение государственных расходов и “легкие” деньги. Кейнс был не единственным, кто понимал, что сокращение спроса — то есть возможностей и желания потребителей и предприятий тратить деньги — вызывает рецессии и что правительство должно принять меры для стимулирования спроса. При этом чикагцы смотрели на гуверовскую программу общественных работ и программу кредитования бизнеса с гораздо большим энтузиазмом, нежели Кейнс, который был не настолько уверен в организационных способностях американских государственных служащих, насколько он полагался на британских.

Вернувшись в Лондон, Кейнс поддержал своим авторитетом доклад Комиссии по финансам и промышленности лейбористского правительства, подготовленный лордом Хью Макмилланом, в котором Великобритании, США и Франции предлагалось предпринять согласованные усилия по расширению кредитования с помощью целого ряда мер, включающих отмену военных долгов, выдачу экстренных кредитов и устранение препятствий для торговли. Попытка лейбористов восстановить доверие к фунту, сократив расходы на 70 миллионов фунтов стерлингов и повысив налоги в общей сложности на 70 миллионов фунтов стерлингов, не дала результата. К августу 1931 года лейбористское правительство раскололось, не придя к согласию относительно политики, предложенной Экономическим консультативным советом, и Рамсей Макдональд покинул пост премьер-министра. Несколько недель спустя крах крупнейшего австрийского банка “Кредитанштальт” вызвал финансовый кризис на континенте и увеличил спрос на британский фунт, так как европейские инвесторы лихорадочно добывали наличность, снимая фунты стерлингов со своих

лондонских счетов. Банк Англии ответил на это более чем двукратным повышением учетной ставки — до 6 процентов.

21 сентября Великобритания наконец сделала то, к чему Кейнс и Фишер призывали с самого начала: девальвировала фунт стерлингов на 30% и приостановила платежи золотом. А в первой половине 1932 года Банк Англии снизил учетную ставку с 6 до 2%, потому что если бы он — ради предотвращения дальнейшего оттока золота и валютных резервов и защиты золотого паритета фунта — продолжал сохранять ее на высоком сентябрьском уровне, это привело бы к новому раунду сокращения инвестиций и рабочих мест³⁷. В телеграмме Макдональду — тот снова стал премьер-министром — Фишер поздравлял его с “отказом от золотого стандарта” и уверял, что за этот шаг ему “не должно быть стыдно”³⁸.

Кейнс поддержал эту меру. Ванесса Белл писала своей сестре Вирджинии Вулф в октябре, после того как она и Дункан Грант сходили в кино в Лондоне:

На экране вдруг появился Мейнард, какой-то очень большой... моргая от яркого света, он говорил довольно нервно и поведал миру, что теперь все будет в порядке. Судьба спасла Англию в почти безнадежной ситуации, фунт не рухнет, цены вряд ли сильно вырастут, торговля будет восстанавливаться, в общем, никому ничего не надо бояться. В такую погоду в это почти можно поверить³⁹.

Но лейбористское правительство опоздало. На всеобщих выборах в октябре сокрушительную победу одержали тори и либералы. Рамсей Макдональд вернул себе пост премьер-министра, но внутреннюю экономическую политику снова контролировали консерваторы.

Несмотря на трудное финансовое положение, подпорченную репутацию и преклонный возраст, шестидесятипятилетний

Фишер, казалось, был более вдохновлен, нежели подавлен экономической катастрофой. В 1932 году он опубликовал великое множество научных работ и газетных статей. Он засыпал администрацию Гувера и Федеральную резервную систему советами и побуждал других экономистов делать то же самое. Его главной задачей было убедить президента Гувера отлучить США от золотого стандарта если не де-юре, то хотя бы де-факто, заставив ФРС ничего не предпринимать для предотвращения падения обменного курса доллара. Он встречался с банкирами ФРС, призывая их принять агрессивную программу покупки облигаций у банков и населения, чтобы влить деньги в банковскую систему. “Люди из ФРС думали, что “безопаснее” будет подождать! — жаловался он позже. — Этому ожиданию, на мой взгляд, страна в значительной мере и обязана депрессией”⁴⁰.

В январе 1932 года Фишер присутствовал на втором совещании экспертов-монетаристов в Чикагском университете. На этот раз он организовал отправку президенту телеграммы с призывом разрешить увеличение дефицита федерального бюджета, накачку резервов в большую банковскую систему, урезание тарифов и отмену союзнических долгов. Это заявление, в котором Фишер отметил, что Швеция, Япония и Великобритания, отказавшись в предыдущем году от золотого стандарта, успешно восстанавливаются, подписали тридцать два видных экономиста из Чикагского, Висконсинского и Гарвардского университетов. Число подписантов отражало уровень успеха Фишера и Кейнса в привлечении сторонников, разделяющих их точку зрения на кризис: с упором на его глобальную природу, денежные причины, прогнозы его развития и необходимость согласованных монетарных мер. С другой стороны, пока это все-таки было мнением меньшинства. В том же месяце два преподавателя низшего ранга из Гарварда, Гарри Декстер Уайт и Локлин Карри, опубликовали сходный манифест. Назвав депрессию “международным бедствием”, они утверждали, что правительство не должно ограничи-

ваться помощью пострадавшим, и акцентировали внимание на том, как не дать спаду стать более глубоким:

С учетом проблемы репараций, нарастания экономических неурядиц в Европе, все менее адекватного распределения золотых запасов, роста недоверия к банкам, создания торговых барьеров, волнений в Испании, Индии и Китае, перспективы восстановления на ближайшее будущее не обнадеживают... В связи с... отказом правительства принять какие-то иные меры, кроме паллиативных, на экономистах лежит ответственность за выработку программы действий, способной ускорить восстановление.

Призывая к значительным государственным расходам, “гарвардские диссиденты” с насмешкой упоминали “экономистов, которые полагают, что ход депрессии неисповедим и что политические и экономические изменения неподконтрольны человеку”⁴¹. В Гарварде к этой категории, по-видимому, относились все старшие преподаватели. Во всяком случае третьим человеком, подписавшим Гарвардский манифест, был тоже преподаватель начального уровня.

К 1932 году глубина и глобальный характер депрессии стали очевидными, и Герберт Гувер уже становился “самым ненавистным человеком в Америке”. Засыпанный противоречивыми советами, президент принял сразу целый комплекс несогласованных мер, чтобы воспрепятствовать росту безработицы. Под градом нападок из-за снижения налогов и увеличения расходов в то время, когда дефицит бюджета продолжал увеличиваться, Гувер изменил курс: повысил налоги и сократил расходы. Банкиры, бизнесмены и, конечно, сообщество экономистов отказались поддержать эти нетрадиционные меры. После встречи с заместителем министра финансов Фишер писал Мэгги: “Я сказал ему, что он и Гу-

вер должны выбрать какой-то *определенный* путь и следовать по нему!”⁴²

Консенсуса относительно того, что должно делать правительство, не было нигде. Реагируя на падение цен, производства и налоговых поступлений, правительства в большинстве своем пытались сбалансировать бюджеты. Но повышение налогов и сокращение расходов лишь усугубляли спад и вызывали дальнейшее снижение цен. Банковская паника наложила на правительства огромные обязательства. Таким образом, отмечает историк экономики Гарольд Джеймс, действия правительств, особенно Вашингтона, способствовали распространению дефляции и депрессии и придали Великой депрессии поистине глобальный характер.

Вскоре исчезли все надежды на то, что в 1932 году дела пойдут, как в 1923-м, когда американская экономика быстро восстановилась после резкого спада 1920–1921 годов. Вместо восстановления произошло, наоборот, ускорение спада. К 1933 году акции стоили в пять раз меньше, чем в 1929 году, а розничные цены упали на 30%. Общий объем производства и национальный доход сократились на треть. Безработица была беспрецедентной — 25%. Как и следовало ожидать, резко возросло число самоубийств. Одним из немногих положительных моментов было то, что, как оказалось, американцы после краха в целом становились здоровее и жили дольше, а риск преждевременной смерти снижался. Стало быть, и в удачные 1920-е годы, с их изобилием возможностей для работы и потребления, не все было так безоблачно.

К тому времени, когда Кейнс и американский журналист Уолтер Липпман в июле 1933 года провели свой первый сеанс трансатлантического вещания в режиме реального времени, в Белом доме уже был Франклин Делано Рузвельт. Липпман завершил передачу реверансом в сторону собеседника:

Возможно, при современном уровне знаний мы просто не способны понять механизм кризиса столь масштабного и невиданного... Ни об одном пророке мира нельзя сказать, что его учение всеобъемлющее, своевременное и достаточное... Кроме всего прочего, это кризис человеческого понимания, и наши глубочайшие неудачи объясняются не злой волей, а ошибками в расчетах⁴³.

Большинство экономических историков согласны с тем, что никто не только не предсказал Великую депрессию на основании данных о предыдущих депрессиях, но и не мог этого сделать на основе какой-либо из существовавших тогда теорий⁴⁴. Оглядываясь назад, современные ученые считают ее основными причинами ошибки Федеральной резервной системы, кризис доверия, снижение расходов потребителей и бизнеса и волну продаж на рушащихся рынках инвесторами, все более впадавшими в панику. Но как писал Дэвид Феттиг из Федерального резервного банка в Миннеаполисе, “став историей, Великая депрессия, однако, сохранила все аспекты детектива со множеством подозреваемых, разгадать который очень трудно, даже зная конец; мы перечитываем его снова и снова и каждый раз находим новые объяснения. По крайней мере так было до сих пор”⁴⁵.

Людам с научным складом ума катастрофические ошибки часто дают мощный толчок, способствуют выдвижению свежих идей. К концу 1932 года стало ясно, что теория Кейнса и Фишера о том, что стабильность цен является достаточным условием экономической стабильности, то есть полной занятости, неверна или по крайней мере в ней отсутствует некая важная переменная. Ни тот, ни другой не дали по-настоящему удовлетворительного объяснения масштабам обвала экономики в 1929–1933 годы. А без убедительной теории, объясняющей кризис, ни одно правительство не могло уверенно предпри-

нимать решительные и последовательные действия. Поэтому оба они были вынуждены пересмотреть свои прежние предположения и искать факторы, которые они упустили или неправильно истолковали.

Фишер решил, что он обнаружил отсутствующую переменную: долг. Сначала он предложил новую теорию для объяснения глубины экономического коллапса, обратив внимание участников совещания экономистов в Новом Орлеане на опасность сочетания огромных долгов с быстрой дефляцией. “Чрезмерные инвестиции и чрезмерные спекуляции часто играют важную роль, — сказал он им, — но они не вызвали бы таких серьезных последствий, если бы проводились не на заемные средства”⁴⁶. После Первой мировой войны уровни государственных и частных долгов росли лавинообразно, и не только в Соединенных Штатах, но и по всему миру⁴⁷. Американцы занимали деньги на покупку автомобилей, бытовой техники и домов, в то время как правительства европейских стран были должны гигантские суммы еще с войны.

Первоначального падения цен на акции было достаточно, чтобы поколебать уверенность банков, предприятий и семей с большими долгами, которые поспешили ликвидировать долги и таким образом сбалансировать свои финансы. Это вызвало первую волну панических продаж — “не потому, что цена достаточно высока, чтобы удовлетворить продавца, что является нормальным условием продажи, а потому, что цена настолько низка, что это его пугает”⁴⁸ — и дальнейшее снижение цен на акции, что, в свою очередь, вызвало сокращение банковских депозитов. Как только предложение денег сократилось, цены начали обваливаться повсеместно.

Дефляция, то есть падение общего уровня цен, должна в принципе повышать реальные доходы населения за счет увеличения покупательной способности номинальной заработной платы. Понятно, что если цены на все, от бензина до обуви, падают, то на ту же зарплату можно купить больше. Однако в своей книге 1911 года “Покупательная способность

денег” Фишер показал, что падение цен может и снижать доход. Реальная стоимость кредита в 1000 долларов равна 1000 долларов, деленной на средний уровень цен. Если цены падают, реальная стоимость долга увеличивается, делая должника беднее, а кредитора богаче. У этого перераспределения доходов — от должников к кредиторам — есть и еще одно последствие. В сравнении с кредиторами должники, как правило, в большей степени тратят и в меньшей степени накапливают свои доходы, именно поэтому прежде всего они и берут кредиты. Таким образом, их расходы падают в большей степени, нежели увеличиваются расходы кредиторов.

Если все ожидают падения цен, утверждал Фишер, компании неохотно берут займы, чтобы вкладывать деньги в новые заводы и оборудование, потому что потом им придется выплачивать банкам долги “более ценными” долларами. Поскольку инвестиционные планы компаний урезаются, урезаются и расходы на средства производства, и соответственно, падают доходы производителей средств производства и их рабочих. При уменьшении доходов снижается спрос на деньги и номинальная процентная ставка. Но номинальная процентная ставка снижается не так сильно, как уровень цен, так что реальная процентная ставка на самом деле поднимается. В обоих случаях падение цен ведет к сокращению производства и росту безработицы.

Суть тезиса Фишера состоит в том, что попытки бизнеса избавиться от долгов на самом деле ведут к увеличению долгового бремени в реальном выражении — весьма показательный пример действий, которые, будучи полезными с точки зрения каждого отдельного индивидуума, вредят им в совокупности. При этом страдают даже предприятия, свободные от долгового бремени, потому что цены, по которым они могут продать свою продукцию, падают быстрее, чем затраты на рабочую силу и сырье. Снижение их прибылей неизбежно ведет к увольнениям и сокращению производства. Вроде бы разумные попытки банков и физических лиц решить свои проблемы

за счет сокращения долгов, подчеркивал он, дают противоположный эффект: ситуация только ухудшается.

Фишер уже сделал вывод, что непосредственной причиной кризиса стало “обрушение кредитной системы под тяжестью долгов”⁴⁹. Между 1929 и 1933 годом три приступа банковской паники слизнули у бизнеса, у фермеров и просто у семей миллиарды долларов, в целом примерно треть денежной массы страны. Тем не менее осенью 1931 года Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки, не делая ничего для укрепления банковской системы в предположении, что отсеив неработоспособных банков создаст базу для восстановления. Фишер винил в ситуации давние военные долги, закон Смута — Хоули о тарифах и отсутствие в ФРС сильного лидера. Главным авторитетом в ФРС был Бенджамин Стронг, президент нью-йоркского федерального резервного банка, прекрасно разбиравшийся в банковском деле и имевший тесные связи с главой Банка Англии. Фишер был уверен, что его смерть в конце 1928 года лишила недостаточно проверенный в деле американский центральный банк сильного руководства и одновременно авторитета за рубежом, причем именно тогда, когда такое руководство было более всего необходимо. Как-то он сказал репортеру, что “воздействие экономического кризиса можно было бы смягчить, “по крайней мере на 90 процентов”, если бы банки ФРС придерживались стабилизационной стратегии бывшего руководителя нью-йоркского банка Бенджамина Стронга”⁵⁰.

Тем не менее Фишер не отказался от своей оптимистичной концепции, согласно которой более глубокое понимание причин депрессий в конечном счете позволит смягчать или даже предотвращать их:

Главный вывод этой книги заключается в том, что депрессии по большей части предотвратимы и что для их профилактики требуется определенная политика, важную роль в которой должна играть Федеральная резервная система. Надо не те-

ряя времени принять практические меры для спасения мира от ненужных страданий, подобных тем, что он переживает с 1929 года⁵¹.

Если судить по газетным заголовкам начала 1930-х годов, люди оценивали экономическую ситуацию через призму библейских мудростей: рецессии — это расплата за грехи. Если хорошие времена длятся слишком долго, и предприятия, и отдельные люди отбрасывают осторожность и ведут себя дурно. Рецессии — периоды, когда объемы производства, занятость и доходы не растут, а сокращаются — возникают, когда частные предприятия и обычные семьи отказываются от прошлых излишеств, списывают плохие инвестиции и снова начинают вести себя сдержанно. В таком ракурсе рецессии представляются явлением прискорбным, но необходимым, как программа детоксикации для алкоголика. Когда они случаются, правительству приходится принимать меры, чтобы не допустить дальнейшего падения доверия бизнеса и общества, балансировать бюджет и защищаться от излишне мягкой денежно-кредитной политики. Именно на такой платформе построил свою кампанию Франклин Делано Рузвельт.

Мозговой трест Рузвельта составили его советники в предвыборной кампании из Колумбийского университета, в том числе профессор права и специалист по вопросам корпоративного управления Адольф Берл, специалист по экономике сельского хозяйства Рексфорд Тагвелл и банкир-миллионер с Запада Марринер Эклс. Они почти так же, как британские лейбористы, не доверяли экономистам-радикалам вроде Кейнса и Фишера, считая их приверженцами инфляционной политики, едва ли лучше Уильяма Дженнингса Брайана и биметаллистов 1890-х годов. Это было несправедливо: Фишер и Кейнс выступали за то, чтобы министерство финансов и центральный банк прекратили держаться за золотой обменный курс, а вместо этого ориентировались на общий уровень цен. Иными словами, они хотели, чтобы монетарные власти

крупнейших экономик допустили снижение обменных курсов своих валют, одновременно препятствуя изменению внутренних цен вследствие дефляции. Но для мозгового треста Рузвельта это различие не имело значения. Тагвелл вспоминал: “Мы всем сердцем верили в твердую валюту”⁵². Советники Рузвельта были по-своему столь же консервативны в финансовых вопросах и столь же преданы точке зрения казначейства, как и лейбористская партия Великобритании.

Дэвид Кеннеди сравнивает мозг Рузвельта с “богатым антикварным магазином, непрерывно пополняющимся приобретаемыми там и сям интеллектуальными диковинками... открытым для разнообразных впечатлений, фактов, теорий, панaceй и личностей в любых количествах... В частности, для монетарных еретиков, проповедующих инфляцию, типа профессора Ирвинга Фишера из Йельского университета”⁵³. А Тагвелл вспоминал: “Все старые схемы удешевления денег, по-видимому, были еще живы, появилось и много новых. Шеф [Рузвельт] хотел знать о них все. Мы содрогались, но предоставляли ему информацию”⁵⁴.

Инфляция была привлекательна с политической точки зрения. Демократическая партия на две трети состояла из фермеров Юга и Запада, находившихся под прессом, с одной стороны, долгов, а с другой — падения цен на урожай, и враждебно относившихся к золоту. В то же время перспектива инфляции напугала банкиров и бизнесменов сильнее, чем можно было предположить в год, когда средний уровень цен упал более чем на 10 процентов, а треть банков страны объявила о дефолте. Воспоминания о жуткой инфляции во время и после Первой мировой войны и дефляции, которая потребовалась, чтобы восстановиться после нее, были еще слишком свежи, чтобы игнорировать их. Особенно враждебно Рузвельт относился к международному сотрудничеству в борьбе с депрессией.

Его советники, не приученные мыслить математически, находили нелогичным, что источник столь серьезных разрушений может быть совершенно ничтожным. Экономистам

Рузвельта казалось более естественным объяснить депрессию традиционными для демократов напастями: неравенством доходов, монополиями или, как Фишеру, тарифами Смута — Хоули. Сам Рузвельт тоже заинтересовался популярными теориями перепроизводства и недопотребления, согласно которым депрессия была следствием либо слишком большого богатства, либо слишком большой бедности. В своей речи в мае 1932 года в университете Оглторпа в Атланте он, еще будучи кандидатом, осудил “бесплановость” и “гигантские масштабы расточительства” в американской экономике наряду с “излишним дублированием производственных мощностей” и призвал думать “меньше о производителе и больше о потребителе”. Кроме того, он предсказал, что американская экономика приближается к своему пределу и что ее “экономический рост не сможет продолжаться в будущем с такой же скоростью, как в прошлом”⁵⁵.

Дэвид Кеннеди пишет, что речь Рузвельта в Клубе Содружества в Сан-Франциско 23 сентября 1932 года отражала “электику и изменчивость” взглядов кандидата:

Простой создатель новых промышленных предприятий и новых железнодорожных систем, организатор новых корпораций может с равной вероятностью быть опасен или полезен. Эпоха великого вдохновителя или финансового титана, которому мы предоставляли все, лишь бы только он строил и развивал, закончилась.

Как ни странно, в то время когда треть нации лишилась средств к существованию, Рузвельт объявил, что причиной депрессии стало то, что продукции было произведено не слишком мало, а, наоборот, слишком много:

Задача сводится к более рациональному управлению уже имеющимися ресурсами и предприятиями, восстановлению внешних рынков для сбыта излишков нашей продукции, решению проблемы недостаточного потребления, подстраи-

ванию производства к потреблению и более справедливому распределению богатства и продуктов производства⁵⁶.

Естественно, у советников Рузвельта были и собственные политические программы. Берл придерживался мнения, что экономический кризис открыл уникальное “окно” для проведения важнейших социальных реформ. Кеннеди отмечает, что программу восстановления экономики, на которой Рузвельт построил свою избирательную кампанию, “было трудно отличить от многих мер, которые Гувер, пусть даже неохотно, уже принял: поддержка сельского хозяйства, развитие промышленной кооперации [фиксация цен], кредиты для бизнеса, поддержка банков и сбалансированный бюджет”⁵⁷. Но первый проект бюджета, который Рузвельт послал в Конгресс, предусматривал гораздо большие сокращения, чем те, на которые решился Гувер.

Кейнс и Фишер считали, что акцент, который этот кандидат делал на социальных реформах в ситуации, когда экономика еще не стабилизировалась, является ошибочным и опасным. За несколько недель до инаугурации Рузвельта Кейнс направил президенту письмо с предостережением против смешивания долгосрочных реформ с программой восстановления и призывом к “операциям на открытом рынке с целью снижения долгосрочной процентной ставки”⁵⁸. Фишер же призывал Рузвельта объявить об отказе от золотого стандарта прямо в день инаугурации, утверждая, что “это мгновенно обратило бы вспять нынешнюю дефляцию и вывело нас на дорогу, ведущую к новым вершинам процветания”⁵⁹. В конце 1933 года Кейнс написал Рузвельту открытое письмо, опубликованное в “Нью-Йорк таймс”, в котором повторял свои аргументы. “Даже разумная и необходимая реформа может... сдерживать и затруднять восстановление. Потому что она разрушит доверие делового мира и ослабит существующие у него мотивы к действиям”⁶⁰. Фишер разделял опасения Кейнса относительно “нового курса”:

Это странная смесь. Я против ограничения посевных площадей и производства, но всецело за рефляцию. Видимо, для Рузвельта они равнозначны — просто два разных механизма повышения цен! Между тем один из них — это изменение стоимости денежной единицы для возвращения ее к норме, а другой — это ограничение еды и одежды в то время, когда многие голодают и полураздеты⁶¹.

Единственное отклонение от продолжения политики Гувера было, однако, очень существенным: Рузвельт решил отказаться от золотого стандарта, то есть сделать то, к чему Кейнс и Фишер в той или иной форме призывали со времени краха 1929 года. В практическом плане отказ от золотого стандарта означал, что Федеральная резервная система не будет поднимать учетную ставку ради сохранения обменного курса доллара относительно фунта и других валют. Это было выгодно в первую очередь фермерам и шахтерам, так как дешевый доллар означал, что зерно и руда становятся более конкурентоспособными на внешних рынках, а также предприятиям и семьям, которые брали кредиты на покупку домов или на капитальный ремонт.

После того как 19 апреля 1933 года Рузвельт объявил, что Соединенные Штаты отказываются от золотого стандарта, Кейнс отметил, что президент “совершенно прав”. Фишер снова преисполнился надежд. Он писал Мэгги: “Теперь я уверен — настолько, насколько вообще можно когда-либо быть в чем-нибудь уверенным, — что мы быстро выберемся из депрессии”⁶². На этот раз экономический прогноз Фишера оказался верным: в течение месяца после инаугурации Рузвельта экономика США достигла дна и мало-помалу начала восстанавливаться. С другой стороны, надежды Фишера на поправку его личных финансовых дел не оправдались. Обращение к свояченице с протянутой рукой было наименьшим из унижений, которые ему пришлось пережить в то время. Если бы Йельский университет не согласился купить его дом в Нью-Хейвене и позволить Фишеру жить в нем бесплатно,

его бы просто выселили. Летний коттедж Фишера на побережье был передан Каролине Хазард, которая в своем завещании простила ему остальной долг. Не имея доходов от дивидендов, Фишер вынужден был жить на директорское жалованье.

Кейнс впервые встретился с Рузвельтом 28 мая 1934 года в 17.15. После нескольких дней, с рассвета и до заката заполненных встречами с членами правительства, представителями “мозгового центра”, чиновниками из национальных регуляторных органов и другими официальными лицами, он наконец добился разрешения пообщаться с президентом в течение часа. Позже он сообщил Феликсу Франкфуртеру, в то время советнику Рузвельта, что он сказал президенту: если правительство увеличит федеральные расходы на стимулирование с 300 до 400 миллионов долларов в месяц, восстановление экономики Соединенных Штатов пойдет удовлетворительно⁶³. Президент же сказал, что у него был “большой разговор с Кейнсом, который ему чрезвычайно понравился”, но пожаловался, что тот говорил, “как математик”⁶⁴. На следующий день “Нью-Йорк таймс” опубликовала еще одно открытое письмо Кейнса президенту с похвалами в адрес “нового курса” и призывом довести дефицит до 8% от ВВП. Это, обещал он, может “прямо или косвенно увеличить национальный доход на сумму, в три-четыре раза большую... Люди в большинстве своем сильно недооценивают воздействие конкретных чрезвычайных расходов, потому что не замечают мультипликации — кумулятивного эффекта увеличения индивидуальных доходов, за счет того что трата этих доходов увеличивает доходы следующего круга реципиентов и т. д.”⁶⁵.

Вечером следующего дня Кейнс присутствовал на ужине в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке вместе с Фишером и Шумпетером⁶⁶. В своем выступлении он изложил

свою теорию финансирования общественных работ за счет дефицита бюджета, утверждая, в частности, что кумулятивный эффект на каждый израсходованный таким образом доллар может оказаться намного больше одного доллара. И если Фишер никогда не отступал от своего убеждения, что Великая депрессия стала следствием грубых промахов в денежной сфере, что “из всех опробованных мер именно денежно-кредитные имели наибольший успех” и что “единственно верный и быстрый путь восстановления открывают денежные меры”, то Кейнс явно переживал кризис веры в возможности денежных стимулов⁶⁷. Фишер слушал его и ошеломленно молчал. “Его доклад была интересным, но мне и, я думаю, всем остальным его аргументация показалась довольно туманной и неубедительной, — писал он впоследствии Мэгги. — Он очень ловко отвечал на вопросы и возражения, но кажется, это не помогло”⁶⁸.

Великая депрессия затягивалась, и вера Кейнса в эффективность денежно-кредитной политики продолжала угасать. К тому времени, когда появился “Трактат о деньгах”, он уже взялся за теорию причин безработицы. Его первой аудиторией были студенты Кембриджа. Суть новой теории, как он сформулировал ее в статье, опубликованной в декабре 1933 года в “Америкэн эконмик ревью”, состояла в том, что “могут возникнуть — и действительно недавно возникли — обстоятельства, когда регулирование учетной ставки, как краткосрочной, так и долгосрочной, не дает эффекта, и тогда необходимой мерой становится прямое стимулирование инвестиций правительством”⁶⁹.

При глубокой депрессии цены падают быстрее процентных ставок. Поэтому снижение номинальных ставок не препятствует повышению реальных. Когда номинальная ставка упала до нуля, у центрального банка не осталось никаких рычагов, позволяющих сделать кредиты дешевле или облегчить бремя задолженности и, таким образом, положить конец депрессии, чреватой непредсказуемыми политическими последствиями. Кейнс назвал это ловушкой ликвидности. Как он однажды заметил, “неспособность снизить процентную ставку

рушит империи”⁷⁰. Если кредитно-денежная политика становится неэффективной, единственная возможность поддержать спрос — это отдать деньги тем, кто может их потратить.

Все прошлые учения... либо неприменимы, либо просто вредны. Мы не просто не понимаем экономического уклада, при котором живем, мы не понимаем его до такой степени, что принимаем практические меры, которые причиняют нам максимальный ущерб, то есть мы пытаемся лечить проблемы, возникшие вследствие нашего непонимания ситуации, уповая на еще большее разрушение в виде революции⁷¹.

Кейнс закончил первый вариант “Общей теории занятости, процента и денег” в 1934 году, после возвращения из Соединенных Штатов. Распространять рукопись он принялся в начале 1935 года. Он написал Джорджу Бернарду Шоу, что пишет книгу “по экономической теории, которая совершит переворот в наших взглядах на экономические проблемы, — конечно, не прямо сейчас, но на протяжении следующих десяти лет”⁷².

Главным новшеством в этой общей теории было утверждение, что в периоды тяжелых депрессий денежно-кредитные меры не срабатывают. Экономисты, мыслящие в рамках классических моделей, оказываются в положении “евклидовых геометров в неевклидовом мире, которые, обнаружив, что линии, которые кажутся параллельными, в действительности часто пересекаются, упрекают эти линии за то, что они не остаются прямыми, видя в этом единственное средство предупреждения нежелательных столкновений. Но на самом деле у них нет иного пути, кроме как отбросить аксиому параллельности и выработать неевклидову геометрию. Нечто подобное требуется сегодня в экономике”.

Его новшество часто понимали превратно. Суть его была не в том, что правительства должны тратить больше в тяжелые

времена и увеличивать дефицит в слабой экономике. Беатриса Уэбб, Уинстон Черчилль, Герберт Гувер — все они одобряли дефицитный бюджет и до Кейнса. И не в том, что разумное поведение индивидуума может в итоге привести к краху, если все индивидуумы будут вести себя одинаково. И не в классическом положении, что избыточное предложение рабочей силы или недостаточный спрос на нее всегда можно вылечить снижением заработной платы или процентной ставки:

Сама логика событий вынудила многих из нас признать, что экономика системы в целом радикально отличается от экономики индивидуума, что разумное экономическое поведение конкретного человека оборачивается самоубийством, если так поступают все индивидуумы вместе, и что доход нации — это всего лишь эквивалент расхода нации. И если мы все ограничим свои расходы, это означает, что мы ограничим и доходы, что, в свою очередь, вызовет дальнейшее ограничение расходов⁷³.

Как отметил экономист Герберт Штейн, Кейнс задавал совсем не тот вопрос, который ставили Хайек и Шумпетер. Объясняя депрессию, исходя из характеристик предшествующих подъемов, австрийцы пытались выяснить, как экономика сползает в депрессию. Кейнса же генезис спадов интересовал гораздо меньше, нежели главная загадка: каким образом высокий уровень безработицы и спад производительности могут долго сохраняться в свободной рыночной экономике с неограниченной конкуренцией?

Безработица не только должна была быть временным явлением исходя из стандартных экономических аксиом — раньше она им и была. В гидравлической машине Фишера, как и в экономических моделях в головах Маркса, Маршалла и Шумпетера, неурожай, войны, забастовки, инновации и другие потрясения могли порождать временный дисбаланс между спросом и предложением, и если этот дисбаланс оказы-

вался достаточно велик в сравнении с размерами экономики, это могло привести к безработице. Но тогда конкуренция среди рабочих и среди кредиторов понижала заработную плату и процентные ставки до тех пор, пока нанять и инвестировать снова не становилось выгодно.

Закон Сэя, который гласит, что предложение порождает свой собственный спрос, считался устаревшим уже к середине XIX века. Исходя из трюизма, что каждая покупка создает эквивалентный доход, этот закон предполагал, что доход получают только для того, чтобы его потратить. Но разумеется, важную роль играло и накопление, и даже в викторианскую эпоху накопление в рабочих семьях было довольно значительным. Как только была осознана возможность тратить меньше заработанного, закон Сэя устарел.

Основным новшеством Кейнса, пишет Скидельски, было то, что он оторвал взгляд от пресловутого рыночного равновесия. Вместо этого он позволил денежным потокам (например, доходам) функционально определять другие денежные потоки (например, потребление). Отрицание равновесия спроса и предложения — этого Шумпетер просто не мог перенести. По-настоящему радикальной “Общую теорию” делало утверждение Кейнса, что свободная рыночная экономика *может* приходиться в состояние, когда работники и машины не используются в течение длительных периодов, то есть существуют депрессии, которые в отличие от обычных, заурядных не являются короткими и не заканчиваются сами собой в результате падения цен и процентных ставок, а в экстремальных случаях свободные рыночные экономики склонны к стагнации, даже когда имеются простаивающие рабочие и машины. Во время таких депрессий размораживание кредитных потоков за счет соответствующей денежно-кредитной политики не обеспечивает достаточных стимулов, потому что даже нулевая процентная ставка не может побудить бизнес брать кредиты в ситуации, когда цены падают и нет оснований надеяться на восстановление спроса. Единственный способ возродить доверие деловых

кругов и побудить частный сектор снова тратить деньги — это сократить налоги и позволить юридическим и физическим лицам оставлять у себя более существенную часть своих доходов, чтобы они могли их тратить. Еще лучше было бы побудить правительство тратить больше денег напрямую, поскольку это будет гарантировать, что они на все 100% будут потрачены, а не сохранены. Если частный сектор не может или не хочет тратить деньги, это должно делать правительство. По Кейнсу, правительство должно быть готово действовать как “транжира последней инстанции”, точно так же как центральный банк выступает в качестве кредитора последней инстанции.

Джеймс Тобин писал, что Фишер близко подошел к описанию некоторых элементов общей теории в своей книге “Теория процента” 1930 года. Там есть теория инвестиций и сбережений, а также указано, чем определяются производство и цены в краткосрочной перспективе. В книге “Бумы и депрессии”, вышедшей в 1932 году, он описал роль долга в самораскручивающемся спаде. Но в отличие от Кейнса, Фишер так и не свел эти отдельные компоненты в единую модель, которая бы показывала, как определяются процентные ставки, уровень цен, объем производства и, следовательно, уровень занятости.

Как это часто бывает с новыми учениями, большинство мер, предложенных Фишером и Кейнсом, за исключением отказа от золотого стандарта, не было принято на вооружение ни в Великобритании, ни в Соединенных Штатах. Однако в Англии самое худшее осталось позади уже к августу 1932 года, когда экономика начала медленно подниматься. К 1937 году японская экономика росла уже лет шесть. В Германии, где экономический коллапс был столь же глубоким, как и в Соединенных Штатах, безработица фактически исчезла к 1936 году. Кейнс находил горькую иронию в том, что нацистская Германия и фашистская Италия обеспечили полную занятость путем широкомасштабного дефицитного финансирования, отказа от выплаты внешних долгов и ослабления своих валют. То же

самое можно сказать и об императорской Японии. Цель этих правительств, впрочем, состояла в том, чтобы развязать войну и потом погасить свои долги за счет эксплуатации своих жертв.

Однако в Соединенных Штатах депрессия в 1937 году вдруг ударила снова, и с удвоенной силой — в основном, по-видимому, из-за грубых ошибок властей, и в особенности Федеральной резервной системы. В 1936 году, после трех лет восстановления, Рузвельт поднял налоги и урезал расходы на программы “нового курса”, в частности программы Управления общественных работ. Единовременные выплаты ветеранам Первой мировой войны в июне 1936 года ненадолго раздули дефицит федерального бюджета, но вскоре после этого федеральные расходы резко упали. Между тем Закон о социальном обеспечении 1935 года предусматривал введение налога на заработную плату, который начали собирать в 1937 году. В совокупности эти два несвоевременных действия практически обеспечили баланс федерального бюджета к концу 1937 года.

В начале Великой депрессии, в период обрушения банковской системы и кредитных рынков, Федеральная резервная система вела себя пассивно. Закон о банковской деятельности 1935 года наделил ФРС полномочиями изменять нормы обязательных резервов коммерческих банков. С августа 1936 года по май 1937 года Федеральная резервная система, обеспокоенная ростом избыточных резервов и инфляционным давлением, резко удвоила требования к резервам. Избыточные резервы уменьшились, уменьшилась и денежная масса. С мая 1937 года по июнь 1938 года экономика США в целом сократилась на одну пятую, объем промышленного производства упал на треть, а уровень безработицы, который было снизился до 10%, снова поднялся до 13%. Согласно официальным данным, в которых не учитывались временные рабочие места, оплачиваемые правительством, она увеличилась с 15% до почти 20%. Фондовый рынок тоже обвалился, довершив финансовый крах Ирвинга Фишера.

Кейнс же, который вложил много денег в дешевые американские акции 1936 года и переждал крах 1937 года, с лихвой

окупил свои потери. Но его подвело сердце. Как-то он упал в своем лондонском офисе, и врачи диагностировали у него смертельно опасное сердечное заболевание. Он отошел от общественной жизни — казалось, навсегда. Ирвинг Фишер продолжал выступать устно и в печати, но ему так и не удалось достичь того уровня взаимопонимания с администрацией Рузвельта, который у него был с администрацией Гувера. Его общественная репутация была в таком же плачевном состоянии, как и его портфель акций.

Прогнозы Хайека и Шумпетера о том, что для восстановления экономики не нужно делать ничего специально, не оправдались, оба они находились в интеллектуальной изоляции и испытывали все большее разочарование от экономического спада и роста политического экстремизма в Германии и Австрии.

Но ни у одного экономиста ни в этих странах, ни где-либо в другом месте в начале 1930-х годов не было удовлетворительной теории, объяснявшей каскадный характер глобального кризиса. В отсутствие такой теории английские экономисты быстро разделились на два враждебных лагеря, а именно: на группу “интервенционистов” во главе с Кейнсом и членами “Кембриджского кружка”, в который входили, в частности, ученики Кейнса коммунисты Пьеро Сраффа, Джоан Робинсон и Ричард Кан, и группу молодых “либералов” из Лондонской школы экономики во главе с тридцатилетним Лайонелом Роббинсом. Один из немногих видных британских экономистов, который был сыном шахтера и имел сильные интеллектуальные связи с экономистами европейского континента, Роббинс провел много времени в Вене у Людвига фон Мизеса и в его окружении. Роббинс не только находил убедительной позицию Мизеса в отношении жизнеспособности социализма, но и разделял опасения австрийца по поводу, казалось бы, неизбежного усиления государственного вмешательства в экономику, как в Англии, так и в Америке.

Роббинс возмущался господством Кембриджа и Кейнса в английской экономике и считал Кейнса, с которым они схлестнулись на тему протекционизма во время работы в Экономическом консультативном совете у Рамсея Макдональда, политическим оппортунистом и интеллектуальным хулиганом. По иронии судьбы, Роббинс стремился создать либеральный противовес кембриджскому коллективизму на базе Лондонской школы экономики, основанной фабианцами и находившейся под их патронажем. В поисках потенциальных политических союзников Роббинс разглядел Хайека, тридцатидвухлетнего австрийского протеже Мизеса, и в январе 1931 года пригласил его прочесть в Лондонской школе экономики серию лекций. Хайек, который руководил институтом по изучению экономических циклов в Вене и работал над основательным трудом по истории денежно-кредитной политики, произвел на Роббинса большое впечатление тем, что весной 1929 года — когда другие ученые мужи выдавали сплошь оптимистические прогнозы — предсказал конец американского бума: “Бум превратится в спад в ближайшие несколько месяцев”⁷⁴. Позднее Хайек вспоминал, как он сказал, что “нет никакой надежды на восстановление в Европе, пока не упадут процентные ставки, а процентные ставки не упадут, пока не рухнет американский рынок, что, скорее всего, произойдет в течение ближайших нескольких месяцев”⁷⁵.

Мизес и Хайек разработали теорию, объяснявшую депрессию чрезмерным объемом денег и слишком низкими процентными ставками в ходе предшествующего бума, что привело к массовому нерациональному использованию капитала, или, как выразился Роббинс, “к неправильному инвестированию, порожденному неоправданными ожиданиями”⁷⁶. Хайек полагал, что эта теория объясняет Великую депрессию, которая, как он утверждал, возникла “из-за неправильной денежно-кредитной политики и вмешательства государства в среду, в которой основная сила капитализма и так уже была истощена войной и политикой”⁷⁷.

Если причиной кризиса действительно были чрезмерные инвестиции во время экономического бума (а не недостаток инвестиций во время рецессии, как утверждал Кейнс), то получалось, что достаточно просто выждать “время, пока проявится эффект... медленной адаптации структуры производства”, иными словами, подождать, пока избыточные ресурсы будут поглощены или списаны и потребуются новые инвестиции. “Создание искусственного спроса”, утверждал Хайек, никоим образом не поможет скорректировать нерациональное распределение капитала и поэтому приведет лишь к новой вспышке инфляции и новому спаду, как в 1921 году, когда Австрия страдала от гиперинфляции.

Лекции Хайека в Лондонской школе экономики, по словам Роббинса, имели огромный успех. “Одновременно сложные и интересные... они были новаторскими и в педагогическом, и в научно-аналитическом смысле”. Уильяму Бевериджу, тогдашнему директору Лондонской школы экономики, который сегодня справедливо считается “отцом” государства всеобщего благосостояния в Англии, настолько понравился этот “высокий, сильный и сдержанный” австриец, что он сразу же предложил ему вакантное кресло профессора. Хайек написал язвительный анализ “Трактата о деньгах” Кейнса и принял участие в привлекших большое внимание дебатах с Кейнсом и его учениками. Его сдержанность, изысканные манеры и замкнутость, скрывавшая, казалось, какую-то личную трагедию, понравились английской аудитории. Своей загадочностью, бесстрашием и отказом выписывать легкие рецепты он напоминал своего двоюродного брата Людвиг Витгенштейна. Хайек нашел новые надежные аргументы в пользу традиционной либеральной политики — твердой валюты, свободной торговли, уважения к правам собственности и представления о том, что рецессии проходят сами собой.

В своей книге “Великая депрессия” 1934 года Лайонел Роббинс искусно использовал теорию Хайека для объяснения подъема и спада межвоенного периода (хотя спустя десятиле-

тия, в 1971 году, в своей “Автобиографии экономиста” Роббинс от нее отрекся, признавшись, что “предпочел бы, чтобы о нем забыли”⁷⁸). Хайек поддержал публичную кампанию Роббинса по противодействию предложениям Кейнса. В 1932 году он вместе с Роббинсом и другими профессорами Лондонской школы экономики подписал документ в поддержку политики сбалансированного бюджета⁷⁹.

Но звезда Хайека блистала недолго. В 1935 году Беатриса Уэбб сказала о “Роббинсе и К^о” (“К^о” как раз и был Хайек), что “они со своими принципами оказались на обочине, не оказывая влияния на нынешнюю ситуацию в мире, но и вообще не имея к ней отношения”⁸⁰. Она была права. Когда времени появления в следующем году “Общей теории” Кейнса дискуссия была закончена, и экономисты явно приняли точку зрения Кейнса, которая, по словам одного из друзей Хайека “во времена дефляции и массовой безработицы казалась более уместной, чем денежная умеренность Хайека”⁸¹.

В это время Хайек не столько подвергался нападкам, сколько вообще исчез из поля зрения. Рассуждая о том, почему Хайек не выступил с критикой “Общей теории” в печати, редактор собрания сочинений Хайека Брюс Колдуэлл высказал догадку, что Хайеку просто не предложили ее отрецензировать. Ранние работы Хайека в основном жестко критиковались и его противниками, и его бывшими сторонниками, и его политическими союзниками. Кейнс видел в его публикации 1931 года “Цены и производство” “жуткую путаницу”, а Милтон Фридман называл себя “ярким поклонником Хайека но не в части экономики”⁸³. Вскоре общение Хайека с Кейнсом ограничивалось лишь их общей страстью к антикварным книгам.

Отработав три срока в качестве приглашенного профессора в 1932 году Шумпетер переехал в Гарвард навсегда. Его общение было связано не столько с ростом левого и правого политиче-

ного экстремизма (на выборах 1932 года нацисты не достигли никаких успехов), сколько с неудачными попытками получить высшую должность в Берлине и нежеланием жениться на вдове давней любовнице Мии Штеккель. Германия была для него местом ссылки, неразрывно связанным с главными разочарованиями и трагедиями его жизни, в том числе со смертью матери и любимой второй жены Анни.

Публикация “Трактата о деньгах” Кейнса стала для него серьезным ударом, поскольку он сам работал над книгой о денежно-кредитной природе экономических циклов, и эта публикация убедила его в “бесполезности” собственного проекта. Он сказал одному из своих студентов: “Мою рукопись о деньгах остается теперь только выбросить”⁸⁴. Эта реакция позволяет предположить, что его собственные идеи совпадали с идеями Кейнса и Фишера и добавить ему особо было нечего. В ином случае Шумпетер, конечно, не упустил бы возможность раскритиковать теорию Кейнса и противопоставить ей собственную.

Депрессию Шумпетера усугубил оглушительный обвал немецкой экономики после “черного четверга”. Когда американские инвесторы стали спешно ликвидировать свои зарубежные активы, а американские торговцы сократили импорт немецкого зерна, немецкое промышленное производство упало на 40%, а безработица взлетела выше 30%⁸⁵. В Германии кризис был даже глубже, чем в Соединенных Штатах — глубже, чем в любой другой крупной стране.

За двадцать лет до этого, в разгар другого мирового экономического кризиса, решения, предлагавшиеся Шумпетером в Кейнсом, были схожи. Теперь же Шумпетер находился в оппозиции к Кейнсу. На ежегодном собрании Американской экономической ассоциации в декабре 1930 года Шумпетер привлек внимание СМИ, заявив, что никакого политически приемлемого лекарства от депрессии не существует⁸⁶. Историк экономики Джозеф Дорфман объяснил его заявление присутствующим Шумпетеру “мрачным мироощущением”, которое пока-

залось многим американцам “полезным противовесом оптимизму, характерному для англо-американской традиции”⁸⁷.

Убежденность Шумпетера в том, что наращивание денежной массы не дает нужного эффекта, со временем лишь укрепилась. И это кажется странным, особенно в свете того, что в 1931 году он одобрил решение Японии отказаться от золотого стандарта. Конечно, в теории экономических циклов Шумпетера гораздо больше внимания, чем у Кейнса и Фишера, уделялось неденежным причинам, в частности последствиям внедрения новых технологий, химических и механических, которые произвели революцию в сельском хозяйстве. Шумпетер также полагал, что неперенным условием повышения производительности труда и уровня жизни населения в долгосрочной перспективе является “созидательное разрушение” устаревших фирм и даже целых отраслей. Но разве в 1919 году он считал все это менее важным? Его крайний фатализм показался, по крайней мере некоторым из его учеников и коллег, чем-то новым.

Шумпетер участвовал в поиске рабочих мест для экономистов-евреев, ставших жертвой преследований со стороны новой — гитлеровской — администрации. Совместно с американским экономистом Уэсли Клэром Митчеллом он создал “комитет... помощи некоторым из немецких ученых, которые в настоящее время лишены своих должностей нынешним [немецким] правительством из-за их еврейского происхождения или вероисповедания”. В письме, написанном Шумпетером вскоре после того, как в марте 1933 года Гитлер стал канцлером в коалиционном правительстве Германии, но до создания нацистской диктатуры, сквозило растущее ощущение изоляции и горя:

Чтобы избежать вполне естественных недоразумений, позвольте мне заявить, что я гражданин Германии, но не еврей по происхождению и не иудей по вере. И я не являюсь верным сторонником нынешнего германского правительства,

действия которого выглядят несколько по-другому для того, кто имел опыт общения с предшествующим режимом. Мои консервативные убеждения не позволяют мне присоединиться к почти единодушному осуждению, которому правительство Гитлера подвергается в мире. Просто из чувства долга по отношению к людям, которые были моими коллегами, я пытаюсь оказывать им помощь, которая позволила бы им спокойно вести научную работу в этой стране, если в этом возникнет необходимость⁸⁸.

По-видимому, Шумпетер усвоил некоторые новые положения, которые Хайек представил в Лондонской школе экономики в ходе серии лекций о депрессиях. Когда он годом позже уже навсегда приехал в Гарвард, он утверждал, что экономисты не должны давать никаких советов, хотя, как ехидно заметил его ученик Пол Самуэльсон, “сам он всегда давал советы”. Вместе со своими единомышленниками он организовал неформальный семинар “Семь мудрецов”, который собирался раз в неделю. Эта группа, в которую входил, в частности, экономист-математик российского происхождения Василий Леонтьев, в конце концов опубликовала манифест в духе *laissez-faire* с нападками на “новый курс”.

Восстановление экономики прочно только если оно происходит само по себе. Любое оживление, возникшее вследствие искусственной стимуляции, не позволяет депрессии довести свою работу до конца и добавляет к неисправленным несогласованностям дополнительные несогласованности, которые, в свою очередь, нужно ликвидировать, что грозит бизнесу новым кризисом. В частности, наша история свидетельствует не в пользу исправления ситуации с помощью денежно-кредитных мер. Поскольку корни проблемы не в деньгах и кредите, стратегии такого типа особенно опасны с точки зрения сохранения и даже усиления несогласованности, а в будущем могут провоцировать дополнительные проблемы⁸⁹.

После выхода “Общей теории” Кейнса Шумпетер, у которого ранее с Кейнсом были самые сердечные отношения и который одобрительно относился к его взглядам, написал на нее чрезвычайно желчный отзыв: “Совет (все знают, что именно советует господин Кейнс) может быть хорош. Скорее всего, для сегодняшней Англии так и есть. Автора этой концепции можно поздравить с тем, что он весьма убедительно выражает взгляды угасающей цивилизации”⁹⁰.

Глава XI

ЭКСПЕРИМЕНТЫ

УЭББ И РОБИНСОН В 1930-Х

Советский Союз радикально отличается от всей остальной Европы.

УОЛТЕР ДЮРАНТИ,
“Нью-Йорк таймс”, 20 июля 1931¹

Фактически в мире сейчас идут два крупномасштабных эксперимента: это американский капитализм и русский коммунизм.

БЕАТРИСА УЭББ,
апрель 1932²

Очевидная беспомощность правительств западных стран в условиях глобальной экономической катастрофы, казалось, подтверждала основной тезис книги Уэббов 1923 года “Упадок капиталистической цивилизации”. Расценив ошеломляющее поражение лейбористской партии на выборах скорее как “победу американских и британских финансистов”, нежели как недовольство избирателей вялой реакцией правительства лейбористов на экономический спад, Беатриса Уэбб потеряла последние остатки своей веры в фабианскую “неизбежность постепенности”³. Первоначально она отнеслась к большевистскому режиму враждебно, но теперь видела в Советском Союзе единственную страну, которая “увеличивает свои мате-

риальные ресурсы и улучшает здравоохранение и образование своего народа”. В запале она решила сделать этот “новый общественный строй” темой их с Сиднеем очередного творения⁴.

Через неделю после всеобщих выборов, в результате которых Сидней потерял свой правительственный пост, 27 октября 1931 года, семидесятитрехлетняя Беатриса задалась вопросом: “Как мы проведем старость?”⁵ Она спрашивала себя, достаточно ли у нее сил поехать в Россию для сбора материала (хотя на самом деле поездка была нужна всего лишь для придания отчету “живости”) ⁶. Она уже пришла к выводу, что советский эксперимент — в отличие от западного — явно удался, и заявила, что они “без сомнения находятся на стороне России”. Перед отплытием на борту русского парохода “Смольный” она “составила краткий набросок внушительного труда, который они с Сиднеем должны написать после возвращения”⁸.

Сталин не больше Кейнса или Фишера предвидел всемирную депрессию, но быстро воспользовался возможностью привлечь западных сторонников и союзников. “Попутчики” из числа знаменитостей ценились даже выше, чем рядовые члены партии, и на привлечение их на свою сторону тратились огромные усилия. В Ленинграде Уэббов встретило множество официальных гидов, переводчиков и водителей, которые увлекли их в напряженный двухмесячный тур по фабрикам, крестьянским хозяйствам, школам, больницам, чтобы Уэббы могли сами посмотреть на то, что они теперь называли “новой цивилизацией”⁹.

В Лондоне после отстранения лейбористов от власти приглашения на обеды, политические консультации и газетные интервью прекратились. В России, с удовольствием констатировала Беатриса, “нас принимают как своего рода особ королевской крови”¹⁰. Теперь мы знаем, что, пока Уэббы разъезжали в лимузинах и специальных поездах, Сталин превратил Украину в гигантский концентрационный лагерь. Москва продавала Западу зерно в обмен на технику, и для нее обвал мировых цен на зерно означал, что тоннаж экспорта необходимо

удвоить. Советский диктатор, который был настолько экономически неграмотен, что однажды, когда обнаружилась нехватка мелких монет, приказал расстрелять несколько десятков банковских кассиров, потребовал отдать на экспорт половину урожая. В результате неизбежный голод погубил по меньшей мере шесть миллионов жизней — четверть сельского населения, которое значительно сократилось еще раньше, в ходе насильственной коллективизации.

Вернувшись в Англию, Уэбб добавила свой голос к опровержениям, распространяемым из Москвы. Она полагалась на свидетельства западных корреспондентов в Москве, таких как Уолтер Дюранти из “Нью-Йорк таймс”, который утверждал: “Ни острой нехватки продуктов, ни голода нет и, вероятно, не будет”¹¹. Но Дюранти не выезжал из столицы и просто повторял ложные правительственные сообщения. Даже после того как корреспондент “Манчестер гардиан” Малколм Маггеридж, женатый на племяннице Беатрисы Уэбб, побывал на Украине и увидел все своими глазами, Уэбб отказывалась верить его жутким описаниям голодающих крестьян и злоупотреблений официальных лиц. Она сочла сообщения племянника “истерическими” и предположила, что советский коммунизм стал невинной жертвой “комплексов бедного Малколма” и “источника ненависти в самой [его] натуре”. Беатриса пригласила нового советского посла Ивана Майского с женой к себе на выходные и была “удовлетворена” их заверениями, что голода в СССР нет¹². В книге “Советский коммунизм — новая цивилизация?”, опубликованной в 1935 году, она настаивала, что “то, с чем сталкивался Советский Союз с 1929 года и далее, было не голодом, а широко распространившейся всеобщей забастовкой крестьянства, сопротивлявшегося политике коллективизации”¹³.

Бертран Рассел, который критически отзывался об Уэббах на их “поклонение государству” и “чрезмерную терпимость к Муссолини и Гитлеру”, был еще больше потрясен их “несколько абсурдными славословиями” в адрес советского пра-

вительства¹⁴. Историк Роберт Конквест осуждал их наивную веру в официальную статистику, склонность к недооценке реальных фактов и незнание истории: “У них не было даже базовых знаний, не говоря уже об “ощущении” великих рабовладельческих империй древности, апокалиптических сем XVI столетия, завоевателей средневековой Азии”¹⁵. Но Кейнс, вероятно, правильно определил реальный источник страстного увлечения Уэббов Советским Союзом, когда назвал коммунизм религией, “взывающей к [живущему в нас] аскету”¹⁶. На восьмом десятке Уэбб нашла себе новую веру. Маггеридж жаловался: “Факты никак не влияют на ее мнение”¹⁷.

Хотя Кейнс “испытывал полное презрение к официальной лейбористской партии”¹⁸, он был, как и Рассел, старомодным либералом. Он ставил Советский Союз в один ряд с фашистской Германией и ненавидел Сталина, предсказывая в 1937 году, что “Сталин с Германией в конце концов вполне могут прийти к соглашению, если Сталин сочтет это для себя подходящим”¹⁹. На просьбу написать что-нибудь в юбилейный сборник к восьмидесятилетию Беатрисы Уэбб он ответил: “Единственная фраза, которая сразу же приходит мне в голову: не будучи советским политиком, госпожа Уэбб смогла дожить до восьмидесяти лет”²⁰.

В 1930-х годах Кейнс был склонен видеть в молодых коммунистах и сочувствующих им в своем кругу в Кембридже просто любителей, фанатизм которых он считал безвредной эксцентричностью или временным явлением. Он не понимал, почему идеология должна мешать дружбе или научным исследованиям и, во всяком случае, восхищался их идеализмом и мужеством. В 1939 году он даже сказал, что “в сегодняшней политике, помимо либералов, никто не стоит и шести пенсов, кроме послевоенного поколения интеллектуалов-коммунистов не старше тридцати пяти”. Несмотря на заблуждения, они были “великолепным материалом”, слишком хорошим, чтобы сбрасывать их со счетов²¹.

Одним из “интеллектуалов-коммунистов”, которых Кейнс имел в виду, когда писал, что эти представители молодого поколения — “ближе всего из ныне живущих к тем типичным энергичным английским джентльменам-нонконформистам, которые отправлялись в крестовые походы, делали Реформацию, поднимали Великий мятеж, отвоевали для нас наши гражданские и религиозные свободы, а в прошлом веке гуманизировали отношение к рабочему классу”, почти наверняка была Джоан Робинсон, которой предстояло стать самой известной из кембриджских учеников Кейнса²². Властность, энтузиазм и боевой задор были у нее в крови. В предках Робинсон (урожденной Джоан Вайолет Морис) числились офицеры, университетские преподаватели, государственные служащие и инакомыслящие. Ее мать, неукротимая и вечно молодая леди Хелен Марш, была бенефициарием доверительного фонда, созданного парламентом в 1812 году после убийства ее предка, британского премьер-министра Спенсера Персеваля. Ее прадед Ф. Д. Морис, известный университетский радикал, которого Альфред Маршалл знал по “Гроут-клубу”, оставил должность в Кембридже, отказавшись “поверить в вечное проклятье”²³. Ее отец, генерал-майор Фредерик Морис, пожертвовал своей военной карьерой, публично обвинив премьер-министра Ллойд Джорджа во лжи во время Первой мировой войны, и впоследствии стал военным корреспондентом, военным историком, руководителем двух колледжей в Лондоне и автором девятнадцати книг. Ее дядя по материнской линии Эдди Марш долгое время был личным секретарем Уинстона Черчилля, а в свободное время писал плохие стихи и поддерживал миловидных молодых писателей и художников, среди которых были Руперт Брук, Зигфрид Сассун и Дункан Грант. Семья Робинсон, вспоминал ее муж Остин, “производила слегка устрашающее впечатление”²⁴.

Как и Уэбб, Робинсон пришлось переделывать себя. Несмотря на впечатляющую родословную, величественный семейный особняк и обучение в престижных частных школах, ее

воспитание было рассчитано более на содействие карьере мужа, чем на самостоятельное продвижение по жизни. Но уже в четырнадцать лет она была мечтательной и замкнутой любительницей чтения. Мир ее воображения казался ей более живым, чем окружающая действительность. Она непрерывно писала эссе, рассказы, стихи и настолько нуждалась в слушателях, что декламировала свои стихи в “Уголке ораторов” в Гайд-парке.

Дело Мориса, которым парламент занимался в 1918 году, было для нее предметом гордости и одновременно боли. Генерал-майор Морис был холодным и сдержанным отцом даже по меркам эпохи короля Эдуарда. Все эмоции, считал он, эгоистичны. Когда ему пришлось уйти из армии, он написал детям: “я убежден, что делаю то, что должен, а раз так, все остальное не имеет значения”, добавляя, что именно это Христос имел в виду, когда учил своих последователей отказаться от родителей и *детей* ради него. Его зять Остин Робинсон вспоминал: “На все, не имевшее отношения к тому, чем он был занят в тот момент, он обращал внимание не больше, чем на тени на стене”²⁵. Однажды Нэнси, сестра Джоан, шла за отцом по лыжне, поскользнулась на мосту и повисла вниз головой над ущельем — спас ее шедший тем же путем лыжный инструктор.

Несмотря на многочисленные связи семьи с Кембриджем, из четырех сестер Морис здесь училась лишь одна Робинсон. Университетское образование все еще считалось лишним для английских девушек из высшего общества. Вынужденная отставка отца, возможно, сделала бы это образование недоступным для Джоан, если бы она, бывшая такой же целеустремленной, как и отец, когда хотела чего-то добиться, не выиграла право на преподавательскую стипендию. Она поступила в Гертон-колледж, старейший женский колледж в Кембридже, псевдосредневековая архитектура которого, наряду с его удаленностью от мужских колледжей, навяли философу и писателю К. С. Льюису сравнение с замком Отранто из одноименного готического романа Горация Уолпола²⁶.

Будучи во время тяжелой и длительной рецессии 1920–1921 годов учащейся школы Св. Павла для девочек, Робинсон работала в лондонском центре социальной помощи. Когда в конце лета 1922 года она поступила в Кембридж, начинался третий год экономического спада. Уровень безработицы тогда выражался двузначным числом и был предметом жарких политических дебатов, поэтому Робинсон решила, что вместо истории, ее любимого школьного предмета, она займется экономикой. Как замечает один из ее биографов, Марджори Тернер, бедность и безработица были пятнами позора на обществе, в котором ее семья занимала привилегированное положение, и она чувствовала, что должна в них разобраться.

В двадцатые годы могло показаться, что Кембридж — всего лишь цветущий пригород Блумсбери, где бродили Т. С. Элиот, Роджер Фрай, Дж. Э. Мур и Джон Мейнард Кейнс, но студенткам было запрещено многое из того, что было доступно мужчинам. Интеллектуальное общение с местными гениями, будь то преподаватели или студенты, ограничивалось бесчисленными правилами. Так, в отличие от мужчин, им запрещалось ходить на лекции в мантиях: они должны были носить платья и шляпы. И это было лишь одно из многих ежедневных напоминаний об их более низком статусе. Когда были запланированы лекции Бертрана Рассела в женском колледже Ньюнем, втором по старшинству в Кембридже, власти запаниковали и сначала грозили вообще отменить приглашение, а потом официально запретили юным леди “сопровождать его от аудитории до выхода”²⁷. Робинсон и другие студентки Артура Пигу, выдающегося экономиста, унаследовавшего место Альфреда Маршалла, могли только оставлять свои работы у швейцара, в то время как студенты мужского пола могли приносить их прямо к нему в квартиру, причем он запросто мог пригласить их задержаться и побеседовать. Кружок, в котором Кейнс в студенческие годы оттачивал навыки дискуссий с будущими премьер-министрами, был закрыт для женщин (они могли присутствовать, но лишь наверху, на галерее).

Не могли участвовать женщины и в собраниях кембриджского дискуссионного “Общества апостолов”, на которых философа Фрэнк Рамсея, одноклассника Робинсон, заметили его будущие наставники Кейнс и Рассел. Собственный питомник Кейнса для будущих звезд — собиравшийся по понедельникам Клуб политической экономии — был открыт (хотя только по приглашениям) для студентов, но не для студенток.

В качестве наставника Робинсон получила не одного из обитателей кембриджского Олимпа, а модницу Марджори Тэппен, дочь нью-йоркского изготовителя парфюма. Ей еще не было тридцати, она изучала экономику в Колумбийском университете и говорила, что получила там докторскую степень (хотя никаких записей об этом там нет), а затем в течение двух лет работала в американской команде экономистов на мирных переговорах в Париже. Робинсон ненавидела ее, и трудно понять, было ли ее негодование вызвано тем, что Тэппен — богатая американка из семьи “торгашей”, или просто тем, что она отнюдь не была научным светилом. Так или иначе, Робинсон, по-видимому, переняла у Тэппен лишь привычку курить сигареты с длинным мундштуком и размахивать им во время разговоров со студентами.

Робинсон слушала лекции Пигу по экономической теории и лекции Кейнса по текущим экономическим проблемам, которые он изредка читал, но по ее студенческим работам трудно было бы предугадать ее будущее. Доклад “Красавица и чудовище”, представленный в Обществе Маршалла на третьем году ее обучения в Кембридже, был очаровательной стилизацией, показавшей, что она хорошо пишет и хорошо понимает “Принципы экономической науки” Альфреда Маршалла. Но по сравнению с проблемами, которыми занимались некоторые из ее сверстников мужского пола, это был детский лепет. Протеже Кейнса Фрэнк Рамсей в двадцать один год опубликовал разрушительную критику теории вероятности в изложении Кейнса, убедительную критику “Трактата” Витгенштейна и написал для “Экономик джорнел” Кейнса статью,

доказывающую, что чрезвычайно популярная экономическая панацея, так называемая схема социальных кредитов Дугласа, основана на ложной посылке.

Несмотря на некоторые ранние успехи, студенчество Робинсон закончилось горькими слезами. В 1924 году она сдавала первую часть программы экономического трайпоса, а в следующем году — вторую. Не самые лучшие результаты на обоих экзаменах лишили ее всякой надежды на преподавание в колледже и стали “большим разочарованием”²⁸. Годы спустя она все еще переживала, что “так плохо образована”²⁹. Подавленная, она вернулась в Лондон, где провела осень и зиму в “жалком состоянии”, живя в “грязной комнате” в Ист-Энде и работая в государственной жилищной организации³⁰. Она чувствовала себя настолько несчастной, что попросила отца поискать для нее что-нибудь подходящее в Америке, например стипендию в женском колледже Рэдклифф при Гарварде. Но весной она пошла по иному пути, который часто выбирают женщины при возникновении трудностей с карьерой. В мае 1926 года, накануне всеобщей забастовки, Робинсон вместе с сестрой Нэнси приехала в Париж купить свадебное платье.

Ее женихом стал аккуратный и подтянутый двадцатидевятилетний кембриджский преподаватель. Сын бедного пастора Остин Робинсон во время Первой мировой войны был пилотом гидросамолета, имел награды. Его настолько увлекли лекции Кейнса 1919 года о Версальском мирном договоре, что он переключился с античности на экономику. Он был человеком способным, прилежным и невероятно трудолюбивым, и Кейнс пригласил его в Клуб политической экономии, собиравшийся вечерами по понедельникам. Он получил высший балл по экономике и стал преподавателем в колледже Корпус-Кристи. Джоан была на втором курсе, а он читал лекции по монетарной экономике. Они стали парой уже после того, как Джоан оставила Кембридж и вернулась в Лондон.

Остин сходил по ней с ума, чувства Джоан были прохладнее, и на его первое предложение она ответила отказом. Он

был красив, умен, честен и добр, его уважали, и казалось, он не страшился выраженного ею желания так или иначе зарабатывать деньги. Однако он плохо вписывался в воображаемое ею радужное будущее — ему не хватало ярких красок. Когда лет через десять одна из ее многочисленных литературных знакомых Стиви Смит попросила у нее сюжет для романа, Робинсон предложила ей историю о девушке, разрывающейся между двумя влюбленными в нее мужчинами, один из которых — обычный молодой человек с хорошей работой, готовый обеспечить ей “традиционную” жизнь, которую она “пытается заставить себя желать”³¹. Малообещающее начало для брака.

“Я страстно хочу остаться в Кембридже”, — признался ей Остин после помолвки³². Но несмотря на покровительство Кейнса, у него было мало шансов получить должность в Кембридже, да и вообще в Англии. Подходящих научных вакансий просто нигде не было. И когда отец одного из друзей сообщил Джоан, что старый махараджа индийского Гвалиора — он был англофилом: настоял, чтобы его детей звали Джордж и Мэй, и выписывал им учителей из Кембриджа — умер, оставив после себя десятилетнего наследника, которому был срочно нужен учитель, она уговорила Остина подать заявку на это место. Пока они будут ждать открытия вакансии на родине, Остин будет зарабатывать в несколько раз больше любого преподавателя в Англии, подчеркивала она.

Первые два года супружества они провели в древнем индийском городе “с широкими улицами, красивыми резными балконами, дверями и решетчатыми окнами, мечетями и храмами, старыми и новыми дворцами”³³, находящемся на главной дороге между Дели и Бомбеем. Хотя Джоан была очень привязана к своим родным, самостоятельная жизнь доставила супругам наслаждение. В Гвалиоре их дни заполняла верховая езда на заре с уланами и маленьким махараджей, уроки хинди за обедом, теннис, газеты и коктейли в клубе перед ужином. В распоряжении Джоан была дюжина слуг, включая пятерых

садовников, поэтому ничто не мешало ей читать курс экономики в местной средней школе. Кроме того, она работала над статьей о возможной будущей доле Индии в общей сумме налоговых поступлений в Британии, которую заказали Остину. Вместе с тем она все время думала о том, каким образом помочь мужу получить постоянную должность преподавателя в Кембридже, и о том, какой работой заняться ей. Дороти Гаррат шутила, что, если бы она не вышла замуж за сына священника, она, «вероятно, чистила бы туалеты в лепрозории или вышивала ризы для викариев»³⁴. Одно время она думала наладить импорт изделий индийских ремесленников.

Репетиторский контракт мужа истекал в конце 1928 года, и в июле Робинсон одна вернулась в Кембридж. Она хотела, во-первых, лично представить доклад, который они написали вместе, и во-вторых, использовать свои связи, чтобы подготовить почву для возвращения Остина (она всю жизнь была более предприимчива и настойчива в налаживании социальных связей). Меньше чем через два года, в мае 1930-го, Остин получил постоянную полноценную должность преподавателя университета. До этого — пока Остин писал свою первую книгу — они жили на свои довольно значительные сбережения. И только после того как будущее Остина было обеспечено, отмечают ее биографы, она всерьез сосредоточилась на собственной карьере.

Индия и брак вернули ей уверенность в своей интеллектуальной полноценности, а Остин обеспечил доступ в университетское сообщество. Она радовалась успехам мужа и его дружбе с такими светилами, как Кейнс. Не имея ни стипендии колледжа, ни высшего балла, она уплатила пошлину в 5 фунтов стерлингов, чтобы получить диплом магистра, и объявила, что готова заниматься со студентами за умеренную плату. Она не могла не сознавать, что все еще была снаружи — была зрительницей, а не участницей интеллектуального пиршества. Столы для преподавателей в столовой, клубы и квартиры стипендиатов были закрыты для нее по причине ее пола.

Все изменилось в течение нескольких месяцев после обвала американского фондового рынка. Решающую роль сыграли два события.

В ожидании, пока Остин получит свою должность в 1929/30 учебном году, она посещала семинар, где узнала о теоретической проблеме, которой занимались некоторые из учеников Кейнса в Кембридже. Семинар этот организовал Пьеро Сраффа, блестящий, но неврастеничный самоучка, экономист и коммунист, в 1927 году бежавший из Италии от Муссолини. Внимание Кейнса привлекла его статья, призывавшая к коррекции экономической теории, прежде всего путем учета в ней монополистических элементов современного бизнеса: разрастания гигантских корпораций и использования торговых марок и рекламы. Экономисты традиционно исходили из того, что на конкурентных рынках имеется множество покупателей и продавцов, продающих идентичные продукты. В таких обстоятельствах фирма может влиять на цену, по которой она продает свою продукцию, не более, чем фермер может влиять на цены на пшеницу или шахтер на цены на уголь. Между тем в то время в бизнесе уже возникали подобию монополий, и на управление ценами тратились огромные суммы. Поэтому, утверждал Сраффа, мысль о том, что свободная рыночная экономика обеспечивает максимальную производительность при минимальных затратах, считавшаяся логическим обоснованием конкуренции, в этих условиях не действует, и необходимо вмешательство государства. Срочно требовалась новая теория, и он сам и еще несколько человек уже разрабатывали различные направления.

Робинсон также подружилась с “любимым учеником” Кейнса Ричардом Каном, красивым, черноглазым ортодоксальным иудеем, ставшим ее верным союзником и помощником. Кан был настолько одаренным человеком, что Кейнс привлек его к переработке своего “Трактата о деньгах”, хотя формально Кан изучал экономику менее года. Ее чрезвычайно увлекало сотрудничество с мужчинами, превосходившими ее по умственным способностям — их интеллект вызывал у нее

восхищение³⁵. Она стала говорить Остину, что он просто рабочая лошадь, в то время как Сраффа — это тигр, и готова была прощать Кану его инфантильность, нарциссизм и еще кое-какие отклонения. Она поняла, что поставлена серьезная задача, и хотела тоже участвовать в ее решении.

Однажды, когда Остин, Джоан и Кан обедали вместе, Остин предложил тему в рамках проблемы, поставленной Сраффой. Заручившись помощью и поддержкой Кана (бывшего ее любовником с середины 1930-го до начала 1933 года), Джоан приняла вызов. Вместе они разработали теорию, показывающую, каким образом реклама, брендинг и инновационные продукты заставляют компании, действующие, казалось бы, в высококонкурентных отраслях, то есть в отраслях с большим числом покупателей и продавцов и без барьеров для выхода на рынок, вести себя подобно монополиям. Вместо того чтобы минимизировать цены для потребителей и максимально увеличивать производство и занятость, они используют свою рыночную власть, чтобы морочить голову потребителям и получать сверхприбыли, снижая занятость и заработную плату. Помещая свою работу в контекст Великой депрессии, Робинсон надеялась найти объяснение тому, почему даже в идеальных условиях свободная рыночная экономика в долгосрочной перспективе все-таки тяготеет к безработице, избытку производственных мощностей и застою.

Вместе с уверенностью Робинсон росли и ее амбиции. В марте 1931 года она написала Кану: «Я прокручиваю в голове идею написания серьезной книги на основе всех этих материалов... Но создавать ее должна не я. Это должна делать команда: ты, Остин и я»³⁶. Как генерал, она поставила задачи для своей армии: Остин пишет введение, Кан формулирует проблемы и пишет математическое приложение, а она пишет черновик книги. Спустя шесть месяцев Робинсон попросила Денниса Робертсона, весьма уважаемого сотрудника Кейнса, специалиста по теории фирм, написать предисловие. Она сказала ему, что уже написала пять глав и наметила еще десять.

По наблюдениям Асланбейгуи и Оукса, Робинсон “явно планировала опубликовать ее только под своим именем”³⁷. Следующие полтора года Робинсон и Кан интенсивно работали над этой книгой, которую Робинсон вскоре стала называть своим “кошмаром”.

Между тем ее сотрудничество с Каном позволило ей войти в ближний круг Кейнса. В первой половине 1931 года Кейнс отбивался от критики “Трактата о деньгах” (особенно со стороны Хайека) и прорабатывал некоторые идеи, которые в зрелом виде вошли в “Общую теорию”. С января по май группа молодых кембриджских экономистов, называвшая себя “Кружок”, в которую входили Сраффа, Кан и Остин, была для Кейнса своего рода пробной аудиторией. Джоан участвовала в ее еженедельных собраниях и — через Кана — начала отправлять Кейнсу свои замечания. Еще один участник этих собраний вспоминал: “Казалось, что Кейнс играет роль Господа в пьесе моралите: он был главным, но редко появлялся на сцене. Роль ангела-посланника при нем играл Кан: он приносил членам “Кружка” сообщения Кейнса и задания от него, и он же возвращался на Небеса с результатами нашей работы”³⁸. Это открыло Робинсон уникальную возможность знакомства со всеми новыми идеями Кейнса, пытавшегося понять и объяснить причины самого тяжелого экономического кризиса в современной истории, и кроме того, позволяло шлифовать собственные аналитические способности.

В какой мере этот новый статус помог ей получить первую официальную, пусть и временную, должность университетского преподавателя, сказать трудно. Но так или иначе, она была назначена помощником преподавателя. Один из ее тогдашних студентов запомнил Джоан как “молодую, энергичную и красивую”. Ее лекции он описал так: “Она использовала очень сложную терминологию... Я мало что понимал, но слушал как замороженный”³⁹.

Несмотря на отнимавшие время новые обязанности, к октябрю 1932 года ее собственная рукопись была почти закончена.

К тому моменту, пишут ее биографы, она уже не колебалась и считала книгу своей⁴⁰. По-видимому, муж, жена и любовник использовали кембриджскую почту с ее ежедневной пятиразовой доставкой для регулярного общения, как современные пары обмениваются письмами по электронной почте. Робинсон прислала Остину восторженную записку:

Я поняла, о чем моя книга. Это случилось только вчера и было как внезапное откровение. Я делала и сделала именно то, что предлагал сделать Пьеро в своей знаменитой статье. Я переписала всю теорию стоимости, отталкиваясь от фирм, которые ведут себя как монополисты. Раньше я думала, что готовлю инструментарий, которым в будущем воспользуется какой-то гений, а оказалось, что я все сделала сама⁴¹.

До сих пор она воспринимала себя только как преподавателя. «Мне казалось, что «я должна рассказать слушателям, что думают экономисты», а теперь я чувствую, что сама экономист, и могу рассказать им о том, что думаю я»⁴². Она сказала Кану, что «О. Р.» увидит, что «она изменилась; снова зауважала себя». И конечно, теперь она явно полагала себя первой среди равных, оригинальным мыслителем, руководящим гением: «Ты, и Кан, и я — эти два года мы взахлеб обучали друг друга экономике. Но именно мне светил горный свет, и это *моя* книга». Трудно не заметить в этом ликования девочки, обыгравшей мальчиков.

Между тем Кан всерьез влюбился в Робинсон. В 1931 году их роман то прерывался, то вновь вспыхивал, что очень беспокоило Кейнса, волновавшегося за карьеру своей подопечной, и Джоан, опасавшуюся, что скандал испортит ее грядущий научный успех. Остин уехал на полгода в Африку, и Джоан настояла, чтобы Кан тоже покинул Кембридж ради исцеления от «любовного недуга». Он решил поехать на год в Америку. Одна, с огромным напряжением сил, чувствуя себя на грани срыва, Джоан лихорадочно заканчивала книгу. Пока она вычитывала рукопись, Кан рекламировал ее книгу в Чикагском

университете, убеждая докторанта (и будущего советского шпиона) Фрэнка Коу включить ее пока еще не опубликованный анализ в свою диссертацию. Затем Кан сообщил обескураживавшую новость: Эдвард Чемберлин, молодой преподаватель из Гарварда, вот-вот должен был опубликовать книгу “Теория монополистической конкуренции”, которая частично перекрывала книгу Робинсон, но должна была опередить ее как минимум на полгода. В феврале Кан приехал в Гарвард, где ухитрился выступить с докладом всего за день до выхода книги Чемберлина. Он утверждал, что теория и аналитические методы Робинсон лучше, и присутствовавший в аудитории Чемберлин не смог убедительно опровергнуть его доводы. “Я ощущаю злорадное удовольствие от того, что Чемберлин не тянет”, — писала Робинсон Кану 2 марта 1933 года в ответ на его сообщение об этом споре. И добавила, что “просто вставит в свое предисловие замечание” о том, что ничего не знала о его работе. Она подумывала о том, чтобы попросить Кейнса позволить ей написать рецензию на книгу Чемберлина для его “Экономик джорнел”, но, “по зрелом размышлении, поняла, что это будет нехорошо” и что она сможет “заняться его книгой позже, после публикации своей”⁴³.

К большому разочарованию Джоан, Кейнс “не выказал большого интереса к теории несовершенной конкуренции” и отказывался верить, что именно монополия является главной причиной периодического падения платежеспособного спроса⁴⁴. Предупредив своих издателей из “Макмиллан”, что они могут счесть книгу недостаточно увлекательной, Кейнс тем не менее порекомендовал опубликовать ее. “Экономическая теория несовершенной конкуренции” вышла в свет осенью 1933 года. Критики сразу же приняли книгу Робинсон на ура, она получила многочисленные одобрительные и даже восхищенные отзывы. Шумпетер, который уже назвал Робинсон “одним из наших лучших мужчин”⁴⁵, мгновенно откликнулся на предложение Кана продвигать ее новую книгу. В своей рецензии Шумпетер похвалил Робинсон за “подлин-

ную оригинальность” и отметил, что эта книга позволяет ей “определенно претендовать на ведущее, а может быть, и на первое место” среди экономистов-теоретиков в этой области, ставя ее выше Кана и Сраффы, а также и Чемберлина⁴⁶.

У Робинсон было огромное преимущество перед Сраффой и Каном: обоим очень тяжело давался писательский труд, а Сраффа к тому же страдал от невроза страха в такой степени, что не мог читать лекции. Она же, напротив, превосходно владела как устной, так и письменной речью, и когда поняла, что ей есть что сказать, стала одним из самых плодovitых авторов в своей области. Завершив финальную корректуру своей рукописи, она сразу начала работать над серией статей и рецензий.

Менее чем через год после выхода “Несовершенной конкуренции” Джоан родила первого ребенка. “Как здорово у тебя получилось! — восхищалась ее подруга Дороти Гаррат в мае 1934 года. — И открытие в экономике, и дочка!”⁴⁷ Робинсон была в восторге от оценки ее работы специалистами. В сентябре того же года, когда Кан отправился в Тилтон для работы над новой книгой Кейнса, она в письме задала ему довольно дерзкий вопрос: “Хочет ли Мейнард, чтобы я написала предисловие к его новой книге, в котором покажу, как изменились его идеи?”⁴⁸ Если вспомнить, что ее общение с Кейнсом чаще всего осуществлялось через Кана или в письменной форме, ее предложение выглядело весьма самонадеянным, тем более что именно Кан был единственным членом “Кружка”, внесшим в новую теорию Кейнса собственный оригинальный вклад — идею мультипликатора. Тем не менее не было никаких сомнений, что как экономист она явно завоевала уважение Кейнса. Несколько лет спустя он признал, что Робинсон “без сомнения [входит] в первую полудюжину” экономистов в Кембридже, то есть причислил ее к группе, включавшей в себя Пигу, Сраффу, Кана и самого Кейнса⁴⁹.

Эндрю Бойл, шотландский журналист, который в 1979 году разоблачил Энтони Бланта, четвертого члена пресловутой

“кембриджской пятерки”, работавшей на советскую разведку, утверждает, что Робинсон была в числе основателей первой коммунистической ячейки в Кембридже. Предполагается, что организовал ее Морис Добб, преподаватель экономики, который в 1931 году привлек в нее своего ученика, а впоследствии советского шпиона Кима Филби⁵⁰. Но Бойл, который переписывался с Робинсон, не ссылается ни на какие источники. Джефффри Харкорт, знавший Робинсон ближе к концу ее жизни, относил начало ее увлечения Сталиным — как он выразился, ее “радикализацию” — к 1936 году⁵¹.

В тот год взгляды Робинсон, несомненно, претерпевали непрерывные изменения. В середине 1936 года в своей рецензии на “Теорию и практику социализма” Джона Стрейчи она весьма критически оценила его утверждение, что лекарством от Великой депрессии является централизованное планирование в советском духе. В отличие от Кейнса она не называла логику Стрейчи “оскорбительной для ее интеллекта”, но вынесла ему выговор за отождествление недостатков господствующей экономической теории с фатальными дефектами экономической системы. “Нельзя же рекомендовать менять систему только потому, что экономисты пишут о ней разную ерунду”, — ехидничала она⁵².

Но полгода спустя Робинсон, по-видимому, смотрела на вещи уже по-другому. Она описывала капитализм как “систему, которая допускает падение платежеспособного спроса среди скученного и недоедающего населения, которая решает проблему безработицы с помощью схем ограничения производства и которая не может предложить бедствующим районам никакой помощи, за исключением оборонных заказов”. Возможно, марксистская догма “чрезмерно упрощена”, признавала Робинсон, но по крайней мере она не противоречит “простому здравому смыслу”. Она рассматривала марксизм как эффективную вакцину “против сложностей экономики невмешательства”⁵³.

В мае 1936 года ее друзья Гарраты познакомили Джоан с английской семейной парой, приехавшей в Кембридж из города

Алеппо в Сирии (именно там происходит действие известного романа Агаты Кристи “Убийство в “Восточном экспрессе”). Дора Коллингвуд была художником-пейзажистом, дочерью известного археолога, художника и секретаря искусствоведа Джона Рескина, а ее муж Эрнест Алтунян, армянин по происхождению, был врачом. Дороти Гаррат характеризовала его как “очень необычного, но привлекательного человека, живущего с таким эмоциональным накалом, что мои чувства кажутся мне обывательскими”. Ему было около сорока пяти, он был близорук и начинал седеТЬ, но у него были “красивые лоб и нос”⁵⁴, вкрадчивый голос и множество романтических друзей, включая детского писателя Артура Рэнсома и Т. Э. Лоуренса, более известного как Лоуренс Аравийский. Последний незадолго до этого погиб, разбившись на мотоцикле, и Алтунян рассказал Робинсон, что надеется найти издателя для своей эпической поэмы, воспевающей их дружбу. Робинсон предложила прочесть поэму и переслать своему дяде. Алтунян был потрясен ее предложением и очень благодарен. Они начали переписываться. В конце месяца он тайно написал ей, что “она — самое прекрасное, что случилось с ним в Англии” и что знакомство с ней “опьянило” его⁵⁵.

Алтунян любил танцевать, и одна из его дочерей говорила, что “он пытался строить свою жизнь как танец и бывал расстроен и подавлен, если обстоятельства препятствовали этому”. Кроме того, он страдал биполярным расстройством. Из Алеппо он начал писать Робинсон длинные и путаные любовные письма. Тем временем Робинсон правила его поэму. Эдди Марш, Кейнс и с десяток других литературных друзей находили ее ужасной, но Робинсон была дамой настойчивой, и в конце концов затравленный редактор издательства Кембриджского университета принял поэму к публикации.

За месяц до публикации поэмы Алтуняна, 12 марта следующего года Джоан села в “Восточный экспресс” на вокзале Виктория. Путешествуя в одиночку на третьем месяце беременности, она напоминала Мэри Дебенхэм из романа Агаты

Кристи: “Держалась она непринужденно, и по тому, как она ела, как приказала официанту принести еще кофе, видно было, что она бывалая путешественница. ... “Решительная молодая женщина, — заключил он, — такая никогда не потеряет голову”. У нее были непринужденные манеры и деловой вид”⁵⁶. По дороге в Яффу и Тверию в Палестине Джоан встретила с Алтуняном в Алеппо.

Второй раз она увиделась с ним наедине только 14 апреля, уже на обратном пути. К тому времени, наблюдая его в окружении неопрятной и несчастной семьи, она, возможно, начала понимать, что очарование ее возлюбленного было в основном плодом ее собственного воображения. Отзывы о его поэме “Почетное украшение” были весьма скудными. “Палестайн пост” назвала его “второразрядным Теннисоном”⁵⁷. Когда она вернулась в Кембридж, эмоциональной опорой в ее жизни снова стал любовный треугольник — она, Остин и Ричард Кан. “Живи она в иное время, она бы путешествовала по пустыне верхом на верблюде, — заметил как-то экономист Фрэнк Хан. — Частью ее личности был характерный для высшего общества отказ идти в ногу, стремление отделиться от толпы”⁵⁸.

Через год после рождения второго ребенка и через несколько недель после захвата Гитлером Чехословакии у Робинсон развился тяжелый приступ мании, и ей пришлось много месяцев пробыть в лечебнице. К тому времени, когда она вышла из нее, Остин уже был назначен на военную должность в Уайтхолл, и физически они разделились. Ее коллег одного за другим призывали на военную службу. В конце концов и Кан был вынужден покинуть Кембридж. Впоследствии он был отправлен в Каир и провел там большую часть войны. Робинсон же осталась в Кембридже.

Глава XII

ВОЙНА ЭКОНОМИСТОВ

КЕЙНС И ФРИДМАН В МИНИСТЕРСТВАХ ФИНАНСОВ

Во время войны мы движемся задним ходом: от эпохи изобилия к эпохе дефицита.

Джон Мейнард Кейнс, 1940¹

Начало войны позволило Хайеку и Кейнсу заключить мир. Оба надеялись, что войны удастся избежать, но у них не было никаких иллюзий относительно приемлемости “мира”, предлагаемого Гитлером. Оба надеялись и верили, что Соединенные Штаты вступят в войну. В противном случае, к тому времени, когда Германия падет, говорил Хайек, “европейская цивилизация будет уничтожена”². Оба считали войну средством защиты, причем не только Великобритании, но и всех достижений эпохи Просвещения с XVIII века. На благотворительном спектакле с целью сбора денег для беженцев в Кембриджском художественном театре в декабре 1940 года Кейнс сказал аудитории, что в Кембридже — тысяча немцев. Сейчас, сказал он, существуют “две Германии”:

Присутствие здесь Германии в изгнании... это признак того, что война идет не между народами и империализмом, а между двумя противоположными образами жизни... Наша цель в этой безумной, но неизбежной борьбе — не победить

Германию, но преобразовать ее, вернув ее в историческое лоно западной цивилизации, институциональными основами которой являются... христианская этика, дух познания и соблюдение законности. Только на этих основах может существовать личная жизнь³.

Ко времени начала бомбежек летом 1940 года Кейнс и Хайек в течение нескольких месяцев обменивались письмами относительно эвакуации Лондонской школы экономики в Кембридж, помощи ученым-евреям, бежавшим из захваченной нацистами Европы, и мер по облегчению участи зарубежных коллег, признанных “враждебными иностранцами” в панические недели после падения Франции в июне 1940 года. В октябре Кейнс выбил для Хайека жилье и профессорские привилегии в Королевском колледже. В длинные выходные, которые Кейнс по-прежнему проводил в Кембридже, они часто бывали в букинистическом магазине “Дж. Дэвид” в двух шагах от Кембриджского художественного театра и обменивались историческими диковинками.

Но более удивительным было то, что война привела Хайека и Кейнса на одну сторону политэкономических баррикад. На протяжении большей части 1930-х годов Хайек отвергал тезисы Кейнса относительно борьбы с Великой депрессией с помощью “легких денег” и дефицитного финансирования как “пропаганду инфляции” и однажды, в частном порядке, даже назвал своего оппонента “врагом народа”⁴. Но в 1939 году он уже весьма лестно отзывался о Кейнсе в газетных статьях. К большому огорчению некоторых друзей и учеников левого толка, война превратила Кейнса в ярого противника инфляции.

Что же случилось? Изменились обстоятельства. После Первой мировой войны Британия практически ликвидировала свою армию и военно-воздушные силы, так что для игры в догонялки с гитлеровской Германией потребовалось резкое увеличение государственных расходов начиная с 1937 года. Отчасти опасаясь, что повышение налогов усугубит безработицу,

которая все еще колебалась на уровне около 9%, а отчасти потому, что идея перевооружения была непопулярной, правительство премьер-министра Невилла Чемберлена решило не повышать налоги, а вместо этого выпустить в продажу долговые расписки — в виде облигаций. В результате еще до объявления войны национальный долг Великобритании взлетел до заоблачных высот. В первом военном бюджете, опубликованном в сентябре 1939 года, прогнозировался дефицит в 1 миллиард фунтов стерлингов, что составляло немыслимые 25% годового национального дохода Великобритании.

Крупномасштабное дефицитное финансирование произвело значительный эффект. Экономика резко пошла вверх, особенно на юге Англии, где расширялись порты и базы и строились оружейные заводы. Именно к этим, теперь с опозданием реализованным мерам призывал Кейнс в 1933 году, и это казалось подтверждением его “Общей теории”.

Логично было бы ожидать, что Кейнс обрадуется, что министерство финансов, упорно отвергавшее его советы в конце 1920-х и начале 1930-х годов, теперь прониклось “кейнсианством”. Но вместо этого, пишет Скидельски, он выражал все более сильное беспокойство и недовольство действиями правительства. Набрав огромный долг, а затем печатая деньги, чтобы удерживать процентные ставки от повышения, правительство сеяло семена будущей инфляции. Теперь, когда война стала фактом, ситуация могла только ухудшаться. Кейнс отрицал, что его взгляды изменились: изменились обстоятельства. В 1933 году уровень безработицы составлял 15%, а в 1939 году он был ниже 4% и продолжал падать, и промышленники жаловались на нехватку квалифицированных механиков и инженеров. В свое время, пытаясь решить проблему огромного дефицита спроса во время депрессии, Кейнс предложил экономику изобилия. Теперь он использовал ту же логику в противоположной ситуации: в условиях избыточного спроса во время войны.

После Первой мировой войны следствием инфляционного финансирования войны и огромных долгов стал

экономический и политический хаос. Теперь, в середине ноября 1939 года, он представил свой “план Кейнса” в двух статьях в “Таймс”⁵. Чтобы восполнить разрыв между расходами и налоговыми поступлениями в размере 400–500 миллионов фунтов стерлингов, он предложил ввести военный налог на прибыль. Фокус был в том, что после войны эти деньги должны были быть возвращены, что позволяло Кейнсу, как и Шумпетеру в 1919 году, называть этот налог “принудительными сбережениями”. Скидельски отмечает, что в опубликованной несколько месяцев спустя статье “Как оплатить войну” была наглядно представлена “его концепция бюджета как инструмента экономической политики”⁶. Один из самых теплых отзывов на нее пришел от Хайека, который поддержал предложения Кейнса в колонке в “Спектейторе”, а ему самому написал: “Утешительно сознавать, что мы настолько согласны друг с другом в отношении экономики дефицита, даже если мы расходимся во взглядах на период ее применимости”⁷.

Кейнс хорошо понимал, что дни его сочтены. Обширный инфаркт в 1937 году заставил его преждевременно уйти в отставку и удалиться в Тилтон. Два года заботливого ухода Лидии, немецкое чудо-лекарство и сумасшедшие мечты Германии о покорении мира позволили ему сыграть третий, заключительный акт.

Накануне “Битвы за Британию”, — попытки Гитлера уничтожить английские ВВС на земле — Кейнс вернулся в министерство финансов “для исполнения особых поручений и членства в различных комиссиях высокого уровня”, при этом у него не было “конкретных обязанностей и присутственных часов”⁸. Премьер-министр Уинстон Черчилль, последний лев Великобритании, уделял мало внимания механизмам финансирования войны против Гитлера и еще меньше — послевоенным экономическим механизмам. Ими вплотную и занялся Кейнс, во время Второй мировой войны фактически взявший на себя роль министра финансов при Черчилле. В 1919 году,

страстно возражая против Версальского договора, он предупреждал: “мечь, рискну предсказать, не заставит себя долго ждать”, если победители будут настаивать на разорении побежденных. И когда время подтвердило его трагическую правоту, пишет Скидельски, “единственной и главной целью” Кейнса стала забота о том, чтобы в этот раз союзники “поступили умнее, чем в прошлый”⁹.

Когда после сокрушительного поражения Франции Британия осталась один на один с могучей военной машиной Германии, министерство финансов, а следовательно, и Кейнс неотступно думали о том, где и как брать деньги на продолжение войны. Если избранная Гитлером стратегия последовательного завоевания стран не требовала перевода всей экономики Германии в режим тотальной войны, то Британия не могла позволить себе роскошь вести ограниченную войну. Будучи агрессором, Гитлер сам решал, когда и на кого напасть, и его стратегия блицкрига была “самофинансируемой” в том смысле, что он оплачивал свои военные кампании, грабя побежденных. Великобритания же могла выбрать только одно из двух: или принять предложение Гитлера о “мире” и, значит, разделить постыдную судьбу Франции — и хотя старый политический наставник Кейнса Ллойд Джордж был готов стать маршалом Петеном при короле Георге VI, а левые продолжали антивоенные демонстрации, у британских избирателей этот вариант не прошел бы — или забыть о финансовом благоумии и финансировать тотальную войну, не думая о том, что будет после нее. Кейнс не сомневался в правильности последнего варианта, но при этом не переставал ломать голову над тем, как можно смягчить негативные последствия такой политики. Он снова был “увлечен, энергичен и доволен”¹⁰. Он писал другу: “Ну вот, я словно периодическая десятичная дробь: делаю совершенно ту же самую работу, в том же месте и в условиях такого же чрезвычайного положения”¹¹.

С августа 1940 года Кейнс проводил за письменным столом до восемнадцати часов в день, часто работая в глубоком подвале

казначейства. Как и Хайек, который во время первого этапа бомбардировок настаивал на том, чтобы оставаться в Лондоне и каждый день ездить в Кембридж, он пренебрегал опасностью, отрицал возможность германского вторжения и надеялся, что его книги и картины останутся невредимыми. Теперь, когда он был доверенным лицом и имел доступ ко “всем самым сокровенным тайнам”, а также к канцлеру казначейства, чей кабинет располагался рядом с его собственным, у Кейнса появилось намного больше возможностей влиять на британскую финансовую политику, чем во время Первой мировой войны. Доверенное лицо — да, но по-прежнему бунтарь. Ни пожилой возраст, ни статус знаменитости, ни больное сердце не умеряли его негодования по поводу несостоятельности первокурсников Королевского колледжа и ярости, выплескивавшейся на страницы работы “Экономические последствия мира”. “Плотнику с молотком все кажется гвоздем”, — гласит старинная поговорка. Кейнсу все казалось проблемой, которую он может решить лучше, чем те, у кого были для этого полномочия. Он занимался всем — от тарифов на коммунальные услуги до налогов на пиво, часто неправильно оценивая ситуацию и вызывая раздражение окружающих. Однажды он даже послал Ричарду Кану, который в то время был откомандирован в Египет, план реорганизации всей транспортной системы Каира.

Основная задача Кейнса, как и в прошлую войну, состояла в том, чтобы ослабить ремешки, стягивавшие американский кошелек. С начала мая 1941 года — перед вступлением Америки в войну, в разгар ожесточенных споров с Соединенными Штатами о предоставлении морского эскорта для охраны поставок вооружений в Великобританию — Кейнс провел в Вашингтоне одиннадцать недель в качестве британского представителя. Это был его третий визит в США — предполагалось, что такие визиты “соответствуют серьезности заболевания и должны привести к выздоровлению”¹². На этот раз Кейнс отказался от уже привычного трансатлантического путешествия

на лайнере “Куин Мэри” и полетел на самолете “Атлантик Клипер” компании “Пан Американ”. В Северной Атлантике немецкие подводные лодки вели охоту на английские корабли (и каждый месяц топили примерно по 60 судов), так что путешествие на самолете было безопаснее, хотя и не обязательно намного быстрее, поскольку расписание полетов то и дело менялось. Как только Кейнс сошел на летное поле в аэропорту Ла-Гардия, где его ожидали репортеры, он первым делом начал вслух фантазировать о ежедневном воздушном сообщении между Лондоном и Нью-Йорком, а затем напал на американских изоляционистов.

Победа Германии будет означать, что связь Америки и Старого Света разорвется навсегда, заявил он. “Американская экономика вообще не сможет функционировать на своей нынешней основе. Об этом нельзя даже думать”. Не все оценили его лекцию должным образом. Крайний изоляционист сенатор Бертон Уилер от штата Монтана насмешливо говорил: “Американский народ возмущен тем, что эти иностранцы пытаются втянуть нас в войну, давая бесплатные советы по управлению нашей страной, после того как потерпели сокрушительный провал в управлении собственной”¹³. Под “сокрушительным провалом” сенатор подразумевал неспособность Великобритании платить по счетам. После перевода экономики на военные рельсы Англия была вынуждена оплачивать импорт твердой валютой, однако возможность зарабатывать твердую валюту за счет экспорта она потеряла. Когда лорд Лотиан, посол Великобритании, прямо заявил: “Ну, ребята, Великобритания — банкрот. Нам нужны ваши деньги”, в министерстве финансов США просто отказались верить, что Британской империи не хватает золотого запаса¹⁴.

Однако после Первой мировой войны в США сформировалась настолько глубокая антипатия к тому, чтобы жертвовать жизнями американских солдат и тратить американские деньги в братоубийственных европейских войнах, что пока Германия, Россия и, с запозданием, Англия и Франции перевооружали

свои армии, Соединенные Штаты осуществляли одностороннее разоружение. Хотя США имели крупнейший в мире военно-морской флот, американская армия представляла собой “маленькую кадрированную армию” численностью 200 тысяч человек, а все военно-воздушные силы состояли из 150 истребителей. В 1940 году Соединенные Штаты тратили на оборону менее 2% от годового дохода, а на продажи оружия иностранным правительствам были наложены строгие законодательные ограничения. Закон Джонсона от 1934 года был направлен именно против Великобритании. Он запрещал продажу оружия любой стране, которая прекратила платежи по своим долгам времен Первой мировой войны.

Капитуляция Франции и почти полное уничтожение британского экспедиционного корпуса в Дюнкерке в июне 1940 года заставили американцев переоценить ситуацию. Даже в год выборов нельзя было отрицать, что Германия, тем более в союзе с СССР, представляет серьезную потенциальную угрозу для Соединенных Штатов. Гитлер осуществлял огромную программу строительства эсминцев и самолетов и требовал от каудильо Испании Франсиско Франко согласия на размещение немецких баз в Западной Испании, то есть явно имел в виду Америку. Конгресс быстро выделил 4 миллиарда долларов на вооружение и поставил задачу: к концу 1941 года иметь “под ружьем” 2 миллиона человек.

Однако это перевооружение было ориентировано строго на “оборону полушария”¹⁵. Подавляющее большинство избирателей было убеждено в том, что Англии не удастся избежать поражения. Между тем, как заметил историк Алан Милуорд, эта мрачная перспектива стала еще более вероятной в свете решения США о перевооружении. Англичане заказали у американских военных подрядчиков вооружений на 2,4 миллиарда долларов, то есть такое количество кораблей, самолетов и грузовиков, которое на несколько лет обеспечило работой оборонные предприятия США. А теперь американские заказы могли помешать выполнению английских.

Ленд-лиз — плод озарения Рузвельта — был рассчитан на то, чтобы удержать Америку вне войны, обеспечивая участие в войне Англии. Президент в отличие от посла в Лондоне Джозефа Кеннеди и многих своих ближайших советников считал, что при надлежащей поддержке со стороны США Великобритания сможет одержать победу. Речь Черчилля, его слова “мы никогда не сдадимся” во время эвакуации из Дюнкерка убедили Рузвельта, что “между Лондоном и Берлином не будет никаких переговоров” — на них настаивали антивоенные группировки от коммунистической партии до комитета “Америка прежде всего”, а также два члена британского военного кабинета и посол Кеннеди¹⁶.

Военные заказы Англии оживили американскую экономику и снизили уровень безработицы. Единственная проблема состояла в том, что за поставки вооружений Англия не могла рассчитываться с США деньгами, поскольку она уже не была способна зарабатывать доллары за счет экспорта; именно это Черчилль объяснил президенту в “письме с просьбой о помощи”, отправленном после переизбрания Рузвельта в ноябре 1940 года¹⁷. Ответ Рузвельта прозвучал на пресс-конференции, где он заявил журналистам, что “на ближайшее время лучшей обороной Соединенных Штатов является успешная оборона Великобритании”¹⁸. При этом президент не забыл напомнить американцам об экономических выгодах военных поставок в Англию. Он иллюстрировал свою точку зрения притчей: “Если дом соседа загорелся, а у вас есть шланг, вы же не будете пытаться продать его: вы одолжите ему шланг, с тем чтобы он вернул его, когда пожар будет потушен”. “То, что я пытаюсь сделать.. это избавиться от дурацкого старого знака доллара”, — сказал Рузвельт¹⁹. Соединенные Штаты направят Великобритании все необходимое ей вооружение и другие товары за счет американских налогоплательщиков в обмен на обещание Великобритании вернуть долг натурой, когда война будет выиграна. Вечером 29 декабря, когда немецкие бомбардировщики превратили финансовый район Лондона в руины, в очередной

радиопередаче из серии “Беседы у камина” президент заявил: “Мы должны быть великим арсеналом демократии”²⁰.

Предложение Рузвельта требовало одобрения Конгресса, поскольку уже в качестве первого шага он просил выделить 7 миллиардов долларов. Его противники утверждали, что ленд-лиз неизбежно втянет Америку в войну, спровоцировав нападение Германии. Иные вообще пугали тем, что отправленное в Великобританию вооружение после ее неизбежного поражения попадет к нацистам. Но президент добился своего: 10 марта 1941 года Конгресс одобрил его предложение с дополнением, запрещающим направлять корабли ВМС США в зону военных действий.

Черчилль приветствовал ленд-лиз как “самый бескорыстный акт в истории мира”. И действительно, новое соглашение дало сигнал к началу поставок кораблей, самолетов и продовольствия с американских заводов и ферм на сумму 50 миллиардов долларов, и таким образом традиционная американская практика выдачи займов союзникам на чисто коммерческой основе приостанавливалась. Но тем не менее ремешки на кошельке оставались, и Кейнс был решительно настроен ослабить их.

Однако ровно через день после того, как Белый дом направил в Конгресс законопроект по ленд-лизу, между Великобританией и Соединенными Штатами разразился спор, связанный с тем, что этот закон должен был распространяться только на те заказы, которые делались после вступления его в силу, а сделанные ранее заказы должны были оплачиваться на прежних условиях. Черчилль утверждал, что платежи по уже заключенным контрактам “исчерпали ресурсы [страны]”²¹. Когда он посетовал, что “с нас хотят не только содрать кожу, но и обглодать до костей”, он имел в виду одно особенно обременительное условие²². Чтобы доказать, что Великобритании действительно нужна помощь, она должна была до начала поставок

по ленд-лизу исчерпать все свои долларовые резервы, фактически оплатив строительство американских заводов, которые будут производить оружие для Великобритании. Для этого Америке передавались остатки золотого запаса Англии. США направили эсминец в британскую Южную Африку, в Кейптаун, чтобы забрать слитки на сумму 50 миллионов долларов, которые Лондон там хранил. Кроме того, от Великобритании потребовали продать свои акции американских компаний и американские филиалы английских корпораций в условиях вялой рыночной конъюнктуры. Да еще за несколько недель до одобрения закона о ленд-лизе представитель казначейства Великобритании в Нью-Йорке, занимавшийся распродажей акций (примерно на 10 миллионов долларов в неделю), обнаружил манипуляции с целью приобретения послевоенных коммерческих преимуществ.

Со свойственным ему оптимизмом Кейнс был убежден, что Соединенные Штаты не будут безучастно наблюдать за тем, как Англия уподобляется вишистской Франции, но он недооценивал стремление американцев избежать участия в войне. Ленд-лиз преследовал именно эту цель. В дополнение к своему предвыборному обещанию — «Я говорил раньше и буду повторять снова и снова: мы не пошлем наших парней ни на какую иностранную войну»²³ — Рузвельт неоднократно заверял Конгресс, что Соединенные Штаты вступят в войну только в случае нападения на них. Его оппоненты слева и справа обвиняли его в тайном маневрировании, чтобы вызвать провокацию, однако факты свидетельствуют о том, что вплоть до Перл-Харбора президент действительно надеялся избежать вступления США в войну. «Возможно, приближается момент, когда немцы или японцы совершат какую-нибудь глупость, которая втянет нас в войну, — говорил президент своим помощникам. — Реально мы можем вступить в войну только в том случае, если они споткнутся»²⁴. Очевидно, что президент имел в виду именно то, что говорил. Ведь когда Кейнс прибыл в Вашингтон, Соединенные Штаты уже изучали

послания немецких шифровальных машин “Энигма”, которые британцы предоставили им в апреле, но не для того, чтобы выслеживать подводные лодки Германии, а чтобы *избежать* встреч с ними²⁵.

Кейнс обвинил Соединенные Штаты в том, что они “обращаются с нами хуже, чем мы когда-либо позволяли себе обращаться с самой безответной и самой безответственной балканской страной”, и заявил, что Великобритания должна бороться, чтобы сохранить “достаточно средств для самостоятельных действий”²⁶. Идея состояла в том, чтобы ограничить зависимость Великобритании от ленд-лиза и, таким образом, ослабить американский контроль над британским платежным балансом. Кейнс отправился в Вашингтон в качестве личного представителя министра финансов, чтобы попытаться облегчить условия оплаты британских заказов, сделанных до принятия закона о ленд-лизе. Его цель заключалась в пополнении резервов Великобритании и доведении их до 600 миллионов долларов. Формирование денежных резервов под прикрытием ленд-лиза — именно против этого выступали американцы.

Первая встреча Кейнса с министром финансов Рузвельта Генри Моргентау закончилась провалом. Снисходительный профессорский тон Кейнса раздражал министра. Предложение Кейнса о возвращении министерством финансов США 700 миллионов долларов уже выполненных авансовых платежей по заказам, сделанным до начала ленд-лиза, шло вразрез с обращенными к Конгрессу уверениями президента, что ленд-лиз будет распространяться только на будущие заказы. С Рузвельтом Кейнс встречался дважды, второй раз — в 1941 году, после того как Германия нарушила пакт, заключенный со Сталиным, и вторглась в Советский Союз. Ему удалось получить кредит, который позволил Великобритании отложить продажу своих активов по ценам ниже рыночных, предложив в качестве залога лучшее британское имущество и согласившись на высокую процентную ставку.

В первые год-два войны кейнсианство окрепло. Гигантское наращивание военной мощи при дефицитном финансировании позволило достигнуть того, чего не удалось достигнуть другими средствами борьбы с Великой депрессией, а именно ликвидировать огромную армию безработных, сохранявшуюся до конца 1930-х. Поскольку с помощью монетаристской политики восстановить полную занятость явно не удавалось, для молодых экономистов ликвидация безработицы стала убедительным подтверждением того, что экономика работает так, как писал Кейнс в своей “Общей теории”. К 1941 году вашигтонская военно-бюрократическая машина была нашпигована сторонниками кейнсианства, как булка изюмом.

Молодые кейнсианцы завоевали доверие правительственной бюрократии за счет одного сбывшегося прогноза, сделанного в начале войны. Бизнесмены, консультировавшие Комитет военно-промышленного производства, в большинстве своем были убеждены, что производственные мощности экономики “весьма ограничены”, и скептически оценивали возможность быстрого увеличения выпуска вооружений и материалов, как того хотел президент. Кейнсианцы в Управлении по регулированию цен не соглашались с этим. Во время одного из приездов Кейнса в Вашингтон они попросили своего лидера высказаться по этому поводу. Кейнс в очередной раз проявил свой талант быстро давать приближенные оценки на основе скудных фактов. “Так, на сколько выросло производство в 1929 году по сравнению с 1914 годом? — спросил он. — Это был пятнадцатилетний период, а с 1929 года прошло двенадцать лет, так что давайте возьмем 12/15 этого прироста... Я думаю, это будет разумный ориентир”²⁷. Специалисты по прогнозированию из Управления по регулированию цен тоже так подумали. Кейнс рассуждал следующим образом: поскольку в течение всего — довольно длительного — периода с начала Первой мировой войны до конца двадцатых средний уровень безработицы был низким, этот период показывает, с какой скоростью *может* расти экономика, если спрос не по-

давляется. Прогнозы Кейнса и его сторонников оказались удивительно точными. Один из сотрудников Управления по регулированию цен сказал: “Кейнсианское крыло государственной службы США доказало свою правоту”²⁸.

К 1941 году кейнсианцы доминировали в четырех государственных учреждениях, созданных в период “нового курса” Рузвельта: Национальном союзе фермеров, Национальной ассоциации планирования, Бюджетном управлении и Национальном совете по планированию ресурсов. Группы кейнсианцев была и в министерстве финансов. Несколько сторонников Кейнса занимали достаточно высокие посты в администрации Рузвельта и могли влиять на экономическую политику. Среди них были Джон Кеннет Гэлбрейт, заместитель начальника Управления по регулированию цен, Марринер С. Эклс, председатель Федеральной резервной системы, Локлин Карри, один из шести помощников Рузвельта по административной работе, и Гарри Декстер Уайт, де-факто руководитель аппарата министра финансов Генри Моргентау. Если давние противники Кейнса стали разделять его взгляды, то некоторые из его самых фанатичных поклонников в Вашингтоне, наоборот, были встревожены. На ужине у Карри несколько молодых людей пытались убедить Кейнса, что “план Кейнса” не годится для Соединенных Штатов. Уровень официальной безработицы все еще выражался двусмысленным числом, а в некоторых отраслях промышленности по-прежнему сохранялись большие избыточные мощности. В этих условиях сокращение расходов, увеличение налогов и другие подобные меры экономии, по их мнению, только обострили бы ситуацию и могли оборвать процесс восстановления задолго до того, как экономика приблизится к полной занятости. Кейнс оказался прав, но в любом случае он не колебался. Он признавал: “Молодые чиновники и советники представляют мне исключительно способными и энергичными” Однако отметил, что “очень решительных евреев среди них, может быть, чересчур много”²⁹.

Джон Кеннет Гэлбрейт, сельский парень из Канады, который выглядел и говорил как английский лорд, любил повторять, что идеи Кейнса пришли в Вашингтон через Гарвард³⁰. Но точнее было бы сказать, что они также пришли из Университета Висконсинна, Колумбийского университета, Городского университета Нью-Йорка, Массачусетского технологического института, Йельского университета и, самое главное, из Чикагского университета.

Милтон Фридман, недавно получивший докторскую степень в Чикаго, не присутствовал на ужине у Локлина Карри, где был Кейнс, но тем не менее тогда, в 1941 году, этот будущий лидер антикейнсианской политики монетаристского возрождения времен Рейгана был одним из самых ярких молодых кейнсианцев в министерстве финансов. И случилось так, что именно Фридман сделал больше многих для того, чтобы кейнсианство получило практическое распространение в Соединенных Штатах.

Фридман родился перед самой Первой мировой войной в семье еврейских “синих воротничков”, эмигрировавших из Венгрии и поселившихся в Бруклине в последнем десятилетии XIX века. Он рос в комнате над лавкой своих родителей на улице Мейн-стрит в фабричном городке Рахвей, штат Нью-Джерси, расположенном на железнодорожной линии между Нью-Йорком и Филадельфией и известном тем, что в 1903 году Джордж Мерк перенес сюда свой химический завод. Фридман видел, как родители пытались преуспеть то в одном, то в другом деле (в частности, содержали кафе-мороженое), но неудачно. Хотя основная нагрузка по поддержке семьи пала на мать, именно отцу было суждено умереть от инфаркта в возрасте сорока девяти лет, когда Фридману было пятнадцать. Еще в школе он прочитал роман Скотта Фицджеральда “По эту сторону рая” о взрослении в Принстоне. Его герой Эмори Блейн обладал “оригинальностью, обаянием, магнетизмом, умением затмить любого сверстника и очаровать любую женщину”. Фридман был ростом не более 150 см,

носил очки и был беден, так что его сходство с Блейном, мнимо говоря, было неполным, но он мог развивать в себе то, что Блейн ценил более всего: “Ум. В этом смысле он ощущал очевидное, неоспоримое превосходство”³¹.

В мире Фридмана это означало стать актуарием. Идея в виду эту цель, чемпион школы по дебатам Фридман отправился не в Принстон, а в университет Ратгерса. Великая депрессия, а также молодой преподаватель и будущий председатель Федеральной резервной системы Артур Бернс убедили его отказаться от изучения бухгалтерского учета и заняться экономикой. Чтобы удержать на плаву свою личную экономику, студентом он торговал пиротехникой, готовил к экзаменам других студентов и писал заголовки для студенческой газеты. После окончания университета Ратгерса в 1932 году Фридман проехался по всей стране, прежде чем осенью поступить в Чикагский университет, преподаватели которого относились к реформе “цинично, прагматично и негативно”, но были реформаторами по духу, и куда принимали, в частности, евреев из низших слоев общества³². В конце первого курса он познакомился с Роуз Директор, младшей сестрой одного из профессоров, съездил с ней на Всемирную выставку в Чикаго и влюбился.

Через три года, когда Фридман закончил курсовую работу и исчерпал свои сбережения, “новый курс” оказался для него “палочкой-выручалочкой”³³. Все лето 1935 года он напрасно ждал предложений по чтению лекций. Вакансий преподавателей было мало, плюс антисемитизм сводил к минимуму вероятность получения им подобной должности. Если бы один из преподавателей не пригласил Фридмана на исследовательскую работу в Вашингтон, он вполне мог бы отказаться от избранной карьеры и вернуться к бухгалтерскому учету. Однако будучи искренним сторонником “нового курса” (консервативный брат Роуз аттестовал Фридмана как человека, “очень сильно увлеченного “новым курсом””³⁴), Фридман отправился и способствовать “рождению нового порядка”, который предусматривал множество социальных изменений³⁵.

Фридман работал в Национальном комитете по ресурсам — одном из дюжины “плановых органов”, созданных при первой администрации Рузвельта. “Планирование” тогда пользовалось большой популярностью. Предложения по установлению целевых показателей сельскохозяйственного производства, цен в промышленных отраслях и минимальной заработной платы формировались не на основе сталинской экономической доктрины, а согласно взглядам английских финансистов и лейбористов. Однако на практике планировщики “нового курса” занимались в основном учетом национального дохода и прогнозированием будущих объемов производства и занятости. Джон Мейнард Кейнс упорно настаивал на том, чтобы правительство Великобритании и США создали систему учета национального дохода — по аналогии с ежегодными отчетами о прибылях корпораций. Без надежных данных о том, сколько продукции ежегодно производит экономика, какой доход образуется в виде заработной платы, прибыли, процентов и ренты и сколько денег и на что тратят семьи, бизнес и правительство, правительство и бизнес работали в потемках. Без таких данных невозможно было обнаружить дисбаланс между спросом и предложением и оценить его величину. Однако создание системы учета национального дохода с использованием одних только арифмометров требовало огромных затрат труда и времени. Поэтому возникла обширная программа общественных работ для аспирантов экономических специальностей. Герберт Штейн, один из однокурсников Фридмана по Чикагскому университету, как-то подсчитал, что число экономистов в Вашингтоне выросло со ста человек в 1930 году до пяти тысяч в 1938-м³⁶.

Фридману поручили составить первую большую базу данных о потребителях и их покупках. Хотя эта работа была чисто статистической, позднее Фридман использовал накопленный в то время опыт в некоторых своих лучших сочинениях, в том числе при разработке “гипотезы перманентного дохода”, за которую, в частности, он получил Нобелевскую премию

по экономике в 1976 году. Эта теория, помимо всего прочего, объясняет, почему из прибыли, образовавшейся при разовом снижении налогов, или других случайных поступлений потребители обычно тратят меньшую часть по сравнению с расходом прибыли от долгосрочного снижения налогов или других постоянных поступлений.

Через два года, когда начавшееся в 1933 году восстановление экономики с полдороги повернуло вспять, Фридман перебрался из Вашингтона в Нью-Йорк и начал работать в Национальном бюро экономических исследований. Здесь он присоединился к группе, созданной профессором Колумбийского университета Саймоном Кузнецом, который разрабатывал первый полный комплект отчетов о национальном доходе США. Кроме заполнения пробелов в данных задача Фридмана состояла в том, чтобы в деталях оценить доходы самостоятельно работающих лиц умственного труда.

В ходе исследования он обнаружил, что, несмотря на огромный приток еврейских врачей, эмигрировавших в США после прихода Гитлера к власти в 1933 году, число выданных медицинских лицензий за прошедшие пять лет не увеличилось, и был потрясен этим. Возмущенный господством профессиональных групп, не допускающих “чужаков” в свои сферы, Фридман написал статью, резко обличавшую систему лицензирования. Он и сам в полной мере испытал влияние этой власти, когда член совета директоров Национального бюро экономических исследований, имевший связи в фармацевтической отрасли, на три года задержал публикацию его результатов. В то же время он задавался вопросом: зачем так беспокоиться? “Мир разваливается... а мы сидим и занимаемся средними величинами, среднеквадратичными отклонениями и доходами лиц умственного труда”. Так писал он в 1938 году своей невесте, младшей сестре Аарона Директора. “Но, черт возьми, что же еще мы можем сделать?”³⁷

Летом того же года Фридман женился на Роуз Директор, девице столь же язвительной, энергичной и консервативной,

как и ее брат. Когда осенью 1941 года Фридман вернулся в Вашингтон, он уже закончил докторантуру и успешно справился со своей первой, дьявольски трудной преподавательской работой в университете Висконсина, где преобладали настроения нейтралитета и антисемитизма. Молодая пара утешала себя мыслью, что рано или поздно Соединенным Штатам все же придется вступить в войну. К тому времени, как Гитлер напал на своего союзника СССР, Фридманы уже радовались своему переезду в Вашингтон, где их ожидала важная работа, имевшая отношение к войне. Этим летом Фридман написал статью “Налогообложение для предотвращения инфляции” в соавторстве с профессором Колумбийского университета — специалистом по государственным финансам, который пригласил его на работу в отдел налоговых исследований министерства финансов. В прошлый раз Фридман работал в Вашингтоне статистиком. Теперь он намеревался играть более значительную роль в формировании политики.

После Дюнкерка вероятность вступления Соединенных Штатов в войну увеличилась, и администрацию Рузвельта очень беспокоил вопрос, где взять на это деньги. Экономика США уже переориентировалась на помощь европейским союзникам, а текущее наращивание военной мощи требовало еще большего увеличения расходов. Нежелательным побочным эффектом перехода экономики на военные рельсы стала вновь выросшая инфляция. В 1940–1941 годах потребительские цены увеличились на 5% — это был самый большой годовой прирост с 1920 года. Сейчас такой темп вряд ли сочли бы опасным, но в то время его оказалось достаточно, чтобы возродить неприятные воспоминания о годах после Первой мировой войны — годах инфляции, протестов против повышения стоимости жизни, и последовавшей за ними жестокой рецессии, которая рассматривалась как прямое следствие инфляции.

В Первую мировую войну налоговые поступления покрывали только две трети расходов Вашингтона — остальное финансировалось за счет выпуска облигаций. Рассуждая логиче-

ски, можно было предположить, что правительство занимало деньги, чтобы покрыть разрыв между доходами и расходами. Но здесь логика давала сбой. Дело в том, что на самом деле подобные “заимствования” представляли собой в основном скрытую форму печатания большого количества денег. Федеральная резервная система призывала входившие в ее состав коммерческие банки одалживать деньги своих клиентов для приобретения военных облигаций. Для соответствующего увеличения своих резервов банки, в свою очередь, заимствовали средства у центрального банка “путем дисконтирования кредитов в ФРС, то есть фактически занимали деньги у Федеральной резервной системы под залог кредитов, залогами по которым служили государственные облигации. В результате... объем валюты и депозитов в Федеральной резервной системе... увеличился на 2,5 миллиарда долларов... однако прямые покупки государственных ценных бумаг при этом составляли лишь около 1/10, а все остальное были кредиты, предоставленные избранным банкам”³⁸.

Резкое увеличение денежной массы привело к росту инфляции. Для фермеров, шахтеров и компаний-застройщиков инфляция стала головокружительным продолжением военного бума. Но когда Федеральная резервная система повысила процентные ставки, оптовые цены просели на 44% и бум превратился в резкий экономический спад. Политические потрясения привели в Белый дом республиканца Уоррена Гардинга, который вел свою предвыборную кампанию под лозунгом “возвращения к нормальной жизни”. Как избежать повторения подобной катастрофы? После Второй мировой войны этот вопрос стал главным для чиновников-демократов из министерства финансов.

К тому времени, как Фридманы переехали в квартиру вблизи Дюпон-серкл, в нескольких минутах ходьбы от здания министерства финансов, повадками смахивающий на бульдога помощник министра финансов Гарри Декстер Уайт ворчал, что дела идут не очень хорошо. “Ситуация выходит

из-под контроля, — прорычал он Гэлбрейту после одного совещания по проблемам инфляции. — Вы должны действовать”³⁹. Министр уже приказал налоговому отделу подготовить предложения по структурной перестройке федеральной налоговой системы. Практически все споры в Вашингтоне о борьбе с инфляцией сводились к тому, что эффективнее: контролировать цены и зарплаты или налогообложение. В конечном счете администрация Рузвельта решила использовать и то и другое.

Выборочное регулирование цен начали проводить еще с апреля 1941 года, с тем чтобы не допустить “раскручивания ценовой спирали, роста стоимости жизни, спекуляции и инфляции”, и для решения этой задачи было создано Управление по регулированию цен⁴⁰. После того как Бернард Барух заявил комиссии Конгресса: “Я не верю в фиксацию цен по отдельным товарным группам и считаю, что сначала нужно установить потолок для всей ценовой структуры, включая заработные платы, арендные платы и цены на сельскохозяйственную продукцию... а затем разработать отдельные графики цен с повышением или понижением, по мере необходимости”⁴¹, Управление по регулированию цен получило полномочия устанавливать цены и заработную плату в большинстве отраслей.

Первоначально между министерством финансов и Управлением по регулированию цен возникли разногласия по поводу размера налогов, поскольку один из аргументов Баруха в пользу расширения контроля над бизнесом состоял в том, что это позволит обойтись меньшим повышением налогов. Но решение о замораживании цен вступило в силу в 1942 году и позволило этим учреждениям договориться о налогах. Фридману поручили первое серьезное задание: определить, сколько нужно собрать налогов, чтобы сдержать инфляцию.

Фридман впервые предстал перед комиссией Конгресса 7 мая 1942 года и предложил собрать дополнительные налоги на сумму 8,7 миллиарда долларов, назвав эту сумму “наименьшей, достаточной для успешного предотвращения

инфляции”⁴². Ход мыслей Фрийдмана совпадал с аргументацией Кейнса в защиту “плана Кейнса” 1940 года: Фрийдман утверждал, что при резко возросших расходах правительства и увеличении доходов американцев необходимо ограничить расходы на потребление, чтобы не допустить ситуации, когда денег на рынок поступает все больше, в то время как производство потребительских товаров остается неизменным. В комиссии Фрийдман немного напыщенно говорил: “Из всех этих мер самой важной является налогообложение. Если ее не применить быстро и жестко, другие меры сами по себе не смогут предотвратить инфляцию”. Среди других, менее действенных мер Фрийдман назвал “регулирование цен и нормирование, контроль за потребительскими кредитами, сокращение правительственных расходов и продажу военных облигаций”⁴³. Кредитно-денежную политику Фрийдман нигде не упоминал. В 1953 году, оглядываясь на свою работу во время войны, Фрийдман объяснял это упущение царившим в то время “кейнсианским настроением”⁴⁴. Однако Фрийдман и сам был одним из американских приверженцев Кейнса и оставался таковым до конца 1940-х.

Верный кейнсианским убеждениям, Фрийдман склонялся к тому, чтобы рассматривать подоходный налог как “более эффективный [инструмент] для предотвращения инфляционного роста цен и... оптимального распределения военных расходов” по сравнению с налогом с продаж, который, конечно, был регрессивным⁴⁵. Летом того же года он участвовал в разработке предложений по налогу на потребление, в основном в качестве меры, позволяющей избежать повышения ставки подоходного налога. Уайт, который был одержим идеей обложения расходов, а не доходов, предложил соединить налог на потребление с реализацией предложения Кейнса об обязательных сберегательных счетах, которые будут заблокированы только по окончании войны. После бурного совещания в министерстве финансов, закончившегося голосованием в соотношении 16:1 против этого плана, Моргентау

решил поддержать Уайта и все-таки направил его предложение в Конгресс. Однако эта попытка была обречена на провал. Так Фридман впервые столкнулся с проблемами, связанными с законодательной деятельностью, писанием речей для начальства и, в конечном счете, посещением Капитолийского холма для выступления перед комиссиями Конгресса.

Ключевым элементом любого налогового плана, без сомнения, является *сбор* налогов. Именно эту задачу решил Фридман, надолго предопределив действия американского правительства. До 1942 года подоходный налог взимался поквартально, исходя из дохода за прошлый год. В обязанности налогоплательщика входила своевременная уплата налога. Это не представляло проблемы ни для налогоплательщиков, ни для сборщиков налогов — до тех пор, пока налоговая ставка была низкой и подоходный налог платила лишь небольшая часть населения. В 1939 году было подано менее 4 миллионов деклараций о доходах, а общая сумма собранного налога составила всего около 1 миллиарда долларов, то есть примерно 4% налогооблагаемого дохода. Фридманы по уровню доходов входили в число американских семей с наивысшими доходами (таких было около 2%), при этом в их налоговой декларации значилась сумма всего в 119 долларов, что составляло менее 2% налогооблагаемого дохода семьи Фридманов. Они без проблем могли заплатить всю сумму до 15 марта (этот день оставался крайним сроком уплаты федеральных налогов до 1955 года). В случае реализации планируемого пересмотра налоговой системы в их декларации значилась бы сумма в 1704 доллара, или 23% их налогооблагаемого дохода. Было очевидно, что, если министерство финансов желало собрать больше налогов, необходимо было найти способ взимать подоходный налог во время получения дохода, а не годом позже.

Решение состояло в том, чтобы удерживать налог у его источника. Министерство финансов стало взимать налог с работодателя, когда он выплачивал заработную плату своим работникам. Получатели других видов доходов (процентов,

дивидендов, заработков самонанятых лиц) обязаны были ежеквартально платить налог на доходы, поступившие в текущем году, на основе предварительной оценки налоговых обязательств. Главное отличие от немецкой и английской систем, в которых сбор налогов у источника осуществлялся издавна, состояло в том, что такие платежи рассматривались как предварительные и впоследствии могли корректироваться. Единственное серьезное возражение поступило из Налогового управления, которое заявило о том, что это “почти невыполнимая задача” для сборщиков налогов. Проблему решили следующим образом: сотрудники Налогового управления отправились к бизнесменам изучать практику начисления заработной платы для того, чтобы разработать механизм взимания налога у источника с учетом этой практики⁴⁶.

Фридман снова оказался на Капитолийском холме. На этот раз он получил урок: нужно выделять главное и выражать свои мысли простым языком. Начав отвечать на вопрос сенатора из Техаса Тома Коннолли, Фридман откашлялся и произнес: “Есть три причины. Первая...” Коннолли тут же прервал его. “Молодой человек, достаточно одной веской причины”, — сказал сенатор, носивший вместо обычного галстука-бабочки свой знаменитый черный платок⁴⁷. Министр финансов — по мнению Фридмана, “человек со скромными интеллектуальными способностями” — всегда требовал от подчиненных излагать проблему так, чтобы ее мог понять ученик средней школы, такой как “моя дочь Джоан”, даже когда Джоан уже училась в колледже⁴⁸.

Историк идей Исайя Берлин в своем еженедельном официальном донесении из британского посольства отмечал, что это “законопроект о налоге беспрецедентного масштаба”, и сообщал, что с его помощью планируется получить 7,6 миллиарда долларов⁴⁹. 22 августа он с энтузиазмом писал, что “этот законопроект о налоге касается большего числа граждан, чем любой другой закон, когда-либо принятый Конгрессом”⁵⁰. Впервые в Соединенных Штатах появился подоходный налог

с широкой базой. В 1939 году семья из четырех человек с доходом 3000 долларов вообще не платила налоги, а в 1944 году она должна была заплатить 275 долларов; налог с семьи, имевшей доход 5000 долларов, вырос с 48 долларов до 755; налог с семьи, имеющей доход 10000 долларов, увеличился с 343 долларов до 2245. Сумма собранного в 1939 году подоходного налога составила немногим более 1% доходов населения, а к 1945 году она перескочила за 11%. В начале 1942 года Моргентау направил законопроект об удержании налога из заработной платы в Конгресс, а 3 марта 1942 года Закон об уплате налога за текущий год был внесен на рассмотрение в Сенат.

Самым значительным с точки зрения будущих поколений итогом деятельности Фридмана в годы войны оказалось создание “чрезвычайно мощного механизма увеличения государственных доходов”⁵¹. Как указывает Герберт Штейн, этот механизм был настолько мощным, что в течение десятилетий после войны государственные доходы росли быстрее, чем ВВП, поскольку существовала зависимость между экономическим ростом и прогрессивными налоговыми ставками. По мере роста доходов у все большего числа налогоплательщиков повышались ставки подоходного налога. Такая динамика позволяла послевоенным администрациям наращивать расходы, время от времени снижая налоговые ставки без большого дефицита бюджета. Кроме того, удержание налога из заработной платы сделало налогообложение менее болезненным для плательщиков.

Теперь можно было управлять налогами и таким образом стабилизировать экономику. Штейн отмечает, что до войны налоги составляли незначительную часть национального дохода, поэтому их нельзя было использовать для эффективного стимулирования или сдерживания роста экономики. Еще более важно, что размеры налоговых сборов теперь “автоматически” колебались в соответствии с ситуацией: во время экономического спада налоговые поступления снижались, а когда экономика восстанавливалась, они снова

возрастали. Таким образом, во время рецессии автоматически запускалось кейнсианское стимулирование, а в период роста экономики — кейнсианское сдерживание. Ирония судьбы состоит в том, что все это сделал возможным именно Фридман, ставший впоследствии — в годы правления Рейгана — главным поборником низких налогов и ограничения роли правительства.

Глава XIII

ИЗГНАНИЕ

ШУМПЕТЕР И ХАЙЕК ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Но текущая история для нас не история. Она устремлена в неизвестность, и мы почти никогда не можем сказать, что нас ждет впереди.

Фридрих Хайек,
*Дорога к рабству, 1944*¹

Для Кейнса и многих его последователей, призванных на защиту своих стран, война стала временем интенсивной работы, необычайного интеллектуального напряжения и беспрецедентного влияния. Для Шумпетера и Хайека Вторая мировая война, напротив, стала временем вынужденного бездействия, изоляции и изгнания. Они не были востребованы в интеллектуальном плане. Их не приглашали присоединиться к работе на войну, поскольку они были иммигрантами. Они остались в университетах, заполненных стариками, немощными, иностранцами и женщинами. И конечно, они не могли радоваться неизбежной победе союзников, не горюя одновременно о страданиях и разрушениях на стороне их врагов.

Будучи свидетелями и жертвами распада Австро-Венгерской империи после Первой мировой войны, они хорошо представляли себе возможные варианты развития событий,

о которых не имели и не могли иметь представления те, кто вырос в Соединенных Штатах или в Великобритании. Кейнс был твердо намерен не позволить союзникам после окончания войны повторить ошибки, допущенные в 1919 году, и при этом был уверен, что его голос будет услышан и его точка зрения возобладает. Когда Англия объявила войну странам Оси, Кейнсу было пятьдесят шесть, и теперь его положение позволяло ему оказывать гораздо большее влияние на власти и общественное мнение, нежели в тридцать шесть. Он возглавил революцию в области экономической мысли и имел множество приверженцев, был де-факто министром финансов при Черчилле, руководителем британской группы на финансовых переговорах в Вашингтоне и одним из архитекторов послевоенной денежной системы.

Шумпетер же остро переживал личные неудачи, был подавлен катастрофой, разразившейся в Европе и Японии, и испытывал отчуждение из-за царившей вокруг военной лихорадки. Он все больше отдалялся от коллег и студентов в Гарварде. Он не скрывал своей горечи по поводу того, что американцы, категорически осуждая Германию и Японию, приняли Советский Союз как союзника, чем привлек к себе внимание ФБР, которое более двух лет расследовало его деятельность.

Политический триумф левых и правых социалистических партий в Европе после Первой мировой войны стал для Шумпетера еще одним доказательством того, что сам по себе экономический успех не гарантирует выживания общества. Он считал, что капитализм и демократия представляют собой неустойчивую смесь: успешные бизнесмены могут договариваться с политиками о недопущении на рынок новых конкурентов; государственная бюрократия налогами и нормативными актами способна задушить инновации; враждебно настроенные интеллектуалы обличают нравственные изъяны капитализма, восхваляют тоталитарные режимы и при случае, тайно или явно, оказывают помощь заклятым врагам Запада. Его опасения, что буржуазное общество, как и пред-

сказывал Маркс, порождает своих могильщиков, перешло в уверенность.

Вместо того чтобы, подобно другим австрийским эмигрантам в Соединенных Штатах, так или иначе работать на войну, пятидесятишестилетний Шумпетер изложил свои прогнозы в книге “Капитализм, социализм и демократия”, продемонстрировав, кроме всего прочего, яркий талант сатирика. Книга была опубликована в 1942 году, когда вера в свободное предпринимательство на Западе пошла на убыль, и, притворяясь надгробной речью, на самом деле была хвалебной песнью капитализму и оспаривала вывод Кейнса, что неудачи заложены в самой природе капитализма. Какими бы ни были его недостатки — финансовые кризисы, депрессии, социальные конфликты, в природе капитализма заложена также способность производить товары для тех “девяяти десятых человечества”, которые были порабощены и пребывали в нищете на протяжении всей предыдущей человеческой истории. “Капиталистический механизм в целом предназначен для массового производства”, — решительно утверждал Шумпетер в то время, как США едва успели восстановить свой ВВП после Великой депрессии². В часто цитируемом отрывке он писал, что благодаря этому механизму молодые работницы могут позволить себе покупать чулки, которые еще сравнительно недавно были слишком дорогими для обычной женщины, а столетием раньше — даже для королевы. По расчету Шумпетера (который оказался сильно заниженным), если экономика Соединенных Штатов в течение пятидесяти лет, начиная с 1928 года, будет расти с той же скоростью, что и в предыдущие полвека, то к 1978 году она будет в 2,7 раза больше, чем в 1928-м. Он не прогнозировал этот результат — а на самом деле, как оказалось, даже утверждал обратное — просто хотел убедить читателя в мощи “искусного механизма”.

Шумпетер утверждал, что конкуренция — это гениальное изобретение общества для стимулирования творческих людей и повышения уровня жизни, и тут же предсказывал кончину

этой системы. На свой риторический вопрос “Сможет ли капитализм выжить?” он отвечал: “Нет, я так не думаю”³. Ведь на предпринимателей, то есть на ту самую творческую силу, которая обеспечивает успех в рамках капитализма, а также на идеологию экономического либерализма велось массивное наступление не только в Советском Союзе, но и на Западе. Один из рецензентов отметил, что, “предсказывая победу социализма, [Шумпетер] написал один из самых страстных гимнов во славу капитализма как экономической системы”⁴.

Конечно, это чувство, что поле деятельности для незаурядных людей сужается, в какой-то мере можно объяснить возрастом Шумпетера и его склонностью к депрессиям. Его преследовали мысли о смерти и опасения, что сам он уже превратился в анахронизм. В Гарварде его идеи, а также изысканные манеры и витиеватую речь все чаще воспринимали как чудачества. Шумпетер записал в дневнике, что нужна “новая экономическая теория”, но ему это не по силам. И с безотчетной иронией добавил: “Я не пользуюсь авторитетом”⁵.

Когда осенью 1931 года Фридрих фон Хайек с семьей переехал в Лондон, он надеялся, что еще вернется в Вену. Но через два года осознал, что изгнание, вероятно, будет постоянным. В течение нескольких лет Хайек был во главе либерального экономического лагеря в приютившей его стране. Однако к тому времени, как в 1938 году он стал британским подданным, последователи покинули его. Известный кейнсианец Джон Хикс в 1967 году вспоминал: “Вряд ли кто теперь помнит то время, когда главными соперниками новых теорий Кейнса были новые теории Хайека”⁶.

Ощущение интеллектуальной изоляции усугублялось у Хайека безрадостными событиями в Австрии. Прежние коллеги Хайека, в том числе Людвиг фон Мизес, которого увололили из университета, задолго до прихода Гитлера в Вену и объявления в 1938 году аншлюса начали покидать страну, где

антисемитизм был на подъеме. В 1935 году Фриц Махлуп, еврей по национальности и участник организованного Хайеком в свое время семинара “Кружка духов”, сообщил ему о своем решении остаться в Америке. У него как у еврея практически не было другого выбора. Хайек согласился с этим, но добавил, что “массовая эмиграция интеллигенции из Вены, и особенно гибель нашей школы экономической мысли глубоко огорчают меня”⁷. А в следующем году Хайек напишет: “Быстрота интеллектуальной капитуляции и политического распада (не говоря уже о распаде финансовом) потрясают”⁸.

После того как гитлеровские войска под крики ликующей толпы вошли в Вену, Хайек навестил старых друзей по “Кружку духов”, которые рассказали ему об арестах, расстрелах и преследованиях со стороны гестапо. В том же году он подал заявление и получил британское гражданство. Хайек обличал в печати нацистский режим, осуждал антисемитизм и помогал коллегам-евреям эмигрировать из континентальной Европы.

Ко всему этому добавлялись эмоции, связанные с несчастливим браком. Он настаивал на разводе, жена не соглашалась. Более того, он ни на минуту не переставал любить Хелен. Хайек видел ее в августе 1939 года, незадолго до известия о заключении пакта между Сталиным и Гитлером, означавшего одновременно неизбежность войны и невозможность встречи с ней до окончания войны.

К тому времени, когда началась война, изоляция Хайека превратилась практически в затворничество. Ему было едва за сорок, он был на десять лет моложе Кейнса, но чувствовал себя стариком. Помимо всего прочего, он полностью оглох на одно ухо. Эта глухота стала символом его отгороженности и от его прежнего мира, и от принявшего его другого мира. В течение первых шести недель сильных бомбежек Хайек оставался в Лондоне, чтобы выказать лояльность по отношению к Великобритании и равнодушие к опасности, но в конце концов ему пришлось последовать за Лондонской школой экономики — в которой оставались только сам Хайек и несколько

десятков студенток — в Кембридж, где она и находилась во время войны. Жена и дети уехали жить в деревню, старый товарищ Лайонел Роббинс отправился в Уайтхолл, и вообще его коллеги один за другим исчезали из его окружения, чтобы так или иначе работать на войну.

Вкладом Хайека в войну союзников против Гитлера стала “Дорога к рабству”. Для себя он определил это как “долг, от которого я не должен уклоняться”. После объявления войны Хайек несколько недель с нетерпением ждал назначения в министерство пропаганды, на которое очень надеялся. Он засыпал главу министерства лорда Макмиллана записками о возможных стратегиях передач на Германию: “Я свободен и хотел бы, чтобы мои способности использовались наилучшим образом, а это, как я полагаю после серьезных размышлений, означало бы работу, связанную с пропагандой”¹⁰. Но вскоре стало очевидно, что все возможности работы на войну для него как для иностранца закрыты, и он с горечью сосредоточился на поддержании работы значительно сократившегося экономического факультета Лондонской школы экономики. Делать это приходилось практически в одиночку.

Обиженный и расстроенный Хайек подумывал о том, чтобы присоединиться к друзьям в Америке. “Меня... возмущает это полное затворничество”¹¹, — писал он Махлупу. Тем не менее, когда Махлуп поднял эту тему в ответном письме, Хайек рассерженно отмел все предложения о побеге. “Я отказался от всякой мысли об отъезде... пока я хоть в какой-то степени нужен здесь. Ведь это мой долг”¹². Когда в 1940 году нью-йоркская Новая школа предложила ему временную профессуру, он послал телеграмму с отказом и с кратким, почти надменным, выражением сожаления¹³. Позже Хайек написал другому другу: “Я немного завидую вашей возможности работать на войну; когда все это закончится, я, наверное, буду единственным экономистом, который не имел такой возможности и волей-неволей был вынужден стать чистейшим из чистых теоретиков”¹⁴. И как всегда, пережив разочарование, он

обращается к будущему. “Кажется, я очень рано утратил способность спокойно наслаждаться настоящим; вся моя жизнь свелась к планам на будущее: удовлетворение получаю лишь тогда, когда реализую намеченные планы, а огорчаюсь главным образом из-за того, что планы не удастся осуществить”¹⁵.

Парадоксально, но следующие три года стали, наверное, самыми продуктивными в его жизни. “За это лето я сделал больше, чем за любой такой же период раньше”¹⁶. В какой-то момент — когда неподалеку падали бомбы — он работал сразу над тремя книгами. Вскоре Хайек практически в одиночку заполнял страницы журнала “Экономика”, издававшегося Лондонской школой экономики. “Пока что бомбардировки терпят полный провал, — писал он по прибытии в Кембридж. — Я уехал из Лондона просто из-за неудобств жизни в пустом доме и частых переездов”¹⁷. И все же в качестве меры предосторожности главы новой книги он пересылал “на сохранение” друзьям в Америку.

В январе 1941 года Хайек первый раз явно упомянул о намерении написать книгу для массового читателя, подобную книге Кейнса “Экономические последствия мира”: “Я занят главным образом тем, чтобы более подробно и популярно изложить тезисы моей книги “Свобода и экономическая система”; новая книга, если я ее закончу, может выйти в издательстве “Пингвин” в виде дешевой версии”¹⁸. Его вдохновляли люди вокруг него: “Поскольку я не могу приблизить победу в войне, меня беспокоит более отдаленное будущее; и хотя мои взгляды в этом отношении пессимистичны, более пессимистичны, чем в отношении самой войны, я делаю то немногое, на что способен, чтобы открыть людям глаза”¹⁹.

Хайек работал над “Дорогой к рабству” два с половиной года, с начала 1941-го по июнь 1943 года. Однажды он пожаловался: “Я работаю ужасно медленно... если мои интересы будут и дальше — как сейчас — охватывать множество областей, мне придется жить очень долго, чтобы осуществить все задуманное”²⁰.

“Дорогу к рабству” Хайек начал с истории, ее значения для современности, а также с истории своей жизни в двух культурах:

Но текущая история для нас не история. Она устремлена в неизвестность... Все было бы иначе, будь у нас возможность прожить во второй раз одни и те же события... И все же хотя история и не повторяется буквально и, с другой стороны, никакое развитие событий не является неизбежным, мы можем извлекать уроки из прошлого, чтобы предотвратить повторение каких-то процессов.

Обращаясь к читателю напрямую, Хайек описывает сильное ощущение *déjà vu*. Дрейф в сторону коллективизма в Англии напомнил ему Вену после Первой мировой войны. “Последующие страницы являются результатом моего личного опыта. Дело в том, что мне дважды удалось как бы прожить один и тот же период, по крайней мере дважды наблюдать очень схожую эволюцию идей”. Он высказал мысль, которую разделяли прежние европейские исследователи английского общества, от Энгельса и Маркса до Шумпетера:

Переезжая из одной страны в другую, можно иногда дважды стать свидетелем одной и той же стадии интеллектуального развития. Чувства при этом странным образом обостряются. Когда слышишь во второй раз мнения или призывы, которые уже слышал двадцать или двадцать пять лет назад, они приобретают второе значение... [Они указывают] если не на неизбежность, то во всяком случае, на возможность такого же, как и в первый раз, развития событий²¹.

Какие мнения, какие призывы, какие работы Хайек имел в виду? Из последних книг, безусловно — “Мою борьбу” Адольфа Гитлера, которая впервые вышла на английском языке без купюр в 1939 году. Другой, несомненно, была ода четы Уэббов централизованному планированию — изданная

в 1936 году книга “Советский коммунизм: новая цивилизация?”, которую Хайек рецензировал для газеты “Санди таймс”. Он, несомненно, имел в виду и “Общую теорию” Кейнса, хотя в политическом смысле это сочинение отстоит от двух выше-названных книг очень далеко.

“Дорога к рабству” — это выступление в защиту рынка и конкуренции, которые Хайек описывает в терминах современной информационной экономики:

Если мы хотим понять реальную функцию системы цен, то нужно рассматривать ее как механизм передачи информации... Самое важное в этой системе — это ограниченность знаний, на основе которых она работает, то, как мало информации требуется отдельному участнику рынка для принятия правильного решения²².

Кроме того, эта книга была предостережением. Герберт Спенсер первым предупредил, что нарушение экономической свободы ведет к нарушениям политической свободы. Наставник Хайека, Людвиг фон Мизес, определил государство всеобщего благосостояния как своего рода троянского коня, как “метод постепенного преобразования рыночной экономики в социализм... В результате возникает система всеобщего планирования, то есть социализм, подобный тому, который, согласно плану Гинденбурга, создавался в Германии во время Первой мировой войны”. Однако Хайек вовсе не предлагал придерживаться политики *laissez-faire*. На самом деле он недвусмысленно отвергал идею невмешательства государства:

Наконец, есть еще в высшей степени серьезная проблема борьбы с последствиями спадов в экономической активности и сопровождающим их ростом массовой безработицы. Это один из самых сложных вопросов нашего времени. И хотя его решение требует планирования, речь может (и должна) идти о таком планировании, которое не ставит под угрозу

и не подменяет собой рынок. Некоторые экономисты видят выход в особой кредитно-денежной политике, что совместимо даже с принципами либерализма XIX века. Правда, есть и другие, которые считают единственным спасением развертывание в нужный момент широкого фронта общественных работ. В последнем случае могут возникнуть серьезные ограничения для развития конкуренции, и поэтому, экспериментируя в данном направлении, мы должны действовать предельно осторожно, дабы избежать постепенного подчинения экономики правительственным инвестициям²³.

Позже, выступая перед американской аудиторией, Хайек говорил: “Больше нельзя приводить доводы за и против государственного вмешательства как такового... Нельзя всерьез утверждать, что правительство не должно ничего делать”²⁴.

В начале 1943 года Махлуп отослал несколько глав этой книги американским издателям. Первые отклики не внушали оптимизма:

Откровенно говоря, мы сомневаемся в возможности успешной продажи этой книги, и лично я считаю, что профессор Хайек находится немного в стороне от основного направления современной мысли, характерного как для нашей страны, так и для Англии... Однако если книгу издаст кто-то другой и она станет бестселлером в научно-популярной литературе, считайте это просто одной из ошибок в оценке, которые все мы иногда допускаем²⁵.

Издательство “Харпер” отвергло ее как “вымученную” и “витиевато написанную”²⁶.

В июне 1943 года Хайек наконец подписал контракт с английским издательством “Раутледж”. И лишь в феврале 1944 года, незадолго до выпуска книги в Англии, Хайеку сообщили, что ее приняло к публикации издательство Чикагского университета.

АКТ ТРЕТИЙ

УВЕРЕННОСТЬ

Пролог

НИЧЕГО СТРАШНОГО

День 11 января 1944 года Рузвельт провел в постели: он уже несколько дней лежал с гриппом, обессиленный после совещаний Большой тройки в Каире и Тегеране, страдающий от гипертонии, гипертензивной кардиопатии, сердечной недостаточности (левого желудочка) и острого бронхита. Любое из этих заболеваний могло убить его, и он был слишком слаб, чтобы, как обычно, отправиться на Капитолийский холм и представить Конгрессу ежегодный доклад “О положении страны”¹. Зная, что в газетах невозможно напечатать полный текст его речи, который он передал в Конгресс с курьером, он настоял на том, чтобы обратиться к американскому народу непосредственно — по радио, в режиме “Беседы у камина”. До “дня Д”, высадки союзников в Нормандии, оставалось еще несколько месяцев, сами Соединенные Штаты увязли в войне на Тихом океане не на жизнь, а на смерть, но президент призвал страну заглянуть в более отдаленное будущее, которое наступит после войны: “Наш долг сейчас — заложить планы и выработать стратегию построения прочного мира”².

Снова и снова президент повторял свою мысль: основой для прочного мира должно стать не просто поражение преступных режимов, но и повышение уровня жизни. Высшей обязанностью демократических правительств является обеспе-

чение экономической безопасности. Он был полон решимости не повторять сделанных союзниками после Первой мировой войны ошибок, которые, как он полагал, способствовали развязыванию нынешней войны. Утверждая, что государство всеобщего благосостояния и свобода личности идут рука об руку, он предупреждал: “Голодные и безработные — вот материал, на котором строятся диктатуры”. Рузвельт призвал Конгресс поддержать программы послевоенного восстановления экономики в США и за рубежом. Его самым значительным “домашним” предложением стал “экономический билль о правах”, предусматривавший государственные гарантии рабочих мест, здравоохранения и пенсий по старости³.

Но эта самая радикальная речь Рузвельта за все время его президентства, пишет его биограф Джеймс Макгрегор Бернс, “не нашла отклика в полупустых залах заседаний”⁴. В Конгрессе большинство составляли республиканцы и демократы-южане, а у миллионов американцев, собравшихся у радиоприемников, упоминания голода и безработицы, казалось, не вызвало резонанса. Когда несколько месяцев спустя Кейнс прибыл в Вашингтон, он обнаружил, что “на этом континенте война — время всеобщего преуспевания”⁵. Мало того, что годы войны оказались лучшим из времен, но еще и 60% опрошенных сказали социологам, что они “удовлетворены тем, как все было до войны”⁶.

Все дело было в войне. Еще до 1939 года нараставший страх войны вызвал огромный приток золота в США: европейские и азиатские инвесторы искали убежище для своих сбережений. В результате у американских банков было полным-полно денег, а процентные ставки были близки к нулю. А расходы федерального правительства выросли с 5 процентов ВВП в 1939-м до почти 50 процентов, намного опережая налоговые поступления, несмотря на резкий рост подоходного налога и налогов на прибыль и введение новых социальных отчислений с заработной платы. Масштабы дефицитного финансирования были такими, что в сравнении с ними дефициты антидепресссион-

ной фискальной политики первой администрации Рузвельта выглядели мизерными.

Сочетание масштабного дефицитного финансирования с непредвиденными монетарными стимулами из-за рубежа вызвало бум. При наличии 11 миллионов человек в военной форме и предельной загрузке заводов, шахт и ферм официальный уровень безработицы, составлявший в конце 1939 года 15% (с учетом “временных” рабочих, получавших зарплату от государства, 11%), к концу 1943 года стал заметно ниже 2%. Благодаря дефициту рабочей силы зарплата выросла на 30% с учетом инфляции. В результате после четырех лет войны средняя американская семья потребляла не меньше, а больше, чем в 1939 году.

США поставляли самолеты, корабли и танки за счет интенсивного расширения производства, а не затягивания поясов. Годовой объем производства (ВВП) рос почти на 14% в год — в три раза быстрее, чем в “дикие двадцатые годы”, когда, как мрачно заметил президент, “наш народ пошел покататься на американских горках, и дело кончилось страшной катастрофой”⁷. Следует заметить, что американцы не могли покупать новые автомобили, холодильники и дома, но они были настолько уверены, что доллар сохранит свою довоенную покупательную способность, что готовы были откладывать почти четверть зарплаты, чтобы купить все это после войны. Не могли они тратить и на свои любимые автомобильные путешествия. Но могли покупать больше одежды, продуктов, алкоголя, сигарет и журналов, больше слушать радио и аудио-записи, смотреть больше фильмов и чаще ходить на стадионы. Контраст с Великобританией, где потребление на душу населения снизилось на 20%, был разительным. Как известно читателям романов Элизабет Джейн Говард про семью Кейзлет, жизнь англичан годами осложнялась нехваткой жилья, одежды, угля, бензина и многих продуктов питания. Режим жесткой экономии сохранился и после окончания войны. Даже в 1946 году лейбористское правительство было вынуждено се-

кретно решать, не ввести ли нормирование хлеба, а последние ограничения были сняты только в 1954 году.

Хотя было ясно, что американская экономическая система переживает не худшие времена, президент и его советники опасались, что процветание военных лет не сохранится так долго. В выступлении Рузвельта среди прочих “экономических истин, которые стали восприниматься как сами собой разумеющиеся”, подразумевалось, что после того, как солдаты вернутся домой, необходим новый “новый курс” — иначе Великая депрессия повторится. “Если... после войны мы вернемся к так называемому “нормальному” положению двадцатых годов”, это будет означать, что “мы... уступили духу фашизма у себя дома”⁸, — театрально предупреждал он.

Такая позиция президента отражала мнение только одной стороны-участницы горячих споров между сторонниками и противниками кейнсианства. Чем более оптимистичными казались бизнесу и обществу в целом послевоенные перспективы, тем больше американские сторонники Кейнса опасались нового спада в экономике. После демобилизации государственные расходы должны были резко снизиться, и советник Федеральной резервной системы Элвин Хансен, которого иногда называли “американским Кейнсом”, предсказывал “послевоенный крах: демобилизация, остановка предприятий в оборонной промышленности, безработица, дефляция, банкротства, тяжелые времена”⁹. Консультант агентства, занимавшегося планированием на послевоенное время, Пол Самуэльсон предупреждал администрацию, что ослаблять борьбу с безработицей не следует. “Нам не удалось решить эту проблему до войны, и с тех пор не произошло ничего такого, что позволяло бы думать, что она не возникнет снова”. Экспертам не верилось, что бизнес и потребители смогут найти применение избыточным ресурсам. Самуэльсон говорил по этому поводу: “Если человек жил без автомобиля в течение шести лет, это не значит, что потом ему понадобится сразу шесть автомобилей”¹⁰. Убедившись в 1930-х, что

бизнес слишком робок, чтобы инвестировать средства, и что денежно-кредитная политика — плохое оружие для борьбы с рецессиями, теперь кейнсианцы не сомневались, что было лишь одно решение: замедлить сокращение государственных расходов, замедлив демобилизацию и увеличив расходы на инфраструктуру.

Антикейнсианцы тоже были обеспокоены перспективой стагнации, но другого типа и в других областях. Шумпетера волновали долгосрочные перспективы экономического роста. Он боялся, что экономика уже не сможет обеспечить повышение производительности и уровня жизни, и не из-за недостаточного спроса, но из-за политики правительства. В статье, опубликованной в 1943 году, он соглашался с тем, что “все боялся послевоенного спада”, но утверждал, что эти понятные страхи раздуты: “задача [восстановления], если рассматривать ее как чисто экономическую проблему, вполне может оказаться намного проще, чем полагает большинство людей... Но в любом случае потребности обедневших семей будут столь остры и столь предсказуемы, что любой послевоенный спад неизбежно быстро сменится бумом реконструкции. Капиталистические методы прекрасно проявили себя в гораздо более сложных ситуациях”¹¹.

Реальную угрозу для послевоенного роста, по его мнению, создавала направленная против предпринимателей политика, воплощенная в “новом курсе”. И он, и Хайек опасались, что и после победы правительства будут по-прежнему управлять производством и распределением, как в годы войны, в частности регулируя цены и заработную плату, практикуя дефицитное финансирование и взимая высокие налоги. Меры, направленные против застоя, могут как раз к нему и привести. Шумпетер называл это “капитализмом в кислородной палатке”¹². Хайек был больше озабочен возможной потерей свободы, чем потерей динамики. И если президент предупреждал, что “возвращение к нормальной жизни” было бы равнозначно победе фашизма, то Хайек опасался, что продолжение использования

военных методов управления производством и распределением в конечном счете приведет к радикальным ограничениям как экономических, так и политических прав. Их опасность оказались более обоснованными в отношении Великобритании и остальной Европы, чем в отношении США, где практически все военные учреждения ликвидировались начиная с 1945 года.



Победа в войне была первоочередной задачей Рузвельта, но он также был полон решимости не повторить ошибки, сделанные союзниками после Первой мировой, которые, по его мнению, во многом и привели к нынешней войне. Он указывал на идущие к январю 1944 года полным ходом переговоры Большой тройки относительно послевоенного финансового, торгового и политического устройства мира как на пример более разумного поведения. Осуждая “страусиный изоляционизм незрелых кротов”, с подозрением относившихся к переговорам, он резко критиковал тех, кто видел в процветании остального мира угрозу экономическим интересам США. В Тегеране он добился от Сталина согласия на создание новой Лиги Наций. “Одной из главных целей будущего” должна стать коллективная безопасность, настаивал президент, в том числе “экономическая безопасность, социальная безопасность, моральная безопасность” для “семьи народов”. После установления военного контроля над агрессорами огромное значение для поддержания мира имеет обеспечение “достойного уровня жизни для всех — мужчин, женщин и детей — во всех странах. Свобода от страха всегда связана со свободой от нищеты”¹³.

Кейнсианцы и антикейнсианцы не спорили о необходимости международного сотрудничества. По этому вопросу они были едины с 1919 года. Мало кто верил, что благоприятные глобальные экономические условия возникнут сами со

бой. Двусторонние торговые блоки, возникшие между двумя войнами, были созданы для того, чтобы Советский Союз и нацистская Германия могли отделиться от мировой экономики. Даже Хайек, который в силу опыта и темперамента весьма скептически оценивал возможности позитивного вмешательства правительств, был убежден, что демократические страны могут действовать более разумно, чем в прошлый раз. Теперь все были едины в том, что правительства должны активно планировать и осуществлять сотрудничество в целях оживления мировой торговли, разрешения проблемы военных долгов и стабилизации валют.

Однако европейцам казалась слишком уж радужной оптимистическая концепция Рузвельта — единый мир, в котором крупные державы сосредоточены на экономическом росте, а не экспансии и агрессии. Девятого марта 1944 года руководитель одной из шведских комиссий по послевоенному планированию Гуннар Мюрдаль выступил с гораздо более мрачным прогнозом. Этот молодой экономист в начале войны проехал по американскому Югу, исследуя межрасовые отношения, и написал классическую работу “Американская дилемма: негритянская проблема и современная демократия”, прежде чем в 1942 году вернуться в родную Швецию, которая сохраняла статус невоюющего государства, несмотря на то что снабжала всем необходимым немецкую военную машину.

Будущее представлялось Мюрдалю вовсе не столь благоприятным. Он опасался, что автаркия, экономический застой и милитаризм — патологии, которые на протяжении жизни одного поколения разожгли уже второй мировой пожар, — вовсе не были побеждены, несмотря на огромные жертвы и четыре года беспрецедентных усилий и страданий. Мечта о едином мировом сообществе, Организации Объединенных Наций, связанных между собой торговлей, конвертируемыми валютами и международным правом, — это опасная иллюзия, утверждал он. Отвергая “сверхоптимизм” американских экономистов, он предсказывал, что бум военного времени

обернется спадом более серьезным, чем Великая депрессия, и массовой безработицей. Депрессия в Соединенных Штатах обязательно повлияет на весь остальной мир, особенно на Швецию и другие страны, зависевшие от экспортных доходов, которые шли на оплату импорта и таким образом гарантировали им выживание в качестве современных экономик. Безусловно, экономический хаос будет провоцировать эпидемии забастовок и гражданского неповиновения и обострять межнациональное соперничество, как это было в аналогичных экономических условиях перед войной. Общая тенденция сползания к милитаризму и автаркии¹⁴, подобная той, которая господствовала в межвоенный период, сохранится. В частности, мир должен неминуемо разделиться на три большие конкурирующие между собой империи: русскую, британскую и американскую, поскольку с достижением общей цели союзников — победы над странами Оси — на первое место выйдет конфликт экономических и политических интересов Большой тройки. В глобальной антиутопии Мюрдаля этот новый империализм представлялся не только гнетущим, но и внутренне нестабильным.

Это, конечно, мир написанного в 1948 году романа “1984” Джорджа Оруэлла: мир, поделенный на три империи — Океанию, Евразию и Остасию, ведущие между собой непрерывную “холодную войну”. Слишком равные, чтобы какая-то из них могла победить, эти сверхдержавы используют внешние угрозы для оправдания тоталитарного правления и экономического застоя. Герой романа, простой человек по имени Уинстон Смит, иногда “выказывающий вспышки черчиллевского мужества”, узнает, что “раскол мира на три сверхдержавы явился событием, которое могло быть предсказано и было предсказано еще до середины XX века”¹⁵.

Как ни странно, был человек, который воспринимал этот кошмар не со страхом, а с удовлетворением, и звали его Сталин.

Рузвельт вернулся из Тегерана убежденным, что все руководители стран-союзниц заинтересованы в том, чтобы, как только враг будет побежден, создать структуру, в рамках которой все страны могли бы сосредоточить усилия на развитии экономики. Он заверял американцев, что “все наши союзники по опыту — горькому опыту! — знают, что реальное развитие будет невозможным, если их будут отвлекать от этой цели повторяющиеся войны или хотя бы угроза войны”¹⁶.

Сталин же был убежден, что его капиталистические союзники по самой своей сути не способны к длительному сотрудничеству и что, как только их общий враг будет побежден, погоня за прибылью побудит Соединенные Штаты и Великобританию вцепиться друг другу в глотки. По его мнению, англо-американская война была “неизбежной”¹⁷. Поэтому он считал возможным добиваться помощи и территорий от своих союзников и ждать кризиса, который спровоцирует войну и втянет их граждан в псевдополитические партии, лояльные в первую очередь к Москве.

Трудно сказать, почему он игнорировал многочисленные доказательства обратного. По мнению выдающегося американского историка “холодной войны” Джона Льюиса Гэддиса, Сталин находился в плену примитивной экономической теории Ленина, основанной на ложной аналогии между экономической конкуренцией и войной. В отличие от Рузвельта, уверенного в том, что экономический рост в какой-либо стране идет на пользу, а не во вред ее торговым партнерам, Сталин был убежден, что торговля, как и война, всегда игра с нулевой суммой, в которой выигрыш одной стороны есть обязательно проигрыш другой. Действительно, Ленин считал, что война — это лишь наиболее агрессивная форма экономической конкуренции.

В своей “Общей теории” Кейнс выразил веру в важность идей: “Безумцы, стоящие у власти, которые слышат голоса с неба, извлекают свои сумасбродные идеи из творений какого-нибудь академического писаки, сочинявшего несколько лет

назад”¹⁸. В немалой степени благодаря идеям Кейнса, Хайнека и их последователей власти предрержащие не вели себя как сумасшедшие и не находились в плену у варварских суеверий. Они были полны решимости предотвратить кошмары оруэлловского толка.

Глава XIV

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ

КЕЙНС В БРЕТТОН-ВУДСЕ

Экономические болезни очень заразны. Отсюда следует, что экономическое здоровье каждой страны представляет интерес для всех ее соседей, ближних и дальних.

РУЗВЕЛЬТ,
*послание делегатам Бреттон-Вудса*¹

Путешествие с женой Лидией на “Куин Мэри” в середине июня 1944 года, практически за две недели до международной валютной конференции в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Гемпшир, Кейнс описал как “безмятежное, хотя и очень насыщенное”². Поскольку вместе с ними плыли Лайонел Роббинс, друг Фридриха фон Хайека, ставший к тому времени близким другом Кейнса, и с десяток других британских официальных лиц, Кейнсу пришлось в пути председательствовать не менее чем на тринадцати заседаниях и принять самое активное участие в составлении двух “корабельных проектов” двух главных учреждений, которые должны были управлять послевоенной валютной системой: Международного валютного фонда и Всемирного банка³. В свободное время он блаженствовал на палубе в шезлонге, поглощая книги. Помимо нового издания “Республики” Платона и жизнеописания своего любимого эссеиста Томаса Бабингтона Маккоя, он прочитал “Дорогу к рабству” Хайека.

В отличие от своих более склонных к доктринерству последователей, Кейнс был гением, способным удерживать в сознании одновременно две противоположные истины: “С точки зрения морали и философии, — писал он в длинном письме Хайеку, — я согласен с вами практически во всем; и не просто согласен, а глубоко проникся этим согласием”. Возможно, Хайеку не удалось достаточно четко провести “границу между свободой и планированием”⁴, и поэтому его книгу нельзя было использовать как практическое руководство по разработке умеренной политики, но он обозначил ценности, которые Кейнс считал необходимыми условиями “добропорядочной жизни”⁵. Роббинс отмечал, что Кейнс, “который исповедует столь радикальные взгляды на предметы чисто интеллектуальные, в вопросах культуры... является самым настоящим беркианским консерватором”⁶.

Далее Кейнс писал, что Хайек слишком поспешно отвергал возможность совместимости частичного планирования со свободой, особенно если планирование осуществляют те, кто разделяет их ценности: “даже опасные действия могут быть благополучно реализованы в обществе, которое правильно думает и чувствует, и они же могут открыть дорогу в ад, если осуществлять их будут те, кто думает и чувствует неправильно”⁷. Он имел в виду, что военная экономика, управляемая Черчиллем или Рузвельтом, вряд ли приведет к созданию тоталитарного государства, хотя именно это произошло под руководством Сталина и Гитлера.

До Уайт-Маунтинс в Нью-Гемпшире Кейнс и Лидия добрались частным поездом. Гостиница “Маунт Вашингтон” в Бреттон-Вудсе, построенная на рубеже веков в великосветском стиле, должна была напоминать такие роскошные отели, как “Мажестик” в Париже, где Кейнс останавливался в конце последней войны — только здесь было целых 350 номеров, ванная в каждом номере, танцзал, закрытый бассейн, крытый дворик с паль-

мами и витражными окнами в стиле Тиффани. Но гостиница слегка обветшала, ее лучшие времена давно прошли, и она едва ли была готова к приему 730 делегатов из сорока четырех стран-союзниц. “Краны текут, окна или не закрываются, или не открываются, трубы постоянно чинятся и снова ломаются, и никуда нельзя попасть”, — писала Лидия свекрови. Их посетили в огромном номере рядом с министром финансов США Генри Моргентау. В отличие от только что закончившегося путешествия, конференция была “сумасшедшим домом”, вспоминала Лидия, и “большинство людей работало за пределами человеческих возможностей”⁸.

Приглашения на конференцию рассылал Рузвельт, формально хозяином был Моргентау, но главными архитекторами, планировщиками и ораторами были его помощник Гарри Декстер Уайт и Кейнс. Главные участники прибыли сюда с разными идеями, разными интересами и во многих случаях со своими тайными планами. Отель кишел шпионами. Делегаты не имели полномочий принимать решения от имени своих правительств. Но организаторы понимали, что нужно обеспечить восстановление экономики и что такое восстановление невозможно без сотрудничества. Они были согласны с тезисом, сформулированным Рузвельтом в его послании Конгрессу: нельзя повторять ошибки, допущенные после Первой мировой войны, и необходимо руководствоваться глобальной, многосторонней концепцией “Объединенных Наций”. Сам факт проведения конференции был свидетельством радикального пересмотра и расширения сферы ответственности правительств. Теперь не только Вашингтон, Лондон и Париж обязались обеспечивать высокую занятость в своих странах, но и правительства почти всех западных стран взяли на себя определенную долю ответственности за поддержание высокой занятости в странах, являющихся их торговыми партнерами.

Точные характеристики предлагаемого нового порядка отражали консенсус в отношении того, что в последнее время шло не так, и убежденность, что правильное решение будет иметь

не только экономические последствия. Рузвельт, Черчилль, а также Кейнс и его американские последователи считали, что именно экономические патологии — инфляция и безработица породили фашизм и непоправимо ослабили многие демократии. Они были также убеждены, что разрушение глобальной экономики в том виде, в каком она существовала до Первой мировой — порожденное яростными попытками каждой из стран обогатиться за счет соседей, чтобы оградить себя от мирового экономического кризиса, — и соответствующий спад в мировой торговле стали причинами новой войны. Экономическое соперничество может привести к войне. Как выразился американский госсекретарь Корделл Халл: “Беспрепятственная торговля располагает к миру; высокие тарифы, торговые барьеры и недобросовестная экономическая конкуренция — к войне... Если бы мы могли наладить более свободный торговый обмен... таким образом, чтобы ни одна страна смертельно не завидовала другой и уровень жизни во всех странах мог расти... мы могли бы обрести реальные шансы на прочный мир”⁹.

Новинка 1920–1930-х годов — общее экономическое учение, разработанное Фишером, Кейнсом и, в меньшей степени, Шумпетером и Хайеком — гласила: что хорошо для одного государства, вполне может быть плохо для всех вместе. Девальвации собственной валюты, возведение торговых барьеров и строгие ограничения оттока капитала действительно могут обеспечить уменьшение дефицита платежного баланса, прекращение оттока денег и рост доходов государства. Но если такую же стратегию выберут все, итогом будет всеобщее обнищание и безработица. В 1930-е годы объем мировой торговли сократился вдвое, и торговля продолжалась главным образом в пределах валютных блоков: в рамках блока фунта стерлингов (то есть Британской империи), в советской сфере влияния и в двустороннем торговом блоке, сформированном гитлеровским министром экономики доктором Яльмаром Шахтом. Теперь уже все признавали, что для сохранения нормально функционирующей глобальной системы свободного предпринимательства необходимо су

нественное вмешательство государства. В некотором смысле, отмечает биограф Роберт Скидельски, новый механизм, разработанный Уайтом и Кейнсом, представлял собой кейнсианство, реализуемое во всемирном масштабе.

Цель Бреттон-Вудской конференции состояла в возрождении мировой торговли, стабилизации валют, решении проблем военных долгов и замороженных кредитных рынков. Война сделала значительную часть мира намного беднее, и нужно было создать такие условия, при которых каждая страна сможет заработать средства для своего процветания. В самом широком смысле спасение означало восстановление и реконструкцию, возвращение к существовавшей до 1913 года глобализации, но с отказом от бытовавшего до Первой мировой войны мнения, что экономические механизмы работают автоматически. Для Запада это означало, что необходимо извлечь уроки из прошлого (которые, по мнению марксистов, капиталисты усвоить не могли), чтобы избежать ошибок, допущенных между двумя мировыми войнами, и восстановить утраченное доверие в моральной и в материальной сферах. Экономическая стабильность была ключом к политической стабильности, а экономический рост был если не достаточным, то как минимум необходимым условием выживания Запада в долгосрочной перспективе. Современное общество не может выжить, если этот самый “искусный механизм” неисправен или сломан, как большие города не могут выжить без электричества и поездов.

В отличие от британских мыслителей 1840-х годов, отстаивавших свободную торговлю, ни Кейнс, ни Фишер (а также ни Шумпетер, ни Хайек) не верили, что человечество автоматически — само по себе — движется к миру и прогрессу, как многие беззаботно полагали во времена *belle époque* 1890–1914 годов. Вмешательство правительств было необходимо, международное сотрудничество было обязательным. Никакая система не возникала спонтанно и не была саморегулируемой, вопреки распространенному до 1914 года мнению. Для создания системы нужны были усилия единственной оставшейся

на Западе сверхдержавы и когда-то могущественных, но теперь униженных европейских империй. Иного просто нельзя было представить. Уайт полагал, что неудача привела бы к новой войне: «Отсутствие высокой степени экономического сотрудничества между ведущими государствами... неизбежно приведет к экономической войне, которая будет лишь прелюдией и прологом к военному конфликту еще больших масштабов»¹⁰.

Иными словами, Уайт и Кейнс разделяли опасения Джорджа Оруэлла, Гуннара Мюрдаля, Шумпетера, Хайека и многих других, но они, с одной стороны, не были рабами экономического детерминизма, а с другой — не испытывали радикального недоверия к правительствам. Они считали, что правительства можно убедить в том, что для предотвращения депрессии и войны нужно создать общую основу для сотрудничества. Они верили, что демократические правительства извлекли уроки из прошлых ошибок и отвергали как марксистскую концепцию исторической необходимости, так и традиционную презумпцию соперничества великих держав. И конечно, они не разделяли убеждения Сталина, что война у капитализма в крови.

Но вопрос был не только в том, сможет ли Запад извлечь уроки из прошлого, но и в том, сможет ли Запад — с помощью своего искусного механизма — выбраться на *правильный* путь.

В 1944 году Англия боролась за выживание и готова была заплатить любую цену, даже если это означало потерю большей части империи, сотрудничество с Советским Союзом и согласие играть вторую скрипку в дуэте со все более напористыми Соединенными Штатами. Во всех британских концепциях послевоенного мира (за исключением концепции крошечной группы коммунистов) безусловный приоритет отдавался сохранению американского присутствия в Европе.

К концу Первой мировой войны Соединенные Штаты уже были самой крупной и самой богатой страной в мире, но еще

не были сверхдержавой. К концу Второй мировой войны США стали единственной сверхдержавой. Как предстояло усвоить сменяющим друг друга американским администрациям, увеличение богатства и власти влекло за собой увеличение — а не уменьшение — взаимозависимости. В конце Первой мировой войны аргументы Вудро Вильсона в пользу дальнейшего участия США в европейских делах услышаны не были. В 1944 году тезис, что мир необходимо сделать безопасным для Соединенных Штатов, уже не казался надуманным. Перл-Харбор раз и навсегда разрушил американскую иллюзию, что два океана могут защитить США от внешних угроз.

По словам историка Джона Льюиса Гэддиса, во время войны приоритетами для Рузвельта были: поддержка союзников, поскольку Соединенные Штаты не могли победить Японию и нацистскую Германию в одиночку; обеспечение их сотрудничества с США в ходе послевоенного урегулирования, так как без участия СССР нельзя было достичь прочного мира; обеспечение многостороннего подхода к безопасности; предотвращение новой Великой депрессии. Наконец, поскольку Соединенные Штаты — демократическое государство и американские политики должны ориентироваться на мнение большинства населения, Рузвельту необходимо было убедить американский народ, что возврат к довоенному изоляционному уже невыносим.

В 1919 году в отеле “Мажестик” в Париже Кейнс был всего лишь одним из сотен технических консультантов, не имевшим почти никакой надежды быть услышанным и тем более — повлиять на окончательный результат. В 1944 году в отеле “Маунт-Вашингтон” он был, если использовать любимое выражение Линдл, этаким Пу-Ба*, то есть занимал одновременно несколько должностей. И на этот раз союзники извлекли уроки из печального опыта. Теперь они усвоили, что мир зависит от экономи-

Пу Ба — персонаж комической оперы сэра Уильяма С. Гилберта (1836–1917) и сэра Артура С. Салливана (1842–1900) “Микадо” (1885), чиновник, занимающий множество постов одновременно.

ческого возрождения. В 1918 году это мнение разделяли очень немногие, в частности Шумпетер, Кейнс и Фишер, но только не руководители победивших стран и не их избиратели.

Банкротство Великобритании и ее финансовая зависимость от Соединенных Штатов означали, что американцы будут во многом определять результаты, создавая при этом видимость совместной работы. Хотя формально американской делегацией руководил министр финансов Моргентау, только его заместитель Гарри Декстер Уайт был “полностью в курсе всех вопросов” и только он “мог предотвратить голосование по тому вопросу, который не хотел выносить на голосование”¹¹. Уайт организовывал все, начиная от пресс-конференций и кончая стенографированием и распространением стенограмм.

Кейнс, как правило, не трудился скрывать, что практически вбивает свои взгляды в глотки членам возглавляемого им банковского комитета. Моргентау пришлось зайти к Кейнсу в номер и “просить ослабить напор, говорить громче и принести в порядок свои бумаги”¹². Скидельски отмечает, что, если Кейнс и не стремился к сотрудничеству, он по крайней мере был эффективным, а его поспешность в обсуждении повестки дня свидетельствовала о переутомлении и растущем стремлении закончить как можно скорее. Кейнс произносил малоключительную речь на банкете; при его появлении все встали и стояли молча, пока он не добрался до трибуны и не сел.



Как-то во время этих долгих и трудных переговоров Гарри Уайт сказал Кейнсу: “Советский Союз — восходящая страна, а Британия — уходящая”¹³. Как отмечает Скидельски, Кейнс иногда приводила в замешательство одержимость Уайта Россией, и часто возмущала его враждебность по отношению к Великобритании. При этом он, по-видимому, и не подозревал,

что его наиболее влиятельные американские последователи (и, как правило, противники за столом переговоров) передавали государственные тайны Советскому Союзу и помогали Советам шпионить за ним и другими делегатами. В составе ставки правительственных экономистов, которых Уайт привез с собой в Бреттон-Вудс, была дюжина, если не больше сотрудников из отдела денежно-кредитных исследований министерства финансов, которые были агентами КГБ из “организации Сильвермастера”.

Сотрудничество в годы войны, героизм и самопожертвование советских людей в борьбе с Германией, роль европейских коммунистов в Сопротивлении — вот чем объясняется то, что раскрытие созданной Советами в США крупномасштабной шпионской сети вызвало сначала недоверие, а потом — потрясение. Самым тревожным казалось то, что Советы опирались на “пятую колонну” американских граждан (что очень напоминало весьма успешную стратегию нацистов, опиравшихся на сеть своих сторонников в Европе). Только-только отлакированный образ Советского Союза стал причиной не только того, что Рузвельт и Трумэн долго отказывались верить, что за Второй мировой войной началась “холодная война”, но и того, что сейчас кажется необъяснимым: как могло случиться, что некоторые из самых ярких и лучших представителей нации согласились стать шпионами, агентами влияния и апологетами чужого режима, и почему в большинстве своем они, по-видимому, не жалели об этом? То, что они сделали, они сделали во имя “человечества”.

Коммунистическая партия Соединенных Штатов Америки (КП США) никогда, даже в разгар Великой депрессии, не могла хоть сколько-нибудь приблизиться к статусу массового, а тем более — независимого политического движения. Число ее членов достигло пика — около 80 тысяч — в 1944 году, но подавляющее большинство вышло из нее менее чем через год, и влияние ее распространялось лишь на несколько кварталов в районе залива Сан-Франциско, в Бостоне и в Нью-Йорке,

а также на горстку профсоюзов. Среди шпионов встречались люди бедные, без прочной экономической базы, зачастую первые в своей семье поступившие в университет. Многие из них страдали от антисемитизма или снобизма окружающих. Возвышение Гитлера и Франко с их очевидной антиинтеллектуальной и милитаристской направленностью, представляющей опасность для цивилизации, придало этой партии некоторую привлекательность в университетских кругах. Преодоление Великой депрессии приняло вид политического движения, как это произошло позже, в пятидесятые и шестидесятые годы, с движением за гражданские права. Как физики Манхэттенского проекта считали, что они работают на войну, так и в министерстве финансов оперативная подготовка прогнозов все принималась как вклад в победу над фашизмом.

В 1930-х годах Локлин Карри работал преподавателем в Гарварде и в соавторстве со своим лучшим другом Гарри Декстером Уайтом написал несколько манифестов о мерах по стимулированию экономики и о “новом курсе”. В 1939 году он стал одним из шести помощников президента и вскоре консультировал Рузвельта по таким важнейшим вопросам, как перевод экономики на военные рельсы, военный бюджет и ленд-лиз для Китая. Карри организовал авиагруппу “Летающие тигры”, фактически запустил программу по ленд-лизу для Китая и принимал активное участие в американо-британских и американо-российских переговорах об условиях кредитов, а также в переговорах по подготовке Бреттон-Вудской конференции. Убедительные доказательства из многих независимых источников показывают, что Карри и Уайт не были невинными жертвами грязной политики, направленной против “нового курса”, и тем более маккартизма. Обвинения против них основаны на информации из двух независимых источников и были подтверждены материалами перехвата и расшифровки советских телеграмм задолго до того, как сенатор Джозеф Маккарти выступил со своими сенсационными заявлениями; кроме того, десятилетия спустя в архивах КГБ

были обнаружены дополнительные доказательства справедливости этих обвинений.

Карри обвинили в том, что он — возможно, по приказу президента — настаивал на том, чтобы Управление стратегических служб вернуло добытую советскую шифропереписку и приостановило ее расшифровку. Особенно серьезными были свидетельства против Гарри Декстера Уайта. Как утверждают его биографы Дэвид Риз и Р. Брюс Крейг, в 1939 году Уинтстер Чемберс, редактор журнала “Тайм” и бывший агент ГРУ (Главного разведывательного управления СССР) по собственной инициативе рассказал помощнику государственного секретаря, что Уайт и Карри являются советскими агентами, и назвал имена других агентов. Чемберс показал копии документа министерства финансов, которые Уайт дал ему для передачи в ГРУ. По крайней мере два бывших агента независимо друг от друга подтвердили эти обвинения. В одном сообщении, датированном ноябрем 1944 года и перехваченном в рамках проекта “Венон”, речь идет о предложении жене Уайта, сделанном Натаном Грегори Сильвермастером, помочь с платой за обучение дочери Уайта в колледже. В двух других донесениях содержалась информация о неофициальных переговорах между Уайтом и генералом КГБ Виталием Павловым, в том числе во время обеда в ресторане в Вашингтоне в 1941 году.

Хотя Москва ценила Карри и Уайта как разведчиков, еще большую ценность они представляли как агенты влияния. Должности, которые они занимали во властных структурах, предоставляли им большие возможности и доступ к секретной информации; они могли принимать решения и настаивать на мерах, которые отвечали или не отвечали интересам правительства США, но, несомненно, отвечали интересам Советского Союза. Ирония судьбы состояла в том, что Карри и Уайт понимали намерения СССР не в большей степени, чем самый наивный американский политик. В отличие от Рузвельта и Трумэна, взгляды которых после Ялтинской конференции 1945 года резко изменились, эти расчетливые, упрямые и дву-

личные люди, когда Сталин одурачил их, повели себя с поразительным непониманием брошенных любовников.

Поколение, пришедшее в экономику во время Великой депрессии или сразу после нее, ухватилось за “Общую теорию занятости, процента и денег”, как утопающий за соломинку. Кейнс был их героем, а они были его интеллектуальными последователями. Но звание “кейнсианца” отнюдь не подразумевало поддержку политических предложений Кейнса, а тем более его политических взглядов. Некоторые из кейнсианцев были политическими консерваторами, другие, особенно в Европе, социалистами; но по большей части они состояли в основных партиях своих стран. То, что некоторые из них заняли высокие должности и тайно использовали свое положение в интересах тоталитарного режима, много говорит об этих людях и о том времени, но очень мало — о кейнсианских идеях, не говоря уже о Кейнсе как личности, за исключением, пожалуй, одного: он, как и все остальные, не мог себе представить, что такие умные люди в состоянии вести себя так глупо или так дурно.

Глава XV

ДОРОГА ОТ РАБСТВА

ХАЙЕК И “НЕМЕЦКОЕ ЧУДО”

Эту мысль нельзя повторить слишком часто (по крайней мере ее повторяют далеко не так часто, как следовало бы): коллективизму отнюдь не присущи демократические черты — напротив: при коллективизме деспотичное меньшинство приобретает такую власть, какая и не снилась испанским инквизиторам...

Поскольку подавляющее большинство населения предпочитает государственную регламентацию экономическим спадам и безработице, движение в сторону коллективизма неизбежно продолжится, если общественное мнение будет иметь право голоса в этом вопросе.

Джордж Оруэлл,
рецензия на “Дорогу к рабству”, 1944 год¹

Тридцать первого марта 1945 года Исая Берлин в своем еженедельном сообщении из Вашингтона писал, что “журнал Ридерз Дайджест”, фактически рупор крупного бизнеса, опубликовал краткое изложение известной работы профессора Хайека” и что “противники Бреттон-Вудских соглашений с нетерпением ожидают прибытия самого профессора, который должен выступить в качестве тяжелой артиллерии”².

Трансатлантическое путешествие Хайека на “медленном конвое” в бурную мартовскую погоду было значительно менее приятным, чем вояж Кейнса в июне предыдущего года. Но когда Хайек ступил на пристань в Нью-Йорке, его ослепили вспышки фотокамер и окружила толпа журналистов. На первую лекцию Хайека в Нью-Йоркском университете собралось три тысячи человек, и ему пришлось пробыть в Соединенных Штатах шесть недель (на четыре недели дольше, чем он планировал). У него был настолько плотный график выступлений, радиопередач, интервью, что он с трудом выкроил время поздним вечером для короткой встречи со своим старым другом Фрицем Махлупом, который с 1943 года добросовестно отправлял ему посылки с тушенкой, орехами, черносливом, рисом и т. п.

“Рупор большого бизнеса” мгновенно превратил Хайека в знаменитость. Довершила дело рецензия на книгу на первой полосе “Нью-Йорк таймс”, написанная Генри Хэзлитом из журнала “Ньюсуик”. Сенсационный успех “Дороги к рабству” частично объясняется сложившейся в то время обстановкой. Весной 1945 года, когда Ялтинская конференция уже завершилась и победа Красной Армии над нацистской Германией не вызывала сомнений, внимание американской общественности было привлечено к послевоенному урегулированию и, в частности, к будущему американо-советских отношений. Среди вопросов, стоявших перед Конгрессом, были торговый законопроект, огромный заем для Британии и, конечно, ратификация мирового валютного соглашения, достигнутого в июле прошлого года в Бреттон-Вудсе. Все эти инициативы исходили из администрации Рузвельта, и против них категорически выступали республиканцы. Хотя в своей книге Хайек в основном имел в виду нацистскую Германию, а не сталинский Советский Союз, общий антигосударственный посыл этой книги был близок противникам “нового курса”. Как и предполагал Исайя Берлин, американские консерваторы пришли в восторг и приняли венского профессора

с распростертыми объятиями. Однако Хайек не оправдал надежд республиканцев. В следующем сообщении Берлин с некоторым удивлением пишет о том, что в Ассоциации американских банкиров возникли сомнения в правильности их неприятия Бреттон-Вудского соглашения благодаря — “как это ни странно” — профессору Хайеку, который “на встрече с влиятельными нью-йоркскими банкирами, на которой присутствовали Уинтроп Олдрич, некоторые партнеры Моргана, а также господин Герберт Гувер и другие, энергично выступил в защиту Бреттон-Вудской системы”³.

Через месяц Исаяя Берлин злорадствовал: “Профессор Фридрих фон Хайек, на которого экономические тори в этой стране возлагали большие надежды (поскольку он несомненно был противником “нового курса”), оказался для них очень неудобным союзником — его приверженность свободной торговле делала его не меньшим противником тарифов и монополий”⁴.

Республиканские сторонники Хайека не знали, что еще перед войной его отношение к Рузвельту потеплело. “Я полагаю, Рузвельт знает, что делает”, — писал он Махлупу и признавался, что “Послание Конгрессу о концентрации экономической мощи” Рузвельта в 1938 году заставило его “значительно пересмотреть свое отношение к президенту”⁵. Самого Хайека растерянность и смущение его сторонников отнюдь не пугали. В последний вечер пребывания Хайека в Вашингтоне Альберт Хоукс, сенатор-республиканец из Нью-Джерси, дал обед в его честь. На этом обеде другой сенатор, утомленный и разочарованный абстрактной аргументацией и сухим изложением Хайека, спросил его мнение о готовящемся торговом законодательстве. Хайек ответил ледяным тоном: “Господа, если у вас вообще есть хоть какое-нибудь представление о моей философии, вы должны знать, что превыше всего я ставлю свободную торговлю во всем мире. Программа взаимной торговли направлена на развитие мировой торговли, и, естественно, приветствую такую меру”.

Присутствовавший среди гостей обозреватель “Вашингтон пост” Маркис Чайлдс весело заметил, что “температура в комнате понизилась по меньшей мере на десять градусов, поскольку республиканская партия приняла решение выступить против расширения торговой программы”. Охлаждение продолжилось, когда чуть позже Хайек повторил, что, хотя ему не нравятся многие положения Бреттон-Вудского валютного соглашения, он поддерживает его. Альтернатива такому соглашению, по его словам, “слишком мрачна, чтобы ее рассматривать”⁶.

В июле Конгресс одобрил Бреттон-Вудское соглашение. Британский парламент затянул одобрение договора до декабря, когда Вашингтон наконец согласился выдать Британии заем в сумме 8,8 миллиарда долларов, ради которого Кейнсу пришлось приложить столько усилий. Выбор между автаркией и глобализацией, свободной торговлей и протекционизмом был сделан. Русские отказались ратифицировать это соглашение, чем неприятно поразили и администрацию Рузвельта, и своих “кротов”. Джордж Кеннан, дипломат и архитектор доктрины Трумэна, вспоминал:

Нигде во всем Вашингтоне так не надеялись на сотрудничество с Россией, как в министерстве финансов, нигде эти надежды не были в такой мере “проработаны”, не были столь наивными и не отстаивались так упорно (можно даже сказать — яростно). И вдруг непостижимое нежелание Москвы поддержать создание Всемирного банка и Международного валютного фонда, похоже, разрушило эти надежды, и государственный департамент в дипломатической форме передал посольству мучительный вопль недоумения, долетевший к ним — через крышу Белого дома — из министерства финансов: чем объяснить такое поведение советского правительства? Что за этим стоит?⁷

В отличие от Черчилля Рузвельт и Трумэн относились к Сталину примерно так же, как Невилл Чемберлен относился к Гитлеру

до 1938 года — то есть как к руководителю, у которого есть законные претензии, который преследует ограниченные цели и будет заключать договоренности и соблюдать их, если с ним правильно обращаться. Соперничество между сверхдержавами и конфликты коммерческих интересов они воспринимали как нечто само собой разумеющееся, но считали, что и Соединенные Штаты, и Советы заинтересованы в том, чтобы эти конфликты разрешались в рамках сотрудничества. Однако мнение, что со Сталиным можно вести нормальные переговоры, начало меняться еще до кончины Рузвельта, произошедшей от кровоизлияния в мозг 12 апреля 1945 года, через две недели после прибытия Хайека в Америку. Резкий отказ диктатора присоединиться к МВФ и Всемирному банку стал одной из причин, которые в итоге привели к радикальной переоценке ситуации, начавшейся со знаменитой “длинной телеграммы”, которую в феврале 1946 года направил государственному секретарю второй советник посольства США в Москве Джордж Кеннан. Данное в этой телеграмме описание Советского Союза напоминает тоталитарные империи, созданные воображением Джорджа Оруэлла.

Несмотря на длительную дискуссию, Кейнс и Хайек так и не пришли к полному согласию относительно того, какого рода и в каких масштабах вмешательство государства в экономику совместимо со свободным обществом. Тем не менее Кейнс одобрил “Дорогу к рабству” и предложил кандидатуру Хайека (а не своей ученицы Джоан Робинсон) в члены Британской академии. Когда 21 апреля 1946 года сердце Кейнса перестало биться, Хайек написал Лидии, что Кейнс был “единственным великим человеком, которого он знал и к которому относился с безмерным восхищением”⁸.

К началу 1947 года единый мир, о котором мечтал Кейнс, распался на глазах. Польша, Венгрия и Румыния одна за другой

оказались в сфере советского господства. Черчилль произнес речь о “железном занавесе”. Трумэн объявил, что Соединенные Штаты будут “поддерживать свободные народы, которые сопротивляются агрессии вооруженного меньшинства и внешнему давлению... помощь должна быть прежде всего экономической и финансовой... приведет к экономической стабильности и, таким образом, окажет влияние на политические процессы”¹⁰.

Хайек избегал возвращения в Вену после войны. Его ближайшие друзья или умерли, или эмигрировали. После Ялтинской конференции Сталин приостановил наступление Красной Армии на Берлин, чтобы захватить другой город, который представлялся ему ценным трофеем для будущих расчетов: после массированных бомбардировок и ожесточенных уличных боев русские заняли Вену. Некоторые из прекраснейших венских зданий превратились в развалины. Водопровод, газопровод и электросеть были разрушены. Беззащитных жителей, брошенных полицией и другими органами местной власти на произвол судьбы, терроризировали уголовные группировки. Штурмовавшие Вену советские войска вели себя достаточно сдержанно по отношению к гражданскому населению, однако военные подразделения, прибывшие им на смену, на шесть недель погрузили город в безумие изнасилований, мародерства и жестокости.

Пока шла война, Хайек мечтал воссоздать на континенте прежний “Кружок духов”, чтобы продемонстрировать, что идеалы европейского Просвещения еще живы: “Старый либерал, который придерживается традиционной веры просто по привычке... не годится для наших целей... Нам нужны люди, которые сталкивались с аргументами противной стороны, отражали их и определили для себя такую позицию, которую они готовы защищать от критических нападков”¹¹. Во время второго визита Хайека в США консервативный Фонд Волкера предложил спонсировать проведение конференции, чтобы

основать сообщество либералов-единомышленников. Хайек провел первое собрание общества “Мон Пелерин” в Швейцарии на холме с видом на Женевское озеро 10 апреля 1947 года. Участники его были в основном европейцами-эмигрантами, приехавшими из США и Великобритании, в том числе Карл Поппер, Людвиг фон Мизес и Фриц Махлуп. Из Чикагского университета прибыли Милтон Фридман и Аарон Директор. Кроме того, на этом собрании присутствовали Генри Хэзлитт из “Ньюсуик” и Джон Дэвенпорт из “Форчун”. Собравшиеся индивидуалисты не смогли достичь консенсуса относительно института частной собственности, но сумели достичь полного согласия в отношении принципа свободы личности. Они четко договорились о том, что организация не будет издавать ни книги, ни периодические издания, не будет заниматься политической деятельностью и выступать с заявлениями, однако не приняли предложения Хайека назвать организацию “Обществом Актона — Токвиля”, поскольку Фрэнк Найт из Чикагского университета заявил, что неправильно включать в название фамилии “двух аристократов-католиков”¹¹. Людвиг фон Мизес вызвал скандал, когда во время дебатов о распределении прибыли обвинил других в симпатиях к социалистам. Вальтер Ойкен, экономист из Германии, съел свой первый с довоенных лет апельсин. После трех дней дискуссий по самым разным вопросам возникла опасность остаться даже без общей декларации о принципах, и тогда Лайонел Роббинс, ветеран бесчисленных комиссий, сумел разработать такой проект, под которым сочли возможным поставить свою подпись все, кроме Мориса Алле из Франции. В нем говорилось, что “свобода мысли и высказываний находится под угрозой из-за распространения взглядов, носители которых, находясь в меньшинстве, вызывают к толерантности, а сами стремятся прийти к власти, чтобы установить такую систему, которая позволяет подавлять и уничтожать все взгляды, отличные от их собственных”¹²; кроме того, в этом заявлении подчеркивались важность свободного предпринимательства, противодействия историче-

скому фатализму, а также обязанность государств и отдельных лиц соблюдать моральные нормы, и прежде всего отстаивать полную интеллектуальную свободу.

Как только конференция закончилась, Хайек отправился в Вену. Состояние города и положение жителей были намного хуже, чем он мог себе представить. За долгие три года под оккупацией четырех союзников Вена превратилась в убогий, деморализованный и мрачный город, подобный увиденному зрителями “Третьего человека”, фильма в жанре нуар, одним из авторов сценария которого был английский писатель Грэм Грин. Фильм поставил режиссер и актер Орсон Уэллс, сыгравший главную роль. Его герой говорит: “В Италии тридцать лет правления Борджиа были заполнены войнами, террором, убийствами, кровопролитием — но они произвели на свет Микеланджело, Леонардо да Винчи, ознаменовали собой начало эпохи Возрождения. А в Швейцарии в течение пятисот лет царила братская любовь, демократия и мир — и что швейцарцы смогли придумать за это время? Часы с кукушкой”¹³.

За восточные пригороды по-прежнему отвечали русские, которых жители Вены боялись и презирали. Хайек жаловался, что союзники относились к Австрии “намного хуже, чем к Италии или любой другой стране, которая добровольно присоединилась к Германии”. Оккупационные власти руководствовались здесь практически теми же принципами, что и в Германии, а это означало, что практически все виды экономической деятельности, за исключением черного рынка Гарри Лайма*, были запрещены. Хайек сетовал: “Австрийцы были лишены возможности помочь себе сами, чтобы выйти из отчаянного экономического положения”¹⁴.

Благодаря одному из тех совпадений, число которых в критические времена увеличивается многократно, в поезде, шедшем из Вены в Мюнхен, Хайек вновь встретился с Людвигом Витгенштейном, своим двоюродным братом. Витгенштейн ка

* Гарри Лайм — герой фильма “Третий человек”.

иался более угрюмым и раздражительным, чем когда-либо. Он провел большую часть времени в русском секторе, где Красная Армия использовала дом, который Витгенштейн спроектировал и построил для одной из своих сестер, в качестве конюшни и гаража. Витгенштейн был большим поклонником большевиков и в 30-е годы всерьез задумывался об эмиграции в Россию¹⁵. Теперь, по мнению Хайека, философ вел себя так, как будто встретил русских “во плоти в первый раз, и это разрушило все его иллюзии”.

После посещения Вены Хайек отправился в организованную Британским советом поездку по нескольким немецким городам. Он увидел, что Кельн, в том числе его кафедральный собор, “война сровняла с землей — не осталось ничего, только большие груды щебня”. Он “выступал в большой подземной пещере, пробравшись в нее через руины”. В письме Махлупу Хайек написал, что в Дармштадте произошел “самый трогательный случай в его практике преподавателя университета”.

Я не ожидал, что немцы обо мне что-либо знают, но на моем выступлении в огромном лекционном зале было столько народу, что не все студенты смогли попасть внутрь. И я заметил, что люди передают друг другу отпечатанные на машинке копии “Дороги к рабству” на немецком языке, хотя она еще не была опубликована в Германии¹⁶.

Характерно, что после возвращения в Лондон Хайек первым делом подумал об организации сбора книг, изданных после 1938 года, которые из-за цензуры и войны не были доступны австрийским и немецким ученым. К концу года было собрано около 2500 томов, которые с большим трудом удалось отправить в Вену.

В 1947 году вопрос о том, что делать с Германией, по-прежнему оставался нерешенным. Тремя годами ранее, за несколько

недель до “Дня Д”, Кейнс, Уайт и их правительства вступили в ожесточенную дискуссию. Уайт настаивал на деиндустриализации Германии, тогда как Кейнс выступал за ее экономическую интеграцию и восстановление. Лишь несколько недель спустя, в июле 1944 года, Кейнс впервые из газет узнал о плане Morgenthau. Версальский договор, который он в 1920-е годы постоянно и резко критиковал как “карфагенский” и который он считал причиной новой мировой войны, имел карательный характер. Но он отражал стремление победителей заставить Германию возместить убытки, связанные с войной. План Morgenthau предусматривал сведение современной экономики Германии до уровня XVIII века и превращение ее в доиндустриальное государство. Как отметил Кейнс в письме к английскому министру финансов Джону Андерсону, у этого плана было два преимущества. Во-первых, он был предложен в то время, когда шли ожесточенные бои с большими потерями и казались приемлемыми самые крайние меры, вплоть до геноцида. Во-вторых, это был план. У государственного департамента и министерства обороны не было больше ничего столь согласованного.

Кейнс промолчал, поскольку не мог позволить себе испортить отношения ни с Morgenthau, ни с Уайтом (это он понял мгновенно). Свою совесть Кейнс успокаивал тем, что этот план не пройдет через Конгресс, и он оказался прав. К тому моменту, как в 1945 году генерал Эйзенхауэр взял под свой контроль Южную Германию, план Morgenthau уже положили на полку. Однако в отсутствие позитивного видения и конкретных контрпредложений возник своего рода вакуум, и молчание Кейнса имело определенные последствия. При отсутствии содержательного плана “принципы Morgenthau и сторонники Morgenthau” управляли Германией целых три года. Еще в июне 1945 года Остин Робинсон, выполнявший инспекцию по поручению министерства финансов, сообщил Кейнсу, что он “обеспокоен не столько материальным уроном, сколько тем, что полностью перестала функционировать

экономическая система”. Он обнаружил, что “нет газет... нет телефонной связи на больших расстояниях, мало надежной связи любого рода”. “Города Германии лежат в руинах, заводы разрушены, дома сгорели или разбомблены, жизнь прекратилась. Лишь сельское хозяйство Германии по-прежнему живо, работы на полях идут нормально... не хватает только стимулов для торговли с городами, поскольку горожане мало что могут предложить в обмен на продовольствие”¹⁷.

Запрет на возобновление экономической деятельности в Германии имел два неожиданных для американских властей следствия. Во-первых, крах немецкой экономики мешал восстановлению остальной Европы. Во-вторых, расходы на оккупацию резко возросли, что сказалось на кошельках американских и английских налогоплательщиков. По самым скромным подсчетам, значения на ценниках увеличились втрое. Робинсон предупреждал Кейнса, что, если русские “или, возможно, французы” возьмут слишком большие репарации, Британия будет вынуждена тратить деньги на импорт, чтобы кормить и поддерживать свою зону оккупации в приличном состоянии, предотвращая голод и катастрофу”¹⁸. Кейнс, который все это уже видел после Первой мировой войны, отозвался немедленно: “Бога ради, проследите, чтобы на *этот* раз нам не пришлось оплачивать репарации”¹⁹.

В конечном счете Соединенные Штаты приняли план Маршалла. Европа голодала и могла оказаться в коммунистическом лагере, так что план Маршалла стал естественным следствием Бреттон-Вудского соглашения и стремления Великобритании и США к созданию институтов, способствующих росту и стабильности в экономиках свободного мира. Таким образом, замена в экономической политике национального подхода глобальным отражала то, как изменялись представления о безопасности и послевоенной дипломатической и военной стратегии. Полагая, что экономический крах породил то-

талитарные режимы, американцы стремились восстановить экономическое здоровье Европы, и это стало особенно актуально, когда в 1947 году стало ясно, что самостоятельно Европа не восстановится. Ее экономическое возрождение отвечало интересам американского бизнеса и, кроме того, было необходимым условием европейской самообороны. Аргументации Трумэна убедила лидеров делового мира в необходимости значительных правительственных расходов на помощь другим странам и военные нужды в мирное время.

Хотя в рамках плана Маршалла Германия получила сравнительно небольшую помощь, ее восстановление шло настолько быстро, что получило название “экономического чуда”. В течение трех лет после денежной реформы 1948 года доход на душу населения в Германии ежегодно возрастал в среднем на 15%, и к 1950 году, несмотря на послевоенную разруху и вывоз оборудования русскими, он составлял уже 94% от довоенного уровня.

Что же случилось? Министр финансов Людвиг Эрхард объяснял это экономическое чудо введением новой валюты и снятием в 1948 году контроля над ценами. Он вспоминал: “Немецкая экономика, наверное, больше, чем какая-либо другая, испытала на себе экономические и надэкономические последствия экономической и торговой политики, подверженной крайностям национализма, автаркии и государственного контроля. Мы усвоили урок”. Либерализация “пробудила предпринимательские стимулы. Рабочие приступили к работе, торговцы занялись торговлей, экономика... начала производить.. До этого поощрялась стагнация. Внешняя торговля вяло развивалась в рамках, предусмотренных инструкциями союзников. Товаров не хватало, спрос был на все, но требовался экономический импульс”²⁰.

Для Хайека возрождение Германии из пепла стало подтверждением правоты его веры в свободный рынок, свободную торговлю и устойчивую валюту, а также предвестником

того, что либеральная европейская цивилизация, которую он любил, все-таки не обречена на исчезновение.

Когда Хайек получил приглашение преподавать в Чикагском университете, он уволился из Лондонской школы экономики, развелся с женой и женился на своей возлюбленной. Он отдался своей давней страсти — коллекционированию книг — и написал интеллектуальную биографию, очаровательную историю взаимоотношений Джона Стюарта Милля и Гарриет Тейлор, а в медовый месяц повторил знаменитое путешествие Милля от Лондона до Рима.

Однако любимцем американских консерваторов он пробыл недолго. Ему не нравилось большинство республиканских политиков, все автомобили и практически все остальное в американской жизни, в том числе отсутствие общего медицинского страхования и государственных пенсий. Он тосковал по Европе, и поскольку обратно в Лондонскую школу экономики его не приглашали, он в конце концов устроился на работу в университет Зальцбурга.

В 1974 году Шведская академия наук выдернула Хайека из неизвестности, наградив Нобелевской премией за глубокий "анализ взаимосвязи экономических, социальных и институциональных явлений". По иронии судьбы, премию он разделил со шведским социалистом Гуннаром Мюрдалем. Через несколько лет его "Конституция свободы" стала библией консервативного возрождения для Маргарет Тэтчер. А в начале 1990-х распад Советского Союза и проведение либеральных рыночных реформ в странах Восточной Европы и Азии сделали его героем консерваторов всего мира.

Глава XVI

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

САМУЭЛЬСОН ЕДЕТ В ВАШИНГТОН

Меня не интересует, кто пишет законы этой страны или составляет для нее важные международные договоры, пока я пишу в ней учебники по экономике.

Пол Э. Самуэльсон¹

Первые месяцы войны Пол Энтони Самуэльсон, анонимный автор правительственного доклада, на который президент Рузвельт ссылаясь в своем “радикальном” послании Конгрессу “О положении в стране”, томился, вдавливая экономикой скучающим студентам инженерных специальностей и выполняя бесконечные расчеты для военных в радиационной лаборатории Массачусетского технологического института¹. Еще в 1940 году Локлин Карри, экономический помощник Рузвельта, сказал президенту, что Соединенным Штатам уже пора начать планировать развитие страны в послевоенную эпоху. Президент согласился, и Карри быстро набрал группу способных младшекурсников для работы в Совете по планированию национальных ресурсов, первом и единственном планирующем органе страны. Возглавил Совет дядя президента, Фредерик Делано. Самуэльсон, двадцатисемилетняя восходящая звезда из Гарварда, новоиспеченный доктор философии и доцент Массачусетского технологического института, вскоре

стал официальным руководителем группы из двадцати экономистов и нескольких аспирантов из Университета Джонса Хопкинса. Их задача состояла в том, чтобы определить возможные варианты развития послевоенной экономики и предложить решения потенциальных проблем³. Чтобы убедить начальство, что новая кейнсианская экономика представляет собой лишь раздел бухгалтерского учета и не подрывает устои государства, Самуэльсон взял себе за правило приходить на брифинги в Белом доме в зеленом бухгалтерском козырьке*.

В 1944 году на следующее утро после Дня труда, первый раз почти за год, этот пехотинец огромной армии университетских консультантов военного времени в рузвельтовской администрации вернулся в Вашингтон. Невысокий, гибкий и крепкий, подстриженный “ежиком” Самуэльсон прибыл из Бостона ночным поездом. Элегантно одетый в костюм с галстуком-бабочкой, он обошел “душные временные сооружения”, возникшие по всей столице, заводя разговоры с бывшими коллегами и студентами и выпытывая у них новости и слухи.

Самуэльсон “почуял предстоящее сокращение военного производства”⁴. Каждый офис, в который он заходил, был завален калькуляторами, беспорядочными кипами зеленых листов и стопками отчетов об исполнении бюджетов. Было ясно, что конец войны не за горами, и Вашингтон перенес внимание с военного производства на экономику мирного времени. Сотни чиновников высчитывали, на сколько можно будет сократить военные закупки, сколько солдат можно демобилизовать, сколько времени потребуется, чтобы переделать линии по производству танков на производство автомобилей. Первый раунд сокращений планировался на осень, то

Зеленый козырек — такие козырьки с конца XIX до середины XX века было принято носить бухгалтерам, телеграфистам, корректорам и работникам других профессий, связанных с большой нагрузкой для глаз. Козырьки были призваны защищать глаза от ослепляющего света ламп накаливания и служили привычной характеристикой лиц этих профессий (подобно черным шарфикам советских бухгалтеров).

есть — возможно, не случайно — на время президентской избирательной кампании 1944 года, где соперником Рузвельта был республиканец Томас Дьюи, губернатор штата Нью-Йорк (в котором Рузвельт тоже был когда-то губернатором). Однако осенью из-за сражения в Арденнах наступление союзных войск в Европе приостановилось, поэтому реконверсию отложили до начала 1945 года⁵.

Несмотря на изнуряющую жару и высокую влажность, Самуэльсон с удивлением обнаружил, что настроение в Вашингтоне и у “экспертов”, и у членов Конгресса весьма оптимистичное. Накануне “Нью-Йорк таймс” вышла с заголовком “Послевоенный бум почти неизбежен”⁶. Самуэльсон был в смятении. Масштаб будущих проблем был огромен: 11 миллионов человек в военной форме плюс 16 миллионов — почти треть рабочей силы — на оборонных заводах. В 1943 году расходы федерального правительства составили более 60 миллиардов долларов, то есть почти половину годового объема производства, и были почти в семь раз выше, чем в 1940 году. Чем больше Самуэльсон думал о том, что будет после войны, тем больше он беспокоился.

Другие кейнсианцы разделяли его настроение. Они считали само собой разумеющимся, что американский бизнес год за годом будет увеличивать производство, повышать его эффективность и доход на душу населения, но сомневались, что предприятия и население будут тратить, а не накапливать прибыль и заработную плату, образующиеся в результате всех этих перемен. Самуэльсон склонялся к мнению, что тенденции к стагнации экономики не обязательно является временным заболеванием, обусловленным ошибками в кредитно-денежной политике или внешними потрясениями, а представляет собой хроническую болезнь. Историк экономики Дэвид Кеннеди отмечает, что в содержании и выводах доклада Самуэльсона для Национального совета планирования ресурсов просматриваются два источника. Первый — это суждение Кейнса о невеселых послевоенных перспективах британской

экономики без крупных и постоянных денежных вливаний со стороны правительства, высказанное им в 1940 году в брошюре “Как оплатить войну”⁷. Второй — это мнение кейнсианских советников администрации, в частности Карри, Уайта и Элвина Хансена, профессора Гарвардского университета и консультанта Национального совета планирования ресурсов и Федеральной резервной системы. Именно Хансен сплотил под кейнсианскими знаменами аспирантов и преподавателей — “люмпен-пролетариат”, как любил говорить Самуэльсон, — в целом консервативного факультета. Кеннеди отмечает, что американские последователи Кейнса были еще более пессимистичными, чем их лидер. Еще в 1938 году, когда Хансен прибыл в Гарвард со Среднего Запада, он опубликовал книгу “Полное восстановление или стагнация”, в которой предсказывал мрачное послевоенное будущее.

Самуэльсон, который писал так же легко и быстро, как говорил, начал свою вторую звездную карьеру — в журналистике — с провокационной серии из двух статей для журнала “Нью рипаблик”, посвященной “надвигающемуся экономическому кризису”⁸. Его подход был энергичным — не фаталистическим. Он считал, что проблема трудна, но разрешима, и настаивал на принятии тех же мер, которые он предложил в 1942 году в докладе Национальному совету планирования ресурсов: замедлить демобилизацию и сохранить государственные расходы на высоком уровне. Эта работа излучала уверенность в том, что (как однажды удачно сформулировал сторонник “нового курса” Честер Боулз) “эта Великая депрессия была последней по простой причине — народ достаточно мудр и понимает, что больше такого терпеть не следует”⁹.

Самуэльсон был “плодом” массовой еврейской эмиграции из России в Америку, экономического подъема на Среднем Западе в годы Первой мировой войны и динамичных двадцатых годов. Он родился в Гэри, штат Индиана, в 1915 году.

Именно этим обстоятельством он позже объяснял свое сохранившееся на всю жизнь увлечение экономикой и спекуляциями на фондовом рынке. В то время Гэри еще не был пригородом Чикаго, а представлял собой рабочий городок, выросший вокруг громадных сталелитейных заводов, застроенный новенькими жилыми домами, поднявшимися среди прерий, и окутанный особой атмосферой копоти, дыма и денег. Во время Первой мировой войны заводы работали день и ночь. Сталевары, в основном иммигранты, имели возможность работать по 12 часов в сутки круглую неделю. Если рабочий заболел, он, чтобы не потерять суточный заработок, шел не к врачу, а в аптеку. Фрэнк Самуэльсон, будучи одним из немногих фармацевтов в городе, оказался в выгодном положении. Будучи еврейским иммигрантом первого поколения, Самуэльсон общался со своими клиентами на русском и польском языках.

Помимо продажи лекарств он занимался мелкой спекуляцией недвижимостью, то есть вел себя как типичный представитель Среднего Запада, располагающий свободными наличными деньгами, которые он скопил или взял в долг. Военный бум сказался и на сельском хозяйстве: цены на зерно резко взлетели. Фермеры, никогда не знавшие такого спроса, занимали деньги и вкладывали их в расширение посевных площадей и закупку техники. Несколько лет фермеры и Фрэнк Самуэльсон, вкладывавший деньги в недвижимость в центре Гэри, процветали. Подобно Гофер-Прери, вымышленному городку в романе Синклера Льюиса "Главная улица", Гэри был полон преуспевающих мужчин типа Фрэнка Самуэльсона и их вечно недовольных жен, презиравших городок за его убогость и возмущавшихся мужьями, которые увезли их на расстояние дня пути от Чикаго. Хорошенькая и тщеславная Элла Липтон Самуэльсон, мечтавшая о продвижении в обществе, то провоцировала мужа, то осыпала его насмешками. Она отличалась капризным нравом, страстно желала прославиться в качестве дизайнера шляпок и очень хотела иметь дочерей.

Но родила трех сыновей, которых одного за другим отдавала на воспитание приемным родителям вскоре после того, как они начинали ходить.

В возрасте семнадцати месяцев белокурого голубоглазого малыша отправили на ферму в Уилере, штат Индиана, расположенную на перекрестке дорог посреди бескрайних пшеничных полей, без электричества, внутридомового водопровода, телефона и автомобиля. Позднее Самуэльсон говорил: «Еще в раннем детстве я своими глазами видел, как исчезла лошадиная тяга, как провели водопровод и электрическое освещение. После этого появление радио и телевидения уже не производит такого впечатления»¹⁰. Он снова увидел мать, только достигнув детсадовского возраста.

Разлука с матерью может развить в ребенке холодность и отчужденность, а может — стремление к привязанности и желание нравиться. С Самуэльсоном произошло и то, и другое. Его приемная мать стала первой из множества женщин, обожавших его: от жен и секретарш до дочерей и собак. В отличие от его родной матери эта женщина была дородной, уютной и доброй и к тому же отменной поварихой.

Когда пятилетний Пол вернулся домой, уже был заключен мир и только что созданная Федеральная резервная система прекратила выдавать кредиты, чтобы сбить инфляцию военного времени. Центральные банки Великобритании и Франции — крупнейших рынков сбыта американской пшеницы — сделали то же самое. В течение нескольких месяцев цены на зерно упали в два раза, металлургические заводы остановились, многие банки обанкротились. «Банкротство банка в нашей части Индианы перестало быть странным и необычным явлением, — вспоминал Самуэльсон. — Фермы, которые получали ссуды под недвижимость и на пике процветания военного времени были полностью оснащены техникой, сильно пострадали от падения цен на зерно. Поэтому провинциальные банки и обанкротились». Рухнули цены на землю, а с ними и финансовое благополучие Самуэльсонов.

Экономический подъем, начавшийся в середине 1921 года, мало чем способствовал возрождению потрепанных фермерских хозяйств и семейных финансов. Четыре года Фрэнк Самуэльсон наблюдал, как тает его когда-то процветавший аптечный бизнес. Наконец, летом 1925 года, увлекаемый волшебными видениями теплых зим и тропического изобилия, включавшего апельсиновые деревья прямо у порога, и усталый от постоянных ссор с женой, Фрэнк передал ключи от аптеки новому владельцу. Они с Эллой сели в автомобиль и направились на юг, в Майами, вместе с десятками тысяч других семей, ринувшихся за землей во Флориду. Приобретение земли во Флориде казалось верным делом: первоначальный взнос в размере 10% означал, что повышение цены в два раза принесет 1000% прибыли на вложенный капитал. И не важно, что “сказочный участок” на самом деле был втиснут “между сосновой чащей и болотом”¹¹.

Когда родители покинули Гэри, десятилетний Самуэльсон с братом Гарольдом, которому было двенадцать с половиной, находились в Уилере, где они всегда проводили лето. В начале сентября, в День труда, родители вызвали их к себе. Мальчики ехали из Чикаго в Майами в пульмановском спальном вагоне. Самуэльсон вспоминал, что первое, что он увидел, сойдя с поезда, были не мать и отец, а “люди в брюках-гольф, покупающие и продающие земельные участки прямо на улице”¹².

К середине 1925 года этот бум распространился на север до Джексонвилла, сонного сельского городка вблизи Атлантического побережья, примерно в 560 километрах от Майами. Кроме того, ажиотажный спрос на землю привлек сюда и печально известного мошенника по имени Чарльз Понци, продававшего участки по 10 долларов — как потом выяснилось, они были 1/23 акра и расположены примерно в 100 км (по прямой) от Джексонвилла. В 1926 году вера в то, что улицы во Флориде вымощены золотом, начала слабеть и приток покупателей уменьшился. Естественно, упали и цены. Потом на Флориду обрушились два урагана, и то, что казалось пау-

дой в непрерывном росте цен, обернулось их стремительным падением. Фрэнк Самуэльсон потерял почти все оставшиеся деньги, но зато заработал массу упреков от жены. “Она особенно сдерживалась”, — говорил Пол о своей матери, которая любила раз за разом пересказывать историю о глупых сделках мужа еще долго после его преждевременной смерти от болезни сердца в возрасте сорока восьми лет. Природа экономических проблем семьи была понятна даже десятилетнему мальчику.

Через два года Самуэльсоны вернулись на Средний Запад и поселились в южной части Чикаго, которая, как и сейчас, представляла собой анклав среднего класса между озером Мичиган и афро-американским гетто. Экономика в Чикаго опять была на подъеме, и вонь скотных дворов смешивалась с запахом дыма, долетавшим через озеро от металлургических заводов в городе Гэри. Пол поступил в среднюю школу в Гайдпарке и присоединился ко всей остальной стране, ежедневно получавшей сводки биржевой информации — зачастую он делал это вместе со школьным учителем математики.

Куль Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, автора “Великого Гэтсби”, был в самом разгаре. Самуэльсон писал рассказы для школьного литературного журнала, изображая искушенных и циничных молодых людей, которые меняли девушек как перчатки и сыпали остроумиями типа “Во имя Майка, Пэта, Пита и семи других апостолов, заткнись!”¹³ Пол жил с “крикливой” матерью и предавался мечтам о колледже на востоке страны и “тихом зеленом городке” с “высокой белой церковью”¹⁴. В 1931 году, в возрасте шестнадцати лет, Самуэльсон окончил среднюю школу. К тому времени Великая депрессия опустылилась на все главные улицы по всей Америке, как долгая зимняя ночь. Вопрос о поездке в колледж на восток больше не стоял, хотя эта идея и с самого начала вряд ли была реальной. Поэтому в январе 1932 года Самуэльсон поступил в Чикагский университет, выбрал в качестве главного предмета математику и остался жить дома.

То, что Полу пришлось остаться на Среднем Западе, имело свои неожиданные преимущества. Чикаго отнюдь не был тихой заводью (чего он опасался); наоборот, этот город жужжал как улей, здесь шла интенсивная интеллектуальная и политическая деятельность, и, в частности, здесь собирались экономисты, требовавшие от Вашингтона более решительных мер в борьбе с депрессией. Преподаватели Чикагского университета, среди которых были и финансовые консерваторы со Среднего Запада, и либералы-беркианцы, выходцы из стран Центральной Европы, были встревожены и разочарованы неэффективной реакцией Вашингтона на кризис и настаивали на более активных действиях.

От своего преподавателя Самуэльсон узнал, что прошлым летом в университете читал лекции “ведущий мировой экономист” Джон Мейнард Кейнс¹⁵. Первым преподавателем экономики у Самуэльсона был будущий зять Милтона Фридмана Аарон Директор, “очень сухой, уверенный в себе и консервативный экономист”, который оказал на него “большое влияние”. Как позднее рассказывал Самуэльсон, экономика зацепила его уже на первой лекции Директора о теории народонаселения Томаса Мальтуса. Другим преподавателем был Джейкоб Вайнер, канадец румынского происхождения с устрашающей репутацией самого требовательного педагога университета. После инаугурации Рузвельта он стал одним из самых близких внештатных советников министра финансов Генри Моргентау и укомплектовал штаты министерства финансов, Федеральной резервной системы и учреждений, созданных в рамках “нового курса”, десятками своих студентов. Близкий друг Шумпетера и Хайека, Вайнер стал одним из самых активных и влиятельных американских критиков “Общей теории занятости, процента и денег” Кейнса. Он соглашался с Кейнсом в отношении стратегии и необходимости дефицитного бюджетного финансирования для борьбы с депрессией. Однако он считал, что теория Кейнса вовсе не является “общей”, а верна лишь в краткосрочной перспективе и не годится для длительных периодов времени.

В первый же месяц обучения Самуэльсона в Чикагском университете прошла конференция, на которой Ирвинг Фишер, самый известный и самый скандальный американский экономист, и еще несколько специалистов в области кредитно-денежной политики обсуждали, каким образом администрация Гувера должна бороться с депрессией. Директор и Вайнер поставили свои подписи под телеграммой Фишера, призывавшей президента принять энергичные меры для стимулирования экономики.

Через три года Самуэльсон пришел к выводу, что в экономике сможет достичь больших успехов, чем в математике. Он выиграл стипендию на обучение в аспирантуре и выбрал для продолжения учебы Гарвардский университет. Гарвард пригласил его тем, что там работал Эдвард Чемберлин, который недавно опубликовал новаторскую “Теорию монополистической конкуренции”, однако еще больше его манила возможность вырваться из дома и оказаться в “тихом зеленом городке”. По прибытии в Кембридж, на третий год рузвельтовской политики восстановления, Самуэльсон быстро обнаружил, что старший преподавательский состав Гарвардского университета в политическом отношении левее, чем в Чикаго, но в интеллектуальном плане намного консервативнее.

Осенью 1936 года, когда Самуэльсон учился на первом курсе, в Гарвард приехал аспирант из Канады Роберт Брайс, посещавший лекции Кейнса в Кембридже. Он написал статью с кратким изложением идей Кейнса, содержащихся в его еще не опубликованной “Общей теории”. Брайс подчеркивал важность государственных расходов для преодоления безработицы, но без подробного объяснения сути теории, поэтому Самуэльсон, который не считал, что активное финансовое вмешательство правительства в экономику является новой или исключительно “кейнсианской” идеей, не вполне понял, из-за чего поднялся весь этот шум. Но поскольку экономика явно восстанавливалась, он принял как само собой разумеющееся, что причиной этого является “новый курс”, и принял

на веру, что Кейнс создал новую, строгую, внутренне непротиворечивую теорию, объясняющую, почему развитие происходит именно так. “В конце концов я задал себе вопрос: по какой причине я отказываюсь от концепции, которая позволяет понять экономические достижения Рузвельта с 1933 по 1937 год?”¹⁶

Когда в 1936 году Николас Калдор, марксист-кейнсианец и экономический советник лейбористской партии, посетил Гарвард, он присутствовал на блестящем докладе, как он полагал, известного преподавателя. “Поздравляю вас, профессор Чемберлин!” — произнес он перед тем, как задать вопрос выступавшему. Но “профессором” оказался Самуэльсон, аспирант первого года обучения. Самуэльсон прослушал курс лекций по математике у Эдвина Бидвелла Уилсона, последнего ученика Уилларда Гиббса в Йеле. Самуэльсон и Шумпетер, который сразу выбрал юношу в качестве своего протеже, составляли половину аудитории. Кроме того, Самуэльсон посещал еще один курс, который читал блестящий русский эмигрант и будущий лауреат Нобелевской премии Василий Леонтьев. Японский экономист Цуру Сигето, лучший друг Самуэльсона по аспирантуре, вспоминает: “Леонтьев, как известно, не блистал красноречием, зачастую бывало так, что он проведет на доске две пересекающиеся прямые и начнет говорить: “Вы видите, что в этой точке пересечения...” Тут вмешивался Пол: “Да, эта точка...” Но он тоже не успевал закончить предложение, поскольку Леонтьев сразу же восклицал: “Верно! Вы поняли, что я имею в виду!” Они с Полом были знакомы, но не афишировали этого, поэтому остальная часть курса оставалась в недоумении”¹⁷.

В следующем году Самуэльсон стал первым аспирантом-экономистом, принятым в Гарвардское общество стипендиатов — объединение, созданное по аналогии с английской университетской традицией “высокого стола” и обеспечивавшее своим членам определенные привилегии. При этом от молодых ученых с разных факультетов требовалось на три

года приостановить работу над диссертацией, для того чтобы... думать. И Самуэльсон внезапно оказался в компании логика Уилларда Ван Орман Куайна, создателя теории решеток Джорджа Биркгофа, разработчика схемы Теллера — Улама для термоядерной бомбы Станислава Улама и других великолепных математических умов.

Но пьянящая атмосфера и интеллектуальное напряжение не могли заменить семью. Через год Самуэльсон женился на аспирантке из штата Висконсин Марион Кроуфорд. В мае 1940 года, когда Полу исполнилось двадцать пять лет, истек срок запрета на окончание аспирантуры; Марион тоже закончила аспирантуру, и у молодой пары появился первый ребенок.

Как и многие молодые люди, выросшие во время Великой депрессии, Самуэльсон жил в постоянной спешке. Своих европейских друзей он шокировал тем, что при прослушивании Девятой симфонии Бетховена нарушал последовательность ее частей, чтобы сократить время на переворачивание пластинок. В надежде получить приглашение на преподавательскую должность в Гарварде Пол погрузился в диссертацию. Марион печатала его рукопись. К моменту сдачи на титульном листе его диссертации значилось: “Основы экономического анализа”. Частично эти “Основы” стали ответом Шумпетеру, который в 1931 году сетовал на кризис в экономической теории, и, кроме того, они имели некоторое “семейное” сходство с диссертацией Ирвинга Фишера. Это была отважная атака на современную экономическую теорию: в “Основах” было показано, как, используя “логику и простую арифметику”, можно свести теорию к более простым и фундаментальным положениям. “У меня было такое чувство, что я прокладываю дорогу сквозь джунгли перочинным ножом, — говорил позже Самуэльсон. — Это был клубок противоречий, накладок и недоразумений”¹⁸.

В “Основах” Самуэльсону удалось достичь того, к чему стремились Бертран Рассел (со своими “Началами математики”) и Джон фон Нейман (со своими “Математическими

основами квантовой механики”) — и чего в 1890 году удалось достичь Маршаллу (с его “Принципами экономической науки”). Герберт Штейн, воспитанник Чикагского университета и сторонник “нового курса”, весьма наглядно объяснил достоинства сочинения Самуэльсона, сравнив его с дофишеровской и докейнсианской экономической теорией, которая сводилась к тому, что, если у людей нет работы, им надо дать рабочие места. Практический смысл новой “экономики в целом”, или макроэкономики, заключался в том, что, если у людей нет работы, нужно сделать что-то в одном углу системы, например с денежной массой, находящейся в обращении, или с налоговыми ставками, в предположении, что это окажет влияние на нечто в дальнем конце системы, а именно на занятость. Именно в этом состоял новаторский вклад Фишера и Кейнса в экономическую теорию¹⁹.

Поскольку в этой новой макроэкономике большое внимание уделяется связям между различными частями экономики, а также косвенным и вторичным эффектам, она поневоле должна опираться на математику: без математики анализировать столь сложную систему просто невозможно. Время от времени возникают споры о том, полезно или вредно использовать математику для анализа экономических проблем (примерно такие же споры идут о возможности использования компьютеров для доказательства математических теорем). Экономисты, так же как инженеры, физики-ядерщики и композиторы, решают задачи. Когда они работают над проблемой, для решения которой старые инструменты не годятся, они ищут новые. Старшее поколение не всегда может правильно уловить суть проблемы и овладеть новыми инструментами. Однако поколению Самуэльсона, которое выросло в период Великой депрессии и Второй мировой войны, утверждение Уилларда Гиббса, что математика является языком, казалось совершенно естественным. Опасения, что применение математики приведет к исчезновению других языков, оказались преувеличенными: Джон фон Нейман,

один из математиков, оказавших большое влияние на экономику, синхронно переводил с немецкого на английский и дословно цитировал Диккенса; Самуэльсон обращался со словом еще более виртуозно.

Наверное, не случайно “Основы” были написаны в 1930-х — это десятилетие вообще было весьма благоприятным для творчества. Самуэльсон сдал экзамены по всем основным предметам к концу первого года обучения в Гарварде, а трехгодичное пребывание в звании младшего члена научного сообщества — с 1937 по 1940 год — использовал для выработки общей концепции “Основ экономического анализа”. У этой работы “не было конкретного момента зарождения”, вспоминал Самуэльсон. “Она развилась постепенно в период с 1936 по 1941 год”²⁰. Говорят, что во время защиты Самуэльсоном диссертации Шумпетер повернулся к Леонтьеву и спросил: “Ну как? Мы сдали?” Но как и многие другие идеи и изобретения той содержательной эпохи, из-за Второй мировой войны “Основы” не были востребованы в достаточной мере. В отличие от “Теории игр и экономического поведения” фон Неймана и Оскара Моргенштерна, докторская диссертация Самуэльсона не имела ни влиятельных покровителей, ни богатых спонсоров. Более того, Гарольд Бербанк, декан экономического факультета Гарвардского университета, был столь резко против нее настроен — трудно сказать, из-за неприязни к математике или к евреям, — что распорядился уничтожить ее печатные формы и настаивал, чтобы Самуэльсону предложили только временное чтение лекций. Когда в конце 1947 года “Основы” наконец были напечатаны, их приняли очень хорошо, поскольку за время войны использование новых средств и методов стало обычным делом. Самуэльсон получил медаль Джона Бейтса Кларка, эквивалент Филдсовской медали для лучших математиков в возрасте до сорока лет. А Шумпетер назвал “Основы” шедевром и написал своему бывшему студенту: “Если я читаю эту работу на ночь, то потом не могу заснуть от возбуждения”²¹.

Американцы волновались по поводу послевоенной экономики, потому что были убеждены, что экономическое восстановление страны обеспечил не “новый курс”, а война. И если англичан в основном беспокоил вопрос, как предотвратить всплеск инфляции, когда государство попытается вознаградить население за огромные жертвы, то большинство американцев опасалось возврата безработицы после того, как Вашингтон сократит военные расходы и миллионы солдат будут демобилизованы.

Национальному совету планирования ресурсов (предшественнику Совета экономических консультантов при президенте США) поручили разработать план перевода экономики на мирные рельсы. За составление сводного прогноза администрации отвечал Эверетт Хаген, соавтор Самуэльсона по докладу Национального совета планирования ресурсов. Но к середине 1944 года в группе экономических советников Вашингтона возник раскол. Сторонники “нового курса” оценивали послевоенные перспективы с оптимизмом, а кейнсианцы были настроены пессимистично. Самуэльсон допускал, что в конце войны, вероятно, начнется бум, связанный с пополнением запасов, поскольку бизнес начнет наращивать истощенные товарные запасы и заменять изношенное оборудование, и примерно то же будут делать потребители. Но он считал, что бум продлится недолго, потому что его собьет огромное сокращение военных расходов.

Демобилизация произошла даже быстрее, чем ожидал Самуэльсон, но предсказанный им кризис не состоялся: после резкого, но кратковременного спада в 1947 году экономика быстро восстановилась. Начало холодной войны вынудило администрацию Трумэна выделить сотни миллионов долларов на ядерный арсенал Америки, при том что расходы на обычные наземные вооруженные силы сокращались. Самуэльсон неверно оценил масштаб отложенного спроса со стороны потребителей: в стране катастрофически не хватало домов, автомобилей, бытовой техники и других элементов жизни среднего класса, у которого в банках храни-

лось много сбережений. Самуэльсон всегда считал, что этот досадный для него неверный прогноз замедлил распространение кейнсианства в научном мире. Но для того, кто старается не делать ошибок и действительно редко их допускает, серьезная ошибка в начале карьеры может оказаться в определенном смысле полезной. В результате Самуэльсон стал более скептически относиться к экономическим прогнозам и более осторожно делать заявления о политике, которую он поддерживает или не одобряет.

Демобилизация стала золотым дном для американских учебных заведений, в том числе для Массачусетского технологического института и его только что созданного экономического факультета. Закон о льготах демобилизованным был единственным законом об экономических правах, принятым Конгрессом после выступления-призыва Рузвельта в 1944 году. Однако этот закон оказал заметное и длительное влияние на послевоенную экономику. В Великобритании лейбористское правительство построило государство всеобщего благосостояния “от колыбели до могилы”, чтобы компенсировать английскому народу жертвы, понесенные им в войну, а в Америке с той же целью был принят закон о льготах демобилизованным. Дэвид Кеннеди отмечал, что единственное серьезное поражение против него пришло из альма-матер Самуэльсона и Фридмана — Чикагского университета: его знаменитый президент Роберт Хатчинс предостерегал, что “колледжи и университеты превратятся в образовательные ночлежки для бродяг и безработных”²². Массачусетский технологический институт, в котором не было аспирантуры по экономике, занял более прагматичную позицию.

Закон о льготах демобилизованным военнослужащим был принят в июне 1944 года, незадолго до начала демобилизации. Самуэльсон попросил освободить его от обременительной, с его точки зрения, работы в радиационной лаборатории,

с тем чтобы он мог заняться новыми проектами. Он обдумал и в итоге отклонил предложение участвовать в качестве “литературного негра” в написании истории Манхэттенского проекта. Между тем в Кембридж начали стекаться демобилизованные солдаты, и преподавательская нагрузка Самуэльсона росла экспоненциально. В апреле 1945 года декан факультета Ральф Фримен предложил ему написать учебник экономики для инженеров. “В Массачусетском технологическом институте мне хотят поручить важный проект, который только я смогу осуществить, — писал он военным, которым все еще вынужден был уделять время, и добавлял: — Близится день, когда уже не нужно будет в интересах страны использовать хорошего экономиста в качестве посредственного математика”²³.

Всех новых студентов Массачусетского технологического института обязали изучать экономику; это был еще один признак того, что времена меняются. Беда была в том, что, как доверительно сообщил Фримен Самуэльсону (для которого это вряд ли было новостью), “они все ее ненавидят”. Когда на следующий день после нападения Японии на Перл-Харбор на экономический факультет Гарварда пришел Бэзил Дэндисон, торговец учебниками издательства “Макгроу-Хилл”, там оказался всего один преподаватель. Дэндисон упомянул в разговоре, что его компания ищет специалиста для написания учебника по экономике, и ей стало известно о ярком молодом таланте, который в последнее время скрывается в инженерном колледже на задворках Кембриджа. К тому времени, когда Япония капитулировала, Дэндисон и эксперт из Массачусетского технологического института как раз успели заключить договор. “Я был уверен в успехе”, — вспоминал Дэндисон. Автор дальновидно отказался от аванса, потребовав взамен неслыханные для того времени авторские отчисления в размере 15%²⁴.

Самуэльсон рассчитывал написать учебник за лето при условии, что его отпустят из радиационной лаборатории. Но в том же 1945 году он согласился стать одним из трех “литературных негров” — авторов, писавших для Ваннеvara Буша,

инженера Массачусетского технологического института, основателя компании “Рейтеон” и руководителя группы послевоенного планирования, которому Рузвельт поручил подготовить доклад по НИОКР “Предел науки — бесконечность”²⁵. Лишь в апреле 1948 года Самуэльсону удалось закончить учебник “Экономика: вводный курс”, хотя студенты Массачусетского технологического института имели возможность познакомиться с ним раньше, в ротاپринтных распечатках.

В сочинении “Бог и человек в Йеле: суеверия “академической свободы””, ставшем сенсацией 1951 года, двадцатипятилетний Уильям Ф. Бакли-младший выдвинул против своей альма-матер неожиданное обвинение. Он утверждал, что “в конечном счете экономическая школа Йеля проповедует чистейший коллективизм”, а не предпринимательские ценности, столь близкие выпускникам университета. В качестве доказательства он привел цитаты из учебников по вводному курсу “Экономика 10”, который изучала примерно треть студентов Йельского университета²⁶. Одним из этих учебников была книга Самуэльсона “Экономика: вводный курс”. Бакли обвинял Самуэльсона в восхвалении правительства и пренебрежении к конкуренции и частной инициативе и осуждал его за “характерную бойкость речи... и популизм на уровне мыльной оперы”²⁷. Особенно он возмущался намеками автора на то, что следовало бы поставить под сомнение правомочность огромных состояний и право их наследования.

В “Экономике” и правда было много еретических высказываний и мало ссылок на традиционную классику²⁸. Описывая частную экономику, Самуэльсон вместо “невидимой руки” Адама Смита говорил о “машине без рулевого управления”²⁹. А вместо того, чтобы рассматривать правительство как неизбежное зло, Самуэльсон называл его неизменным атрибутом современности, поскольку “сложные экономические условия жизни обуславливают необходимость координации и плани-

рования в масштабах общества”³⁰, подчеркивая, что “современный человек уже не считает, что лучшее правительство — то, которое ни во что не вмешивается”³¹. Денежно-кредитная дисциплина, которая до Первой мировой войны обеспечивалась золотым стандартом, беспечно отвергалась на том основании, что она “превращает страну в раба, а не в хозяина своей экономической судьбы”³². Сбалансированный бюджет Самуэльсон считал устаревшей маниакальной идеей и объяснял студентам, что “не существует ни технических, ни финансовых причин, не позволяющих странам, фанатично преданным дефицитному бюджетному финансированию, продолжать такую политику до конца нашей жизни и даже после нее”³³.

“Экономика” Самуэльсона — это сочинение молодого человека, который обращается непосредственно к другим молодым людям:

ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ НА ЧЕЛОВЕКА СПРАВА ОТ ВАС
И НА ЧЕЛОВЕКА СЛЕВА ОТ ВАС

Главная задача современной экономической науки состоит в том, чтобы определить причины... депрессии, а также обеспечить процветание, полную занятость и высокой уровень жизни. Не менее важным является факт, подтверждение которому легко найти в истории XX столетия, что политическое здоровье демократии в решающей степени связано с поддержанием стабильного высокого уровня занятости и обеспечением жизненных перспектив. Не будет преувеличением сказать, что широкое распространение диктаторских режимов и развязывание в результате этого Второй мировой войны в немалой степени были обусловлены неспособностью мировой экономики адекватным образом решить эти основные экономические проблемы³⁴.

Уловив дух времени, требовавший сильного правительства и идущей снизу вверх демократии, Самуэльсон патетически восклицал: “Капиталистический образ жизни подвергается

испытанию”³⁵. Структура его книги соответствовала новым приоритетам. Самуэльсон начинает с того, как образуется, распределяется и расходуется национальный доход и как принимаемые правительством решения по налогообложению и расходованию средств влияют на частную экономику. Эти темы “важны для понимания послевоенной экономической системы” и, кроме того, “наиболее интересны людям”. Самуэльсон изменил обычный порядок, поместив макроэкономику в первую часть книги, а традиционные темы, такие как теория фирм и потребительского выбора, — во вторую часть. Учитывая повысившийся интерес к инвестированию, обусловленный накоплениями военного времени и приобретением государственных облигаций — а также стремясь не дать своим слушателям заснуть — Самуэльсон включил в учебник главу о различных финансах и фондовом рынке.

Фактически он объединил новую кейнсианскую экономику с экономической теорией, унаследованной от Маршалла, и при этом, по примеру Маршалла, вставил туда же свои идеи и методики. В четвертом издании “Экономики” Самуэльсон определил свой подход как “неоклассический синтез”³⁶. Маршалл и Шумпетер подчеркивали значение роста производительности труда как главного фактора повышения уровня жизни. Самуэльсон добавил к этому “важность предотвращения массовой безработицы”³⁷.

Смысл новой теории он объяснял с помощью “Алисы в Стране чудес”. К миру полной занятости, то есть к миру дефицита и замены одних вещей другими, в котором нет бесплатных обедов и в котором, если вы хотите получить нечто в большем количестве, вам нужно отказаться от чего-то другого, применимы старые правила, которые можно более точно сформулировать на языке математики. Между тем в кейнсианском мире изобилия и неполной занятости становятся возможными ранее невозможные явления, например получение чего-то из ничего. Лучшим примером тому является “парадокс бережливости”³⁸. Если в условиях экономики полной занятости

сти семья увеличивает долю дохода, откладываемую в качестве сбережений, общая сумма сбережений возрастает. В условиях депрессии увеличение накоплений фактически ведет к уменьшению общей суммы сбережений, поскольку сокращение расходов вызывает снижение производства и доходов, а следовательно, и сбережений. То есть в экономике с неполной занятостью “все происходит наоборот”. То же самое относится и к политике бережливости правительства.

Причиной Великой депрессии стал не крах одного рынка, а нарушение взаимодействия рынков. Однако не Самуэльсон ввел термин “макроэкономика”, который сейчас относится к огромной совокупности процессов и показателей (платежеспособный спрос домашних хозяйств, предприятий и правительства, общий уровень безработицы, темпы инфляции и др.). Если бы то, что хотел внушить студентам Самуэльсон, нужно было выразить одним кратким предложением, оно звучало бы так: денежно-кредитная политика больше не работает. По его мнению, доказательством этому стала Великая депрессия: “Сегодня лишь немногие экономисты считают, что денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы является панацеей, позволяющей управлять экономическими циклами”³⁹. Идеи Федеральной резервной системы казались неинтересными и устаревшими, как мода 1920-х годов. То же самое можно было сказать и об идеях Ирвинга Фишера, который умер за год до этого, и идеях Кейнса, выдвинутых им до 1933 года.



Однако ошеломляющий успех “Экономики” Самуэльсона в университетских аудиториях отнюдь не означал, что в Вашингтоне новых экономистов встретили с фанфарами. Несмотря на светлую ностальгию, с которой сегодня вспоминаются 1950-е годы, это десятилетие было отмечено тремя рецессиями,

одна из которых была довольно глубокой, а к концу десятилетия заметно вырос уровень безработицы. Историки иногда недооценивают, насколько важно было для Трумэна, а позже для Эйзенхауэра обеспечить баланс федерального бюджета и, в частности, сокращение военных расходов. Кроме того, они иногда путают воинственную риторику Трумэна времен холодной войны с его готовностью подкрепить свои слова реальными делами. Но как напоминает Герберт Штейн, Трумэн стремился провести крупные сокращения не только в 1945 году, но и в 1946, 1947 и 1948 годах. План Маршалла был исключением, а не правилом.

Как можно объяснить этот разрыв между теорией и практикой? Ну, во-первых, тут сыграла роль финансовая предусмотрительность. Трумэн был убежден, что надежную оборону может обеспечить только здоровая экономика, и победу союзников в немалой степени объяснял тем, что Америка спрашивалась со своей ролью арсенала демократии. Как уроженец Среднего Запада, он был весьма консервативен в отношении финансов и экономики (и кроме того, имел дело с республиканским Конгрессом), и главным приоритетом для него было прекращение роста военного долга за счет устранения дефицита ежегодного бюджета федерального правительства. Более того, полное отсутствие у Америки оборонительных ресурсов в 1940 году показывает, что никакой традиции содержания большой армии в мирное время у Соединенных Штатов не было. После победы над Германией общество требовало скорейшей демобилизации, и предложение Трумэна о введении всеобщей воинской повинности в мирное время было категорически отклонено. Итак, необходимо было не просто разработать программу глобальной оборонительной системы Соединенных Штатов, но и сделать это в условиях ограниченного бюджета.

Кейнсианская революция не ощущалась в Вашингтоне вплоть до шестидесятых годов. Самым важным из всех учеников Самуэльсона был, конечно, Джон Ф. Кеннеди, который

незадолго до президентских выборов 1960 года пригласил Самуэльсона в семейное поместье клана Кеннеди в Хианисс-порт на побережье Кейп-Кода, чтобы тот провел для него семинар под открытым небом. “Я рассчитывал на роскошный обед, — шутил потом Самуэльсон. — Но нам подали только сосиски с фасолью”.

Холодный, расчетливый и осторожный Кеннеди в целом понравился Самуэльсону. Повлиять на нового президента было трудно, но приняв решение, он твердо проводил его в жизнь. Несмотря на большой дефицит бюджета, Кеннеди предложил резко снизить налоги, чтобы оживить застоявшуюся экономику и повысить свой удручающе низкий рейтинг. “Наихудший дефицит создается рецессией”, — сказал он в телевизионном обращении к нации, добавив, что сокращение налоговых ставок для физических и юридических лиц будет “самым важным шагом, который мы можем предпринять, чтобы предотвратить новую рецессию”.

Налоги действительно были снижены, и с огромным успехом, но уже после убийства Кеннеди в 1963 году. В 1971-м президент-республиканец Ричард Никсон утверждал, что теперь и его следует считать кейнсианцем, но в действительности снижение налогов при Кеннеди оказалось наивысшим достижением кейнсианской теории управления экономическими циклами. По мнению Самуэльсона, кейнсианство было опровергнуто не конкурирующей теорией, а стагфляцией, то есть опасным сочетанием безработицы, инфляции и замедления роста производительности, от которой в 1970-е и 1980-е годы пострадали наиболее богатые страны. Но в конце 1950-х — начале 1960-х годов Милтон Фридман уже готовил в Чикагском университете мощную атаку на господствовавший образ мыслей, не соглашаясь с тем, что с помощью манипуляций с государственным бюджетом правительство может получить любое сочетание безработицы и инфляции по своему желанию. Возвращаясь к идеям Ирвинга Фишера и теории о том, что денежная масса определяет объем производства, и считая Вели-

кую депрессию колоссальным провалом денежно-кредитного регулирования, Фридман убедил, что деньги все-таки имеют значение, сначала молодых экономистов, а позже и президента США Джимми Картера, который поручил Полу Волкеру укротить разгулявшуюся инфляцию. Ни Фридман, ни Самуэльсон больше никогда не занимали никаких постов в администрации, будучи уверены в том, что в качестве преподавателей и авторов научных работ они смогут оказывать большее влияние на ситуацию, чем в качестве сотрудников президентской администрации или ФРС.

Глава XVII

ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ

РОБИНСОН В МОСКВЕ И ПЕКИНЕ

В наши дни очень трудно читать лекции по экономической теории, потому что теперь у нас есть и социалистические, и капиталистические страны.

ДЖОАН РОБИНСОН, 1945¹

В Москве в апреле еще холодно, еще лежит снег, но световой день длится почти до девяти вечера. На перекрестках внезапно появляются деревенские старушки, продающие ветки мимозы. Весной 1952 года, вскоре после того как Уинстон Черчилль объявил, что Британия обладает атомной бомбой, Джоан Робинсон смотрела на золотые купола Кремля, ощущая, что ее сердце готово разорваться. Зрелище было одновременно и очень знакомым, и странно нереальным. “Я смотрю, смотрю, — писала она в своем дневнике, — и спрашиваю себя, реально ли то, что я вижу, и я ли это вижу”².

Позже, в гигантском Колонном зале Дома союзов, Робинсон вполуха слушала высокопарные речи, резолюции о мире и “братский” привет от “женщин Шотландии”. Ее захватил калейдоскоп впечатлений от нового общества: колхозный рынок с пучками розовой редиски и бледно-зеленого латука; сверкающие магазины с гипсовыми колбасами, сырами и ветчиной в витринах (но не потому что, как в Англии, настоящие

продукты кончились, а чтобы не тратить настоящие продукты на витрину); бесплатные детские сады, куда работающие матери приводят сытых и хорошо одетых детей; комиссионный магазин, где вышедшей из употребления одежде дают вторую жизнь (“Прекрасная идея!”); “общественный порядок и чистота на уровне шведских стандартов”, но без унылой скандинавской атмосферы. Какой контраст с мрачным, грязным, полуразрушенным Лондоном!³

Робинсон наслаждалась щедростью принимающей стороны — иногда казалось, что деньги в первой социалистической великой державе вообще отменили. Четыреста семьдесят делегатов профинансированной Советами Международной экономической конференции ощущали себя особами королевской крови⁴. Они жили в отеле с “широкими лестницами, люстрами, малахитовыми колоннами”, достойном любого султана⁵. Путешествие из столицы Чехословакии Праги было бесплатным. Каждый делегат получил 1000 рублей карманных денег и мог тратить их на водку, меха, икру в специально заполненных товарами магазинах. Наготове постоянно был парк из ста лимузинов с шоферами в форме, хотя Робинсон храбро настаивала на том, чтобы опробовать метро и трамвай, невзирая на отсутствие городской карты и незнание русского⁶. Делегаты всегда могли получить билеты на лучшие места в оперу и балет. В отличие от английского рациона из порошкового картофельного пюре и сосисок со вкусом мокрого хлеба, в Москве обеды были “сказочными”. Даже простой прием пищи лишней раз подчеркивал разницу между “восходящей” сверхдержавой и “уходящей”. После одного праздника Джоан почти увидела, как “вокруг нее распростерся континент... вот так, наверное, во времена королевы Виктории за обедом можно было неожиданно ощутить, как суда со всего мира везут провизию к твоему столу”⁷.

Робинсон подчеркивала, что, несмотря на “восточную роскошь”, российские хозяева демонстрировали “нордическую эффективность” в управлении конференцией. В рас-

поражении участников было пятьсот устных и письменных переводчиков, машинисток, посыльных и других помощников, больше чем по одному на каждого делегата. Джоан была уверена, что “все переводчики, автомобили и гиды выделены не для того, чтобы контролировать наше перемещение, а для нашего удобства”. Обещание воздерживаться от открытой пропаганды соблюдалось неукоснительно (“Тайм” сообщал, что русские даже удалили портреты Сталина в натуральную величину, обычно висевшие во всех общественных местах)⁸. В Москве нет расизма, ликовала Робинсон, и “восточного приставалу можно отшить точно так же, как и английского”⁹. Вот реальность, которую Запад отрицает.

Вместо мрачных предчувствий относительно Запада Робинсон была полна оптимизма в отношении Востока. Эта конференция была социалистическим Бреттон-Вудсом, Организацией Объединенных Наций Социалистов. В “великолепно оборудованном” конференц-зале была установлена система синхронного перевода, которая, казалось, олицетворяла надежды делегатов на единую глобальную экономику и всеобщее понимание¹⁰. Между тем мировая экономика как раз была расколота из-за холодной войны, которую, по мнению Робинсон и большинства других делегатов, развязала новая мировая имперская сверхдержава — Соединенные Штаты Америки. Когда лорд Бойд Орр, руководитель британской делегации, состоявшей из 23 членов, призывал Восток и Запад “прорвать “железный занавес” с Востока вагонами, везущими излишки товаров, в которых нуждается Запад, а с Запада — вагонами с излишками западных товаров, в которых нуждается Восток”¹¹, он выражал мнение большинства делегатов. Делегаты один за другим говорили, что когда такие “искусственные барьеры”, как, например, новый американский запрет на экспорт стратегических товаров в страны советского блока, будут устранены, тонкие ручейки торговли Восток — Запад превратятся в мощные потоки, способные смыть многие экономические беды — от безработицы в английской текстильной промышленности

до и вечной бедности в Индии. Один делегат из США говорил, что торговые соглашения инициируют “духовную цепную реакцию человеческого братства” и позволят предотвратить ядерную катастрофу.

Пробыв в Москве неделю, Робинсон пришла к выводу, что Сталин не диктатор, а заботливый, хотя и строгий и довольно сдержанный отец. Она записала историю, которую сочла особенно трогательной: старая кухарка, которая до войны обслуживала одну московскую семью, после вторжения немцев была направлена на фабрику в небольшой городок в сельской местности. Когда война закончилась, семья ее хозяйки получила разрешение вернуться в Москву, а кухарка — нет. “После того как ее попытки использовать обычные официальные каналы ни к чему не привели, — отмечала Робинсон в своем дневнике, — она написала Сталину... пояснив, что работа на фабрике ее не устраивает, что все ее село уничтожено и что у нее в этом мире нет друзей, кроме бывшей хозяйки”. По словам Джоан, “она получила разрешение в течение трех недель”¹².

Из Москвы Робинсон уезжала еще более уверенная в том, что холодная война была ошибкой, следствием американской паранойи, а не советского умысла. Ее “Заметки о конференции”, опубликованные вскоре после ее возвращения в Кембридж, заканчивались на оптимистической ноте: “Я полностью убеждена, что Советы не имеют ни малейшего желания спасти наши души ни словом, ни мечом”. Она не упоминала ни о установлении советской власти в Восточной Европе, но была убеждена, что Советами руководит исключительно страх перед западным окружением. “Если бы они могли быть уверены, что мы оставим их в покое, они были бы только рады предоставить нам идти к черту нашим собственным путем, — писала она читателей. — Если наши местные коммунисты думают иначе, они обманываются”¹³.

Робинсон представляла себя не как паломницу, побывавшую в новой социалистической Мекке, а как объективного наблюдателя и правдивого рассказчика. Она настаивала, что

и она сама, и другие участники конференции были не “делегатами от кого бы то ни было, а просто группой отдельных личностей”, понимающих “важность того, что нужно рассказывать чистую правду обо всем, что они видели”¹⁴. Однако она не ждала, что ей обязательно поверят. Она писала Ричарду Кану: “Мы готовимся к потокам грязи, которой нас будут обливать, когда мы вернемся”¹⁵. Между тем после возвращения Робинсон ее лекции о советском обществе собирали в Кембридже не грязь, а довольно большие аудитории. “А как насчет заговора врачей-евреев, якобы планировавших убийство Сталина?” — отважился спросить один студент, говоривший с американским акцентом. “А как насчет линчевания у вас на Юге?”¹⁶ — нимало не смутившись, парировала она.

К тому времени Робинсон уже почти стала для коммунистического блока одним из образцово-показательных западных интеллектуалов — эта беспокойная, но хорошо вознаграждавшаяся роль предполагала участие в ежегодных поездках за казенный счет, фотосъемки с властью имущими, счет в московском банке, а также дружеское окружение, состоявшее чуть ли не исключительно из государственных аппаратчиков, коммунистов-подпольщиков и шпионов.

Читатели “Заметок” удивились бы, узнав, что эта наипная рассказчица, попавшая, подобно кэрролловской Алисе, в социалистическую страну чудес, на самом деле была одним из организаторов этой конференции. Робинсон была одним из двух английских членов Инициативного комитета, хотя настаивала на том, что записалась в него только из расположения к своему “старому другу Оскару Ланге”, польскому экономисту и специалисту по централизованному планированию, сотрудничавшему с КГБ. Министерство иностранных дел Великобритании не сомневалось, что она была “хорошо осведомлена о подоплеке” конференции, а другие члены комитета говорили о ее “крайних взглядах”¹⁷, совпадавших

со взглядами другого британского делегата, Джека Перри, бизнесмена и функционера коммунистической партии Великобритании (КПВ). Алек Кернкросс, член британской делегации в Москве, сообщил, что делегаты знали, что конференция первоначально задумывалась как “очередной этап коммунистической борьбы за мир”, и были убеждены, что для Сталина главный мотив проведения конференции был политическим — он рассчитывал “вбить клин между США и их европейскими союзниками”¹⁸. Почти все присутствовавшие на конференции экономисты, в том числе Ланге, Юрген Кучинский, Пьеро Сраффа и Чарльз Мэдж, были членами партии или “попутчиками”.

Из этого вовсе не следует, что Робинсон понимала истинное направление мыслей Сталина лучше, чем Гарри Декстер Уайт. Например, она, вероятно, не знала, что всего за несколько недель до начала конференции он отрекся от ее главных идей. В своих замечаниях, переданных в ЦК в начале февраля, Сталин критиковал сами концепции мирного сосуществования и экономического сближения с Западом, которые для адептов единого мира, вроде Робинсон, были своего рода Евангелием. Он осудил тех советских коммунистов, которые прогнозировали восстановление единой глобальной экономики, за то, что они приняли за чистую монету намеки на международное сотрудничество, сделанные во время и сразу после войны. Главным наследием Второй мировой войны, предупреждал он, является устойчивое разделение мировой экономики на “два параллельных мировых рынка”. Социалистические и капиталистические экономики будут развиваться порознь и в соперничестве между собой. “Неизбежным” результатом этого будет углубление экономического кризиса на Западе, усиление соперничества империалистических стран и, наконец, братоубийственная война между Соединенными Штатами и Великобританией: тезис о “неизбежности войн между капиталистическими странами остается в силе”¹⁹. Все это, заверял Сталин членов ЦК, вытекает из научных законов.

По мнению американского историка холодной войны Джона Гэддиса, он был совершенно искренне уверен в этом²⁰. Видимо, Сталин — как веком раньше Маркс и Энгельс — свято верил в светский апокалипсис. Если бы его точка зрения стала широко известна до начала конференции, ее российские организаторы оказались бы в неловком положении. С одной стороны, они поманили британских производителей текстиля и других бизнесменов перспективой получения огромных заказов, чтобы обеспечить их присутствие на конференции. С другой стороны, Сталин заявил, что коммунистический блок вскоре вообще сможет практически обойтись без импорта с Запада. В любом случае, утверждал он, Советский Союз и его союзники скоро “почувствуют необходимость поиска внешнего рынка для излишков своей продукции”²¹. Однако накануне конференции Сталин поддерживал более дипломатичный тезис, согласно которому “мирное сосуществование капитализма и коммунизма” возможно при условии невмешательства во внутренние дела других стран и соблюдения некоторых других условий²².

Если конференция в той или иной степени и разочаровала Робинсон, она никак не выказала этого ни в своих публичных выступлениях, ни в письмах Кану. По всей вероятности, ни она, ни другие иностранные делегаты не видели послания Сталина Центральному Комитету, поскольку Сталин не позволял его печатать, пока в октябре не издал его английский перевод²³. Несмотря на обилие помпезной риторики, на конференции было заключено очень мало торговых сделок. По оценкам одного экономиста, даже при реализации всех сделанных предложений объем торговли между Востоком и Западом был бы значительно ниже довоенного уровня.

Но, возможно, Робинсон подозревала неладное. Ведь она заходила в некоторые кабинеты в министерстве торговли, где на столах лежали рядышком счета и калькуляторы. Может быть, именно это аномальное соседство древности и современности привлекло ее внимание к другому настораживавшему моменту:

советские экономисты на конференции “весьма изощренно избегали упоминания конкретных цифр”²⁴.

Один из биографов Робинсон, кембриджский экономист Джеффри Харкорт, относит начало ее политического “обращения” к 1936 году²⁵. Для британских интеллектуалов 1936 год связан не столько с Великой депрессией, которая в Британии тогда уже практически закончилась, сколько с началом гражданской войны в Испании. Когда Германия и Италия вмешались в этот конфликт на стороне националистов, а Советы — на стороне республиканцев, это выглядело как репетиция войны между фашизмом и коммунизмом “через доверенных лиц”. Готовность Сталина противостоять фашистам в Испании повысила престиж СССР, в то время как отказ Великобритании и Америки вступить в борьбу выглядел в лучшем случае как малодушие.

Но в 1936 году Джоан была влюблена в своего поэта из Алеппо, доктора Эрнеста Алтуныя, а в интеллектуальном плане пленилась Кейнсом. И только в 1939 году, когда она приходила в себя после болезни, она удивила своего регулярного и восторженного корреспондента Шумпетера тем, что увлеклась Марксом (которого Кейнс считал занудой). Ее политическая деятельность во время войны заключалась в исполнении обязанностей члена различных консультативных комиссий лейбористской партии, написании памфлетов от имени лейбористов и составлении докладов, в частности доклада Бевериджа о занятости, черновик которого подготовил ее близкий друг, умница Николас Калдор, венгр по происхождению, преподаватель Лондонской школы экономики, которому, как самой Робинсон и Хайеку, пришлось просидеть всю войну в Кембридже. Ее предположение, что Запад обречен на вековую стагнацию с повторяющимися депрессиями, разделяли кейнсианцы всех политических направлений, но в 1943 году она не исключала, что эта проблема вообще неразрешима:

“Проблема безработицы затмевает все остальные послевоенные проблемы. Экономическая система, в которой мы живем, сейчас проходит проверку. Современный мир увидел великий эксперимент социалистического планирования... Остается увидеть, смогут ли демократические страны найти свой способ планирования мира и процветания”²⁶.

Как и другие экономисты-лейбористы, Робинсон выступала за сочетание социалистического планирования и кейнсианского регулирования спроса с помощью налогов и субсидий²⁷. Будучи советником Конгресса тред-юнионов, она выступала за национализацию большинства отраслей промышленности на том основании, что для планирования собственность должна принадлежать государству²⁸. Предпочтительным решением для нее было государственное экономическое планирование, государственное регулирование инвестиций и национализация ключевых отраслей промышленности, в предположении, что “маломасштабный частный сектор вполне может выжить на периферии регулируемой экономики, если не будет вторгаться слишком далеко”²⁹. Все это входило в стандартную программу левого крыла лейбористской партии. “К 1944 году, — писал один историк, — радикализм военного времени уже прошел свой максимум, и предложения Калдора и Робинсон были уже гораздо более умеренными”³⁰. Когда в декабре 1945 года Кейнс вернулся из Вашингтона, чтобы объявить условия “печально знаменитого” американского займа (которого он с таким трудом добился и который вызвал такие яростные нападки как справа, так и слева), Робинсон публично поддержала его, признав, что Великобритания не может ни отказаться от кредита, ни оттолкнуть США.

После прихода лейбористов к власти в 1945 году Робинсон заняла место в оппозиции к руководству на краю левого фланга. В отличие от лейбористского правительства 1931 года правительство премьер-министра Клемента Эттли сразу начало выполнять свои обещания военного времени в отношении национализации промышленности и создания госу-

царства всеобщего благосостояния — от колыбели до могилы. По мере сокращения безработицы и роста реальной заработной платы отношение Робинсон к руководству лейбористской партии становилось не менее, а более критическим, она уделяла все меньше внимания внутренним проблемам и все больше — проблеме американской ядерной мощи и угрозе ядерной войны. Блистательная победа лейбористов не привнесла, вопреки ожиданию, к резкому отходу от яростной антинисоветской и проамериканской внешней политики Черчилля. Историк Джонатан Шнеер пишет, что министр иностранных дел в правительстве лейбористов Эрнест Бевин “не верил в возможность заключения с Россией прочного соглашения относительно конфигурации послевоенного мира”. “Главной целью [Бевина], поддерживаемой большинством консерваторов, было убедить американцев, что они должны восполнить образовавшийся вследствие ослабления Великобритании вакуум власти в Европе и других странах, прежде чем это сделают русские”³¹.

В 1950 году Сталин жаловался руководителю коммунистической партии Великобритании Гарри Поллиту, что лейбористы “зависят от американцев” еще больше, чем консерваторы³². Но его нападки на лейбористов, которые начались сразу после выборов, привели только к сплочению рядовых членов партии вокруг руководства³³. Представители левого крыла партии были возмущены утверждением, что они не лучше тори, в то время как они вели в парламенте бешеную борьбу за национализацию тяжелой промышленности и создание государственной системы здравоохранения. И хотя они по-прежнему ориентировались на политику неприсоединения, действия Советов в Болгарии, Румынии, Польше и Восточной Германии вызывали у них все большее неприятие. А руководство лейбористской партии уже в 1946 году было убеждено, что главная угроза миру исходит не от США, а от Советского Союза.

“Самые левые” левые теперь выступали против основной массы своих однопартийцев в той сфере, которую те-

перь называют “правами человека”. Эта группа состояла не более чем из дюжины активистов, таких как Робинсон. Вообще левые лейбористы в большинстве своем были гораздо большими антикоммунистами, чем политические либералы в Соединенных Штатах. Явные коммунисты, такие как Д. Н. Притт и Джон Платтс-Миллс, были исключены из партии, и на просьбу КПВ о слиянии с лейбористами последовал отказ. Даже такие явно просоветские личности, как Гарольд Ласки, известный политолог-марксист из Лондонской школы экономики, который в 1945 году был председателем лейбористской партии, защищал действия руководства, утверждая, что коммунисты “ведут себя как входящий в состав бригады секретный батальон диверсантов... готовый принести в жертву своей тайной цели и правду, и честность”³⁴. В общем, для большинства британских левых военно-полевой роман с Советским Союзом закончился.

Но не для Робинсон. Она имела авторитарный склад характера, презирала политические компромиссы (на которых как раз и держатся демократии), и ее не смущали ни сталинские репрессии внутри страны, ни его стремление “ловить рыбу в мутной воде” за границей, или, точнее, мутить воду, чтобы ловить в ней рыбу. Во всяком случае всеобщее осуждение Сталина, по-видимому, только укрепило ее симпатию к нему. По ее мнению, самой большой угрозой миру во всем мире были Соединенные Штаты. “Главный вопрос, который затмевает все остальные: планирует ли Россия агрессию? Потому что если нет, то вся наша политика бессмысленна”. Обвиняя Соединенные Штаты в смешении идеологической агрессии с военной, она утверждала, что “мощный бум в Америке, основанный на перевооружении, зашел слишком далеко... и перспектива разрядки и резкого сокращения расходов на перевооружение представляет собой угрозу для их экономики... Мириться с этим значит идти по пути наименьшего сопротивления. Вот что представляется мне самой большой угрозой в нынешней ситуации”³⁵.

План Маршалла грянул как гром среди ясного неба и расколол британских левых. 5 июня 1947 года государственный секретарь Джордж Маршалл произнес в Гарварде речь, в которой изложил свой план. Он, в частности, сказал: “Соединенные Штаты должны сделать то, что в состоянии сделать, чтобы помочь в стабилизации мировой экономики, без которой не может быть никакой политической стабильности и никакой уверенности в мире”. План Маршалла отодвинул в сторону МВФ, который “почти бездействовал”, и Всемирный банк, который берет свои ресурсы и отказывался выдавать кредиты на реконструкцию. Доклад директоров МВФ 1949 года “стал горькой пилюлей надеждам военного времени на многостороннее сотрудничество”, пишет Ричард Гарднер и заключает, что “двусторонняя торговля и двусторонние валютные обмены играют теперь намного более важную роль, чем до войны”³⁶. Не прошло и месяца, как министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов на совещании представителей стран коммунистического блока в Париже публично отверг этот план, назвав его “американским планом порабощения Европы”.

После того как лейбористская партия приветствовала американскую помощь, как “важный шаг к построению единой, процветающей Европы”, Робинсон тут же выступила с обвинениями³⁷. 25 июня на “Лондонском форуме” Би-би-си она утверждала, что американские деньги “сформируют западный антикоммунистический блок”, тем самым увеличив вероятность войны, и добавляла: “Я не думаю, что, принимая доллары и раскалывая Европу, мы сохраняем западные ценности. Я думаю, что это, наоборот, поставит западные ценности под угрозу”³⁸. Иными словами, она утверждала, что Великобритания должна отклонить предложение об американской помощи, как это сделала СССР и его восточноевропейские союзники, то есть заняла противоположную позиции практически всех британских левых, которые поддержали лейбористов. Единственным исключением стала КПВ, которая критиковала лейбористское правительство за то, что оно “продается Уолл-стрит”³⁹.

Поддержка Сталина со стороны Робинсон в 1940-х и 1950-х была менее понятной и более безусловной, чем энтузиазм Беатрисы Уэбб в 1930 году. Это несколько напоминало ее раннюю увлеченность Кейнсом, на которого она сначала, кажется, вообще чуть не молилась⁴⁰. В вышедшей в 1977 году книге “Комплекс России: лейбористская партия Великобритании и Советский Союз” политолог Билл Джонс писал, что, по его оценкам, в 1946 году в партии лейбористов было вряд ли больше 20 “попутчиков”. Поддержка Робинсон Советского Союза развела ее с Ласки, которого Джордж Оруэлл характеризовал как “социалиста по принадлежности и либерала по характеру”, и большей частью левых лейбористов. Эта поддержка свидетельствовала о том, что она порвала с традициями своей семьи, и с необходимостью влекла за собой некоторую долю двуличия с ее стороны и соучастие в чужом обмане. “О чем невозможно говорить, о том следует молчать” — этими знаменитыми словами Людвиг Витгенштейн заключил свой “Логико-философский трактат”. Робинсон бесстрашно говорила, когда считала нужным высказать свое мнение, но осмотрительно молчала относительно природы своих отношений с Советами.

В 1939 году она призналась Ричарду Кану, что “противоречие между семейными и партийными ценностями все эти годы было для нее источником все более серьезного напряжения”⁴¹. К тому времени, как она стала на сторону Москвы, ее предчувствия относительно упадка Запада и оптимизм по поводу динамичного развития Востока стали для нее символами веры, и напряжение, обусловленное противоречивыми требованиями, еще больше усилилось. За лето и осень 1952 года приподнятое настроение Робинсон трансформировалось в возбужденное и даже неистовое. Она писала, что открывает великие тайны, в том числе и причину расстройств ее отношений с Каном. У нее возникло убеждение, что она обнаружила в самой основе экономической теории скрытый изъян, который, если бы люди осознали его наличие, мог бы вообще разрушить капитализм. Осенью она перестала спать, говорила без умолку,

явно бредила. После трехсторонних консультаций между Ричардом Каном, Остином Робинсоном и Эрнестом Алтуняном она была снова госпитализирована, на этот раз на полгода.

Однако в больнице она оправилась настолько, что весной следующего года смогла снова приехать в Москву. Сталин умер, и Москва была всего лишь первой остановкой в тщательно подготовленном паломничестве: сначала в Пекин, а затем по нескольким странам третьего мира, которые обхаживала Россия, включая Бирму, Таиланд, Вьетнам, Египет, Ливан, Сирию и Ирак. Она согласилась стать вице-президентом Британского Совета по международной торговле с Китаем, состоявшего в основном из тайных членов КПВ; подозревали даже, что эта организация служит каналом финансирования партии. Президентом Совета был лорд Бойд Орт, специалист по продовольственным проблемам, который возглавлял британскую делегацию на конференции в Москве и вообще был непременным участником подобных мероприятий⁴². Возможно, она испытывала неловкость от участия в этой миссии (получившей прозвище “ледокольной”), которая положила начало отношениям с Китаем, поскольку на церемонии подписания деловых договоренностей укрылась за другим сановником, оказавшись почти вне поля зрения камеры. Милтон Фридман, который провел этот учебный год в Кембридже, был весьма удивлен тем, что такой блестящий экономист, как Робинсон, “считает возможным оправдывать и одобрять все аспекты русской и китайской политики”⁴³.

В свои сорок девять Джоан Робинсон выглядела еще внушительнее, чем раньше: “прекрасная Валькирия”, гурия и комиссар в одном лице. Высокомерная, полная интеллектуального превосходства и одновременно обольстительная, она сочетала олимпийскую уверенность с тонким сарказмом. Хотя до 1958 года она не была членом Британской академии и должность профессора в университете получила только

в 1965 году, когда Остин ушел в отставку, она отчасти заняла освободившееся после смерти Кейнса место лидера. Она была не единственной известной кейнсианкой. Но Сраффа в то время с головой погрузился в редакторскую работу над собранием работ Давида Рикардо, а Николас Калдор стал деятелем лейбористской партии, поэтому повестку дня определяла она. И она подавляла окружающих мужчин.

На семинаре в Оксфорде, который вел Джон Хикс, позже разделивший с американским экономистом Кеннетом Эрроу Нобелевскую премию за работу по экономическому росту, Робинсон, по воспоминаниям другого участника семинара, “все время напоминала Хиксу, что он сказал. Он все больше краснел и наконец сказал, сильно заикаясь: “Я не говорил ничего подобного!” — на что она ответила, что если он и не говорил этого, то это именно то, что он хотел сказать”⁴⁴. В отличие от Кейнса с его широкими взглядами, который не любил, чтобы его отождествляли с его идеями, и не хотел, чтобы его последователи становились доктринерами, Джоан искала именно приверженцев своих идей. Ее студенты мужского пола бывали забиты и лишены права голоса. Один из них вспоминал:

Бывало, госпожа Р. сидит на пуфе, курит сигарету в длинном мундштуке... одетая в пеньюар, ее седеющие волосы стянуты сзади в тугий пучок, а умные глаза под широким лбом пристально смотрят на меня. В целом все это слегка напоминало портрет Гертруды Стайн работы Пикассо: та же властность и стать. Но на этом сходство заканчивалось. Госпожа Р. была если и не красоткой, то уж во всяком случае женщиной привлекательной. И разница между ней и Стайн становилась еще более очевидной при взгляде на рисунок, сделанный пером и стоявший на столике рядом с пуфом: полностью обнаженная женщина сидит на пуфе, закрыв лицо руками⁴⁵.

Английский Кембридж стал для Робинсон антиподом американского. Ее презрение к математике казалось чрезмерным.

Она отказалась от предложения стать президентом Эконометрического общества, объяснив, что не может войти в редколлегию журнала, который не может читать. Ее бывший преподаватель Артур Пигу называл Джоан “сорокой, плодящей бесчисленных попугаев” и жаловался, что она “проповедует Истину с таким звучным “И” и с такой прусской деловитостью, что несчастные мужчины все одинаково дуреют, лишаясь собственного рассудка”⁴⁶. Майкл Стрейт, семья которого владела “Нью рипаблик” и который был завербован КГБ, называл ее лекции “самыми блестящими и увлекательными лекциями для студентов-экономистов”⁴⁷.

Изначально принадлежавшая к классу, который когда-то управлял империей, Джоан выросла в период окончательного упадка британского империализма, и, возможно, именно это ощущение принадлежности к исторически проигравшей стороне побудило ее встать на сторону исторических победителей. К тому времени, когда она впервые поехала в Москву, она страстно увлеклась новым для себя направлением — исследованием экономического развития — и уже была убеждена, что двадцать лет назад она в интеллектуальном плане “свернула не туда”, “написав “Экономическую теорию несовершенной конкуренции” исходя из статических предположений”⁴⁸. Во время Великой депрессии она напряженно искала ответ на вопрос, который — как она теперь полагала — не нужно было и задавать. Она поняла, что вместо того, чтобы спрашивать, что приводит к безработице, нужно было задуматься над тем, от чего зависят богатство и бедность народов. Как она впоследствии говорила, ей нужно было отказаться от “статического анализа” и попытаться вместо этого “использовать теорию развития Маршалла”.

Проблема долгосрочного развития изначально привлекала внимание кейнсианцев, в том числе и Робинсон, которую беспокоила грядущая стагнация промышленно развитого Запада. Но последующие события заставили их обратить внимание на “перенаселенные, отсталые страны”, то есть на быв-

шие колонии в Азии, Африке и Латинской Америке⁴⁹. Начать с того, что прогнозы относительно послевоенной стагнации не сбылись. Разрушенные войной Великобритания и Европа в целом восстанавливались так быстро, что к 1950 году безработица здесь практически исчезла, а заработная плата быстро росла. Левые утверждали, что рыночную экономику спасает гонка вооружений, но факт оставался фактом: необходимость установления социализма на Западе уже нельзя было объяснять экономическими проблемами.

После Второй мировой войны деколонизация стала неизбежной. Финансовое ослабление Великобритании и ее стремление построить государство всеобщего благосостояния совпали по времени с усилением национально-освободительных движений. Обострение холодной войны подстегнуло этот процесс, потому что ведущие державы раскололись на два лагеря, и третий мир получил возможность “торговать” своей поддержкой тех или других, а расширение политического представительства бедных стран в глобальных организациях, в частности в Организации Объединенных Наций, привлекло внимание к проблеме экономической отсталости “слаборазвитых стран”.

В ретроспективе оптимистичная риторика московской конференции звучит просто нелепо. В 1952 году в Китае, где тогда проживала пятая часть населения планеты, средний доход на душу населения был примерно вдвое меньше, чем в Африке, и составлял всего 5% от американского показателя. Уровень жизни в Индии, в которой жило 15% мирового населения, был лишь незначительно выше. Если бы кто-то спросил об этом до войны, экономисты в большинстве своем с готовностью признали бы, что бедные страны вполне могут — со временем — разбогатеть. Европа избежала мальтузианской ловушки всеобщей бедности и жизни впроголодь, обеспечив всего лишь одно-двухпроцентное превышение темпов экономического роста по сравнению с темпами роста населения.

Но как можно было использовать европейский опыт в условиях густонаселенного Китая, Индии или Ближнего Востока? Мало того, что разрыв в материальных условиях жизни между густонаселенными бедными и самыми богатыми странами был невообразимо велик, но — что более тревожно — эти бедные страны на тот момент были намного беднее, чем Англия в 1840-х годах, перед началом длительного периода кумулятивного повышения реальной заработной платы и уровня жизни простых англичан. “Сегодня на равнинах Индии и Китая голодные и одолеваемые чумой люди живут лишь немногим лучше... чем скот, который трудится рядом с ними, — писал в 1948 году Т. С. Эштон. — Эти азиатские стандарты жизни и ужасы полного отсутствия механизации — таков удел тех, кто плодится, не пройдя через промышленную революцию”. Если бедность искоренялась в Китае и Индии с той же скоростью, с какой это происходило в Великобритании, Европе и Америке, то Китаю и Индии понадобилось бы еще сто лет, чтобы достичь *того* уровня.

Дело не сводилось к взвешиванию плюсов и минусов централизованного планирования и государственных предприятий. Существовала также проблема международной торговли и инвестиций. Какой путь быстрее ведет к процветанию: интеграция в мировую экономику или автаркия? Ответ зависел от того, что считать главной причиной отсталости. Столетием раньше Фридрих Энгельс и Карл Маркс утверждали, что бедность в викторианской Англии перешла на новый уровень и оказалась гораздо тяжелее, нежели в слизаветинской. Они обвиняли в этом богатых. Позже Альфред Маршалл, Ирвинг Фишер, Йозеф Шумпетер, Джон Мейнард Кейнс и другие заняли другую позицию. Они отмечали, что бедность была уделом многих людей задолго до появления современной экономики. Основной причиной низкого уровня жизни был не недостаток ресурсов и не неравномерное распределение существующих доходов, но неспособность эффективно использовать имеющиеся

ресурсы: землю, труд, капитал, знания. Теперь для большей части земного шара вопрос ставился так: обусловлена ли бедность государств и народов западной экономической системой или местными условиями и институтами, тормозящими экономическое развитие, которые западная система как раз и могла бы исправить.

Шумпетер назвал победу большевизма в докапиталистической аграрной экономике “не более чем случайностью”. В своей рецензии на книгу “Капитализм, социализм и демократию” Робинсон откликнулась:

Да, возможно. Но это тот случай, когда исключение, кажется, гораздо важнее правила. Кто знает, какие случайности могут произойти по окончании нынешней войны? И даже если большевистская случайность так и останется уникальной, не может быть особых сомнений в том, что существование великой социалистической державы само по себе будет влиять на развитие других стран (даже без какого-либо сознательного вмешательства в их дела) как минимум не меньше, чем более тонкие процессы эволюции, обусловленные имманентными характеристиками капитализма.

Победа Советского Союза над Германией, ведущей промышленной державой Европы, во Второй мировой войне, по-видимому, убедила Робинсон в том, что социализм — кратчайший путь к индустриализации:

Это главный урок последних трех десятилетий не столько для западных индустриальных стран, где уровень жизни и так уже высок, сколько для слаборазвитых стран. Что коммунизму суждено вытеснить капитализм — это вопрос теории, а вот то, что советская система показала, как могут воспроизводить (а то и превосходить) технические достижения капитализма те, кто начинал первую промышленную революцию с уровня дровосека или водоноса, — это непреложный факт⁵⁰.

В 1951 году Робинсон написала краткое введение к классической марксистской работе — “Накоплению капитала” лидера немецких коммунистов Розы Люксембург, убитой в 1919 году. Люксембург была одним из немногих первоклассных умов среди последователей Маркса. Сегодня она больше известна своей ранней критикой большевистской диктатуры, нежели своим вкладом в экономическую теорию, но в 1951 году Робинсон была вынуждена согласиться с утверждением Люксембург, что пределы роста (и причину неизбежного провала) глобальной рыночной экономики нужно искать в третьем мире.

Согласно Люксембург, сокращение возможностей инвестирования в собственных странах заставляет предпринимателей отправляться в поисках прибыли за границу и неизбежно ведет к соперничеству. Когда империалисты занимают все свободные территории, доступные для эксплуатации, или сталкиваются между собой, капитализм терпит крах либо из-за стагнации, либо вследствие войны. Робинсон признавала, что анализ Люксембург был неполным в том смысле, что в нем империализм рассматривался как единственно возможный вариант развития капитализма, без каких-либо упоминаний о научно-техническом прогрессе или росте реальной заработной платы: “Все же мало кто будет отрицать, что распространение капитализма на новые территории было движущей силой, которую один ученый-экономист назвал “величайшим бумом” последних двух столетий, а многие ученые-экономисты объясняют бедственное положение капитализма в XX веке в значительной степени “закрытием границ” по всему миру”. Тем не менее она пришла к выводу, хотя и не совсем оправданному, что книга Люксембург “демонстрирует такую точность предвидения, на которую не может претендовать ни один из современных ей корифеев”⁵¹.

Робинсон принялась за собственную крупную работу, посвященную экономическому росту, заглавие для которой она решила позаимствовать у Розы Люксембург⁵². В 1949 году она опубликовала жесткий критический анализ классической ра-

боты Роя Харрода по экономическому развитию, из которого было ясно, чего примерно она хотела достичь⁵³. Она корила Харрода за то, что он игнорировал конфликты интересов, историю, политику, и в особенности “распределения доходов и мер по увеличению полезных инвестиций”⁵⁴. В статье 1952 года в “Экономик джорнел”, написанной еще до поездки в Москву, содержался набросок ее основных тезисов: рост экономики, писала она, это процесс накопления физического капитала — дорог, административных зданий, плотин, фабрик, машин и т. п. Утверждая, что свободные рыночные экономики в принципе не могут расти бесконечно, Маркс, по-видимому, ошибался. Она же хотела продемонстрировать, что это почти недостижимо *на практике*. “Вечное, постоянное накопление не является принципиально невозможным”, — писала она, но “условия, необходимые для этого, вряд ли можно найти в реальности”⁵⁵.

В ходе своего первого визита в Китай в 1953 году Робинсон окончательно убедилась в том, что “... социализм — это не стадия, следующая за капитализмом, но замена для него”⁵⁶. Позже она объясняла: “Частное предприятие перестало быть организационной формой, наиболее подходящей для использования современных технологий”⁵⁷. Главным препятствием для развития экономики в бедных странах было не отсутствие капитала или предпринимательских способностей, заключала она, но вмешательство со стороны Запада. Торговля между Севером и Югом была игрой с нулевой суммой, в которой одни выигрывали, а другие — конечно, это были бедные страны — проигрывали. Она не считала, что образование и инновации могут существенно изменить дело. “Только когда развитые страны убедятся, что им не стоит тревожиться, они станут достаточно терпимыми, и это позволит осуществить глубокие социальные изменения, необходимые для того, чтобы направить колониальные, бывшие колониальные и квазиколониальные народы на путь развития”, и добавляла, несколько нехотя, что “мирное сосуществование естественно и логично”.

Пока Робинсон писала свою книгу, Ричард Кан вел то, что они с Джоан называли “тайным семинаром”. В течение осеннего и весеннего триместров каждый вторник они встречались у Кана в Королевском колледже: здесь был организован “испытательный полигон” для оценки ее работы еще в процессе написания. Семинар был открыт для посещения, но получить на нем эфирное время часто было трудно. Во всяком случае Самуэльсон описал одно из этих собраний так: “75% времени говорил Калдор [друг Робинсон], и 75% времени говорила Джоан”⁵⁸.

Когда в 1956 году книга “Накопление капитала” была опубликована, ее “эпический масштаб” и высокий статус Робинсон гарантировали обилие отзывов. Но хотя обозреватели называли книгу “монументальной” и “важной”, реакция была приглушенной. Одни критики отмечали “недостаток новых идей”, “отсутствие положений, которые можно было бы проверить эмпирически”, “словесное и графическое представление... давно известных результатов линейного программирования”⁵⁹. Другие обвиняли ее в непонимании роли потребителей, указывали на логические ошибки и игнорирование результатов последних исследований (это считалось типичным пороком английского Кембриджа: один рецензент отметил, что в книге Пьеро Сраффы “Производство товаров посредством производства товаров”, написанной во время Второй мировой войны, нет ни единой ссылки на работы, появившиеся после 1913 года). Не столь милосердно отреагировал Гарри Джонсон: он писал, что Робинсон, его бывший преподаватель, “к ее собственному удовлетворению, окончательно доказала, что капитализм в принципе не может работать”⁶⁰. Самуэльсон сравнил теорию Робинсон с ленинской формулой: “Коммунизм есть советская власть плюс электрификация”⁶¹. Абба Лернер назвал эту книгу “жемчужиной”, не только за то, что она направляла внимание на “причины богатства наций”, но и за то, что она обеспечивала аспирантам “уйму ошибок и... примеров оригинальной путаницы”, на которых они могли бы тренировать

свои интеллектуальные мускулы⁶². Лоуренс Клейн, разделявший политические взгляды Робинсон, отвергал ее концепции как “заурядные результаты, обычно получаемые в экономической теории на основании какого-либо максимизирующего или минимизирующего принципа”⁶³.

Роберт Солоу, кейнсианец из Массачусетского технологического института, в том же году опубликовавший свою статью, посвященную экономическому росту — за которую в 1987 году он получил Нобелевскую премию, — нанес Робинсон смертельный удар: “Я думаю, в экономике Джоан нет ничего кейнсианского... ни в “Накоплении капитала”... ни в любой другой из этих работ я не вижу ничего, что уходило бы корнями в теорию Кейнса или было вдохновлено им”⁶⁴.

Солоу не только предложил изящную теорию, но и продемонстрировал потрясающий эмпирический результат: удвоение производительности в расчете на одного рабочего, имевшее место в США за период с 1909 по 1949 год, на девять десятых было обусловлено не накоплением физического капитала и не улучшением здоровья и повышением уровня образования рабочей силы, а техническим прогрессом. То, что экономические условия, способствующие внедрению инноваций, имеют большее значение, нежели существующая совокупность заводов и оборудования, категорически противоречило основной посылке Робинсон, не говоря уже о посылке, лежавшей в основе широко воспроизводимой советской модели. Солоу, не вполне справедливо отвергавший Шумпетера как германофила-антисемита и интеллектуального шарлатана, представил самые убедительные доказательства того, что в долгосрочном плане экономический успех или, наоборот, неудача определяется не тем, что нация имеет, а тем, что она с этим делает. А это, конечно, был чистой воды Шумпетер.

Роберт Солоу и Кеннет Эрроу провели 1963/64 учебный год в английском Кембридже и слышали рассказы Робинсон о ее

двухмесячном турне по китайским коммунам. Пытаясь противостоять “касающимся Китая злонамеренным искажениям в западной прессе”, она отвергала “критику тех, кто льет крокодиловы слезы по поводу “голода””, и утверждала, что коммуны в Китае были “механизмом организации помощи” в течение трех “горьких лет” наводнений и засухи. В духе радужных репортажей, поступавших от Беатрисы и Сиднея Уэббов во время голода 1932 года на Украине, Робинсон назвала коммуны “гениальным изобретением” и делала вывод, что “карточная система работала; нормы были жесткие, но они всегда соблюдались”.

Теперь мы знаем, что в 1958–1962 годах в провинциях Хэнань, Аньхой и Сычуань умерло от 15 до 30 миллионов крестьян (в десять раз больше, чем во время “бенгальского голода” 1943 года) и что этот голод был вызван вовсе не плохой погодой, а в первую очередь насильственной коллективизацией, катастрофической политикой “большого скачка” и нежеланием режима Мао Цзэдуна организовать необходимую помощь.

Сегодня почти все согласны с тем, что демократия и благосостояние идут рука об руку. Но долгое время дело обстояло иначе. Многие интеллектуалы, мыслившие в русле традиции утилитаризма, считали права индивидуума роскошью, которую бедные страны просто не могут себе позволить. Робинсон полагала, что в демократии есть элемент жульничества, а политики ничтожны и лживы. “Понятие свободы — скользкое, — писала она во время Второй мировой войны, без малейшего намека на иронию добавляя: — Полную свободу слова можно без опаски разрешить только тогда, когда ни внутри, ни снаружи нет серьезного врага”⁶⁵. Она склонялась к тому, чтобы отвергнуть демократические реформы как “преждевременные попытки сорвать низко висящие плоды”. Этой своеобразной слепотой, наверное, и объясняется тот факт, что Робинсон, часто бывавшей в Китае в 1950-х и 1960-х годах, “удалось совершенно не заметить самый масштабный голод в современной истории”, в то время как другие, в том числе Бертран Рассел,

Майкл Фут, Гарольд Ласки и Гарольд Макмиллан, каждого из которых в течение какого-то времени обливали грязью как сторонника коммунистов или даже “попутчика”, разглядели то, что творилось в Китае, и призывали к оказанию международной помощи.

Следует отметить, что Джоан Робинсон была не единственным видным западным наблюдателем, поверившим опровержениям Пекина. Лорд Бойд Орт, глава британской делегации на экономической конференции в Москве в 1952 году и один из ведущих мировых специалистов по продовольствию, заключил, что Мао прерывает “китайскую традицию периодически повторяющегося голода”⁶⁶. Отчасти это можно объяснить тем, что общее число погибших в то время от голода стало известно за пределами Китая только после смерти Мао, в 1976 году. Но готовность Робинсон верить тоталитарному режиму, отменившему свободу передвижения, свободу слова, свободную прессу и свободные выборы, была характерным симптомом мышления, весьма распространенным пятьдесят лет назад среди экономистов, которые занимались проблемами развития, игнорируя при этом важнейшую роль политических прав.

Джеффри Харкорт заметил как-то, что Робинсон “все время ищет очередную утопию”. Может быть, но при этом она также искала очередного Великого вождя и, конечно же, очередную боготворящую ее аудиторию. Ей нравилось быть знаменитой, нравились банкеты, обслуживание на высшем уровне и высокие трибуны. Ей нравилась роль бесстрашного стороннего наблюдателя, говорящего правду властям предрешающим. Возможно, что ее стимулировали и счет в московском банке, дружеские отношения со шпионами времен холодной войны, в частности Соломоном Адлером, Фрэнком Коу, Дональдом Уилером и Оскаром Ланге, а также необходимость завуалированных намеков и осторожных умолчаний.

С годами Робинсон становилась все более высокомерной, властной и пессимистичной. В ее книге “Экономическая философия”, опубликованной в 1962 году, анализировались

экономические идеи начиная с 1700 года. В своей рецензии Джордж Стиглер, лучший друг Милтона Фридмана в Чикагском университете, назвал Робинсон “великолепным логиком”, но обвинил ее в том, что она закрывает глаза на факты:

Мало проку представлять экономику в виде логической структуры, основанной на нескольких бесспорных аксиомах, описывающих устройство мира. Если отрешиться от чрезвычайно разнообразных и поучительных результатов эмпирических исследований, проводившихся на протяжении двух поколений, и считать, что экономическая история не имеет отношения к экономической теории... то, по сути, остается только пустая схема. Логика — дивный инструмент, но она не делает различия между двумя ошибочными выводами: если $A=B$ и $B=C$, то: 1) $A=1,01C$ и 2) $A=10^{65}C$. А для экономиста различие есть⁶⁷.

Глава XVIII

СВИДАНИЕ С СУДЬБОЙ

СЕН В КАЛЬКУТТЕ И В КЕМБРИДЖЕ

О капитализме сложено мало народных песен, а вот о социальной справедливости — очень много.

Это главным образом попытка увидеть развитие как процесс расширения реальных свобод, которыми пользуются люди. При таком подходе расширение свободы рассматривается и 1) как *главная цель*, и 2) как *главный механизм* развития.

АМАРТИЯ СЕН¹

Джоан Робинсон закончила выступление в Школе экономики в Дели, держа в руках экземпляр “красной книжечки” Мао. Дело было в конце 1960-х. Темой ее выступления было удручающее состояние западной экономики, но говорила она в основном о Китае и о культурной революции. Публика была в восхищении. Когда бурные аплодисменты наконец стихли, ей задал вопрос молодой человек, гибкий как тростинка. В его тоне слышался самый что ни на есть мягкий и вежливый скептицизм. Робинсон отпарировала резко, но “с любовью”². В конце концов они были лучшими из врагов — бывший преподаватель и любимый студент. В Кембридже она пестовала

студентов из стран третьего мира. Амартия Сен был одним из ее самых одаренных учеников, но его интерес к правам человека и стремление к немедленному искоренению бедности вступили в противоречие с ее энтузиазмом в отношении советской модели индустриализации.

Имя “Амартия” означает “предназначенный для бес-
смертия”. Сен родился в академической и космополитичной
индуистской семье и рос в Бенгалии среди ужасов голода
и межобщинных столкновений, краха британского правления
и раздела страны. Он был блестящим студентом и агитатором
в Калькутте, чуть не умер от рака, но справился с ним и, опе-
редив на экзаменах 100 тысяч других претендентов, поступил
в Тринити-колледж в Кембридже, где учились или работали
Исаак Ньютон, Г.Х. Харди и математик Шриниваса Рама-
нуджан. С 1970 года Сен жил в основном в Англии и в Аме-
рике, но его мысли всегда были связаны с Индией. Опираясь
на собственный опыт и глубокое знание восточной и запад-
ной философии, он всю жизнь изучал проблемы отсутствия
у людей гражданских прав и подвергал сомнению все аспекты
современной экономической мысли. Усомнившись в тради-
ционных концепциях социальной защиты и методиках изме-
рения прогресса, он помог восстановить “этический аспект
в обсуждении насущных экономических проблем”³. Ученый
и общественный деятель, он занимался самыми разными
проблемами — от голода и преждевременной смертности
женщин до мультикультурализма и распространения ядерного
оружия. Его вдохновенный путь из нищеты Калькутты новой,
независимой Индии в башни из слоновой кости английского
и американского Кембриджа и обратно — это пример торже-
ства разума, сопереживания и решимости преодолеть любые
трудности.

В январе 2002 года националистическое индуистское пра-
вительство партии “Бхаратия джаната” устроило в Дели трех-
дневный праздник для индийской диаспоры из дальнего зару-
бжья. И Сен совершил поступок, который показал и как далеко

он зашел, и насколько близок он оставался к своим корням: он покинул это торжество, чтобы принять участие в “голодных слушаниях” в холодном грязном поле на дальней окраине города, где собралось несколько сот крестьян и рабочих.

Один за другим подходили к микрофону люди. Худенькая четырнадцатилетняя девочка из Дели рассказала о том, что голодает после того, как потеряла работу посудомойки. Темнокожий мужчина из Ориссы сказал, что три члена его семьи умерли во время прошлогодней засухи. Через пятьдесят лет после обретения независимости значительная часть населения Индии (больше, чем в любой другой части мира, в том числе и в Африке к югу от Сахары) страдала от хронического недоедания. Тем не менее правительство регулировало сельскохозяйственные цены таким образом, чтобы поддерживать высокие цены на продукты питания, и накопило крупнейшие в мире запасы продовольствия, треть из которых просто гнила в кишачих крысами государственных зернохранилищах.

Когда Сен встал, дрожа от холода в своих мешковатых вельветовых брюках и мятом пиджаке, он стал говорить не столько об “интересах потребителей, которые приносятся в жертву ради фермеров”, сколько о “глубоком одиночестве умиравших”. Обращаясь к аудитории, которая, казалось, была поражена, он выражал сочувствие и ободрение. “Без протестов, подобных этим, — сказал он, — смертей было бы гораздо больше. Если бы нечто подобное было раньше, голод в Бенгалии можно было бы предотвратить”. Их готовность высказаться, сказал он, и есть “демократия в действии”.

По национальности Сен бенгалец. Это характеризует его определенным образом, подобно тому как американца характеризует слово “южанин”. Фактически Бенгалия — это огромная речная дельта, и основной продукт в рационе бенгальцев — рыба, а традиционная одежда — это дхоти (набедренная повязка), чаппалы (кожаные сандалии) и панджаби (длинная

рубашка, дополненная свободными брюками, а иногда и шарфом). Все бенгальцы, по словам Сена, такие же говоруны, как и он сам. Бенгальцы шутят: ужас смерти в том, что люди будут продолжать говорить, а ты не сможешь им ответить.

По-бенгальски ученый и общественный деятель обозначается словом “бхадралок”, и в Бенгалии существует давняя, по крайней мере двухвековая традиция воспитания ученых мужей с космополитическими взглядами, которые борются с социальными пороками, такими как отношение к неприкасаемым и обряд сати³. Сен был частью этой традиции. Его семья жила в старой части Дакки, древнего города на реке в 240 километрах по прямой от Калькутты (ныне Дакка является столицей мусульманского государства Бангладеш). Во времена Джейн Остин Дакка была “большим и оживленным городом”, славившимся на весь мир тонким муслином под названием *bafta hava*, или “тканый воздух”⁴. Но конкуренты из Манчестера задушили это производство. К 1900 году население Дакки сократилось на две трети, и как написано в тогдашнем путеводителе, “нынешний город окружен руинами домов, мечетей и храмов, поглощенных джунглями”⁵. К 1933-му, году рождения Сена, Дакка отчасти восстановила свое прежнее значение, став региональным центром британской администрации.

По рождению Сен принадлежал к классу англоговорящих преподавателей и государственных служащих, помогавших управлять Британской Индией. Он описывает своего отца Ашутоша как “энергичного человека”, который получил степень доктора химии в Лондонском университете и влюбился в англичанку-квакершу. После возвращения домой для вступления в договорный брак он возглавил отделение сельскохозяйственной химии в Университете Дакки. Семья жила в типичном для Дакки доме длиной немногим более пятнадцати метров, узком спереди, с “внутренним двориком, открытым небесам” в середине, со множеством комнат для родственников и прислуги⁶.

Сати — в индуизме обряд сожжения вдовы с покойным супругом.

Учиться Сен начал в 1939 году в английской миссионерской школе. Два года спустя, когда японцы подошли к Британской Индии, его отправили к родителям матери в город Шантиникетан, к северу от Калькутты, “чтобы уберечь от бомб”. Шантиникетан имеет особое значение для бенгальцев, да и вообще для всех индийцев, поскольку он связан с именем поэта Рабиндраната Тагора. Получив в 1913 году Нобелевскую премию по Литературе, Тагор потратил ее на создание в Шантиникетане Университета Вишва Бхарати, где хотел реализовать свои концепции образования и соединения восточной духовности с западной наукой. В 1940 году Шантиникетан посетил Ганди, и затем на протяжении многих лет национальная элита Индии, в том числе и премьер-министр Джавахарлал Неру, посылала своих детей учиться именно туда.

В университете Вишва Бхарати преподавал дед Сена по материнской линии Кшитимохан Сен, выдающийся ученый-санскритолог. Сен посещал занятия в школе совместного обучения Тагора (уроки проходили под эвкалиптами).

Сводное время он проводил в основном с дедом. “Его все боялись, — вспоминал Сен. — Он вставал в четыре. Знал все звезды. Он говорил со мной о связях между греческим и санскритом. Я был единственным из его внуков, кто чувствовал тягу к научной деятельности. Я хотел носить мантию”.

Каким бы спокойным оазисом ни казался Шантиникетан, он все равно не избежал потрясений того времени. Тагор умер в 1941 году. К тому времени он глубоко разочаровался в Западе и говорил, что не видит большой разницы между союзными державами и державами Оси. Война ускорила окончательный разрыв Индии с Великобританией. После того как в 1942 году Ганди инициировал движение “Вон из Индии!”, британцы арестовали 60 тысяч сторонников Конгресс-социалистической партии, в том числе дядю Амартии Сена, а к концу года в ходе антибританских беспорядков погибло более тысячи человек. “Мой дядя очень долго пробыл в предварительном заключении, — вспоминал Сен. — Некоторые другие дядья

гоже были арестованы, и один из них умер в тюрьме. Я вырос с ощущением несправедливости всего этого”.

Голод 1943 года в Бенгалии — в большей мере следствие инфляции военного времени, цензуры и имперского безразличия, нежели неурожаев — уничтожил последние остатки уважения к англичанам. Новый вице-король, будущий лорд Уэйвелл писал Черчиллю: “Бенгальский голод стал одним из величайших бедствий, которые когда-либо обрушивались на какой-либо народ Британской империи, и ущерб, нанесенный нашей репутации как среди индийцев, так и среди иностранцев в Индии, не поддается учету”⁷. Согласно более поздним оценкам Сена, от голода и болезней в это время здесь погибло около 3 миллионов человек, в основном бедных рыбаков и безземельных рабочих.

Для десятилетнего мальчика голод выглядел как непрерывный поток голодных крестьян, которые шли через Шаншикетан, в отчаянии стремясь добраться до Калькутты. Дед разрешил ему раздавать нищим рис, “но лишь столько, сколько войдет в пачку из-под сигарет”, и только одну пачку на семью. Позже, уже будучи студентом университета, он думал о том, что голодали только очень бедные семьи и члены презируемых каст, в то время как его самого, его семьи и фактически всего их класса голод не коснулся. Это наблюдение привело его к мысли о том, что голод является не природным бедствием, а делом рук человека.

Еще более страшными были вспышки межобщинного насилия накануне получения независимости. Идея мультикультурности индийской нации была очень популярна в Шаншикетане, и степень взаимной ассимиляции мусульман и индусов в Бенгалии была выше, чем в других частях Индии. Однако в ходе межрелигиозного конфликта накануне получения независимости и здесь вспыхнули повсеместные погромы; сосед пошел на соседа. В 1945 году Ашутос Сен вместе с другими индусами, работавшими в университете, был вынужден покинуть Дакку.

Во время последних школьных каникул, проведенных дома в Дакке, Сен стал свидетелем ужасной сцены: к ним, шатаясь и крича, весь в крови, вошел рабочий-мусульманин по имени Кадер Мия. Его ударил ножом в спину кто-то из мятежных индусов, и в тот же день он умер. “Это событие потрясло меня”, — вспоминал Сен. Мия рассказал отцу Сена, который отвез его в больницу, что жена умоляла его в этот день остаться дома. Но его семье было нечего есть, и ему не оставалось ничего другого, кроме как пойти в индуистскую часть города искать работу. Мысль о том, что “крайняя нищета может сделать человека беспомощной жертвой”, вспоминал Сен, подтолкнула его к философскому исследованию конфликта между необходимостью и свободой⁸. А непосредственным результатом стало глубокое отвращение ко всем формам религиозного фанатизма и культурного национализма.

Университет Президенси — одно из элитных высших учебных заведений в Индии — сегодня выглядит во многом так же, как и в 1951 году, когда туда поступил Сен (только тогда он был колледжем в составе Калькуттского университета), и если уж на то пошло, так же, как и на рубеже веков, когда британцы основали Индуистский университет. Его выцветшие розовые фасады с облупившимися зелеными ставнями, черные пластинки с обозначениями помещений, плохо освещенные интерьеры с вентиляторами под потолком и рядами длинных деревянных скамеек — все напоминает о давно ушедшей эпохе. Однако в первые годы после обретения независимости этот колледж был центром политической жизни. Сен прибыл сюда с намерением изучать физику, но быстро обнаружил, что экономика и более актуальна, и более интересна.

Согласно традициям индийского высшего образования, Сен изучал и классические произведения, такие как “Принципы экономической науки” Маршалла, и новые работы, в частности “Стоимость и капитал” Хикса и “Основы эконо-

номического анализа” Самуэльсона (позже, в Тринити, он с сожалением отмечал относительную примитивность математического аппарата, которым пользовались кембриджские преподаватели). Однако основной его страстью была политика, и уже в первом семестре он был избран одним из руководителей Всеиндийской федерации студентов, в которой доминировали коммунисты. Он читал запоем, пропускал лекции и проводил большую часть времени с друзьями-сталинистами в кафе на соседней Колледж-стрит (на которой тогда, как и сейчас, стояли сотни книжных киосков) в спорах о Марксе.

Позже он вспоминал: “Когда я оглядываюсь и смотрю, каким направлениям научной работы я уделял наибольшее внимание на протяжении своей жизни, [я вижу, что]... все эти проблемы волновали меня еще в годы обучения в Калькутте”. На втором году обучения в Президенси-колледже эти проблемы четко выкристаллизовались под влиянием рокового кризиса. Незадолго до своего девятнадцатилетия Сен почувствовал в гортани опухоль размером с горошину. Районный врач сказал, что это просто рыба кость, проникшая в ткани. Однако опухоль не исчезала, а, наоборот, становилась все больше. Он обратился к слушателю подготовительных курсов при медицинском колледже, жившему с ним вместе в общежитии Христианской ассоциации молодых людей, и узнал, что рак ротовой полости довольно часто встречается у индийцев. Несколько часов изучения взятого напрокат медицинского учебника убедили Сена в том, что у него плоскоклеточный рак второй степени.

Чтобы договориться о биопсии в онкологической больнице Читтаранджан в Калькутте, потребовалось несколько месяцев и вмешательство родственников и друзей семьи. Биопсия подтвердила его подозрения. В то время диагноз “рак полости рта” был фактически равносителен смертному приговору. Хирургическое вмешательство, как правило, только ускоряло распространение рака, и в результате больные обычно просто понемногу задыхались, потому что опухоль постепенно пе-

режимала дыхательные пути. Облучение, которое в Англии и США уже с начала XX века стало одним из стандартных методов лечения рака, в Калькутте было почти недоступно из-за его сложности и дороговизны. Почитав про облучение в медицинских журналах, Сен наконец смог найти радиолога, готового попытаться ему помочь. Радиолог убедил Сена позволить ему использовать максимальную дозу, сказав: “Повторить это я уже не смогу”. Сен решил, что риск смерти от лучевой болезни лучше верной смерти от удушья.

Лечение было тяжелым, но потом было еще труднее. Был сделан слепок, и по нему изготовлена свинцовая маска, внутри которой помещались радиевые иглы. Подобно герою романа Виктора Гюго, Сен сидел в крошечной комнатке больницы в привинченной маске, “так что невозможно было двинуться”. Процедура повторялась каждый день в течение недели. “Я сидел там по четыре часа и читал, — вспоминал Сен. — Из окна я видел дерево. Каким утешением было видеть это единственное зеленое дерево!”

Доза была огромной — около 10 000 рад, что в 4–5 раз больше сегодняшней стандартной дозы. Когда он вернулся домой (его родители к тому времени переехали в Калькутту), появились последствия облучения: повышенная влажность кожи, язвы, боли в костях, сухость в горле, затрудненное глотание. “Мой рот был как пластилиновый. Я не мог ходить на занятия, не мог есть твердую пищу, боялся любой инфекции, не мог смеяться, потому что при этом текла кровь. Так я почувствовал боль человеческого существования”. Боль продолжалась почти полгода. И это были только ближайшие последствия. Со временем радиация разрушает кости и ткани, вызывает некроз, разрушает зубы.

Рак стал для него поворотным моментом. Знать, что у тебя смертельная болезнь, причем такая, которая метит тебя неким социальным клеймом, табу, это не просто страшно, это заставляет чувствовать себя каким-то нечистым, беспомощным, отверженным. Сен и раньше видел много ужасного, но все это

случалось с другими. А теперь беда коснулась его самого. Это позволило ему глубоко отождествить себя с другими — тоже больными, безгласными, обездоленными.

Преодоление рака повысило его самооценку. Его мать Амита говорила: “Когда Амартии было девятнадцать, я вручила его Всевышнему”¹⁰. Но Сен сказал, что, взяв дело в свои руки, почувствовал огромную веру в собственные инстинкты и предприимчивость. “Психологически я чувствовал себя на коне, — вспоминал он. — Я был настойчив. Мне не у кого было спрашивать, буду ли я жить, кроме себя самого. Какой вариант был наилучшим? Что мне нужно было делать? У меня было ощущение победы”.

Когда он смог вернуться к занятиям, он сказал: “Я вернулся с новыми силами”, устремленный к новым целям. Он быстро стал первым на курсе, выиграл все возможные призы, в том числе и за искусство спора. Он подал заявление в Тришги-колледж в Кембридже, где учился Неру. Сначала его не приняли, но через несколько месяцев неожиданно приглашили. Поездку ему оплатил отец, потратив на это половину своих скудных сбережений. Цена авиабилета на самолет британской авиакомпании оказалась запредельной, поэтому в сентябре 1953 года, незадолго до своего двадцатого дня рождения, Сен отправился из Бомбея в Ливерпуль на пароходе (вместе с женской хоккейной командой Индии).

В Кембридже его ожидали новые неприятности: мрак, холод, отравительная еда и гнетущее одиночество. Зубы, поврежденные при облучении, все время болели и, кроме того, были для него постоянным источником смущения. Хозяйка пансиона, где он жил, просившая колледж не посылать к ней “цветных”, приставала к нему с разной ерундой, например, напоминала, чтобы он опускал шторы на ночь. “Вы ничего не видите снаружи, но они-то могут вас видеть”, — объясняла она ему, как малому ребенку.

В университете Сен попал как будто на политическое минное поле, поскольку ученики и критики Кейнса злобно соперничали между собой. Индира Ганди, которая год проучилась в Шантиникетане, как-то сказала, что усвоила там важный навык выживания, а именно научилась “спокойно жить внутренней жизнью независимо от того, что происходит снаружи”¹¹. Сен тоже, обретая внутреннее спокойствие, активно общался с учеными, занимавшими позиции по обе стороны идеологического раскола, не отказываясь при этом от собственного, независимого взгляда на вещи.

Однако и он попал под обаяние блестящей и властной Джоан Робинсон. Новая, независимая Индия была разделена не только межэтническими границами, но и диаметрально противоположными взглядами на будущее. Последователи Ганди видели Индию высокодуховной сельской страной с ручными ткацкими станками. Странники Неру ориентировались на советское централизованное планирование и видели Индию, застроенную плотинами и металлургическими заводами. В своей работе “Выбор методов” (1960) Сен критиковал государственное планирование в Индии, подчеркивая важность соблюдения основных экономических принципов. Получив вторую степень бакалавра и завершив исследования для диссертации, он вернулся в Индию и сначала преподавал в университете Джадвапура, а потом в только что созданной Школе экономики в Дели.

Если бы Сен перестал писать в конце 1960-х годов, мы знали бы его (если бы вообще знали) как представителя поколения индийских экономистов, изучавших возможности развития и поддерживающих доктрину Неру — “тяжелая промышленность, государственные предприятия и самодостаточность”, которая в итоге дала разочаровывающие результаты, после чего была отвергнута большинством экономистов, включая и самого Сена. Но начиная примерно с 1970 года он резко изменил направление своей интеллектуальной деятельности и опубликовал серию удивительных философских работ

об общественном благосостоянии, которыми и обусловлено его нынешнее влияние.

Этому творческому всплеску предшествовал еще один серьезный кризис в жизни Сена. На протяжении одного года он начал работать в Лондонской школе экономики, его отец умер от рака простаты, и кроме того, возникло подозрение на рецидив его собственной болезни. Когда выяснилось, что наблюдавшиеся у него симптомы обусловлены долгосрочными последствиями давнего облучения, в Англии ему сделали обширную реконструктивную операцию. После долгого и трудного выздоровления он оставил жену и двух маленьких дочерей, поскольку страстно влюбился в итальянку Эву Колорни, экономиста, дочь известного философа-социалиста, убитого фашистами во время Второй мировой войны. Эва поощряла возникший у Сена интерес к философии и посоветовала ему применить этический подход к актуальным проблемам нищеты, голода и дискриминации женщин. Они жили вместе в Лондоне с 1973 года вплоть до смерти Эвы от рака желудка в 1985 году. Эва родила ему двоих детей.

Когда Сен обратился к этике, Робинсон порекомендовала своему блестящему ученику “отбросить весь этот мусор”, но он не внял ее совету. По настоянию Эвы, он подробно исследовал то, что считал особенно мрачным следствием авторитарного правления, а именно голод. “Однажды я взвесил почти 250 детей из двух деревень в Западной Бенгалии, чтобы проверить их нутритивный статус, связав его с уровнем доходов, полом и т. д., — рассказывал он. — Если бы кто-нибудь спросил меня, что я делаю, я бы ответил, что занимаюсь экономической благосостояния”¹².

Сен утверждал, что голод, подобный бенгальскому, происходит в тех случаях, когда — несмотря на наличие достаточных запасов продовольствия — рост цен и безработица фактически лишают наиболее уязвимые группы населения “права на питание”, а общество в отсутствие выборов и свободной прессы не может оказать давление на правительство и заставить его

вмешаться. Робинсон, напротив, приветствовала такие драконовские меры, как “большой скачок”, и как Сен позже писал с горечью, “ей удалось не заметить крупнейший в современной истории голод”, когда после насильственной коллективизации погибло от 15 до 30 миллионов китайцев. Публично он никогда с ней не порывал, но ко времени смерти Робинсон в 1983 году они не переписывались уже несколько лет.

В 1970–1980-х годах Сен предложил общую теорию общественного благосостояния, в которой попытался соединить традиционную заботу экономистов о материальном благополучии с традиционной заботой политических философов о справедливости и правах личности. Возражая против утилитарного подхода коллег-экономистов, призывавших оценивать материальный прогресс, главным образом по приросту ВВП на душу населения, и ссылаясь на давнюю — от Аристотеля до Фридриха фон Хайека и Джона Ролза — традицию, Сен доказывал, что истинным мерилom совершенства общества является не богатство само по себе, а свобода — главная цель и она же главное средство экономического развития. В своей книге об Индии он пишет, что хотел “оценивать развитие по расширению основных свобод человека, а не только по экономическому росту... техническому прогрессу или социальной модернизации... [Эти факторы] важны... лишь в той степени, в которой они реально способствуют обогащению жизни и расширению свободы людей, а не сами по себе”¹³.

Сен ставил три отдельных вопроса, на которые сам же предлагал ответы: может ли общество делать выбор таким образом, чтобы он соответствовал предпочтениям отдельного гражданина? Совместимы ли права индивидуума с экономическим благосостоянием? И, наконец, что может служить мерой справедливости общества?

В 1930–1940-х годах либертарианцы беспокоились, что Запад откажется от политического либерализма во имя обес-

печения экономической безопасности. Поколение спустя Сен опасался, что Индия и другие страны третьего мира в погоне за экономическим ростом пожертвуют демократией. Как, спрашивал он, можно разрешить конфликт между “социальными действиями”²² и правами личности?

К тому времени, когда Сен в конце 1960-х годов занялся этой проблемой, уже были выдвинуты два серьезных соображения, ставивших под сомнение возможность разрешения этого конфликта. С одной стороны, Фридрих фон Хайек опасался, что “специалисты” и группы со специфическими интересами будут навязывать свои предпочтения всем остальным в качестве обязательных. Подменяя индивидуальные планы правительственными, власти, по его мнению, навязывают монолитный набор приоритетов индивидуумам, которые, возможно, предпочли бы сами делать выбор между имеющимися вариантами.

Другое, еще более серьезное возражение возникло совершенно неожиданно. Оно содержалось в опубликованной в 1951 году сугубо теоретической работе “Коллективный выбор и индивидуальные ценности” политически умеренного американского экономиста Кеннета Эрроу. Сен впервые познакомился с “теоремой невозможности” Эрроу еще в Президент-колледже. Это было логически безупречное доказательство того, что никакая система голосования не может обеспечить результаты, отражающие предпочтения отдельных граждан. Кроме случаев полного консенсуса, все процедуры голосования давали результаты, которые были в том или ином смысле недемократическими. Друзья Сена по колледжу в основном были сталинистами. И хотя Сен разделял их энтузиазм в отношении равенства, “политический авторитаризм его беспокоил”. Не является ли теорема Эрроу логическим обоснованием диктатуры?

Социальное действие — понятие, введенное Максом Вебером (1864–1920); действие, которое по смыслу соотносится с действиями других людей и ориентируется на них.

Поскольку напрямую оспорить результат Эрроу было невозможно, Сен решил проверить не вызывающие, казалось бы, сомнений предположения Эрроу относительно условий, которым должна удовлетворять любая демократическая процедура. В работе “Коллективный выбор и общественное благосостояние”, опубликованной в 1970 году, он утверждал, что одна из аксиом Эрроу, исключавшая сравнение уровней благосостояния различных граждан, на самом деле не имеет существенного значения и является произвольной. Если же разрешить такие сравнения, писал Сен, “невозможность” исчезает. Сам Сен и другие исследователи, вдохновленные им, продолжили попытки точного определения условий, которые позволили бы согласовать правила принятия решений с правами индивидуумов. Фактически со “сравнительных показателей благосостояния” Сен начал поиск критериев, которые могли бы подтолкнуть демократические правительства к проведению социальных реформ, и с них же начались длительные дискуссии относительно способов определения и измерения бедности.

Существует ли конфликт между правами индивидуума и экономическим благосостоянием? Вдохновленный, в частности, опубликованным в 1971 году фундаментальным трудом Джона Ролза “Теория справедливости”, который принято считать философским обоснованием современного государства всеобщего благосостояния, Сен продолжал готовить гораздо более широкое наступление на утилитаризм. Утилитаристы, к которым относится большинство экономистов, считают, что общество должно учитывать только благосостояние своих граждан. На права они обращают внимание в лучшем случае лишь опосредованно, как на компоненты счастья или удовлетворенности. В отличие от правила Джереми Бентама “наибольшее благо для наибольшего числа индивидуумов”, “принцип различия” Ролза гласит, что справедливое общество должно максимизировать благосостояние самых бедных категорий населения. Эта идея, конечно, совершенно утилитарная. Но основное внимание Ролз уделяет правам личности, которые, по его мне-

нию, имеют приоритет над материальным благополучием и которые экономисты по установившейся традиции игнорируют.

В статье “Невозможность паретианского либерала”, опубликованной в 1970 году, Сен утверждал, что на права необходимо обращать не меньше внимания, чем на благосостояние, отмечая принципиальную возможность серьезного конфликта между ними¹⁴. Большинство экономистов пользуется намного более слабым критерием экономического благосостояния, чем те, что предложены Бентамом или Ролзом. Оптимальным состоянием, утверждал итальянский экономист XIX века Вильфредо Парето, является такое, в котором уже невозможно сделать кому-то лучше, не сделав другому хуже. Другими словами, это общество, в котором использованы все бесконфликтные возможности увеличения общей полезности.

Но Сен показал, что даже этот, казалось бы, безобидный критерий может вступать в конфликт с правами личности. Если для многих людей понятие благополучия предполагает ограничение свободы других людей (мусульманские священнослужители счастливее, если девочкам запрещено учиться; католические монахини чувствуют себя лучше, если аборт считается преступлением; родители поддерживают идею запрета рекреационных наркотиков), свобода выбора может противоречить оптимальности по Парето.

Воспользуемся обновленной версией исходного примера Сена и предположим, что “блюститель нравов” ценит свободу исповедовать свою религию, но не так высоко, как оценил бы запрет порнографии, а “распутник” ценит свободу читать порнографические издания, но не так высоко, как оценил бы запрет религии. Если правительство запретит и порнографию, и религию, оба станут более счастливыми, но при этом менее свободными.

Хотя экономическая наука не полностью впитала мысль Сена, сегодня экономисты все же чаще задумываются о том, что остается за скобками, когда они используют ВВП для измерения материальных выгод. В частности, они стали более осторожно относиться к отождествлению ВВП с благополучием.

Сен утверждает, что ВВП не учитывает предлагаемые индивидуумам возможности, которые для них могут быть важнее доходов, и считает это серьезным недостатком. Конечно, можно утверждать (как это делает Эрик Маскин, лауреат Нобелевской премии по экономике), что, хотя права и благополучие могут иногда конфликтовать между собой, права, вообще говоря, можно рассматривать как способ защиты благополучия. Например, право читать то, что вы хотите (а не то, что вам велят читать другие), обычно способствует повышению доходов. Тем не менее, если вспомнить, как сильно такие конфликты поляризуют многие общества, следует признать, что Сен проявил удивительную прозорливость, обратив на это внимание еще три десятилетия тому назад.

Развивая свое наступление на утилитаризм, Сен утверждал, что сам по себе экономический рост не является достаточной мерой благополучия, поскольку не показывает, насколько хорошо или плохо живет малоимущим, и что понятие общественной полезности, определяемое на основании текущих предпочтений и удовлетворенности людей, тоже неадекватно заявленным целям, потому что малоимущие часто ограничивают свои желания в соответствии с обстоятельствами своей нищей жизни. Чтобы обойти эти и другие трудности, он предложил новую концепцию целей развития. Он назвал ее подходом “с точки зрения возможностей”.

Благополучие создается не товарами как таковыми, но деятельностью, для которой они приобретаются, утверждал он. Например, для меня ценность машины состоит в том, что она повышает мою мобильность. Для вас ценность образования может состоять в том, что оно дает вам возможность участвовать в таких дискуссиях, как наша. С точки зрения Сена, доход обладает значимостью из-за тех возможностей, которые он создает. Но реальные возможности и способности зависят не только от предпочтений, которые у обездоленных социальных групп могут быть ограничены, но и от ряда других факторов, таких как продолжительность жизни, состояние здоровья,

грамотность. Эти факторы также должны учитываться при измерении благосостояния. Исходя из этого он разработал альтернативные показатели благосостояния, в частности индекс развития человеческого потенциала ООН.

В соответствии со своей концепцией измерения благосостояния Сен утверждает, что именно способности и возможности физических лиц являются основным показателем, в отношении которого общество должно стремиться к большему равенству (хотя и затрудняется сказать, какие это должны быть возможности и какова должна быть степень равенства). Он признает, однако, что такое определение справедливости тоже порождает проблему: принимая решения сегодня — например, пойти работать или завершить образование, люди определяют свои будущие возможности.

Какого уровня, с точки зрения Сена, достигла постколониальная Индия? Его книга “Индия: развитие и участие”, написанная в соавторстве с Жаном Дрезом, начинается с цитаты из вдохновенной речи Неру по случаю провозглашения независимости Индии: “Много лет назад мы назначили свидание судьбе, и сейчас пришло время нам выполнить свое обещание”. Кроме всего прочего, Неру обещал “конец бедности, невежества и неравных возможностей”¹⁵. Для Сена эти “амбициозные цели... остаются в значительной степени недостигнутыми”. Как-то один студент спросил Сена, почему суть его речей не меняется с 1950-х. “Потому что не изменилась окружающая среда, — ответил Сен. — Вероятно, я до самой смерти буду говорить одно и то же”.

Конечно, отмечал он, в странах третьего мира многое изменилось. Средняя продолжительность жизни выросла с сорока шести до шестидесяти пяти лет, а реальный доход на душу населения увеличился более чем в три раза. Многие когда-то бедные страны теперь имеют больше общего с богатыми, чем с теми странами, которые остались позади.

Тем не менее, говорит Сен, миллиард граждан крупнейшей в мире демократической страны по-прежнему входит

в число самых малоимущих в мире. Крайняя степень нищеты, отмечает он, носит сейчас массовый характер лишь в двух регионах мира: в Южной Азии и в странах Африки южнее Сахары. Средняя продолжительность жизни в Индии выше, чем в Африке, потому что Индия избежала крупномасштабного голода и гражданской войны. Но в отношении неграмотности, хронического недоедания, экономического и социального неравенства положение в Индии не лучше, а то и хуже, чем к югу от Сахары, особенно среди женщин.

В 1940 году Индия и Китай были примерно одинаково бедны. Однако сегодня ожидаемая продолжительность жизни в Китае составляет семьдесят три года, а в Индии — шестьдесят четыре. Младенческая смертность в Китае составляет менее половины аналогичного показателя для Индии: семнадцать смертей на тысячу родившихся против пятидесяти в Индии. Исследования показывают, что в части ликвидации хронического недоедания Китай ушел далеко вперед. Уровень грамотности подростков в Китае выше 90%, причем как для мальчиков, так и для девочек, а в Индии гораздо ниже, и гендерное различие гораздо больше¹⁶. Конечно, граждане Индии могут пользоваться правами, которые обеспечивает демократия (в частности, в Индии существует свобода прессы), а более благополучные граждане Китая пока по-прежнему могут только мечтать об этом. Поэтому задача Сена и других экономистов, курирующих Индию, состоит в том, чтобы подтолкнуть ее экономику на китайский путь глобализации, не жертвуя при этом демократией, которой и Сен, и вся Индия так гордятся.

Роберт Солоу, получивший Нобелевскую премию за свою теорию экономического развития, как-то назвал Сена “совестью нашей профессии”. Однако на протяжении долгого времени взгляды Сена на экономику вызывали явное недоверие и у левых, и у правых. В 1950–1960-х годах, когда в моде был советский стиль планирования, Сен был персоной нон грата у левых и в Дели, и в Калькутте, и в Кембридже. В 1980–1990-х, когда снова буйно расцвел свободный рынок, тогдашний пред-

седатель комитета по Нобелевским премиям уверенно предсказал: “Сен никогда не получит эту награду”. Тем не менее в 1998 году Сен получил Нобелевскую премию “за вклад в экономику благосостояния”.

Но времена изменились, и теперь, когда Сен едет в Азию, его воспринимают скорее как нового Ганди, нежели как профессора экономики, и ездит он в сопровождении полицейского эскорта. В январе 2002 года в Шантиникетане толпы людей выстроились вдоль улиц, чтобы увидеть его приезд и отъезд, а в Вишва Бхарати девушки падали на землю, чтобы коснуться его ног (это он решительно пресекает). Преисполненный решимости (как и давший ему имя Рабиндранат Тагор) использовать свою Нобелевскую премию для того, чтобы привлечь внимание к проблемам, волнующим его самого, половину своего приза в 1 миллион долларов он потратил на создание двух фондов, в Западной Бенгалии и в Бангладеш, целью которых является распространение начального образования в сельской местности.

По мере того как созданная по советскому образцу автаркическая и бюрократическая экономика Индии работала все хуже, в то время как Япония и “азиатские тигры” рвались вперед и достигли современного уровня жизни, Сен отказывался от мнения, что ключевыми факторами развития третьего мира являются западная помощь и улучшение условий торговли, и стал склоняться к шумпетерианской точке зрения: решающее значение имеют местные условия, и судьба народа в конечном счете зависит от того, что он делает. Он согласился с сокращением масштабов государственного регулирования и открытием индийской экономики для внешней торговли и инвестиций, настаивая при этом на государственном вмешательстве в интересах бедных, особенно в области здравоохранения, образования и питания. Сомнения окончательно развеялись, когда Мао свернул культурную революцию и ввел экономические свободы. Поразительный скачок Китая в современность подорвал престиж Советского Союза и полностью дискредитировал советскую экономическую модель.

Эпилог

Воображая будущее

Обычно путешествия начинаются еще в воображении. И путь к великой цели — завоеванию власти над обстоятельствами — не исключение.

Создавая в XVIII веке экономическую науку, мыслители пытались вообразить такую организацию жизни общества, при которой на смену принуждению придет добровольное сотрудничество. Но при этом они полагали, что девять из каждых десяти человеческих созданий осуждены Богом или природой на тяжелый труд и жизнь в нищете. Две тысячи лет истории убедили их, что у большей части человечества столько же шансов избежать своей участи, сколько у заключенного исправительной колонии, окруженной бескрайним океаном.

Диккенс, Мейхью и Маршалл пришли в экономику в викторианском Лондоне во времена промышленной революции и радикального улучшения условий жизни. Их вдохновляли более яркие и более обнадеживающие перспективы. Океан, в их представлении, был больше похож на ров. И они могли представить себе, что человечество переберется на противоположную сторону этого рва и шаг за шагом будет продвигаться к постоянно отступающему горизонту. Этими знатоками экономики двигали не только интеллектуальное любопытство и жажда теоретизирования, но и “стремление посадить человека в седло”. И они искали соответствующие инструменты

управления — идеи, которые можно было бы использовать для создания общества, обеспечивающего своим членам индивидуальную свободу и изобилие, а не моральный и материальный крах.

Они пришли к выводу, что экономические знания как фактор успеха гораздо важнее, нежели территория, население, природные ресурсы и даже технологическое лидерство. Все дело в идеях. Как гласит известное высказывание Кейнса времен Великой депрессии, “только они и правят миром”¹. Как и Маршалл, Кейнс видел в экономике аналитический механизм, который может помочь отделить зерна опыта от плевел, и был увсерен, что экономические идеи изменили мир в большей степени, нежели паровой двигатель. Экономические истины, может быть, менее долговечны, чем математические, но экономическая теория крайне полезна, поскольку позволяет понять, что работает, а что нет, что имеет значение, а что нет. Инфляция может поднять производство в краткосрочной перспективе, но не в долгосрочной. Основным фактором повышения заработной платы и уровня жизни является повышение производительности труда. Образование и социальная защита позволяют уменьшить бедность, не провоцируя экономическую стагнацию. Для обеспечения экономической стабильности необходима устойчивая валюта, а для инноваций большое значение имеет здоровая финансовая система. Как отмечал Роберт Солоу, “вопросы постоянно меняются, и даже ответы на старые вопросы по мере развития общества постоянно меняются. Однако это не значит, что в каждый данный момент мы не знаем ничего полезного”².

Экономические бедствия — финансовая паника, гиперинфляция, депрессия, социальные конфликты и войны — всегда вызывали кризис доверия, но они никоим образом не могли остановить совокупный прирост среднего уровня жизни. Великая депрессия подвергла серьезному испытанию современную децентрализованную экономику и экономику как дисциплину. Вторая мировая война закончилась в атмо-

сфере уныния и неуверенности: экономисты-кейнсианцы ожидали наступления сумеречной эпохи стагнации, а ученики Хайека опасались победы социализма на Западе. Но вместо этого экономический рост возобновился, и уровень жизни резко возрос. Правительства добились определенных успехов в управлении экономикой. После Второй мировой войны все большая и большая часть населения мира выбиралась из крайней нищеты. Разгромленные Германия и Япония в 1950–1960-е годы, как птица Феникс, восстали из пепла. Китай начал свой потрясающий рывок примерно в 1970 году. Совсем недавно и Индия вышла из стагнации, длившейся десятилетия.

Реальность по большей части превзошла мечты. Даже Шумпетер не мог предположить, что население мира увеличится в шесть раз, став при этом в десять раз богаче. Или что доля граждан Земли, живущих в нищете, уменьшится на пять шестых. Или что к нашему времени средний китаец станет жить не хуже, чем средний англичанин в 1950 году. Только Фишер не удивился бы, узнав, что средняя продолжительность жизни теперь в два с половиной раза больше, чем в 1820 году, и продолжает расти. Примечательно, что даже Великая рецессия 2008–2009 годов, самый тяжелый экономический кризис с 1930-х, не уменьшила достигнутой производительности труда и доходов. Ожидаемая продолжительность жизни продолжала расти. Мировая финансовая система не рухнула. Второй великой депрессии не было.

Безумцы, стоявшие у власти, от кайзера до Гитлера, Сталина и Мао, неоднократно пытались (и по-прежнему пытаются) игнорировать или даже отвергать экономические истины. Но чем больше стран вырывается из нищеты и берет в свои руки собственную экономическую судьбу, тем менее убедительной становится логика диктаторов. Вместо того чтобы обогнать Запад, в 1990 году Советский Союз развалился.

Пути назад нет. Никто уже не спорит о том, нужно или не нужно управлять экономическими условиями — речь идет только о том, как лучше это делать. Отвечая на вопрос

о своих заветных надеждах на будущее, протестующие египтяне в Каире говорили об экономических улучшениях. Люди, вышедшие на улицы в Тунисе, в Сирии и других странах Ближнего Востока в 2011 году, — это последнее по времени движение граждан, которые увидели экономическое будущее, характеризующееся ростом, стабильностью и благоприятным бизнес-климатом. Стоит лишь представить себе такое будущее, и возврат к кошмару прошлого будет все менее вероятным — вплоть до невозможного.

Благодарности

Пока я занималась исследованиями и писала эту книгу, у меня накопилась масса долгов.

Более всего я в долгу перед тремя людьми, без которых “Путь к великой цели” не удалось бы ни начать, ни продолжить, ни завершить. Это мой редактор Элис Мейхью, которая терпеливо и с необыкновенной самоотверженностью объясняла мне, как превратить экономику, историю и биографию в связный рассказ; это мой агент, Кэти Роббинс, которая с обычным для нее пылом запустила весь этот проект; и моя старшая дочь Клара О’Брайен, которая помогла довести его до конца.

Многие люди и учреждения оказали моим исследованиям большую поддержку. В верхней части этого списка — Амартия Сен, Эмма Ротшильд, Эрик Маскин, Филип Гриффитс, Алан Крюгер, Орли Эшенфел и Эрик Уоннер. Я благодарю сотрудников Института перспективных исследований, фонда Рассела Сейджа, Черчилль-колледжа и Королевского колледжа в Кембридже, фонда Яддо, а также поселка художников Макдауэлл за то, что мои визиты к ним оказались вдохновляющими и продуктивными.

Кое-какие лучшие свои идеи я обрела в Колумбийской школе бизнеса у великолепного Брюса Гринвальда. Постоянным источником поддержки и мудрых советов был мой коллега, журналист Джим Стюарт. И я просто не могу в достаточной мере отблагода-

дарить своего партнера по преподаванию Эда Маккелви, который в течение последних двух лет полностью посвящал себя нашим студентам, не только для моего, но и для их блага.

Мне выпало невероятное счастье работать с замечательной командой из "Саймон энд Шустер". Особую благодарность я хочу выразить Джонатану Карпу, Ричарду Рореру, Роджеру Лабриэ, Рэйчел Бергманн, Айрин Керади, Джине ди Маша, Джону Валеру, Нэнси Инглис, Джеки Сеов, Рут Ли-Муи, Трейси Гест, Даниэль Линн, Рэйчел Андухар и невозмутимому Филу Меткалфу.

Я благодарна тем, кто дал мне интервью и предоставил источники: это Уильям Барбер, Питер Сингер, Гарольд Джеймс, Брюс Колдуэлл, Мегхнад Десаи, Марина Уитмен, Питер Догерти, Джеффри Харкорт, Прю Керр, Фрэнсис Стюарт, Фрэнсис Кернкросс, Барбара Джеффри, Датга Яяшри, Авинаш Диксит, Лоуренс Хайек, Луиджи Пазинетти, Билл Гибсон, Лори Кан-Левитт, Джим Мерлис, Ханс-Йорг Хеннске, Ханс-Йорг Клаузингер, Нильс Эрик-Салин, Джеффри Хил, семья Маргарет Пол, Гарольд Кун, Хью Меллор, Питер Песселл, Эдмунд Фелпс, Джагдиш Бхагвати, Эндрю Скалл, Рут и Карл Кейсен, Питер Беттке, Гвидо Хюльсман, Уильям Барнетт, Вернон Смит, Питер Темин, Элизабет Дарлинг, Роберт Скидельски, Эндрю Скалл, Марк Уитекер, Рэй Монк, Амартия Сен, Пол Самуэльсон, его жена Риша и давний помощник Дженис Мюррей, Роберт и Анита Саммерс, Роберт и Бобби Солоу, Милтон и Роуз Фридман, Кеннет Эрроу.

Рут Тененбаум безжалостно, но всегда доброжелательно боролась с ошибками и упущениями. Александра Сондерс, Луиза Стори, Джонаган Халл, Барри Харбо, Мелани Холландс, Рэйчел Эльбаум, Кэтрин Виетт и Тори Финкль в разные моменты обеспечили полезную помощь в исследовательской работе. Я особенно благодарна Биллу Гибсону за выявление логических и иных упущений в последних корректурах.

Большинство исследований для этой книги выполнено в архивах и библиотеках, и я хотела бы отдельно поблагодарить за доброту и квалифицированную помощь сотрудников библиотеки Маршалла, Кембриджского университета, архива Трини-

ти-колледжа, архива Королевского колледжа в Кембридже, городского архива Кембриджа, архива Гарвардского университета, архива Лондонской школы экономики, архива Массачусетского технологического института и архива Гуверовского института. Естественно, моя благодарность распространяется на создателей библиотек *Google Books*, *JSTOR*, *Lexis-Nexis*, Архива Маркса и Энгельса и других многочисленных онлайн-архивов и библиотек, которые произвели революцию в исторических исследованиях.

И наконец, как всегда, я благодарю моих детей Клару, Лили и Джека и моих дорогих друзей. Они-то знают, что все дело в путешествии... и в спутниках.

Ссылки на источники

При подготовке этой книги я просматривала и читала сотни увлекательных и информативных работ, посвященных биографиям, истории и экономике. Но в своей работе я в первую очередь полагалась на факты, идеи и толкования, почерпнутые из перечисленных ниже книг.

ВСТУПЛЕНИЕ: CLAIRE TOMALIN, *JANE AUSTEN: A Life*, (New York: Knopf, 1997); GREGORY CLARK, *A Farewell to Alms: A Brief Economic History of Modern Britain* (Princeton: Princeton University Press, 2009); BRADFORD DELONG, unpublished economic history of the twentieth century; HAROLD PERKIN, *The Origins of Modern British Society* (London: Routledge, 1990); ANGUS MADDISON, *The World Economy: A Millennial Perspective* (Paris: OECD Publishing, 2006) and *The World Economy: Historical Statistics* (Paris: OECD Publishing, 2006); MARK BLAUG, *Economic Theory in Retrospect* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983); T. W. HUTCHISON, *A Review of Economic Doctrines 1870–1939* (London: Clarendon Press, 1966); W. W. ROSTOW, *Theorists of Economic Growth from David Hume to the Present* (Oxford: Oxford University Press, 1992); NIALL FERGUSON, *Cash Nexus* (New York: Basic Books, 2001).

АКТ ПЕРВЫЙ

ПРОЛОГ: KITSON CLARK, *Hunger and Politics in 1842* (Journal of Modern History, 24, no. 4 (December, 1953)); JAMES P. HENDERSON, "Politi-

cal Economy Is a Mere Skeleton Unless...”: *What Can Social Economists Learn from Charles Dickens* (Review of *Social Economy*, 58, no. 2 (June, 2000)); MICHAEL SLATER, *Charles Dickens* (New Haven: Yale University Press, 2009).

ГЛАВА I: DAVID MCLELLAN, KARL MARX: *Interviews and Recollections* (New York: Barnes & Noble, 1981); GUSTAV MAYER, FRIEDRICH ENGELS: *A Biography* (Berlin: H. Fertig, 1969); STEVE MARCUS, ENGELS, *Manchester and the Working Class* (New York: Norton, 1974); GERTRUDE HIMMELFARB, *The Idea of Poverty: England in the Early Industrial Age* (New York: Alfred A. Knopf, 1984) and *Poverty and Compassion: The Moral Imagination of the Late Victorians* (New York: Random House, 1991); DAVID MCLELLAN, KARL MARX: *His Life and Thought* (London: Macmillan, 1973); ISAIAH BERLIN, KARL MARX: *His Life and Environment* (London: Thornton Butterworth, 1939); FRANCIS WHEEN, KARL MARX: *A Life* (New York: W.W. Norton & Co., 1999); DIRK STRUIK, *Birth of the Communist Manifesto* (New York: International Publishers, 1986); ANNE HUMPHEREYS, *Travels into the Poor Man's Country: The Work of Henry Mayhew* (Athens: University of Georgia Press, 1977); FRANCIS SHEPPARD, *London 1808–1870: The Infernal Wen* (London: Seeker and Warburg, 1971); ASA BRIGGS, *Victorian Cities* (Berkeley: University of California Press, 1993); GARETH STEDMAN JONES, *Outcast London* (London: Penguin Books, 1982).

ГЛАВА II: MARY PALEY MARSHALL, *What I Remember* (Cambridge: Cambridge University Press, 1947); J. M. KEYNES, *Alfred Marshall 1842–1924*, in Arthur Pigou, ed., *Memorials of Alfred Marshall* (London: MacMillan, 1925); GERTRUDE HIMMELFARB, *Poverty and Compassion: The Moral Imagination of the Late Victorians* (New York: Alfred A. Knopf, 1991); PETER GROENEWEGEN, *A Soaring Eagle: Alfred Marshall 1842–1924* (London: E. Elgar, 1995); MARK WHITAKER, *Early Economic Writings of Alfred Marshall*, Vols. 1–2 (London: The Royal Economic Society, 1975); MARK WHITAKER, *The Correspondence of Alfred Marshall*, Vols. 1–3 (Cambridge: Cambridge University Press, 1996); TIZZIANO RAFFAELI, EUGENIO F. BIAGINI, RITA MCWILLIAMS TULLBERG, eds., *Alfred Marshall's Lectures to Women: Some Economic Questions Directly Connected to the Welfare of the Laborer* (Aldershot, UK: Edward Elgar Publishing Company, 1995).

ГЛАВА III: BARBARA CAINE, *Destined to Be Wives: The Sisters of Beatrice Webb* (Oxford: Clarendon Press, 1986); CAROLE SEYMOUR JONES, BEATRICE WEBB: *Woman of Conflict* (Chicago: Ivan R. Dee, 1992); ROYDEN HARRISON, *The Life and Times of Sidney and Beatrice Webb: The Formative Years, 1858–1903* (London: Palgrave, 1999); KITTY MUGGERIDGE and RUTH ADAM, *Beatrice Webb: A Life, 1858–1943* (New York: Alfred A. Knopf, 1968); MARGARET COLE, *Beatrice Webb* (New York: Harcourt Brace, 1946); MICHAEL HOLROYD, *Bernard Shaw* (London: Chatto and Windus, 1997); WILLIAM MANCHESTER, *The Last Lion: Winston Spencer Churchill: Visions of Glory, 1874–1932* (New York: Little Brown, 1983); GERTRUDE HIMMELFARB, *Poverty and Compassion: The Moral Imagination of the Late Victorians* (New York: Random House, 1991); ELIE HALEVY, *A History of the English People in the Nineteenth Century*, Vol. 6, *The Rule of Democracy (1905–1914)*, (London: Ernest Benn Ltd., 1952); JEANNE and NORMAN MACKENZIE, *The Diary of Beatrice Webb*, vols. 1–4 (London: Virago, 1984); NORMAN MACKENZIE, *The Letters of Sidney and Beatrice Webb*, vols. 1–3 (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).

ГЛАВА IV: MURIEL RUKEYSER, *Willard Gibbs* (New York: Doubleday, Doran and Co., 1942), William J. Barber, ed., *The Works of Irving Fisher*, vols. 1–17 (London: Pickering and Chatto, 1997); IRVING NORTON FISHER, *My Father: Irving Fisher* (New York: Comect Press, 1956); MURIEL RUKEYSER, *Willard Gibbs: American Genius* (New York: Doubleday, Doran and Co., 1942); ROBERT LORING ALLEN, *Irving Fisher: A Biography* (Cambridge: Blackwell Publishers, 1993); RICHARD HOFSTADTER, *The Age of Reform: From Bryan to FDR and Social Darwinism in American Thought* (New York: George Braziller, Inc., 1969); JEREMY ATTACK and PETER PASSELL, *A New Economic View of American History* (New York: W.W Norton, 1994); PERRY MEHRLING, “Love and Death: The Wealth of Irving Fisher,” *Research in the History of Economic Thought and Methodology*, Warren J. Samuels and Jeff E. Biddle, eds. (Amsterdam: Elsevier Science, 2001; New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1992), 47–61.

ГЛАВА V: SEYMOUR HARRIS, JOSEPH SCHUMPETER: *Social Scientist* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1951); WOLFGANG F. STOLPER, JOSEPH ALOIS SCHUMPETER: *The Public Life of a Private Man* (Princeton: Princeton University Press, 1994); ROBERT LORING ALLEN, *Opening Doors: The Life and Works of Joseph Schumpeter*, vol. I (New Brunswick: Transaction Publishers, 1991); RICHARD

SWEDBERG, JOSEPH A. SCHUMPETER: *His Life and Work* (Cambridge, UK: Polity Press, 1991); THOMAS K. MCCRAW, *Prophet of Innovation: Joseph Schumpeter and Creative Destruction* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2007); CHARLES A. GULIK, *Austria from Habsburg to Hitler*, vol. I (Berkeley: University of California Press, 1948); DAVID F. GOOD, *The Economic Rise of the Hapsburg Empire 1750–1914* (Berkeley: University of California Press, 1990); JOSEPH SCHUMPETER, *History of Economic Analysis* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1954).

АКТ ВТОРОЙ

ПРОЛОГ: CHARLES JOHN HOLMES, *Self and Partners (Mostly Self): Being the Reminiscences of C. J. Holmes* (London: Macmillan, 1936); ANNE EMBERTON, *Keynes and the Degas Sale*, *History Today*, December 31, 1995; RAY MONK, LUDWIG WITTGENSTEIN: *The Duty of Genius* (New York: Penguin Books, 1991); RAY MONK, BERTRAND RUSSELL: *The Spirit of Solitude 1872–1921*, vol. I (New York: Simon & Schuster, 1996); HUGH MELLOR, FRANK RAMSEY: *Better Than the Stars* (London: BBC, 1994); HENRY ANDREWS COTTON, with a Foreword by ADOLF MEYER, *The Defective, Delinquent and Insane: The Relation of Focal Infections to Their Causation, Treatment and Prevention*, Lectures delivered at Princeton University, January 11, 13, 14, 15, 1921 (Princeton: Princeton University Press, 1922).

ГЛАВА VI: EDUARD MARZ, JOSEPH A. SCHUMPETER: *Forscher, Lehrer und Politiker*, München: R. Oldenbourg, 1983); EDUARD MARZ, *Joseph Schumpeter as Minister of Finance in X Helmut Frisch*, in *Schumpeterian Economics* (New York: Praeger, 1981); F. L. CARSTEN, *The First Austrian Republic* (Aldershot, UK: Wildwood House, 1986); F. L. CARSTEN, *Revolution in Central Europe: 1918–1919*, (Aldershot, UK: Wildwood House, 1988); DAVID FALES STRONG, *Austria (October 1918—March 1919)* (New York: CUP, 1939); NORBERT SCHAUSBERGER, *Der Griff nach Oesterreich: Der Anschluss* (Wien, Muenchen: Jugend und Volk, 1988); OTTO BAUER, *The Austrian Revolution*, (London: Parsons, 1925); EDUARD MARZ, *Austrian Banking and Financial Policy: Creditanstalt at a Turning Point, 1913–1923* (New York: St. Martin's Press, 1984); CHRISTINE KLUSACEK and KURT STIMMER, *Dokumentation zur Oesterreichische Zeitgeschichte 1918–1928* (Wien und Muenchen: Jugend und Volk, 1984); JOSEPH A. SCHUMPETER, *Auf-*

satze zur Wirtschaftspolitik, Wolfgang F. Stolper and Christian Seidl, eds. (Tuebingen: JCB Mohr, 1985); JOSEPH A. SCHUMPETER, *Politische Reden*, Seidl and Stolper, eds. (Tubingen: JCB Mohr, 1992).

ГЛАВА VII: D. E. MOGGRIDGE, ed., *The Collected Writings of John Maynard Keynes*, vols. 1–30 (London: Macmillan, 1971–1989); PAUL MANTOUX, *The Carthaginian Peace or The Economic Consequences of Mr. Keynes* (Oxford: Oxford University Press, 1946); ROBERT SKIDELSKY, JOHN MAYNARD KEYNES, Vol. 1, *Hopes Betrayed* (New York: Viking, 1986); DONALD E. MOGGRIDGE, *MAYNARD KEYNES: An Economist's Biography* (London: Routledge, 2009); MARGARET MACMILLAN, *Paris 1919: Six Months That Changed the World* (New York: Random House, 2002).

ГЛАВА VIII: PETER GAY, *Freud: A Life of Our Time* (New York: W. W. Norton, 1988); F. L. CARSTEN, *The First Austrian Republic* (Aldershot: Wildwood House, 1986); OTTO BAUER, *The Austrian Revolution* (London: Parsons, 1925); EDUARD MARZ, *Austrian Banking and Financial Policy: Creditanstalt at a Turning Point, 1913–1923* (New York: St. Martin's Press, 1984).

ГЛАВА IX: ROBERT SKIDELSKY, JOHN MAYNARD KEYNES, Vol. 2: *The Economist as Savior 1920–1937* (London: Macmillan, 1992); D. E. MOGGRIDGE, *MAYNARD KEYNES: An Economist's Biography* (London, Routledge, 1992); IRVING NORTON FISHER, *My Father: Irving Fisher* (New York: Comet Press, 1956), ROBERT LORING ALLEN, IRVING FISHER: *A Biography* (Cambridge: Blackwell Publishers, 1993); MILTON FRIEDMAN, *Money Mischief: Episodes in Monetary History* (New York: Harcourt Jovanovich Brace, 1992).

ГЛАВА X: ROBERT SKIDELSKY, JOHN MAYNARD KEYNES, Vol. II: *The Economist as Savior 1920–1937* (London: Macmillan, 1992); D. E. MOGGRIDGE, *MAYNARD KEYNES: An Economist's Biography* (London, Routledge, 1992); IRVING NORTON FISHER, *My Father: Irving Fisher* (New York: Comet Press, 1956), ROBERT LORING ALLEN, IRVING FISHER: *A Biography* (Cambridge: Blackwell Publishers, 1993); MILTON FRIEDMAN, *Money Mischief: Episodes in Monetary History* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1992).

ГЛАВА XI: NAHID ASLANBEIGUI and GUY OAKES, *The Provocative Joan Robinson: The Making of a Cambridge Economist* (Durham, N. C.: Duke

University Press, 2009); MARJORIE SHEPHERD TURNER, *Joan Robinson and the Americans* (Armonk, N. Y.: ME Sharpe, 1989).

ГЛАВА XII: ROBERT SKIDELSKY, JOHN MAYNARD KEYNES, Vol. 3: *Fighting for Freedom, 1937–1946* (New York: Viking, 2001); DAVID KENNEDY, *Freedom from Fear: The American People and in Depression and War* (Oxford: Oxford University Press, 1999); MILTON FRIEDMAN and ROSE FRIEDMAN, *Two Lucky People* (Chicago: University of Chicago Press, 1998), HERBERT STEIN, *Presidential Economics: The Making of Economic Policy from Roosevelt to Clinton* (Washington, D. C.: American Enterprise Institute, 1994); STEPHEN KRESGE and W. W. BARTLEY III, eds., *The Collected Works of F. A. Hayek, vols. 1–17* (Chicago: University of Chicago Press, 1989).

ГЛАВА XIII: SEYMOUR HARRIS, JOSEPH SCHUMPETER: *Social Scientist* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1951); WOLFGANG F. STOLPER, *Joseph Alois Schumpeter: The Public Life of a Private Man* (Princeton: Princeton University Press, 1994); ROBERT LORING ALLEN, *Opening Doors: The Life and Works of Joseph Schumpeter*, vol. I (New Brunswick: Transaction Publishers, 1991); RICHARD SWEDBERG, JOSEPH A. SCHUMPETER: *His Life and Work* (Cambridge: Polity Press, 1991); THOMAS K. MCCRAW, *Prophet of Innovation: Joseph Schumpeter and Creative Destruction* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2007).

АКТ ТРЕТИЙ

ПРОЛОГ: JAMES MCGREGOR BURNS, *Roosevelt: The Soldier of Freedom, 1940–1945* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1970).

ГЛАВА XIV: ROBERT SKIDELSKY, JOHN MAYNARD KEYNES, Vol. 3: *Fighting for Freedom* (New York, Viking, 2000).

ГЛАВА XV: ALAN EBENSTEIN, *Hayek's Journey* (Chicago: University of Chicago Press, 2005); HANS JORG HENNECKE, *Friedrich von Hayek* (Hamburg: Junius Verlag GmbH, 2010); WERNER ERHARD, *Germany's Comeback in the World Market* (New York: Macmillan, 1954).

ГЛАВА XVI: RICHARD REEVES, *President Kennedy* (New York: Simon & Schuster, 1993); HERBERT STEIN, *Presidential Economics: The Making*

of *Economic Policy from Roosevelt to Clinton* (Washington, D. C: American Enterprise Institute, 1994).

ГЛАВА XVII: JOHN LEWIS GADDIS, *The Cold War: A New History* (New York: Alfred A. Knopf, 2009); MARJORIE SHEPHERD TURNER, *Joan Robinson and the Americans* (Armonk, N. Y.: ME Sharpe, 1989).

ГЛАВА XVIII: AMARTYA SEN, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999); AMARTYA SEN, *The Idea of Justice* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2009).

ВСТУПЛЕНИЕ. ДЕВЯТЬ ДЕСЯТЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

1. JOHN KENNETH GALBRAITH, *The Affluent Society* (Boston: Houghton Mifflin, 1958).
2. EDMUND BURKE, "A Vindication of Natural Society Or, a View of the Miseries and Evil Arising to Mankind from Every Species of Artificial Society, In a Letter to Lord **** by a Late Noble Writer, 1756," *Writings and Speeches* (New York: Little Brown and Co., 1901), 59.
3. PATRICK COLQUHOUN, *A Treatise on the Wealth, Power, and Resources of the British Empire* (London: Jay Mawman, 1814 (1812)), 49.
4. JAMES HELDMAN, "How Wealthy is Mr. Darcy — Really? Pound and Dollars in the World of *Pride and Prejudice*," *Persuasions* (Jane Austen Society), 38–39.
5. Author's calculation based on data from Colquhoun, *Wealth, Power, and Resources*; Harold Perkin, *The Origins of Modern British Society* (London: Routledge), 20–21; and Roderick Floud and Paul Johnson, *Cambridge Economic History of Modern Britain* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 92.
6. Jane Austen to Cassandra Austen, Jane Austen's Letters, Deirdre le Fay, ed. (Oxford: Oxford University Press, 1995) and Anonymous, *How to Keep House! Or Comfort and Elegance on 150 to 200 a Year* (London: James Bollaert, 1835, 14th edition).
7. CLAIRE TOMALIN, *Jane Austen, A Life* (New York: Knopf, 1997).
8. BURKE, *Vindication*, 59.
9. GREGORY CLARK, *A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World* (Princeton: Princeton University Press, 2009).
10. JAMES EDWARD AUSTEN LEIGH, *A Memoir of Jane Austen* (London: Richard Bentley & Son, 1871), 13.
11. CLARK, *A Farewell to Alms*.

12. ROBERT GIFFEN, *Notes on the Progress of the Working Classes* (1883) and *Further Notes on the Progress of the Working Classes, Essays in Finance* (London: Putnam & Sons, 1886), 419.
13. BURKE, *Vindication*, 60.
14. TOMALIN, *Jane Austen*, 96.
15. PATRICK COLQUHOUN, *A Treatise on Indigence* (London: J. Hatchard, 1806).
16. LEIGH, *A Memoir of Jane Austen*, 13.
17. GIFFEN, 379.
18. ALFRED MARSHALL, *The Present Position of Economics: An Inaugural Lecture* (1885), 57.
19. JOHN MAYNARD KEYNES, *Economic Possibilities for our Grandchildren*, *Essays in Persuasion* (London: Macmillan, 1931), 344.
20. JOHN MAYNARD KEYNES, *Toast on the occasion of his retirement from the editorship of The Economic Journal*, 1945, quoted in Roy Harrod, *The Life of John Maynard Keynes* (London: Harcourt Brace, 1951), 193–94.

АКТ ПЕРВЫЙ

ПРОЛОГ: МИСТЕР СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОТИВ СКРУДЖА

1. G. KITSON CLARK, *Hunger and Politics in 1842*, *Journal of Modern History*, 24, no. 4 (December 1953), 355–74.
2. THOMAS CARLYLE, *Past and Present* (London: Chapman and Hall, 1843), 26.
3. CHARLES DICKENS, *Daily News* (London), January 21, 1846.
4. ASA BRIGGS, ed., *Chartist Studies* (London: Macmillan, 1959).
5. CARLYLE, *Past and Present*, 335.
6. Thomas Carlyle to John A. Carlyle, Chelsea, London, March 17, 1840. The Carlyle Letters Online, 2007, <http://carlyleletters.org> (accessed January 2, 2011).
7. John Stuart Mill to John Robertson, London, July 12, 1837 in *The Earlier Letters of John Stuart Mill*, vol. 1, 1812–1848, ed. Francis E. Mineka (University of Toronto Press, 1963), 343 (paraphrasing Carlyle's description of Camille Desmoulins in *The French Revolution: A History*, [1837]).
8. Quoted in Michael Slater, *Charles Dickens: A Life Defined by Writing* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2009), 143.
9. THOMAS CARLYLE, *Occasional Discourse on the Negro Question*, *Fraser's Magazine for Town and Country* 40 (February 1849), 672.
10. EDMUND BURKE, *A Vindication of Natural Society: or, a View of the Miseries and Evils Arising to Mankind from Every Species of Artificial*

- Society* (1756), Frank N. Pagano, ed. (Indianapolis: Liberty Fund, Inc., 1982), 87.
11. THOMAS ROBERT MALTHUS, *An Essay on the Principle of Population, as It Affects the Future Improvement of Society with Remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other Writers* (London: J. Johnson, 1798), 30.
 12. *Ibid.*, 139.
 13. *Ibid.*, 31.
 14. Leviticus 19:18, Romans 13:9.
 15. CHARLES DICKENS, *Oliver Twist*, vol. 1 (London: Richard Bentley, 1838), 25.
 16. NICHOLAS BAKALAR, *In Reality, Oliver's Diet Wasn't Truly Dickensian*, *New York Times*, December 29, 2008.
 17. CHARLES DICKENS, *American Notes for General Circulation*, vol. 2 (London: Chapman and Hall, 1842), 304.
 18. Charles Dickens to Dr. Southwood Smith, March 10, 1843, in *The Letters of Charles Dickens*, vol. 3, 1842–1843, eds. Madeline House, Graham Storey, Kathleen Mary Tillotson, Angus Eanon, Nina Burgis (Oxford: Oxford University Press, 2002), 461.
 19. JAMES P. HENDERSON, "Political Economy is a Mere Skeleton Unless...: What Can Social Economists Learn from Charles Dickens?," *Review of Social Economy*, 58, no. 2 (June 2000): 141–51.
 20. CHARLES DICKENS, *A Christmas Carol; in Prose: Being a Ghost Story of Christmas* (London: Chapman Hall, 1843).
 21. HENDERSON, *Political Economy*, 146.
 22. DICKENS, *A Christmas Carol*, 96.
 23. THOMAS MALTHUS, *An Essay on the Principle of Population: Or, a View of Its Past and Present Effects on Human Happiness: With an Inquiry Into Our Prospects Respecting the Future Removal or Mitigation of the Evils Which It Occasions*, 2nd ed. (London: J. Johnson, 1803), 532.
 24. DICKENS, *A Christmas Carol*, 94.
 25. MICHAEL SLATER, introduction and notes to Charles Dickens, *A Christmas Carol and Other Christmas Writings* (London: Penguin, 2003), xi.
 26. ANTHONY TROLLOPE, *The Warden* (London: Longman, Brown, Green, and Longmans, 1855), chap. 15.
 27. CHARLES DICKENS, "The Bemoaned Past," *All the Year Round: A Weekly Journal, With Which is Incorporated Household Words*, no. 161 (May 24, 1862).
 28. Sir Robert Peel to Sir James Graham, August 1842, quoted in Clark, "Hunger and Politics in 1842."

29. CHARLES DICKENS, "On Strike," *Household Words*; A Weekly Journal no. 203 (February 11, 1854).
30. *Ibid.*
31. JOSEPH A. SCHUMPETER, *The Economics and Sociology of Capitalism*, ed. Richard Swedberg (Princeton: Princeton University Press, 1991), 290. Schumpeter coined this phrase to describe Alfred Marshall's view that economics "is not a body of concrete truth, but an engine for the discovery of concrete truth." Alfred Marshall, *The Present Position of Economics: An Inaugural Lecture* (London: Macmillan and Co., 1885), 25.
32. JOHN MAYNARD KEYNES, introduction to *Cambridge Economic Handbooks*, I (London: Nesbit and Co. and Cambridge: Cambridge University Press, 1921).

ГЛАВА I

ВСЕ ТОЛЬКО ЗАРОЖДАЕТСЯ: ЭНГЕЛЬС И МАРКС В ЭПОХУ ЧУДЕС

1. WALTER BAGENOT, *Lombard Street: A Description of the Money Market* (New York: Scribner, Armstrong & Co., 1873), 20.
2. Friedrich Engels to Karl Marx, November 19, 1844, Marxists Internet Archive, www.marxists.org/archive/marx/works/1844/letters/44_11_19.htm.
3. *Ibid.*
4. Friedrich Engels to Arnold Ruge, June 15, 1844, quoted in Steven Marcus, *Engels, Manchester and the Working Class* (New York: Random House, 1976), 82.
5. FRIEDRICH ENGELS, writing as "X," four-part series on political and economic conditions in England, *Rheinische Zeitung*, December 8, 9, 10, and 25, 1842.
6. EDWIN CHADWICK, *Report on the Sanitary Condition of the Labouring Population of Great Britain* (1842).
7. FRIEDRICH ENGELS, *Rheinische Zeitung*, December 8, 1842.
8. CHARLES DICKENS, *Nicholas Nickleby*, chap. 43.
9. FRIEDRICH ENGELS, *The Condition of the Working Class in England in 1844, With a Preface Written in 1892*, trans. Florence Kelley Wischnewetzky (London: Swan Sonnenschein & Co., 1892).
10. Quoted in DAVID MCLELLAN, *Friedrich Engels* (New York: The Viking Press, 1977), 22.
11. FRIEDRICH ENGELS, "Outlines of a Critique of Political Economy," *Deutsch-Französische Jahrbücher* 1, no. 1 (February 1844).
12. KARL MARX, preface to *A Contribution to the Critique of Political Economy* (1859) in Karl Marx and Friedrich Engels, *Selected Works* (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1951).

13. KARL HEINZEN, *Erlebtes [Experiences]*, vol. 2 (Boston: 1864), 423–24.
14. ISAIAH BERLIN, *Karl Marx: His Life and Environment*, London: Thompson Butterworth, 1939), 26.
15. GEORGE BERNARD SHAW, “The Webbs,” in *Sidney and Beatrice Webb, The Truth About Soviet Russia* London: Longmans Green, (1942).
16. Arnold Ruge to Ludwig Feuerbach, May 15, 1844, in Arnold Ruge, *Briefwechsel und Tagebuchblätter aus den Jahren 1825–1880* [Correspondence and Diaries from the Years 1825–1880], vol. 1 (Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1886), 342–49.
17. Karl Marx to Arnold Ruge, July 9, 1842, in ed., *Marx/Engels Collected Works*, vol. 1, 398–91.
18. KARL MARX, “A Contribution to the Critique of Hegel’s *Philosophy of Right*,” *Deutsch-Französische Jahrbücher* 1, no. 1 (February 1844).
19. Karl Marx to Arnold Ruge, September 1843; *Deutsch-Französische Jahrbücher* 1, no. 1 (1844), www.marxists.org/archive/marx/works/1843/letters/43_09-alt.htm.
20. GERTRUDE HIMMELFARB, *The Idea of Poverty: England in the Early Industrial Age* (New York: Alfred A. Knopf, 1984), 278.
21. Friedrich Engels to Karl Marx, November 19, 1844, in *Der Briefwechsel Zwischen F. Engels und K. Marx*, vol. 1 (Stuttgart, 1913), Marxist Internet Archive, www.marxists.org/archive/marx/works/1844/letters/44_11_19.htm.
22. Friedrich Engels to Karl Marx, January 20, 1845, in *Der Briefwechsel Zwischen F. Engels und K. Marx*, vol. 1 (Stuttgart, 1913), Marxist Internet Archive, www.marxists.org/archive/marx/works/1845/letters/45_01_20.htm.
23. ENGELS, *Condition of the Working Class in England*, 296.
24. Friedrich Engels to Karl Marx, Paris, January 20, 1845. Marxist Internet Archive, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/letters/45_01_20.htm (accessed March 15, 2011).
25. KARL MARX, Preface to *Das Kapital* (1867), Friedrich Engels, ed., trans. S. Moore and E. Aveling (New York: Charles H. Kerr & Company, 1906), 14.
26. HENRY MAYHEW, letter 47, *The Morning Chronicle*, April 11, 1850. *The Morning Chronicle Survey of Labour and the Poor: The Metropolitan Districts*, vol. 4 (Sussex or London: Caliban Books, 1981), 97.
27. ASA BRIGGS, *Victorian Cities* (Berkeley: University of California Press, 1993), 311.
28. WILLIAM LUCAS SARGANT, *On the Vital Statistics of Birmingham and Seven Other Large Towns*, *Journal of the Statistical Society of London* 29, no. 1 (March 1866): 92–111.

29. ROY PORTER, *London: A Social History* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998), 187.
30. ENGELS, *Condition of the Working Class in England*, 23.
31. CHARLES DICKENS, *Dombey and Son* (London: Bradbury and Evans, 1846–1848).
32. NIALL FERGUSON, *The House of Rothschild*, vol. 1 (New York: Penguin Books, 2000), 401.
33. BAGEHOT, *Lombard Street*, 4.
34. FERGUSON, *The House of Rothschild*, vol. 12, 65.
35. PETER GEOFFREY HALL, *The Industries of London* (London: Hutchinson, 1962), 21.
36. FRANCIS SHEPPARD, *London 1808–1870: The Infernal Wen* (London: Secker and Warburg, 1971), 158–59.
37. GEORGE DODD, *Dodd's Curiosities of Industry* (Henry Lea's Publications, 1858), 158.
38. HALL, *The Industries of London*, 6.
39. HENRY MAYHEW, *The Daily Chronicle*, October 19, 1849, in *The Unknown Mayhew: Selections from the Daily Chronicle 1849–1850* (London: Penguin Books 1884), 13.
40. JOHN MAYNARD KEYNES, *The Economic Consequences of the Peace* (London: Macmillan, 1919), 9.
41. HENRY JAMES, *Essays in London and Elsewhere* (New York: Harper and Brothers, 1893), 19.
42. GEORGE AUGUSTUS SALA, *Twice Around the Clock; or the Hours of the Day and Night in London* (London: Richard Marsh, 1862), 157.
43. HENRY MAYHEW and JOHN BINNEY, *The Criminal Prisons of London and Scenes of Prison Life* (London: Griffin, Bohn and Co., 1862), 28.
44. *The Economist*, May 19, 1866.
45. HAROLD PERKIN, *The Origins of Modern English Society 1780–1880* (London: Routledge and Kegan Paul, 1969), 91. SALA, *Twice Around the Clock*, 157.
46. MAYHEW and BINNEY, *The Criminal Prisons of London*, 28.
47. *Ibid.*, 32.
48. HENRY JAMES, *London*, Century Illustrated Magazine, December 1888, 228.
49. CHARLES DICKENS, *Bleak House* (London: Chapman and Hall, 1853), 1.
50. Friedrich Engels to Karl Marx, Paris, November 23–24, 1847. Marxist Internet Archive, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/letters/44_11_19.htm (accessed March 14, 2011). FRIEDRICH ENGELS, *Introduction to English Edition of The Communist Manifesto*, (1888), in Karl Marx and Friedrich Engels, *The Communist Manifesto*, Gareth Stedman Jones, ed. (London: Penguin Books, 2002).

51. DAVID MCLELLAN, *Karl Marx: His Life and Thought* (London: Macmillan, 1973), 169.
52. FRIEDRICH LESSNER, quoted in David McLellan, ed., *Karl Marx: Interviews and Recollections* (London: Barnes & Noble, 1981), 45.
53. The Rules of the Communist League, adopted by the Second Congress of the Communist League in December 1847, in Karl Marx and Friedrich Engels, *The Communist Manifesto* (London: Lawrence & Wishart, 1930).
54. FRIEDRICH ENGELS, *The Book of Revelation* (1883), in Marx and Engels on Religion (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1957), 204.
55. KARL MARX, preface to *The Poverty of Philosophy* (1847), trans. H. Quelch (Chicago: Charles H. Kerr & Company, 1920).
56. Anonymous [ROBERT CHAMBERS], *Vestiges of the Natural History of Creation* (London: John Churchill, 1844).
57. MARX and ENGELS, *Communist Manifesto*, 223.
58. FRIEDRICH ENGELS, *The English Constitution, Vorwaerts!*, no. 75 (September 1844).
59. ANGUS MADDISON, Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 1–2008 AD, www.ggd.net/maddison/.
60. MARX and ENGELS, *Communist Manifesto*, 224.
61. GREGORY CLARK, *A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World* (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2007); RODERICK FLOUD and BERNARD HARRIS, *Health, Height and Welfare: Britain 1700–1800*, in *Health and Welfare During Industrialization*, eds. Richard H. Steckel and Roderick Floud (Chicago: University of Chicago Press, 1997), 91–126.
62. CHARLES H. FEINSTEIN, *Pessimism Perpetuated: Real Wages and the Standard of Living in Britain During and After the Industrial Revolution*, *Journal of Economic History* vol. 58, no. 3 (September 1998), 630.
63. THOMAS CARLYLE, *Past and Present* (London: Chapman and Hall, 1843), 4.
64. ARNOLD TOYNBEE, *Lectures on the Industrial Revolution of the Eighteenth Century in England* (London: Rivingtons, 1884), 84.
65. JOHN STUART MILL, *The Subjection of Women* (London: Longmans, Green, Reader, and Dyer, 1869), 29–30.
66. JOHN STUART MILL, *Principles of Political Economy*, vol. 2 (London: John W. Parker, 1848), 312.
67. MARX and ENGELS, *Communist Manifesto*, 233, 258.
68. MCLELLAN, *Karl Marx*, 35.
69. CHARLES DICKENS, *Perfidious Patmos*, in *Household Words; A Weekly Journal* 7, no. 155 (March 12, 1853).
70. *Times* (London), October 26, 1849.

71. ANNE HUMPHERYS, *Travels into the Poor Man's Country: The Work of Henry Mayhew* (Athens: University of Georgia Press, 1977), 203.
72. HENRY MAYHEW, *A Visit to the Cholera Districts of Bermondsey*, *The Morning Chronicle*, September 24, 1849.
73. E. P. THOMPSON and EILEEN YEO, eds., *The Unknown Mayhew* (London: The Merlin Press Ltd., 2009), 102–3.
74. *Quoted in Humpherys, Travels*, 31.
75. CHARLES DICKENS, *Oliver Twist* (London: Richard Bentley, 1838), 252.
76. GARETH STEDMAN JONES, *Outcast London: A Study in the Relationship Between Classes in Victorian Society* (New York: Penguin Books, 1984).
77. HENRY MAYHEW, letter 11, *The Morning Chronicle*, November 23, 1849.
78. *Ibid.*
79. *Ibid.*, letter 15, December 7, 1849.
80. HENRY MAYHEW, *Needlewomen Forced into Prostitution*, letter 8, *The Morning Chronicle*, November 13, 1849.
81. THOMAS CARLYLE, *The Present Time*, *Latter Day Pamphlets*, issue 9 (February 1, 1850).
82. Douglas Jerrold to Mary Cowden Clarke, February 1850.
83. HENRY MAYHEW, *London Labour and the London Poor*, no. 40, September 13, 1851.
84. JOHN STUART MILL, *The Claims of Labor*, *Edinburgh Review*, April 1845.
85. *Quoted in James Anthony Froude, Thomas Carlyle: A History of the First Forty Years of His Life (1795–1835)* (Montana: Kessinger Publishing, 2006), 298.
86. *Ibid.*, 282.
87. THOMAS CARLYLE, *Chartism*, *Latter Day Pamphlets*, London, December 1839.
88. John Stuart Mill to Macvey Napier, November 9, 1844.
89. H. G. WELLS, *Men Like Gods*, *Hearst's International* 42, no. 6 (December 1922); DAVID RICARDO, *On the Principles of Political Economy and Taxation* (London: John Murray, 1817).
90. MILL, *Principles of Political Economy*, vol. 3, ch. 1.
91. THOMAS CARLYLE, *Occasional Discourses on the Negro Question*, *Fraser's Magazine*, 1849.
92. *Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung* [Archive for the History of Socialism and the Workers' Movement] (1922), 56ff 10, *quoted in McLellan, Karl Marx*, 268–69.
93. Karl Marx to Joseph Weydemeyer, London, August 2, 1851, in Saul K. Padover, ed., *The Letters of Karl Marx* (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1979), 72–73.

94. JOHN TALLIS, *Tallis's History and Description of the Crystal Palace, and the Exhibition of the World's Industry in 1851 London and New York: John Tallis and Co.*, 1852), quoted in Jeffrey A. Auerbach, *The Great Exhibition of 1851*, (1999).
95. *The Revolutionary Movement*, *Neue Rheinische Zeitung*, no. 184, January 1, 1850.
96. *Ibid.*
97. KARL MARX and FRIEDRICH ENGELS, *Neue Rheinische Zeitung*, May—October, 1850.
98. MARX and ENGELS, *Communist Manifesto*, chap. 1.
99. Karl Marx to Ludwig Kugelmann, December 28, 1862.
100. *Ibid.*
101. MARX and ENGELS, *Communist Manifesto*, chap. 1.
102. MARX, *Das Kapital*, 671.
103. JOHN STUART MILL, *Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy* (London, 1844), 94.
104. MARK BLAUG, *Economic Theory in Retrospect* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997).
105. MARX, *Das Kapital*, 711.
106. ROBERT GIFFEN, *The Recent Rate of Material Progress in England*, Opening Address to the Economic Science and Statistics Section of the British Association (London: George Bell and Sons, 1887), 3.
107. R. DUDLEY BAXTER, *National Income, the United Kingdom* (London: Macmillan, 1868), B1.
108. E. J. HOBBSBAWM, *The Standard of Living During the Industrial Revolution: A Discussion*, *Economic History Review*, New Series, vol. 16, no. 1 (1963), 119–34.
109. CHARLES H. FEINSTEIN, *Pessimism Perpetuated: Real Wages and the Standard of Living in Britain During and After the Industrial Revolution*, *Journal of Economic History* 58, no. 3, 625–58.
110. GARETH STEDMAN JONES, introduction to *Marx and Engels, Communist Manifesto*.
111. MARX, *Das Kapital*, 264–65, note 3.
112. EGON ERWIN KISCH, *Karl Marx in Karlsbad* (Weimar, Germany: Aufbau Verlag, 1968); Saul Kussiel Padover, *Karl Marx: An Intimate Biography* (New York: McGraw-Hill, 1978).
113. Karl Marx to Friedrich Engels, July 22, 1859. Reviews appeared in *Das Volk*, no. 14, August 6, 1859, and no. 16, August 20, 1859.
114. BERLIN, *Karl Marx*, 13.
115. *Ibid.*
116. KARL MARX, *The Right of Inheritance*, August 2 and 3, 1869, endorsed by the General Council on August 3, 1869. Marxist Internet Archive,

www.marxists.org/archive/marx/iwma/documents/1869/inheritance-report.htm.

117. Karl Marx to Eleanor Marx, quoted in McLellan, Karl Marx, 334.
118. Karl Marx to Ludwig Kugelmann, December 28, 1862.
119. FYODOR DOSTOYEVSKY, *Winter Notes on Summer Impressions* (Illinois: Northwestern University Press, 1988).
120. Author's calculation.
121. The Bankers Magazine, vol. 26 (1886), 639; Illustrated London News, May 19, 1866; Times (London), May 12, 1866.
122. New York Times, May 26, 1866.
123. SIDNEY POLLARD and PAUL ROBERTSON, *The British Shipbuilding Industry, 1870–1914* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1999), 77–79.
124. MARX, *Das Kapital*, 733–34.
125. J. H. CLAPHAM, *An Economic History of Modern Britain*, vol. 3, *Machines and National Rivalries* (1887–1914) with an Epilogue (1914–1929) (Cambridge: Cambridge University Press, 1932), 117.
126. Karl Marx to Friedrich Engels, April 6, 1866.
127. Friedrich Engels to Karl Marx, May 1, 1866.
128. Karl Marx to Friedrich Engels, July 7, 1866.
129. MARX, *Das Kapital*, 715.
130. WILLIAM GLADSTONE, *Budget Speech of 1863, House of Commons*, Times (London), April 16, 1863.
131. HONORE DE BALZAC, *The Unknown Masterpiece* (1845), www.gutenberg.org/files/23060/23060-h/23060-h.htm.
132. JOHN MAYNARD KEYNES, *Essays in Persuasion* (W.W. Norton and Co., 1963), 300.

ГЛАВА II

НЕЛЬЗЯ ЛИ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ПРОЛЕТАРИАТА?

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ МАРШАЛЛА

1. RALPH WALDO EMERSON, *Ode, Inscribed to William H. Channing*, in *Poems* (London: Chapman Bros., 1847).
2. ALFRED MARSHALL, *Speech to the Cambridge University Senate*, in John K. Whitaker, ed., *The Correspondence of Alfred Marshall*, vol. 3, *Towards the Close, 1903–1924* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 399.
3. Morning Star, quoted in Karl Marx, *Das Kapital* (1867), Modern Library edition. 734; W. D. B., *Distress in Poplar*, letter to the editor, The Times (London), January 12, 1867; *Able-Bodied Poor Breaking Stones for Roads*,

- Bethnel Green London*, Illustrated London News, February 15 (or 16?); *The Distress at the East End: A Soup Kitchen in Ratcliff Highway*, Illustrated London News, February 16, 1867; *The Distress at the East End: A Soup Kitchen in Ratcliff Highway*," Illustrated London News, February 16, 1867.
4. SARA HORRELL and JANE HUMPHRIES, *Old Questions, New Data, and Alternative Perspectives: Families' Living Standards in the Industrial Revolution*, Journal of Economic History 52, no. 4 (December 1992): 849–80.
 5. Florence Nightingale to Charles Bracebridge, January 1867, in Lynn McDonald, ed., *The Collected Works of Florence Nightingale*, vol. 6, *Florence Nightingale on Public Health Care* (Ontario: Wilfred Laurier University Press, 2002).
 6. FRANCIS SHEPPARD, *London: 1808–1870* (London: Secker & Warburg, 1971), 340.
 7. Times (London) May 6, 1867.
 8. ROBERT GIFFEN, *Proceedings of the Statistical Society*, Journal of the Statistical Society of London 30, no. 4 (December 1867), 564–65.
 9. HENRY FAWCETT, *Pauperism: Its Causes and Remedies* (London: Macmillan, 1871), 1–2.
 10. EDWARD DENISON, *A Brief Record: Being Selections from Letters and Other Writings of Edward Denison*, ed. Sir Bryan Baldwin Leighton (London: E. Barrett and Sons, 1871), 46.
 11. ALFRED MARSHALL, in *John Maynard Keynes*, "Alfred Marshall, 1842–1924," in Arthur Pigou, ed., *Memorials of Alfred Marshall* (London: Macmillan, 1925), 358.
 12. ALFRED MARSHALL, "Lecture Outlines," in Tiziano Raffaelli, Eugenio F. Biagini, Rita McWilliams Tullberg, eds., *Alfred Marshall's Lectures to Women: Some Economic Questions Directly Connected to the Welfare of the Laborer* (Aldershot, UK: Edward Elgar Publishing Company, 1995), 141.
 13. RONALD H. COASE, "Alfred Marshall's Mother and Father," and "Alfred Marshall's Family and Ancestry," in *Essays on Economics and Economists* (Chicago: University of Chicago Press), 1994.
 14. CHARLES DICKENS, *Great Expectations* (London: Chapman and Hall, 1861).
 15. The Times (London), October 8, 1859.
 16. ANTHONY TROLLOPE, *The Vicar of Bullhampton* (London: Bradbury and Evans, 1870).
 17. K. THEODORE HOPPEN, *The Mid-Victorian Generation 1846–1886* (Oxford, UK: Clarendon Press, 1998), 40.

18. ANTHONY TROLLOPE, *The Warden* (London: Longman, Brown, Green, and Longmans, 1855), 289.
19. PETER D. GROENEWEGEN, *A Soaring Eagle: Alfred Marshall: 1842–1924* (London: E. Elgar, 1995), 51.
20. DAVID MCLELLAN, *Karl Marx: His Life and Thought* (New York: Harper and Row, 1974).
21. WILLIAM DUDLEY BAXTER, *National Income: The United Kingdom* (London: Macmillan, 1868), Global Prices and Income History Website, <http://gpih.ucdavis.edu>.
22. GROENEWEGEN, *A Soaring Eagle*, 107.
23. JOHN MAYNARD KEYNES, *Alfred Marshall*, in *Essays in Biography* (New York: W. W. Norton, 1951), 126.
24. MARY PALEY MARSHALL, quoted in Keynes, “*Alfred Marshall, 1842–1924*,” 37.
25. *Ibid.*
26. GROENEWEGEN, *A Soaring Eagle*, 62.
27. LESLIE STEPHEN, *Sketches from Cambridge by a Don* (London: Macmillan and Co., 1865), 37–38.
28. Alfred Marshall to James Ward, in John King Whitaker, ed., *The Correspondence of Alfred Marshall*, vol. 2, *At the Summit, 1891–1902* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 441.
29. MARY PALEY MARSHALL, quoted in Keynes, “*Alfred Marshall, 1842–1924*,” 37.
30. ALFRED MARSHALL, “*Speech to Promote a Memorial for Henry Sidgwick*,” in Whitaker, ed., *Correspondence*, vol. 2, 441.
31. GROENEWEGEN, *A Soaring Eagle*, 3.
32. ALFRED MARSHALL, *preface to Money, Credit and Commerce* (London: Macmillan, 1923).
33. BEATRICE WEBB, *My Apprenticeship* (London: Macmillan, 1926).
34. Alfred Marshall to James Ward, September 23, 1900, in Whitaker, ed., *Correspondence*, vol. 2.
35. GERTRUDE HIMMELFARB, *The Politics of Democracy: The English Reform Act of 1867*, *Journal of British Studies* 6, no. 1 (November 1966): 97.
36. HENRY JAMES, *preface to The Princess Casamassima* (New York: Charles Scribner’s Sons, 1908 [1886]), vi.
37. KEYNES, *Alfred Marshall, 1842–1924*, 37.
38. Marshall to Ward, September 23, 1900.
39. HENRY SIDGWICK, *Principles of Political Economy* (London: Macmillan and Co., 1883), 4.
40. JOHN E. CAIRNES, *The Character and Logical Method of Political Economy; Being a Course of Lectures Delivered in the Hilary Term*,

- 1857 (London: Longmans, Brown, Green, Longmans and Roberts, 1857), 38.
41. JOHN RUSKIN, *Unto This Last: Four Essays in the First Principles of Political Economy* (London: Smith Elder, 1862).
 42. GERTRUDE HIMMELFARB, *The Idea of Poverty: England in the Early Industrial Age* (New York: Alfred A. Knopf, 1984).
 43. LESLIE STEPHEN, *The Life of Henry Fawcett* (London: Smith, Elder and Co., 1886), 222.
 44. RUSKIN, *Unto This Last*, 20.
 45. J. E. CAIRNES, *Some Leading Principles of Political Economy* (London: University College London, 1874), 291.
 46. JOHN STUART MILL, *Principles of Political Economy* (London: Longmans, Green and Co., 1885), 220.
 47. FRANCIS BOWEN, *The Principles of Political Economy Applied to the Condition, the Resources, and the Institutions of the American People* (Boston: Little, Brown and Co., 1859) 197.
 48. MILLICENT GARRETT FAWCETT, *Political Economy for Beginners* (London: Macmillan, 1906), 100.
 49. JOHN FRANCIS BRAY, *Labour's Wrongs and Labour's Remedy, or the Age of Might and the Age of Right* (Leeds, UK: David Green Briggate, 1839).
 50. ALFRED MARSHALL, *Alfred Marshall's Lectures to Women, Some Economic Questions Directly Connected to the Welfare of the Labourer* (Aldershot, UK: Edward Elgar, 1995), lecture 5, 119.
 51. *Ibid.*, 156.
 52. *Ibid.*, quotes from April and May 1873 notes by Mary Paley, 47, 53, and 54.
 53. JOSEPH SCHUMPETER, *The History of Economic Thought* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1954), 290.
 54. ARNOLD TOYNBEE, *Lectures on the Industrial Revolution of the Eighteenth Century in England* (London: Rivingtons, 1884) 175.
 55. MARSHALL, *Lectures to Women*. May 9, 1873.
 56. *Ibid.*
 57. MARY PALEY MARSHALL, *What I Remember*, 9.
 58. WINNIE SEEBOHM in MARTHA VICINUS, *Independent Women: Work and Community for Single Women 1850–1920* (Chicago: University of Chicago Press, 1985), 151.
 59. W. S. GILBERT and ARTHUR SULLIVAN, *Princess Ida*, 1884.
 60. MARY PALEY MARSHALL, *What I Remember*, 16.
 61. GEORGE ELIOT, *The Mill on the Floss* (London: William Blackwood and Sons, 1860).
 62. MARY PALEY MARSHALL, *What I Remember*, 20–21.

63. LORD ERNLE, *English Farming Past and Present*, 3d ed. (London: Longmans, Green and Co., 1922), 407.
64. The Cambridge Chronicle, April 11, 1874.
65. ALF PEACOCK, "Revolt of the Fields in East Anglia," *Our History* (London: Communist Party of Britain, 1968).
66. Times (London), April 13, 1874.
67. GEORGE ELIOT, *Middlemarch* (Edinburgh: William Blackwood and Son, 1874).
68. The Cambridge Chronicle, April 25, 1874, and May 8, 1874.
69. The Cambridge Independent Press, May 16, 1874.
70. ALFRED MARSHALL, *Beehive Articles*, 1874; in R. Harrison, "Two Early Articles by Alfred Marshall," *Economic Journal* 73 (September 1963): 422-30.
71. ALFRED MARSHALL, quoted in The Cambridge Independent Press, May 16, 1874.
72. Alfred Marshall to Rebecca Marshall, Niagara Falls, July 10, 1875, in John K. Whitaker, ed., *The Correspondence of Alfred Marshall, Economist*, vol. 1, Climbing, 1868-1890 (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 68-70.
73. *Ibid.*, *Alfred Marshall to Rebecca Marshall, Springfield, Mass.*, June 12, 1875.
74. *Ibid.*
75. *Ibid.*, *Alfred Marshall to Rebecca Marshall, Boston*, June 20, 1875, 54.
76. *Ibid.*, *Alfred Marshall to Rebecca Marshall, Cleveland*, July 18, 1875, 71.
77. ALFRED MARSHALL, *Some Features of American Industry*, November 17, 1875, *lecture to the Cambridge Moral Sciences Club*, in John K. Whitaker, ed., *The Early Economic Writings of Alfred Marshall, 1867-1890*, vol. 2 (London: The Royal Economic Society, 1975), 369.
78. Alfred Marshall to Rebecca Marshall, Cleveland, July 18, 1875, in Whitaker, *Correspondence*, vol. 1, 72.
79. KEYNES, "Alfred Marshall: 1842-1924," *Essays in Biography* (New York: W. W. Norton and Co., 1951), 142.
80. JOHN K. WHITAKER, "The Evolution of Alfred Marshall's Economic Thought and Writings Over the Years," in Whitaker, *Early Economic Writings*, 57.
81. ALFRED MARSHALL, "Some Features of American Industry," in Whitaker, *Early Economic Writings*, 354.
82. *Reminiscences of America in 1869 by Two Englishmen* (London: Sampson, Low and Son and Marston, 1870).
83. MARY PALEY MARSHALL, *What I Remember*.
84. MARSHALL, *Some Features of American Industry*, 357.

85. Alfred Marshall to Rebecca Marshall, Lowell, Mass., and Cambridge, Mass., June 22, 1875, in Whitaker, *Correspondence*, vol. 1, 58.
86. *Reminiscences of America*, 86.
87. SAMUEL BOWLES, *The Pacific Railroad — Open: How to Go, What to See* (Boston: Fields, Osgood and Co., 1869).
88. MARSHALL, *Some Features of American Industry*, 357.
89. Alfred Marshall to Rebecca Marshall, Springfield, Mass., June 12, 1875, in Whitaker, *Correspondence*, vol. 1, 44.
90. *Reminiscences of America*, 242.
91. MARSHALL, *Some Features of American Industry*, 359.
92. ALFRED MARSHALL, *Principles of Economics* (London: Macmillan, 1890).
93. MARSHALL, *Some Features of American Industry*, 353.
94. Alfred Marshall to Rebecca Marshall, Cleveland, July 18, 1875, in Whitaker, *Correspondence*, vol. 1, 71.
95. *Ibid.*, June 5, 1875.
96. MARSHALL, *Some Features of American Industry*, 372.
97. KARL MARX, *Das Kapital* (1887), Friedrich Engels, ed., trans. S. Moore and E. Aveling (New York: Charles H. Kerr & Company, 1906), 709.
98. MARSHALL, *Some Features of American Industry*, 375.
99. Alfred Marshall to Rebecca Marshall, June 5, 1875, in Whitaker, *Correspondence*, vol. 1, 36.
100. MARY PALEY MARSHALL, *What I Remember*, 19.
101. PHYLLIS ROSE, *Parallel Lives: Five Victorian Marriages* (New York: Alfred A. Knopf, 1983).
102. MARY PALEY MARSHALL, *What I Remember*, 23.
103. ALFRED MARSHALL, *testimony, December 1880, Governmental Committee on Intermediate and Higher Education in Wales and Monmouthshire, quoted in J.K. Whitaker, "Marshall: The Years 1877 to 1885," in History of Political Economy 4, no. 1 (Spring 1972): 6.*
104. MARY PALEY MARSHALL, *What I Remember*, 24.
105. MARION FRY PEASE, *Some Reminiscences of University College, Bristol* (University of Bristol Library, Special Collections, 1942).
106. JOHN MAYNARD KEYNES, *Mary Paley Marshall*, in *Essays in Biography*.
107. MARSHALL, in Whitaker, *Early Economic Writings*, 355.
108. ALFRED MARSHALL, *The Present Position of Economics, in Whitaker, ed., Early Economic Writings*, 51.
109. MARSHALL, *Principles of Economics*, 1.
110. MILL, *Principles of Political Economy*, vol. 2.
111. MARY PALEY MARSHALL, unpublished notes, Marshall Archive, Cambridge University.
112. CHARLES DICKENS, *Hard Times*, 1854, chap. 5.

113. MARX, *Das Kapital*, 462.
114. ALFRED MARSHALL, in *Whitaker, Correspondence*, vol. 1, 59.
115. ALFRED and MARY MARSHALL, *The Economics of Industry* (London MacMillan, 1879).
116. MARY PALEY MARSHALL, *What I Remember*, 24.
117. EDWIN CANNAN, *Alfred Marshall, 1842–1924*, *Economica* 4 (November 1924): 257–61.
118. Alfred Marshall to Macmillan, June 1878, in *Whitaker, Correspondence*, vol. 1, 97.
119. HENRY GEORGE, *Progress and Poverty* (New York: Appleton, 1879).
120. Jackson's Oxford Journal, March 15, 1884. An account of the meeting is reprinted in an appendix to George Stigler, *Three Lectures on Progress and Poverty by Alfred Marshall*, *Journal of Law and Economics* 12, no. (April 1969): 184–226.
121. *Ibid.*, 186.
122. *Ibid.*, 188.
123. *Ibid.*, 208.
124. *Ibid.*
125. *Ibid.*

ГЛАВА III

ПРОФЕССИЯ МИСС ПОТТЕР. УЭББ И ГОСУДАРСТВО-ПОПЕЧИТЕЛЬ

1. GEORGE ELIOT, *Middlemarch* (Edinburgh: William Blackwood and Son, 1874).
2. DANIEL POOL, *What Jane Austen Ate and Charles Dickens Knew...* (New York: Simon & Schuster, 1993), 50–56.
3. BEATRICE WEBB, *My Apprenticeship* (London: Longmans, Green and Co., 1926), 48.
4. MICHELLE JEAN HOPPE, *The London Season*, *Literary Liaisons*, accessed March 14, 2011, www.literary-liaisons.com/article024.html.
5. NORMAN and JEANNE MACKENZIE, eds., *The Diary of Beatrice Webb*, vol. 1, *1873–1892: Glitter Around and Darkness Within* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982), 90 (July 15, 1883).
6. *Ibid.*, 75 (February 22, 1883).
7. *Ibid.*, 76 (February 26, 1883).
8. *Ibid.*, 74 (January 2, 1883).
9. BEATRICE WEBB, *My Apprenticeship*, 157.
10. HENRY JAMES, preface to *The Portrait of a Lady* (New York: Charles Scribner's Sons, 1908).

11. Margaret Harkness to Beatrice Potter, n.d., 2/2/2 Papers of Beatrice and Sidney Webb, Passfield Archive, British Library of Political and Economic Science, London School of Economics and Political Science.
12. HENRY JAMES, *The Portrait of a Lady*, vol. 1 (London: Macmillan and Co., 1881), 193.
13. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 1, 80 (March 31, 1883).
14. *Ibid.*, 54 (July 24, 1882).
15. ELIOT, *Middlemarch*, 61.
16. BARBARA CAINE, *Destined to Be Wives: The Sisters of Beatrice Webb* (Oxford, UK: Clarendon Press, 1986), 12.
17. WEBB, *My Apprenticeship*, 39.
18. *Ibid.*, 42.
19. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 1, 4.
20. NORMAN and JEAN MACKENZIE, eds., *The Diary of Beatrice Webb*, vol. 2, 1892–1905: *All the Good Things of Life* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983), 132 (n.d. [March 1883]).
21. HERBERT SPENCER, *An Autobiography*, vol. 1 (New York: D. Appleton and Co., 1904), 298.
22. WEBB, *My Apprenticeship*, 10.
23. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 2.
24. SPENCER, *An Autobiography*, vol. 1, 298.
25. *Ibid.*
26. WEBB, *My Apprenticeship*, 10.
27. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 1, 112 (April 8, 1884).
28. *Ibid.*, 16 (March 6, 1874).
29. WEBB, *My Apprenticeship*, 25 (emphasis added).
30. KITTY MUGGERIDGE and RUTH ADAM, *Beatrice Webb: A Life, 1858–1943* (New York: Alfred A. Knopf, 1968).
31. *Ibid.*
32. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 1, 19 (September 27, 1874).
33. WEBB, *My Apprenticeship*, 56, 106, 112; *MacKenzie, Diary of Beatrice Webb*, vol. 1, 74 (January 2, 1883).
34. WEBB, *My Apprenticeship*, 112–13.
35. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 1, 77 (March 1, 1883).
36. *Ibid.*
37. *Ibid.*, 81 (March 31, 1883).
38. *Ibid.*, 88 (May 24, 1883).
39. *Ibid.*, 79 (March 24, 1883).
40. HELEN DANDY BOSANQUET, *Social Work in London, 1869–1912: A History of the Charity Organization Society* (New York: E. P. Dutton, 1914), 95.

41. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 1, 85 (May 18, 1883).
42. *Ibid.*, 89 (July 7, 1883).
43. *Ibid.*, 81 (March 31, 1883).
44. J. L. GARVIN, *The Life of Joseph Chamberlain*, vol. 1 (London: Macmillan, 1932), 202.
45. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 1, 90–91 (July 15, 1883).
46. *Ibid.*, 88 (June 3, 1883).
47. *Ibid.*, 89 (June 27, 1883).
48. *Ibid.*, 91 (July 15, 1883).
49. *Ibid.*, 111 (March 16, 1884).
50. *Ibid.*, 95 (September 22, 1883).
51. *Ibid.*, 94 (September 26, 1883).
52. *Ibid.*
53. *The Bitter Cry of Outcast London*, *The Pall Mall Gazette*, October 16, 1883 (issue 5808), 11.
54. ANDREW MEARNs, *The Bitter Cry of Outcast London: An Inquiry into the Condition of the Abject Poor* (London: James Clarke and Co., 1883), 5, 7; *Earl Grey Pamphlets Collection* (1883), Durham University Library, www.jstor.org/stable/60237726 (accessed January 13, 2011); GERTRUDE HIMMELFARB, *Poverty and Compassion: The Moral Imagination of the Late Victorians* (New York: Alfred A. Knopf, 1991).
55. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 1, 137 (August 22, 1885).
56. WEBB, *My Apprenticeship*, 150.
57. *Ibid.*, 152.
58. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 1, 101 (December 31, 1883).
59. *Ibid.*
60. *Ibid.*, 100 (December 27, 1883).
61. *Ibid.*, 102–3 (January 12, 1884).
62. *Ibid.*
63. WEBB, *My Apprenticeship*, 23.
64. TERENCE BALL, *Marx and Darwin: A Reconsideration*, *Political Theory* 7, no. 4 (November 1979), 469–83.
65. HERBERT SPENCER, *The Man Versus the State* (London: Williams and Norgate, 1884), vii.
66. ARNOLD TOYNBEE, “Progress and Poverty: A Criticism of Mr. Henry George — Mr. George in England,” London, January 18, 1883, in *Lectures on the Industrial Revolution of the 18th Century in England: Popular Addresses, Notes and Fragments by the Late Arnold Toynbee, 6th ed.* (London: Longmans, Green, and Co., 1902), 318.
67. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 1, 91 (July 15, 1883).

68. Beatrice Webb to Anna Swanwick, London, 1884 (not sent), in MacKenzie, ed., *The Letters of Sidney and Beatrice Webb*, vol. 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), 23.
69. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 1, 115 (April 22, 1884).
70. WEBB, *My Apprenticeship*, 138.
71. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 1, 105–12 (March 16, 1884).
72. JOSEPH CHAMBERLAIN, "Work for the New Parliament," *Birmingham, UK, January 5, 1885*, in *Speeches of the Right Honorable Joseph Chamberlain, M. P.*, Henry W. Lucy, ed. (London: George Routledge and Sons, 1885), 104.
73. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 1, 117 (May 9, 1884).
74. *Ibid.*, 119 (July 28, 1884).
75. *Ibid.*, (August 1, 1884).
76. WEBB, *My Apprenticeship*, 272.
77. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 1, 145 (December 19, 1885).
78. *Ibid.*, 153 (January 1, 1886).
79. *Ibid.*, 154 (February 11, 1886).
80. *London Under Mob Rule*, *New York Times*, February 8, 1886.
81. *Ibid.*
82. *Ibid.*
83. *London's Recent Rioting*, *New York Times*, February 10, 1886.
84. *The Rioting in the West-End*, *Times (London)*, February 10, 1886.
85. Queen Victoria to William Ewart Gladstone, Windsor Castle, February 11, 1886, in *The Letters of Queen Victoria; Third Series: A Selection of Her Majesty's Correspondence and Journal Between the Years 1886 and 1901*, vol. 1, George Earle Buckle, ed. (New York: Longmans, Green and Co., 1932), 52.
86. *Ibid.*
87. MARGARET HARKNESS [JOHN LAW], *Out of Work* (London: Swan Sonnenschein, 1888).
88. WEBB, *My Apprenticeship*, 273.
89. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 1, 154.
90. BEATRICE WEBB, *A Lady's View of the Unemployed at the East*, *Pall Mall Gazette*, February 18, 1886.
91. Joseph Chamberlain to Beatrice Potter, February 25, 1886, 2/1/2 Passfield Archive.
92. Joseph Chamberlain to Beatrice Potter, February 28, 1886, 2/1/2 Passfield Archive.
93. *Ibid.*
94. Beatrice Potter to Joseph Chamberlain, Bournemouth, n.d. [March 1886], in *Letters*, ed. MacKenzie, vol. 1, 53–54.

95. Joseph Chamberlain to Beatrice Potter, March 5, 1886, 2/1/2 Passfield Archive.
96. ROYDEN HARRISON, *The Life and Times of Sidney and Beatrice Webb: The Formative Years, 1858–1903* (London: Palgrave, 1999), 125.
97. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 1, 160 (April 4, 1886).
98. WEBB, *My Apprenticeship*, 212.
99. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 1, 164 (April 18, 1886).
100. CHARLES BOOTH, “*The Inhabitants of Tower Hamlets* (School Board Division), *Their Condition and Occupations*,” *Royal Statistical Society*, London, May 17, 1887, in *Journal of the Royal Statistical Society*, vol. 50 (London: Edward Stanford, 1887), 326–91.
101. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 1, 164 (April 17, 1886).
102. *Ibid.*, 173 (July 2, 1886).
103. *Ibid.*
104. *Ibid.*, 174 (July 18, 1886).
105. *Ibid.*, 213 (n.d.).
106. WEBB, *My Apprenticeship*, 300.
107. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 1, 241 (April 11, 1888).
108. BEATRICE POTTER, “*Pages from a Work-Girl’s Diary*,” *The Nineteenth Century: A Monthly Review* 24, issue 139 (September 1888): 301–14.
109. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, 249 (April 13, 1888).
110. *The Peers and the Sweaters*, *Pall Mall Gazette*, May 12, 1888.
111. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 1; 261 (September 14, 1888).
112. *Ibid.*, 264 (November 8, 1888).
113. *Ibid.*, 269 (December 29, 1888).
114. *Ibid.*, 250 (April 26, 1888).
115. *Ibid.*, 274 (March 8, 1889).
116. WEBB, *My Apprenticeship*, 341.
117. *Review of Labour and Life of the People*, ed. Charles Booth, *The Times* (London), April 15, 1889, 9.
118. WEBB, *My Apprenticeship*, 374.
119. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 1, 321 (February 1, 1890).
120. *Ibid.*, 328 (March 29, 1890).
121. *Ibid.*, 321 (February 1, 1890).
122. *Ibid.*, 310 (November 26, 1889); *Beatrice Potter to Sidney Webb* [December 7, 1890], in *Letters*, vol. 1, ed. MacKenzie, 239.
123. *LETTERS*, vol. 1, ed. MacKenzie, 70.
124. WEBB, *My Apprenticeship*, 390.
125. MUGGERIDGE and ADAM, *Beatrice Webb: A Life*, 123.
126. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 1, 184 (October 31, 1886).
127. *Ibid.*, 324 (February 14, 1890).

128. SIDNEY and BEATRICE WEBB, *The History of Trade Unionism* (London: Green and Co., 1907), 400.
129. G. M. TREVELYAN, *British History in the Nineteenth Century* (1782–1901) (London: Longmans, Green and Co., 1922), 403.
130. Sidney Webb to Edward Pease, London, in Letters, vol. 1, ed. MacKenzie, 101; Sidney Webb, *Socialism in England* (London: American Economic Association, 1889), 11, 20.
131. SIDNEY WEBB, “Historic,” in *Fabian Essays in Socialism*, ed. G. Bernard Shaw, 30–61 (London: The Fabian Society, 1889), 38.
132. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol., 322 (February 1, 1890).
133. WILLIAM HARCOURT, *Speech to the House of Commons*, August 11, 1887. *Parliamentary Debates*, 3rd series, vol. 319.
134. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, 330 (April 26, 1890).
135. Beatrice Potter to Sidney Webb, Gloucestershire, May 2, 1890, in Letters, vol. 1, ed. MacKenzie, 133.
136. *Ibid.*, *Sidney Webb to Beatrice Potter*, April 6, 1891, 269.
137. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 1, 354.
138. Beatrice Potter to Sidney Webb, Gloucestershire, in Letters, vol. 1, ed. MacKenzie, 281.
139. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 1, 357 (June 20, 1891).
140. FRIEDRICH AUGUST HAYEK, review of *Our Partnership by Beatrice Webb*, eds. Barbara Drake and Margaret I. Cole (London: Longmans, Green and Co., 1948); *Economica*, New Series 15, no. 59 (August 1948): 227–30.
141. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 1, 371 (July 23, 1892).
142. *Ibid.*, vol. 2, 37 (September 17, 1893).
143. MICHAEL HOLROYD, *Bernard Shaw: The One-Volume Definitive Edition* (London: Chatto and Windus, 1997), 164.
144. George Bernard Shaw to Archibald Henderson, June 30, 1904, in Archibald Henderson, *George Bernard Shaw: His Life and Works* (Cincinnati: Stewart and Kidd Company, 1911), 287.
145. GEORGE BERNARD SHAW, preface to *Mrs. Warren’s Profession: A Play in Four Acts* (London: Constable, 1907), xvii.
146. George Bernard Shaw to the editor of the *Daily Chronicle*, April 30, 1898, in *Bernard Shaw: Collected Letters, 1874–1897* (New York: Dodd, Meade and Company, 1965), 404.
147. H. G. WELLS, *The New Machiavelli* (New York: Duffield and Co., 1910), 194–95.
148. JAMES A. SMITH, *The Idea Brokers: Think Tanks and the Rise of the New Policy Elite* (New York: Free Press, 1991), xiii.
149. WELLS, *The New Machiavelli*, 199.

150. *Ibid.*, 197.
151. A. G. GARDINER, *The Pillars of Society* (London: James Nisbet, 1913); WELLS, *The New Machiavelli*, 195.
152. WELLS, *The New Machiavelli*, 194.
153. *Ibid.*, 190.
154. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 2, 262 (November 28, 1902), 325 (June 8, 1904).
155. GARDINER, *The Pillars of Society*, 204, 206.
156. WELLS, *The New Machiavelli*, 196.
157. RICHARD HENRY TAWNEY, *The Webbs in Perspective: The Webb Memorial Lecture Delivered 9 December 1952* (London: The Athlone Press, 1953), 4.
158. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 3, 69 (March 22, 1907).
159. WELLS, *The New Machiavelli*, 196.
160. WELLS, *The New Machiavelli*, 191.
161. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, 287 (July 8, 1903).
162. *Ibid.*, 321 (May 2, 1904), 326–27 (June 10, 1904).
163. ELIE HALEVY, *A History of the English People in the Nineteenth Century*, vol. 6, *The Rule of Democracy* (1905–1914), 2nd ed. (London: Ernest Benn Limited, 1952), 267.
164. EDWARD MARSH, *A Number of People: A Book of Reminiscences* (New York: Harper and Brothers, 1939), 163; WINSTON CHURCHILL and HENRY WILLIAM MASSINGHAM, introduction to *Liberalism and the Social Problem: A Collection of Early Speeches as a Member of Parliament* (London: Hodder and Stoughton, 1909).
165. WINSTON S. CHURCHILL, “H. G. Wells,” in *The Collected Essays of Sir Winston Churchill*, vol. 3, *Churchill and People*, ed. Michael Wolff (London: Library of Imperial History, 1976), 52–53.
166. MARSH, *A Number of People*, 150.
167. WILLIAM MANCHESTER, *The Last Lion: Winston Spencer Churchill, Visions of Glory* (1874–1932) (Boston: Little, Brown and Company, 1983), 403.
168. PETER DE MENDELSSOHN, *The Age of Churchill*, vol. 1, *Heritage and Adventure, 1874–1911* (New York: Alfred A. Knopf, 1961), 365.
169. *Never Give In! The Best of Winston Churchill's Speeches*, Winston S. Churchill, ed. (New York: Hyperion, 2003), 25.
170. BEATRICE WEBB, *Our Partnership*, eds. Barbara Drake and Margaret I. Cole (London: Longmans, Green and Co., 1948), 149.
171. SIDNEY and BEATRICE WEBB, *Industrial Democracy*, vol. 2 (London: Longmans, Green, and Co., 1897), 767.
172. SIDNEY and BEATRICE WEBB, *The Prevention of Destitution* (London: Longmans, Green and Co., 1911), 1.
173. *Ibid.*, 17, 97.

174. *Ibid.*, 5.
175. *Ibid.*, 90.
176. *Ibid.*, 285.
177. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 3, 95 (July 27, 1908).
178. WEBB, *Our Partnership*, 481–82.
179. GEORGE BERNARD SHAW, *Review of the Minority Report*, quoted in *Holroyd, Bernard Shaw*, 398.
180. WEBB, *Our Partnership*, 481–92.
181. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, February 10, 1908.
182. *Ibid.*, October 16, 1908.
183. *Ibid.*, April 18/20, 1908.
184. JOHN GRIGG, *Lloyd George: The People's Champion, 1902–1911* (London: Eyre Methuen, 1978), 100.
185. Charles Frederick Gurney Masterman to Lucy Blanche Masterman, February 1908.
186. ROY JENKINS, *Churchill: A Biography* (London: Hill and Wang, 2001), 143–44.
187. Winston S. Churchill to H. H. Asquith, March 14, 1908, quoted in Martin Gilbert, *Churchill: A Life* (New York: Henry Holt and Company, 1991), 193.
188. Churchill to Asquith, December 29, 1908.
189. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 3, 100 (October 16, 1908), 118 (June 18, 1909).
190. *Ibid.*, June 18, 1909.
191. *Ibid.*, vol. 3, 90 (March 11, 1908).
192. MANCHESTER, *The Last Lion*, 371.
193. HIMMELFARB, *Poverty and Compassion*, 378.
194. BARON WILLIAM HENRY BEVERIDGE, *Power and Influence* (London: Hodder and Stoughton, 1953), 86.

ГЛАВА IV

ЗОЛОТОЙ КРЕСТ. ФИШЕР И ИЛЛЮЗИЯ ДЕНЕГ

1. DAVID A. SHANNON, ed., *Beatrice Webb's American Diary* (Madison: The University of Wisconsin Press, 1963), 72. Remark made by Professor H. Morse Stephens to Beatrice Webb during a tour of Cornell University in May 1898.
2. NORMAN and JEANNE MACKENZIE, eds., *The Diary of Beatrice Webb*, vol. 2, 1892–1905: *All the Good Things of Life* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983), 137.

3. BEATRICE WEBB, *Our Partnership* (London: Longmans, Green and Co., 1948), 146.
4. NIALL FERGUSON, *Empire: The Rise and Demise of the British World Order* (New York: Basic Books, 2004), 242.
5. See, for example, the following articles in *The Manchester Guardian*: "An American Invasion," June 21, 1871 (rumors of Susan B. Anthony's trip to Ireland with the American Woman's Rights League); "From Our London Correspondent," October 21, 1890 (American girls invade the market for Britain's eligible noblemen); "Cycling Notes," October 29, 1894 (American-made bicycles threaten to dominate the British market); "By-ways of Manchester Life, XI. An American Invasion," April 9, 1898 (American firm builds a grain elevator on the Manchester Ship Canal).
6. FREDERICK ARTHUR MCKENZIE, *The American Invaders: Their Plans, Tactics and Progress* (London: Grant Richards, 1902), 142–43.
7. WILLIAM EWART GLADSTONE, *Gleanings of Past Years*, vol. I, 1843–78: *The Throne and the Prince Consort; The Cabinet and the Constitution* (London: John Murray, 1879), 206.
8. ANGUS MADDISON, *The World Economy: A Millennial Perspective* (Paris: OECD, 2001), 265.
9. FERGUSON, *Empire*, 242.
10. DUDLEY BAINES, *Migration in a Mature Economy: Emigration and Internal Migration in England* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 63, table 3.3.
11. WILLIAM EWART GLADSTONE, "Free Trade" in Gladstone et. al., *Both Sides of the Tariff Question by the World's Leading Men* (New York: Alonzo Peniston, 1890), 44.
12. JEREMY ATTACK and PETER PASSELL, *A New Economic View of American History from Colonial Times to 1940* (New York: W. W. Norton, 1994), 468.
13. SHANNON, *American Diary*, 27 (April 12, 1898).
14. *Ibid.*, 136 (July 2–7, 1898).
15. *Ibid.*, 137–50 (July 2–7 and July 10, 1898).
16. *Ibid.*, 89, 90–91 (May 24, 1898), and 92–93 (May 29, 1898).
17. Beatrice Webb to Catherine Courtney, Chicago, May 29, 1898, in Norman McKenzie, ed., *The Letters of Sidney and Beatrice Webb*, vol. 2, *Partnership: 1892–1912* (Cambridge: Cambridge University Press, 1978).
18. NORMAN and JEAN MACKENZIE, eds., *The Diary of Beatrice Webb*, vol. 2, 1892–1905: *All the Good Things of Life* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983), 159 (May 16, 1889); Charles Philip Trevelyan to Beatrice Webb, Chicago, April 19, 1898, quoted in Shannon, *American Diary*, 88, note 4.

19. SHANNON, *American Diary*, 60 (April 29, 1898), 10 (April 1, 1898), May 24, 1898, and 68 (May 7, 1898).
20. MILTON FRIEDMAN, *Money Mischief: Episodes in Monetary History* (New York: Harcourt Brace Jovanovich 1992), 37.
21. HENRY JAMES, *The Ambassadors* (New York: Harper and Brothers Publishers, 1903), 257.
22. Alfred Marshall to Rebecca Marshall, St. Louis, August 22, 1875, in John K. Whitaker, ed., *The Correspondence of Alfred Marshall, Economist*, vol. 1, *Climbing, 1868–1890* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 73.
23. HENRY SEIDEL CANBY, *Alma Mater: The Gothic Age of the American College* (New York: Farrar Reinhart, 1936), 71, 32.
24. IRVING NORTON FISHER, *My Father: Irving Fisher* (New York: Comet Press, 1956), 21, 26–27, 29–30, 33.
25. MURIEL RUKEYSER, *Willard Gibbs: American Genius* (New York: Doubleday, Doran and Co., 1942), 158.
26. EDWARD BELLAMY, *Looking Backward: 2000–1887* (London: George Routledge and Sons, 1887).
27. RUKEYSER, *Willard Gibbs*, 146.
28. *Ibid.*, 231.
29. PAUL A. SAMUELSON, “*Economic Theory and Mathematics — An Appraisal*,” in Joseph E. Stiglitz, ed., *The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson*, vol. 2 (Cambridge, Mass.: The M. I. T. Press, 1966), 1751.
30. Irving Fisher to William G. Eliot, Jr., Berlin, N. J., May 29, 1886, in Irving Norton Fisher, *My Father*, 25–26.
31. Irving Fisher to Will Eliot, Fisher to Eliot, Jr., Pittsfield, Mass., July 25, 1886, in Irving Norton Fisher, *My Father*, 26.
32. ARTHUR TWINING HADLEY, *Economics: An Account of the Relations Between Private Property and Public Welfare* (New York: G. P. Putnam’s Sons, 1896), iv.
33. RICHARD HOFSTADTER, *Social Darwinism in American Thought* (New York: George Braziller, Inc., 1959), 8.
34. ALBERT GALLOWAY KELLER, introduction to *War and Other Essays* by William Graham Sumner, Keller, ed. (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1911), xx, xxiv; Hofstadter, *Social Darwinism*, 51.
35. Fisher to Eliot, Peace Dale, R. I., September 1892, in Irving Norton Fisher, *My Father*, 52.
36. William James to Thomas W Ward, Berlin, n.d. [November 1867], in Henry James, ed., *The Letters of William James*, vol. 1 (Boston: Atlanta Monthly Press, 1920), 118.

37. IRVING FISHER, "Mathematical Investigations in the Theory of Value and Prices (April 27, 1892)," in William J. Barber, ed., *The Works of Irving Fisher*, vol. 1 (London: Pickering and Chatto, 1997), 162.
38. *Ibid.*, 68.
39. *Ibid.*, 145.
40. *Ibid.*, 4.
41. FRANCIS YSIDRO EDGEWORTH, review of *Mathematical Investigations in the Theory of Value and Prices* by Irving Fisher, *Economic Journal*, vol. 3, no. 9 (March 1893), 112.
42. ALFRED MARSHALL, *Principles of Economics*, 3rd ed. (London: Macmillan, 1895), 450, 148 (note 1).
43. BARBARA W. TUCHMAN, *The Proud Tower: A Portrait of the World Before the War, 1890–1914* (New York: Macmillan and Co., 1966).
44. NARRAGANSETT TIMES, June 23, 1893, quoted in Irving Norton Fisher, *My Father*, 60.
45. New York Times wedding announcement, June 18, 1893.
46. DANIEL T. ROGERS, *Atlantic Crossings: Social Politics in a Progressive Age* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998).
47. Irving Fisher to Ella Wescott Fisher.
48. FISHER, Jr. *My Father*, 69.
49. DOUGLAS STEEPLES and DAVID O. WHITTEN, *Democracy in Desperation: The Depression of 1893* (New York: Greenwood, 1998).
50. REVEREND T. DE WITT TALMAGE, *sermon delivered in Washington on September 27, 1896, quoted in William Jennings Bryan, The First Battle: A Story of the Campaign of 1896* (Chicago: W.B. Conkey Company, 1896), 474.
51. ALBRO MARTIN, *James J. Hill and the Opening of the Northwest* (Minneapolis: Minnesota Historical Society Press, 1975), 428.
52. BRYANT, *The First Battle*, 439.
53. PAXTON HIBBEN and CHARLES A. BEARD, *The Peerless Leader: William Jennings Bryan* (Whitefish, MT: Kessinger Publishing, 2004), 189.
54. BRYAN, *The First Battle*, 485–86.
55. *Ibid.*
56. *Ibid.*
57. *Bryan's Backers Are Shy*, New York Times, September 27, 1896; CANBY, *Alma Matter*, 27; MARTIN L. FAUSOLD, JAMES W. WADSWORTH, Jr.: *The Gentleman from New York* (Syracuse, N. Y.: Syracuse University Press, 1975), 17.
58. *Yale Would Not Listen*, New York Times, September 25, 1896, 15.
59. Fisher to Eliot, summer 1895, quoted in Irving Norton Fisher, *My Father*, 71.

60. Fisher to Eliot, July 29, 1895, quoted in Barber, *Works of Irving Fisher*, 10.
61. Fisher to Eliot, summer 1895, quoted in Irving Norton Fisher, *My Father*, 71.
62. Fisher to Eliot, New Haven, November 1865, quoted in Irving Norton Fisher, *My Father*, 71.
63. WILLIAM GRAHAM SUMNER, *The Absurd Effort to Make the World Over, in Keller, War, and Other Essays*, 195–210.
64. Fisher to Eliot, summer 1895, quoted in Irving Norton Fisher, *My Father*, 71.
65. IRVING FISHER, *The Mechanics of Bimetallism*, *Economic Journal*, 4 (September 1894), 527–36; *Irving Norton Fisher, My Father*, 187.
66. HAROLD JAMES, *The End of Globalization: Lessons from the Great Depression* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2001), 24–25.
67. WALTER BAGEHOT, *Lombard Street: A Description of the Money Market* (New York: Scribner, Armstrong, 1873), 123.
68. FISHER, *Mathematical Investigations*, in Barber, *Works of Irving Fisher*, 147.
69. KATHERINE OTT, *Fevered Lives: Tuberculosis in American Culture Since 1870* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996), 113.
70. *Ibid.*, 79.
71. IRVING FISHER, May 1901, “Self Control,” a talk given at the Thacher School in Ojai, California, a high school founded by William L. Thacher.
72. Fisher to Eliot, Saranac, December 11, 1898, in Irving Norton Fisher, *My Father*, 75.
73. Fisher to Margaret Hazard Fisher, Battle Creek, Michigan, December 31, 1904, in *ibid.*, 108.
74. IRVING FISHER, *Memorial Relating to the Conservation of Human Life*, S.Doc. No. 493, at 7–8 (1912).
75. IRVING FISHER, *Why Has the Doctrine of Laissez Faire Been Abandoned?* Address at the Fifty-fifth Annual Meeting of the American Association for the Advancement of Science, New Orleans, December 1905–January 1906.
76. PERRY MEHRLING, *Love and Death: The Wealth of Irving Fisher*, in Warren J. Samuels and Jeff E. Biddle, eds., *Research in the History of Economic Thought and Methodology*, vol. 19 (New York: Elsevier Science BV, 2001), 47–61.
77. FISHER, *Why Has the Doctrine of Laissez Faire Been Abandoned?*
78. *Ibid.*
79. *Ibid.*
80. *Ibid.*

81. Fisher to Bert, Peace Dale, Rhode Island, January 1, 1903, in Irving Norton Fisher, *My Father*, 84–85.
82. IRVING FISHER, *The Rate of Interest: Its Nature, Determination and Relation to Economic Phenomena* (New York: The Macmillan Company, 1907), 326.
83. *Ibid.*, 327.
84. *Ibid.*, 288.
85. *Ibid.*

ГЛАВА V

СОЗИДАТЕЛЬНОЕ РАЗРУШЕНИЕ.

ШУМПЕТЕР И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

1. ROSA LUXEMBURG, *The Accumulation of Capital* (1913) (London: Routledge and Keegan Paul, 1951), 458.
2. National Bureau of Economic Research, UK Bank Rate, www.nber.org/databases/macroeconomichistory/rectdata/13/m13013.data.
3. FELIX SOMARY, *Erinnerungen aus Meinem Leben [Memories from My Life]* (Zurich: Manesse Verlag, 1959).
4. OSZKÄR JÄSZI, *The Dissolution of the Habsburg Monarchy* (Chicago: University of Chicago Press, 1929), 210.
5. CARL SCHORSKE, *Fin de Siècle Vienna* (New York: Knopf, 1979).
6. ERICH STREISSLER, "Schumpeter's Vienna and the Role of Credit in Innovation," in H. Frisch, ed., *Schumpeterian Economics* (New York: Praeger, 1981), 60.
7. JOSEPH ROTH, *The Radetzky March*, trans. Geoffrey Dunlop (New York: Viking, 1933), 212.
8. Opening of the International Exhibition of Electricity at Vienna, Manufacturer and Builder, vol. 15, no. 9 (September 1883), 214–15; An Electric Exhibition, *New York Times*, August 12, 1883.
9. Quoted in Roman Sandgruber, "The Electrical Century: The Beginnings of Electricity Supply in Vienna," trans. Richard Hockaday, in Mikulas Teich and Roy Porter, eds., *Fin de Siècle and Its Legacy* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1990), 42.
10. RICHARD L. RUBENSTEIN, *The Age of Triage: Fear and Hope in an Overcrowded World* (Boston: Beacon Press, 1983), 8; RAYMOND JAMES SONTAG, *Germany and England: Background of Conflict, 1848–1894* (New York: Russell & Russell, 1964), 146.
11. DAVID F. GOOD, *The Economic Rise of the Habsburg Empire, 1750–1914* (Berkeley: University of California Press, 1984), 256.

12. GOTTFRIED HABERLER, *Quarterly Journal of Economics*, vol. 64, no. 3 (August 1950), 338.
13. ARTHUR SMITHIES, *Memorial: Joseph Alois Schumpeter, 1883–1950*, *American Economic Review*, vol. 40, no. 4 (September 1950), 628–48.
14. MARCEL PROUST, *Swann's Way*, trans. C. K. Scott Moncrieff (London: Chatto and Windus, 1922), 73.
15. JOSEPH A. SCHUMPETER, Preface to the Japanese Edition of *The Theory of Economic Development*, in Schumpeter, *Essays on Entrepreneurs, Innovations, Business Cycles, and the Evolution of Capitalism*, Richard Clemence, ed. (New York: Transaction Publishers, 1951), 166.
16. ALFRED MARSHALL, *Principles of Economics*, vol. 1, 5th ed. (London: Macmillan, 1907), xxix, 820.
17. JOSEPH A. SCHUMPETER, *Review of Essays in Biography by J. M. Keynes*, *Economic Journal* 43, no. 172 (December 1933), 652–57.
18. *Wills and Bequests*, *Times* (London), January 12, 1933.
19. RICHARD SWEDBERG, "Appendix II: Schumpeter's Novel Ships in Fog (a Fragment)," in Schumpeter, a Biography (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1991), 207.
20. W. W. ROSTOW, *Theorists of Economic Growth from David Hume to the Present*, 234–35.
21. ANTHONY TROLLOPE, *The Bertrams* (London: Chapman and Hall, 1859), 465.
22. ROSA LUXEMBURG, *The Accumulation of Capital* (1913) (London: Routledge and Keegan Paul, 1951), 434.
23. Quoted in Alexander D. Noyes, *A Year After the Panic of 1907*, *Quarterly Journal of Economics* 23 (February 1909); 185–212.
24. *The Progress of the World*, *American Monthly Review of Reviews*, vol. 35, no. 1 (January 1907).
25. EVELYN BARING CROMER, *The Situation in Egypt: Address Delivered to the Eighty Club on December 15th, 1908 by the Earl of Cromer* (London: Macmillan, 1908), 9.
26. WILLIAM JENNINGS BRYAN, *The Government of Egypt Beyond Definition*, in *The Old World and Its Ways* (St. Louis: Thompson, 1907), 323.
27. *Railroad Up Cheops*, *Los Angeles Times*, February 12, 1907, II.
28. Quoted in NOYES, *A Year After the Panic*, 202.
29. *Cotton Crops and Gold in Egypt*, *New York Times*, January 5, 1908, AFR 28.
30. Harry Boyle to Lord Rennell, April 21, 1907, in Clara Boyle, *A Servant of the Empire: A Memoir of Harry Boyle with a Preface by the Earl of Cromer* (London: Methuen, 1938), 107.
31. *Egyptian Finance*, *New York Times*, December 8, 1907, 54.

32. NOYES, *A Year After the Panic*, 202–3.
33. *Ibid.*, 194.
34. DESMOND STEWART, “Herzl’s Journeys in Palestine and Egypt,” *Journal of Palestine Studies* vol. 3, no. 3 (spring, 1974), 18–38.
35. WASSILY LEONTIEF, *Joseph A. Schumpeter*, *Econometrica*, vol. 8, no. 2 (April 1950).
36. Quoted in Trevor Mostyn, *Egypt’s Belle Époque, 1869–1952: Cairo and the Age of the Hedonists* (London: Quartet Books, 1989), 154.
37. DOUGLAS SLADEN, *quoted in Max Rodenbeck, Cairo: The City Victorious* (New York: Alfred A. Knopf, 1999), 138.
38. JOSEPH A. SCHUMPETER, *Das Wesen und Hauptinhalt der Theoretischen Nationaleconomie* (Altenburg: Stefan Geibel, 1908), 621, trans. by Bruce McDaniel as *The Nature and Essence of Economic Theory* (New Brunswick, N. J.: Transaction Publishers, 2010), x.
39. *Ibid.*, 621.
40. SMITHIES, *Memorial*, 629.
41. JOSEPH A. SCHUMPETER, *The Theory of Economic Development: An Inquiry Into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle*, (1911) trans. Redvers Opie (New York: Transaction Publishers, 2004), 91.
42. *The Norton Anthology of English Literature*, vol. 2, *The Age of Victoria* (New York: Norton, 2000).
43. JOSEPH SCHUMPETER, *History of Economic Analysis* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1952), 571.
44. ALFRED MARSHALL, *The Social Possibilities of Economic Chivalry*, *Economic Journal* 17, no. 5 (March 1907); 7–29.
45. ANGUS MADDISON, *GDP per Capita in 1990 International Geary-Khamis Dollars*, *The World Economy: Historical Statistics* (Paris: OECD Publishing, 2003).
46. JEFFREY WILLIAMSON, *Real Wages and Relative Factor Prices in the Third World Before 1940: What Do They Tell Us About the Sources of Growth?* October 1998, Conference on Growth in the 19th and 20th Century: A Quantitative Economic History, December 14–15, 1998, Valencia, Spain, 37, table 2, www.economics.harvard.edu/pub/HIER/1998/1855.pdf; Michael D. Bordo, Alan M. Taylor, Jeffrey G. Williamson, *Globalization in Historical Perspective* (Chicago: University of Chicago Press, 2005), 285.
47. JOSEPH A. SCHUMPETER, *Capitalism, Socialism and Democracy*, 87.
48. KARL MARX and FRIEDRICH ENGELS, *The Communist Manifesto* (1848), trans. Samuel Moore, introduction and notes by Gareth Stedman Jones (London: Penguin Books, 1967), 222.
49. MARSHALL, *Principles*.
50. SCHUMPETER, *Theory of Economic Development*, 95.

51. BEATRICE WEBB, *My Apprenticeship* (1926) (Longmans, Green, 1950), 380.
52. SCHUMPETER, *Capitalism, Socialism and Democracy*, 132.
53. SCHUMPETER, *Theory of Economic Development*, 85.
54. SCHUMPETER, *Capitalism, Socialism and Democracy*, 132.
55. FRIEDRICH VON WIESER, *The Theory of Social Economics* (New York: Augustus M. Kelly, 1927 and 1967).
56. JOSEPH A. SCHUMPETER, *The Communist Manifesto in Sociology and Economics*, *Journal of Political Economy* (June 1949), 199–212.
57. *Ibid.*
58. DAVID LANDES, *Bankers and Pashas: International Finance and Imperialism in Egypt* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980), 57.
59. JOSEPH A. SCHUMPETER TO DAVID POTTINGER, June 4, 1934, in Swedberg, Schumpeter, 219.
60. Edwin A. Seligman, Professor of Economics at Columbia, to Nicholas Murray Butler, President of the University, October 22, 1913, quoted in Robert Loring Allen, *Opening Doors: The Life and Work of Joseph Schumpeter* (New Brunswick: Transaction Publishers, 1991), 130.

АКТ ВТОРОЙ

ПРОЛОГ: ВОЙНА МИРОВ

1. IRVING FISHER, *The Need for Health Insurance*, *American Labor Legislation Review* 7 (1917): 10.
2. NORMAN and JEANNE MACKENZIE, eds., *The Diary of Beatrice Webb* vol. 3, 1905–1924: *The Power to Alter Things* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1984), 204.
3. *Ibid.*, August 5, 1914.
4. *Ibid.*, November 4, 1918.
5. GEORGE BERNARD SHAW, *Common Sense About the War*, 1914.
6. BERTRAND RUSSELL, quoted in Niall Ferguson, *The Pity of War* (New York: Basic Books, 1999), 318.
7. ROBERT SKIDELSKY, *John Maynard Keynes: Hopes Betrayed*, vol. I (New York: Viking, 1986).
8. John Maynard Keynes to Neville Chamberlain.
9. RICHARD SHONE with DUNCAN GRANT, “*The Picture Collector*,” in *Milo Keynes, Essays on John Maynard Keynes* (Cambridge: Cambridge University Press, 1975), 283.
10. CHARLES JOHN HOLMES, *Self & Partners (Mostly Self): Being the Reminiscences of C. J. Holmes* (London: Macmillan, 1936); ANNE EMBERTON, *Keynes and the Degas Sale*, *History Today*, December 31, 1995.

11. John Maynard Keynes to Florence Keynes.
12. Vanessa Bell to Roger Fry.
13. SIGMUND FREUD, in *Peter Gay, Sigmund Freud: A Life of Our Time* (New York: W.W. Norton, 1988).
14. FRIEDRICH HAYEK, *Remembering My Cousin Ludwig Wittgenstein* (1889–1951), Encounter, August 19, 1977, 20–21, and RAY MONK, *Ludwig Wittgenstein: The Duty of Genius* (New York: Penguin Books, 1991)
15. HAYEK, *Remembering My Cousin*, 20.
16. D. H. MELLOR, *Better than Stars: Portrait of Frank Ramsey*, BBC; *D. H. Mellor* (1995), "Cambridge Philosophers, vol. I: F. P. Ramsey," *Philosophy* 70 (1995), 259.
17. *National Society to Conserve Life*, New York Times, December 30, 1913; IRVING FISHER and EUGENE LYMAN FISK, Preface to *How to Live: Rules for Healthful Living Based on Modern Science*, 2nd ed. (New York: Funk & Wagnalls Company, 1915).
18. HENRY ANDREWS COTTON, *The Defective, Delinquent, and Insane: The Relation of Focal Infections to Their Causation, Treatment, and Prevention, by Henry A. Cotton*, lectures delivered at Princeton University, January 11, 13, 14, 15, 1921, with a foreword by Adolf Meyer (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1922).
19. BETTE M. EPSTEIN, New Jersey State Archives, to author.
20. IRVING FISHER, *American Labor Legislation Review*, p. 10.
21. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 3, 324 (November 17, 1918).
22. *Ibid.*, 318 (November 11, 1918).
23. RAY MONK, *Bertrand Russell: The Spirit of Solitude 1872–1921*, Vol. I (New York: Simon & Schuster, 1996).

ГЛАВА VI

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

ШУМПЕТЕР В ВЕНЕ

1. JOSEPH A. SCHUMPETER, *Politische Reden [Political Speeches]*, Wolfgang F. Stolper and Christian Seidl, eds. (Tubingen: J. C. B. Mohr, 1992).
2. FRANCIS OPPENHEIMER, *The Stranger Within: Autobiographical Pages* (London: Faber, 1960).
3. NORMAN and JEANNE MACKENZIE, eds., *The Diary of Beatrice Webb*, vol. 3, 1905–1924 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982–84), November 11, 1918.
4. SIGMUND FREUD, quoted in *Peter Gay, Freud: A Life of Our Time* (New York: W.W. Norton and Co., 1988), 382.

5. F. L. CARSTEN, *Revolution in Central Europe: 1918–1919* (Aldershot, UK: Wildwood House, 1988), 41.
6. KARL KRAUS, *The Last Days of Mankind: A Tragedy in Five Acts* (New York: Unger, 2000).
7. EDMUND VON GLAISE-HORSTENAU, *The Armistice of Villa Giusti 1918, in The Collapse of the Austro-Hungarian Empire* (London: J. M. Dent and Sons, 1930).
8. SIGMUND FREUD, quoted in *Gay, Freud*.
9. F. O. LINDLEY, *British high commissioner*, quoted in *Carsten, Revolution in Central Europe*, 11–12.
10. FRIEDRICH WIESER, *The Fight Against Famine in Austria, in Fight the Famine Council*, International Economic Conference (London: Swarthmore Press, 1920), 53.
11. *The Memoirs of Herbert Hoover*, vol. 1, *Years of Adventure 1874–1920* (New York: Macmillan, 1951), 392.
12. *Ibid.*
13. STEFAN ZWEIG, *The World of Yesterday: An Autobiography* (Lincoln: University of Nebraska Press, 1984), 289.
14. LUDWIG VON MISES, *The Austro-Hungarian Empire*, *Encyclopedia Britannica*, 1921.
15. Quoted in *Gay, Freud*, 378.
16. FELIX SALTEN, *Florian, the Emperor's Horse* (New York: Aires Scribner Sons, 1934).
17. *Austria Willing to Pawn Anything*, *New York Times*, January 22, 1920.
18. CARSTEN, *Revolution in Central Europe*, 37.
19. JOSEPH SCHUMPETER, *Die Arbeiter Zeitung*, November 22, 1919, in *Dokumentation zur Oesterreichischen Zeitgeschichte, 1918–1928*. [*Documentation of Austrian History, 1918–1928*], eds. Christine Klusacek, Kurt Stimmer (Vienna: Jugend und Volk, 1984).
20. Sir T. MONTGOMERY-CUNINGHAME, *Dusty Measure* (London: John Murray, 1939), 309.
21. SHB to ASB, December 30, 1918, quoted in William Beveridge, *The Power and Influence*, 153.
22. KARL KAUTSKY, *The Social Revolution and On the Morrow of the Social Revolution* (London: Twentieth Century Press, 1907), part 2, 1.
23. FELIX SOMARY, *Erinnerungen aus Meinem Leben [Memories from My Life]* (Zurich: Manesse Verlag, 1955), 171.
24. EDUARD BERNSTEIN
25. OTTO BAUER, *The Austrian Revolution* (London: Parsons, 1925).
26. Albert Einstein to Hedwig and Max Born, January 15, 1919, *Albert Einstein, Collected Papers*, vol. 4.

27. JOSEPH SCHUMPETER, quoted in *Eduard Marz, Joseph A. Schumpeter: Forscher, Lehrer und Politiker [Researcher, Teacher, and Politician]* (München: R. Oldenbourg, 1983).
28. SOMARY, *Erinnerungen*, 172.
29. KARL CORINO, *Robert Musil* (Hamburg: Rowolt, 2003), 598.
30. FRIEDRICH VON WIESER, *Tagebuch Gertrud Enderle-Burcel, Staat sarchiv Wien Nachlass Wieser in the Haus-, Hof- und Staatsarchiv Extracts in Seidl, Politische Reden*, 10–12.
31. WOLFGANG F. STOLPER, *Joseph Alois Schumpeter: The Public Life of a Private Man* (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1994), 123.
32. KARL KRAUS, *Die Fackel*, April 1919.
33. JOSEPH SCHUMPETER, *Politische Reden*.
34. OTTO BAUER, *The Austrian Revolution* (London: Parsons, 1925).
35. GABOR BETONY, *Britain and Central Europe 1918–1933* (Oxford, UK: Clarendon Press, 1999), 10.
36. JOSEPH SCHUMPETER, *The Sociology of Imperialism*, in *Richard Sweds, The Economics and Sociology of Capitalism* (Princeton: Princeton University Press, 1991), 156–57.
37. JOSEPH SCHUMPETER, *Politische Reden*.
38. JOSEPH SCHUMPETER, *Politische Reden*.
39. DAVID LLOYD GEORGE, *Fontainebleau Memorandum*, March 25, 1919, www.fullbooks.com/Peaceless-Europe2.html.
40. WINSTON CHURCHILL, *House of Commons*, May 29, 1919, <http://www.winstonchurchill.org>; *Randolph Spencer Churchill and Martin Gilbert, Winston S. Churchill*, vol. 4, *The Stricken World* (New York: Houghton Mifflin, 1966), 308.
41. BAUER, *The Austrian Revolution*, 106.
42. *The Memoirs of Herbert Hoover*, vol. 1, *Years of Adventure 1874–1920* (New York: Macmillan, 1951); BAUER, *The Austrian Revolution*, 103.
43. HANS LOEWENFELD-RUSS, *Im Kampf Gegen den Hunger [In the Fight Against Hunger]* (Munich: R. Oldenbourg, 1986).
44. T. MONTGOMERY-CUNINGHAME, *Dusty Measure*, (London: John Murray, 1939).
45. ELLIS ASHMEAD-BARTLETT, *The Tragedy of Central Europe* (London: Thornton Butterworth, 1924), 159.
46. *Ibid.*
47. FRIEDRICH VON WIESER, *Tagebuch, Gertrud Enderle-Burcel, Staat sarchiv Wien Nachlass Wieser in the Haus-, Hof- und Staatsarchiv Extracts in Seidl, Politische Reden*, pp. 10–12.
48. EDUARD MARZ, *Austrian Banking and Financial Policy: Creditanstalt at a Turning Point, 1913–1923* (New York: St. Martin's Press, 1984), 333.

49. Entretien avec le DOCTEUR SCHUMPETER, *De notre envoye spécial, Vienne, Mai, Le Temps*, June 2, 1919, translated and quoted in W. F. Stolper, *Joseph Alois Schumpeter, The Public Life of a Private Man* (Princeton: Princeton University Press, 1994), 219.
50. BAUER, *The Austrian Revolution*, 110.
51. *Ibid.*, 257.
52. SCHUMPETER, *Politische Reden*.
53. *Ibid.*
54. Francis Oppenheimer to John Maynard Keynes, May 18, 1919, Kings College Archive.
55. FRANCIS OPPENHEIMER, *The Stranger Within: Autobiographical Pages* (London: Faber, 1960), 369.
56. BAUER, *The Austrian Revolution*.
57. *Ibid.*
58. JOSEPH SCHUMPETER, *Neue Freie Presse*, June 24, 1919, in *Klusacek et al., eds., Dokumentation*.
59. JOSEPH SCHUMPETER, *Neue Freie Presse*, June 28, 1919. "Es ist nicht leicht ein Volk zu vernichten. Im allgemeinen ist es sogar unmöglich. Hier haben wir aber einen der seltenen Fälle für uns, wo es möglich ist."
60. FRIEDRICH WIESER, *The Fight Against Famine in Austria*, in *Fight the Famine Council, International Economic Conference* (London: Swarthmore Press, 1920), 53.
61. Quoted in STOLPER, *Joseph Alois Schumpeter*.
62. RICHARD KOLA, *Rückblick ins Gestrige: Erlebtes und Empfundenes [Looking Back to Yesterday: Experiences and Perceptions]* (Vienna: Rikola, 1922).
63. SCHUMPETER, *Politische Reden*.
64. SOMARY, *Erinnerungen*.
65. RICHARD SWEDBERG, *Joseph A. Schumpeter, His Life and Work* (Cambridge, UK: Polity Press, 1991).
66. *Ibid.*, 144–45.
67. FRIEDRICH VON WIESER, *Tagebuch*, November 19, 1919: "Es scheint, dass Schumpeter in der Meinung aller Parteien und aller gebildeten Menschen völlig abgewirtschaftet hat. Wie mir Kelsen erzählte, auch unsere jüngeren Nationalökonomien, die ihn als ihren Führer betrachteten, sind von ihm abgekommen und geben ihn wissenschaftlich auf, es sei nichts mehr von ihm zu erwarten."
68. EDUARD MARZ, *Joseph Schumpeter as Minister of Finance*, in *Helmut Frisch, ed., Schumpeterian Economics* (New York: Praeger, 1981).

ГЛАВА VII

ЕВРОПА УМИРАЕТ. КЕЙНС В ВЕРСАЛЕ

1. FRANCES OPPENHEIMER, *The Stranger Within: Autobiographical Pages* (London: Faber, 1960), 374.
2. LORD WILLIAM BEVERIDGE, *Power and Influence* (New York: Beechhurst Press, 1955), 149–50.
3. David Lloyd George to Woodrow Wilson, April 1919.
4. John Maynard Keynes to Vanessa Bell, March 16, 1919, Keynes Papers, King's College Archive.
5. HAROLD NICOLSON, *Peacemaking 1919: Being Reminiscences of the Paris Peace Conference* (Boston: Houghton Mifflin, 1933), 44.
6. *Ibid.*, 275–76.
7. DAVID LINDSAY, *The Crawford Papers: The Journals of David Lindsay, Twentysventh Earl of Crawford and Tenth Earl of Balcarres (1871–1940), During the Years 1892 to 1940, April 9, 1919.*
8. ROBERT SKIDELSKY, *John Maynard Keynes*, vol. 1, *Hopes Betrayed* (New York: Viking, 1986), 304.
9. JOHN MAYNARD KEYNES, "My Early Beliefs," September 9, 1938, in *Essays in Biography* (London: MacMillan St. Martin's Press for the Royal Economic Society, 1972), 436.
10. John Maynard Keynes to Lytton Strachey, November 23, 1905, quoted in Skidelsky, Keynes, vol. 1, 166.
11. John Maynard Keynes to Lytton Strachey, November 15, 1905, Skidelsky, 165.
12. *A Key for the Prurient: Keynes's Loves, 1901–15*, Donald E. Moggridge, *Maynard Keynes: An Economist's Biography* (London: Routledge, 1992), annex 1.
13. C. R. FAY, *The Undergraduate*, in Milo Keynes, ed., *Essays on John Maynard Keynes* (Cambridge: Cambridge University Press, 1975), 36.
14. LIONEL ROBBINS, *Autobiography of an Economist* (London: Macmillan, 1971).
15. Winston Churchill to Clementine Churchill, *Speaking for Themselves: The Personal Letters of Winston and Clementine Churchill*, ed. Mary Soames, (London and New York: Doubleday, 1998).
16. ELIZABETH JOHNSON, *Keynes' Attitude Toward Compulsory Military Service*, *Economic Journal* 70, no. 277 (March 1960): 160–65.
17. DAVID LLOYD GEORGE, *Memoirs of the Peace Conference*, vol. 1 (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1939), 302.
18. WILLIAM SHAKESPEARE, *A Midsummer Night's Dream* (New York: Palgrave, 2010).
19. LLOYD GEORGE, *Memoirs of the Peace Conference*, vol. 1, 302.

20. John Maynard Keynes to Florence Keynes, quoted in Skidelsky, Keynes, vol. 1, *Hopes Betrayed*, 353.
21. John Maynard Keynes to Florence Keynes, Keynes Papers, King's College Archive.
22. Quoted in Macmillan, Paris 1919, 60.
23. JOHN MAYNARD KEYNES, *Dr. Melchior: A Defeated Enemy*, in *Essays in Biography*, 210.
24. MAX WARBURG, *Aus Meinem Aufzeichnungen [From My Records]*, quoted in *Collected Writings of John Maynard Keynes*, vol. 16, *Activities 1914–1919, The Treasury and Versailles* (Cambridge: Cambridge University Press), 417.
25. KEYNES, *Dr. Melchior*, 214.
26. *Ibid.*, 216.
27. *Ibid.*, 218.
28. *Ibid.*, 221.
29. *Ibid.*, 223.
30. GEORGE ALLERDICE RIDDELL, *Lord Riddell's Intimate Diary of the Peace Conference and After, 1918–1923* (New York: Reynal & Hitchcock, 1924), 30.
31. KEYNES, *Dr. Melchior*, 231.
32. THOMAS W. LAMONT, *The Final Reparations Settlement*, Foreign Affairs, 1930.
33. NICOLSON, *Peacemaking 1919*, 86.
34. PETER ROWLAND, *David Lloyd George* (London: Macmillan, 1975), 485–86.
35. NICOLSON, *Peacemaking 1919*, 78.
36. SKIDELSKY, 367.
37. JAN SMUTS, quoted in Skidelsky, Keynes, vol. 1, *Hopes Betrayed*, 373.
38. *The Memoirs of Herbert Hoover*, vol. 1, *Years of Adventure 1874–1920* (New York: Macmillan, 1951), 461–62.
39. John Maynard Keynes to Florence Keynes, in Skidelsky, Keynes, vol. 1, *Hopes Betrayed*, 371.
40. John Maynard Keynes to Florence Keynes, Keynes Papers, King's College Archive.
41. JOHN MAYNARD KEYNES, *The Economic Consequences of the Peace* (London: Macmillan and Co., 1920), 233 (note 1).
42. John Maynard Keynes to Duncan Grant, May 14, 1919.
43. ROWLAND, *David Lloyd George*, 480.
44. John Maynard Keynes to Austin Chamberlain, June 5, 1919.
45. ALEC CAIRNCROSS, *Austin Robinson*, *Economic Journal* 104 (July, 1994): 903–15.

46. *Ibid.*
47. JAN SMUTS, quoted in *Skidelsky, Keynes*, vol. 1, 373.
48. JOHN MAYNARD KEYNES, *The Economic Consequences of the Peace* (London: Macmillan, 1920).
49. HENRY WICKHAM STEED, "A Critic of the Peace," "The Candid Friend at Versailles," "Comfort for Germany," *John Maynard Keynes: Critical Responses*, ed. Charles Robert McCons (London: Taylor and Francis, 1998), 51–60.
50. Quoted in NIALL FERGUSON, *Paper and Iron* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 206.
51. KEYNES, *Dr. Melchior*, 234.
52. KEYNES, *The Economic Consequences of the Peace*, 39.
53. Lytton Strachey to John Maynard Keynes, quoted in Michael Holroyd, *Lytton Strachey* (London: Heineman, 1978), 374.
54. Austin Chamberlain to Ida Chamberlain.
55. A. J. P. TAYLOR, *The Origins of the Second World War* (London: Penguin Books, 1964), 26.
56. PAUL MANTOUX, *The Carthaginian Peace or the Economic Consequences of Mr. Keynes* (Oxford: Oxford University Press, 1946).
57. WICKHAM STEED, "A Critic of the Peace," "The Candid Friend at Versailles," "Comfort for Germany," *John Maynard Keynes: Critical Responses* (Charles Robert McCann, ed. (London: Taylor & Francis, 1998), 51–60.
58. THORSTEIN VEBLÉN, "Review of J.M. Keynes' *The Economic Consequences of the Peace*," *Political Science Quarterly* 35 (1920): 467–72.
59. Europe a Year Later, *New York Times*, May 16, 1920.
60. *Solution of Europe's Disorder, as Seen by Baruch*, *New York Times*, April 20, 1920.
61. JOSEPH A. SCHUMPETER, *History of Economic Analysis* (London: Allen & Unwin, 1954), 39.

ГЛАВА VIII

БЕЗРАДОСТНЫЙ ПЕРЕУЛОК. ШУМПЕТЕР И ХАЙЕК В ВЕНЕ

1. JOSEPH A. SCHUMPETER, *The Theory of Economic Development* (Oxford: Oxford University Press, 1961), 215.
2. LUDWIG VON MISES, *The Austro-Hungarian Empire*, *Encyclopedia Britannica*, 1921.
3. SCHÖBER, quoted in F.L. Carsten, *The First Austrian Republic* (Aldershot, UK: Wildwood House, 1986), 41.

4. *Ibid.*, 45.
5. PETER GAY, *Freud: A Life of Our Time* (New York: W. W. Norton and Co., 1988), 386.
6. *Ibid.*, 382.
7. ANNA EISENMENGER, *Blockade: The Diary of an Austrian Middle-Class Woman, 1914–1924* (London: Constable Publishers, 1932), 149.
8. PIERRE HAMP, *La Peine des Hommes: Les Chercheurs D'Or* [*The Pain of Men: The Seekers of Gold*], 1920.
9. Quoted in CARSTEN, *The First Austrian Republic*, 13.
10. CHARLES A. GULIK, *Austria from Habsburg to Hitler*, vol. 1 (Berkeley: University of California Press, 1948), 248.
11. EISENMENGER, *Blockade*, 149.
12. *Ibid.*
13. C. A. MACARTNEY, *The Social Revolution in Austria* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1926), 215.
14. ALOIS MOSSER and ALICE TEICHOVA, "Investment Behavior of Joint Stock Companies," in *The Role of Banks in the Interwar Economy*, Harold James, Hekan Lindgren, Alice Teichova, eds. (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002), 127.
15. Quoted in RICHARD SWEDBERG, *Joseph A. Schumpeter: His Life and Work* (Cambridge, UK: Polity Press, 1991), 68.
16. Quoted in WOLFGANG F. STOLPER, *Joseph Alois Schumpeter: The Public Life of a Private Man* (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1994), 3.
17. CHARLES A. GULIK, *Austria from Hapsburg to Hitler*, vol. 1 (Berkeley: University of California Press, 1948), 251.
18. FRITZ MACHLUP, *Tribute to Mises, 1881–1973* (Chislehurst, UK: Quadrangle, 1974).
19. *Ships in Fog*, a fragment of a novel Schumpeter started in the 1930s, in Swedberg, *Joseph A. Schumpeter*, appendix 2.
20. THOMAS K. MCCRAW, *Prophet of Innovation: Joseph Schumpeter and Creative Destruction* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2007), 140.
21. Quoted in ROBERT LORING ALLEN, *Opening Doors: The Life and Work of Joseph A. Schumpeter*, vol. 1, *Europe* (New Brunswick, N. J., and London: Transaction Publishers, 1991), 274.
22. ISRAEL KIRZNER, *Austrian Economics*, lecture at Foundation for Economic Education, July 26, 2004.
23. JOSEPH A. SCHUMPETER, *Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process* (New York: McGraw-Hill Company, 1939).

24. JOSEPH A. SCHUMPETER, *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle* (New Brunswick, N. J.: Transaction Publishers, 1934).
25. *Ibid.*
26. *Ibid.*, 245.
27. JOSEPH A. SCHUMPETER, *Essays on Entrepreneurs, Innovations, Business Cycles, and The Evolution of Capitalism*, ed. Richard Clemence (New York: Transaction Publishers, 1951), 71–72.
28. FRIEDRICH A. HAYEK, *Hayek on Hayek: An Autobiographical Dialogue*, ed. Stephen Kresge (Chicago: University of Chicago Press, 1984).
29. Fritz Machlup to Barbara Chernow, June 12, 1978.
30. GULIK, *Austria from Hapsburg to Hitler*, vol. 1, 134–35.
31. MAX WEBER, *Der Sozialismus* (1918), in *Gesammelte Aufsätze zur Soziologie, Economy and Society*
32. OTTO BAUER, *Der Weg zum Sozialismus [The Way to Socialism]*, 1921, serialized in *Arbeiter Zeitung*, January 1919.
33. HAYEK ON HAYEK, 54–59.
34. FRIEDRICH HAYEK, *Austrian Institute for Economic Research Monthly*, February 1929.

ГЛАВА IX:

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗУМА.

КЕЙНС И ФИШЕР В 1920-Е ГОДЫ

1. IRVING FISHER, et al, *Report on National Vitality Bulletin 30 of the Committee of One Hundred on Public Health* (Washington, D. C.: Government Printing Office, 1908), 1.
2. IRVING FISHER, *Unstable Dollar and the So-called Business Cycle*, *Journal of the American Statistical Association*, vol. 20, no. 150 (June, 1925), 179–202.
3. JOHN MAYNARD KEYNES, quoted in *Robert Skidelsky, John Maynard Keynes*, vol. 2, *The Economist as Savior, 1920–1937* (London: Macmillan, 1992).
4. *Ibid.*
5. PETER CLARKE, *Keynes; The Rise, Fall, and Return of the 20th Century's Most Influential Economist* (New York: Bloomsbury, 2009).
6. JOHN MAYNARD KEYNES, *Alternative Theories of the Rate of Interest*, *Economic Journal* 47 (June 1937).
7. JOHN MAYNARD KEYNES, *How Far Are Bankers at Fault for Depressions?*, 1913, quoted in *Angel N. Rugina, "A Monetary and Economic Dialogue with Lord Keynes," International Journal of Social Economics*

- 28, vol. 1, No. 2, 200, www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1453937&show=html.
8. JOHN MAYNARD KEYNES, *Tract on Monetary Reform*, 1923.
 9. *Ibid.*
 10. Quoted in D. E. MOGGRIDGE, *Keynes: An Economists' Biography* (London: Routledge, 1992), 429.
 11. JOHN MAYNARD KEYNES, *A Short View of Russia* (London: Hogarth Press, 1925).
 12. *Ibid.*
 13. *Ibid.*
 14. NORMAN and JEAN MACKENZIE, eds., *The Diary of Beatrice Webb*, vol. 4, 1924–1943: *The Wheel of Life* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985) (August 9, 1926).
 15. JOHN MAYNARD KEYNES, “My Visit to Berlin,” *Collected Writings of John Maynard Keynes*, vol. 10, 383–84; “Das Ende des Laissez-Faire, Ideen zur Verbindung von Privat und Gemeinwirtschaft” [*The End of Laissez-Faire: Ideas for Combining the Private and Public Economy*], *Zeitschrift für die Gesamte Staatswissenschaft* 82 (1927): 190–91. A review of a lecture given by Keynes in Berlin. In *papers: October 1925 — June 1926 correspondence, autograph manuscript “My Visit to Berlin,” June 23, “The General Strike,” June 24, given to Berlin University; Conditions in Germany; Keynes at Melchior’s apartment in Berlin for dinner, 1926 visit; source: Felix Somary, Erinnerungen Aus Meinem Leben*, (Zurich: 1926), 199.
 16. *The Letters of Virginia Woolf*, vol. 3.
 17. John Maynard Keynes addressing the National Liberal Federation, March 27, 1928, quoted in Robert Skidelsky, *John Maynard Keynes*, vol. 2, *The Economist as Savior, 1920–1937* (London: Macmillan, 1992), 297.
 18. SKIDELSKY, *Keynes*, vol. 2, *The Economist as Savior*, 231.
 19. *Ibid.*, 232.
 20. CHARLES LOCH MOWAT, *Britain Between the Wars, 1918–1940* (London: Methuen and Co., 1956), 262.
 21. SKIDELSKY, *Keynes*, vol. 2, *The Economist as Savior*, 258.
 22. John Maynard Keynes to H. G. Wells, January 18, 1928.
 23. MOWAT, *Britain Between the Wars*, 349.
 24. SKIDELSKY, *Keynes*, vol. 2, *The Economist as Savior*, 302.
 25. IRVING NORTON FISHER, *My Father: Irving Fisher* (New York: Comet Press, 1956), 171.
 26. ALAN MILWARD, *War, Economy and Society, 1939–1945* (Berkeley: University of California Press, 1979), 17.
 27. ANGUS MADDISON, *Statistics of World Population, GDP, per Capita GDP, 1–2008 AD*, www.ggdnc.net/maddison/.

28. JOSEPH SCHUMPETER, *The Decade of the Twenties*, American Economic Review, 1946 and "Business Cycle Dates," National Bureau of Economic Research.
29. GEOFFREY KEYNES, quoted in *D. E. Moggridge, Maynard Keynes: An Economist's Biography* (London: Routledge, 1992), 103.
30. IRVING NORTON FISHER, *My Father: Irving Fisher*, 200.
31. *Ibid.*, 232.
32. *Ibid.*, 117–18.
33. Irving Fisher, address to the American Public Health Association, October 23, 1926.
34. Irving Fisher et al., Report on National Vitality, bulletin 30 of the Committee of One Hundred on Public Health (Washington, D. C.: GPO, 1908), 1.
35. IRVING FISHER, *Stabilizing the Dollar* (New York: Macmillan, 1920), 75.
36. IRVING FISHER, *The Purchasing Power of Money: Its Determination and Relation to Credit Interest and Crises* (New York: Macmillan, 1912).
37. IRVING FISHER, *Our Unstable Dollar and the So-Called Business Cycle*, Journal of the American Statistical Association (June 1925): 181.
38. JOHN MAYNARD KEYNES, *Opening remarks: The Galton Lecture*, Eugenics Review, vol. 38, no. 1 (1946), 39–40.
39. See ROBERT W. DIMAND, "Economists and 'the Other' Before 1912," The American Journal of Economics and Sociology, July 2005, http://findarticles.com/p/articles/mi_m0254/is_3_64/ai_n15337798/?tag=content;col1, and New International Year Book (New York: Dodd Meade & Co., 1913).
40. IRVING FISHER, "Lecture on The Irving Fisher Foundation," *Collected Works*, vol. I (1997), 35.
41. *Ibid.*
42. IRVING FISHER, *Our Unstable Dollar and the So-Called Business Cycle*, 197.
43. IRVING FISHER, *Depressions and Money Problems*, April 4, 1941.
44. IRVING FISHER, "I Discovered the Phillips Curve: 'A statistical relation between unemployment and price changes'" Journal of Political Economy 81, no 2; 496–502, reprinted from International Labour Review, 1926.
45. IRVING FISHER, New York Times, September 2, 1923.
46. IRVING FISHER, *The Unstable Dollar and the So-called Business Cycle* (1925). 179–202.
47. IRVING FISHER, *A Statistical Relation Between Unemployment and Price Changes* (1926), 496–502.
48. *Ibid.*
49. IRVING FISHER, Battle Creek Sanitarium News, 25, 7, July 1925.

50. IRVING NORTON FISHER, *My Father: Irving Fisher*, 57.
51. *Ibid.*, 192, from autobiographical appendix in *Stable Money, A History of the Movement*.
52. JEREMY SIEGEL, *Stocks for the Long Run* (New York: McGraw-Hill, 2008).
53. IRVING NORTON FISHER, *My Father: Irving Fisher*, 264.
54. *Recent Economic Changes in the United States* (Chicago: National Bureau of Economic Research, 1929), xii.
55. *Fisher Sees Stocks Permanently High*, New York Times, October 16, 1929.

ГЛАВА X:

ПРОБЛЕМЫ С МАГНЕТО.

КЕЙНС И ФИШЕР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ

1. ARNOLD J. TOYNBEE, *Journal of International Affairs*, 1931, 1.
2. DAVID FETTIG, *Something Unanticipated Happened*, in *The Region* (Minneapolis: Federal Reserve Bank of Minneapolis, 2000).
3. John Maynard Keynes to F. C. Scott, August 15, 1934.
4. JOHN MAYNARD KEYNES, *A British View of the Wall Street Slump*, New York Evening Post, October 25, 1929.
5. CHARLES A. SELDEN, *Big British Labor Gains; Third of Vote Counted; Tory Control Seems Lost*, New York Times, May 31, 1929, 1.
6. WINSTON CHURCHILL, *Disposal of Surplus*, Hansard 1803–2005, April 15, 1929, Commons Sitting, Orders of the Day, www.hansard.millbanksystems.com/commons/1929/apr/15/disposal-of-surplus.
7. LIONEL ROBBINS, *Autobiography of an Economist* (London: Macmillan, 1971), 151.
8. John Maynard Keynes to Lydia Keynes, 1929.
9. JOSEPH J. THORNDIKE, *Tax Cuts, Confidence, and Presidential Leadership*, September 8, 2008, www.taxhistory.org/thp/readings.nsf/.
10. JOHN MAYNARD KEYNES, *The Great Slump of 1930*, The Nation & Athenæum, December 20, 1930, and December 27, 1930, www.gutenberg.ca/ebooks/keynes-slump/keynes-slump-00-h.html.
11. JOHN MAYNARD KEYNES, *The General Theory*, book 6, Chapter 22, section 3 (London: Macmillan, 1936), 322.
12. KEYNES, *The Great Slump*, *Nation*.
13. *Ibid.*
14. GODFREY HAROLD HARDY, *Mathematical Proof*, in Raymond George Ayoub, *Musings of the Masters: An Anthology of Mathematical Reflections* (New York: American Mathematical Association, 2004), 59.

15. KEYNES, *The Great Slump of 1930*.
16. ROBERT SKIDELSKY, *John Maynard Keynes*, vol. 2, *The Economist as Savior, 1920–1937* (London: Macmillan, 1992), 333.
17. MINORITY REPORT, 35, 507n, 657–59, 660, 661, 662.
18. SKIDELSKY, *Keynes*, vol. 2, *The Economist as Savior*, 32.
19. Sir John Anderson to Ramsay MacDonald, July 31, 1930.
20. October 20, 1930.
21. ROSS MCKIBBIN, *The Economic Policy of the Second Labour Government, 1929–1931, Past and Present* 65 (1975); 95–123.
22. SKIDELSKY, *Keynes*, vol. 2, *The Economist as Savior*, 524.
23. IRVING FISHER, September 2, 1929, quoted in *Kathryn M. Dominguez, Ray C. Fair, Matthew D. Shapiro, "Forecasting the Depression: Harvard Versus Yale," American Economic Review* 78, no. 4 (September 1988); 607.
24. *Fisher Sees Stocks Permanently High*, *New York Times*, October 16, 1929, 8.
25. IRVING FISHER, January 6, 1930, *Collected Works*, ed. Robert Barber, vol. 14, 4.
26. Harvard Economic Society, *Weekly Letter*, vols. 8 and 9 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1929), quoted in *Dominguez et al., "Forecasting the Depression,"* 606.
27. IRVING FISHER, *The Stock Market Crash and After* (New York: Macmillan, 1930).
28. MILTON FRIEDMAN and ANNA JACOBSON SCHWARTZ, *A Monetary History of the United States, 1867–1960* (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1971).
29. Scores Coolidge in Market Slump, *New York Times*, January 12, 1930.
30. ROBERT W. DIMOND, "Irving Fisher's Monetary Macroeconomics," in *The Economics of Irving Fisher* (London: Elgar, 1999).
31. IRVING NORTON FISHER, *My Father, Irving Fisher*, 263.
32. *Harvard Group Sees Debt Plan Benefits: Believes Moratorium Will Balance Exchanges and Remove Pressure on Commodities*, *Wall Street Journal*, July 17, 1931, 20; *The 1929 Speculation and Today's Troubles: Controversy as to How Far the 'Great Boom' Caused the Great Depression*, *New York Times*, January 1, 1932, 33.
33. IRVING FISHER, *The Stock Market Panic in 1929*, *Proceedings of the American Statistical Association*, 1930.
34. June 22–23, 1931, quoted in *Skidelsky, Keynes*, 391.
35. JOHN MAYNARD KEYNES, typewritten notes, King's College Archive.
36. JOHN MAYNARD KEYNES, discussion leader, typewritten notes, King's College Archive.

37. Bank of England rate of discount, 1836–1939, National Bureau of Economic Research Macro Data Base, www.nber.org/databases/macrohistory/rectdata/13/m13o13.dat.
38. Irving Fisher to Ramsay MacDonald, December 1931.
39. VANESSA BELL SKIDELSKY, *Keynes*, vol. 2, *The Economist as Savior*, 430.
40. Irving Fisher to Henry Stimson, November 11, 1932, quoted in Fisher, 273.
41. LAUHLIN BERNARD CURRIE, *Memorandum Prepared by L. B. Currie, P. T. Ellsworth, and H. D. White* (Cambridge, Mass., 1932), reprinted in *History of Political Economy* 34, no. 3 (Fall 2002): 533–52.
42. Irving Fisher to Margaret Fisher, quoted in Irving Norton Fisher, *My Father: Irving Fisher*, 267.
43. WALTER LIPPMANN, *Interpretations 1933–1935* (New York: Macmillan, 1936), 15.
44. K. M. DOMINGUEZ, R. C. FAIR, and M. D. SHAPIRO, *Forecasting the Great Depression: Harvard Versus Yale*, *American Economic Review*, 78 (September, 1988), 595–612.
45. DAVID FETTIG, *Something Unanticipated Happened*, (Minneapolis Fed, 2000).
46. IRVING FISHER, *Booms and Depressions: Some First Principles* (New York: Adelphi, 1932).
47. IRVING FISHER, *Cancellation of War Debts*, Southwest Foreign Trade Conference Address, July 2, 1931, quoted in Giovanni Pavanelli, “*The Great Depression in Irving Fisher’s Thought*,” *Fifth Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought*, February 2001.
48. IRVING FISHER, *The Depression: Causes and Cures* (Miami: Committee of One Hundred, March 1, 1932).
49. *Economists Urge Release of Gold*, *New York Times*, October 28, 1931.
50. *New York Times*, December 9, 1931.
51. IRVING FISHER, *Booms and Depressions*, viii.
52. R. G. TUGWELL, *Brains Trust* (New York: Viking, 1964), 97.
53. KENNEDY, *Freedom from Fear*, 113.
54. TUGWELL, 98.
55. FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, Oglethorpe University Commencement Speech, May 22, 1932, <http://georgiainfo.galileo.usg.edu/FDR-speeches.htm>.
56. FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, Address to Commonwealth Club, September 23, 1932, San Francisco, in *Great Speeches* (New York: Courier Dover, 1999).
57. KENNEDY, *Freedom from Fear*, 123.

58. JOHN MAYNARD KEYNES, *The Means to Prosperity* (London: Macmillan, 1933).
59. IRVING FISHER, *George Warren of Cornell, and John Commons of the University of Wisconsin to Franklin Roosevelt*, February 25, 1933.
60. The New York Times, December 31, 1933.
61. Irving Fisher to Irving Norton Fisher, August 15, 1933.
62. Irving Fisher to Margaret Hazard Fisher, quoted in Irving Norton Fisher, *My Father*, Irving Fisher.
63. SKIDELSKY, *Keynes*, vol. 3, 506.
64. *Ibid.*
65. The New York Times, May 29, 1933.
66. D. E. MOGGRIDGE, *Maynard Keynes: An Economists' Biography* (London: Routledge, 1992), 584.
67. Irving Fisher to Howe (FDR's secretary), May 18, 1934.
68. Irving Fisher to Margaret Hazard Fisher, June 7, 1934.
69. JOHN MAYNARD KEYNES, *American Economic Review*, 1933.
70. JOHN MAYNARD KEYNES, *Lecture Notes*
71. Quoted in Skidelsky, *Keynes*, 503.
72. John Maynard Keynes to George Bernard Shaw, January 1, 1935.
73. MARRINER S. ECCLES, *Fortune*, April 1937, reproduced in *The Lessons of Monetary Experience: Essays in Honor of Irving Fisher Presented to Him on the Occasion of His 70th Birthday* (New York: Farrar and Rhinehart, 1937), 6.
74. FRIEDRICH HAYEK, *Austrian Institute of Economic Research Report*, February 1929.
75. FRIEDRICH A. HAYEK, interview. *Gold and Silver Newsletter* (Newport Beach, Calif.: Monex International, June, 1976).
76. LIONEL ROBBINS, *The Great Depression*, 1934.
77. *Ibid.*
78. ROBBINS, *Autobiography of an Economist*, 154.
79. SKIDELSKY, *Keynes*, vol. 2, *The Economist as Savior*, 469.
80. BEATRICE WEBB, quoted in José Harris, *William Beveridge: A Biography* (Oxford: Clarendon Press, 1977), 330.
81. Fritz Machlup to Barbara Chernow, June 12, 1978.
82. JOHN MAYNARD KEYNES, *The Pure Theory of Money: A Reply to Dr. Hayek*, *Econometrica*, vol. 11 (November, 1931), 387–97.
83. ALAN EBENSTEIN, *Friedrich Hayek: A Biography* (New York: Palgrave, 2001), 81.
84. ERICH SCHNEIDER, *Joseph A. Schumpeter: Leben und Werk eines grossen Sozialökonomenen* [*Life and Work of a Great Social Scientist*]
85. HAROLD JAMES, *The German Slump: Politics and Economics, 1924–1936* (Oxford: Clarendon Press, 1986), 6.

86. JOSEPH SCHUMPETER, *The Present World Depression: A Tentative Diagnosis*, in *American Economic Association, Proceedings*, March 31, 1931.
87. JOSEPH DORFMAN, *The Economic Mind in America*, vol. 4, 168.
88. JOSEPH SCHUMPETER, to Rev. Harry Emerson Fosdick at Riverside Church, April 19, 1933.
89. DOUGLAS V. BROWN, *The Economics of the Recovery Program* (New York: McGraw-Hill, 1934), reprinted in Joseph Schumpeter, *Essays: On Entrepreneurs, Innovations, Business Cycles, and the Evolution of Capitalism* (New York: Transaction Publishers, 1989).
90. JOSEPH SCHUMPETER, review of Keynes's *General Theory of Employment, Interest and Money*, *Journal of the American Statistical Association* (December 1936), 791–95.

ГЛАВА XI

ЭКСПЕРИМЕНТЫ. УЭББ И РОБИНСОН В 1930-Х

1. WALTER DURANTY, *New York Times*, July 20, 1931, 1.
2. Beatrice Webb to Arthur Salter, April 12, 1932, Norman and Jeanne Mac — Kenzie, eds., *The Letters of Sidney and Beatrice Webb* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1978).
3. NORMAN and JEAN MACKENZIE, eds., *The Diary of Beatrice Webb*, vol. 4, 1924–1943: *The Wheel of Life* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985), September 23, 1931, and October 10, 1931.
4. *Ibid.*
5. *Ibid.*, 272.
6. *Ibid.*, May 14, 1932.
7. *Ibid.*
8. *Ibid.*, September 2, 1931.
9. *Ibid.*
10. *Ibid.*
11. WALTER DURANTY, *New York Times*, November 13, 1932, 1.
12. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 4, 299–301, 315, 328 (March 29, 1933; March 30, 1933; October 21, 1933; February 22, 1934).
13. BEATRICE and SIDNEY WEBB, *Soviet Communism: A New Civilization* (London: Longmans, Green and Co., 1935), 265.
14. BERTRAND RUSSELL, *Autobiography* (London: George Allen and Unwin, 1967), 74–75.
15. ROBERT CONQUEST, *Reflections on a Ravaged Century* (New York: W W Norton and Co., 2001), 148.

16. JOHN MAYNARD KEYNES, *Collected Writings*, vol. 23, *Activities 1940–1943* (London: Macmillan, 1979), 5.
17. MALCOLM MUGGERIDGE, *Chronicles of Wasted Time*, vol. 1, *The Green Stick* (New York: William Morrow, 1973), 207.
18. MACKENZIE, *Diary of Beatrice Webb*, vol. 4, 371 (June 19, 1936).
19. JOHN MAYNARD KEYNES to Kingsley Martin, 1937, in *The Collected Writings of John Maynard Keynes*, vol. 28, *Social, Political and Literary Writings* (London: Macmillan, 1928), 72.
20. JOHN MAYNARD KEYNES, quoted in *Muggeridge, Chronicles*, 469.
21. JOHN MAYNARD KEYNES, *Democracy and Efficiency*, *New Statesman and Nation*, January 28, 1939.
22. *Ibid.*
23. RITA MCWILLIAMS TULLBERG, “Alfred Marshall and Evangelicalism,” in *Claudio Sardoni, Peter Kriesler, Geoffrey Colin Harcourt, eds., Keynes, Post — Keynesianism and Political Economy* (London: Psychology Press, 1999), 82.
24. Austin Robinson to Joan Robinson, *Robinson Papers*, Kings College Archive.
25. Major General Sir EDWARD SPEERS, “Forward,” in *Sir Frederick Maurice and Nancy Maurice, The Maurice Case* (London: Archon Books, 1972), 95–96.
26. Quoted in MARJORIE SHEPHERD TURNER, *Joan Robinson and the Americans* (New York: M. E. Sharpe, 1989), 13.
27. MARGARET GARDINER, *A Scatter of Memories* (London: Free Association Books, 1988), 65.
28. Interview with Geoffrey Harcourt, Jesus College, University of Cambridge, 2000.
29. Joan Robinson to Richard Kahn, n.d., November 1930.
30. Joan Robinson to Stevie Smith
31. *Ibid.*
32. Austin Robinson to Joan Robinson, n.d., April 1926.
33. *Diary of Beatrice Webb*.
34. Dorothy Garratt to Joan Robinson, January 26, 1932.
35. Joan Robinson to Richard Kahn, March 1931.
36. *Ibid.*
37. NAHID ASLANBEIGUI and GUY OAKES, *The Provocative Joan Robinson: The Making of a Cambridge Economist* (Durham, N. C.: Duke University Press, 2009).
38. JAMES MEADE, quoted in *George R. Feiwel, Joan Robinson and Modern Economic Theory* (New York: New York University Press, 1989), 917.
39. *Ibid.*, 916.

40. ASLANBEIGUI and OAKES, *The Provocative Joan Robinson*.
41. Joan Robinson to Austin Robinson, October 11, 1932.
42. Joan Robinson to Richard Kahn, Michaelmas term, 1932; Joan Robinson to Austin Robinson, October 11, 1932; Richard Kahn to Joan Robinson.
43. Joan Robinson to Richard Kahn, March 2, 1933.
44. JOAN ROBINSON, introduction to *The Theory of Employment* (London: Macmillan, 1969), xi.
45. Richard Kahn to Joan Robinson, March 1933.
46. JOSEPH SCHUMPETER, *Review of Joan Robinson's Theory of Imperfect Competition*, *Journal of Political Economy*, 1934.
47. Dorothy Garratt to Joan Robinson, May 25, 1934.
48. Joan Robinson to Richard Kahn, September 5, 1934.
49. John Maynard Keynes to Richard Kahn, February 19, 1938.
50. ANDREW BOYLE, *Climate of Treason* (London: Hutchinson, 1979), 63, 453 (note 4).
51. GEOFFREY HARCOURT, *Joan Robinson*, *Economic Journal*.
52. JOAN ROBINSON, *Review of The Nature of the Capitalist Crisis by John Strachey*, *Economic Journal* 46, no. 182 (June 1936): 298–302.
53. JOAN ROBINSON, *Review of Britain Without Capitalists*, *Economic Journal* (December 1936).
54. TAQUI ALTOUNYAN, *Chimes from a Wooden Bell* (London: I. B. Taurus and Co., 1990) and *In Aleppo Once* (London: John Murray, 1969).
55. Ernest Altounyan to Joan Robinson, May 30, 1936.
56. AGATHA CHRISTIE, *Murder on the Orient Express* (New York: Collins, 1934), 17.
57. Quoted in ALTOUNYAN, *Chimes from a Wooden Bell*.
58. Interview with Frank Hahn, Churchill College, University of Cambridge, 2000.

ГЛАВА XII

ВОЙНА ЭКОНОМИСТОВ.

КЕЙНС И ФРИДМАН В МИНИСТЕРСТВАХ ФИНАНСОВ

1. JOHN MAYNARD KEYNES, *How to Pay for the War* (London: Macmillan, 1940), 17.
2. Friederich von Hayek to Fritz Machlup, October 1940.
3. ROBERT SKIDELSKY, *John Maynard Keynes*, vol. 3, *Fighting for Freedom, 1937–1946* (New York: Viking, 2001), 51.
4. Friedrich Hayek to Fritz Machlup, March 19, 1934 (Machlup Papers, box 43, folder 15).

5. JOHN MAYNARD KEYNES, *Paying for the War I: The Control of Consumption*, Times (London), November 14, 1939, 9, and *Paying for the War II: Compulsory Savings*, Times (London), November 15, 1939, 9.
6. SKIDELSKY, *Keynes*, vol. 3, *Fighting for Freedom*, 142.
7. John Maynard Keynes to F. A. Hayek, quoted in Skidelsky, *ibid.*, 56.
8. John Maynard Keynes to J. T. Sheppard, August 14, 1940.
9. SKIDELSKY, *Keynes*, vol. 3, 179.
10. Winston Churchill to Clementine Churchill, July 18, 1914, in Mary Soames, *Winston and Clementine: The Personal Letters of the Churchills* (New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2001), 96.
11. John Maynard Keynes to Russell Leffingwell, July 1, 1942.
12. John Maynard Keynes to P. A. S. Hadley, September 10, 1941.
13. *Wheeler Doubts President Will Order Convoys*, Chicago Daily Tribune, May 10, 1941.
14. Sir JOHN WHEELER BENNET, *New York Times*, November 24, 1940, 7.
15. ALAN MILWARD, *War, Economy and Society, 1939–1945* (Berkeley: University of California Press, 1979), 49.
16. GERHARD L. WEINBERG, *A World at Arms: A Global History of World War II* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005); DAVID KENNEDY, *Freedom from Fear: The American People in Depression and War* (Oxford: Oxford University Press, 1999), 446.
17. Winston Churchill to Franklin D. Roosevelt, December 7, 1940, Great Britain Diplomatic Files.
18. Franklin D. Roosevelt, press conference, White House, December 17, 1940, <http://docs.fdrlibrary.marist.edu/ODLLPc2.html>.
19. *Ibid.*
20. FRANKLIN ROOSEVELT, *Fireside Chat* radio address, White House, December 29, 1940, <http://docs.fdrlibrary.marist.edu/122940.html>.
21. Winston S. Churchill to Franklin D. Roosevelt, December 31, 1940, in Martin Gilbert, ed., *The Churchill War Papers* (New York: W. W. Norton and Co., 2000), 3:11.
22. Winston S. Churchill to Sir Kingsley Wood, March 20, 1941, in Gilbert, *The Churchill War Papers*, 3:372.
23. FRANKLIN D. ROOSEVELT, campaign address, Boston, October 30, 1940, www.presidency.ucsb.edu.
24. FRANKLIN D. ROOSEVELT, conversation in the Oval Office with unidentified aides, October 4, 1940, White House Office Transcripts, 48–61:1, Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum, Hyde Park, New York, <http://docs.fdrlibrary.marist.edu:8000/transcr7.html>.
25. WEINBERG, *A World at Arms*, 240.

26. JOHN MAYNARD KEYNES, quoted in *Skidelsky, Keynes*, vol. 3, *Fighting for Freedom*, 102.
27. PAUL A. SAMUELSON in *The Coming of Keynesianism*, 170.
28. *Ibid.*
29. Quoted in SKIDELSKY, *Keynes*, vol. 3, *Fighting for Freedom*, 116.
30. JOHN KENNETH GALBRAITH, *A Life in Our Times*,
31. F. SCOTT FITZGERALD, *This Side of Paradise* (New York, 1920).
32. MILTON FRIEDMAN and ROSE FRIEDMAN, *Two Lucky People* (Chicago: University of Chicago Press, 1998).
33. *Ibid.*
34. *Ibid.*
35. *Ibid.*
36. HERBERT STEIN, *Presidential Economics: The Making of Economic Policy from Roosevelt to Clinton* (Washington, D. C.: American Enterprise Institute, 1994).
37. FRIEDMAN and FRIEDMAN, *Two Lucky People*.
38. *Ibid.*, 107
39. GALBRAITH, *A Life in Our Times*, 163.
40. *Ibid.* Galbraith was assistant, then deputy, chief of the Price Division. Richard Gilbert, George Stigler, Walter Salant, and Herbert Stein belonged to OPA's economics staff.
41. Quoted in *ibid.*, 133. The General Maximum Price Regulation of 1942 went into effect on April 28.
42. FRIEDMAN and FRIEDMAN, *Two Lucky People*, 113. See also MILTON FRIEDMAN and WALTER SALANT, *American Economic Review* 32 (June 1942); 308–20; MILTON FRIEDMAN, *The Spendings Tax as a Wartime Fiscal Measure*, *American Economic Review* (March 1943); 50–62.
43. FRIEDMAN and FRIEDMAN, *Two Lucky People*.
44. *Ibid.*, 113
45. *Ibid.*
46. Withholding was first imposed on 1943 income, but the Ruml Plan, the subject of the 1942 debate, called for it to be imposed on 1942 income. The Revenue Act of 1942 passed on October 21, 1942; the Current Tax Payment Act of 1943, on June 9, 1943.
47. FRIEDMAN and FRIEDMAN, *Two Lucky People*.
48. *Ibid.*, 116.
49. ISAIAH BERLIN, March 3, 1942, *Washington Dispatches*, 25.
50. *Ibid.*
51. HERBERT STEIN, *Presidential Economics*, 68.

ГЛАВА XIII
ИЗГНАНИЕ.

ШУМПЕТЕР И ХАЙЕК ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

1. FRIEDRICH HAYEK, *The Road to Serfdom* (Chicago: University of Chicago Press, 1944).
2. JOSEPH SCHUMPETER, *Capitalism, Socialism and Democracy* (New York: Harper and Co., 1942).
3. *Ibid.*
4. Joseph Schumpeter to Irving Fisher, February 18, 1946.
5. JOSEPH SCHUMPETER, *Diary*, October 30, 1942.
6. JOHN HICKS, *The Hayek Story*, in *Critical Essays in Monetary Theory* (Oxford, UK: Oxford University Press, 1967).
7. Friedrich Hayek to Fritz Machlup, January 1935.
8. Friedrich Hayek to Fritz Machlup, May 1, 1936.
9. Friedrich Hayek to Fritz Machlup.
10. Friedrich Hayek to Lord Macmillan, September 9, 1939.
11. Friedrich Hayek to Fritz Machlup, December 14, 1940.
12. Friedrich Hayek to Fritz Machlup, June 21, 1940.
13. Friedrich Hayek to Alvin Johnson, August 8, 1940.
14. Friedrich Hayek to Alfred Schutz, September 26, 1943.
15. Friedrich Hayek to Fritz Machlup.
16. Friedrich Hayek to Fritz Machlup, June 21, 1940.
17. Friedrich Hayek to Herbert Furth, January 27, 1941.
18. Friedrich Hayek to Fritz Machlup, January 2, 1941.
19. Friedrich Hayek to Fritz Machlup.
20. Friedrich Hayek to Fritz Machlup, July 31, 1941.
21. FRIEDRICH HAYEK, *The Road to Serfdom*.
22. *Ibid.*
23. *Ibid.*, 135.
24. FRIEDRICH HAYEK, *The Road to Serfdom: Address Before the Economic Club of Detroit, April 23, 1945*, typescript, Hoover Institution.
25. Quoted in Fritz Machlup to Friedrich Hayek, January 21, 1943.
26. Ordway Tead to Fritz Machlup, September 25, 1943.

АКТ ТРЕТИЙ

ПРОЛОГ: НИЧЕГО СТРАШНОГО

1. JAMES MACGREGOR BURNS, *Roosevelt: The Soldier of Freedom, 1940-1945* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1970), 424.

2. FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, *Economic Bill of Rights*, State of the Union Address, January 11, 1944, transcript, Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum, Hyde Park, New York, <http://www.fdrlibrary.marist.edu/archives/stateoftheunion.html>.
3. *Ibid.*
4. JAMES MCGREGOR BURNS, *Roosevelt: The Soldier of Freedom*, vol. 2 (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1970), 426.
5. John Maynard Keynes to Sir J. Anderson, August 10, 1944, quoted in Robert Jacob Alexander Sidelsky, *John Maynard Keynes*, vol. 3, *Fighting for Freedom* (New York: Viking Press, 2001), 360.
6. GUNNAR MYRDAL, *Is American Business Deluding Itself?*, *Atlantic Monthly* (November 1944), 51–58.
7. ROOSEVELT, *State of the Union Address*, January 11, 1944.
8. *Ibid.*
9. ALVIN H. HANSEN, *The Postwar Economy*, in Seymour E. Harris, ed., *Postwar Economic Problems* (New York: McGraw-Hill Book Company, 1943), 12.
10. PAUL A. SAMUELSON, *Full Employment After the War*, in Harris, *Postwar Economic Problems*, 27, 52.
11. JOSEPH A. SCHUMPETER, *Capitalism in the Postwar World*, in Harris, *Postwar Economic Problems*, 120–21.
12. *Ibid.*
13. ROOSEVELT, *State of the Union Address*, January 11, 1944.
14. MYRDAL, *Is American Business Deluding Itself?*
15. GEORGE ORWELL, *Nineteen Eighty-Four* (London: Penguin Classics, 2009), 231.
16. ROOSEVELT, *State of the Union Address*, January 11, 1944.
17. JOHN LEWIS GADDIS, *The Cold War: A New History* (New York: Penguin, 2006), 14.
18. JOHN MAYNARD KEYNES, *The General Theory* (1936; repr. London: MacMillan & Co., 1954), 383–84.

ГЛАВА XIV

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ. КЕЙНС В БРЕТТОН-ВУДСЕ

1. FDR, Message to Delegates at Bretton Woods, July 1944.
2. John Maynard Keynes to Florence Keynes, June 28, 1944.
3. ROBERT SKIDELSKY, *John Maynard Keynes*, vol. 3, *Fighting for Freedom 1937–1946* (New York: Viking, 2000), 343.
4. John Maynard Keynes to Friedrich Hayek, July 1944.

5. JOHN MAYNARD KEYNES, *My Early Beliefs*, in *Essays in Biography*.
6. LIONEL ROBBINS, *Autobiography of an Economist* (London: Macmillan, 1976).
7. John Maynard Keynes to Friedrich Hayek, July 1944.
8. LYDIA KEYNES quoted in LIAQUAT AHMED, *Lords of Finance: The Bankers Who Broke the World* (New York: Penguin, 2009).
9. CORDELL HULL, *The Memoirs of Cordell Hull* (New York: Macmillan, 1948), 1:81.
10. Papers of Harry Dexter White, Princeton University Archive.
11. SKIDELSKY, *Keynes*, vol. 3, *Fighting for Freedom*, 348.
12. *Ibid.*
13. *Ibid.*

ГЛАВА XV

ДОРОГА ОТ РАБСТВА. ХАЙЕК И “НЕМЕЦКОЕ ЧУДО”

1. GEORGE ORWELL, review of *The Road to Serfdom* (1944).
2. ISAIAH BERLIN, March 31, 1945, *Washington Despatches, 1941–1945: Weekly Political Reports from the British Embassy* (Chicago: University of Chicago Press, 1981).
3. BERLIN, *Despatches*, May 6, 1945.
4. BERLIN, *Despatches*, June 10, 1945.
5. Friedrich Hayek to Fritz Machlup, and Message to Congress on the Concentration of Economic Power, April 29, 1938.
6. MARQUIS CHILDS, *Washington Calling: Hayek's 'Free Trade'*, *Washington Post*, June 6, 1945, <http://www.proquest.com.ezproxy.cul.columbia.edu/> (accessed February 10, 2011).
7. GEORGE KENNAN, *Memoirs 1925–1950* (New York: Atlantic Monthly Press, 1967), 292.
8. Friedrich Hayek to Lydia Keynes, April 21, 1946.
9. HARRY S. TRUMAN, March 12, 1947, transcript of the Truman Doctrine (1947), <http://www.ourdocuments.gov/>; Robert A. Pollard, *Economic Security and the Origins of the Cold War, 1945–1950* (New York: Columbia University Press, 1985), 123, <http://questia.com>.
10. FRIEDRICH HAYEK, “Opening address to a conference at Mont Pelerin,” 1947, P. G. Klein, ed., *The Collected Works of F. A. Hayek, Volume IV: The Fortunes of Liberalism*, (Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1992), 238.
11. FRIEDRICH A. HAYEK, Nobel Prize Winning Economist Friedrich A. von Hayek (Los Angeles: University of California at Los Angeles Oral

- History Program, 1983), <http://www.archive.org/stream/nobelprize-winninoohaye#page/n11/mode/2up>.
12. Statement of Aims, Mont Pelerin Society, <https://www.montpelerin.org/montpelerin/mpsGoals.html>.
 13. Orson Welles's contribution to *The Third Man*, 1949 in Robert Andrews, *The Columbia Dictionary of Quotations*, (New York: Columbia University Press, 1993), 888.
 14. Quoted in KURT R. LEUBE, *Hayek in War and Peace*, Hoover Digest, no. 1, 2006.
 15. RAY MONK, *Wittgenstein: The Duty of Genius* (New York: Penguin Books), 518.
 16. FRIEDRICH HAYEK, *Hayek on Hayek: An Autobiographical Dialog*, Stephen Kresge, ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1994), 105–6.
 17. AUSTIN ROBINSON, *First Sight of Postwar Germany, May—June, 1945* (Cambridge: The Canteloupe Press, 1986).
 18. *Ibid.*
 19. John Maynard Keynes to Austin Robinson, June, 1945.
 20. LUDWIG ERHARD, *Germany's Comeback in the World Market* (New York: Macmillan, 1954).

ГЛАВА XVI

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ. САМУЭЛЬСОН ЕДЕТ В ВАШИНГТОН

1. Quoted in PHILIP SAUNDERS and WILLIAM WALSTEAD, *The Principles of Economics Course* (New York: McGraw-Hill, 1990), ix.
2. PAUL A. SAMUELSON, *The Samuelson Sampler* (Glen Ridge, N. J.: Thomas Horton & Co., 1973), vii.
3. PAUL A. SAMUELSON with EVERETT HAGEN, *Studies in Wartime Planning for Continuing Full Employment* (Washington, D. C.: National Resources Planning Board, 1944); PAUL A. SAMUELSON et al., *After the War 1918–1920* (Washington, D. C.: National Resources Planning Board, 1943); and PAUL A. SAMUELSON et al., (Washington, D. C.: National Resources Planning Board, 1942).
4. PAUL SAMUELSON, *Godkin Lecture I*.
5. ALAN MILLWARD, *War, Economy and Society, 1939–1945* (Berkeley: University of California Press, 1980).
6. WILL LISSNER, *New York Times*, September 3, 1944, 23.
7. PAUL SAMUELSON, *Unemployment Ahead and the Coming Economic Crisis*, *New Republic*, September, 1944.
8. Quoted in POLENBERG, 94.

9. Interview, Paul Samuelson.
10. PAUL A. SAMUELSON and WILLIAM NORDHAUS, *Economics: The Original 1948 Edition*, 573.
11. ROBERT SUMMERS, father of Lawrence Summers. He and Harold Samuelson, Paul Samuelson's older brother, changed their names to "Summers" in an attempt to avoid anti-Semitism.
12. FLORENCE WIEMAN, *South Chicago, The Scroll*, May, 1930.
13. PAUL A. SAMUELSON, *Reflections on the Great Depression*, typescript.
14. *Ibid.*, p. 58.
15. PAUL A. SAMUELSON, *How Foundations Came To Be*, *Journal of Economic Literature* (1998), 1376.
16. TSURU SHIGETO, *Reminiscences of Our 'Sacred Decade of Twenties'*, *The American Economist* (Fall 2007).
17. SAMUELSON, *Reflections on the Great Depression*.
18. HERBERT STEIN, *Presidential Economics*.
19. PAUL A. SAMUELSON, interview.
20. Joseph Schumpeter to Paul A. Samuelson, November 3, 1947.
21. ROBERT MAYNARD HUTCHINS, quoted in *David Kennedy, Freedom from Fear: The American People in Depression and War* (Oxford, UK: Oxford University Press, 2001).
22. Paul A. Samuelson to F. Wheeler Loomis, director, M.I. T. Radiation Laboratory, April 26, 1945.
23. KENNETH ELZINGA, *The Eleven Principles of Economics*, *Southern Economic Review* (April 1992).
24. STANLEY FISHER, interview with Paul A. Samuelson, typescript transcript.
25. WILLIAM F. BUCKLEY, *God and Man at Yale* (Washington, D. C.: Regnery Gateway, 1951).
26. *Ibid.*, 49.
27. *Ibid.*, 60.
28. *Ibid.*, 81.
29. PAUL A. SAMUELSON, *Economics* (New York: McGraw-Hill, 1948), 412.
30. *Ibid.*, 434.
31. *Ibid.*, 152.
32. *Ibid.*, 380.
33. *Ibid.*, 433.
34. *Ibid.*, 3.
35. *Ibid.*, 584.
36. PAUL A. SAMUELSON, *Economics*, 4th ed. (New York: McGraw-Hill), 209-210.

37. SAMUELSON, *Economics*, 1st ed., 607.
38. *Ibid.*, 271.
39. *Ibid.*

ГЛАВА XVII

ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ. РОБИНСОН В МОСКВЕ И ПЕКИНЕ

1. JOAN ROBINSON, lecture, Cambridge University, quoted in *Harry G. Johnson, On Economics and Society* (Chicago: University of Chicago Press, 1975), 110.
2. JOAN ROBINSON, *Conference Sketch Book*, Moscow, April 1952 (Cambridge: W. Heffer and Sons, 1952), 19.
3. *Ibid.*, 6, 21, 23–24.
4. ALEC CAIRNCROSS, *The Moscow Economic Conference*, Soviet Studies 4, no. 2 (October 1952), 114.
5. ROBINSON, *Conference Sketch Book*, 5.
6. ROBINSON, *Conference Sketch Book*, 7–8; CAIRNCROSS, *The Moscow Economic Conference*, 119.
7. ROBINSON, *Conference Sketch Book*, 23.
8. *Russia: Two Faces West*, Time, April 14, 1952.
9. ROBINSON, *Conference Sketch Book*, 11.
10. Committee for the Promotion of International Trade, International Economic Conference in Moscow April 3–12, 1952 (Moscow, 1952); OLEG HOEFFDING, *East-West Trade Possibilities: An Appraisal of the Moscow Economic Conference*, American Slavic and East European Review, 1953; RICHARD B. DAY, *Cold War Capitalism: The View from Moscow, 1945–1975* (Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1995), 79.
11. Committee for the Promotion of International Trade, International Economic Conference, 85.
12. ROBINSON, *Conference Sketch Book*, 28.
13. *Ibid.*
14. *Ibid.*, 3, 5.
15. Joan Robinson to Richard Kahn, April 4, 1952, Papers of Richard Ferdinand Kahn, RFK/13/90/5, King's College, University of Cambridge.
16. PAUL SAMUELSON, *Remembering Joan*, in G. R. Feiwel, ed., *Joan Robinson and Modern Economic Theory* (London: Macmillan, 1989), 135.
17. PAUL PRESTON, MICHAEL PARTRIDGE, and PIERS LUDLOW, *British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from the Foreign Office Confidential Print* (Lexis Nexis, 2006).
18. CAIRNCROSS, *The Moscow Economic Conference*, 113, 118.

19. *Economic Problems of Socialism in the U. S. S. R.* (New York: International Publishers, 1952), 26, 30. Stalin's "Remarks on Economic Questions in Connection with Discussion of November 1951" were distributed around February 7, 1952, to Central Committee members working on Stalin's textbook on Soviet economic theory. "Remarks" was published later that year as *Economic Problems*.
20. JOHN LEWIS GADDIS, *We Now Know: Rethinking Cold War History* (New York: Oxford University Press USA, 1997), 195.
21. STALIN, *Economic Problems of Socialism*, 27.
22. RICHARD B. DAY, *Cold War Capitalism: The View from Moscow, 1945-1975* (Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1995), 76.
23. ETHAN POLLOCK, *Conversations with Stalin on Questions of Political Economy*, July 2001, Working Paper No. 33, Cold War International History Project, Woodrow Wilson International Center for Scholars, <http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/ACFBo7.pdf>.
24. ROBINSON, *Conference Sketch Book*.
25. GEOFFREY COLIN HARCOURT, "Some Reflections on Joan Robinson's Changes of Mind and Their Relationship to Post-Keynesianism and the Economics Profession," in *Capitalism, Socialism and Post-Keynesianism: Selected Essays of George Harcourt* (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 1995), 111.
26. JOAN ROBINSON, *The Problem of Full Employment: An Outline for Study Circles* (London: Workers Educational Association, 1943).
27. STEPHEN BROOKE, *Revisionists and Fundamentalists: The Labour Party and Economic Policy During the Second World War*, *Historical Journal* (March 1989), 158.
28. ELIZABETH DURBIN, *New Jerusalems: The Labour Party and the Economics of Democratic Socialism* (London: Routledge and Keegan Paul, 1985), 164.
29. Quoted in C. W. GUILLEBAUD, *Review of Joan Robinson, Private Enterprise or Public Control: Handbook for Discussion Groups*, *Economica* 10, no. 39 (August 1943), 265.
30. J. E. KING, *Planning for Abundance: Joan Robinson and Nicholas Kaldor, 1942-1945*, in *European Society for the History of Economic Thought, Political Events and Economic Ideas* (London: Elgar), 307.
31. JONATHAN SCHNEER, *Hopes Deferred or Shattered: The British Labour Left and the Third Force Movement, 1945-1949*, *Journal of Modern History* (June 1984), 197.
32. Joseph Stalin, Meeting Between Comrades Stalin and H. Pollitt 31st May 1950, transcript, Russian State Archive of Social and Political History, 4.

33. ERIC SHAW, *Discipline and Discord in the Labour Party* (Manchester, UK: University of Manchester Press, 1988).
34. Harold Laski, *The Secret Battalion*, a 1946 pamphlet defending the Labour Party's rejection of the Communist Party of Great Britain's application for affiliation.
35. JOAN ROBINSON, *Preparation for War*, Cambridge Today, October 1951, reprinted in *Monthly Review*, no 2 (1951), 194–95.
36. RICHARD GARDNER, *Sterling Dollar Diplomacy: Anglo-American Collaboration in the Reconstruction of Multilateral Trade* (London: Clarendon, 1956), 298.
37. SCHNEER, *Hopes Deferred or Shattered*.
38. JOAN ROBINSON, BBC, London Forum, June 25, 1947, quoted, *ibid.*, 221.
39. *Why the CP Says Reject the Marshall Plan*, July 5, 1947, quoted in Keith Laybourn, *Marxism in Britain: Dissent, Decline and Re-emergence, 1945 — c. 2000* (New York: Taylor and Francis, 2006), 35.
40. ROBERT SOLOW, quoted in Marjorie Shepherd Turner, *Joan Robinson and the Americans* (Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1989), 143.
41. Joan Robinson to Richard Kahn, King's College Archive.
42. CHRISTOPHER ANDREW, *Defend the Realm: The Authorized History of MI5* (New York: Alfred A. Knopf, 2009), 400; Marjorie S. Turner, *Joan Robinson and the Americans*, 86; Percy Timberlake, *The 48 Group: The Story of the Icebreakers in China* (London: 48 Group Club, 1994).
43. MILTON FRIEDMAN and ROSE FRIEDMAN, *Two Lucky People: Memoirs* (Chicago: University of Chicago Press, 1998), 245–46.
44. ROBERT CLOWER, quoted in Turner, *Joan Robinson and the Americans*, 133.
45. ALVIN L. MARTY, *A Reminiscence of Joan Robinson*, American Economic Association Newsletter, (October 1991), 5–8.
46. Arthur Pigou to John Maynard Keynes, June 1940, King's College Archive.
47. MICHAEL STRAIGHT, quoted in Turner, *Joan Robinson and the Americans*, 56.
48. BRIAN LOASBY, *Joan Robinson's Wrong Turning*, in Ingrid H. Rima, ed., *The Joan Robinson Legacy* (London: M. E. Sharpe, 1991), 34.
49. JOAN ROBINSON, *Mr. Harrod's Dynamics*, *Economic Journal* (March 1949), 81.
50. JOAN ROBINSON, *Review of Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy*, *Economic Journal*, 1943.
51. SIDNEY HOOK, *Review of Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital, with a Preface by Joan Robinson*, 1951,
52. JOAN ROBINSON, *The Accumulation of Capital* (London: MacMillan, 1956).

53. ROY FORBES HARROD, *Towards a Dynamic Economics* (London: Macmillan, 1948).
54. ROBINSON, *Mr. Harrod's Dynamics*, 85.
55. JOAN ROBINSON, *Model of an Expanding Economy*, *Economic Journal* (March 1952).
56. JOAN ROBINSON, *Letters from a Visitor to China* (Cambridge: Students' Bookshop, 1954), 8.
57. JOAN ROBINSON, *Has Capitalism Changed?* *Monthly Review*, 1961.
58. SAMUELSON, *Remembering Joan*, 121–43.
59. STANISLAW H. WELLISZ, review, *Review of Economics and Statistics* 40, no. 1 (February 1958): 87–88.
60. ELIZABETH S. JOHNSON and HARRY G. JOHNSON, *The Legacy of Keynes* (Oxford: Basil Blackwell, 1978).
61. SAMUELSON, *Remembering Joan*.
62. ABBA LERNER, *The Accumulation of Capital*, *American Economic Review* (September 1957): 693, 699.
63. L. R. KLEIN, *The Accumulation of Capital by Joan Robinson*, *Econometrica* 26, no. 4 (October 1958), 622, 624.
64. ROBERT SOLOW, *Technical Change and the Aggregate Production Function*, *Review of Economics and Statistics* 39, no. 3 (August 1957); 320; and ROBERT SOLOW, quoted in *Turner, Joan Robinson*, 143.
65. JOAN ROBINSON, *Private Enterprise or Public Control* (London: English University Press Ltd.), 13–14.
66. Quoted in JASON BECKER, *Hungry Ghosts: Mao's Secret Famine* (London: Macmillan, 1998), 292.
67. GEORGE J. STIGLER, review of *Economic Philosophy by Joan Robinson*, *The Journal of Political Economy* 71, no. 2 (April 1963), 192–93 (emphasis added).

ГЛАВА XVIII

СВИДАНИЕ С СУДЬБОЙ. СЕН В КАЛЬКУТТЕ И В КЕМБРИДЖЕ

1. AMARTYA SEN, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999), 36.
2. SANKAR RAY, *The Third World Apologist Finally Strikes*, *Calcutta Online*, October 15, 1998, <http://www.nd.edu/~kmukhopa/cal300/sen/art1014m.htm>.
3. The Royal Swedish Academy of Sciences, "The Prize in Economics 1998 — Press Release," news release, October 14, 1998, http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1998/press.html.

4. JOHN B. SEELY, *The Road Book of India* (London: J. M. Richardson and G. B. Whittaker, 1825), 12: "Dacca... is celebrated for the manufacture of the finest and most beautiful muslins." Muslin was a favorite topic of Jane Austen's letters to her sister Cassandra. In *Northanger Abbey* (1818), a potential suitor wows a chaperone with the "prodigious bargain" he got on a gown for his sister made of "true Indian muslin."
5. WILLIAM SPROSTON CAINE, *Picturesque India: A Handbook for European Travellers* (London: George Routledge and Sons Limited, 1891), 367.
6. AMARTYA SEN, interview by the author. Except where otherwise noted, quotes of Mr. Sen are from discussions and interviews with the author.
7. Archibald Percival Wavell to Winston Churchill, telegram, February 1944, in Penderel Moon, ed., *Wavell: The Viceroy's Journal* (Oxford University Press, 1973), 54.
8. AMARTYA SEN, *Autobiography*, http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1998/sen-autobio.html.
9. *Ibid.*
10. AMITA SEN, interview by the author.
11. INDIRA GANDI, *Selected Speeches and Writings of Indira Gandhi*, vol. 5, January 1, 1982 — October 30, 1984 (Delhi: Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 1986), 457.
12. ARJO KLAMER, *A Conversation with Amartya Sen*, *Journal of Economic Perspectives* 3, no. 1 (Winter 1989), 148.
13. JEAN DRÈZE and AMARTYA SEN, *India, Development and Politics* (Oxford University Press, 2002), 3.
14. AMARTYA SEN, *The Impossibility of a Paretian Liberal*, *Journal of Political Economy* 78 (1970): 152–57.
15. DRÈZE and SEN, *India, Development and Politics*, 2.
16. World Bank World Development Indicators (accessed April 13, 2011), <http://data.worldbank.org/indicators>.

ЭПИЛОГ. ВООБРАЖАЯ БУДУЩЕЕ

1. JOHN MAYNARD KEYNES, *The General Theory of Employment, Interest and Money* (New York: Harcourt, Brace, 1936), 383.
2. ROBERT SOLOW, *Faith, Hope and Clarity in David Colander and Alfred William Coats, eds., The Spread of Economic Ideas* (Cambridge, Mass.: Cambridge University Press, 1993), 37.

Указатель имен

- А**
Адлер, Соломон, 592
Адлер, Фридрих, 306
Айзенменгер, Анна, 295–96, 355, 357–58
Алле, Морис, 537
Алтунян, Эрнест, 469–70, 575, 581
Альберт, принц, 50, 61
Амп, Пьер, “Страда человеческая: золотоискатели”, 356
Андерсон, Джон, 540
Аристотель, 606
Асквит, Герберт Генри, 192, 193, 343
Асквит, Марго, 343
- Б**
Бакли, Уильям Ф., “Бог и человек в Йеле: суеверия “академической свободы”», 561
Бакстер, Роберт Далли, 69
Бальзак, Оноре де, 77
Бальфур, Артур, 183, 187, 399
Баринг, Эвелин, 248, 250, 252
Барнардо, Томас, 83
Барнетт, Сэмюэль, 83, 164
Барух, Бернард, 319, 341, 350, 491
Бауэр, Отто, 241, 290–92, 294, 295, 298, 303, 304, 308–309, 310–314, 371
Беверидж, Уильям, 194, 290, 399, 445
Бевин, Эрнест, 577
Белл, Ванесса, 272–73, 319, 325, 342, 378, 384, 423
Беллами, Эдвард, “Взгляд назад: 2000–1887”, 206
Бем-Баверк, Ойген фон, 241–42, 264, 293, 369
Бентам, Джереми, 102, 609
Бербанк, Гарольд, 557
Беренсон, Бернард, 378
Берк, Эдмунд, 13–15, 121
“Защита естественного общества”, 13
Берл, Адольф, 431
Берлин, Исайя, 36, 71, 494, 531–33
Бернс, Артур, 486
Бернс, Джеймс Макгрегор, 510
Бивербрук, лорд, 378
Биркгоф, Джордж, 555
Блауг Марк, 66–67
Блейк, Уильям, “Иерусалим”, 42
Бойл, Эндрю, 467
Болдуин, Стэнли, 382
Боулз, Честер, 547
Брайан, Уильям Дженнингс, 217–19, 225, 250, 431
Брайс, Роберт, 553
Брандейс, Луис, 396
Браун, Штеффен, 374
Брокдорф-Ранцау, Ульрих фон, 294
Бронте, Шарлотта, 98

Брук, Руперт, 455
 Бут, Уильям (генерал "Армии спасения"), 83
 Бут, Чарльз, 163–66, 170, 172, 176
 "Жизнь и труд населения Лондона", 172, 184
 Буш, Ванневар, 560
 Бэбсон, Роджер, 407, 417
 Бэджет, Уолтер, 222
 "Ломбард-стрит", 31

В
 Вагнер, Ричард, 221
 Вайнер, Джейкоб, 552
 Вальрас, Леон, 202, 215
 Варбург, Макс, 333, 347–48
 Вебер, Макс, 371
 Веблен, Торстен, 208, 350
 Вемисс, Росслин, 336
 Визер, Фридрих фон, 241, 261, 310, 313, 315, 369
 Виктория, королева, 50, 61, 148, 159, 258
 Вильсон, Вудро, 202, 213, 318, 332, 394
 Парижская мирная конференция, 318–21, 337–42, 348, 350
 "Четырнадцать пунктов", 348
 Витгенштейн, Людвиг, 238, 274–76, 310, 368, 445, 538–39
 "Логико-философский трактат", 275, 458, 580
 Волкер Пол, 567
 Вудхолл, Виктория, 399
 Вулф, Вирджиния, 89, 94, 280, 325, 384, 399, 423
 "Миссис Дэллоуэй", 280
 "На маяк", 280
 "По морю прочь", 280
 Вулф, Леонард, 344, 399

Г
 Галеви, Эли, 184
 Гальтон, сэр Фрэнсис, 142, 261, 399
 Ганди, Индира, 604
 Ганди, Мохандас К., 598, 613
 Гардинг, Уоррен, 490

Гарднер, Ричард, 579
 Гаркнесс, Маргарет, 138, 146, 159
 Гаррет, Элизабет, 98
 Гаскелл Элизабет, "Север и Юг", 84
 Гегель, Георг Вильгельм, 39, 47
 "Философия истории", 90
 Гельмгольц, Герман Людвиг фон, 215
 Гиббс, Дж. Уиллард, 205–207, 210–11, 554, 556
 Гилберт и Салливан, 102
 Гильфердинг, Рудольф, 241, 294
 Гиммельфарб, Гертруда, 38, 91, 93, 150, 153
 Гитлер, Адольф, 299, 349, 448, 453, 470, 471, 474–75, 478, 488, 500, 520, 522, 528
 "Моя борьба", 504
 Гиффен, Роберт, 16, 69, 81
 Гладстон, Уильям, 77, 159, 190, 192, 197
 Говард, Элизабет Джейн, романы про семью Кейзэллет, 511
 Грант, Дункан, 272, 273, 325, 341, 378, 383, 423, 455
 Грили, Хорас, 72
 Гувер, Герберт, 286, 287, 303, 331, 339–40, 407, 533, 553
 политика в эпоху депрессии, 411, 419–25, 435, 439, 443
 программа общественных работ, 421, 422
 Гулик, Чарльз, 289
 Гэддис, Джон Льюис, 517, 525, 574
 Гэлбрейт, Джон Кеннет, 484, 485, 491
 "Общество изобилия", 13

Д
 Даллес, Джон Фостер, 319
 Данте, "Ад", 362
 Дарвин, Леонард, 399
 Дарвин, Чарльз, 23, 70, 142, 153, 206, 209, 243, 244, 261, 399
 "Происхождение видов", 90, 190
 Дега, Эдгар, 271
 Делано, Фредерик Э., 544
 Демократическая ассоциация студентов, 369

Демократия, 91, 255, 274, 280, 352, 380,
498–99, 525, 562, 591, 612
Денисон, Эдвард, 83
Джевоис Уильям Стэнли, 210
Джевоис, Артур, 345
Джеймс, Гарольд, 159–60, 426
Джеймс, Генри, 138
 “Женский портрет”, 138, 145
 “Послы”, 203
 “Принцесса Казамассима”, 92
Джеймс, Уильям, 210
Дженкс, Джереми Уиппл, 373, 374
Джерролд, Дуглас, 57
Джонс, Билл, “Комплекс России:
 лейбористская партия Великобри-
 тании и Советский Союз”, 580
Джонсон, Гарри, 589
Джордж Генри, 127–31
 “Прогресс и бедность”, 127
Диккенс, Чарльз, 21–30, 48, 81, 93, 96,
103–104, 112, 120, 122–23, 124, 131,
234, 615
 “Большие надежды”, 85
 “Домашнее чтение”, 30
 “Домби и сын”, 41
 “Николас Никльби”, 34
 “Оливер Твист”, 25, 54
 “Рождественская песнь”, 26–30,
64
 “Тяжелые времена”, 122
 “Холодный дом”, 45
Директор, Аарон, 488, 537, 552
Добб, Морис, 468
Дорфман, Иосиф, 447
Достоевский, Федор, 73
Дьюи, Томас, 546
Дэвенпорт, Джон, 537
Дэндисон, Бэзил, 560
Дюранти, Уолтер, 451, 453

З

Зальтен, Феликс, 288

И

Исмаил-паша, хедив, 248, 249

К

Калдор, Николас, 554, 575, 582
Кап, Ричард, 393, 443, 462–67, 470, 476,
572, 580, 581, 589
Канингем, Томас, 289, 304, 306
Кант, Иммануил, 89, 102
Карлейль Томас, 21–23, 29, 34, 38, 51,
57–59, 93, 97, 115, 117–19, 121
Карнеги, Эндрю, 201
Карри, Локлин, 424, 484, 485, 528–29,
544
Картер, Джимми, 567
Кауфман, Феликс, 374
Кафка, Франц, 238, 288
Кейн, Барбара, 139
Кейнс, Джон Мейнард, 17, 18, 78,
270–73, 276, 277, 281, 312–13, 319,
321–51, 352, 353, 376–94, 399–400, 401,
409–16, 457, 522, 552, 582, 585, 604,
616–17
 болезнь, 443, 474
 брак, 384
 Бреттон-Вудская конференция,
519–30
 в 1920-х годах, 376–94
 в Королевском колледже, 322–26
 в Советском Союзе, 384–87
 в Соединенных Штатах, 477–84
 Великая депрессия и, 409–16,
421–23, 436–37, 473
 Вторая мировая война и, 471–84,
496, 497, 539–41, 546–47
 гомосексуальность, 325, 328, 383
 дискуссии о репарациях, 329–51,
388, 540–41
 как журналист, 378, 411–13, 474
 “Как оплатить войну”, 474, 547
 “Конец *laissez-faire*”, 388–89
 ленд-лиз и, 479–82
 “ловушка ликвидности”, 438
 “Можно ли выполнить обещание
 либералов?”, 393
 мультипликатор, 393, 437
 на Парижской мирной конферен-
 ции, 319, 331–51

- о Версальском договоре, 341–51,
388–89, 459, 475, 525–26, 540
о дефицитном финансировании,
436–41
о крахе фондовой биржи
в 1929 году, 409–16
об инфляции и дефляции, 379–81,
414, 421, 473
об экономике, 323–26, 331–51,
377–94, 409–16, 421–23, 434–37,
471–84, 487, 496, 510–518, 523–24, 530,
535, 544–47, 553, 558–59, 563, 583
“Общая теория занятости, про-
цента и денег”, 390, 438–41, 446, 451,
464, 473, 483, 505, 518, 530, 552, 553
Первая мировая война и, 270–73,
281, 298, 326–28
позиция казначейства, 326–350,
471–84, 540
Робинсон и, 455, 458, 464–67,
575–76, 580, 590
Рузвельт и, 434, 436–37, 482
смерть, 535, 582
“Сможет ли Ллойд Джордж это
сделать?”, 393
товарами спекуляция, 376–78, 394,
409
“Трактат о денежной реформе”,
379–81, 394
“Трактат о деньгах”, 414, 437, 445,
447, 462, 464
Уэбб и, 388, 454
финансовая карьера, 376–78, 409
экономика после Второй мировой
войны и, 509–518, 539–41
“Экономические последствия
мира”, 343–46, 349–51, 476, 503
“Экономические последствия
мистера Черчилля”, 382
Кейнс, Лидия, 474, 520, 535
Кейнс, Невилл, 322, 323, 326
Кейнс, Флоренс, 322, 349
Келлог, доктор Джон Харви, 228
Кеннан, Джордж, 534, 535
Кеннеди, Джозеф, 479
Кеннеди, Джон Ф., 565, 566
Кеннеди, Дэвид, 432, 433, 546, 559
Кернкросс, Алек, 573
Киришнер, Израэль, 365
Кларк, Грегори, 14–15, 50
Кларк, Джон Бейтс, 373
Клаф, Энн, 101, 104–106
Клейн, Лоуренс, 590
Клемансо, Жорж, 337–39
Кливленд, Гровер, 217
Кокто, Жан, 320
Колорни, Эва, 605
Кондорсе, маркиз де, 23
Конквест, Роберт, 454
Коннолли, Том, 494
Конт, Огюст, 144
Коттон, Генри, 278–79
Коу, Фрэнк, 466, 592
Кохун, Патрик, 15
Краус, Карл, 295
“Последние дни человечества”,
284
“Факел”, 275
Кристи, Агата, “Убийство в “Восточ-
ном экспрессе”», 469
Кроу, Джим, 400
Кругман, Пол, 382
Куайн, Уиллард ван Орман, 555
Кузнец, Саймон, 488
Кук, Томас, 63, 250–51
Кулидж, Калвин, 411, 420
Кун, Бела, 296, 302, 306, 308
Кучинский, Юрген, 573
Кэрнс, Дж. Э., 94
- Л**
Ламонт, Томас, 337
Ланге, Оскар, 572, 573, 592
Ландес, Давид, 262
Ласки, Гарольд, 578, 580, 592
Левенфельд-Русс, Ганс, 303–304
Ленин В. И., 299, 302, 517, 589
Леонтьев, Василий, 449, 554, 556
Лернер, Абба, 589
Линдберг, Чарльз, 397

- Липпман, Уолтер, 426
- Ллойд Джордж, Дэвид, 192, 193, 270,
301–302, 318, 319, 328–30, 388, 390–94,
410, 455, 475
на Парижской мирной конферен-
ции, 328–30, 338–42, 348
- Лотиан, лорд, 477
- Лоуренс, Т. Э. (Аравийский), 320, 334,
469
- Луи-Филипп, король Франции, 53
- Льюис, Джордж, 118
- Льюис, Синклер, “Главная улица”, 548
- Люксембург, Роза, 248, 587
“Накопление капитала”, 236, 587
- М**
- Маггеридж, Малколм, 453
- Макартни, К. А., 359
- Макдональд, Рамсей, 410–11, 416, 422,
423, 444
- Маккарти, Джозеф, 528
- Маккинли, Уильям, 198, 217, 218–19, 228
- Макмиллан Гарольд, 592
- Макмиллан, Маргарет, “Париж 1919:
шесть месяцев, которые изменили
мир”, 350
- Макмиллан, Хью, 502
“Доклад Комиссии по финансам
и промышленности”, 422
- Маколей, Томас Бабингтон, 163
- Мальтус, Томас Роберт, 23–26, 27–28, 35,
50, 61, 64, 99, 161, 209, 258, 552
закон народонаселения, 23–26, 60,
65
“Опыт о законе народонаселения”,
23
- Манн, Томас, “Волшебная гора”, 227
- Мао Цзедун, 591, 592, 594
- Маркс, Карл, 31–33, 35–40, 61–78, 80, 86,
90–91, 94, 115, 120, 121, 124, 126, 145,
153, 166, 174, 186, 234, 244, 259, 291,
332, 353, 363, 439, 468, 499, 523, 574,
575, 585, 587, 601
“К критике политической экономии”, 70–71
“Капитал”, 40, 64–68, 73, 76–78, 120,
123, 153, 243
“Манифест Коммунистической
партии”, 47–53, 64, 65, 133
об экономике, 37–40, 45–53, 61–78,
100, 117, 123, 126, 234, 260–61, 365, 366
переезд в Лондон, 53
семейная жизнь, 37, 61–63, 72–73, 75,
86
эволюция от богемы к буржуа,
71–73
Энгельс и, 31–33, 38–40, 45–53, 61–65,
70, 73, 76–78
- Маркс, Элеонора, 145
- Марш, леди Хелен, 455
- Марш, Эдди, 185
- Маршалл, Альфред, 17, 79, 83–133, 146,
153, 164, 166, 169, 172, 183, 185, 187,
190, 193, 197, 199, 202, 213, 231, 259,
322, 353, 396, 439, 455, 583, 585, 615
болезнь, 126–27
в Сосединенных Штатах, 110–118,
132
- Мэри Пэйли и, 101–106, 118–20, 121,
120–24
о фабричном производстве, 120–24
об экономике, 93, 97–101, 124–26,
211, 234, 244–45, 260, 365, 563
образование, 84–93
“Принципы экономической
науки”, 111, 127, 131–33, 213, 215, 245,
323, 458, 556, 600
“Экономика промышленности”,
120, 124–26
- Маршалл, Джордж С., 579
- Маршалл, Мэри Пэйли, 101–106,
118–20, 121, 126
- Маршалл, Уильям, 84–87, 90, 104, 117
- Маскин, Эрик, 610
- Матисс, Анри, 377, 384, 416
- Махлуп, Фриц, 370, 501, 506, 533, 537
- Мейер, Юджин Айзек, 411
- Меллон, Эндрю, 209, 411, 420
- Мельхиор, Карл, 333–37, 347–48, 389
- Менгер, Карл (*Carl*), 215, 240, 369, 370

- Менгер, Карл (*Karl*), 370
 Мерлинг, Перри, 229
 Мизес, Людвиг фон, 241, 287, 355, 361, 363, 371–73, 374, 443, 444, 500, 505, 537
 рынки как калькуляторы, 372–73
 “Социализм”, 372
 Милль, Джеймс, 61
 Милль, Джон Стюарт, 22, 29, 51, 58–61, 64, 68, 70, 94, 99, 102, 111, 121, 127, 133, 173, 187, 209, 234, 258, 543
 об экономике, 58–61, 94–97
 “Основы политической экономии”, 58–59, 91, 133
 “Подчиненность женщины”, 97
 “Система логики”, 166
 фонда заработной платы теории, 94–97
 Милуорд, Алан, 478
 Митчелл, Джордж, 108
 Митчелл, Уэсли К., 373
 Молотов, Вячеслав, 579
 Мопассан, Ги де, “Иветта”, 177
 Морган, Дж. П., 250
 Морган, Джуниус, 136
 Моргантау, Генри, 482, 492, 495, 521, 526, 540, 552
 Моргенштерн, Оскар, 370
 Морис, Ф. Д., 455
 Морис, Фредерик, генерал-майор, 321, 322, 455
 Мосли, Освальд, 394
 Музиль, Роберт, 294
 Мур, Дж. Э., 457
 “Основания этики”, 422
 Муссолини, Бенито, 453, 462
 Мэдж, Чарльз, 573
 Мюрдаль, Гуннар, 515–16, 524, 543
- Н**
 Найтингейл, Флоренс, 80
 Наполеон III, 53
 Неру, Джавахарлал, 598, 603, 604
 Николсон, Гарольд, 320, 337, 338
 Никсон, Ричард, 566
- Нойс, Александр, 251
 Нортон, Чарльз Элиот, 113
 Ньютон, Исаак, 595
- О**
 Ойкен, Вальтер, 537
 Олдрич, Уинтроп, 533
 Оппенгеймер, Фрэнсис, 282, 312, 317
 Орландо, Витторио, 338–39
 Орд, лорд Бойд, 570, 581, 592
 Оруэлл, Джордж, 524, 535
 “1984”, 516
 Остин, Джейн, 13–16, 23, 214, 597
 “Гордость и предубеждение”, 13–14
 “Разум и чувства”, 14
 Оуэн, Роберт, 113
- П**
 Пабст, Георг, 357
 Парето, Вильфредо, 215, 609
 Паул, Людвиг, 303
 Перкин, Гарольд, 44
 Перри, Джек, 573
 Петен, маршал, 475
 Пигу, Артур, 326, 457, 458, 467, 583
 Пикассо, Пабло, 377, 582
 Пил, Роберт, 22
 Пирсон, Карл, 261
 Платтс-Миллс, Джон, 578
 Поллит, Гарри, 577
 Понци, Чарльз, 550
 Поппер, Карл, 537
 Поттер, Лаурентина, 140–42, 145, 155
 Поттер, Ричард, 135, 139–45, 152, 157, 159, 163, 171, 176, 399
 Притт, Д. Н., 578
 Прудон, Пьер Жозеф, 64
 Пруст, Марсель, 320, 369
 “По направлению к Свану”, 243
 Пуанкаре, Анри, 215, 242
 Пэйли, Том, 103, 104
 Пэйли, Уильям, 103
- Р**
 Рамсей, Фрэнк, 276–77, 458

- Рассел, Бертран, 181, 277, 281, 322, 369, 453, 457, 491
 “Начала математики”, 276, 555
 Раунтри, Сибом, “Бедность: исследование городской жизни”, 184
 Реннер, Карл, 290, 295, 304–305, 309, 313, 315, 353, 371
 Рескин, Джон, 41, 93, 94, 96, 469
 Ридделл, лорд, 336
 Рикард-Сивер, Глэдис, 236, 245–46, 251, 254, 257, 264–65, 273, 310, 363
 Рикардо, Давид, 35, 58–61, 64, 94, 99, 111, 161, 166, 209, 582
 “железный закон” заработной платы, 59–60, 61, 109
 “Начала политической экономии и налогообложения”, 59
 Роббинс, Лайонел, 375, 443–46, 502, 519, 520, 537
 Ролз, Джон, 606
 “Теория справедливости”, 608–609
 “Великая депрессия”, 445–46
 Робертсон, Деннис, 463
 Робинсон, Джоан, 443, 455–70, 535, 568–93
 в Кембридже, 455–61
 “Заметки о конференции”, 571, 572
 замужество, 459–61, 470
 как интеллектуальный трофей (“витринный интеллект”), 572
 Кейнс и, 355, 458, 464–67, 575–76, 580, 590
 Китай и, 581, 588–92, 594
 коммунизм и, 468, 572–93
 “Накопление капитала”, 589–90
 об экономике, 463–70, 575–93
 об экономическом росте, 583–90
 Сен и, 604–606
 смерть, 606
 Советский Союз и, 468, 568–81
 сотрудничество с Каном, 462–67, 470, 470, 589
 “Экономика несовершенной конкуренции”, 466, 583
 “Экономическая философия”, 592
 Робинсон, Остин, 342, 455, 456, 459–65, 470, 540–41, 581
 Родс, Сесил, 246–47, 251
 Рокфеллер, Джон Д., 250
 Ростои, У. У., 247
 Рот, Йозеф, “Марш Радецкого”, 238
 Ротшильд, Луи, 295, 307, 308, 310
 Ротшильд, Натан Мейер, 42
 Рузвельт, Теодор, 199, 228
 Рузвельт, Франклин Делано, 426, 431–36, 544
 “беседы у камина”, 480, 509
 Вторая мировая война и, 479–82, 489, 509–18, 535, 529, 559
 Кейнс и, 434, 436, 482
 конференция в Бреттон-Вудсе, 519–30
 мозговой трест, 431–36
 отказ от золотого стандарта, 435–36
 политика в эпоху депрессии, 433–37, 442, 443, 532
 политика ленд-лиза, 479–82
 “Послание Конгрессу о концентрации экономической мощи”, 533
 президентская кампания 1932 года, 431–34
 смерть, 535
 Хайек и, 533
 Рэй, Джон, 229
- С**
 Самнер, Уильям Грэм, 208, 212, 229
 “Нелепая попытка переделать мир”, 220
 Самуэльсон, Марион, 555
 Самуэльсон, Пол, 213, 449, 512, 544–67, 589
 в Гарварде, 553–57
 об экономике, 558–65
 “Основы экономического анализа”, 555–57, 600–601
 “Экономика: вводный курс”, 560–65
 Самуэльсон, Фрэнк, 548–50
 Самуэльсон, Элла Липтон, 548, 550

- Сассун, Зигфрид, 455
 Сезанн, Поль, 273, 377, 384
 Сен, Амартия, 594–613
 болезни, 601–603
 в Тринити-колледже, 603–604
 “Выбор методов”, 604
 “Индия: развитие и участие”, 611
 “Коллективный выбор и общественное благосостояние”, 608
 “Невозможность паретианского либерала”, 609
 Нобелевская премия, 613
 о социальном обеспечении, 604–13
 об экономике, 604–13
 Робинсон и, 650–606
 Сен, Кшитимохан, 598
 Сигето, Цуру, 554
 Сиджвик, Генри, 90–91, 93, 96, 97, 101, 106
 Скидельски, Роберт, 326, 346, 378, 393, 409, 415, 440, 473, 526
 Скотт, Вальтер, 104
 Смит, Джеймс А., 179
 мэтс, Ян, 339, 340, 343
 олоу, Роберт, 590, 612, 616
 олсбери, лорд, 148, 151
 сомари, Феликс, 315
 Смит, Адам, 15, 35, 58, 64, 91, 99, 111, 125, 132, 166, 229, 561
 “Богатство народов”, 15, 58
 Спенсер, Герберт, 70, 139–45, 146–54, 161–62, 170, 176, 190, 206, 208, 231, 505
 “Личность и государство”, 153–54, 161
 “Принципы социологии”, 208
 “Система синтетической философии”, 90
 “Социальная статика”, 153
 Спенсер, Персеваль, 455
 Спирс, Эдвард Луи, 321
 Спротт, Себастьян, 383
 Сраффа, Пьеро, 443, 462–63, 464, 467, 573, 582
 “Производство товаров посредством производства товаров”, 589
 Стед, Уильям, 196
 “Американизация мира”, 196
 Стедман Джонс, Гарет, 55, 72
 Стивен Лесли, 89, 94
 Стивенс, Г. Морс, 195
 Стиглер, Джордж, 593
 Стид, Генри Уикхем, 346, 350
 Стрейт, Майкл, 583
 Стрейчи, Джон, “Теория и практика социализма”, 468
 Стрейчи, Литтон, 324, 325, 327, 349
 “Выдающиеся викторианцы”, 349
 Стронг, Бенджамин, 430
 Сэвилл-Уэст, Вита, 320
 Сэнгер, Маргарет, 399
- Т**
- Тагвелл, Рексфорд, 431
 Тагор, Рабиндранат, 598
 Такмен, Барбара, 213
 Твен, Марк, 258
 Тейлор, А. Дж. П., 349
 Тейлор, Гарриет, 58, 543
 Тейлор, Седли, 108
 Тейлор, Фредерик Уинслоу, 396
 Теккерей, Уильям Мейкпис, 112
 Тобин, Джеймс, 441
 Тойнби, Арнольд, 51, 100, 154, 409
 Токвиль, Алексис де, 110, 111
 Тоуни, Р. Г., 181
 Тревельян, Дж. М., 174
 Троллоп, Антони, 112, 140
 “Бертрамы”, 247
 “Булхэмптонский викарий”, 86–87
 “Дороги, которые мы выбираем”, 221
 “Смотритель”, 86
 Трумэн, Гарри, 527, 529, 534, 542, 558, 565
 Тэппен, Марджори, 458
- У**
- Уайльд, Оскар, “Как важно быть серьезным”, 324
 Уайт, Гарри Декстер, 424, 484, 490, 492, 521, 523–30, 540, 547, 573

- Уайтхед, Альфред Норт, "Начала математики", 276
- Уатт, Джеймс, 43
- Уилер, Бертон, 477
- Уилер, Дональд, 592
- Уилсон, Эдвин Бидвелл, 554
- Уитакер, Джон, 111
- Уиттьер, Джон Гринлиф, "Занесенные снегом", 227
- Улам, Станислав, 555
- Уоллес, Альфред Рассел, 206
- Уэбб, Беатриса Поттер, 135-94, 195-202, 209, 260, 373, 379, 391, 396, 399, 401, 415, 439, 446, 451-54, 580, 591
 в качестве рабочей девушки, 166-68
 "Взгляд женщины на проблему безработицы", 415
 "История тред-юнионизма", 184
 как исследователь общества, 146-47, 149, 151, 157-71, 175, 184-94, 234-35
 Кейнс и, 388, 454
 мысли о самоубийстве, 141, 157, 162
 о государстве всеобщего благосостояния, 185-94, 235
 образование, 144, 146
 "Особое мнение", 189, 194, 415
 Первая мировая война, и 269, 279, 280
 политический салон, 181-82
 "Промышленная демократия", 184, 186, 191
 Сидней Уэбб и, 171, 174-94, 195-202
 "Советский коммунизм: новая цивилизация?", 454, 504-505
 Советский Союз и, 451-54
 Соединенные Штаты и, 195-202
 Спенсер и, 142-45, 146-48, 151-54, 170, 176
 "Страницы из дневника работницы", 168
 "Упадок капиталистической цивилизации", 451
 Чемберлен и, 147-58, 160-62, 169
 Черчилль и, 182-85
- Уэбб, Сидней, 171-94, 195-202, 260, 269, 373, 399, 401, 415, 451, 591
 "История тред-юнионизма", 184
 "Промышленная демократия", 184, 186, 191
- Уэйвелл, лорд, 599
- Уэллс, Г. Дж., 182, 184, 369, 392, 399
 "Новый Макиавелли", 178-82
- Ф
- Файнштейн, Чарльз, 70
- Фегелин, Эрих, 370
- Фергюсон, Ниал, 355
- Феттиг, Давид, 427
- Фицджеральд, Фрэнсис Скотт, 551
 "Великий Гэтсби", 394, 551
 "По эту сторону рая", 485
- Фишер, Джордж, 203-205, 226
- Фишер, Ирвинг, 202-235, 262, 265, 269, 277-79, 352, 353, 373, 376, 379, 380, 382, 390, 394-408, 522, 523, 553, 555-56, 566, 585, 617
 автомобили, 394, 396
 болезнь дочери и, 278-79
 болезнь, 225-28, 231
 "большое турне", 215
 "Бумы и депрессии", 441
 в 1920-х годах 394-408
 в Йельском университете, 202, 205-13, 219
 Великая депрессия и, 416-21, 423-37, 441
 евгеника и, 399-400
 как изобретатель, 403-405
 "Как надо жить", 277
 "Математические исследования по теории стоимости и цен", 213, 223
 о долгах, 428-30
 о золотом стандарте, 220-25, 233, 401, 423-25, 436
 о крахе фондовой биржи в 1929 году, 416-21
 о ценах и занятости, 400-403, 427, 429

- об акциях, 406–408, 416–21
 об инфляции, 223, 230–35, 400–406
 об экономике, 209–25, 228–35, 381, 394–408, 416–21, 423–36, 441
 “Обвал фондового рынка и после него”, 418
 “Покупательная способность денег”, 428–29
 “Природа капитала и дохода”, 229
 “Рост стоимости и процентные ставки”, 225
 Рузвельт и, 434–35
 смерть, 564
 “Стабилизация доллара”, 415
 “Ставка процента”, 232, 408
 финансовый крах, 419–21, 436, 442–43
 “Элементарные принципы экономической науки”, 400
- Фишер, Маргарет Хазард, 214, 215, 226, 227, 425
- Флорида, 550
- Фолк, Освальд “Лис”, 377
- Фоссет, Генри, 82, 94
 “Учебник политической экономики”, 166
- Фоссет, Миллисент, 95, 98
- Фрай, Роджер, 271, 273, 457
- Франко, Франсиско, 478, 528
- Франкфуртер Феликс, 319, 343, 436
- Франц Иосиф I, император, 238–39, 273
- Фрейд Зигмунд, 23, 239, 282, 285, 288, 296, 355, 356
- Фридман, Милтон, 446, 485–96, 403, 415, 425, 436, 445
 Вторая мировая война и, 489–96
 гипотеза перманентного дохода, 487
 “Монетарная история Соединенных Штатов, 1867–1960 гг.”, 419
 налоговая политика, 489–96
 “Налогообложение для предотвращения инфляции”, 489
 об экономике, 486–96
- Фридман, Роуз, 488
- Фрик, Генри Клей, 200
- Фримантл, Уильям Генри, 82
- Фримен, Ральф, 560
- Фут, Майкл, 592
- Фюрт, Герберт, 369, 370, 372
- Х**
- Хаберлер, Готфрид, 370
- Хаген, Эверетт, 558
- Хазард, Роуланд, 203
- Хайек, Фридрих фон, 239, 274–75, 284, 352, 353, 368–75, 439, 464, 500–506, 519–20, 522, 524, 531–39, 542, 575, 606, 607, 617
 в Соединенных Штатах, 373–74, 531–35
 Великая депрессия и, 443–46
 Вторая мировая война и, 471–72, 500, 502–506, 513
 “Дорога к рабству”, 275, 500, 502–506, 519, 531–35, 539
 глухота, 501
 лекции в Лондонской школе экономики, 443–46
 об экономике, 373–75, 443–46, 472, 500–506, 513, 531–39
 Рузвельт и, 533
 “Теория денег и экономические циклы”, 375
 “Цены и производство”, 446
- Хаксли, Томас, 142
- Халл, Корделл, 522
- Хансен, Элвин, 512, 547
 “Полное восстановление или стагнация”, 547
- Харди, Г. Х., 323, 413, 595
- Харкорт, Джеффри, 468, 575, 592
- Харрод, Рой, 18, 588
- Хатчинс, Роберт, 559
- Хедли, Артур, 208
- Хендерсон, Джеймс, 26–27
- Хикс, Джон, 500, 582
 “Стоимость и капитал”, 600
- Хилл, Джеймс Дж., 217
- Хо Ши Мин, 320
- Хобсбаум, Эрик, 69

Холмс, Чарльз, 272, 273
 Хорти, Миклош, 308
 Хоукс, Альберт, 333
 Хофштадтер, Ричард, 208
 Хусейн Камиль, султан, 249
 Хьюз, Чарльз Эванс, 329, 330
 Хэзлитт, Генри, 337

Ц

Цвейг, Стефан, 287
 “Невидимая коллекция”, 355

Ч

Чайлдс, Маркис, 334
 Чедвик, Эдвин, “Доклад о санитарном состоянии трудящегося населения Великобритании”, 33
 Чемберлен, Джозеф, 136, 147–57, 159, 160–62, 163, 169, 183, 244, 329
 Чемберлен, Невилл, 136, 473, 534
 Чемберлен, Остин, 329, 342, 349
 Чемберлин, Эдвард, 553
 “Теория монополистической конкуренции”, 466–67, 553
 Чемберс, Уиттекер, 529
 Черчилль, Уинстон, 182–85, 192–94, 302, 319, 326, 382–83, 387, 394, 399, 410, 415, 439, 455, 474, 577, 599
 Беатриса Портер Уэбб и, 182–85
 Вторая мировая война и, 474, 498, 522, 534
 государство всеобщего благодеяния и, 185, 192
 ленд-лиз и, 479–80
 речь о “железном занавесе”, 536

Ш

Шахт, Яльмар, 522
 Шварц, Анни, 419
 Шекспир, Уильям, 104
 Шеппард, Дж. Т., 325
 Шмоллер, Густав, 241
 Шорскс, Карл, 238
 Шоу, Джордж Бернард, 36, 174, 176–78, 181, 190, 269, 379, 399, 438

“Дома вдовца”, 177
 “Майор Барбара”, 184
 “Профессия миссис Уоррен”, 177–78

Шрайер, Фриц, 374
 Штейн, Герберт, 439, 487, 495, 556, 565
 Штрайсслер, Эрих, 238
 Шумпетер, Анни Райзингер, 362–64, 447
 Шумпетер, Иоганна, 237, 315, 362, 364, 367, 447
 Шумпетер, Йозеф Алоиз, 236–65, 281, 322, 341, 351, 352–67, 371, 373, 378, 392, 436, 439, 443, 446–50, 466, 474, 497–500, 522, 524, 552, 555, 557, 563, 575, 586, 590, 613, 617
 в Гарварде, 446–50, 500
 в Египте, 236, 247–55
 в качестве банкира, 315–16, 358–61
 в качестве министра финансов Австрии, 294, 295–315
 в Соединенных Штатах, 264–65, 367, 446–50
 Вена в 1920-х годах и, 353–67
 Вторая мировая война и, 497–500
 “Капитализм, социализм и демократия”, 499–500, 586
 “Кризис налогового государства”, 274, 300
 “О математическом методе в теоретической экономике”, 242
 “О природе и сущности экономической теории”, 256
 об экономике, 241–45, 254–65, 2741, 298–99, 363–67, 446–50, 497–500, 513
 Первая мировая война и, 273–74, 281
 политическая смерть, 314–16
 послевоенная Вена и, 282–316, 341
 смерть жены, 364, 447
 “Теория экономического развития”, 257–64, 412
 теория экономической эволюции, 244–45, 255–63, 365–67
 инкарнационный образ жизни, 310, 360
 Шюц, Алфред, 374

Э

- Эджуорт, Фрэнсис Исидро, 213, 215–16
 Эйзенхауэр, Дуайт, 540, 565
 Эйнштейн, Альберт, 257, 293, 370, 377,
 389
 Эклс, Марринер, 431, 484
 Элиот, Джордж, 70, 98, 118, 137, 144
 “Мельница на Флоссе”, 103
 “Миддлмарч”, 107, 134, 143
 Элиот Т. С., 457
 Эмерсон, Ральф Уолдо, 113, 215
 “Ода, посвященная Уильяму
 Чаннингу”, 79
 Энгель-Яноши, Фридрих, 374
 Энгельс, Фридрих, 31–35, 41, 430, 439
 “Манифест Коммунистической
 партии”, 47–53, 64, 65, 90
 Маркс и, 31–33, 38–40, 47–53, 61–65,
 70, 73, 75–78
 “Наброски к критике политиче-
 ской экономики”, 35, 66
 об экономике, 35–40, 45–53, 366
 “Положение рабочего класса
 в Англии”, 39–40, 64
 семейный бизнес, 32, 34, 62, 76
 Энджелл, Норман, 265
 Эрроу, Кеннет, 582, 590, 607–608
 невозможности теорема, 607
 “Социальный выбор и индивиду-
 альные ценности”, 607
 Эрхард Людвиг, 542
 Эттли, Клемент, 576
 Эшмид-Барглетт, Эллис, 306–07
 Эштон, Т. С., 585

Я

- Яси, Оскар, 238

Источники фотографий

- Библиотека изображений Мэри Эванс: 1, 2, 4, 10, 12
Архив Халтон/*Getty Images*: 3
Собрание Международного института социальной истории, Амстердам: 5, 6
С любезного разрешения библиотеки Маршалла, Кембриджского университета: 7, 8
С любезного разрешения библиотеки Лондонской школы экономики и полит-
экономики, регистрационный номер 05042: 9
© Национальная портретная галерея, Лондон: 11, 21
Рукописи и архивы, Йельский университет: 13
Университет Олбани, университет штата Нью-Йорк: 14
Архивы Гарвардского университета, шифр *HUGBS* 276.90P (2): 15
Библиотека изображений Мэри Эванс/Архив Томаса Кука: 16
С любезного разрешения Михаэля Недо и архива Витгенштейна, Кембридж: 17, 18
Библиотека изображений Мэри Эванс/Собрание Роберта Ханта: 19
С любезного разрешения Государственного архива Австрии: 20
“Фотография Дункана Гранта и Мейнарда Кейнса в поместье Эшем, Суссекс, в доме
у Леонарда и Вирджинии Вулф” — Ванесса Белл, ©Тейт, Лондон 2011: 22
Keystone France/Gamma-Keystone/Getty Images: 23
Собрание графства Кембриджшир, Центральная библиотека Кембриджа: 24
С любезного разрешения *Peter Lofts Photography*: 25, 26
E. O. Hoppe/Time & Life Pictures/Getty Images: 27
Архивы Гарвардского университета, шифр *HUGBS* 276.90P (43): 28
С любезного разрешения Президентской библиотеки Франклина Д. Рузвельта: 29
С любезного разрешения Яна Мартеля: 30
С любезного разрешения Международного валютного фонда: 31
С любезного разрешения Музея МТИ: 32
С любезного разрешения 48 *Group Club*: 33
С любезного разрешения партнерства Кембридж-Индия: 34
AP Photo/Richard Drew: 35



Экономистов часто упрекают в том, что их абстрактные теории не имеют отношения к реальной жизни. Сильвия Назар, автор знаменитых “Игр разума”, взялась опровергнуть это заблуждение. “Путь к великой цели” — это панорама экономической и политической истории, для героев которой — Маркса и Диккенса, Джона Мейнарда Кейнса и Йозефа Шумпетера — благосостояние жителей всего мира было ничуть не менее важно, чем самые выдающиеся теоретические достижения.

Эта книга должна стоять не только в кабинете каждого экономиста, но и на полке у каждого серьезного читателя.

THE ECONOMIST

Назар пишет совершенно замечательно.

THE WALL STREET JOURNAL

“Путь к великой цели” — достойный наследник “Философов от мира сего” Роберта Хайлбронера.

THE WASHINGTON POST

